

Ассоциация исследователей российского общества XX века

П Р И З Н А Т Е Л Ь Н А

за всестороннее содействие в реализации проекта и подготовке издания

ПОЛИТИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАТИВНОМУ ЦЕНТРУ

и лично Председателю Совета ПКЦ В. А. ФЁДОРОВУ,

РОССИЙСКОМУ ФОНДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и лично профессору В. С. ЖИДКОВУ,

ФОНДУ им. НИКОЛАЯ БУХАРИНА И АННЫ ЛАРИНОЙ

и лично профессору Нью-йоркского университета Стивену КОЭНУ
и главному редактору журнала «The Nation» Катрин ванден ХЮБЕЛЬ,

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paris)

и лично профессору Морису ЭМАРА и госпоже Соне КОЛЬПАР,

STIFTERVERBAND FUER DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT

(Essen, Germany)

и лично профессору Карлу АЙМЕРМАХЕРУ,

FONDAZIONE FELTRINELLI

и лично профессору Университета Неаполя Андреа ГРАЦИОЗИ
и госпоже Франческе ГОРИ,

ФОНДУ ЯПОНСКИХ ИСТОРИКОВ

и лично профессору Харуки ВАДА,

CENTRE FOR RUSSIAN

AND EAST EUROPEAN STUDIES

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

и лично профессору Роберту ДЭВИСУ



Международный совет издательских программ и научных проектов АИРО-XX

Г.А. Бордюгов	главный редактор АИРО-XX
А.И. Ушаков	генеральный директор АИРО-XX
С.А. Александров	зам. генерального директора АИРО-XX
К. Аймермахер	Рурский университет в Бохуме
Д. Байрау	Тюбингенский университет
В. Берелович	Высшая школа по социальным наукам, Париж
Б. Бонвеч	Рурский университет
Х. Вада	Токийский университет
А.Ю. Ватлин	МГУ им. М.В. Ломоносова
Л.С. Гагагова	Институт российской истории РАН
П. Гобл	Фонд Потомак
Г. Горцка	Кассельский университет
А. Грациози	Университет Неаполя
Р.У. Дэвис	Бирмингемский университет
Е.Ю. Зубкова	Институт российской истории РАН
Ст. Коэн	Принстонский, Нью-йоркский университеты
Дж. Д. Морисон	Лидский университет
В. Молодяков	АИРО-XX, Токийский университет
В.А. Невежин	Институт российской истории РАН
Н. Неймарк	Стэнфордский университет
Д. Рейли	Университет Северной Каролины на Чапел Хилл
Т.А. Филиппова	Российский исторический журнал «Родина»
Я. Хоулетт	Кембриджский университет
Ю. Шеррер	Высшая школа по социальным наукам, Париж

Представители АИРО-XX в Российской Федерации

В.М. Бухараев	Казань
А.В. Венков	Ростов-на-Дону
В.И. Голдин	Архангельск
В.А. Исаев	Новосибирск
В.А. Дробышев	Старый Оскол
В.В. Канищев	Тамбов
А.Г. Макаров	Москва
Н.А. Постников	Курск
Е.М. Раскатова	Иваново
В.П. Федюк	Ярославль
Т.А. Чумаченко	Челябинск

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В РОССИИ—II
СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Под редакцией Геннадия Бордюгова

Консультанты проекта:

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, МГУ им. М. В. Ломоносова

Людмила ГАТАГОВА, Институт российской истории РАН

Владимир ЕСАКОВ, Институт российской истории РАН

Александр УШАКОВ, АИРО-XX

Татьяна ФИЛИППОВА, Российский исторический журнал «Родина»

Александр ШЕВЫРЕВ, МГУ им. М. В. Ломоносова

Москва
«АИРО-XX»
2003

Издатель
Александр УШАКОВ

Дизайн издания
Сергей ЩЕРБИНА

Исторические исследования в России–II. Семь лет спустя /Под редакцией
Г. А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2003. — 560 с.

ISBN 588735–103–9

Новое поколение российских историков размышляет о произошедших на рубеже веков изменениях в условиях и структурах, конъюнктуре и моделях исторического познания.

Книга рассчитана на преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, занимающихся историей.

ИД № 01428 от 05.04.2000
Подписано в печать с оригинал-макета 17.02.2003. Формат 70х100 1/16. Бум. офс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 48. Тираж 1000 экз. Заказ

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»,
109044 Москва, Крутицкий вал, 18.

ISBN 588735–103–9

© Авторы, 2003
© «АИРО-XX», 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий БОРДЮГОВ

ПРЕДИСЛОВИ

Реальность историческая и новые проблемы её представления 9

I. УСЛОВИЯ И СТРУКТУРЫ

Ирина КАСПЭ

Представление истории и представления об истории в русском интернете
Образы сетевой истории. • *Образы исторического знания: кровь, почва, бессрочное хранение информации; новый антикваризм; публикаторский клуб; история, сжатая до календаря.* • *Образы внесетевых сообществ и институций.*

• *История продолжается.....* 15

Наталья ПОТАПОВА

Историческая периодика: ситуация языкового выбора
Образ издания. • *Образ автора.* • *Образ материала.* • *Герои и их функции.*

• *Тема: способ проблематизации.....* 35

Никита ДЕДКОВ

Проблема учебника истории
Вопрос государственной важности. • *А споры продолжаются.* • *Учебники и эксперты.* • *Язык и структура.* • *Концепции и идеологии.....* 50

Антон КОРОЛЕНКОВ

Динамика книжных изданий по истории и структуры чтения
Общая динамика изданий. • *Типы изданий.* • *Исторические периоды: интересы издательств и читателей.* • *Некоторые тенденции издательской политики.*

• *Рецепция исторической литературы.....* 76

II. НОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

Ирина ЧЕЧЕЛЬ

Мифы и «реальность» истории: об одной тенденции
в новейшей историографии
«Здравомыслие» в исторической науке: ракурс проблемы. • *Методологические основания исследования проблемы «здравого смысла»: историографическая «контекстуальность»; лингвистическая «контекстуальность».* • *«Здравый смысл» в отечественной историографии 1990-х — начала 2000 гг.....* 93

Дмитрий АНДРЕЕВ

Власть: механизмы и режимы

Легитимация власти и ее сценарии. • Архитектурно-ландшафтные презентации власти. • Наследование власти. • Советники власти. • Переходные режимы.

• Становящиеся режимы. • Тупики представительства. • Режимы по краям 122

Дмитрий АНДРЕЕВ, Вадим ПРОЗОРОВ

Конспирология и эсхатология на рубеже тысячелетий

Новые тенденции в изучении конспирологии. • «Конец истории» против Конца Света, или Заговор против эсхатологии. • Постмодернистская тоска по утраченному чувству времени, или Грезы о Средневековье. • Режим Возрождения: неожиданная находка постмодерна. • «Маятник Фуко» — энциклопедия постмодернистской конспирологии. • От «Нового ренессанса» к «Новому гностицизму». • Литературная подсказка к конспирологическим загадкам.

• Эсхатология как проект 154

III. МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ

Михаил КРОМ

Отечественная история в антропологической перспективе

Менталитет: *pro et contra*. • Историческая антропология: от теоретических дебатов к конкретным исследованиям. • Микроистория: поиски метода.

• История повседневности: потребность в концептуализации 179

Татьяна ДАШКОВА

Гендерная проблематика: подходы к описанию

«The best from the West»: феминизм, «женские» и гендерные исследования на Западе. • «Back in the USSR». «Женские» и гендерные исследования в России и странах СНГ: возникновение сообщества и развитие институций. • «Женское», «политическое», «бессознательное»: интеллектуальные стратегии и формы саморефлексии в трудах отечественных исследователей. • География и типы научных изданий. • Дисциплинарные границы и познавательные «повороты».

• «Женские истории»: тематические приоритеты и лакуны 203

Александра БАХТУРИНА

Имперская государственность и российская этнополитика

Россия — государство-империя? • Этнополитические аспекты

имперской государственности 246

Дмитрий ЛЮКШИН

Крестьяноведение в исследовательском поле аграрной истории

Вновь определяя крестьянство: российский дебют крестьяноведения. •

Крестьяноведческие методы и отечественная традиция аграрной истории: конфликты и компромиссы. • Рефлексивное крестьяноведение: генезис дискурса.

• Историческая антропология в крестьянском измерении: функции и границы 268

Сергей АНТОНЕНКО

Конфессиональная составляющая исторического дискурса современной России

Дело государственной важности. • Сакральная лексика в науке. • Христианство или «двоеверие»? Новое открытие «Святой Руси». • Церковь в государстве:

«тождество», «симфония» или пленение? • Апологеты и обличители православной цивилизации: в поисках формулы русской истории. • Церковь как субъект

исторического познания, или церковная историография сегодня 282

IV. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Константин СУЛИМОВ

- Тема консерватизма в научно-исторических представлениях
Исходная «матрица». • Восстановление «исторической справедливости».
 • «Очевидность» консерватизма. • «Хранители» vs. «охранители». • Экстремизм
 vs. Радикализм. • «Русский консерватизм». • Тематическое единство —
 «чехарда понятий». • Научное сообщество: «творцы» «консерватизма»..... 315

Александр МАКУШИН

- Узловые проблемы истории российского либерализма
Вместилище добродетелей, или вектор мышления? • Стихийность или
 конструктивизм? • Корни и заимствование. • Либерализм и консерватизм.
 • Либерализм и национализм. • Либерализм и демократия. • Либерализм и
 радикализм. • Милюков и Маклаков. • Февральская революция.
 • Социальная база, или среда восприятия? 341

Геннадий МОКШИН

- Реформаторское народничество и проблемы самоидентификации
 российской интеллигенции
*Изменение приоритетов в изучении революционного и реформаторского
 народничества*. • Что такое русское народничество? Новая постановка
 проблемы. • «Реабилитация» легально-народнической концепции модернизации
 России. • «Либеральное» или «реформаторское» народничество? Две линии
 в изучении идеологии правового народничества. • «Ахиллесова пята»
 реформаторского народничества (К вопросу о расколе интеллигенции с народом).
 • Проблемы периодизации истории реформаторского народничества..... 363

Ирина ГОРДЕЕВА

- Социалистические и леворадикальные идеи и движения в России
Предметные предпочтения. • Теоретические предпочтения: «историософский»
 подход; «объективистский» подход; новая профессиональная субкультура;
 социалисты изучают социалистов, радикалы изучают радикалов..... 389

Специальный раздел МИРОВОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ

Ирина ОЛЕГИНА

- Изучение истории России в США и Великобритании: новые тенденции
 и наследие советологии
Изучение России в Британии: традиции и поиск нового взгляда. • «The Russian
 Review» как отражение основных тенденций американского россиеведения.
 • Споры вокруг «Провала крестового похода» 411

Ольга НИКОНОВА

- Как чувствует себя «приговоренный к смерти», или
 германское россиеведение на рубеже веков
Немного институциональной истории. • Дискуссия о судьбе *Osteuropaforschung*.
 • От истории социальной к истории культурной. • Концепции прошлых лет перед
 «судом» немецких историков. • В поисках собственной парадигмы: сталинизм
 в контексте культурной истории 448

Наталья ТРУБНИКОВА

На закате теорий тоталитаризма: французская историография России
Россия глазами французских историков: общие тенденции. • *«Прошлое одной иллюзии» против усложненного «Возвращения к коммунизму».* • *Теории коммунизма в единственном и множественном числе.* • *«Обновленная» социальная история: новые поля исследований.* • *Cahiers du Monde Russe* — ведущее периодическое издание французской русистики..... 479

Василий МОЛОДЯКОВ

Горячий пепел «холодной войны». Японское россиеведение последних лет
«Архивный бум» и его последствия. • *Москва как «метрополия» японского россиеведения.* • *Народники и «рисовая цивилизация» — национальный вектор японских исследований.* • *Россия «из вторых рук»: европейско-американский фактор.* • *Научная среда.* • *Русские учёные в японском россиеведении.* • *Японские россиеведы и российские читатели*..... 509

Константин ЕРУСАЛИМСКИЙ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

История, историк и источник в конфликте интерпретаций.....530

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ556

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание книги

«Исторические исследования в России–I.

Тенденции последних лет» (1996).....560

Предисловие

РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Геннадий БОРДЮГОВ

Семь лет назад появилась книга «Исторические исследования в России. Тенденции последних лет». Она была воспринята специалистами и критиками как прорыв в современном историознании. Время показало справедливость стремления авторов воспринимать историографический процесс с позиций преемственности, а не в плоскости победы или поражения той или иной концепции. Подтвердилась уверенность в том, что в новых условиях история будет востребована не только как знание, но и как инструмент осмысления происходящего, а призывы к покаянию, преодолению комплекса ущербности предстанут лишь как идеологическая задача, не способная подчинить себе историка. Верными оказались и наблюдения по поводу опасных последствий всеобщей увлечённости спорами о преимуществах того или иного подхода (цивилизационного с его якобы идеологической нейтральностью над формационным, тотального или доктринального над «социальной историей»), беспечности следования единственному интеллектуальному абсолютизму — либерализму. Платой за это оказался постмодернизм, поставивший под сомнение саму необходимость существования истории как науки.

Раскрытие основных тенденций исторических исследований в России в 1989–1996 гг. стимулировало многих авторов ставшей знаменитой книги и других участников АИРО-XX к продолжению первоначального замысла в трех новых взаимосвязанных проектах, результаты которых в 1999–2002 гг. были представлены научному сообществу — «Создание национальных историй в советском и постсоветских государствах», «Мифы и мифология в современной России», «Новые концепции российских учебников по истории» (они освещены в 9 опубликованных сборниках, материалах и докладах, 15 журнальных и газетных публикациях — см. Справочник «Развитие альтернативных структур в исторической науке. АИРО-XX: издательским программам и научным проектам 10 лет» (М., 2003)).

Первый проект был важен с точки зрения фиксации процесса образования новых государств, сопровождавшегося пересмотром представлений людей бывшего единого пространства о самих себе, кризисом самосознания в рамках существования старых и новых идентичностей, в том числе национальных, болезненными проекциями, порожденными отрицанием *ancien régime* и его политической и социокультурной системы, складыванием понятия «своего» и «чужого» прошлого. Второй проект способствовал выявлению новых мифотворческих видов историографических интерпретаций, дешифровке новых мифов о прошлом, функция которых заключается в искажении общего сознания в пользу определенных политических соображений. Третий проект позволял рассмотреть идею государственного интереса в обучении истории, социокультурные цели, свободные от ксенофобии, эклектики, двойного стандарта, ответить на вопросы: зачем нужна история, с какой целью школьникам сообщаются знания об истории вообще

и истории России, в частности, в чем смысл тех противоречий преподавания, которые связаны с отказом от методологического монизма и др.?

Конечно, представленные результаты не стали отвлечёнными интеллектуальными играми в своём кругу, ни в коем случае не претендовали они и на то, чтобы дать какой-то рецепт единственно возможного «переписывания истории» и историознания. Не случайно Ассоциация внимательно следила за исследованиями других научных центров, откликалась на участие в разных проектах.

«Исторические исследования—II» посвящены 1997–2002 гг., когда в нашей науке, казалось бы, ничего фундаментального не произошло, но появилось несколько интересных тенденций. Главное, что история по-прежнему обладает большой притягательной силой в обществе, даже когда размываются критерии научности (превращаются в бодрийеровский симулякр), телевизионные выступления отдельных персон напоминают спиритические сеансы, а всё настоящее оказывается чуть ли не в андерграунде. Прошедшие семь лет всё-таки не стали годами подлога. Перестают работать многие иерархические модели в исторической среде. Бытование истории с интернетом становится более удобным — последний не решает научных задач, но прочищает сознание.

Причин всему этому несколько и мое субъективное их объяснение может быть следующим.

Похоже, что нынешний режим власти пока опровергает тезис о том, что в любом обществе власть задает набор схем, создающих дискурс эпохи, определяет, что именно будет считаться нормой, истиной и знанием (*Мишель Фуко*). История не используется как политический рычаг. Правда, разговоров о возрождении «охранительных» тенденций, имперских или монархических всплесков общественной мысли все еще предостаточно. Под воздействием исторических юбилейных дат время от времени обостряется проблема ресурса патриотизма, на что тут же следуют заявления об исчерпанности этого ресурса в условиях индивидуализма и пропаганды партикулярных интересов (*Александр Солженицын*). Не прошли незамеченными история с гимном, пожелание «навести порядок» в преподавании истории России XX столетия (премьер-министр *М. М. Касьянов*, август 2001 г.), обсуждение проблем Древней Руси (встреча президента *В. В. Путина* с историками, январь 2002). Этого было достаточно, чтобы некоторые запаниковали, увидев за обмолвками-оговорками стремление к «управляемой истории» (выражение *Б. М. Витенберга*).

Кстати, желание этого не скрывается многими в наших академиях и университетах, как, впрочем, очевидно и их стремление прикрыться властью, в данном случае правительством Касьянова, приписав ему цель «наведения порядка». Но кто составлял «Концепцию преподавания истории XX века» и предлагал следовать ей участникам помпезной всероссийской научно-практической конференции (декабрь, 2001)? К сожалению, так и остались неизвестными авторы, предложившие исключить из процесса преподавания «откровенно антигосударственные, антисоциальные и конфронтационные трактовки» и вести «освещение дискуссионных тем (Великая российская революция и гражданская война, коллективизация, реформы 1990-х гг. и др.) в соответствии с концепцией нелинейности и противоречивости общественного развития, сложности проблем, вставших перед обществом, невозможности их безболезненного решения...». И всё же я не думаю, что готовится унификация учебников истории или цензура истори-

ческих книг (показателен недавний протест *Умберто Эко* против подобной попытки в Италии).

Новые условия общественной и научной жизни, иные коммуникационные связи делают невозможным любое «присвоение прошлого», хотя сам синдром борьбы за это не исчез. Усилившаяся конкуренция между профессиональным и популярным историческим знанием делает эту борьбу бессмысленной. В писательской, к примеру, среде былой интерес к антиутопиям сменился противлением новой мифологизации истории, подобной «Красному колесу», катастрофичность описаний прошлого тут же получает в ответ иронические описания тех же событий, отрицание случайности — фантастические допущения (*Евгений Попов, Василий Аксенов, Саша Соколов, Вячеслав Пьейух, Владимир Сорокин и др.*). В среде журналистов и публицистов, уловившей абсурдность попыток формирования у граждан комплекса неполноценности, возникла дискуссия о пагубности тезиса о «неудачности российской истории» (*Виталий Третьяков*), ведущего к тому, что если, перефразируя Достоевского, истории в позитивном смысле не существует, то всё позволено в настоящем. (Признаюсь, что и сам втянулся в эту дискуссию, создав с *Аланом Касаевым* проект «Удачи минувшего века» — см. журнал «Новая модель», 2002, № 1–5 — 2003, № 1–10). Бесперспективность риторических способов «присвоения прошлого» постсоветской историософской мыслью (*А. Ахиезер, И. Чубайс, Ю. Пивоваров, А. Фурсов, В. Кантор, А. Дугин, А. Панарин, Е. Троицкий, А. Савельев и др.*), наконец, тоже нашла убедительную критику (*Г. И. Зверева*).

Неизбежное расставание с иллюзией о закрытом характере исторической науки, о том, что история основана на универсальном методе, конечно, заметно усилило позиции не-историков, отстаивающих право говорить и писать об истории. Наиболее активными в этом оказались постмодернистские мыслители, готовые писать обо всем, не будучи специалистами. Хотя сегодня для многих очевидно, что благодаря постмодернизму произошла политизация гуманитарных дисциплин, поскольку постмодернизм, не желающий оставаться в рамках метода и претендующий на абсолютность, стал не новым инструментом интеллектуального анализа, а орудием контроля над мыслью. Своим релятивизмом он внёс путаницу и поднял на щит гендер, деконструкцию и другие суперсовременные темы. Постмодернистский способ мышления по-прежнему заявляет, что историческое знание деструктивно, оно мешает настоящему, а поскольку ничто в мире не повторяется, то нет и необходимости историзировать, вообще знать историю. От «бремени истории» надо освободиться. Поэтому и не возникло постмодернистской истории — ее ожидание некоторыми представителями нашей среды, судя по всему, оказалось ошибочным. Ведь с точки зрения «освободительного» дискурса постмодернизма, бессмысленно «впрягать в фургон будущего старую хромую клячу, которая отзывается на кличку «история» (*Кит Дженкинс*). Итак, бывшая привлекательность постмодернизма (как искать в текстах скрытый смысл и противоречия и др.) сменилась, как мы видим, очередным экстремизмом, что дает основание еще раз повторить: интеллектуальные абсолютизмы приходят и уходят, а история остаётся.

Неудовлетворённые идеями постмодернизма, многие гуманитарии обратились к «новому историзму» с его требованием «более симметричного обмена между двумя половинками калейдоскопа, обращённого в прошлое», — между историей и литературой (*Александр Эткин*). Преодоление барьеров между ком-

плексами гуманитарных дисциплин, стремление выйти из «дисциплинарного гетто», новые коммуникационные возможности стимулировали дискуссию о языке описания прошлого, установлении параметрических связей между разными дисциплинами, его анализирующих. Методологические возможности здесь много: мультидисциплинарность, получающая обоснование в идеологии эпистемологического анархизма П. Фейерабенда; монодисциплинарность; трансдисциплинарность, когда одна дисциплина находится по отношению к другим на метауровне; плюридисциплинарность, в ситуации которой одна дисциплина образует по отношению к другим дисциплинарность в смысле Е. Куна; интердисциплинарность; дедисциплинарность как сознательный эклектизм методов (структура предложена *Пеетером Торопом*).

В то же время надо признать, что «натиск» других дисциплин, их логика по-прежнему всерьёз не воспринимается большей частью профессионального исторического сообщества, считающего, что нетеоретичность исторического знания — полезна, а занятия методологией и философией — вредно (*Джо Тош, Антуан Про*).

В контексте названных тенденций и выходит данный сборник. Он, несомненно, несёт отсвет изменений в тематических и ценностных ориентациях российских историков, а по замыслу исходит из того, что инициатива изменений в элитарном производстве принадлежит «новичкам», молодым, обладающим наименьшим объёмом специфического капитала и добывающимся новых форм мыслей и экспрессии, которые, не совпадая с господствующим способом выражения, не могут не приводить в замешательство своей «неудобопонятностью» и «немотивированностью» (*Пьер Бурдьё*).

Авторы книги не были вовлечены в «борьбу за прошлое» и заполнение так называемых «белых пятен». У них свой опыт и групповое самосознание, несводимые к возрастной дифференциации, нормальное, как мне кажется, и восприятие нарушений дисциплинарных границ. Они чувствительны к западным авторитетам и не относятся к ним как периферийным по отношению к «российским авторитетам» (выражение М. Ямпольского), хотя, как представляется, удельный вес «чужого» знания о нашем прошлом, в отличие от 90-х гг., стал заметно снижаться. В то же время авторы сборника не в стороне от внутренних проблем российской исторической науки: несовпадения интересов отечественных и зарубежных заказчиков современных проектов и внутренних потребностей науки, последствий проникновения в научное пространство рынка, а с ним моды и конкуренции за лучшую «упаковку» исторического знания.

Вместе с первой эта вторая книга охватывает пятнадцатилетний, рубежный, критический период исторических исследований в России. Однако, как это ни покажется странным, для АИРО это будет последний историографический сборник в традиционном понимании. Работая над ним, все участники проекта чувствовали, как сложно представить всё многообразие современного историознания, как трудно систематизировать новейшую проблематику исследований. Всё равно многое окажется условным, неполным, не достигнет нужной глубины понимания. Современному исследователю, несмотря на всё разнообразие форм внутрицеховой коммуникации, скорее всего, придётся быть готовым к индивидуальному обретению знаний об историографическом процессе, к самостоятельному и тонкому прочтению результатов очевидного или неочевидного консенсуса курсов различных гуманитарных дисциплин.

I

Условия и структуры

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ В РУССКОМ ИНТЕРНЕТЕ

Ирина КАСПЭ

Сказать, что эта тема слишком обширна для одной статьи, недостаточно: фактически она представляет собой уравнение с двумя неизвестными — «интернет» и «история» (1). Выбор сетевых материалов в качестве источников неизбежно предполагает двойственность оптики. С одной стороны, слово «интернет» подразумевает многообразные и, в последнее время, всё более многочисленные социальные группы, готовые перенести свои представления об истории в сетевое пространство и обладающие необходимыми для этого материальными и техническими ресурсами. Соответственно, исследовательская задача — реконструировать представления об истории, учитывая их социальный и культурный фон. С другой стороны, интернет может рассматриваться как специфическая среда, во-первых, поощряющая возникновение новых субкультурных практик, а во-вторых, диктующая собственные способы подачи, восприятия, хранения информации. С этой точки зрения моей задачей будет описать, каким образом специфика такой неоднородной среды оказывает влияние на репрезентацию исторического знания и, возможно, — на представления об истории. Обе задачи вряд ли решаются в отрыве друг от друга. Разумеется, в сети воспроизводятся те же образы прошлого, которые актуальны для внесетевого информационного пространства, те же образы, которые поддерживаются внесетевыми институтами и транслируются внесетевыми сообществами. Едва ли не большинство сайтов, имеющих отношение к истории, комплектуется в основном за счёт перепечатки «бумажных» публикаций. Однако вопросы, как и с какой целью это делается, приобретает ли попавшая в интернет информация иной статус, меняется ли её адресат, — очевидно, позволят связать две обозначенные выше проблемы.

Прежде чем пояснить, что именно в этом обзоре будет пониматься под словом «история», какая именно история будет отыскиваться в сети, я остановлюсь — коль скоро сборник посвящён отечественной историографии — на тех трактовках темы «история и интернет», которые уже предлагались в русскоязычных исследованиях. В отдельных случаях — особенно в наиболее ранних работах — синонимичными формулировками темы оказываются «история и компьютер», «история и мультимедийные технологии»; я постараюсь это учитывать.

Самые первые попытки сделать интернет объектом исследования были отмечены вниманием именно к истории. Проблема исторического сознания и его трансформаций оказывается рамкой, с помощью которой М.Б. Ямпольский рассматривает интернет как некое целостное культурное явление (2). В данном случае обобщённые результаты довольно беглых наблюдений за сетевым пространством — «быстрое устаревание информации», её «мгновенная циркуляция», «исчезновение тайного знания», «уравнение документов разного значения», «отсутствие связной наррации» — становятся своеобразными метафорами, укладывающимися в ключевую концепцию «постархивного состояния». Эта линия рассуждения была продолжена, например, Д. Ю. Голынок. Интернет, электронные арт-проекты и «имитирующие мультимедийную форму» литературные опыты подразумевают для исследователя «упразднение истории»: «В метаутопии киберпространства в одной нерасчленимой «паутине» перепутаны современность и прошлое, будущее и пустота» (3).

Противоположная стратегия — скорее, реферативное описание тех или иных сетевых ресурсов, по ходу которого оценивается их концепция и удобство использования, прежде всего в «учебных целях». Именно такой подход лежит в основе статьи Т.В. Лохиной «Обзор и перспективы развития источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в отечественных интернет-проектах» (4).

Намерение соединить прагматический и, условно говоря, культурологический интерес к электронным формам репрезентации истории было реализовано германским исследователем К. Вашиком. Хотя в его докладе, прочитанном на одной из конференций РГГУ, анализируются не интернет-проекты, а «новые мультимедийные технологии» и, в частности, мультимедийные учебные пособия, для нас в данном случае важен ракурс исследования: конкретным методологическим разработкам предпосылается общий анализ «проблем формирования исторического сознания в России в 1990-е годы» (5). Таким образом, новые способы структурировать и преподносить информацию — «нелинейность», «многоканальность», «визуализация времени и пространства», «интерактивность» — рассматриваются не столько как прямые свидетельства перемен, произошедших с историческим сознанием, сколько как потенциальные дидактические средства, то есть как возможность скорректировать представления об истории.

Отчасти тема «история и интернет» затрагивается в статье Б.В. Дубина — «Русский ремонт: проекты истории литературы в советском и постсоветском литературоведении». Концепт «история» в данном случае понимается максимально широко, в центре внимания — социальные механизмы, с которыми может быть связана актуальность «исторической» оптики. Если в начале исследования оговаривается «самый общий, принципиальный смысл... исторических моделей при описании и объяснении фактов культуры», то интернет, напротив, не воспринимается как целостная, замкнутая на себя система и распадается на ряд институций — интернет-журналы, интернет-библиотеки (6).

Из признания институциональной неоднородности сетевой среды я и намереваюсь исходить. Интернет как сложноорганизованное социальное пространство всё больше привлекает внимание исследователей. С одной стороны, предпринимаются попытки опровергнуть распространённое представление об интернете как о ещё одном (дополнительном/основном/претендующем на тотальность) медиа-канале (7). Очевидно, что интернет — это не только СМИ, а, согласно наиболее радикальным точкам зрения, — совсем не СМИ: «В Интернете создаётся качественно отличная от обычных СМИ информационная среда, основная модель которой — это *доступ* к информации (в отличие от *распространения*)» (8). С другой стороны, активно разрабатывается тема интернет-сообществ, под которыми могут пониматься и приблизительные аналоги «воображаемых сообществ» Б. Андерсона, и вполне конкретные группы, складывающиеся вокруг форумов, чатов, гостевых книг того или иного сайта (9). Наконец, живой интерес вызывает то, каким образом сетевое пространство осваивается «научным сообществом» вообще и теми или иными научными сообществами, в частности (10).

Итак, сосуществование, более того, сложное переплетение социальных институтов, причём, лишь в редких случаях собственно и исключительно сетевых, не позволяет говорить о некоем едином конструкте интернет-истории. Введя слово «история» в поисковую систему, мы будем иметь дело и с «научной» (или «альтернативной», «псевдонаучной») дисциплиной, и с отраслью образования, и с одним из способов конструирования символического универсума («бытовое» знание о прошлом). Хранилище прошлого, рассказ, повествование о прошлом — все эти образы истории здесь, разумеется, актуальны. Чтобы обнаружить границы, разделяющие это пространство, и систематизировать интересующий меня материал, я намереваюсь прежде всего выделить несколько модальностей, в которых может репрезентироваться история: если в одних случаях фиксируется «живая» история, история текущей повседневности, то в других (они будут рассмотрены наиболее подробно) репрезентруется именно историческое знание, с его специфическими нормами упорядочения и трансляции смыслов; в отдельную группу можно выделить сетевые проекты, представляющие не столько «знание», сколько те или иные внесетевые институции (сайты архивов и музеев, страницы исторических факультетов, электронные версии исторических журналов и энциклопедий); наконец, каталоги и коллекции ссылок ориентированы на представление собственно сетевых моделей истории. Попутно я постараюсь учитывать и другие ракурсы — история как область вымысла (исторические романы), история как идеологический инструмент (11), история как товар (12), — однако эти ракурсы не будут специально проблематизироваться исключительно по причине потенциальной необъятности темы «история и интернет». Очень бегло я коснусь образовательных проектов и учебных ресурсов — при этом в мои задачи не входит их методологическая оценка.

Подчеркну, что речь пойдёт не только о веб-сайтах, но и о подпроектах и страницах, нередко обладающих самостоятельной концепцией. Все ресурсы,

которые будут упомянуты в этой статье, за исключением специально оговоренных случаев, регулярно обновляются.

Обзор я начну с каталогов и коллекций ссылок — чтобы выяснить, как могут выглядеть обобщенные образы «сетевой истории».

Образы сетевой истории

Каталоги ссылок не только отражают представления об истории в интернете, но и в высокой степени их формируют. Наиболее значимую роль здесь, очевидно, играют подкаталоги поисковых систем. Характерно, что если англоязычный «Google» предлагает разветвленную рубрикацию, в которой «история» относится и к категории «society», и к категории «science», а дополнительно отыскивается в ещё нескольких разделах и дробится на множество подрубрик, то, скажем, рубрикация «Яндекса» выглядит более неприхотливо: «Наука и образование / Гуманитарные науки / История» (впрочем, можно попробовать поискать «Историю» ещё и в разделе «Материалы архивов и библиотек», что позволяет значительно сузить поиск, но не делает, однако, более конкретным сам образ истории). При этом «Google» для рубрикации гуманитарных наук использует самый нейтральный принцип — дисциплины следуют друг за другом в алфавитном порядке, в то время как «Яндекс» предлагает рейтинг той или иной дисциплины — и на первом месте оказывается именно «История». Каталог «Рамблера» и вовсе выносит «Историю» на первый уровень рубрикации. Разумеется, каждая поисковая система выстраивает собственную версию того, какие именно сайты следует считать историческими. Рейтинги, создающие впечатление, что каталог объективен и беспристрастен, структурируют информацию и внутри подраздела «История». Топ-листы активно практикуются поисковыми системами: может подсчитываться как количество посещений (на «Рамблере»), так и индекс цитирования — то есть мера популярности сайта или веб-страницы у создателей других ресурсов (на «Яндексе»). Лидеры весьма характерны — сайт «Военно-морской флот» («Яндекс») и раздел «История» в «Библиотеке Мошкова» («Рамблер»).

Систематизации сетевых материалов по истории могут быть целиком посвящены и отдельные сайты. Каталог «Интернет-История» (13), подчёркнуто «частный» и «некоммерческий», открыт для любой новой информации об исторических ресурсах — и именно таким образом утверждает собственную объективность и беспристрастность. Фактически любая ссылка может обрести своё место в одной из подрубрик — «Отечественная история», «Всеобщая история», «Региональная история», «Наука и образование», «Хобби»... Произвольность отбора легитимизируется утопической задачей: «показать пользователю весь массив исторической информации, открыть доступ профессионалам к историческим ресурсам WWW, тогда и содержание многих любительских проектов перейдет на иной, более качественный уровень».

Составители каталога «Ресурсы WWW по истории» призывают: «Если Вашего исторического сайта нет в данном списке, сообщите нам об этом. Пожалуйста, разместите на Вашем сайте ответную ссылку» (14). Предлагаемые списки «по истории России» или «Всемирной истории» вполне могут прочитываться как связный нарратив, в котором и анекдоты, и, скажем, роман о чеченской войне складываются в достаточно типичный комплекс представлений о прошлом.

Итак, «история» — самый обширный раздел интернет-каталогов: под «историей» могут подразумеваться любые социальные практики, к которым по тем или иным причинам необходимо привлечь внимание, любые проекты, которые по тем или иным причинам сложно классифицировать. Такой ускользающий, неопределимый, всепоглощающий образ истории неоднократно описывался методологами дисциплины и сам по себе, разумеется, не указывает на специфически сетевые или специфически российские модели восприятия. Характерно, однако, что отечественными каталогами фактически транслируется исключительно он, а вопросы о механизмах, которые могли бы ограничить аморфность этого образа, остаются неактуальными. Такая история, как воронка, втягивает в себя множество разнородных ресурсов; конструируя аморфный образ, составители каталога в каждом отдельном случае руководствуются той или иной логикой, той или иной стратегией выбора. Эти стратегии сами по себе показательны. Показательно, что в воронку попадают анекдоты и биографии голливудских звезд — в обоих случаях сам тип наррации распознаётся как исторический. Показательны и наиболее популярные темы: безусловно лидирующая военная история и Вторая Мировая война, дом Романовых и генеалогия русских царей, история древних цивилизаций (включая Гиперборею и Атлантиду) и, как ни странно, история транспорта. Этот перечень маскулинных и одновременно инфантильных предпочтений на первый взгляд вполне совпадает с социологическими описаниями восприятия истории в современном российском обществе — так, Б. В. Дубин связывает массовый интерес к последним Романовым с реализацией потребности в «символах и символическом престиже национального целого» (15), а в другом месте отмечает две тенденции, в равной степени обусловленные российским («монологическим, мемориально-панорамным») видением истории: утопическое дистанцирование от настоящего и конструирование «истории победителей» (16). Однако для того, чтобы проследить, каким образом и в какой мере конструирование прошлого соотносится с конструированием настоящего, каталожных ссылок явно недостаточно — необходим более детальный анализ сайтов, преподносящих себя как исторические.

Такой анализ будет предпринят в следующей главе, а в завершение этой стоит вспомнить ещё об одной форме систематизации сетевых образов истории — практически каждый сайт предлагает собственную коллекцию ссылок. Казалось бы, линк-листы могут стать отчётливым отражением общей стратегии сайта, однако, попытки сознательно ограничить отбор каким бы то ни было критерием — скорее, исключение (например, на сайте «1812 год» (17)

размещена коллекция ссылок «по смежной тематике»; а составители сайта «Империи: сравнительная история» (18) предпочитают ссылаться на ресурсы по российской и региональной политической истории). Более распространён другой подход: определить, почему линк-лист электронного журнала «Мир Истории» открывается «Археологией.ру» и завершается «Музеем лошади в Кентукки», в принципе, невозможно (19). При этом коллекции разных сайтов практически не пересекаются, а наиболее внушительные перечни ссылок на исторические ресурсы — причём в наибольшей степени совпадающие с топ-листами поисковых систем — предлагают, пожалуй, сайты, отнюдь не считающие себя историческими (филологическая «Рутения» (20)). Всё это не свидетельствует о существовании единого информационного пространства «сетевой истории». Однако, вынужденные обозначать своё место в таком условном пространстве, моделировать отношения с ним, веб-сайты тем самым предлагают собственную версию того, как это пространство может быть устроено, иначе говоря — конструируют собственный образ сетевой истории. Перечислим несколько наиболее чётко выраженных стратегий:

— Попытка стать центральным историческим ресурсом: «В деле объединения исторических ресурсов ХРОНОС призван стать структурообразующим элементом, через который (точнее говоря, через хронологические таблицы которого) возможно будет оперативно находить необходимые пользователю материалы в непосредственной (гипертекстовой) связи с требуемым историческим контекстом» (21).

— Претензия на монополизацию: существующий на базе «Хроноса» сайт «История России» сам объединил внушительное количество ресурсов, причём, вопреки названию, не только по отечественной, но и по «всемирной» истории. Надобность в линк-листе в данном случае, конечно, отпадает: «Просьба web-дизайнерам сайтов, на которых публикуется литература исторического содержания, дать разрешение на публикацию работ на сайте “История России” с сохранением источника публикации. Также просьба своевременно сообщать о публикациях на своем сайте» (22). Надо полагать, обо всех.

— Дистанцирование от других сетевых ресурсов: сайт «Международный исторический журнал», позиционирующий себя как первый и едва ли не единственный «профессионально-ориентированный исторический журнал в сети Интернет», тоже не имеет коллекции ссылок (23).

— Активное коллекционирование ссылок: проект программиста Олега Ланцова, подчёркнуто охарактеризованный как «Домашняя страница», содержит одну из самых обширных коллекций ссылок по «отечественной истории» (24).

Итак, сетевая «история» в целом может казаться и аморфной, и имеющей центр, и раздробленной, и сгруппированной вокруг сайтов-монополистов, и пустующим пространством, и густо населенным. Осталось обнаружить более частные образы истории.

Образы исторического знания

В этой главе мы поговорим о проектах, в структуре самоопределения которых так или иначе присутствует инстанция «исторического знания», о проектах, ориентированных на воспроизведение тех или иных нормативных моделей обращения со следами прошлого, а нередко — непосредственно на то, чтобы зафиксировать уже «добытое» знание.

Названия таких сайтов, как правило, не оставляют у посетителей сомнений в том, что перед ними — ресурсы «по истории». При этом в заголовок может быть вынесена «история» как таковая, без каких бы то ни было видимых ограничений — «Лабиринт времён» (25), «Мир истории», «Международный исторический журнал». Все перечисленные сайты копируют принципы организации «бумажных» журналов — разбиваются на отдельные «номера», имеют постоянные рубрики, а «Мир истории» обзаводится собственным ISBN. Таким наиболее привычным для создателей проекта образом отчасти решается проблема упорядочения материала. В других случаях задаётся более узкая рамка представления «истории» — как правило, по хронологическому, географическому или, реже, субдисциплинарному принципу («Два века»(26), «1812 год», «История Древнего Рима» (27), «Археология, кельтика, скифика» (28)).

Для того, чтобы обозначить собственное место по отношению к «историческому знанию», авторы проектов чаще всего используют оппозицию «любитель-профессионал» — с этой в самом деле популярной риторикой мы уже сталкивались в предыдущей главе. Принадлежность «профессиональной» / «академической» / «научной» истории (все эти определения чаще всего воспринимаются как синонимичные) маркируется развёрнутыми сведениями о создателях и авторах того или иного сайта — обязательно указывается научная степень, подчёркивается принадлежность к академической среде, нередко оговаривается область исследовательских интересов. Не менее подробно характеризуют себя авторы проектов, акцентированно преподносящихся как «любительские». Здесь едва ли не самым распространённым оказывается оборот «историей увлекаюсь с детства» — вспомним о повышенном интересе к историям, легко вызывающим «детские» ассоциации: от игры в железную дорогу до истории Древнего мира, с которой начинается школьная программа. Более редко и менее отчётливо в самоописаниях акцентируется принадлежность истории «альтернативной», «маргинальной» (в качестве мэйнстрима воспринимается, конечно, тот же обобщенный конструкт «академической» истории) — в этом случае авторская биография выстраивается либо как мистификация, либо как набор фактов, демонстрирующих «нехарактерность», «особость» жизненного пути. Маски «профессионала», «любителя» и «маргинала», ярко выделяясь на фоне более сложных и менее отрефлексированных ролей, оказываются способны взаимодействовать между собой в сетевом

пространстве, противостоять друг другу и уживаться друг с другом, иными словами, определять риторiku говорения о сетевой среде. Сценарии болезненного противостояния или, напротив, демократичного сближения «профессионалов», с одной стороны, и «любителей», «маргиналов», с другой, поддерживаются специфической чертой русского интернета: неоднократно констатировалось, что научно-образовательные проекты появились в Рунете значительно позже всех прочих, тогда как в США и в большинстве европейских стран, напротив, именно такие проекты спровоцировали интерес к сетевым возможностям. С другой стороны, отечественные «исторические» ресурсы гораздо более склонны к подобным оппозициям, чем, скажем, филологические, социологические, политологические. Что вполне согласуется с распространённым мнением о «двойном статусе» исторического знания, привлекательного и для узкого круга «специалистов», и для самой широкой аудитории.

Действительно, среди русскоязычных сайтов можно выделить проекты, отчётливо ориентированные на воспроизведение актуального образа «истории как дисциплины». «Актуальность», естественно, может пониматься весьма по-разному, однако это критерий, соответствию которому подобные проекты пытаются так или иначе продемонстрировать: читая новостные ленты, отчёты о конференциях, рецензии на новые книги, посетители имеют возможность оценить степень социальной адаптации, информированности о «научной» среде. Образ «профессиональной истории» при этом может выстраиваться либо через автоматическое воспроизведение наиболее на данный момент традиционных (сформировавшихся в советское время) моделей академического знания («Международный Исторический Журнал»), либо через достаточно хаотичную и неотрефлексированную отсылку к тем или иным авторитетным, нередко персонифицированным инстанциям (например, для создателей сайта «История России» такая инстанция явно воплощается в образе Тойнби). Возможны (хотя чрезвычайно редки, если не единичны) и другие стратегии: продемонстрировать широкую осведомлённость о многообразии современных моделей научного знания, о неоднородности научного сообщества и преподнести собственный образ актуальной истории как результат осознанного выбора («Империи: Сравнительная история»). Представления об истории как дисциплине транслируют и сетевые учебники, коллекции рефератов. В большинстве случаев такое редуцированное до «школьной» или «вузовской» программы историческое знание приобретает форму шпаргалки, призванной дать максимально расплывчатые ответы на максимально стандартные вопросы (29).

В то же время задача соответствия «актуальным» дисциплинарным рамкам истории не всегда оказывается приоритетной и вообще далеко не всегда ставится, что отнюдь не исключает апелляции именно к историческому знанию. Каким образом это происходит, какие типы исторического знания при этом наиболее востребованы, я и попробую выяснить. Речь пойдёт как о сайтах, которые считают себя «профессиональными», так и о сайтах, которые не

претендуют на эту роль — значимыми окажутся более сложные формы самоопределения.

КРОВЬ, ПОЧВА, БЕССРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

В эту группу попадут сайты, которые воспроизводят «романтический» образ истории, позволяющей сохранить национальную память и сформировать национальную идентичность. Сюда относятся и «патриотические» или «православные» сайты, призванные «воскресить дух великой нации», и разнообразны краеведческие ресурсы, нередко попутно выполняющие функции путеводителей, и проект «Победа», вписанный в PR-кампанию одной из поисковых систем: «Почти всё, что Вы захотите узнать или найти в российском Интернете, можно будет найти на самом Рамблере. В том числе и свидетельства великой войны, забывать о которой — нельзя» (30). Большинство этих сайтов распознается по символически нагруженному дизайну, колоколам, куполам и атрибутам воинской славы. Сайты, о которых идёт речь, проявляют внимание к историческим периодам с семантикой истоков (древняя Русь), победы (Великая Отечественная Война) или «утраченной истории» (декабристы, последние Романовы) — скажем, именно интерес к Древней Руси и Отечественной войне позволяет структурировать сайт «Мир истории» и, собственно, создает образ мира истории. Однако, разумеется, далеко не всякий проект, посвящённый Второй мировой войне, имеет отношение к описываемым нами тенденциям.

Более значимо другое. В данном случае «историк» или «человек, интересующийся историей» — это тот, кто напоминает о забытом и делает тайное явным, обычно придавая прошлому единственно достойные его формы памятника и музея: «...История не прощает забывчивости. Именно поэтому первый “сайт на сайте” Рамблера посвящён 55-й годовщине Победы. Мы решили начать строительство нашего “интернет-города” с памятника» (31), «У Нашей страны было великое прошлое, о котором просто преступно забывать. Если уж искать героев для подражания, то пусть это будут наши настоящие герои, а не виртуальные Рембо (так в тексте — *И. К.*) из второсортных западных боевиков» (проект «Неизвестные герои» (32)), «Мы хотели бы помочь читателям восстановить выданные страницы нашей истории, осмыслить причинно-следственные связи событий в их логической и закономерной последовательности, а не только в бесславной и трагической» (сайт «Неизвестные страницы русской истории» (33)), «...Этот сайт посвящён истории России, а точнее красивейшей и ярчайшей её странице: декабристам. В Москве больше нет музея, памятные места, а точнее дома декабристов в ужасном состоянии и смотрятся очень убого на фоне реконструкции жилых массивов центра. И я предпринимаю слабую попытку организации хотя бы виртуального музея. Этот сайт мой долг и моя благодарность им...» («Музей декабристов» (34)). Разумеется, проекты такого типа наиболее часто и наиболее явно оказываются полем для решения идеологических, политических,

коммерческих задач. Однако риторика реабилитации «подлинной» истории может транслироваться автоматически, как одна из стандартных форм упорядочения знаний о прошлом — в этих случаях единственной целью «романтического» присвоения прошлого остаётся написание истории как таковое. Так, образ «тайной», «секретной» истории определяет построение сайта «Лабиринт времён»: «История, описанная в учебниках и научных книжках, — лишь видимая часть прошлого, многие тайны которого до сих пор скрыты временем» (35).

Иллюзию разоблачения скрытого создают отработанные шаблоны «незаполненного» или «разрушенного» исторического пространства: составителям сайта остается лишь отобрать «бумажные» статьи по характерным темам (от «масонов» до «неизвестных героев»), написать аналогичные тексты самостоятельно или заказать постоянным авторам, либо (что предпринимается чрезвычайно редко) — разыскать свидетельства очевидцев, материалы из семейных архивов, ещё не опубликованные воспоминания (среди таких редких исключений, например, сайт «Неизвестные герои»). В любом случае клише для такой работы уже заготовлены — будь то по-гегелевски одушевлённые «тайные силы истории» или «дома в ужасном состоянии», требующие, в соответствии с прагматично-реставраторской парадигмой, немедленного восстановления, пусть и «виртуального».

Чтобы утвердить образ «настоящей» истории в «виртуальном» и «ненадёжном» интернете, авторы интересующих нас проектов прибегают к усиленной, нередко тавтологической риторике «подлинности» и «документальности»: «Наш проект не приемлет “доказательств” типа “аналитики считают”, “эксперты полагают”, знающие “люди говорят”. Нет, материалы, публикуемые на нашем сайте, базируются на архивных документах, достоверных свидетельствах участников событий, новейших исследованиях учёных» (проект «Отечественная война» на сайте «Мир истории») (36), — чем исследования учёных отличаются от мнения аналитиков, а достоверные свидетельства участников событий от высказываний знающих людей, конечно, остается непояснённым.

Ещё один способ усилить переживание подлинности, невымышленности, реальности воссоздаваемой истории — постоянная апелляция к «нашим предкам». «Как наши деды воевали?» — этот вопрос, вынесенный на главную страницу давно не обновлявшегося «Дедовского сайта», контрастирует с рубрикаторм, который начинается кавказской войной и заканчивается русско-японской (37). Здесь же можно упомянуть проекты, призванные зафиксировать «память о предках» — именно такую цель ставят перед собой создатели сайта «Всероссийское Генеалогическое Древо»: «ВГД — это постоянно растущая коллекция сведений о людях, связанных с Россией, независимо от национальности и времени жизни. Основными авторами должны стать посетители. ВГД — САЙТ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ПРЕДКИ» (38). Другой, достаточно давний, проект призывает к «сохранению памяти о предках с помощью информационных технологий» и предлагает «систему бессрочного

хранения информации» (39). Образ интернета как бессрочного и бездонного хранилища памяти воспроизводят и менее утопические проекты — достаточно распространён «поиск пропавших предков» (40).

Конечно, создатели рассмотренных в этой главке ресурсов в большинстве случаев апеллируют к характерному образу «уроков истории». Однако «история, которая учит» преимущественно остаётся риторической конструкцией, стереотипной фигурой убеждения, позволяющей всем, для кого «история» тесно связана с поиском идентичности, с ходу распознавать «свои» сайты. При этом способы отбора, организации, подачи материала свидетельствуют о приоритете иного образа: знание об истории должно выполнять функции бездонной и бессрочной «памяти», а интернет воспринимается как воплощение этих функций, чуть ли не впервые сделавшееся возможным, — если не материальное, то, во всяком случае, цифровое.

НОВЫЙ АНТИКВАРИЗМ

История «Древнего Египта», «Древнего Рима», «Древней Греции», «Древних цивилизаций», средневековая история, история оружия и кораблей — как правило, воссоздаются в интернете с максимальной подробностью, на какую только способны составители сайтов. Такой самоценный, коллекционерский интерес к рассказываемой истории нередко проявляют и сайты по геральдике, нумизматике, в отдельных случаях генеалогии. Проекты, о которых идёт речь в этой главке, либо называют себя энциклопедиями («Энциклопедия Древнего Мира» (41)), либо следуют принципам организации энциклопедического издания. Рубрикаторы таких сайтов обычно свидетельствуют о намерении постепенно воссоздать «всё», что имеет отношение к выбранной теме, выткать плотную ткань истории, реконструировать все её грани, для которых пока, с большим запасом, оставляется место. Ничего не должно быть упущено — «жестокое войны и восстания, великие правители и завоеватели, легенды и мифы, история и вымысел, философия и религия, новейшие гипотезы и свежие новости из мира археологии» (42). В ход идут любые подворачивающиеся под руку материалы — тексты, книжные иллюстрации, репродукции — иными словами, всё, что можно добыть из всё тех же «бумажных» или сетевых публикаций. Таким образом, объектом сетевого архивирования и коллекционирования оказывается не что иное, как историческое знание — именно его нужно заново воссоздать, то есть переписать уже написанную историю на новый носитель.

Такой сетевой антикваризм легко приобретает коннотации «игры», «хобби», лёгкого и увлекательного времяпрепровождения. «История» здесь в самом деле граничит с вымыслом, с фикциональной реальностью. Сайт, посвящённый «истории пиратства» оформляется, конечно, в стиле детских приключенческих книг (43), а повседневная история средневековья отсылает к соответствующим литературным текстам — Толкиену, фэнтези. В этих случаях, естественно, педалируются характеристики интернета как «второй

реальности», «виртуального пространства» — скажем, вполне традиционно устроенный сайт о средневековье может называть себя «Виртуальным городом» (44). «История» непосредственно связана и с индустрией развлечений. В рубрикаторе почему-то названного по-английски сайта «Egypt's World» можно обнаружить не только «Творчество египтоманов», но и разделы «Школа танцев», «О туризме» (45). Рубрикатор «домашней страницы Олега Ланцова» демонстративно поделен на две части по вертикали: одна половина отдана «Истории», а другая — разделу «Туризм», включающему в себя туристские байки и советы, как справиться с поносом.

В предыдущей главке речь шла о стратегиях присвоения истории. Напротив, «сетевыми антикварами», как правило, используются те или иные стратегии дистанцирования. Если это и прошлое — то слишком далёкое, никак не влияющее на актуальный образ современности, складывающееся из тех моделей, которые предлагает «историческое знание». Именно эти модели, удастаясь коллекционирования, позволяют обжить сетевое пространство.

ПУБЛИКАТОРСКИЙ КЛУБ

Проекты этого типа также скорее коллекционируют историческое знание. Однако в данном случае на первый план выступают прагматические задачи. Активная републикация исследований и письменных источников мотивируется намерением «помочь историкам и любителям истории облегчить доступ к литературе, необходимой им для работы или изучения истории». Образцовой формой организации материала в данном случае становится «библиотека». Подобные библиотеки — будучи самостоятельными ресурсами или подпроектами крупных сайтов — как и сайты, рассмотренные в предыдущей главке, выстраиваются с расчётом на постепенное заполнение. Проекты, обживающие сетевое пространство подобным образом, склонны к монополистским стратегиям («История России») и капитальным замыслам — «Материалы для изучения русской истории» (46). При этом, однако, выясняется, что «для активного пополнения ресурсов не хватает времени», а критерии отбора материала чаще всего принципиально неопределены: «историей» оказывается всё что угодно, обретающее ценность и смысл с течением этого самого вечно недостающего времени — «К публикации принимаются все работы, имеющие историческую ценность» («История России» (47)).

ИСТОРИЯ, СЖАТАЯ ДО КАЛЕНДАРЯ

Наконец, историческое знание может редуцироваться до перечня «знаменательных» событий, дат и имен и оказываться своеобразным дополнением к календарю. «История сего дня» (48), «Петербургский хронограф» (49), «Книга дней» (50) — это далеко не полный перечень сайтов такого рода. Некоторые из них выстроены вокруг одного годового цикла и больше не требуют обновлений. История оказывается цикличной.

С каждым из перечисленных образов исторического знания связаны определённые образы «читателя», адресата — очевидно, что риторика «национальной памяти» и «национальной идентичности» требует обращения к «молодому поколению», а провозглашение «публикаторских» задач с наибольшей вероятностью предполагает апелляцию к кропотливому и беспристрастному исследователю, к тому, кто «изучает» историю. В то же время чётко обозначенные, риторически выделенные, декларативные адресные инстанции оказываются далеко не единственными. Нередко общей стратегией того ли иного сетевого ресурса задаются другие (иногда — принципиально другие) конструкции адресата. Вот некоторые — кажется, наиболее характерные — из них:

— В преобладающем числе случаев интернет воспринимается как сцена, на которой должен действовать популяризатор. Основной адресат — безусловно, «студент», причём студент почти девственный, лишённый способности ориентироваться в пространстве исторического знания, тот, кто нуждается в уже готовых ответах. Ощущение хаотичного, неорганизованного интернет-пространства, явно преследующее самих популяризаторов, таким образом, удваивает популяризаторские усилия — популяризация знания превращается в самоцель. Интернет в таком восприятии — площадка не для исследовательской работы, не для реализации новых проектов, а для хаотичной презентации знания, которая кажется самоценной как таковая.

— Ещё одного значимого адресата можно определить как «всемирный разум» — инстанция, отчасти воспроизводящая миф об инопланетянах, ожидающих рассказа о земной жизни. Всемирному разуму необходимо, разумеется, предъявить «всё» историческое знание: «Ищутся в сети данные по хронологии различных государств, когда-либо существовавших на Земле» («История России» (51)).

— Распространена и конструкция «неопределённого адресата». Для адресанта в данном случае наиболее важно оставить в сетевом пространстве следы собственной деятельности — «кто-нибудь» обязательно прочтёт и заметит: «“Международный Исторический Журнал” будут читать и за пределами Садового кольца» (52). Интересно, что эта тенденция, как правило, сочетается с пристальным вниманием к соблюдению авторских прав, со стремлением как-то зафиксировать утекающую неизвестно куда информацию: «Журнал издаётся в электронном виде и не имеет бумажной версии, но все его материалы периодически переписываются на дискеты и хранятся неопределённо долгое время» («Два века» (53)). Неопределённый читатель внушает неопределённые опасения, желание закрыть доступ к информации, обезопасить себя.

— Нередко надежда на «неопределённого адресата», способного выловить в потоке информации оставленное ему послание, накладывается на адресацию очень узкой целевой группе: сайт адресован определённо «своим», но всегда остаётся вероятность, что его заметят и неопределённые «чужие». При этом никаких действий для привлечения внимания «чужих» может не предприниматься.

Подобные представления об адресате не способствуют формированию новых сетевых сообществ вокруг того или иного проекта. Гостевые книги — которые есть далеко не у каждого «исторического» сайта — в большинстве случаев обновляются чрезвычайно медленно. Однако «исторические» сетевые сообщества могут организовываться целенаправленно: создатели сайта конструируют необходимые декорации, задают тематическую рамку, способную заинтересовать максимальное число посетителей и, в случае успеха, проект начинает развиваться по своим законам — его пользователи приобретают возможность обмениваться собственными представлениями об историческом знании. Таков, скажем, «Военно-исторический форум» на «Русском журнале» (54).

Сетевое пространство осваивают и уже сформировавшиеся сообщества — об этом речь пойдёт в следующей главе.

Образы внесетевых сообществ и институций

Интернет становится полем самопрезентации многообразных внесетевых институций и сообществ, идентичность которых связана с «историей»: будь то музеи, архивы, научные журналы, энциклопедии, исторические факультеты университетов, исследовательские группы, или неформальные группы «энтузиастов», «дилетантов», «любителей». Во многих случаях сетевой образ внесетевых сообществ редуцируется до доски объявлений и информационного листка — большей частью именно так представлены (если представлены вообще) академические институты (55). Напротив, археологи-любители (55), кладоискатели (56), сторонники экзотических и маргинальных версий истории — поклонники Л. Н. Гумилева (57), адепты «Новой хронологии» (58) — тщательно продумывают и изобретательно реализуют акт сетевого самопредставления. Что не удивительно — интернет здесь выполняет роль необходимого и, очевидно, недостающего пространства «сборки».

Наиболее полно — практически без исключений — в сети представлены, конечно, университеты и, соответственно, их исторические факультеты. И рубрикация, и дизайн университетских сайтов, как правило, копируют «зарубежные» образцы, однако, в остальном наблюдаются существенные расхождения (к редким исключениям относится, например, «исторический» раздел сайта Санкт-петербургского Европейского университета (59)): если основной объём аналогичных англо- или франкоязычных сайтов занимают программы курсов и библиография, то на сайтах отечественных преобладают посвященные локальным сюжетам базы данных, архивы бессистемных дискуссий, разнообразные студенческие подпроекты с обязательной информацией о «студенческой жизни». Невыраженность межфакультетских и межкафедральных связей — ещё одна характерная черта отечественных ресурсов. Многие исследовательские подпроекты оказываются доступны лишь тем, кто

владеет информацией об их существовании. Так, на масштабном сайте Омского государственного университета размещена библиографическая подборка «10000 изданий по государственному управлению и самоуправлению России имперского периода» (60), при этом раздел, посвящённый историческому факультету ОмГУ, никаких ссылок на неё не содержит и сводится исключительно к списку преподавателей (61). Итак, отчётливого образа истории и специфики своих занятий ею российские университетские сайты, как правило, не предлагают. При этом и сама «университетская идентичность» оказывается смазанной: если американские университетские сайты однозначно распознаются по зарезервированному за ними домену .edu, то в России «университетская история» растворена в общем неструктурированном пространстве. Примечательно, что сетевой рейтинг университетского сайта, кажется, никак не связан с оффлайновым статусом университета — так, в топ-листе «Яндекса» истфак МГУ (62) оказывается позади истфака Кемеровского государственного университета (63). Университетские сайты, пожалуй, наиболее часто становятся площадкой, на которой формируются или приживаются новые сообщества — как неформальные (студенческие), так и формальные (на сайте Алтайского государственного университета представлена ассоциация «История и компьютер» (64), организованная АГУ и МГУ, являющаяся ветвью одноименного международного проекта и, вопреки громкому названию, практически никак не проявляющая себя в пространстве сетевой истории).

Музеи и архивы явным образом рассматривают интернет не только как дополнительный способ ритуального представления себя в информационном пространстве, но и как среду продуктивного взаимодействия, позволяющую расширять сеть деловых и исследовательских контактов. Именно такие задачи решают крупные порталы, претендующие на статус центральных — сайты «Русский Архив» (65), «Музеи России» (66), «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (67). При этом предпринимаются попытки создать представление не только о музейных и архивных коллекциях, но и о менее публичной исследовательской работе — в таком двойном образе истории, как ни странно, отсутствуют обертона «музеефикации» и «архивной пыли»; он динамичен, деятелен и в полной мере воплощает парадигму «истории как ремесла». Вопрос о том, почему создание централизованного информационного пространства в данном случае оказалось возможным и продуктивным, очевидно, имеет прямое отношение к вопросу об институциональной организации отечественных архивов и музеев и вряд ли решаем в рамках общего обзора.

Совершенно иные результаты даёт наблюдение за периодическими изданиями по истории. Собственно, результатов такое наблюдение почти не даёт. В то время, как сетевая активность европейских и американских исторических журналов и отечественных гуманитарных журналов неисторического (филологического, социологического, политологического) профиля достаточно велика, российские периодические издания по истории в сети либо вообще отсутствуют («Отечественная история»), либо представлены практически

одним оглавлением, причём оглавлением довольно старых номеров («Вопросы истории» (68), «Вестник древней истории» (69)), а иногда и вовсе краткой информацией о существовании издания («Новая и новейшая история» (70)), либо закрыты паролем, получить который фактически могут лишь участники издательского проекта и потенциальные авторы («Ab Imperio. Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве» (71)). Можно предположить, что и здесь оказались значимыми маски «профессионалов» и «любителей», столь актуальные в «историческом» Рунете. Коль скоро сеть воспринимается как среда обитания «дилетантов», естественным оказывается стремление так или иначе оградить «профессиональное сообщество» от вмешательства «чужих».

Словари и энциклопедии — издания, адресованные гораздо более широкой аудитории — напротив, обживают сеть очень активно. Так, «Русский биографический словарь» (72) представляет собой «выборку биографических статей из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона», а Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших дней» (73) в рамках энциклопедического проекта «Рубрикон» предлагает полный текст словаря издательства «Большая Российская энциклопедия». Образ истории при этом не приобретает никакой новой специфики — интернет является лишь дополнительным каналом доступа к справочной информации.

В предыдущей главе по ходу обзора мне пришлось назвать несколько внесетевых институций, по аналогии с которыми наиболее часто моделируется сетевое представление исторического знания: «библиотека», «журнал», «энциклопедия»; в отдельных случаях затевается игра в «музей». Однако именно в случае энциклопедии грань между офф- и он-лайном оказывается чрезвычайно тонкой — стандартизованный справочный материал практически не требует дополнительных операций перевода, особенно легко заимствуется, а значит, особенно легко отождествляется с собственно «историей», нуждающейся в бесконечном воспроизводстве.

История продолжается

Сетевое пространство может восприниматься и как непосредственный источник знаний о «настоящем», стремительно превращающемся в «прошлое». Личная биография, история семьи, история вечеринки, поездки, пикника — всё старательно документируется, сопровождается подробными отчётами, иллюстрируется фотографиями. Популярные жанры — от «реальной истории» до «дневника» — тщательно фиксируют впечатления, реакции, эмоции, рассказы о времяпрепровождении, описания ситуаций и изображения вещей, которые кажутся особенно красивыми, необычными, смешными, нелепыми. То есть всё то, что вполне может стать фактом микроистории. Эти потенции время от времени осознаются «сетевой элитой» — журналистами, литерато-

рами, авторами известных проектов. Одним из сознательных воплощений подобных тенденций стал проект «Нас.Нет», существовавший около года назад на «Русском журнале» (74): автор проекта Сергей Кузнецов поддерживал активную переписку со своими читателями и публиковал материалы, которые могли быть восприняты как частные свидетельства о 90-х. Участниками дневникового проекта «LiveJournal» (75) неоднократно предпринимались попытки задним числом описать и проанализировать мгновенные реакции на социальные кризисы и катастрофы — будь то 11 сентября или захват «Норд-Оста». Риторическая апелляция к «истории» может оказаться способом привлечь внимание к тому или иному проекту, при этом фактически ставится знак равенства между «настоящим» и «прошлым»: «История продолжается. Предлагаем читателям принять участие в обсуждении самого широкого спектра проблем, актуальных как для российского общества, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья. В форуме обсуждаются публикации раздела «Вне рубрик» (76).

Сошлюсь на доклад социолога А. Ф. Филиппова, заметившего, что конструирование прошлого является неременным условием коммуникации (77). Будучи одновременно и носителем информации, и информационной средой, являясь и хранилищем, и источником, и способом трансляции исторического знания, интернет нередко становится и для сетевых, и даже для внесетевых сообществ пространством, провоцирующим написание собственной истории.

Итак, если и можно говорить о специфике «сетевой истории», эту специфику определяет не характер информации, а то, каким образом она структурируется, транслируется и воспринимается. Информация может заимствоваться из бумажных изданий, иметь непосредственное отношение к внесетевым сообществам, наконец, выстраиваться по внесетевым принципам, приобретая очертания «журнала», «энциклопедии», «музея», «библиотеки». Однако то, что вне сети казалось бы бессмысленным конспектированием случайно попавшихся под руку материалов, в сетевом пространстве приобретает игровое или прагматическое значение. Во многих случаях интернет воспринимается как среда, в которой можно «все начать сначала», не боясь повторений. Как ещё не заполненное хранилище исторического знания, как чистая, не отягощённая лишними воспоминаниями «национальная память», как «живое», ещё не структурированное прошлое. Такая история постоянно «продолжается» и легко воспроизводится, не требуя критического отношения к механизмам воспроизводства. Таким образом отрабатываются модели присвоения не столько прошлого, сколько дискурса о прошлом, дистанцирования не столько от прошлого, сколько от настоящего.

Риторика сайтов, которые так или иначе имеют отношение к истории, складывается на пересечении самых разнообразных социальных практик. Это

и многообразные формы идеологического контроля, выражающиеся в попытках конструирования национальной идентичности и национальной памяти, и медийная индустрия развлечений, в рамках которой история может подразумевать конструирование общего календаря знаменательных дат или поиск пропавших родственников (ср. аналогичные телевизионные проекты), и «академическая» история, в сетевом пространстве постоянно подчёркивающая собственное отличие от истории «непрофессиональной», «маргинальной», «любительской». Сетевое пространство, оставаясь вместилищем потенциально «любой» истории, любых образов истории, любых типов знания об истории, в то же время демонстрирует те образы и модели, которые в силу культурных, социальных причин оказываются особенно «удобными». Задуманные с размахом, призванные ответить на любые вопросы и при этом полупустующие, случайно заполняемые сайты — наглядное воплощение тех форм представления об истории и способов конструирования истории, которые нередко называются в качестве наиболее характерных для современной российской ситуации: будь то привычка к большому, единому, «монологическому» нарративу или одержимость «заполнением белых пятен» (78). В большинстве случаев Рунет предлагает предназначенную «только для своих» или, напротив, обращенную к неопределённо широкой аудитории, плохо структурированную, несистематизированную историю, позволяющую отсрочить вопрос о позиции исследователя, о том, с чьей точки зрения эта история пишется. История оказывается некоей объективной категорией, она не нуждается в том, чтобы её рассказывали, она пишет — или, точнее, воспроизводит — себя сама.

В то же время с точки зрения посетителя любого из сайтов, упомянутых в этой статье, образ «сетевой истории» окажется принципиально иным. Общая концепция сетевого ресурса вызывает интерес при особой симпатии к этому проекту или необходимости написать обзор о представлении истории в интернете, однако в других случаях «читатель», реципиент, конечно, имеет дело с набором нужной или ненужной информации, укладываемой или не укладываемой в его собственный образ истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Автор статьи пользуется случаем выразить глубокую признательность за помощь при работе над новой для неё темой — за ценные замечания, ссылки, любезно предоставленные неопубликованные материалы — Геннадию Бордюгову, Александру Шевыреву, Борису Дубину, Оксане Гавришиной, Аркадию Перлову, Вере Зверевой, Екатерине Кратасюк, Константину Ерусалимскому, Илье Кукулину, Дмитрию Голынку-Вольфсону, Святославу Каспэ и всем, кто ознакомился с этим исследованием на стадии замысла и доклада.

2. *Ямпольский М.Б.* Интернет, или постархивное сознание //Новое литературное обозрение. 1998. № 32.

3. *Голынка Д.Ю.* Современный русский поставангард: стили, модели, стратегии. Автореф. дисс. на соискание уч. степени кандидата искусствоведения. — СПб.: Российский Институт Истории Искусств, 1999. — цит. по рукописи.

4. Лохина Т.В. Обзор и перспективы развития источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в отечественных интернет-проектах //Вспомогательные исторические дисциплины: Специальные функции и гуманитарные перспективы. Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва, 1–2 февр., 2001. — М.: РГГУ, 2001. С.19–28.
5. Вашик К. Представление исторического знания и новые мультимедийные технологии. — М.: АИРО-XX, 1999. — 41 с.
6. Дубин Б.В. Русский ремонт: проекты истории литературы в советском литературоведении. — рукопись, 2002.
7. Левенчук А. Коммунивер: от средств массовой информации к инфраструктуре массовой коммуникации (<http://internet.ru/15/5.html>).
8. Левенчук А. Комментарий к ст. Н. Хайтиной «Сетевые СМИ в законе» (<http://www.internet.ru/article/articles/2000/01/07/1204.html>).
9. Кастельс М., Киселева Е. Россия и сетевое сообщество: Аналитическое исследование //Мир России. 2002. №1; Семенов И. Воля к идентичности: сопротивление и информационные технологии //Интернет и российское общество — М.: Гендальф, 2002. С.48–60; Шадрин А. Информационные технологии и совершенствование социальных институтов //Интернет и российское общество. — М.: Гендальф, 2002. С.91–117; Бессуднов А. Community building: перспективный бизнес и гражданское общество (<http://internet.ru/article/articles/2000/10/03/4214.html>).
10. Гуманитарные исследования в Интернете: Сборник статей /Под ред. А. Войскунского. — М., 2000; Маховская О. Российские учёные и Интернет: flashback and look forward //Pro et Contra. 2000. Т.5, № 4; Мирская Е. Интернет и наука: технологии глобализации и российская реальность //Интернет и российское общество — М.: Гендальф, 2002. С.211–234; Перлов А. Представления об «исследовательской свободе» в самоописаниях российских культурологов //Культура и власть в условиях коммуникативной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2002. С.444–446.
11. О сетевом сообществе и институтах власти см.: Шмидт Х. К вопросу взаимоотношений государства и сетевого сообщества в России //Культура и власть в условиях коммуникативной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. С.348–357.
12. О репрезентации прошлого в интернет-рекламе см.: Кратасюк Е.Г. Репрезентации прошлого в массовой культуре последней трети XX века: легенды артуровского цикла в кинематографе и рекламе. Автореф. дисс. на соискание уч. степени кандидата культурологии. — М.: РГГУ, 2002.
13. <http://www.chat.ru/~vvvhistory/index.htm>.
14. <http://www.history.ru/hist.htm>.
15. Дубин Б.В. Советский и постсоветский исторический роман: герои, поэтика, социальные функции. — рукопись, 2002.
16. Дубин Б.В. Русский ремонт: проекты истории литературы в советском литературоведении. — рукопись, 2002.
17. <http://www.museum.ru/museum/1812.htm>.
18. www.empires.ru.
19. <http://www.historia.ru/source.htm>.
20. <http://www.ruthenia.ru/web/index.html>.
21. <http://www.hronos.km.ru/page2.html>.
22. <http://hronos.km.ru/proekty/russia/about.html>.
23. <http://history.machaon.ru/about/index.html>.
24. <http://lants.tellur.ru/>.
25. <http://www.hist.ru/>.
26. <http://www.dvaveka.pp.ru/index.htm>.
27. <http://rome.webzone.ru>.
28. <http://www.archaeology.ru>.
29. См., напр.: «История России для учителей и учащихся» (<http://www.historymill.com/>) или коллекцию рефератов по истории — <http://www.students.ru/referats/history.html>.
30. <http://www.rambler.ru/pobeda/doc/about.shtml>.
31. Там же.
32. <http://www.warheroes.ru/about.asp>.
33. <http://www.rus-sky.com/history>.
34. <http://decemb.hobby.ru/>.
35. <http://www.hist.ru/masson.html>.
36. <http://gpw.tellur.ru/page.html>.
37. <http://grandwar.kulichki.net/>.
38. <http://www.vgd.ru>.

39. <http://www.pobeda.ru/>.
40. <http://www.poiski.ru/>; <http://www.mtu-net.ru/rrr/>.
41. <http://www.ancient.holm.ru/>.
42. <http://www.ancient.holm.ru/topics/add/about.htm>.
43. «Веселый Роджер»: <http://pirates.vif2.ru/>.
44. «Тоже город»: <http://tgorod.go.ru/>.
45. <http://duat.egyptclub.ru/>.
46. <http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm>.
47. <http://hronos.km.ru/proekty/russia/about.html>.
48. <http://www.2day.ru/>.
49. <http://www.peterlink.ru/chronograph>.
50. <http://penza.com.ru/rubtsov/calendar>.
51. <http://hronos.km.ru/proekty/russia/about.html>.
52. <http://history.machaon.ru/about/index.html>.
53. <http://www.dvaveka.pp.ru/index.htm>.
54. <http://www.russ.ru/forums-new/war-ist/>.
55. <http://www.archeology-project.ru> или <http://www.komi.com/sip>.
56. <http://klad.hobby.ru>.
57. <http://www.gumilevica.ru>.
58. <http://www.newchronology.ru>.
59. <http://www.eu.spb.ru/history/index.htm>.
60. <http://www.ic.omskreg.ru/~orlov/index.htm>.
61. http://www.omskreg.ru/struct/hist/index_ru.html.
62. <http://www.hist.msu.ru>.
63. <http://history.kemsu.ru>.
64. <http://kleio.dcn-asu.ru/aik/rindex.shtml>.
65. <http://www.rusarchives.ru>.
66. <http://www.museum.ru>.
67. <http://www.adit.ru>.
68. <http://news.mosinfo.ru/news/vpi/indexr.html>.
69. <http://www.infomag.ru:8082/journals/j113r/>.
70. <http://www.openweb.ru/nnh/#about>.
71. <http://aimag.knet.ru>.
72. <http://www.hi-edu.ru/Brok>.
73. http://www.rubricon.ru/io_1.asp.
74. <http://www.russ.ru/netcult/nasnet/>.
75. <http://www.livejournal.com/>.
76. <http://www.russ.ru/forums/msg/942/942.html?1520022338>.
77. Доклад «Конструирование прошлого в процессе коммуникации» был прочитан А.Ф. Филипповым на семинаре ИГИТИ «Знание о прошлом и социальная реальность» (ноябрь, 2002).
78. Об этом: *Дубин Б.В.* Русский ремонт: проекты истории литературы в советском литературоведении. — рукопись, 2002; *Вашиш К.* Представление исторического знания и новые мультимедийные технологии. С.4–9.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА: СИТУАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ВЫБОРА

Наталья ПОТАПОВА

Обзор исторической периодики за последние годы — тема, как и прочие, позволяющая выбрать разные жанры описания и разные параметры анализа. Диапазон наименований изданий за последние годы не сократился, скорее напротив, традиционно понимаемая как «историческая» тематика активно проникает на страницы презентующих себя как «неисторические» изданий. «Междисциплинарность» так или иначе стала важным мотивом в установлении интеллектуальных связей в эти годы, установление диалога определило язык его участников, вслед за тем — темы и проблематизацию объектов их работ. Понимание исторического «источника», скажем, как текста или артефакта, исторического письма как жанра литературного творчества или социального действия, определение места истории между гуманитарным и социальным знанием, объединяют профессионалов, традиционно именуемых филологами, социологами, историками и пр., но одновременно разводит тех, кто ранее оказался «приписан» к той или иной профессии. Понятие «проект» начинает успешно конкурировать с понятием «специалист в области». В итоге граница «исторического» по тематике не совпадает с границей исторического институционально. В этой перспективе понятие «историческая периодика» нуждается в определении. Массив текстов, которые могли бы стать объектом нашего рассмотрения, чрезвычайно велик.

Однако я решила ограничить рамки своего исследования двумя изданиями, старыми институтами в исторической профессии, выбрав для анализа журналы «Вопросы истории» и «Отечественная история». Я вынуждена была оставить за рамками своего рассмотрения, скажем журнал «Новая и Новейшая история», а также «Вопросы истории, естествознания и техники», журнал «Родина» по причинам исключительно физического, не логического характера — я выбрала большую степень детализации анализа, пожертвовав объёмом рассматриваемой выборки. Более того, выборка представлена не всеми номерами названных журналов. Данная статья представляет собой результат мониторинга этих изданий за 3 года: 1996, 1999, 2002.

Целью исследования является показать, как на страницах разных изданий выстраивалось историческое повествование; какие, где и когда наблюдаются жанры и стили исторического письма. Общая задача работы — определить, к каким контекстам жанров письма и коммуникации апеллируют

тексты изданий, приблизиться к пониманию прагматики языкового выбора. Всё это позволит наметить интеллектуальные поля с достаточной плотностью вероятности сходства языка и приёмов повествования, и то, как эти поля соотносятся с профессиональными институтами (самими изданиями, представляемыми ими и кругом авторов учреждениями).

Описание периодики возможно в двух разных перспективах: первый аспект — это то, как видится прошлое тем, кто пишет о нем сегодня, иной аспект проблемы — как пишут, как работают сегодня историки. Тема «прошлое на страницах периодики» видится мне самостоятельной большой проблемой. В данной статье ставится задача определить основные тенденции в письменной презентации происходящего в исторической профессии. Я обращаю внимание читателя на неопределённость выбранных только что мною понятий «тенденции» и «происходящее». Приступая к данной теме, я так ограничиваю анализ рассматриваемых текстов, что меня будут интересовать следующие их аспекты. В центре внимания — мотивация автора в его работе, мотивировки выбора темы, проблематизации объекта исследования, структурирование темы — выбор героев, то, какие аспекты прошлого — ментальные или физические действия, то, что за причины и цели приписываются рассматриваемым моментам в прошлом.

Избираемый мною подход — акцентирование внимания читателя на нескольких выделенных мной аспектах языкового выражения деятельности историка, с которыми мы сталкиваемся на страницах двух ведущих и традиционно исторических журналов, с одной стороны, позволяет, как мне кажется, привлечь внимание к ряду моментов, редко оказывающихся в поле зрения историка, тем более выступающего в роли не аналитика периодики, а «обычного» «потребителя» продукции этих институтов исторической профессии. Однако он имеет (как и любой возможный подход) свои ограничения, поскольку целый ряд моментов неизбежно оказались вне поля нашего зрения; таким образом конструируемое мною описание не может быть непосредственно соотнесено с «реальной» периодикой. Общая цель работы — наметить поля с достаточной плотностью вероятности сходства языка и приёмов повествования, и то, как эти интеллектуальные поля соотносятся с профессиональными институтами (самими изданиями, представляемыми ими и кругом авторов учреждениями).

В данном случае материалы периодики рассматриваются как законченный текст. Я помещаю в фокус рассмотрения не «замысел» того или иного автора и даже не те тексты, которые «выходят из под пера» профессиональных историков, а готовый результат совместной работы авторов и редколлегии. Меня будут интересовать не «творческая лаборатория», для данного исследования значимы материалы периодики именно в том виде, как они оказываются представлены читателю. Иными словами — социальная, организующая, дисциплинирующая во многом роль, которую играют исторические журналы, язык их материалов в профессиональном сообществе. Поэтому говорю об «авторе» в данной статье я имею в виду результат взаимодействия

редколлегии и историка, представленный на страницах издания. Проблематизируя язык, я вынуждена была отказаться от категории автора и от поиска индивидуальной ответственности за слово (отказываясь в каждом случае от того, чтобы искать, на кого она может быть возложена — скажем на редколлегию, собственно автора, коллег или руководство представляемого им института, руководителей фонда, в рамках которого выполнен проект и т. п.). Я вынуждена отказаться от традиционного понимания роли автора не потому, что не отдаю себе отчёт в том, насколько важно было бы понимание именно того, что «хотел сказать» автор в каждом конкретном случае, и где его воля оказалась искажена вроде бы внешними факторами — зависимостью от устного или письменного диалога с теми или иными коллегами, от текстов коллег на которые он реагирует, программ фондов или изданий, для которых работает автор, вмешательством научного или литературного редактора и т. п. Как раз напротив, важная формирующая роль всех этих факторов для меня очевидна, но проследить механику их действия не представляется возможным, по крайней мере, в рамках данного исследования. Поэтому я буду вынуждена говорить о результате взаимодействия всех вышеупомянутых факторов как вероятных, и буду говорить об «авторе» лишь условно, описывая дискурсивные сообщества, представленные на страницах выбранных мной журналов. Поэтому, если задаваться вопросом о причинах происходящего и об ответственности, то в данном случае речь должна идти об ответственности коллективной.

Ещё один принципиальный аспект данной работы хочется особо подчеркнуть: я не оцениваю рассматриваемые тексты в категориях должного. Я приглашаю читателя не оценивать «схваченные» мною моменты в развертывающемся на страницах периодики языковом творчестве авторов по шкале «хорошо / плохо», «следует / не следует». Моя задача — не призвать к определённом роду творчества и ни в коем случае тем самым косвенно не стремиться нормировать практику исторического письма. Я показываю ситуацию языкового выбора. Однако в этой перспективе я (и это неизбежно) стремилась поместить происходящее на страницах рассматриваемых ведущих исторических изданий в более широкий контекст «возможного» с моей (неизбежно ограниченной!) точки зрения на «занятие историей», практикование истории как интеллектуальной деятельности.

Приступая к теме, я хотела бы поместить в фокус внимания те моменты, которые, как мне представляется, традиционно в силу инерции, видимости очевидности, оказываются за рамками анализа. Между тем, происходящее в профессии принуждает, как мне кажется, проблематизировать их. Задумывается ли автор, историк о том, зачем он работает? Что он делает, когда определяет объект своей работы: как историк проблематизирует своей объект — перебирая попавший в руки ворох остатков прошлого, определяет свою «тему», выделяет героев (индивидов, группы, «силы»), говорит об их связях, действиях, мыслях, приписывает им причины и цели.

Ставя, таким образом, проблемы, я отчасти отказываюсь от рассмотрения периодики как жанра с определёнными рамками. То есть, для меня в

данном случае не значимо отличие периодики, статьи в журнале от иных форм исторического письма, я не сравниваю их, не задаю вопрос об ограничениях, которые накладывают, скажем, размеры журнальной статьи на авторский выбор. Я оказываюсь (и вместе со мной читатель) внутри этого жанра в поисках происходящего в этих рамках. Меня интересовало не то, о чём пишут, но то, как пишут. Я определяю объект своего исследования в самом общем виде не как описание видения истории сегодня, но как описание происходящего в исторической профессии.

Образ издания

Итак, я остановлюсь на двух традиционных для исторической профессии изданиях. Начнём с внешних отличий, поскольку в оформлении и формате этих изданий проще всего увидеть отличия: они никак не заявляют внешне какую-либо связь между ними. С точки зрения общего объёма страниц журнал «Вопросы истории» зримо (на 30–35%) превосходит «Отечественную историю» (он выходит 10–12 раз в год в отличие от стабильных 6 раз в год «Отечественной истории»), и это отличие сказывается на прочих количественных показателях, которые мы рассмотрим. Тиражи изданий сильно колеблются, в начале тираж «Вопросов» почти в 2 раза превышает тираж «Отечественной истории», затем тиражи падают, причём резко у «Вопросов» и отличаются уже меньше, временами даже сближаясь. С точки зрения общего количества условных печатных листов и количества публикуемых статей «Вопросы истории» превосходят «Отечественную историю» в среднем на 25%. В этой связи чуть больше авторов (но незначительно) ежегодно оказываются в состоянии поместить свои работы в первом издании.

В том, как оба издания представляют себя и своих авторов, оказывается, задана определённая перспектива — временная и пространственная, институциональная и социальная, которая конструируется этими изданиями, то видение профессионального сообщества, которое поддерживается благодаря им. Так, для обоих изданий значим момент в прошлом, с которого они начали выходить — 1926 для «Вопросов истории» и 1957 для «Отечественной истории», оба выходят в Москве, «Вопросы истории» продолжают использовать Орден трудового красного знамени в оформлении обложки. В сравнении с «Вопросами истории», «Отечественная история» — журнал, связывающий себя с профессиональным учреждением — Институтом российской истории РАН. Оба традиционные, исторические, центральные, но один академический, другой нет, — так «говорят» о себе себя эти издания. Любопытным образом оттеняет этот образ рекламная практика изданий. В отличие от «Отечественной истории», публикующей только информацию о подписке, активно публикует рекламу журнал «Вопросы истории»: в 7 из 10 выпусков за 1996 г. размещена реклама новых изданий по философии и социологии

истории, один раз — информация о конкурсе проектов, и один — на обложке размещена информация о туристическом агентстве «Мистер Твистер», предлагающем 8–10-дневные поездки по Франции, Испании, ЮАР, Таиланду, Кипру, Арабским Эмиратам — детям, молодожёнам, семьям, группам и решение проблем с авиабилетами. Таким образом журнал заявляет о своей связи с книготорговлей и туристическим бизнесом.

Корректирует облик изданий то, кого и как они представляют в качестве своих авторов, и здесь за последние 6 лет можно заметить некоторую динамику. Оба журнала предлагают читателю составленные по определённому формуляру сведения об авторах, представляя последних. Так, журнал «Отечественная история» стабильно остается более «московским» изданием, по сравнению с «Вопросами истории» (доля авторов из Москвы составляет 71–75% против 64–65%), при том что в обоих изданиях стабильно доля «московских» авторов чуть сокращается (на 1–4%). Второе главное отличие «Вопросов истории» — значительно большая и стабильно растущая доля авторов из регионов (17–24%) по сравнению с оставшейся без изменения долей в «Отечественной истории» (12%). Доля авторов из Санкт-Петербурга более чем в 2 раза сократилась в «Вопросах истории» (с 14% до 5%), оставаясь стабильной в «Отечественной истории» (10–11%). В «Отечественной истории» также стабильно доля авторов из других стран (5–8%) больше, чем в «Вопросах истории» (3–5%). В обоих изданиях незначительно возросла доля авторов из других государств СНГ (с 1% до 2%). Отличаются журналы и по тому, какие учреждения представляют их авторы. Среди учреждений лидируют институты Российской Академии Наук, но их доля на страницах «Отечественной истории» (в среднем 56%) стабильно значительно превосходит «Вопросы» (30%). Доля Университетов выше также на страницах «Отечественной истории» (21% против 6%), в отличие от доли педагогических институтов и др. вузов (8% против 29%), как и доли представителей архивов (3% против 8%). На страницах «Отечественной истории» несколько выше и доля докторов исторических наук среди представляемых авторов (в среднем 52% против 40%), доля кандидатов исторических наук стабильно сближается и чуть падает в «Отечественной истории» (46–36%). В отличие от него «Вопросы истории» публикуют значительно больше авторов без степени и их число неуклонно растёт (14–22% против 3–9%), а также произведения авторов со степенями по неисторическим специальностям (6% против 1–2%). Ещё один косвенный аспект представления авторов связан с их полом (поскольку имена авторов приводятся в изданиях полностью, читатель оказывается в состоянии «прочитать» их пол). Доля женщин, публикующих свои издания на страницах обоих изданий за рассматриваемое время, возросла, но незначительно — с 15–18% до 20–24%, при этом журнал «Отечественная история» стабильно публикует чуть больше «женских» статей, чем «Вопросы истории», но эта разница составляет всего 3–4% (примерно на 3–7 чел.). Таким образом, журнал «Отечественная история» представляет себя как более «московский», «академический» и «университетский», «женский» журнал, а журнал «Вопросы

истории» — более «региональный», теснее «связанный» с учебными заведениями, архивами и музеями и меньше со степенями по историческим специальностям.

Рубрики, которые заявляют журналы и по которым подбирают в определённом порядке статьи, можно рассматривать как самостоятельный текст, в котором конструируется образ журналов. Объединяют издания существование и практически одинаковое расположение таких рубрик как абстрактно названная в «Вопросах истории» рубрика «Статьи» (это основное содержание журналов, в «Отечественной истории» эта рубрика, как правило, не имеет названия), «Сообщения и публикации» и «Историография». Однако в остальных рубриках дискуссии, критика, методы, научная жизнь в «Отечественной истории» жанрово противопоставлены акценту на человеке в «Вопросах истории» с его рубриками «исторические портреты», «воспоминания», «люди, события, факты» и акценту на XX в., которому специально посвящена рубрика «Политический архив».

Конструируется образ издания и в объявлениях разного рода, с которыми журналы обращаются к читателю. В объявлении о подписке журнал «Отечественная история» заявил интерес к истории регионов России (исторических областей и государственно-административных образований), стран и регионов ближнего зарубежья, («тесно связанных многообразными нитями с Россией»), а также Москвы в связи с её юбилеем. («Регион» становится ещё одним важным мотивом последнего времени в формулировании принципов отношений в профессиональном сообществе.) Кроме того, журнал интересуют: «крупные» проблемы, «сквозные» темы, «видные» исторические деятели (иными словами, проблемность, человек в истории, поиск причинной связи) и «новые» документы. В 1996 г., отмечая 70-летие основания журнала «Вопросы истории», редакция определённым образом позиционировала журнал, определив своё видение, «норму» «стремлений, возможностей, ориентиров и мечты» журнала. Редакцией было обозначено некое поле борьбы, на котором журнал «отстаивает интересы исторической науки», стремится «не дать окончательно размыть её фундаментальные основы и ценности». Авторы обращения не определили, что это за пространство, кто ведёт борьбу и наступление на историческую науку, в чём её основы и ценности. Столь же неопределённые и прочие ориентиры: «высокий научный уровень публикуемых материалов» (при том, что журнал стремится объединить «профессионалов и начинающих»), «восстановление исторической правды», «превращение истории в подлинную науку», повышение исторического самосознания российского общества». Определено в данном случае только то, что история — наука, у общества может быть некое самосознание и, в частности, историческое, у народа — есть историческая память, в которой могут быть белые пятна — то, что забыто или скрыто, а правда — одна (журнал призывает к дискуссии, дабы в споре выработать единое видение). Историю можно и нужно видеть по-новому (новые идеи и концепции) и честно, свободно от «догм и шор» — идеологических и политических. Те, кто исказил правду, также

маркируются в обращении: это те, кто разорвал связи с прошлым науки и русским зарубежьем, зарубежными школами и направлениями. Если у «Отечественной истории» как образующий заявлен способ поставить проблему и увидеть связь, то у «Вопросов» — стремление через искусственные внешние науке преграды к некой единственной правде. В то же время, «Отечественная история» призывает искать новые документы, а «Вопросы» — новые идеи.

На страницах «Отечественной истории» временная перспектива представлена следующим образом. В обоих изданиях примерно треть всех материалов посвящена периоду между 1917 и 1945 г.; порядка 20% статей — рубежу XIX–XX вв., 13% — XIX в., а XIV–XVII вв. — порядка 10%. Отличия между журналами касаются представления следующих периодов: древности до XIII в. (в «Отечественной истории» посвящено порядка 4% статей, в «Вопросах истории» — 8%), XVIII в. (5% и 12%), времени между 1946 и 1990 гг. (15 и 4%). Таким образом, «Вопросы истории» чуть больше актуализируют древность, а «Отечественная история» недавнее прошлое. Пространственная перспектива «Вопросов истории» также отличается, поскольку журнал не связывает себя с историей отечества, между тем эта тематика там всё же доминирует (60–70%), будучи разбавлена в основном странами Европы (20–30%), США (1–3%), и проч. (до 7%).

Такова внешняя и декларируемая стороны рассматриваемых изданий. Отличия между изданиями по этим параметрам определены достаточно чётко. Стилистически отличаются даже заголовки в журналах. Обращает внимание определённая проблемность в заголовках «Отечественной истории» и интрига в заголовках «Вопросов истории». Самый распространённый способ построения заголовков — номинация объектов повествования (индивид, группа, их свойства и качества, классификация). Самый распространённый объект — лицо, «исторический герой», реже — «исторический источник», ещё реже — аналитическая категория. Часто лицо помещается в контекст обстоятельств времени и места. В отличие от «Вопросов истории», «Отечественная история» практически всегда помещает любое имя объекта в контекст аналитических категорий, таким образом, чётко задавая в заголовке два плана повествования: исторический и аналитический. Для «Вопросов истории» характерно частое сопоставление двух имен, оформленное союзом «и». Глагольные конструкции или номинативные, но с обозначением действия, встречаются значительно реже, в качестве субъектов действия выступают «исторические герои». Обращает внимание, что крайне редко, но всё же в виде исключения встречаются обобщенно-личные конструкции (непосредственное обращение автора к читателю, не столько к объекту) со значением призыва и долженствования (см., например: «Вспомним», «Народ должен знать» в «Отечественной истории»).

Образ автора

Начнём с того, как мотивируют авторы свой выбор темы, выстраивают собственную позицию как действующего в профессиональном сообществе, в чём видят цели и причины собственных занятий, в какую перспективу помещают собственное видение проблем. Нужно отметить, что отсутствие четкого авторского образа, внимания к собственной деятельности и, таким образом, создание эффекта очевидности, традиции, инерции, адресация к дискурсивному сообществу — является признаком одного из принятых жанров и характеризует не отношение к норме (т. е. не оценивается позитивно / негативно — как то, что обязательно должно присутствовать, я выделяю наличие или отсутствие образа автора как характеристику, определяющую систему героев произведения).

Весь диапазон того, как в нашей выборке оказывается представлена тема собственного исследования и соответственно автор, занимающийся ею, можно свести к следующим вариантам.

Первый. Тема указывается как недостающая часть целой картины, метафора «исторического полотна», страница в единой книге. Подобная перспектива задаётся с помощью конструкций типа: «существует мало работ, посвящённых...», «до сих пор не написана полная биография», «история темы неравномерно / слабо исследована» и проч. Заявляется единая перспектива, одинаковые позиции со всем профессиональным сообществом. Прошлое в данном случае понимается по-разному. Оно либо существует только в работах историков и тогда историки мыслятся как группа, работающая над созданием единого целого полотна, которое в идеале должно быть — равномерным, не иметь пробелов, одинаково плотным / глубоким / детальным. Общими могут представляться и ресурсы, на что указывают понятия «научный оборот», «база», «накопление материала по вопросу», «освоение документальных свидетельств», «разработанность», «конкретизация представлений», «продуктивный период». Иное понимание прошлого: оно существует само по себе (как «пучина», в которую можно погрузиться более или менее глубоко) и историк только актуализирует его. На это понимание указывает и метафора «освещения» полного / нет / под углом / односторонне / уделение внимания. При таком понимании прошлого историк понимается как занятый поиском неизвестного в рамках единой системы — новых данных, решения, понимания. Причины такого положения дел:

- никак не определяются, «руки не дошли»,
- по причине того, что существовала цензура, рамки и ограничения в видении, зашоренность,
- не было материала — не найден / не доступен, закрыт,
- не было интереса. Интерес — академический, практический — пример действий и их последствий, опыт, шкала оценки для современного —

преемственность (юбилеи). Важность, масштаб («крупное событие»). Ценность для историков

Второй. Тема представляется как-то, о чём уже говорят, но говорят по-разному — спорят. Собственная деятельность заявляется как часть единой системы «правильной» аргументации, как позиция в споре, часть системы аргументации («проблема имеет историографическое значение», «признание в науке», стоит «на повестке дня»). При этом спор понимается традиционно как борьба, поэтому такая перспектива неизбежно предполагает таких героев, как «приверженцы, сторонники т. з.» и пр.

Третий. Как другая правда, перепроверенная — объективная, научная. Усложнение — от схематизации / упрощения. Трезвость. Реальность. Усложнение методологических задач — новые связи. Переосмысление — новые подходы.

Четвёртый. Как другая картина, другая интерпретация, возможны разные точки зрения и разные подходы — «излагать собственную версию». Характерно, что крайне часто подобная декларация всё же присутствует наряду с тем, что автор не «претендует на истину в последней инстанции» — мысль, которая косвенно возникает в памяти. Изображаем, оцениваем, считаем возможным / нет. Вариант: при всём многообразии позиций есть общее.

Те роли, в которых представлены авторы, можно типизировать следующим образом. Роль автора как открывающего «тайну» (мотив тайны и загадки, которая по-иному будет выглядеть в контексте истории, оказывается, в этом случае способом проблематизации, историк проблематизирует свой объект, объявляя это нечто тайной). Можно проблематизировать и жестом, с этим связана роль указующего: «пролить свет», «видный / важный» (о деятеле / явлении), «заслуживает внимания» (указательный жест без света). Роли торговца, участника производства, борца с идеологией, на чём я уже останавливалась, можно дополнить ещё ролью автора как забавника (что связано со способом ввести проблему, объявив, что это «интересно» или сославшись на «любовь к фактам и их прихотливой игре»). В ряде мизансцен авторы примеряют роли режиссера (рассуждая о том, чего не хватает обитателям прошлого, или что им не удалось) или судьи (мотив судьбы и назидание).

Все эти случаи вводятся для того, чтобы объяснить мотив «новизны». Практически, каждый автор считает нужным начать свой рассказ с констатации в той или иной форме, что он делает нечто «новое», показать, что делает своё дело первым — показать, что место пусто, а не показать, как и почему проблематизирует свой объект. Новое может быть новым только по отношению к чему-либо, т. е. должно быть чему-то противопоставлено.

Не указывает ли невнимание к тому, что и зачем делает пишущий статью, на обыденность, рутинность, а значит привычность для всех, существование некоего единого сообщества, к которому косвенно обращается автор, в рамках которого все делают так, потому что так принято, следуя образцам. То, что мы видели, указывает на необходимость мотивировать собственную

деятельность: пространственное понимание «поля» деятельности — автор вынужден произнести, что он не посягает на «чужое», уже занятое кем-то из коллег, не присваивает чужого, а делает «своё» — «новое» или «другое». Новым чаще всего оказывается предмет — тема, материал, и практически способ работы автора.

Образ материала

Если внимание к собственной работе, размышление о её мотивах, целях и способах не часто встречается в данном жанре исторического письма, то «источник» — традиционный герой исторических сочинений. В своей статье я хотела бы «взорвать» эту «обычность» источника, единственное моё желание — отстраниться, проблематизировать кажущиеся понятными, привычными высказывания. Конечно, принятая риторика может скрывать крайне сложные операционные процедуры, проделанные автором мысленно до того, как он начал писать, рассказывать о своём предмете. Может ли читатель и сам автор восстановить их, если они оказались не вербализованы, не проговорены в тексте статьи? Существуют ли эти процедуры как-то иначе, кроме как в языке, кроме как о них оказалось сказано? Оставляя открытым этот вопрос, я хотела бы показать, в каких формах бытует рассказ об «источнике» на страницах выбранных мной исторических изданий, как авторы определяют «материал», используемый ими в их работе, как наделяют его способностью активно / пассивно участвовать в рассказе об истории, как выстраивают в языке свои «отношения» с источником.

В данном случае я никак не оценивала бы принятые образы материала, поскольку полагаю, что авторы, применяющие эти приемы, могут владеть и другими жанрами, способами говорить об источнике, понимать его. Я предлагаю свои наблюдения читателю, приглашая задуматься о происходящем в одной из практик профессиональной деятельности. (В данном случае, я использую неопределённое понятие «материал» для того, чтобы проблематизировать — чем же на самом деле он оказывается в повествовании историка.)

Материал отождествляется с действующими лицами (чаще всего отдельными людьми), их мыслями и словами, даже если не они создали этот материал. Материал «говорит» за них или свидетельствует о них, подтверждает, даёт сведения, уверяет, сохраняет, фиксирует, указывает, обладает данными, то есть выступает в роли свидетеля. Таким образом, как бы непосредственно монтируются два кадра: текст повествования историка и текст повествования материала без дополнительной мотивировки. Материал «сотрудничает» с историком на равных, материал и историк делают одно и то же — рассказывают. Подобные иллюстрации, яркие зарисовки вводятся при помощи таких конструкций как, например, «истинное содержание / подробное описание заключено в», «выдержка даёт ясное представление / созвучна / откровенно

подтверждает», «показательна / стоит привести / интересны реакция / собственное впечатление / слова / ответ / свидетельство / доводы/ покаяние / известия / мысли / судьбу». Источники как бы сами «рисуют картину прошлого». Мотивы подобной иллюстрации бывают следующими: из этого «раскрывается секрет», «читатель сам может судить о степени основательности» сказанного или «вчитываясь в слова современников, прийти к заключению», «составить представление», «услышать голоса из прошлого». Мотивом подобного представления материала оказывается стремление сделать читателя активным соавтором, и косвенно допускаются разные трактовки.

Кроме того, материал можно собрать, извлечь, найти / обнаружить. Он «откладывается» и становится «достоянием». Его можно «обработать» как руду, «подвергнуть анализу», «использовать» и «скорректировать оценки», «прийти к заключению с достаточной определённой». Он имеет «цену». Его можно как бы синтезировать из других: «отсутствие материала частично восполняют другие источники». Эти роли отсылают нас к сценарию работы историка как участия в производстве. Историк в таком сценарии участвует в «планомерном наращивании знания», причём, возможна «оптимизация познания».

Ещё одно видение материала, когда он представляется как колодец, он содержит информацию, в нём «частично заложены ответы на вопросы» историка, из него следует или можно извлечь нечто, а «в ворохе бумаг можно утонуть». Материал может быть представлен в образе осветительного прибора: он «проливает свет», «освещает». А сравнение этих разных кусков «позволяет получить относительно адекватное представление», можно сравнивать как пятна, образуемые светом материалом так и неким «реальным положением дел», но могут оставаться и «пробелы», не полностью представленные аспекты. Материал может быть представлен и в качестве зеркала: в нём нечто представлено, отражают реалии обыкновенно документы обзорного характера, «отражены ум, способности, талант». Ещё один образ материала: источник как призма, сквозь которую можно рассмотреть прошлое. Наконец, на материал можно «опереться» и «рассмотреть» прошлое. Но то же самое можно сделать и используя вместо материала, суммируя подсчеты / используя данные специалистов — других авторов.

В том, как описываются совершаемые историками действия доминирует метафора взгляда (историки «видят, рассматривают»), чтения и счета (они «считают / учитывают / оценивают, прочитывают в прошлом, расшифровывают»), письма («пишут» и «подчеркивают»), ещё одна метафора жеста — историки «распутывают клубок» или «исходят», «проникают в тайну». Мотив воображения и мысли связан с такими функциями, как — «дают толкование, выражают суть, строят объяснения, представляют, думают, гадают, предлагают, судят, анализируют». Кроме того, историки мыслятся как создающие некое пространственное изображение: они «выбирают масштаб анализа, делают акцент, помещают в контекст, чернят или обеляют, приукрашивают или нет», таким образом «воссоздавая» или «реконструируя» его.

Мотив чувств связан с такими функциями, как — «гордиться и испытывать боль, идеализировать», а мотив слова — с функцией «проклинать» и «задавать вопросы прошлому», наконец, просто «говорить», «именовать, называть, рассказывать».

Герои и их функции

Проблематизируя героев и совершаемые ими в повествовании действия, я также стремилась приблизиться к определению того, какие аспекты в том, что делает историк осознаются авторами рассматриваемых текстов как то, что требует внимания, осторожности, как проблемные ловушки, находящиеся за пределами возможностей познания и т. п. Обращает внимание та свобода, с которой авторы вторгаются во внутренний мир своих героев, описывают их мнения и чувства. Идея возможности проникнуть во внутренний мир героя, познать мысли и чувства, искренность отношений ближнего объединяет авторов рассмотренных нами текстов.

— Правительство, руководство,— иногда с дополнением «и его глава» (встречаются и такие разновидности как: «Царь и его окружение», «Сталин и его единомышленники», «Хрущев и его сторонники», «партия и её лидеры», «Брежнев и его команда»), дипломатия, политики, ведущие деятели, министры, президент, правящие круги — элита (правящая), вожди, режим и власти (в значении «группа лиц», а не «сила»), Москва (и др. столицы), государство (название страны), войска, силовые структуры, чиновничество / бюрократия / управляющие, система управления / командно-административная система.

— Капитал, предприниматели, криминальные структуры.

— Политические силы, либералы, радикалы, революционеры, народо-вольцы.

— Интеллектуалы, элита (духовная, интеллектуальная).

— Народ / народы, массы, мировое сообщество / общечеловечность, этнос / новгородцы / русские, граждане, население, широкая публика, жители, рядовые участники, племена, массовый читатель, современники, социум / общество (классы, кланы), люди, мы.

— Процесс (в т. ч. «судьба»): его происхождение, путь, развитие и его стимулы, переход, исход, направление и его истоки или корни, курс / подход / течение в мысли или историографии, сходство, обновление (модернизация), формирование, сходство, движение, мощь, возможность избежать / миновать, достижения и достояния, метафора следа как значения.

Все эти герои, за исключением последнего типа, способны «понимать, надеяться, ожидать или нет, быть готовым, отмечать, стремиться, считать, интересоваться, поддаваться влиянию, следовать побуждению, скрывать,

полагать, иметь мотивы, оценивать, испытывать симпатию или страх, чувство неуверенности, отдавать предпочтения, делать выбор, сознательно или нет совершать что-либо, испытывать вдохновение от чего-либо». Минимальный интерес авторы проявляют к действиям героев (за исключением абстрактных «работа/деятельность/прибегать к мерам для», борьбы / столкновений и элементов биографического формуляра, встречи, сотрудничества или столь же абстрактных как «производить, торговать, грабить», «развиваться, стать»), и наибольший — к словам (писал, сказал, заявил), но главное — их мыслям и чувствам, усматривая в них скрытую (и открываемую ими) причину происходившего в прошлом. Сознание индивидуальное и массовое, ментальность, идеология, а в последнее время память оказываются в фокусе интереса. Такие понятия как степень безразличия, мотивация, и проч., применяемые в современной социологии для анализа поведения человека в ситуации выбора категории, отсутствуют в работах. С мотивом «мысли и чувства» конкурирует мотив «значения и языка», что связано в последние годы с категориями дискурс, риторика, нарратив, жанр, мифы, символика, стереотипы, ритуалы. Помимо мыслей и слов, некоторое внимание уделяется функции идентичности, статусу и положения относительно других.

Тема: способ проблематизации

В данном случае остановимся на том, что значит для историка «увидеть проблему»? Как определяется объект исследования, как выбираются некие аналитические категории в качестве того, что (если бы речь шла о художественном произведении) можно было бы назвать основными мотивами его сюжета? Я не случайно в последнюю очередь предлагаю коснуться этого момента, уже рассмотрев основных героев и их функции, пространственно-временные рамки. Помимо ответа на волнующие сообщество сегодня вопросы, участия в диалоге с другими историками — не такими правдивыми, объективными, свободными от контроля, барьеров, давления, богатыми на материал, можно выделить ещё следующие мотивировки обращения к теме:

— Устремленность в будущее по отношению к моменту в настоящем, в котором пребывают автор и читатель («уходящий век и перспективы развития человеческого сообщества»). Устремленность возможна, поскольку: события повторяются («ситуации периодически воспроизводятся»), Россия отступила в прошлое («Россия возвращается на покинутые рубежи»). При этом на страницах журнала «Отечественная история» применяется слово «опыт», «Вопросы истории» используют слово «урок». Такое назидание задается, скажем, как необходимое «при проведении преобразований».

— Устремлённость в будущее в прошедшем — имело более менее отдалённые последствия в чём-то ином — ошибки и успехи. Возрождение прошлого в настоящем.

— Трагедия прошлого («личная трагедия тесно переплеталась с величайшей трагедией прошлого»).

— Тайна, что в действительности скрывалось, раскрытие скрытого внутри (логики, смысла, причин).

Все рассмотренные выше особенности удалось с равной степенью вероятности наблюдать как на страницах «Отечественной истории», так и в «Вопросах истории». Однако именно в диапазоне тем между этими журналами есть отличия. Так, журнал «Отечественная история» делает акцент на изучении таких тем, как:

— Предпринимательство и рыночная экономика, торговля, производство, финансы и их организация.

— Парламентаризм, администрация и управление.

— Революция и тоталитаризм, политическая борьба и роль правых партий.

— Великая Отечественная война — особенно подготовка.

— Демографические процессы.

— Новые направления в исторических исследованиях (антропологический подход, нарратив, ревизионизм, новая экономическая история, региональные исследования с акцентом на мусульманский мир и имперскую историю, история общественного движения, «национально-государственные интересы» в истории, политическая культура).

— Работа историков в советское время.

«Вопросы истории» также уделяют внимание указанным темам, хотя и в меньшей мере и менее последовательно. На страницах этого журнала представлена галерея случайных портретов, панорама экзотических стран и даже история туризма, часто по стилю напоминающие авантюрный роман. Тема «тайны» также нашла своё воплощение в таких сюжетах как тайна смерти Ленина и Наполеона, преемника Сталина и заговоров вокруг этих событий. Кроме того, отличает этот журнал внимание к вещественным, материальным источникам. Мотивы галереи, музея и города занимают важное место в построении этого журнала.

Заканчивая это описание, мне хочется привлечь внимание читателя к собственной позиции. Все мы неизбежно находимся в сетях языковых принуждений, блуждая в полях, формирующих те или иные дискурсивные сообщества. Мы скованы, но одновременно, и свободны совершать выбор. Что значат для нас рамки допустимых решений при выборе того или иного слова? Ответственность за речевой акт лежит на нас, говоря о других в прошлом, мы совершаем действие в настоящем — мы практикуем суждения о ближнем, и способны создавать новые сценарии в построении подобных суждений. Посредством языка мы определённым образом конструируем действительность настоящего, о чем бы мы ни говорили (о прошлом ли, будущем или настоящим). Занимая

позицию по отношению к ней, мы косвенно указываем на действия, которые мыслятся как допустимые при подобном раскладе в игре. Подобная деятельность историка наделена, на наш взгляд, огромным моральным смыслом. Конечно, речь идёт об индивидуальном выборе. Однако с самого начала мы оговорились, что описанная выше ситуация — результат вероятного взаимодействия между авторами, профессиональной средой, в которой находится автор, и редколлегиями изданий, в которых автор публикуется. Как уже было сказано в самом начале, в последние годы традиционные исторические институты (и периодика в том числе) всё чаще и чаще оказываются в ситуации конкуренции с институтами и изданиями неисторическими. Установление связей и диалога с коллегами из иных областей гуманитарного и социального знания, с коллегами из других стран, принадлежащих к разным научным школам и направлениям, даёт, как усвоение разнообразного концептуального инструментария, так и формирует новые дискурсивные сообщества, открывает для многих авторов дверь в иные профессиональные институты, на страницы иных изданий. И если вообще есть смысл говорить о тенденциях, думается, что внимание, скажем, «Отечественной истории» к новым направлениям в данном случае показательно.

Параллельно идут и процессы иного рода, к примеру борьба за расширение читательской аудитории, переориентация (пока частичная) на тех, кто не будучи профессиональным историком, мог бы быть заинтересован в приобретении журнала, поиск и формирование запросов этой будущей (опять же новой) читательской среды, и в данном случае некоторые опыты журнала «Вопросы истории», опять же кажутся нам показательными. Таковы две основные тенденции в развитии той профессиональной среды, которая волею случая оказалась в поле нашего зрения. Наряду с преодолением запретов, открытием архивов и снятием грифа «секретно», наряду с переосмыслением старых тем — теми явлениями, которыми было отмечено состояние профессиональной среды в начале 90-х, — российские историки на пороге XXI века всё чаще оказываются в ситуации выбора, связанного не столько с новым материалом, сколько новым языком анализа и описания.

ПРОБЛЕМА УЧЕБНИКА ИСТОРИИ

Никита ДЕДКОВ

О преподавании истории говорят у нас часто. По крайней мере, чаще, чем о преподавании какого-либо иного школьного или вузовского предмета. И по большей части, говорят об учебниках. Дошло, как известно, до того, что в августе 2001 г. вопрос о школьных учебниках по истории России стал предметом рассмотрения на заседании правительства страны, то есть впервые с советских времен был признан вопросом государственной важности. А уж после этого и вовсе не осталось ни одного печатного издания, так или иначе не обозначившего свой интерес к данной проблеме.

Вопрос государственной важности

Естественно, во многом возникновение столь широкой дискуссии определялось побудительными причинами чисто политического характера, к исторической науке имевшими опосредованное отношение. Речь, как правило, идёт о соответствии (или несоответствии) учебников конкретным идеологическим построениям, которые рассматриваются их приверженцами как необходимые составляющие воспитания подрастающих поколений. С одной стороны, именно так эта проблема была воспринята на правительственном уровне: «По словам Касьянова, через 10 лет после становления нового российского государства в учебниках не упоминается о ценностях демократического общества, о необходимости реформ в экономике и социальной сфере, о том, что сам народ избрал путь рыночных преобразований. По мнению премьера, это недопустимо» (1). С другой — ничем (за исключением, конечно, расстановки плюсов и минусов) не отличается и подход авторов оппозиционных (название статьи А. Тарасова «Молодёжь как объект классового эксперимента» говорит само за себя (2)). Качество осмысления исторического материала в учебниках — а статья того же А. Тарасова изобилует примерами искажений фактов и недопустимых умолчаний — в ходе такой дискуссии превращается всего лишь в аргумент в идеологической полемике, которая не имеет ни конца, ни края, ибо примирение противоположных позиций в данном случае заведомо невозможно.

Однако полемика, возникшая вокруг школьных учебников, отнюдь не ограничилась спорами левых и правых, либералов и государственников. У неё

есть ещё одна грань: заинтересованный, профессиональный разговор педагогов и историков о том, каким быть школьному учебнику. Здесь, конечно, тоже не обошлось — не могло обойтись! — без элементов идеологии и политики, но в целом в центре внимания находились вопросы иного порядка. В новых, постсоветских условиях российская средняя школа в одночасье осталась без учебников по отечественной истории, ибо неадекватность прежних, советских учебных пособий, описывавших совершенно иную реальность, теперь не только бросалась в глаза, но и сделала их употребление просто невозможным. А поскольку свято место пусто не бывает, за какие-то несколько лет книжный рынок заполнили десятки (!) разного рода учебников, учебных пособий, хрестоматий, рабочих тетрадей, пособий для поступающих в вузы и других предназначенных для школьников книг по отечественной истории. Уже сами по себе ударные темпы работы авторов и обилие произведений заставляли серьезно задуматься о качестве конечной продукции.

А споры продолжают...

Подводить итоги дискуссии о школьных учебниках по отечественной истории — дело неблагодарное. Во-первых, дискуссия эта всё ещё идёт, появляются новые учебники и — возможно, это самое главное — до сих пор неизвестно, к чему, в конечном счёте, приведёт вмешательство государства в эту сферу, выразившееся в продекларированном намерении Министерства образования «сократить федеральный перечень (школьных учебников по отечественной истории. — *Н.Д.*), пересмотреть в ближайшие два-три года его содержание, расставить правильные акценты при обращении с грифами “Допущено” и “Рекомендовано”, а главное, предложить жесткий отбор тех учебников и учебных пособий, которые поступают в школы» (3). А, во-вторых, определённые промежуточные итоги уже подведены — на Международной научной конференции, проведённой в ноябре 1999 г. в Бохуме (ФРГ) (4) Ассоциацией исследователей российского общества XX века (АИРО-XX) и Институтом русской и советской культуры Рурского университета, и в сборнике статей «Историки читают учебники истории», охватившем практически весь комплекс возникающих в этой сфере проблем (5).

Важно не ждать от дискуссии слишком многого, не надеяться, что она назовёт авторов явленного миру идеального учебника или сформулирует безупречную его концепцию. Ни того не будет, ни другого, а будет лишь бесконечное движение к этим идеалам. Как заметил Х. Ортега-и-Гассет, «утопично всё, что ни делает человек», и «стало быть, мы способны решить задачу лишь приблизительно. Но это приближение может быть большим или меньшим... до бесконечности, — и перед нами открывается неограниченное поле деятельности, всегда оставляющее возможность для исправления, улучшения, совершенствования, короче — для “прогресса”» (6). И сколь

неблагодарны поиски идеала, столь же плодотворно стремление найти дорогу к нему, определить путь, по которому стоит двигаться, задачи, которые надо решить. Вот в этом-то вопросе, в деле определения проблем, вставших перед создателями школьных учебников по отечественной истории, уже существует — благодаря усилиям историков и педагогов — определённая ясность.

Во-первых, существует ясное осознание самого наличия *проблемы цели*. Навязывание школьнику определённой суммы знаний по истории больше не рассматривается как самоцель, перед педагогами встал вопрос: «Зачем школьнику надо изучать историю?»

Да, вероятно прав немецкий исследователь К. Вашик, когда утверждает, что в большинстве существующих учебников «необходимость исторических знаний предполагается как нечто аксиоматическое; напротив, вопрос о том, каковы должны быть конкретные результаты этих знаний, каким образом может компетентность в области истории стать необходимой в качестве “наставницы” при решении жизненных проблем, остаётся без ответа» (7). Однако и его собственные представления о том, что целью обучения являются «типологическая или ориентированная на проблему» выработка исторического знания самим учащимся, критическое осмысление этого знания, а также способность учащегося «самому позиционироваться относительно собственной — российской и советской — истории (трансформация исторического знания)» (8), тоже далеко не бесспорны.

Думается, общая ориентация на самостоятельность вполне соответствует духу времени, но складывается впечатление, что в данном случае мы имеем дело — если ещё раз прибегнуть к помощи испанского мыслителя — с «ложным утопизмом», полагающим, что человеческие замыслы и намерения осуществимы. Реальная, не мнимая самостоятельность в получении исторического знания подразумевает не просто знакомство с отдельными документами эпохи, а — *как минимум* — самостоятельный подбор источников, поскольку в любом другом случае все равно так или иначе будет иметь место навязывание мнения педагога или автора учебного пособия, прекрасно понимающих, какие выводы можно сделать из тех текстов, которые они предоставили в распоряжение своих подопечных. Что же касается «позиционирования» по отношению к истории своей страны, то оно и вовсе представляет собой нонсенс, ибо трудно сколь-либо произвольно позиционировать себя по отношению к тому, внутри чего ты находишься. Выработать своё отношение — да, сколько угодно, но вот заявить: «а я ко всему этому безобразию отношения не имею», — не получится, как ни крути. Знание истории формирует личное отношение к прошлому своей страны и своего народа — это верно, но столь же верно и то, что в любом случае это личное отношение — каким бы оно ни было — будет связано с чувством причастности, тогда как отчуждение — явный признак плохого знания. Как справедливо заметила Е. Зубкова, «“моя история” — это наследство, от которого не отказываются — “хорошее” оно или “плохое”. Не все предки заслуживают уважения, но у всех из них есть право на понимание» (9).

Другие исследователи пытаются подойти к преподаванию истории с утилитарной точки зрения. Весьма туманной выглядит формулировка самой Е. Зубковой: «Чтобы научиться ориентироваться и организовывать свою деятельность в настоящем, надо научиться понимать, как эта деятельность была организована в прошлом» (10). Нечто подобное предлагает и М. Шнейдер: «В открытом обществе уроки истории — средство развития мышления, включения в культурную среду и формирования умений, полезных в социальном общении и гражданском поведении» (11). Попытки найти в историческом знании некую повседневную практическую «полезность» каждый раз оказываются очередным перефразированием древнего афоризма «Historia est magistra vitae» и возвращают нас к невеселой констатации К. Вашика о безответности некоторых вопросов.

Интересно было бы спросить: а как, например, математики? Они тоже занимаются углубленной рефлексией по поводу «практической полезности» изучения в школе логарифмов и интегралов или, может быть, уверенности в том, что математика развивает мышление, для них достаточно? Так почему же нет подобной уверенности у историков? Почему единственная наука, способная научить серьёзно размышлять об обществе и о человеке, так нуждается в самооправдании? Или то время, когда история была служанкой политики и не то что не занималась развитием исторического мышления, а временами и просто противилась оному, наложило на неё столь сильный отпечаток, что она и до сей поры не может от него избавиться? Нет ответа. Пока нет.

Во-вторых, поднимаются проблемы *методологические*: старинная структура советского учебника (параграф с парой-тройкой иллюстраций к нему + вопросы) уже не воспринимается как нечто незыблемое и вечное. Идёт живой поиск новых форм и подходов, в котором отчётливо прослеживается стремление «догнать» в этом плане Запад, ибо, как полагают немецкие коллеги, российские учебники «ещё не совершили визуальный поворот к современному преподаванию истории, вошедшему в практику в Западной Европе уже в течение нескольких лет» (12). (Замечу в скобках, что ссылка на Западную Европу в данном контексте выглядит не такой уж и убедительной. Советский Союз обладал далеко не худшей системой школьного образования, традиции Россия в этом плане имеет очень прочные, и кому у кого учиться — вопрос открытый. Для его решения требуется сравнение не учебников, а качества знаний выпускников школ, то есть добротное социологическое исследование.) Впрочем, то живое участие, которое порой принимают в обсуждении этих вопросов историки (не преподаватели, не педагоги, а именно академические историки), выглядит всё-таки несколько странным. Столь же странным, как и любая попытка профессионала выступить в качестве эксперта в чуждой для себя области.

И, наконец, *в-третьих*, предметом пристального рассмотрения стал весь комплекс вопросов, касающихся *содержания учебников* — от теоретических основ осмысления исторического процесса до освещения отдельных проблем отечественной истории.

Область основ, напрямую соприкасающаяся с областью идеологий, вызывает наибольшие споры, и это при том, что пресловутый плюрализм на словах признается всеми, а следовательно — должно было бы признаваться и право на существование учебников, созданных на основе любых научных концепций. Кстати говоря, официально его признает и Министерство образования, зафиксировавшее в «памятке (инструкции)» для своих экспертов среди «требований жанра учебной книги по истории» необходимость «чёткого представления автора о концептуальной принадлежности данной учебной книги к тому или иному методологическому направлению (например, государственно-патриотическому, гражданско-патриотическому, либеральному и др.), концептуальной целостности данной книги» (13). Естественно, «государственно-патриотическое», «гражданско-патриотическое» и т. п. «методологические направления» есть не более, чем плод чиновничьей фантазии, но факт остаётся фактом: принадлежность учебника к тому или иному историографическому направлению не может служить критерием для его оценки.

Однако, как это обычно и бывает в жизни, признать что-то в теории легче, чем на практике. Тот же Е. Вяземский, зав. кафедрой исторического образования Академии повышения квалификации работников образования Министерства образования РФ, который числит себя сторонником *концепции вариативного образования*, делает заявления, весьма далёкие от «духа плюрализма», но зато вполне гармонирующие с духом государственной политики последнего времени (о выдающихся качествах стиля этого заявления лучше умолчать): «Сегодня, как мне представляется, большинство педагогов выступают за то, что общество в целом и школа в особенности не могут жить без идеологической основы, доктрины национальной (общезакономерной) безопасности и вытекающих из неё общезакономерных приоритетов образования, которые в той или иной степени должны быть отражены в соответствующей стратегии и концепции развития образования» (14). Конечно, ничего криминального: речь не об учебниках, а только о «стратегии» и «концепции», о «той или иной степени»... И всё же. Задаваемая государством для общества и школы «идеологическая основа», какой бы она ни была, есть верное средство для избавления от всяческой «вариативности», если только не понимать под ней исключительно педагогические «инновации».

Да, это не более чем мнение чиновника от педагогики и науки, полагающего, кстати говоря, что «одним из наиболее результативных направлений в реформе общего, то есть школьного образования, стала реформа исторического образования» (15). Однако и историкам бывает трудно мириться с иным. В. Бухараев сетует: «Итог десятилетней перестройки академической и вузовской науки — это социал-демократическая корректировка советского марксизма как основы историографии и нежизнеспособное сопряжение с формационной «пятичленкой» (при молчаливом, оппортунистическом усекновении коммунистического «члена») циклической / цивилизационной парадигмы» (16). К. Вашик пренебрежительно упоминает об «остаточных явлениях марксистской и евразийской теорий» (17). Но что сто-

ит за этими сетованиями, за этим пренебрежением, помимо нетерпимости к инакомыслию? «Единственно верная теория» превратилась — в результате известных *политических событий* — в единственно неверную, однако к *исторической науке* это отношения не имеет. Раньше шельмовали немарксистов, теперь — марксистов; как вчера, так и сегодня научные споры разрешаются с помощью наклеивания на противников политических ярлыков... но при чём здесь учебники?

Особенно занятно удивление, выражаемое в связи с обилием марксистов в среде российских историков. Оно в чём-то сродни с удивлением булгаковского Воланда, который испуганно обводил глазами дома на Патриарших прудах, «как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту». Вообще-то, не мешало бы иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, никого кроме марксистов исторические факультеты советских вузов не готовили. А, во-вторых, коренным образом поменять методологию, а заодно и терминологию, для настоящего ученого так же трудно, как поменять образ мыслей. И потому всякого рода «нежизнеспособные сопряжения» были, есть и будут результатом работы не на науку, а на политическую конъюнктуру, которая в нашей стране очень часто определяет и конъюнктуру научную. Иными словами, они являют собой не доказательство нежизнеспособности марксизма как метода исторического исследования, а всего лишь убогие плоды попыток любой ценой уйти от марксизма — даже тогда, когда для этого нет ни внутренней потребности (методику меняют не потому, что она в ходе исследования выявила свою неспособность справиться с поставленными задачами, а из соображений политической конъюнктуры или даже моды), ни достаточных способностей. Что же касается социал-демократии, то это — политическое течение, политическая партия, что угодно, но только не метод исторического исследования и не способ его корректировки. Однако нарочитое смешение понятий, когда идеология КПСС, так называемый научный коммунизм, марксизм как экономическое учение, марксистская методология в области исторических исследований приравниваются друг к другу, очень удобно — оно позволяет от констатации факта распада СССР совершить логический скачок к выводу о «крушении марксизма». А соответственно — и к негласному табу на марксистские исторические работы, в том числе на учебники.

Негодование, которое вызывает терпимость к марксистской науке, хорошо известно: «марксизм устарел», «марксизм не оправдал», «марксизм не способен» и т. д. в том же духе. Это тоже наша национальная особенность — подменять научную дискуссию и конкуренцию в области идей и реальных достижений эмоциями. Преодолеть марксистскую трактовку отечественной истории, коль скоро её существование не даёт покоя, можно лишь одним путём: представив на суд научного сообщества другую её трактовку, новое, более адекватное, более современное, более жизнеспособное осмысление исторического процесса. А до этого, похоже, ещё далеко. Остаётся только согласиться с неутешительным выводом Л. Гагаговой: «Пока не произойдёт *полное переосмысление собственного прошлого*, серьёзный прорыв в деле подготовки модернизированного поколения учебников невозможен» (18).

Надежда на то, что новая концепция истории России появится именно в школьных учебниках, ещё продолжает жить в умах историков. Основанием для неё служит то обстоятельство, что сам жанр школьного учебника представляется свободным от сковывающих академических ограничений, дающим простор для творчества и самовыражения, отвечающим веяниям времени, когда — как это сформулировали К. Аймермахер и Г. Бордюгов — «сама личность ученого, его субъективное мнение начинает значить больше, чем степень доказательности его идей и выводов» (19). Но, спросим себя, не являются ли открывающиеся возможности и свобода, всего лишь соблазном, не порождаются ли кажущаяся легкость, кажущаяся достижимость цели недооценкой сложности задачи? Честно говоря, в то, что человек, который проделает титаническую работу по переосмыслению российской истории на каких-то новых теоретических основаниях, первым делом обратится к созданию школьного учебника, верится с трудом...

И ещё один скептический вопрос зададим мы себе: а даже если и обратится, даже если и появится посреди имеющегося изобилия учебников один, если не идеальный, то гениальный, что изменится? Что изменится в общей ситуации с историческим образованием?

Школьный учебник — всего лишь инструмент в руках учителя, в руках того самого учителя, который, во-первых, учился в совершенно других исторических условиях и крепко-накрепко усвоил те теоретические схемы и концепции, которые мы считаем устаревшими, а, во-вторых, сегодня не имеет ни сил, ни возможностей следить за последними достижениями науки. Именно этот учитель решает, какой учебник предпочесть, именно он доносит до ученика собственное видение истории, чему никакой учебник воспрепятствовать никогда не сможет. Вот где корень проблемы.

Причина, по которой внимание правительства устремилось в совершенно ином направлении, очевидна. Проблемой школьных учебников заниматься куда легче: достаточно дать ценные указания, выделить определённые средства — и результат в виде десятка-другого новых работ в этом жанре не заставит себя ждать. Что же касается проблемы учителя, то тут никаких результатов с наскока не получишь. Потребуется и коренной пересмотр отношения государства к сфере образования, поскольку при сохранении нынешних социально-экономических условий говорить о качественном обновлении учительского корпуса просто смешно, и преобразование системы переподготовки кадров, и существенные перемены в деле преподавания истории в вузах. Пока же обо всём об этом нет и речи. Как нет речи и о вузовском учебнике по истории, о базе подготовки будущих учителей, будущих преподавателей педагогических вузов и будущих авторов школьных учебников.

Учебники и эксперты

Самый первый вопрос, возникающий у мало-мальски грамотного читателя, задавшегося целью ознакомиться с современными вузовскими учебниками по истории России (20): «А куда смотрели так называемые эксперты Министерства образования?». Нет, конечно нет, далеко не все вузовские учебники пестрят ошибками и неточностями, но чтобы усомниться в качестве контроля, не так уж и много надо.

Возьмём в качестве примера рекомендованную Министерством образования Российской Федерации «в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений» книгу «Отечественная история. XX век» (21). В параграфе, посвящённом Русско-японской войне автор (он же ответственный редактор учебника, профессор А. В. Ушаков) утверждает: правительство России «сделало последнюю ставку на эскадру русских военных кораблей под командой адмиралов Рождественского и Небогатова, которая была направлена из Балтики к берегам Японии» (22). В одном предложении сразу несколько фактических неточностей: эскадр, как известно, было две (2-я и 3-я Тихоокеанские); первой из них командовал вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, а не Рождественский (это не опечатка, а именно ошибка, повторяющаяся на следующей странице), и следовали эскадры не к берегам Японии, а в Порт-Артур — для усиления базировавшейся там 1-й Тихоокеанской эскадры — и после получения известия о падении крепости взяли курс на Владивосток.

Не лучше обстоит дело и с характеристикой предложений конституционно-демократической партии в области избирательной системы: «В верхнюю его (парламента. — *Н. Д.*) палату предполагалось избрать (на основе не всеобщего и непрямого избирательного права) депутатов от буржуазии, а в нижнюю всеобщим голосованием представителей народа» (23). И верхняя палата, целиком состоящая из «депутатов от буржуазии», и «всеобщее голосование представителей» (так всеобщее или всё-таки представителей?) есть плод фантазии автора.

Не всё в порядке и с хронологией: «Народ был бесправен. Многие беды обрушились на него в начале XX века. Одной из самых кровавых была так называемая ходынская катастрофа...» (24). Возможно, дело в плохой редакции, но факт остаётся фактом: Ходынка не только попала в начало XX в., но ещё и стала «одним из самых кровавых событий» этого времени — куда там войнам и революциям...

К сожалению, упомянутое издание — не исключение. Авторы изданного под общей редакцией Ю. И. Казанцева и В. Г. Деева учебника (25) (опять-таки рекомендованного Министерством образования РФ) отличаются не большей точностью. Вот, например, они обращаются к истории общественной мысли в XIX веке: «Славянофилы разработали систему взглядов, основанную на

православной вере... В отличие от Чаадаева... славянофилы крайне идеализировали весь ход развития русского славянского мира и отрицательно относились ко всей западноевропейской культуре» (26). Для того чтобы *так* писать, надо вовсе не представлять себе, кто такие были славянофилы. Это что же, Иван Киреевский, в немецких университетах обучавшийся, лично с Гегелем и Шеллингом знакомый, журнал издававший с характерным названием «Европеец», тот самый Киреевский, о «благоговении» которого «перед первоклассными умами Европы» писал *западник* Дмитрий Писарев (27), отрицал западноевропейскую культуру? Зависимость работы новосибирских авторов не то, что от устоявшихся представлений, а от обывательских штампов, выявляется буквально в нескольких словах, и на этом фоне элементарная небрежность: «Из земского движения выросли известные лидеры российского либерализма — И.И. Петрункевич, братья Родичевы и др.» (28) (а надо было бы сказать о братьях Петрункевичах и Ф.И. Родичеве), выглядит настолько безобидно, что на неё и внимание-то обращать не стоит.

И, чтобы достойно завершить эту краткую и очень неполную выборку курьёзов, упомянем об учебном пособии И.Ю. Заорской, М.В. Зотовой, А.В. Демидова и других «Отечественная история. С древнейших времен до конца XX века» (29), где говорится об «историческом значении победы СССР во Второй мировой войне» (30)! А ещё утверждают, что нынешние учебники непатриотичны...

Подобные примеры можно множить, но, разнообразия ради, приведём образцы и другого рода. «Связанные известными идеологическими установками советские историки преувеличивали наличие революционной ситуации в России в 50-х — начале 60-х годов» (31) (речь идёт, естественно о XIX веке). «В исторической литературе существует предубеждение об отношении Г.В. Плеханова к крестьянству» (32). «Поняв, что с такой Думой властям не ужиться, 9 июля 1906 г. I Дума была распущена» (33). «Сформировано советское правительство по главе с верным сообщником Сталина В.М. Молотовым» (34).

Конечно, ляпы, ошибки, стилевые и фактические неточности, курьёзы, — «мелочи жизни», но они чрезвычайно показательны. Все эти огрехи, просто недопустимые в учебнике (точность тут — непререкаемый закон жанра), легко, элементарно вылавливаются и устраняются на стадии рецензирования, а тем более — экспертизы, той самой экспертизы, которую якобы проводит Министерство образования. Но, очевидно, что экспертиза эта плоха, а практика её проведения, когда никому не известные «эксперты», руководствуясь какими-то своими соображениями, где-то в кулуарах выносят приговор, — порочна. И сколько бы ни рассуждал Е. Вяземский о достоинствах нынешней системы, сколько бы ни доказывал, что «экспертиза всегда — это *наука и искусство*» (35), мы, видя перед собой плоды её работы, имеем полное право ему не верить. Закулисный и анонимный там, где речь идёт о деньгах — а ведь речь идёт именно о деньгах, выделяемых на издание учебников, не так ли? — всегда даёт одинаковые результаты.

Впрочем, этот сюжет далеко выходит за пределы избранной темы. Настала пора окончательно вернуться к вузовским учебникам.

Язык и структура

Что унаследовали учебники нового поколения от советских времен, так это предельно сухой обезличенный научный язык и стиль изложения. Открываем, например, наугад подготовленный на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова учебник «История России XIX — начала XX в.» (36) и читаем: «Наступивший во второй четверти XIX в. кризис феодализма в России заключался в том, что возможности развития помещичьего хозяйства на крепостной основе были исчерпаны. В целом же и в экономике, и в социальных отношениях были несомненны важные сдвиги, но они происходили на базе не крепостного, а мелкотоварного и капиталистического производства. Однако, несмотря на кризис феодализма, крепостнические пути были ещё достаточно сильны, и замедленные темпы экономического развития России в первой половине XIX в. в значительной степени были обусловлены тормозящим влиянием крепостничества. Чем сильнее разлагалась феодально-крепостническая система, тем больше условий создавалось для развития новых производственных отношений» (37). Невозможно определить время, когда был написан этот текст, 30 лет назад или вчера: и лексика, и логика, и стиль остались прежними.

Единственная заметная перемена, произошедшая в учебниках в этой области, — исчезновение прежних бесконечных ссылок на классиков марксизма и партийные документы. Нежелание лишний раз поминать Ленина вообще порой доходит до смешного. «Именно со II съезда большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия», — ничтоже сумняшеся утверждают от своего имени И. Заорская, М. Зотова, А. Демидов и другие авторы учебника (38). «Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года», — писал в своё время В. Ленин (39). Поскольку уважаемые авторы просто не могут не знать знаменитую ленинскую фразу, цитировавшуюся в своё время едва ли не во всех учебниках по истории партии, приходится предположить, что отсутствие ссылки на автора объясняется сугубо конъюнктурными соображениями, а именно нежеланием ссылаться на Ленина как на авторитет: «мало ли что могут подумать».

Тем же правилом руководствуется и А. В. Ушаков, выступая в качестве автора ряда параграфов учебника, изданного под его же редакцией. Характеризуя обстановку, сложившуюся в стране на рубеже XIX–XX вв., он воспроизводит ленинскую трактовку признаков революционной ситуации и вслед за большевистским вождём перечисляет те же революционные ситуации, имевшие место в России в XIX в. (40), — без какой-либо ссылки. Это не просто

научная некорректность, за умолчаниями такого рода отчётливо проглядывает стремление избежать упреков в симпатиях к марксизму, хотя заменить старые марксистские познания часто бывает нечем.

Нельзя сказать, однако, чтобы А. В. Ушаков в качестве автора учебника везде и во всём был типичен. С точки зрения языка, его текст (речь идёт именно о главах, написанных этим автором, а не об учебнике в целом) ярко выделяется на общем фоне своей упрощённостью и примитивностью. «Прочитав сказанное выше, вы поймете, что такое самодержавный строй, почему с ним боролись все передовые люди». «Прочитав сказанное, вы поймете, что большинство рабочих России были не тёмными и забытыми рабами, а наоборот людьми в достаточной степени развитыми. Об этом свидетельствовал не только их внешний вид, но и разнообразные культурные интересы» (41). Таким языком говорят не со студентами, а со школьниками, да и то — не старших классов. Впрочем, ключ к разгадке такого отношения к умственным способностям студентов даёт фраза: «как вы помните из предыдущих уроков» (42), непонятным образом попавшая в учебник, разбитый на главы и параграфы. Остаётся только предположить, что А. В. Ушаков изначально писал учебник для школы, а затем, руководствуясь принципом «не пропадать же добру» и не утруждая себя дополнительной работой, включил подготовленный с совершенно иными целями текст в вузовский учебник. «Серьёзность» такого отношения к делу весьма показательна и, думается, проявились в нем не только личные качества конкретного автора, но и существующее у ряда историков отношение к написанию учебников как к работе технической, малоинтересной с творческой точки зрения и, в общем-то, достаточно лёгкой.

Пример иного рода являет собой работа Н. А. Троицкого, один из немногочисленных примеров авторского учебника для вуза (43). Внутренняя независимость саратовского историка проявляется в его отношении к наследию советской исторической науки, и в том числе — в стремлении найти «среднюю линию» между «обожествлением» классиков марксизма, долгое время казавшихся непогрешимыми, и нынешним нигилистическим к ним отношением. Когда встаёт необходимость объяснить читателю (студенту), почему в учебнике используются, казалось бы, устаревшие определения и понятия, Троицкий, в отличие от А. В. Ушакова, не уходит от ответа: «Само понятие революционной ситуации и её главные признаки первым научно определил и внедрил в российскую историографию В. И. Ленин. Советские историки канонизировали его определение и, как правило, подгоняли под него факты, доводя такую подгонку до абсурда. В последнее же время критики Ленина, наряду со всем прочим, тщатся отбросить и его положение о революционной ситуации, но опровергнуть ленинскую аргументацию не могут. Думается, и понятие революционной ситуации, и её признаки вполне правомерны именно в ленинской трактовке» (44).

Вообще, учебник Н. А. Троицкого, написанный в полузабытом жанре курса лекций, по своему языку стоит вне общего ряда. С самого начала дела-

ется заявка на вольное, местами даже захватывающее повествование: «Самое начало XIX в. ознаменовалось внезапной сменой лиц на российском престоле. Император Павел I, самодур, деспот и неврастеник, в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. был удушен заговорщиками из высшей знати, разделив таким образом участь своего отца Петра III, ещё большего самодура, деспота и неврастеника, тоже удушенного за 40 лет перед тем.

Убийство Павла было содеяно с ведома его 23-летнего сына Александра, который вступил 12 марта на трон, перешагнув через труп отца. Так после двух сыноубийц (Ивана IV Грозного и Петра I Великого) и мужеубийцы (Екатерины II Великой) на царском троне России оказался ещё и отцеубийца. Правда, получив известие о том, что Павел убит, Александр Павлович дал волю сыновним чувствам и расплакался, но вожак убийц Пётр Пален грубо одёрнул его: “С’est accez faire l’enfant! Allez régner!” В тот же день было объявлено народу, что “государь император Павел Петрович скончался от апоплексического удара”» (45).

Не особенно рискуя ошибиться, можно сказать, что в современной России курс лекций Н.А. Троицкого — единственный вузовский учебник по отечественной истории, который преследует цель не только научить истории, но и заинтересовать ею. В этом смысле он возвращает нас к дореволюционной традиции русской историографии, к традиции В.О. Ключевского и А.А. Корнилова, чьи *курсы лекций* были в полном смысле этого слова авторскими произведениями, ни в коей мере не напоминали справочники, *пособия* для занятий студентов и ориентировались на куда более широкую аудиторию.

Конечно, кое-что учебник Троицкого от языка советской эпохи всё-таки унаследовал. Так, многократно встречается на страницах книги термин «царизм», но никакой научной трактовки ему не дается. Несколько устарело звучат такие типичные советские клише, как «дворянская знать», «бесчинства реакции», «царские каратели» и т. д. (46), но, к чести автора, надо признать, что их в тексте не так уж и много и общего впечатления от книги они не портят. Но в том, что касается структуры, организации текста, данный курс лекций, к сожалению, образцом для других служить не может. И не потому, что он выстроен как-то неумело или неадекватно. Нет, с этим все в полном порядке, но ограничения, добровольно наложенные на себя автором, — он с самого начала заявляет о том, что отдаёт предпочтение политической истории (47) и не выходит за пределы 1801–1894 гг. (весьма нестандартное, но достаточно обоснованное решение) — избавляют его от тех забот, которые ложатся на плечи авторов учебников, охватывающих более широкие хронологические рамки и большой круг проблем.

Между тем именно вопросы структуры, организации материала обычно оказываются слабым местом вузовских учебников. По большому счёту, структура везде оказывается одной и той же и очень знакомой: деление на большие главы (части) по хронологическому принципу с последующим разбиением глав (частей) на привычные тематические параграфы (экономика, внешняя и внутренняя политика, общество, культура), внутри которых изложение

так же организовано по хронологическому принципу. Редкие нововведения (например, В. А. Федоров ввёл в свой учебник специальную главу, посвящённую Русской православной церкви (48)) сути дела не меняют. Более того, претензии на оригинальность, попытки отойти от советского стандарта порою просто оказываются непродуманными и несостоятельными.

В предисловии к упоминавшемуся уже учебнику И. Заорской, М. Зотовой, А. Демидова и др. сделана заявка на определённую качественную новизну: «Принципиальная особенность настоящего учебного пособия состоит в том, что оно ориентировано не только и не столько на освещение исторических фактов, в основном уже изученных в школе, сколько на выявление сущности, закономерностей исторического процесса на самом близком и самом важном для каждого молодого человека примере отечественной истории» (49). Новизна эта проявляется, в частности, в том, что историческое развитие страны на протяжении 1800–1917 гг. охватывается рамками одной главы: «Россия на путях буржуазного реформирования (XIX — начало XX в.)». Само по себе стремление проанализировать данный период как некую цельность можно было бы только приветствовать... если бы оно было реализовано. Однако заявка остается всего лишь заявкой.

Названная глава дробится на подглавки («Эволюция социально-экономических отношений в России и роль государства в этом процессе», «Аграрный вопрос и его решение», «Сословия в России в XIX веке», «Рабочий вопрос» и др.), в которых безошибочно угадывается всё та же старая схема: «экономика–общество–политика–культура». При этом отсутствие какой бы то ни было внутренней периодизации избранного — немалого — хронологического отрезка приводит к последствиям самым печальным: уничтожается логика исторического развития. Авторы не справляются с поставленной перед собой задачей анализа и сбиваются на элементарное последовательное изложение, что в рамках избранной ими структуры приводит едва ли не к абсурду. И экономические, и политические шаги правительств Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и, наконец, Николая II рассматриваются последовательно, едва ли не через запятую, теряют всякую связь с историческим контекстом, контрреформы сливаются с Великими реформами, а те в свою очередь оказываются продолжением политики николаевского царствования...

Все эти бесконечные колебания российских правителей, их успехи и неудачи, судорожные рывки вперёд, раз за разом порождающие откаты назад, могут и должны быть предметом научного исследования, любая попытка уловить закономерность в хаосе достойна уважения. Но беда в том, что в данном случае все ограничивается простым перечислением: в таком-то году проведена такая-то реформа, а в таком-то — другая. И только жанр учебника спасает авторов от закономерного вопроса: а к чему всё это написано, какой глубокий смысл заключён в пересказе того, что давно прошло и хорошо известно? Жанр спасает, но он же предъявляет и определённые требования.

Структурированный подобным образом учебник превращается, по сути дела, в справочник, в котором события более или менее чётко распределены

по темам и выстроены хронологически. Справочник — особенно хороший — вещь, конечно, полезная, но это не учебник (что, кстати говоря, должны понимать люди, ставящие перед собой задачу «выявления сущности, закономерностей исторического процесса»). Недостаточно заставить студента зубок заучить факты, даты, фамилии, важно научить его *понимать* историю, а вот с этой-то задачей справочник справиться заведомо не может. Может ли справиться с ней учебник — другой вопрос, на который нет однозначного ответа; в распоряжении тех, кто ратует за обучение истории без помощи учебников (особенно на исторических факультетах) есть сильные аргументы. Однако коль скоро учебник существует, коль скоро авторы взялись за его написание, одним из важнейших показателей его качества будет оставаться способность книги учить *пониманию* исторического процесса, то есть, как минимум, давать пример такого понимания. И структура здесь играет весьма важную роль.

Надо отдавать себе отчёт в том, что воспроизведение — в той или иной степени — структуры марксистского учебника (на сегодняшний день из неё выпал только неперемный раздел, посвящённый революционному движению XIX — начала XX вв.) при отсутствии марксистского содержания неизбежно оказывается искусственным. Деление «экономика–политика–общество–культура» оправдано только в марксистской парадигме мышления, только при том условии, что все общественно-политические процессы так или иначе выводятся из экономики, а культура при этом оказывается где-то на далекой периферии внимания историка. Этот подход уязвим для критики, но он внутренне логичен, он даёт пример осмысления исторического процесса, даёт метод, с помощью которого можно объяснять факты. Известная структура здесь — зримое выражение внутренней логики; форма соответствует содержанию.

Но исчезает логика — и структура повисает в воздухе, превращается в способ систематизации, каталогизации фактов, в способ удобный, понятный, наверное, даже оправданный, но пригодный для их анализа в той же мере, в какой пригоден для анализа научной литературы добротный тематический каталог библиотеки. Вынесение на первый план вопросов экономического развития понятно и логично тогда, когда исследователь основывается на принципах экономического детерминизма, полагает, что развитие (а точнее, саморазвитие, поскольку его источник мыслится внутри, а не вовне) производительных сил так или иначе определяет все остальные стороны жизни общества. Но как только мы отказываемся от этой теории, как только признаем существование в истории иных движущих сил, «экономико-центричная» структура изложения перестаёт удовлетворять требованиям логики, начинает препятствовать осмыслению истории: она позволяет проследивать векторы «экономика–государство», «экономика–общество», «экономика–политика», «экономика–культура», но препятствует выявлению как векторов противоположной направленности, так и всех остальных связей и сцеплений, действующих в истории.

Хуже всего приходится, как и раньше, культуре. Как в советские времена, так и по сей день соответствующие разделы учебников в основной своей части есть списки имен, произведений, достижений, открытий и т. д. Культура как бы выпадает из исторического контекста, представляет собой какой-то особый, отдельный поток, практически не связанный (за исключением раздела, посвященного народному образованию) с жизнью страны и народа. Пожалуй, единственным исключением здесь можно считать опять-таки учебник Н. А. Троицкого, где в главу, посвященную культуре, включены и такие наблюдения: «Чуть ли не единственным видом общественных демонстраций были тогда похороны писателей, классиков литературы, которые при Александре III умирали, как мухи» (50). Но и это преимущество весьма относительно, поскольку прослеженная Троицким связь культуры и политики есть лишь одна из возможных связей. Это — попытка включить культуру в общий исторический контекст, но попытка явно односторонняя, что во многом определяется той задачей, которую ставил перед собой автор учебника.

Выключенность культуры из истории, существование её — на страницах учебников (51) — вне времени и пространства лучше всего отражает ущербность той традиционной структуры вузовских учебников по истории, которая раз за разом воспроизводится новыми поколениями авторов (52). В целом отсутствие новых подходов к выстраиванию текста (если, конечно, не считать за таковые искусственные и непродуманные новации) отражает отсутствие нового целостного понимания российской истории.

Помимо той инерции, которая обнаруживается в следовании привычной структуре, появлению новой целостной концепции истории препятствует ещё одна традиция советской исторической науки: большинство учебников у нас создаётся авторскими коллективами, причём разделение труда между авторами обычно происходит на уровне распределения между ними отдельных глав. Отдавая должное узкой специализации, каждый пишет о том, что лучше знает, зачастую не особенно согласуя свою точку зрения с точкой зрения автора соседней части. В итоге главы одного учебника, как показывает практика, могут различаться и по языку, и по стилю, и по методологии, и по идейно-политической позиции. Разница бывает такой ощутимой, что учебник как единое целое просто перестает существовать.

Так, например, выше неоднократно приводились примеры из учебника «Отечественная история. XX век» (отв. редактор А. В. Ушаков), а точнее — из глав, лично написанных ответственным редактором. Однако, претензии, предъявляемые к ним, никоим образом нельзя перенести на весь учебник, поскольку за главами Ушакова следуют главы, написанные И. С. Розенталем на высоком научном уровне. Чтобы понять разницу между ними, достаточно будет простого примера. Вот Ушаков даёт определение: «Интеллигенция — это люди, занимающиеся умственным трудом: учителя, врачи, инженеры, агрономы, артисты, писатели, художники и другие» (53). Даже если оставить без внимания вопрос об адекватности приведённого списка профессий, убедительность этого определения вызывает большие сомнения, ибо речь идёт

о таком историческом феномене, как русская интеллигенция XIX — начала XX вв. Неудивительно, что Розенталь понимает его совершенно иначе: «В России интеллигенция представляла собой не просто слой работников умственного труда, разделённых на профессиональные группы. Общей особенностью интеллигенции было, во-первых, сочувствие народу, сознание своего долга перед ним, стремление вывести его к более достойным, человеческим условиям жизни. Во-вторых, она живо интересовалась всем, что происходило в идейно-политической жизни стран Запада, теориями зарубежных мыслителей. В-третьих, для представителей русской интеллигенции первостепенное значение имели вопросы “Кто виноват?” и “Что делать?”» (54). Вероятно, дискуссия между названными авторами на научной конференции или на страницах специальных изданий была бы бесполезной, однако речь идёт об учебнике.

Ни в коей мере не хочу сказать, что присутствие в учебной литературе разных мнений недопустимо. Такое представление ушло в прошлое и вряд ли вернётся, однако несовпадающие точки зрения должны и подаваться как дискуссионные, а не фигурировать — каждая на своем месте — в качестве непререкаемых истин. Студент должен знать, что в исторической науке идут дискуссии и споры, он должен научиться вырабатывать свою собственную позицию, изучая и сравнивая аргументы противников, но он имеет полное право не задумываться, какая глава учебника кем написана. В конце концов коллективное творчество подразумевает необходимость согласования позиций и добровольного подчинения соавторов тем законам жанра, которые отделяют монографию (или учебник) от сборника статей.

Требования эти, как видно, осознаются далеко не всеми, и наиболее яркий пример здесь — учебник «История России. XX век» (ответственный редактор В. П. Дмитренко) (55), где не просто прекрасно просматриваются научные интересы и политические пристрастия отдельных авторов, но не делается даже и попытки согласовать их тексты друг с другом и создать единое, то есть логически выстроенное и внутренне непротиворечивое произведение.

Начинается с мелочей: А. Н. Боханов рассматривает вопросы, связанные с социальной структурой Российской империи в начале XX в., и отдельный параграф посвящает буржуазии, что вполне понятно — это та тема, изучению которой он посвятил немало времени. Однако при этом параграфов, посвященных рабочему классу, крестьянству, дворянству, интеллигенции, в учебнике нет; складывается впечатление, что именно буржуазия играла решающую роль в событиях начала XX в., доминировала на политической сцене и в одиночку определила дальнейший ход истории. Надо ли говорить, что подобное представление даже дискуссионным назвать трудно, ибо о роли российской буржуазии в политической жизни страны невозможно говорить, избегая бесконечного повторения частицы *не*: не справилась, не реализовала, не смогла... О позитиве — кроме как в области экономики и благотворительности — говорить не приходится, и, сосредоточивая своё внимание на Морозовых, Третьяковых, Коноваловых и Рябушинских, понять, что же всё-таки

произошло со страной, невозможно. Формируется искаженное представление об исторической действительности; пристрастия автора вступают в очевидное противоречие со стоящими перед ним задачами.

Но особенно явно это противоречие выявляется, когда вдумываешься в содержание следующих друг за другом параграфов «Третья Государственная дума и П. А. Столыпин. “Вперёд на малом тормозе”» (автор А. Н. Боханов) и «Историческое значение столыпинской аграрной реформы» (автор П. Н. Зырянов). Зная позицию Боханова, нетрудно догадаться, что в его тексте не будет критики Столыпина, который «был истинным русским православным человеком, готовым во имя блага Отечества пойти на любые жертвы. И в конце концов он принёс самую высокую из возможных: собственную жизнь» (56). Апологетика на грани приличия: о *добровольном принесении себя в жертву* убитого террористом премьера можно говорить только в сильном полемическом задоре. Понятно, что деятельность реформатора оценивается Бохановым только положительно: «многое удалось сделать», а что не успел, так потому, что времени не хватило, ибо «грандиозная задача была рассчитана на длительную перспективу, и не вина П. А. Столыпина, что история России этого срока ему не предоставила» (57).

Но то, что Боханов начал «за здравие», Зырянов заканчивает «за упокой»: «Столыпинская аграрная реформа — понятие условное, ибо она не составляет цельного замысла и при ближайшем рассмотрении распадается на ряд отдельных мероприятий. Не совсем правильно и название реформы, так как Столыпин не являлся ни автором её основных концепций, ни разработчиком. Хотя у него были и свои собственные идеи» (58). Общий же вывод и вовсе пессимистичен: аграрная реформа, связываемая с именем Столыпина, закончилась неудачей (59). Интересно, что название параграфа никоим образом не отвечает его содержанию: автор относится к числу тех, кому не очень-то нравится термин «столыпинская аграрная реформа», а негативная оценка её результатов вряд ли позволяет говорить о каком-то «историческом значении» (в тексте параграфа и слов таких нет). По всей видимости, мы имеем дело с «работой ответственного редактора», который вынужден был как-то оправдать существование в одном учебнике двух текстов уважаемых авторов, посвящённых одному вопросу, но написанных с диаметрально противоположных позиций. Их можно было подать как дискуссию, но избран другой путь: разные заголовки призваны создать иллюзию существования у авторов некоего глубокого единого замысла. Искренне жаль того студента, который попытается этот замысел обнаружить...

Вообще, ключевому периоду российской истории — рубежу XIX–XX вв. — с учебниками особенно не везёт: несогласованность авторских позиций проявляется здесь наиболее отчётливо. В соответствии со старой советской традицией, уверенно делившей всю российскую историю на три части — до 1800 г., 1800–1917 гг. и после 1917-го (кстати говоря, это деление до сей поры никем не оспорено) — этот ключевой период приходится на стык двух из них, а потому в вузовских учебниках, ориентированных на студентов истори-

ческих факультетов, он освещается дважды: сначала — как завершение XIX в., а потом — как начало бурного XX столетия. И если отсутствие стыковки между главами одного учебника стало обычным явлением, то о согласовании позиций авторов *разных* учебников никто даже и не вспоминает (60).

Естественно, далеко не все учебники, созданные авторскими коллективами, столь же внутренне противоречивы и разностильны, как учебник под редакцией В.П. Дмитренко. Во многих из них «стыки» между главами не бросаются в глаза, авторы придерживаются примерно одного стиля, пользуются общим научным языком, а профессиональная редакторская работа соединяет авторские куски в единое целое (61). Обратной стороной медали здесь становится обезличение текста, его излишняя «сухость» и, как следствие, его неспособность «зацепить» внимание читателя, вызвать живой интерес к истории. Фраза «сухие цифры говорят больше, чем эмоции» (62), как нельзя лучше характеризует стиль многих учебников. Из исторической науки изымается та живая её часть, которая наиболее близка к искусству, её связь с личностью историка, её уникальная в среде наук способность к эмоциональному воздействию. Остаётся профессионализм — исчезает красота.

Возможно, это не самое страшное, возможно, академическая точность и выверенность текста важнее для учебника, чем красота и изящество формулировок, чем способность автора захватить внимание читателя, поразить его новизной и смелостью логических построений, заставить полюбить историю — в конце концов, для этого в исторической науке существуют другие жанры. И всё-таки устремлённость учебника к справочнику — добротному, полноценному справочнику, где ничто не забыто, где всё проанализировано и разложено по полочкам, — устремлённость, находящаяся в непримиримом противоречии с лучшими традициями отечественной историографии, с традициями В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. Корнилова, — представляется переходящим, временным явлением, связанным с определённой растерянностью российского исторического сообщества после 1991 г.

Концепции и идеологии

Отсутствие устоявшихся, признанных концепций российской истории, которые охватывали бы всю её временную протяжённость (63), выражается на уровне учебников в господстве того подхода, который, с известной долей условности, можно обозначить как позитивистский, разумея под оным словом не прямую принадлежность к известному философскому направлению, а соответствующую тенденцию отказа от объяснения исторического процесса в пользу максимально точного и объективного описания фактов. Анализ частностей превалирует над осмыслением целого, а анонимность — второе имя коллективного творчества — отражает нежелание историков брать на себя личную ответственность и вызывать огонь критики, который неминуемо

обрушится на того, кто попытается представить в качестве учебника собственное видение российской истории. Авторы изданного в Новосибирске учебника, констатируя отсутствие в отечественной историографии «достаточно глубокого анализа социально-экономических и политических процессов», происходивших в России в первой половине XIX в., делают неожиданный вывод: «Поэтому в данной главе речь пойдёт не столько о концепциях, сколько о том, как шло развитие промышленности и сельского хозяйства в России первой половины XIX в., какие изменения в них происходили, а также как развивались в это время государство и общество» (64). Судя по всему, этой же логикой, не обозначая её столь откровенно, руководствуются многие.

Как это ни парадоксально, ориентированные на «многотеоретическое изучение истории» учебники под редакцией Б.В. Личмана (65), где разные главы написаны «в русле» разных историографических направлений, свидетельствуют всё о том же — о господстве позитивистского подхода, хотя таковой среди «теорий изучения исторических фактов» там не упоминается. Используемое как педагогический прием умение авторов увидеть правоту в каждой из рассматриваемых теорий логически приводит читателя (студента) к выводу об относительности ценности каждой из этих теорий, а в конечном итоге — об их неудовлетворительности. А если ни одна из теорий не верна, от истории остается голая совокупность описанных наукой фактов, то есть та реальность, с которой имеет дело историк-позитивист, — и тоска учёного по теории, способной связать их и объяснить, впитав в себя все достоинства известных исторических концепций и избавившись от их недостатков.

Утверждение об отсутствии в учебниках цельных концепций может быть воспринято как весьма спорное. В самом деле, после того, как рассуждения о «цивилизационной модели» и «теории модернизации» стали общим местом в журналистских публикациях, было бы странно, если бы авторы учебников вовсе не отдали им должное. И действительно, чаша сия учебники не миновала. Заявляет о своей приверженности концепции модернизации, повторяет слова о принадлежности России ко «второму эшелону» А.В. Ушаков (66), в том же духе рассуждают и авторы учебника, изданного под общей редакцией Ю.И. Казанцева и В.Г. Деева (67). Но заявление, как известно, — это одно, а дело — совершенно другое.

В учебнике под редакцией А.В. Ушакова за исключением упоминания в начале книги никаких иных следов концепции модернизации — ни в собственном тексте ответственного редактора, ни тем более в главах, написанных другими авторами, — обнаружить не удалось. Отдельные положения учебника ей просто противоречат. Так, например, с точки зрения названной концепции, экономическое развитие СССР в 1920-х гг. должно было бы объясняться именно задачами модернизации. Однако об этом и речи нет, С.П. Карпачев придерживается совершенно иной логики рассуждений: «Держа курс на мировую революцию, Советское государство было особенно заинтересовано в укреплении своей военной мощи. Особое внимание уделялось восстановлению тяжёлой промышленности для последующего выпуска военной техники,

в ущерб лёгкой, которая выпускает товары для народа» (68). Легко прослеживаемая в тексте главы сверхзадача автора — объяснить всё развитие событий в СССР особенностями идеологии большевиков — для него превышает любых общих теоретических положений. Точно так же далеки от теории модернизации и другие члены авторского коллектива: все они решают свои частные задачи, не особенно заботясь не только о теоретической, но даже и об идеологической целостности учебника. И остается только предположить, что упоминание о названной концепции носит такой же ритуальный характер, какой в своё время носили ссылки на решения съездов КПСС и выступления генсеков.

Учебник под общей редакцией Ю.И. Казанцева и В.Г. Деева представляется гораздо более цельным произведением. Но и здесь говорить о рассмотрении всей российской истории через призму теории модернизации не приходится, хотя бы потому, что модернизация понимается авторами очень узко, как «переход от традиционно аграрного общества к современному индустриальному, в котором создаются крупная технически развитая промышленность и соответствующие ей социальные и политические структуры» (69). В такой трактовке модернизация представляет собой не что иное, как новое обозначение того процесса, который марксистской теорией трактуется как переход от феодализма к капитализму. «Модернизация» опять выступает как новомодное слово, в котором не просматривается новое содержание, однако нельзя сказать, чтобы в данном случае за ним стоял старый добрый марксизм. Нет, авторы старательно пытаются уйти от этого «наследия прошлого», предлагая своё видение российской истории, которое лучше всего будет охарактеризовать как либерально-рыночное.

Ключевые положения этого видения нетрудно обнаружить, в такой, например, характеристике: «Россия в начале XX в. была в основном аграрной страной с примитивным в своей массе сельским хозяйством, перед ней стояли задачи не строительства социализма, а перехода в индустриальную стадию. Россия стояла перед выбором между двумя способами индустриальной модернизации — через государство и внеэкономическое принуждение по отношению к крестьянству или через рынок с его частной собственностью, рыночными принципами экономического поведения и неизбежным имущественным и социальным расслоением крестьянства, образованием на его основе сильных фермерских хозяйств, с одной стороны, и превращением основной массы в наёмных работников, — с другой» (70).

Для авторов важны не «модернизация» и «индустрия», а «рынок», «рыночные отношения», «частная собственность», «свобода предпринимательства», «фермерство» и т. п. популярные термины из словаря отечественных реформаторов рубежа XX–XXI вв. Эти термины с воздушной легкостью опрокидываются в прошлое и применяются к событиям не только столетней, но и двухсотлетней давности. Например, освобождение крестьян Эстляндии, Курляндии и Лифляндии от крепостной зависимости без земли в начале XIX в. оценивается следующим образом: «Конечно, положение крестьян

ухудшилось, особенно в первое время, но частная собственность на землю, рыночные отношения создавали условия для более быстрого развития сельского хозяйства и улучшения со временем положения всех крестьян, включая наёмных рабочих, о чём свидетельствует опыт развития Прибалтики до 1940 г. и Финляндии, где эти процессы не были прерваны и в 1940 г.» (71). Понятия «рынок» и «частная собственность» рассматриваются авторами вне исторического контекста (вопрос о том, каким в реальности был земельный рынок в Российской империи начала XIX в., перед ними даже не встает) как абсолютные, вневременные ценности.

По большому счёту, мы имеем дело не с новым теоретическим подходом, благодаря которому оказывается возможным рассмотреть российскую историю в неожиданном ракурсе, а с экстраполяцией современных (и достаточно спорных) представлений о том, «что такое хорошо, и что такое плохо», на прошлое. Цитированное выше положение о «двух способах индустриальной модернизации», выбор между которыми якобы должна была сделать Россия в начале XX в., явно возникает не из анализа конкретно-исторической ситуации, а из знания последующих событий; та развилка, на которой оказались большевики в 1920-х гг., переносится в прошлое, в дореволюционный период, когда ни о каком «внеэкономическом принуждении по отношению к крестьянству» не было и речи.

Точно так же не знание прошлого, а вполне определённые идеологические задачи заставляют авторов учебника существенно модернизировать взгляды дореволюционных либералов: «Партии либеральной ориентации (в России в начале XX в. — *Н.Д.*) провозгласили приверженность таким основным либеральным ценностям, как демократические права и свободы личности; конституционное, правовое государство; рыночная экономика с безраздельным господством частной собственности и свободой предпринимательства». «Считая капитализм оптимальным вариантом общественного прогресса, кадеты с наибольшей полнотой и последовательностью отразили в ней тенденции капиталистического развития страны на обозримую историческую перспективу» (72).

Даже самого поверхностного знакомства с общественно-политической жизнью России начала XX в. было бы достаточно, чтобы понять: вопрос о рыночном или нерыночном характере экономики тогда вообще не стоял на повестке дня, а что касается «господства частной собственности», то «безраздельность» его вызывала большие сомнения у многих либералов. Так, например, кадет П. И. Новгородцев, философ, в либеральности которого сомневаться нет оснований, писал: «Правосознание нашего времени выше права собственности ставит право человеческой личности и, во имя этого права, во имя человеческого достоинства, во имя свободы, устраняет идею неотчуждаемой собственности, заменяя её принципом публично-правового регулирования приобретённых прав с необходимым вознаграждением их обладателей в случае отчуждения» (73). Да и с «оптимальным вариантом общественного прогресса» авторы учебника сильно погорячились. «Веря — многие из нас —

в конечное торжество социалистического идеала, — писал в 1905 г. видный кадет и, между прочим, экономист А. А. Кауфман, — мы думаем... что современное человечество ещё не созрело для “обетованной земли социализма” и убеждены, вместе с Марксом, что обобществление орудий производства может вытечь лишь из постепенного развития производительных сил народа и страны» (74).

Коренное отличие теории от тенденциозности в применении к истории состоит, на наш взгляд, в том, что первая стремится найти законы истории, выявить скрытые от глаз человека взаимозависимости и взаимосвязи, понять события прошлого, не вырывая их из исторического контекста, тогда как вторая элементарно истолковывает и перетолковывает факты в соответствии с заранее заданной схемой. К сожалению, в данном случае мы имеем дело именно с попыткой истолкования.

Тенденциозным может быть и обобщение, имеющее под собой основу, но возводящее частный случай в абсолют. «Характерной особенностью революционных течений, — утверждают авторы учебника, — являлись непреклонность суждений, невероятная уверенность в абсолютной правоте своих идей, неприятие никаких компромиссов, большая резкость в идейных спорах. В этом была заложена основа последующих расколов в революционных партиях, групповщины, личной неприязни к инакомыслящим, а в послеоктябрьский период — жестокой расправы со всеми, кто отстаивал другую точку зрения» (75). Особенности опыта «Народной расправы» и РСДРП(б)–ВКП(б) в данном случае объявляются характерными чертами всего революционного движения — без достаточных на то оснований. Революционеры — это не только С. Нечаев, В. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин; среди русских революционеров не последние места занимали и такие люди, как А. Герцен, Н. Огарев, П. Кропоткин, Ю. Мартов, к которым вышеприведенная характеристика вряд ли применима. Но авторы учебника предпочитают не замечать очевидного противоречия, поскольку негативная характеристика любого революционного движения есть важная составляющая их общей идеологической схемы.

С точки зрения Министерства образования (которое считает — процитируем эти слова ещё раз — «чёткое представление автора о концептуальной принадлежности данной учебной книги к тому или иному методологическому направлению (например, государственно-патриотическому, гражданско-патриотическому, либеральному и др.)» совершенно необходимым), это, вероятно, идеальный учебник — в своей приверженности либеральной идеологии авторы вполне последовательны. Но к концепции модернизации или догоняющего развития, равно как и к цивилизационной теории, их труд отношения не имеет. Теория — это всё-таки из области науки, мы же имеем дело со спекуляциями на историческую тему.

А если есть учебник либеральный, то как не быть учебнику «государственно-патриотическому»? На наш взгляд под это определение лучше всего подходит учебник И. Заорской, М. Зотовой, А. Демидова и др., завершающийся оптимистическим выводом: «Последовавшее в установленный законо-

дательством срок избрание В.В. Путина главой государства поставило точку в послекризисном развитии страны»; «Фактически Россия после многих — и многолетних — испытаний, находок, достижений, ошибок и потерь, вышла на магистральный путь развития, который определяет будущее человечества» (76).

«Государственным патриотизмом» того же рода проникнут весь учебник. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. рассматривается с позиций сторонников Сталина, все колебания «генеральной линии» вождя обосновываются не политическими, а только экономическими и внешнеполитическими факторами. При общей объективистской тональности изложения и наличии отдельных критических замечаний в адрес Сталина в главном сохраняются трактовки «Краткого курса». Некоторое возвращение к объективности начинается с рассказа о коллективизации, но потом «положительные» её итоги возвращают нас туда же. Массовые репрессии 1930-х только упоминаются и никакого интереса с точки зрения авторов не представляют. Общая оценка деятельности Сталина даётся словами Д. Шепилова и У. Черчилля (77), и в целом оказывается очень даже позитивной. О режиме личной власти Сталина вообще не говорится ни слова, но зато самым негативным образом характеризуется «диктатура личной власти Хрущёва» (78). И т. д. и т. п.

Существование иной, диаметрально противоположной (и надо сказать, достаточно аргументированной) трактовки этого периода истории авторами учебника совершенно игнорируется. Они избирают *тактику умолчания*, тем самым снимая с повестки дня вопрос о научности собственной «концепции»: сознательное игнорирование обоснованных доводов оппонентов опять-таки низводит такого рода сочинения до уровня исторических спекуляций; они более или менее профессионально решают политико-идеологические задачи, а история для них — всего лишь удобный материал.

Рассмотренные образцы псевдоконцепций российской истории в среде вузовских учебников есть лишь крайности, но крайности характерные и влиятельные. Они обозначают собой те полюса, между которыми возникает поле высокой напряженности, поле, в котором живёт сегодня отечественная историческая наука. Объективный факт бытования в обществе (благодаря усилиям СМИ и мощных заинтересованных политических сил) двух предельно идеологизированных подходов к освещению событий прошлого сам по себе заставляет историков (которые, как известно, не могут быть свободны от общества) определять собственное отношение к ним. Эти подходы (схемы, псевдоконцепции — можно называть их как угодно) изначально ненаучны, но в силу своей общественной и политической значимости они оказывают воздействие и на науку. С одной стороны, они вовлекают в орбиту своего влияния как отдельных учёных, так и авторские коллективы, которые пытаются придать им на-

учность, насыщая голые схемы определённым содержанием и находя в истории отдельные подтверждения заранее сделанным выводам. С другой стороны, тех, кого не удовлетворяет подобная «методика» работы, они заставляют максимально и акцентировано дистанцироваться от всякой идеологии, уходить в анализ частных в ущерб концептуальности.

Такое положение дел не может сохраняться вечно, однако и общественно-политическая ситуация в стране, и состояние исторической науки заставляют предполагать, что нынешний кризис будет преодолён только будущими поколениями историков, то есть теми, кто изучает или будет изучать историю по нынешним вузовским учебникам. Эти будущие поколения вряд ли смогут научиться писать об истории по нынешним учебникам: слишком беден, слишком скован их язык, слишком несвободен стиль. А вот получить систематические знания фактов и навыки их анализа с помощью тех из учебников, которые имеют характер позитивистский (79), они, несомненно, смогут. И вот тогда, на этой основе хорошего знания фактов, обладая недоступной нынешним поколениям свободой от идеологического давления переходной эпохи и смелостью мысли, они смогут и выработать новые концепции российской истории, и написать новые учебники, и воспитать новых школьных учителей. Только вот будет это не скоро.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лента. Ру. 30.08.2001.
2. Тарасов А. Молодёжь как объект классового эксперимента //Свободная мысль-XXI. 1999. №№ 10–11; 2000. № 1.
3. Российская газета. 2001, 13 ноября.
4. См.: Новые концепции российских учебников по истории /Сост. Аймермахер К., Бордюгов Г., Ушаков А. — М.: АИРО-XX, 2001. 94 с.
5. Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы. /Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2002. 232 с.
6. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? — М.: «Наука», 1991. С.336, 340–341.
7. Вашик К. Новая история в старом одеянии? Методология, методика и дидактика в новых учебниках истории //Историки читают учебники истории. С.73–74.
8. Там же. С.78.
9. Зубкова Е. «Универсальная история». На пути к новой концепции школьного историознания //Историки читают учебники истории. С.107.
10. Там же. С.99.
11. Шнейдер М. Современный учебник истории в роли инструмента формирования исторического сознания школьников //Историки читают учебники истории. С.209.
12. Вашик К. Новая история в старом одеянии?.. С.91.
13. Вяземский Е. Реформа школьного исторического образования и проблема экспертизы учебной литературы //Историки читают учебники истории. С.203.
14. Там же. С.199.
15. Там же. С.196.
16. Бухараев В. Что такое наш учебник истории. Идеология и назидание в языке и образе учебных текстов //Историки читают учебники истории. С.36.
17. Вашик К. Новая история в старом одеянии?.. С.74.
18. Гагазова Л. Как в сегодняшней школе рассказывают о внешних и внутренних конфликтах //Историки читают учебники истории. С.167–168.

19. Аймермахер К., Бордюгов Г. История с учебником истории //Историки читают учебники истории. С.9.
20. В данной статье речь будет идти о вузовских учебниках, затрагивающих проблемы российской истории XIX–XX вв., что обусловлено общими хронологическими рамками настоящего сборника, однако затрагиваемые проблемы отнюдь не являются специфическими именно для них.
21. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. — М.: «АГАР», «РАНДЕВУ-АМ», 1999. 496 с.
22. Там же. С.41.
23. Там же.
24. Там же. С.7.
25. История России. Учебник. /Под общей редакцией Ю. И. Казанцева, В. Г. Деева. — М.: ИНФРА-М, — Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. 472 с. (Серия «Высшее образование»).
26. Там же. С.217.
27. Писарев Д. И. Сочинения. Т.1. Статьи и рецензии. 1859–1862. — М., 1955. С.324.
28. История России. Учебник. /Под общей редакцией Ю. И. Казанцева, В. Г. Деева. С.237.
29. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В., Панова И. А., Селецкий В. И., Синельников Ю. А., Столяров А. А., Ускова Г. И. Отечественная история. С древнейших времён до конца XX века. Учебное пособие. — М.: Логос, 2002. 560 с.
30. Там же. С.442.
31. История России. Учебник /Под общей редакцией Ю. И. Казанцева, В. Г. Деева. С.248.
32. Там же. С.264.
33. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В. и др. Отечественная история. С.263.
34. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. С.310.
35. Вяземский Е. Реформа школьного исторического образования и проблема экспертизы учебной литературы //Историки читают учебники истории. С.202.
36. История России XIX — начала XX в. Учебник для исторических факультетов университетов /Под ред. В. А. Федорова. Изд.3-е, перераб. и доп. — М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. 536 с.
37. Там же. С.10.
38. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В. и др. Отечественная история. С.297.
39. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.31. С.8.
40. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. С.35.
41. Там же. С.8, 19.
42. Там же. С.51.
43. Троицкий Н. А. Россия в XIX веке. Курс лекций. — М.: «Высшая школа», 1999. 431 с.
44. Там же. С.172.
45. Там же. С.8.
46. Там же. С.9, 251, 263.
47. Там же. С.7.
48. См. Федоров В. А. История России. 1861–1917. — М.: «Высшая школа», 2001. 384 с.
49. См. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В. и др. Отечественная история. С.3.
50. Троицкий Н. А. Россия в XIX веке, С.329 (далее следует список: Ф. Достоевский, А. Писемский, Ф. Крейцвальд, И. Тургенев, А. Островский, В. Гаршин, М. Салтыков-Щедрин, Н. Чернышевский, И. Гончаров, А. Фет).
51. В изданном под редакцией В. П. Дмитренко (История России. XX век /А. Н. Боханов, М. М. Го-ринов, В. П. Дмитренко и др. Отв. редактор В. П. Дмитренко. — М.: АСТ, 2001. 608 с.) учебнике вообще отсутствуют какие-либо упоминания о культурной жизни России до Революции 1917 г., что в принципе может означать только одно — неспособность авторов охватить исторический процесс по всей его целостности.
52. Характерно, что связь структуры учебника и его содержания не осознается даже авторами учебников, изданных в Екатеринбурге под редакцией Б. В. Личмана, несмотря на то, что их отличают особенно пристальное внимание к вопросам историографии и желание ознакомить студентов с альтернативными подходами к рассматриваемым проблемам (см.: История России с древнейших времен до второй половины XIX века. Курс лекций /Под ред. Б. В. Личмана. — Екатеринбург: Урал. гос. тех. ун-т, 1995. 301 с.; Исто-рия России: вторая половина XIX–XX вв. Курс лекций /Под ред. Б. В. Личмана. — Екатеринбург: Урал. гос. тех. ун-т, 1995. 349 с.; История России. Теории изучения. Книга первая. С древнейших времён до конца XIX века. Учебное пособие /Под. ред. Б. В. Личмана. — Екатеринбург: «СВ-96», 2001. 368 с.; Исто-рия России. Теории изучения. Книга вторая. Двадцатый век. Учебное пособие /Под. ред. Б. В. Личмана. — Екатеринбург: «СВ-96», 2001. 304 с.).
53. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. С.30.
54. Там же. С.120.
55. История России. XX век /Отв. редактор В. П. Дмитренко. — М., 2001.

56. Там же. С.85.
57. Там же. С.86.
58. Там же. С.94.
59. Там же. С.100.
60. Приятное исключение здесь составляет учебник В.А. Федорова «История России. 1861–1917», позиционированный как продолжение учебника «История России с древнейших времен до 1861 года», изданного под редакцией Н.И. Павленко (М., «Высшая школа», 2000).
61. См., например: История России XIX — начала XX в. /Под ред. В. А. Федорова.
62. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В. и др. Отечественная история. С.402.
63. Марксистская концепция, конечно, существует. Однако, во-первых, она нуждается в существенной корректировке и дополнении, которые позволили бы ей, не всходя в противоречие с собственной внутренней логикой, объяснить распад СССР и последующие события. А, во-вторых, соображения политического свойства заставляют большинство историков, как минимум, не афишировать своё согласие с этой концепцией.
64. История России. Учебник /Под общей редакцией Ю.И. Казанцева, В.Г. Деева, С.184–185.
65. См.: История России. Теории изучения. Книга первая. С древнейших времён до конца XIX века /Под. ред. Б.В. Личмана; История России. Теории изучения. Книга вторая. Двадцатый век. /Под. ред. Б.В. Личмана.
66. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. С.8.
67. История России. Учебник /Под общей редакцией Ю.И. Казанцева, В.Г. Деева. С. 265.
68. Отечественная история. XX век /Отв. редактор А. В. Ушаков. С.268.
69. История России. Учебник /Под общей редакцией Ю.И. Казанцева, В.Г. Деева. С. 265.
70. Там же. С.304.
71. Там же. С.193.
72. Там же. С.282.
73. Новгородцев П. Два этюда //Полярная звезда. 1905. № 3. С.220.
74. Кауфман А. Познай самого себя (О конституционно-демократической партии) //Полярная звезда. 1905. № 2. С.138.
75. История России. Учебник /Под общей редакцией Ю.И. Казанцева, В.Г. Деева. С. 264.
76. Заорская И. Ю., Зотова М. В., Демидов А. В. и др. Отечественная история. С.538, 539.
77. Там же. С.451–452.
78. Там же. С.455.
79. К их числу следует отнести прежде всего учебники, созданные на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова: История России XIX — начала XX в. Учебник для исторических факультетов университетов /Под ред. В.А. Федорова; Федоров В. А. История России. 1861–1917.

ДИНАМИКА КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ ПО ИСТОРИИ И СТРУКТУРЫ ЧТЕНИЯ

Антон КОРОЛЕНКОВ

За последние семь лет книгоиздательское дело стало свыкаться с реалиями, которые породила постперестроечная экономическая и политическая ситуация. Произошло обвальное сокращение тиражей, но в то же время выросло число наименований, а стало быть, и круг изучаемых тем (1). Исчезли или практически прекратили выпускать литературу такие крупные издательства, как «Прогресс», «Республика», «Книга», «Советский писатель», «Художественная литература», появились новые — «АСТ», «ОЛМА-ПРЕСС», «ЭКСМО-ПРЕСС», «Весь мир», «Алетейя», а также масса небольших издательств, специализировавшихся на малых тиражах и зачастую печатавших авторов за их счёт. После дефолта в 1998 г. большинство их распалось. Как показывает практика, наиболее устойчивы издательства, обладающие собственной полиграфической базой и более или менее налаженной системой сбыта, без которой даже прекрасно изданная и интересная книга не найдёт покупателя — «АСТ», «ОЛМА-ПРЕСС», «ЭКСМО-ПРЕСС».

В целом интерес к книге сохраняется. Конечно, цены на печатную продукцию не всегда доступные (2), но не стоит преувеличивать: книги также по карману значительному числу граждан — по некоторым подсчётам, в России имеют возможность регулярно покупать литературу 40–50 млн. человек. Задача тех, кто выпускает исторические издания — в том, чтобы эти потенциальные возможности оказались максимально задействованы. И как показывают данные о читательских интересах, соответствующие перспективы имеются.

«О чём же люди хотят знать? Это история, в частности, отечественная. Это, конечно, наша сегодняшняя жизнь (та же история, только не закончившаяся. — А. К.)», — отмечает М. М. Самохина (3). Точных цифр о том, сколько людей более или менее постоянно приобретает издания по истории и по истории России XIX–XX вв. в частности, нет, но можно не сомневаться, что число таковых не менее миллиона — это и собственно историки, и студенты постоянно растущего числа вузов, и просто любознательные читатели, неравнодушные к прошлому человечества и прежде всего своей страны.

Что же именно читают в первую очередь? «Велик интерес к мемуарам, для некоторых (преимущественно пожилых) они становятся преобладающим чтением» (4). Чрезвычайно популярны исторические романы (у представителей практически всех возрастов и самых различных интеллектуальных запро-

сов), а также биографистика (её чаще читают носители несколько более строгих вкусов). Пользуется спросом и научно-популярная литература. Свидетельство тому — расширение круга подобных изданий: наряду с ЖЗЛ появились аналогичные серии «Исторические силуэты» и «След в истории» (ростовское издательство «Феникс»), «Всемирная история в лицах» (московское издательство «АСТ»), «Человек-легенда» (смоленское издательство «Русич») и т. д. (5). Существуют знаковые фигуры, литература о которых почти всегда обречена на успех — Николай II, Сталин, Высоцкий и другие. Да и вообще научно-популярная литература в зависимости от значимости темы и умения издателей продолжает пользоваться устойчивым спросом (см. приведённые ниже данные).

Общая динамика изданий

Теперь обратимся к конкретным цифрам (6), чтобы проследить изменения в выпуске исторической литературы в 1996–2002 гг., взяв за показатели учёта следующее: 1) количество названий, 2) тираж, 3) типы изданий и 4) периодизация. Условно разделим издания на:

- I. Библиографические пособия.
- II. Справочная литература.
- III. Издания документов.
- IV. Монографии, коллективные труды.
- V. Мемуары, дневники, письма.
- VI. Сборники научных статей.
- VII. Тезисы докладов на конференциях и симпозиумах, материалы «круглых столов», чтений, семинаров и т. п.
- VIII. Продолжающиеся издания (учёные записки, исторические записки и т. п.).
- IX. Альманахи.
- X. Публицистика, научно-популярная литература.
- XI. Издания смешанного характера (документы + очерки + воспоминания и т. п.).
- XII. Учебная литература (для вузов, абитуриентов, самостоятельной работы, хрестоматии).
- XIII. Хроники.
- XIV. Альбомы.
- XV. Статистические издания.

Выделим следующие хронологические рамки:

- Общий раздел:* I. С древнейших времён по 2002 г. II. 1861–1917. III. XX век. IV. 1917–2002. V. 1945–2002. VI. 1985–2002.

Отдельные периоды: 1. 1861–1881. 2. 1882–1904. 3. 1905–1913. 4. 1914–1917. 5. 1917–1921. 6. 1922–1927. 7. 1928–1953. 8. 1941–1945 (Великая Отечественная война). 9. 1954–1964. 10. 1965–1985. 11. 1985–1991. 12. 1992–2002.

Судя по данным «Книжной летописи», в 1996 г. вышло в свет 875 названий исторической литературы тиражом по периоду 1861–1996 гг. 2.872.870 экземпляров (в 71 случае тираж не указан (7)), в 1997 г. — 1119 названий тиражом 3.292.152 экземпляров (без данных о тираже — 77 названий), в 1998 г. — 882 названия тиражом 2.995.526 экземпляров (сведения о тираже отсутствуют в 172 случаях), в 1999 г. — 1063 названия тиражом 2.045.805 (тираж не указан в 116 случаях), в 2000 г. — 1193 названия тиражом 2.756.213 (в 64 случаях информации о нём нет), в 2001 г. — 1251 названия тиражом 2.814.638 (данные о таковом не приведены в 54 случаях), в 2002 г. — 369 названий тиражом 1.293.019 экземпляров (тираж не указан в 12 случаях) (8). Таким образом, по числу названий (а это наиболее важный показатель) «пиковым» является 2001 г., по количеству экземпляров — 1997 г. Наиболее низкий уровень по первому показателю наблюдается в 1999 г., по второму — в 1996 г. В качестве причин этого мы предполагаем следующие (не исключая, разумеется, и других объяснений): 1996 г. был годом президентских выборов, поглотившим массу финансовых средств и производственных мощностей, а в 1999 г. в полной мере сказывались последствия дефолта. В 1997 г., очевидно, достигло пика «преддефолтовое» развитие, в 2001 г. — «последдефолтовое» (возможно, в 2002 г., несмотря на отмену льгот для печатной продукции, результаты будут не хуже, но пока нет полных данных).

Типы изданий

Библиографические пособия. В 1996 г. вышло 25 библиографических пособий, в 1997 г. — 24, в 1998 г. — 15, в 1999 г. — 17, в 2000 г. — 20 (в т. ч. календари знаменательных и памятных дат, в 2001 г. — 13, в 2002 г. — 8). Для сравнения укажем, что в 1993 г. было издано 9 таких пособий, в 1994 г. — 13, о 20 же и тем более 24 речь не шла. Прогресс, таким образом, в полтора-два раза, обусловленный, видимо, возросшей потребностью в этом типе изданий. В то же время нельзя не отметить неравномерность их публикации внутри указанного периода.

Справочная литература в 1996 г. была представлена 30 названиями, в 1997 г. — 35, в 1998 г. — 30, в 1999 г. — 42, в 2000 г. — 46, в 2001 г. — 38, в 2002 г. — 11. Как видим, колебание достигает 50 %, от 30 до 46, но по сравнению с 1996 г. всё же налицо очевидный рост.

Издания документов. В 1996 г. было опубликовано 84 изданий документов (из них 65 Книг Памяти, в т. ч. 57 — Великой Отечественной войны, 6 — жертв политических репрессий, 1 — погибших в Великую Отечественную

и советско-финскую войны, а также послевоенных локальных конфликтах, 1 — в Чечне), в 1997 г. — 92 (из них 62 Книги Памяти, в т. ч. 45 — Великой Отечественной войны, 12 — жертв политических репрессий, 4 — погибших в советско-финскую и Великую Отечественную войны, а также послевоенных локальных конфликтах, 1 — в Афганистане), в 1998 г. — 71 (из них 34 Книги Памяти, в т. ч. погибших в Великую Отечественную войну — 21, жертв политических репрессий — 13), в 1999 г. — 81 (из них 42 Книги Памяти, в т. ч. 20 — погибших в Великую Отечественную войну, в советско-финскую и Великую Отечественную войны и послевоенных конфликтах — 5, в Афганистане — 3, в Чечне — 2, жертв политических репрессий — 12), в 2000 г. — 102 (из них 59 Книг Памяти, в т. ч. погибших в Великой Отечественной войне — 33, в советско-финскую и Великую Отечественную войны, послевоенных конфликтах в «мирное время» — 4, в Чечне — 2, жертв политических репрессий — 20), в 2001 — 94 (из них 46 Книг Памяти, в т. ч. погибших в Великой Отечественной войне — 29, в Афганистане — 3, жертв политических репрессий — 14), в 2002 г. — 27 (из них 13 Книг Памяти, в т. ч. погибших в Великой Отечественной войне 10, в Чечне — 1, жертв политических репрессий — 2). Огромное количество Книг Памяти погибших в Великую Отечественную войну, изданных в 1996–1997 гг., связано, видимо, с 50-летием Победы в 1995 г., хотя вышли они с некоторым опозданием. 1996–2002 гг. демонстрируют огромный прогресс по сравнению с 1993–1994 гг., когда вышло всего 42 и 40 изданий документов (из них 25 и 31 Книга Памяти). В издательстве «РОССПЭН» продолжает выпускаться серия «Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Документальное наследие». Из новых публикаций документов следует отметить серию «Россия в XX веке», начавшую печататься в эти годы под эгидой Международного фонда «Демократия» (9).

Монографии и коллективные труды. Таковых в 1996 г. вышло 162, в 1997 г. — 207, в 1998 г. — 185, в 1999 г. — 215, в 2000 г. — 205, в 2001 г. — 284, в 2002 г. — 55. Нетрудно заметить, по сравнению с 1996 г. произошёл значительный рост — число названий уверенно держится выше 200 (за исключением «дефолтового» 1998 г.). Помимо заметных серий АИРО-XX «Первая монография» (10) и (переводов зарубежных работ) «Первая публикация в России» (11), в «Российской политической энциклопедии» (РОССПЭН) стала выходить серия «Социальная история России XX века» (12), а также непоименованная серия монографий по истории политических партий России начала XX в. (преимущественно при поддержке Российского гуманитарного научного фонда) (13). Рост числа монографий можно объяснить несколькими факторами. Интерес к истории России конца XIX–XX вв. сохраняется и даже растёт не только у исследователей, но и у издателей, что облегчает публикацию. Кроме того, рассекречивание новых архивных фондов расширяет источниковую базу и круг тем. Наконец, постоянно увеличивается число желающих получить докторские степени, а это невозможно без наличия у докторанта монографии.

Если говорить о *мемуарах, дневниках, письмах*, то в 1996 г. увидело свет 87 изданий этого типа, в 1997 г. — 154, в 1998 г. — 67, в 1999 г. — 132, в 2000 г. — 98, в 2001 — 123, в 2002 г. — 38. Как видим, колебания между различными годами очень значительные — от 67 до 154, т. е. почти 1 к 2,5. Причины этого ещё предстоит исследовать.

Сборники научных статей. То же самое, хотя и в меньшей степени, можно сказать и сборниках научных статей. В 1996 г. таковых было опубликовано 58, в 1997 г. — 72, в 1998 г. — 39, в 1999 г. — 53, в 2000 г. — 43, в 2001 г. — 56, в 2002 г. — 14. Причём в более спокойном 2000 г. вышло в свет сборников почти столько же, сколько в «дефолтовом» 1998 г. (хотя всё же именно 1998-й занимает последнее место). Не исключено, впрочем, что из-за малого тиража обязательные экземпляры какой-то части не были переданы в Книжную палату и, соответственно, оказались неучтёнными.

Тезисы, доклады, материалы «круглых столов», чтений, семинаров. В отношении этого типа изданий также наблюдается немалый разбой. В 1996 г. вышло в свет 42 названия этого типа изданий, в 1997 г. — 78, в 1998 г. — 48, в 1999 и 2000 гг. — по 63, в 2001 г. — 77, в 2002 г. — 6. Как будто после 1998 г. началось стабильное повышение числа названий этой категории, однако, неизвестны полные данные за 2002 г., а то, что мы имеем, настораживает: по другим типам изданий поступила информация не менее чем о четверти наименований по сравнению с предыдущим годом, здесь же — менее чем о 10%. Правда, тезисы докладов — не самый авторитетный вид публикаций, но для многих, особенно молодых учёных в провинции, подчас едва ли не единственно доступный.

Продолжающиеся издания. Сходным образом обстоит дело с продолжающимися изданиями — учёными записками, историческими записками и т. п. В 1996 г. было напечатано 10 названий оных, в 1997 г. — 5, в 1998 г. — 11, в 1999 г. — 6, в 2000 г. — 15, в 2001 г. — 25, в 2002 г. — 2. Для них оказался не страшен 1998 г., но, возможно, вышедшие наименования успели выйти в свет до 17 августа, а последствия сказались уже в следующем году, когда их количество сократилось вдвое. Но затем — снова рост, и снова данные за 2002 г. несколько пугают, и остается надеяться лишь на сугубую неполноту данных.

Альманахи. Весьма странная ситуация складывается с ними. В 1996 г. вышло 10 названий альманахов, в 1997 г. — 4, в 1998 г. — 5, в 1999 г. — 10, в 2000 г. — 4, в 2001 г. — 8, 2002 г. — 1. Трудности 1998 г. на них не сказались, падение же произошло в 2000 г., причём уровня 1996 и 1999 гг. пока достичь не удалось.

Публицистика и научно-популярная литература. Положение с этим типом изданий, дающим, кстати, наибольшее количество названий, достаточно стабильное. В 1996 г. было напечатано 269 наименований данного типа (в 1993 г. — 172), в 1997 г. — 314. Осложнения 1998 г. незначительно сказались на числе названий (280), в 1999 г. положение восстановилось (306), в 2000 г. рост почти на треть — 427, но в 2001 г. откат — 344 (это, правда, всё равно больше, чем в 1996–1999 гг.). В отношении 2002 г. поступили сведения уже о 153

наименованиях. Если исходить из того, что это вряд ли больше четверти или пускай даже трети опубликованного, то налицо значительный рост, обгоняющий показатели наиболее благополучного для данного типа изданий 2000 г. — и это несмотря на отмену льгот для печатной продукции. Именно в эти годы появляются популярные серии: в издательстве «Вече» — «Тайны XX века» и «Военные тайны XX века», в «ОЛМА-ПРЕСС» — «Архив», в издательстве «Русич» — «Мир в войнах» (в то же время «Русич» прекратил выпускать серию «Тирания»). Заметим, что именно публицистика и научно-популярная литература являются источником исторических познаний для основной части читающей публики. Очевидно, для усвоения именно этот жанр является оптимальным для неспециалистов, что в условиях сохраняющегося интереса к истории способствует наращиванию выпуска научно-популярной и публицистической литературы. Вопрос лишь в качестве, но он не входит в задачу нашей статьи.

Издания смешанного содержания. Динамика их выпуска следующая: в 1996 г. увидело свет 13 наименований этого типа, в 1997 г. — 21, в 1998 г. — 14, в 1999 г. — 19, в 2000 г. — 34, в 2001 г. — 29, в 2002 г. — 6 (в 1993 г., например, лишь 8). Здесь, как обычно, наблюдается спад в 1998 г. (на треть), а также в 2001 г., правда, незначительный.

Учебные пособия. Тенденция к непрерывному росту (даже в трудном 1998 г.) наблюдается в издании учебных пособий. В 1996 г. было выпущено 80 наименований последних, в т. ч. 2 хрестоматии, в 1997 г. — 105, в т. ч. 4 хрестоматии, в 1998 г. — 108, в т. ч. 5 хрестоматий, в 1999 г. — 112, в т. ч. 3 хрестоматии, в 2000 г. — 121, в т. ч. 4 хрестоматии, в 2001 г. — 143, в т. ч. 9 хрестоматий, в 2002 г. — 48, в т. ч. 1 хрестоматия. Таким завидным постоянством не может похвастаться никакой другой вид изданий. В условиях увеличения количества вузов и, соответственно, студентов, удивляться этому не приходится. Другое дело, что большинство учебных пособий отличаются весьма низким качеством.

Хроники в 1996 г. были представлены 4 наименованиями, в 1997 г. — 5, в 1998 г. — 6, в 1999 г. — 4, в 2000 г. — 6, 1996, 2001 и 2002 гг. — 0.

Альбомы. В 1996 г. вышел в свет 1 альбом, 1997 г. — 2, 1998 г. — 1, 1999 г. — 2, 2000 г. — 6, 2001 г. — 2, 2002 г. — 0.

Статистические материалы издавались наиболее скромно: в 1997 г. — 1, 1998 г. — 2, 1999 и 2000 гг. — 1, 1996, 2001 и 2002 гг. — 0.

Если подвести итоги, то наиболее низкие показатели в указанный период имели место преимущественно в 1996 и 1998 гг., наиболее высокие — в 1997 и 2000 гг.

Исторические периоды: интересы издательств и читателей

В 1996 г. по периоду с древнейших времён до современности вышло в свет 315 названий (в т. ч. по всему XIX в. — 9) (14), в 1997 г. резкий скачок — 437 (7), в 1998 г. по понятным причинам определённый спад — 388 (5), продолжавшийся и в 1999 г. — 369 (5), затем происходит возвращение к докризисному уровню: в 2000 г. — 423 (16), в 2001 г. — 427 (14), в 2002 г. — 129 (2).

1861–1917 гг. в 1996 г. были отражены в 25 наименованиях, 1997 г. — в 30, 1998 г. — 19, 1999 г. — 32, 2000 г. — 47, 2001 г. — 72, 2002 г. — 19. Налицо стабильный рост, если не считать 1998 г., после которого были сразу превышены показатели 1997 г.

XX век в целом в 1996 г. представлен 50 наименованиями, 1997 г. — 61, 1998 г. — 39, 1999 г. — 60, 2000 г. — 53, 2001 г. — 66, 2002 г. — 17, т. е. спады и подъёмы идут строго в шахматном порядке.

По периоду с 1917 г. до наших дней в 1996 г. вышло в свет 130 наименований, 1997 г. — 191, 1998 г. — 138, 1999 г. — 213, 2000 г. — 166, 2001 г. — 182, 2002 г. — 64. Как и в предыдущем случае, чёткое чередование «взлётов и падений» — шаг вперёд, шаг назад, причём уровень 1997 г. пока не превзойдён.

Отрезок с 1945 г. до последних лет отражён в 1996 г. в 18 наименованиях, 1997 г. — 27, 1998 г. — 26, 1999 г. — 37, 2000 г. — 28, 2001 г. — 45, 2002 г. — 7. Ситуация, аналогичная двум предшествующим, но нельзя не отметить, что в 2001 г. удалось в 2,5 раза превысить показатели 1996 г.

События с 1985 г. представлены в 1996 г. в 33 наименованиях, 1997 г. — 70, 1998 г. — 29, 1999 г. — 30, 2000 г. — 26, 2001 г. — 33, 2002 г. — 12. Как видим, ситуация достаточно стабильная, если не считать 1997 г., уровень которого в прочие годы не был достигнут и на 50%.

Перейдём теперь к отдельным периодам. 1861–1881 гг. стали в 1996 г. темой 4 изданий, в 1997 г. — 2, в 1998 г. — 1, в 1999 г. — 3, в 2000 и 2001 гг. — по 3, в 2002 г. — 2. Столь скромные цифры несколько удивляют, если иметь в виду, что речь идёт об эпохе «великих реформ», в какой-то степени созвучных сегодняшнему дню. Думается, сыграло свою роль то, что конкретная разработка этой тематики не так проста и не была в должной мере подготовлена в предшествующий период, а революционное движение, активно изучавшееся в советские годы, не очень популярно.

1882–1904 гг. в 1997 г. отражены в 5 изданиях, в 1998 г. — 2, в 1999 г. — 4, в 2000 г. — 3, в 2001 г. — в 1, в 1996 и 2002 гг. — 0. Цифры незначительные, но в то же время приближающиеся к предыдущим (15 и 18), хотя относятся к менее бурному периоду. Причиной этого, по-видимому, является постепенно растущий интерес к теме консерватизма, под флагом которого шло царствование Александра III и к которому тяготел Николай II.

Несколько бóльшим вниманием исследователей и издателей пользуются 1905–1913 гг.: в 1996 г. по этому периоду вышло 7 наименований, в 1997 г. — 8, в 1998 г. — 5, в 1999 г. — 4, в 2000 г. — 8, в 2001 г. — 10, в 2002 г. — 3. Можно говорить о некотором прогрессе по сравнению, например, с 1992 и 1993 гг., когда по указанным годам вышло в свет соответственно 4 и 5 наименований (15). Очевидно, тема революции 1905–1907 гг. и реформ, связывающихся с именем П. А. Столыпина, не утратила интереса в глазах читателей.

Заметно выше показатели по времени Первой мировой войны и революции (1914–1917/1918): 6 названий в 1996 г., но уже 20 в 1997 г., 12 — в 1998 г., 19 — в 1999 г., 18 — в 2000 г., в 2001 г. спад в полтора раза (12), в 2002 г. — 3, но это в любом случае вдвое больше, чем по предшествующему периоду (90 против 45). Удивляться не приходится — «сумерки монархии», тема падения великой империи, столь созвучная сегодняшнему дню, продолжает волновать читательскую аудиторию (16).

Ещё больше наименований приходится на гражданскую войну (1917/1918–1921): в 1996 г. — 24, в 1997 г. — 30, в 1998 г. — 33, в 1999 г. — 29, в 2000 г. — 27, в 2001 г. — 28, в 2002 г. — 6. В 1997–2001 гг., ситуация, как видим, достаточно стабильная, по сравнению же с 1992 и 1993 гг. (16 и 13) — примерно двукратный рост. Причина здесь очевидна — тема великой катастрофы, да к тому же столь недавней и потому продолжающей оказывать влияние на современность, не может не будоражить сознание читающей публики.

По нэповскому периоду (1922–1927) в 1996 г. вышло 1 наименование, в 1997 г. — 4, в 1998 г. и 1999 г. — по 1, в 2000 и 2001 гг. — по 3, в 2002 г. — 2. Это в целом не отличается от показателей 1992 и 1993 гг., когда увидело по 3 наименования по соответствующему временному отрезку.

Сталинское двадцатипятилетие (1928–1953), естественно, представлено куда более богато: в 1996 г. опубликовано 39 названий, в 1997 г. — 45, в 1998 г. — 43, в 1999 и 2000 гг. — 67, в 2001 г. — 65, в 2002 г. — 13. Любопытно, что в 1992 г. по данному периоду было издано 44 наименования, а в 1993 г. — 72. Сталин принадлежит к числу знаковых фигур, а потому интерес к его личности и эпохи, несомненно, будет сохраняться и, возможно, расти, и в дальнейшем.

Но абсолютным рекордсменом, конечно же, остаётся тема Великой Отечественной войны: 125 наименований в 1996 г., 91 — в 1997 г., 79 — в 1998 г., 95 — в 1999 г., 240 — в 2000 г. (юбилейный год!), 146 — в 2001 г., 48 — в 2002 г. Открытие новых источников, идеологическая значимость (одни утверждают, что режим так или иначе выиграл войну, другие — что цена победы неоправданно высока), неутолимый интерес к военной истории и сенсациям (мнимым или подлинным) — вот основные причины популярности этой тематики. Особо следует отметить выход в свет фундаментального четырёхтомника «Великая Отечественная война», выпущенного в рамках федеральной программы книгоиздания России (17). Хотя история войны освещена в нём фрагментарно, это важное событие в истории изучения данной темы, поскольку это издание — третье издание такого рода после «Истории Великой Отечественной войны» (18) и «Истории второй мировой войны» (19),

в целом куда более объективно описывающее борьбу Советского Союза с Германией и её союзниками.

Период «оттепели» (1954–1964) представлен в изданиях следующим образом: по 3 названия в 1996 и 1997 гг., 9 — в 1998 г., 7 — в 1999 г., 0 — в 2000 г., 6 — в 2001 г., 3 — в 2002 г. Налицо явный рост — в 1992 г. по этой теме вышло только 2 наименования, в 1993 г. — и вовсе 1. Характерно, что хрущёвское десятилетие вдвое опередило по числу наименований двадцатилетие «застоя» (31 против 16, см. ниже). Неполное, но ощутимое раскрепощение, неоднозначность личности Н. С. Хрущёва, подъём в общественной жизни, в условиях которого проходила молодость многих видных деятелей культуры, наконец, расширение доступа к архивным материалам — таковы, как нам представляется слагаемые популярности данной тематики.

Время же «застоя» (1965–1985) в 1996 г. было отражено в 2 названиях, в 1997 г. — 3, в 1998 г. — 2, в 1999 г. — 3, в 2000 г. — 1, в 2001 г. — 4, в 2002 г. — 1, тогда как в 1992 г. — 4, а в 1993 г. — 7. Публицистические страсти времён перестройки уже остыли, время же объективного исследования ещё, видимо, не наступило.

«Перестройка» (1985–1991) в 1996 г. стала темой лишь 1 наименования, зато в 1997 г. и 1999 г. — 9, в 1998 г. — 4, в 2000 г. — 5, в 2001 г. — даже 10, в 2002 г. — 1. Период при М. С. Горбачёве, таким образом, заметно обогнал не только «застой», но и «оттепель» — 39 названия против 31. Причины этого очевидны — крушение империи всегда было животрепещущей темой, к тому же, живы и действуют большинство участников и свидетелей, многие из которых жаждут высказаться — одни стремятся обвинять, другие оправдываться.

И, наконец, постперестроечный период: в 1996 г. увидело свет 92 наименования, в 1997 г. — 83, в 1998 г. — 52, в 1999 г. — 80, в 2000 г. — 75, в 2001 г. — 138, в 2002 г. — 39. Как нетрудно заметить, эта тематика намного оставляет позади все прочие разделы, кроме Великой Отечественной войны. Однако применительно к данному временному отрезку можно говорить не об исторических исследованиях, а о публицистике или политологии (20).

О тиражах. В целом, несомненное их падение. Вместо советских 50–100, а то и 200 тысяч экземпляров, даже научно-популярные книги, учебные пособия и мемуары выходят, как правило, не более чем 15-тысячным тиражом (21), хотя бывают и исключения (22). Однако нужно учесть одно обстоятельство: если в советское время существовало такое понятие, как завод, то теперь указывается лишь разовый тираж. Между тем одна и та же книга может допечатываться в течение года и один, и два раза, в результате чего годовой тираж достигает цифр, сопоставимых со старыми добрыми временами. Но это касается лишь очень немногих изданий (прежде всего учебных пособий). Впрочем, даже при скромных тиражах многие вполне солидные и в то же время интересные книги годами не раскупаются. Так произошло с монографией О. В. Хлевнюка о сталинском политбюро (тираж 3000 экземпляров) (23), упоминавшемся четырёхтомником о Великой Отечественной войне (тираж 2000

экземпляров) (24), некоторыми монографиями по истории политических партий России начала XX в. Это, впрочем, имеет и свою положительную сторону — во-первых, эти издания имеют возможность купить те, кто в своё время не заинтересовался ими, во-вторых, со временем они дешевеют в силу инфляции и становятся потому более доступными.

Таким образом, издание литературы по отечественной истории указанного периода, несмотря на многочисленные трудности (даже на «заботливую» отмену правительством льгот на печатную продукцию с 2002 г.), пока сравнительно успешно развивается. Издания выходят не только в нескольких главных городах, как прежде, а в десятках городов, где существуют высшие учебные заведения (25). Чрезвычайно упростило и ускорило работу авторов и издателей внедрение компьютерных технологий. Возможность действовать по принципу *cash and carry*, поскольку теперь никаких разрешений на издание не требуется, естественно, увеличила их число.

Некоторые тенденции издательской политики

Постепенно становится более цивилизованным отношение к авторским правам. Растёт качество отбора литературы, хотя здесь сказываются трудности с квалифицированными экспертами. В условиях, когда почти все наиболее интересных из числа старых переводных книг уже перепечатаны, увеличивается число новых переводов. По некоторым подсчётам, в 1996 г. из 1394 книг по истории 96 были переводными (6,9%), в 1998 г. — 1078 и 94 соответственно (8,7%) (26). Хотя арифметически число почти не изменилось, доля в общем выпуске всё же выросла. Причём, качество переводов, а также редактуры вообще постепенно начинает улучшаться (27) — издательства всё больше понимают, что респектабельность, «марка» — это тоже своего рода инвестиция. Хотя ничуть не упала популярность авторов, которые, «минуя академическую среду», в погоне за сенсацией апеллируют «к «публике»» (28), издатели всё чаще начинают обращаться к представителям той самой академической среды. С одной стороны, это хорошо, поскольку повышается научный уровень, но с другой, к сожалению, далеко не каждый исследователь в достаточной мере «владеет слогом». Тем не менее, в научно-популярных сериях чем дальше, тем больше выходит книг, которые в целом могут считаться «обычными» монографиями (29) с полагающимися им ссылками на источники и литературу, разбором историографии, источниковедческими выкладками и т. п. Издатели всё меньше опасаются отпугнуть читателей обширным ссылочным аппаратом (правда, он в большинстве случаев даётся в конце, чтобы не бросаться в глаза любителям «лёгкого» чтения). Яркий пример — серия ЖЗЛ, которая раньше не выходила за рамки научно-популярного жанра, подчас приближавшегося к беллетристике, а сейчас, не отказываясь от этой традиции, издаёт и вполне солидные работы (30).

Практически все крупные издательства ориентируются на выпуск обширных серий и даже целых направлений (например, учебники, хрестоматии и т. д.). Причём, уменьшается специализация и растёт универсализация — если говорить об истории, то всё реже ограничиваются какими-то хронологическими рамками. Так, упоминавшаяся выше серия «Архив» начиналась с опусов по истории нашей страны в XX в., теперь же там появились книги и о Рюриковичах, Романовых, Ришельё и т. д. Издательство «Алетейя», прежде выпускавшее книги лишь по античной и средневековой истории и культуре, а также памятники литературы и философской мысли, теперь обратилось и к истории XX в (31). С определённого времени наблюдается своего рода «энциклопедический бум» — достаточно назвать энциклопедию «Аванта-плюс» и Большую школьную энциклопедию издательства «Руссика».

Если в первой половине 90-х гг. многие книги покупались лишь «за содержание», то теперь приходится серьёзно работать над тем, чтобы привлечь внимание читателя. Много сил и средств тратится на дизайн (32), иногда до 80% расходов идёт на иллюстрации, для чего устанавливаются связи с коллегиями, архивами и т. д. Издатели или сами авторы стремятся дать книгам как можно более броские названия (33). Вместе с тем на научную литературу эти тенденции распространяются незначительно, поскольку большая её часть носит некоммерческий характер. Она получает распространение прежде всего в определённой, относительно немногочисленной среде специалистов по истории России с 1861 г. до наших дней, а в научных кругах неизменен интерес прежде всего к содержанию исследований. С другой стороны, финансовая база при издании подобной литературы ограничена (зачастую это средства самих авторов), что сужает полиграфические возможности. В наиболее выигрышном положении здесь оказываются издания, осуществляемые на средства спонсоров и различных грантов.

Одной из главных проблем книгоиздания, и не только по истории, остаётся недостаток профессионализма. Не отработана издательская линейка — юрист, редактор по правам, младший редактор, художественный редактор и т. д., из-за чего происходит смешение обязанностей, которые в надежде на другого подчас не выполняет никто. Нередко книги выпускают по личному решению главы издательства, чрезмерно уверенного в себе, желающего сделать приятное доброму знакомому или угодить «большому» человеку. Часто влияние оказывают знакомства, мнение некомпетентного эксперта, личные вкусы издателя (а они подчас с успехом заменяют цензуру) и т. д., что имеет мало общего с требованиями рынка. Сам же рынок порождает вечную проблему — доходность в ущерб качеству: низкопробные, но захватывающие и потому легко расходящиеся романы печатать куда выгоднее, чем толковые, но требующие работы ума исследования. Правда, как уже говорилось, такие всё активнее пробивают себе дорогу.

Рецепция исторической литературы

Вопрос этот весьма сложен. Как отмечает М. М. Самохина, общая тенденция 90-х гг. — «традиционное серьёзное “хочу всё знать” всё менее заметно за легкомысленным “любопытству нет предела”» (34). Чтение превращается в развлечение, а не работу мысли. Вообще говоря, наблюдается своего рода дивергенция: уровень серьёзной исторической литературы постепенно растёт, а «лёгкая» становится всё примитивнее (отражая, очевидно, уровень её реципиентов). Наряду с социальным расслоением усиливается интеллектуальное. Но люди, для которых чтение является прежде всего работой ума, будут всегда. Вопрос в том, сколько их.

На основную массу читателей оказывает воздействие научно-популярная литература и исторические романы, которые по преимуществу отличаются низким качеством. В особом положении находятся учебные издания: читают их сотни тысяч людей, но подавляющее большинство их — студенты, которые, как правило, действуют по правилу «сдать и забыть». О серьёзном воздействии на них материала пособий говорить не приходится.

Неоднозначное влияние оказывает само обилие книг: хотя при взгляде на обложки люди убеждаются, сколь многообразны лики истории, кто-то начинает понимать, что множественность взглядов на прошлое — норма, задумываются над прочитанным, учатся отделять зёрна от плевел, другие же теряют и охоту, и надежду хоть что-то понять в истории, всё больше считая её «тёмным лесом». Это, кстати, поразительным образом сочетается с представлением о лёгкости её как предмета («история не математика»), недаром родители часто возмущаются, если учителя ставят их чадам низкие оценки по истории. Однако само по себе книгоиздание здесь изменить ситуацию не в силах, даже если будут выходить лишь только качественные книги (да и это несбыточно). Другое дело, что оно помогает тем, кто всерьёз хочет познать прошлое, а не развлечься на досуге. Будем надеяться, что число таких со временем увеличится, а отечественное книгоиздание окажет им в этом посильную поддержку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ср. *Невежин В. А., Пруцкова О. А.* Издание исторической литературы: кризис или стабилизация? //Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г. А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 1996. С. 23, 34.

2. Книги популярных серий «Архив», «Военные тайны XX века», «Мир в войнах» и других обычно стоят 50–70 р., а до недавнего времени речь шла и вовсе о 30–40 р. То же можно сказать и об изданиях Институтов российской и всеобщей истории — пусть они и малотиражны. Хотя, конечно, немало книг по истории стоимостью 100, 200 и более рублей. Особенно в этом отношении примечательна продукция издательства «УРСС».

3. *Самохина М. М.* Кто и что сегодня читает и зачем им это нужно //Новое литературное обозрение. 51. 2001. С. 332.

4. Там же.
5. В то же время по понятным причинам тихо почил политиздатовская серия «Пламенные революционеры».
6. Мы основываемся на подсчётах, произведённых О. А. Пруцковой на основе материалов «Книжной летописи» и любезно предоставленных ею автору статьи.
7. Кроме того, в некоторых случаях тираж в силу различных причин завышается или занижается, но речь идёт, видимо, не более чем о нескольких процентах.
8. Это свидетельствует не о резком сокращении выпуска исторической литературы, а о запаздывании соответствующей информации, ибо приведённые данные базируются на № 1–36 «Книжной летописи» за 2002 г., тогда как картина станет более или менее ясной лишь в середине 2003 г.
9. См.: Лубянка. ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1960. — М., 1997; 1941 год. Т.1–2. — М., 1998. Лаврентий Берия. 1953: Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. — М., 1999; Молотов, Маленков, Каганович. 1957: стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. — М., 1998; Георгий Жуков стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. — М., 2001.
10. Из книг этой серии за рассматриваемый период можно назвать: *Александров С. А.* Лидер российских кадетов П. Н. Милоков в эмиграции. — М., 1996; *Кривова Н. А.* Власть и церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства. — М., 1997; *Невежин В. А.* Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941. — М., 1997. Рыбалкин, Чумаченко, Гордеева.
11. См.: *Грациози А.* Большевики и крестьяне на Украине: Очерк о большевиках, национал-социализмах и крестьянских движениях. — М., 1997; *Кречмар Д.* Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко: 1970–1985. — М., 1997; *Аймермахер К.* Политика и культура при Ленине и Сталине: 1917–1932. — М., 1998; *Коэн С.* Павал крестового похода: США и трагедия посткоммунистической России. — М., 2001, Самуэльсон, Гейфман.
12. Среди книг этой серии — *Зубкова Е. Ю.* Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945–1953. — М., 1998; *Осокина Е. А.* За фасадом сталинского изобилия: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. — М., 1999; *Сеняская Е. С.* Психология войны в XX веке: Исторический опыт России. — М., 1999; *Нарский И. В.* Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. — М., 2001; *Журавлёв С. В.* «Маленькие люди» и «большая история»: Иностранцы Московского электростанции в советском обществе 1920–1930-х годов. — М., 2002.
13. См.: *Леонов М. И.* Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. — М., 1997; *Городницкий Р. А.* Боевая партия партии социалистов-революционеров. — М., 1998; *Морозов К. Н.* Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. — М., 1998; *Тютюкин С. В.* Меньшевизм: страницы истории. — М., 2002 и др.
14. Далее второй показатель специально не оговаривается, в скобках просто даётся по нему цифра.
15. *Невежин В. А., Пруцкова О. А.* Указ. соч. С.33. Данные за 1994–1995 гг. неполны. Ниже сведения за 1992 и 1993 гг. также приводятся по этому изданию.
16. В 1992 г. по данному периоду вышло в свет 12 наименований, в 1993 г. — 8, так что 1997, 1999 и 2000 гг. дали заметный «прирост».
17. Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. Кн.1–4. — М., 1998–1999.
18. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Т.1–6. — М., 1960–1965.
19. История Второй мировой войны. Т.1–12. — М., 1973–1982.
20. Данного периода это касается больше, чем иных — прежде всего потому, что он ещё не закончился.
21. Научно-популярная литература — *Соколов Б. В.* Неизвестный Жуков: Портрет без ретуши. — Минск, 2000; учебные пособия — История России. Пособие для поступающих в вузы /Под ред. М. Н. Зуева. — М., 1998, мемуары — *Бовин А. Е.* Записки ненастоящего посла: Из дневника. — М., 2001. Обратный пример — *Карпусь И. А.* Своё и чужое. Дневник современника. 1967–2001. — Омск, 2001. 50 экз.
22. Двухтомник А. И. Солженицына «Двести лет вместе. 1795–1995» (М.: Русский путь. Т. 1–2. 2001–2002), например, издан общим тиражом не менее чем в 100 тысяч экземпляров.
23. *Хлевнюк О. В.* Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. — М.: РОССПЭН, 1996.
24. А ведь рецензенты жаловались на малый тираж четырёхтомника и даже ставили вопрос о его допечатке! (См.: *Томан Б. А.* Новое фундаментальное издание по истории Великой Отечественной войны //Новая и новейшая история. 2000. № 6. С.13).
25. Заметим, что такая же ситуация была и в дореволюционной России.
26. *Гудков Л., Дубин Б.* Молодые культурологи на подступах к современности //Независимое литературное обозрение. 50. 2001. С.160.
27. К слову сказать, и в советское время переводы далеко не всегда были на высоте, особенно в дозастойный период, но общий уровень был, конечно, куда выше.

28. Гудков Л., Дубин Б. Указ. соч. С.159. Наиболее читаемым автором из пишущих по Второй мировой войне пока остаётся далеко не лучший знаток этой темы (его взгляды — вопрос особый) В. Суворов.

29. См., напр.: *Мельтохов М.И.* Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние. 1918–1939. — М., 2001; *Он же.* Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу в 1939–1941. Документы, факты, суждения. — М., 2000; (серия «Военные тайны XX века»); *Кирилина А.* Неизвестный Киров. — СПб.–М., 2001; *Островский А.В.* Кто стоял за спиной Сталина? Тайны революционного подполья. — СПб.–М., 2002 (серия «Архив»).

30. Из книг по истории России конца XIX—XX вв. — *Лурье Ф.М.* Нечаев: Созидатель разрушения. — М., 2001.

31. См., напр.: *Соколов Б.В.* Правда о Великой Отечественной войне. — СПб., 1998; Тайна октябрьского переворота: Ленин и немецко-большевистский заговор. Документы, статьи, воспоминания. — СПб., 2001.

32. Простой но верный способ, позаимствованный у зарубежных коллег, используется в серии «Мир в войнах» (издательство «Русич»): если больше известен автор (Манштейн, Гудериан и т. д.), на обложке выделяется его имя, если факты, указанные в заглавии (Вторая мировая война, битва за Сталинград и т. п.), стоящее в заглавии, то, соответственно, заглавие.

33. Чего стоит, например, такое название: *Перин Р.Л.* Гильотина для бесов: Этнические и психогенетические аспекты кадровой политики. 1934–2000. — СПб., 2001 или: *Бовин А.Е.* Записки ненастоящего посла: Из дневника. В то же время по-прежнему встречаются привычные с советских времён образцы: *Ковальчук В.М.* Магистрالی мужества: Коммуникации блокадного Ленинграда. 1941–1943 гг. — СПб., 2001. Впрочем, это издание явно носит некоммерческий характер.

34. *Самохина М.М.* Указ. соч. С.333.

II

Новая конъюнктура

МИФЫ И «РЕАЛЬНОСТЬ» ИСТОРИИ: ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Ирина ЧЕЧЕЛЬ

Методологические новации, вторжение в новые области исследований и привлечение новых тем, ставшие во второй половине 1980-х — 2000-х гг. едва ли не прозаическими фактами историографии, свидетельствуют о видоизменении как *норм и ценностей* научного сообщества (т. е. историографической традиции), так и *характера требований*, предъявляемых им к доказательности собственных теоретических положений. И хотя показательные с этой точки зрения тенденции невозможно суммировать в единой перспективе, сам факт изменения критериев доказательности и объяснительных схем не подлежит сомнению. Он очевиден хотя бы в существенном отходе от марксистской парадигмы исторического знания.

«Здравомыслие» в исторической науке: ракурс проблемы

Ещё более заметным он оказывается при исследовании удельного веса в новых концепциях истории России — а эта сфера в данный момент наиболее репрезентативна — «теоретических» новшеств, основанных на возведении в ранг методологии элементарного «здравого смысла».

Можно сказать, что в современной историографической практике переменулся *«стандарт» стереотипности*. Если в советской историографии он был обусловлен редукцией многообразной истории к социологической модели исторических закономерностей и классовой борьбы, то в современной ситуации он зиждется на массовых стереотипах, общепринятых, исторически сложившихся шаблонах восприятия, диктуемых «здравым смыслом» нынешнего времени.

Чем, как не теоретизированием «здравого смысла» может быть вызвано появление в ряде работ Л. И. Семенниковой стереотипных пар «Восток — духовность», «русская интеллигенция — культура» и т. п. (1)? Или рассуждений М. Назарова о «евреях-большевиках», невосприимчивых к «западным либеральным влияниям» (2)? В том же ряду стоят и представления Л. Милова о порождавшем «идею всемогущества Господа Бога в крестьянской жизни»

«сознании русского крестьянина» (3), а также «особенностях русского менталитета»: «доброте, отзывчивости, готовности к самопожертвованию, долготерпении, трудолюбию, отчаянной храбрости и коллективизму» (4). Стереотипность «здорового смысла» проглядывает, к примеру, в таких, казалось бы, далёких по целям написания и методологическому содержанию текстах, как фундированное исследование автора сборника «Казус: Индивидуальное и уникальное в истории» О. Кошелевой и дидактические материалы выпущенного в Москве в том же 1996 г. учебника «Россия в мировой истории». В первом из них содержится утверждение, что «добропорядочный... русский человек, если его душа стремилась к странствиям, вставал на путь паломничества и шёл прикоснуться к христианским святыням, а не ехал к чужому двору» (имеется в виду побег из России в 1659 г. В. Ордина-Нащокина) (5), во втором присутствует указание, что «русские люди, воспитанные в православной вере, привыкли оценивать свои поступки и дела не с точки зрения их рациональности, практической значимости, а с позиций душевного комфорта, воплощения в них единства души и тела» (6).

Несколько непривычно в сопоставлении с прежней историографической традицией выглядят также и соображения А. Сахарова относительно того, что «Пётр I не выдумал пороха в деле осознания общих задач продвижения России по цивилизационному пути. Другое дело, что потрясённый чистотой и комфортом Кукуя, уютной и хорошо пахнувшей Анной Монс, своей первой любовницей, а позднее — совершенно новым и невиданным для него бытом Амстердама, Лондона, Вены, он вложил в это понимание свою могучую, необузданную, по-старомосковски жёсткую натуру, блестящий талант труженика и организатора» (7).

«Обыденный разум» (определение А. И. Ракитова) (8) находит выражение в исследовательской практике, главным образом, в том, что отражает «повседневную аксиологию», т. е. представления о ценностных константах жизни, настолько устойчивых, неизменных и всеобщих, что обращение к ним не подразумевает проблематизации.

Так называемая «очевидность» — родовой признак обыденной логики. Вместе с тем, данная логика не так проста, как это представляется на первый взгляд, коль скоро она порождает моделирование (типологизацию) исторической действительности. Наличие в логике «здорового смысла» связки «очевидное, следовательно, всеобщее (другой вариант — общеразделяемое)» предполагает как признание факта безусловной доказательности той или иной аргументации, так и предположение, что в историческом процессе существуют некоторые заранее известные схемы поведения и восприятия, своеобразные стандарты действий Человека в Истории, малейшее отклонение от которых есть отклонение от *нормы*.

Необходимо отметить, что такого рода нормативность, а точнее, понятия о ней, основаны либо на «неверии в чудо», когда исследователю видится неправдоподобной реализация альтернативы Февральской революции, поскольку «историками до сих пор не зафиксированы случаи демонстрации при

холодной температуре» (9), либо на противоположной по смыслу гипотезе, что всё, что ни является возможным в истории — действительно (ср. указание на «добропорядочность» русского человека). И первая, и вторая «версии» логики «здорового смысла», тем не менее, сходятся в одном, а именно в отождествлении видимости явлений с их сущностью и в возведении практической логики в теоретический абсолют.

Представляется, что возникновение в историографической практике подобных тенденций не случайно. Быть может, следует предположить, что оно является естественным продолжением процессов, происходивших вне условных границ историографического сообщества (научной корпорации) в годы, соответствующие так называемой «эре перестройки» (10).

Надо сказать, что характерный для этого периода пафос «здравомыслия», принявший в 1985–1991 гг. идеологические формы (11), базировался, прежде всего, на тенденции общественного сознания к аннигиляции «двойственности бытия», порождаемой как существенным расколом между теорией и практикой, так и традиционно марксистской *теоретизацией практического*, приданием ему спекулятивного статуса, неминуемо вводящим реальность в прокрустово ложе единственно верных решений и культивируемых стереотипов.

К началу 1980-х гг. вследствие внедрявшейся в общественное сознание установки на «взаимопереходность» теории и практики советская действительность превратилась в сплошную аллюзию, «неконтролируемый подтекст» (Л. М. Баткин) (12), в системе которого за политическое действие могло быть принято сочинение В. Высоцким романтических баллад к кинофильму о Робин Гуде, а в собственно политической сфере «всё, что диктовалось здравым смыслом», вынуждено было облекаться «в форму эксперимента» (Э. А. Шеварднадзе) (13).

На период перестройки пришлось такое изменение представлений о реальности (действительности), которое было обусловлено отрицанием её *идеологического эссенциализма*. Не случайно осознание знаменательной *недвойственности, самореферентности* действительности — прежде всего невозможности идеологического оправдания сталинской эпохи — выступало в 1985–1991 гг. теоретической предпосылкой реформ.

«Видимое равнозначно сущностному», «средства определяют цели», «трагедии индивида соотносительны драматизму истории масс» — все эти условно сформулированные нами принципы видоизменяли как актуальную социалистическую практику, так и общественное видение прошлого, задавая историческому познанию новые теоретические ориентиры, а также подспудно влияя на изменение объяснительной системы историографии в сторону концептуализации ею понятий «здорового смысла».

Однако прежде чем анализировать историописание 1990-х — начала 2000-х гг. в связи с возникновением в нем т. н. «обыденного концептуализма», очертим некоторые важные для этого исследования методологические приоритеты.

Методологические основания
исследования проблемы «здорового смысла»
в отечественной историографии
1990-х — начала 2000-х гг.

Начнем с ряда общих положений, помогающих определить даже не столько исследовательский метод данной статьи, сколько возможный подход к изучению проблемы «здорового смысла» в отечественной историографии. Можно было бы назвать такой подход определением «контекстуальности» проблемы.

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ «КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» ПРОБЛЕМЫ
«ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА»

Менее всего речь идёт об изучении «здорового смысла» в духе англосаксонской философской школы. Мы ориентируемся, скорее, на историографическую традицию исследования «мимесиса» и элементов построения «исторического опыта» (14). При всем том анализ «эффекта реальности» (15) в профессионально-исторической мысли интересует нас в строго определённом ключе. В фокусе нашего рассмотрения — не теория историографической референции в её типологическом («Проект Модерна», «Great Stories» и проч.) понимании, а «ситуативная» смена идейных ориентиров общественного сознания и историографической практики.

«Здравый смысл» интерпретируется здесь принципиально контекстно. Иначе, он взят в качестве «инструмента» (tool) репрезентации, олицетворяющей «временный консенсус, достигнутый в ходе свободных и открытых» социальных «взаимодействий (encounters)» (16). Оговоримся, что в подобной трактовке «проблемы исторической репрезентации» понимаются как «политически и социально значимые [в процессе] индивидуального и общественного поиска *легитимации*» (17).

Обоснование такого подхода даёт, например, Р. Браун. Он уточняет свою позицию применительно к историографии «Холокоста» (18). (Данная точка зрения методологически значима для прояснения инструментария анализа «здорового смысла». Вследствие этого мы останавливаемся на ней подробно).

Итак, «Холокост» для Роберта Брауна — одно из «наименований» («нарративных субстанций») (19), которые служат зеркалом смены историографией XX в. системы приоритетов. Это «наименование» обнажает реорганизацию современного знания об истории, а именно размывание понятий о «референциальности между “фактом”, “репрезентацией” и “истиной (правдой)”» истории (20).

Дебаты вокруг «Холокоста» высвечивают едва ли не фундаментальную проблему современности: конфликт между «значением» (21) прошедшей «реальности» как знанием (*эпистемой*), репрезентациями прошлого как точками

зрения (*доксой*) и «реальностью» истории в настоящем и прошлом как уместными конструкциями (22). В этой сложной формуле Брауна явно угадывается историографическое «дно»: XX в. принёс с собой то понимание, что историческая интерпретация ближе к репрезентации, чем собственно к интерпретации, а «реалистическое» (истинностное) видение истории — начало её девиации в современность.

Отправная точка авторских рассуждений — концепция Дройзена, считающего, что «реализм» исторических репрезентаций не базируется на критерии исторической «правды». Согласно Дройзену, «исторический реализм» формируется по образу и подобию современности. Критерий «реализма» — скорее не «правда», а *«правдоподобие»*, отличающееся и от моделирования «возможного» (традиционно трактуемая цель науки), и от моделирования «воображаемого» (цель искусства). «Правдоподобие» основано на некоей социальной договоренности, *modus vivendi* настоящего, на фактическом компромиссе между различными интересами, моральными установками и вариантами «объективного» восприятия мира (23).

Эта посылка имеет огромное значение применительно к дискуссиям по «Холокосту», утверждает Р. Браун. В восприятии очевидцев *живая* реальность «Холокоста» есть равнодействующая морального, политического и интеллектуального восприятия мира, в котором различие «возможного» / «воображаемого» / «правдоподобного» затруднительно. В *социальной* же реальности «Холокоста» «факты», основанные на тех или иных документах и свидетельствах, уравниваются с политически «возможным» (*politically possible*) и морально «вообразимым» (*morally imaginary*) (24).

В этом социальном измерении:

- История, понимаемая в качестве «объективной» репрезентации «реальности», может базироваться только на критерии *«возможного»*;
- История, легитимированная моральными и политическими (властными) отношениями настоящего — только на критерии *«правдоподобного»*;
- История, понимаемая в качестве науки — только на критерии *«фактического»*.

— Перед нами (всякий раз) иная История и изменчивая реальность.

Нередко рассказчик (*narrator*) встраивает «факты» в форму *желательного* рассказа, именуя политически возможное «реальным». Его цель — установить *мифическую* неразрывность настоящего и прошлого. Не менее часто морально вообразимое оказывается «реальностью». В этом случае связь с прошлым устанавливается через *моральный* императив. Подчас социально правдоподобное квалифицируется как «реальное». Тогда поиск идентичности с прошлым предполагает его *сепарацию* от возможного и воображаемого.

В полной мере доказуемо, настаивает исследователь: «реальность» прошлого замещается «бесконечным числом реальностей, равноценных разнообразным суждениям и точкам зрения, обнаруживаемым в настоящем» (25). На деле создаются целые «сети» конструкций реальности (*reality-constructions*) и их непрерывное взаимодействие (*interplay*) в прошлом и настоящем — это и есть зыбкая «реальность» истории (26).

Стоит ли удивляться, что «объективность» исторических репрезентаций ставится ныне под вопрос (причём — теоретиками науки не менее, чем филологами языка)? «Правдоподобие» проблематизируется, как только поднимается вопрос о стратегиях интерпретаций. «Фактичность» оказывается сомнительной, если исследуется конструктивная природа сведений и доказательств (27).

Очевидно, современные представления, изменяясь, нуждаются в делегитимации — так же, как и «реальность» прошлого (28).

Некоторым исходом, предлагаемым Робертом Брауном с целью сохранения ценности «обломков [debris]» Истории (а точнее — «реальности» Истории), является более прагматичный взгляд на прошлое. Его суть — признание вовлечённости учёных в т. н. *«общественное использование (public use)» прошлого* (29), подменяющее (substituting) его отсутствие неким историческим текстом. В политическом плане социализированное «использование» прошлого соотносимо с проблематикой идентичности и легитимности, с культурой, атрибутируемой как власть. В эстетическом — с вопросами формы репрезентаций, пропозициональной (propositional) природы и внутренней референциальности (self-referentiality) языка.

Новая историографическая «прагматика» есть осмысление причастности учёных-гуманитариев к формированию консолидированных точек зрения на историческое. Она предполагает иной уровень научной саморефлексии, ведущий исследователя не столько к открытию скрытых истин или реально происшедших событий прошлого, сколько к нахождению наиболее адекватных форм социальной солидарности, свободных от «пограничья прошлого» (Х. Уайт) как линии «реальности» (30).

Доводы Р. Брауна относительно социо-коммуникативной природы понятий о «реальности» — ключ к пониманию ракурса поставленной нами проблемы. «Здравый смысл» рассматривается в работе:

1. В качестве *«нарративной субстанции»* или, лучше сказать, «совокупности заключений, которые вместе образуют репрезентацию прошлого» (31). (Притом он интерпретируется как часть «нарратива», *организующего* знание, но не являющегося «знанием, как таковым» (32));
2. В качестве элемента поиска социально обусловленного *«правдоподобия»*;
3. В виде некоторой *«сети» исторических конструкций*, актуализируемых в ходе делегитимации представлений об истории.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ «КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» ПРОБЛЕМЫ «ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА»

В основе предлагаемого подхода — исходный принцип, объединивший в XX в. представителей разнохарактерных, а иногда и открыто оппонированных друг другу, историографических направлений и школ (33). Язык исторических исследований не нейтрален. «Сегодня проблема связи содержания познаваемого и форм его представления формулируется прямо» (34).

По нашему мнению, известной гранью (стороной) феномена «здравомыслия» в современной исторической науке явилась трансформация языкового «стиля» профессиональных исследований (в сравнении с советским «Большим стилем» (35)).

Представляется, что феномен «здравомыслия» — наиболее удовлетворительное объяснение, например, того, в какой связи учёный-профессионал, выявляющий, что «прошлое в головах людей начинает расплываться», приходит к выводу, что отсутствие единой концепции истории «грозит деградацией и дебилизацией (Выделено мной. — И. Ч.) общества» (36).

Анализ литературы втор. пол. 1980–2000-х гг. убедительно демонстрирует, что существенный индикатор «здравомыслия» — «бытовизация» языка исторических повествований (исторического нарратива). Безусловно, эта тенденция далеко не всегда сопряжена со «здравым смыслом». Но зачастую именно «здравый смысл», трактуемый в данном случае как *мимесис некоего (условного) «простого человеческого понимания»* определяет формирование нового научного языка.

На наш взгляд, скажем, предположение о возросшей стилистической свободе историков не вполне объясняет следующую форму изложения: «Образно говоря, путь человечества густо усыпан граблями, на которые народы, страны и отдельные люди с превеликим упорством наступают, потирают шишки на лбах — и всё же продолжают наступать. Напрасно советуют, скажем, какому-нибудь президенту: “Не шагай с обрыва, нехорошо выйдет!”. “У-у-ух!” — только и говорит президент, летя в пропасть вместе со своими советниками и народом. Более “мудрые” президенты отправляют вместо себя в опасные места только что окончивших школу молодых ребят» (37). По-видимому, недостаточно говорить единственно об авторском стиле и применительно к анализу приводившегося ранее фрагмента статьи А. Н. Сахарова.

Акцентируем внимание на существенном моменте: что доказывается и обосновывается в «формате» стилистически-сниженного языка? Ответ очевиден. В трёх цитируемых отрывках рассматриваются знаковые вопросы советского историописания. Проблематика социальных функций исторической науки; дидактика истории; причины «осознания [Петром I] общих задач продвижения [России] по цивилизационному пути». Всё это — серьёзнейшие темы, имевшие солидные традиции изучения, свой круг «высокой» метафорики (будь то фундаментальные исследования или учебная литература). В советский период в их описании *должна* была присутствовать «высокая» каузальность, синтетические объяснительные модели («прогресс передового знания», «модернизация», «формационные особенности» России и проч.), выступающие в виде неких «базовых слов». В настоящих работах — всё иначе. «При конструировании авторской позиции активно используется обыденный язык (узус), который усиливает “эффект реальности” для читателя-потребителя этих текстов. Концептуализация бытовых слов с их метафорикой и привычными коннотациями, заимствование словесных образов и клише из публицистики, — указывают читателю на готовность автора предлагать

омассовленную продукцию. Более того, в риторике некоторых текстов заметно утверждается анти-интеллектуализм. Во всех подобных случаях концепция выглядит легко распознаваемой читателем, быстро осваиваемой, не нуждающейся в критической рефлексии. Это — апелляция к стереотипу, к обыденному знанию» (38).

Характерно, что в каузальных моделях указанных авторов широко используются конструкты заметно упрощённого, «общепонятного» языка. «История мало чему учит — человеческое упорство велико»; «Петра I потрясли западные чистота и комфорт и это стало предпосылкой реформ» и т. д (39). Поэтика данного историографического знания примечательна, пожалуй, тем, что имитирует «само собой разумеющиеся» представления читателя. Именно им сообщаются функции «базовых слов». Речь идёт об условно всеобщих, типизированных схемах «реальности», отраженных в «афоризмах житейской мудрости» (А. Шопенгауэр) исследовательской риторики. Пафос последней — как правило, доскональное «переопределение», создание иной «комплексной матрицы» научного языка (40).

Приходится говорить об определённом «сдвиге перспектив» (термин Кеннета Бурке) в пространстве риторики этой литературы. По-видимому, необходимо констатировать изменение её *социальной адресности*. За такими «стратегиями слова» неизменно угадывается в меньшей мере «официальный» (как, впрочем, и академический), нежели «массовый» адресат. Здесь многое лежит на поверхности, — «новая» историография способна снять любые вопросы о «регистре» словотворчества массового сознания, о специфике обыденного языка. Положим — следующий пример:

— «Если современный научный метод строится ярусами — на верхнем из них располагается такая онтология мира, которая придаёт смысл научной аксиологии; ярусом ниже стоит методология в самом обобщенном, генерализованном смысле этого слова; ещё ниже методика и, наконец, *непосредственно практическая техничка исследований*» (41);

— «Многие тысячи людей по-прежнему в основу собственной исследовательской практики ставят *старый добрый дискурс*, какую-нибудь звонко поименованную методологию полувековой давности и т. п., *то есть* стараются всеми силами сохранить строго научные формы своей работы. Причём *в любом виде*: позитивистском, деконструктивистском, постмодернистском... *всё равно как*, лишь бы это *считалось доподлинной наукой*» (42);

— «Когда нет или не видно того самого универсального Закона, историческое познание разбивается на десятки ветвей. Проблема непознания Закона превращает святое место в “двигательном центре” человеческой истории *то ли в пустыню, то ли в подобие колхозного рынка. Такова* внутренняя причина *всеобщего кризиса исторической науки* (Выделено мной. — И. Ч.)» (43).

Мы уже отчасти наметили особенности данных риторических стратегий: «бытовизация» языка, «переопределение» с использованием ряда «общепонятных» клише знаковых историографических тем. Однако в этом примере заслуживает анализа и другое.

Базовый вопрос: что именно отражает в подобной историографии подражание «бытовым» концептам? Является ли оно исключительно результатом ориентации на иной общественный «адресат»? Наш ответ — нет, не является. В этом смысле достаточно обратить более пристальное внимание на указанный фрагмент. Например, с чем связан выбор глагола в словосочетании «не видно ...Закона»? На наш взгляд, с неотрефлексированной автором логической установкой. С некоторым (определённо подчёркиваемым риторикой исследования) типом *внутренней реорганизации знания*.

География авторских предпочтений прослеживается по коллизиям текста: «Дело в том, что прежний центр мироздания был *совершенно ясен* для миллионов людей. Бог *он и есть Бог*, христианство не позволяет прибавить к нему что-либо или отсечь лишнее... В XVIII–XIX вв. общество ещё могло удовлетвориться призрачным, до конца никем не понятым обитателем прежнего места Творца в мировой истории. Закон — *он есть. Его познают. Вот уже ни один век. И пора бы познать, хотя бы в общих чертах. А он всё не познаётся и не познаётся* (Выделено мной. — И. Ч.)» (44).

Надо сказать, что глагол «*есть*» выглядит едва ли не «ящиком Пандоры» всего подхода. Характер его использования выдает дискурсивные основания исследования. Их особенность — в определённой феноменологии факта, в признании существенного явным и, наоборот, явного — отражающим суть.

Отсюда — и *совершенная ясность* понимания миллионами людей Бога, и фраза о том, что *не видно* Закона, и полное отсутствие доказательной аргументации: что лежит в основе Закона; в каких формах он существует и проч.? Отсюда — и парадокс авторского описания самореферентных явлений. Бог христианской экзегезы, будучи равным Самому Себе, избавлен от *лишних* коннотаций. Существование исторического Закона не нужно обосновывать тем, что его познают не один век. Собственно познание *не может* не быть эффективным, — закономерности истории «пора бы» познавать.

Автор концепции в известном смысле воспринимает «навязываемые» ему явлениями значения, а не дифференцирует их. Не естественно ли, что концептуальный язык, будучи гибкой системой, подтверждает выбор исследователем неклассической парадигмы?

Упоминания о «*святом месте*» в «двигательном центре» человеческой истории; проведение аналогий между «*халтурой* в работе историка» и «криво прибитым каблуком», «незалеченным зубом» «или кафельной плиткой, имеющей тенденцию каждую неделю обрушиваться в ванну» (45), — показатели не только риторических, но и логических «погрешностей» «здравомыслия». Главная из них — символический подход к явленному как существу. Из неё вытекает во многом уникальная интерпретация факта — как правило, в тройном контексте: «аналогизма» [явления *напоминают* друг друга, они мало дифференцированы]; предпосылочного знания [*природа* явлений непреложна (в указанном примере: «*святое место*» Закона — место «Творца в истории»)]; наконец, *референтности всех (потенциальных)* — в том числе и «известных» по «житейскому опыту» — *событийных значений*.

Мы имеем дело со знаменитым «письмом» по принципу anything goes:

— «Существенность» переведена исследователем в плоскость «существования»;

— Им смещены границы «абсолютных» и «относительных» значений (например, «святое место»±«двигательный центр человеческой истории»; «Бог»±«Закон»);

— Почти каждое понятие в концепции приобретает (окончательный) репрезентативный, а значит и самореферентный, смысл, несмотря на то, что интерпретация этих понятий «множественно»—неоднозначна (46).

И — вновь пример, свидетельствующий, что тенденции «здравомыслия» не единичны. Мы приводим фрагмент из работы И.Г. Яковенко (47) без посторонних комментариев. Обозначим, пожалуй, то, что и здесь «новый» научный язык конфронтирует с советской историографической традицией, реформулируя, прежде всего, её *каузальный* ряд: «Исследователи едины в признании половцев одним из источников этногенеза казачества. Проблема сводится к установлению соотношения русского и половецкого компонентов в этом процессе. Полагаю, казачество возникло в результате половецко-русского смещения при явном доминировании половецкого субстрата. Чтобы убедиться в этом, достаточно *вглядеться в лица казаков* на фотографиях XIX века. Форма черепа, *выражение глаз, особенности фигуры*, фрагменты бытовой культуры — всё это разительно отличается от славянской типологии и *выдаёт в казаках природных степняков... Изложенное* (Выделено мной. — И. Ч.) ... позволяет отбросить казённую версию, согласно которой основную массу казаков составили беглые крепостные крестьяне, выходцы из русских княжеств, уходившие в степь и осваивавшие Дикое поле. Идеологическая заданность этой конструкции слишком очевидна» (48).

Подведём некоторые промежуточные итоги. Вполне очевидно, что за феноменом «здорового смысла» стоят определённые структуры мышления и логики, фиксируемые в типологии исследовательского языка. Иначе, «здравый смысл» не ограничивается «бытовизацией» риторических практик историографии или, предположим, сменой «стилистики» и «адресности» авторского «письма». Историографическое «здравомыслие» так или иначе видоизменяет принятую в отечественном историознании *познавательную* модель. Это — феномен куда более сложной природы, по-видимому, предвещающий возникновение в историописании ряда новых когнитивных схем.

«Здравый смысл» в отечественной историографии 1990-х — начала 2000-х гг.

Не претендуя на какие-либо глобальные обобщения, позволим себе наметить некоторые, на наш взгляд, принципиальные черты «здоровомыслия» в исторической науке 1990-х — начала 2000-х гг.

«Здравомыслие» имеет довольно жесткую внутреннюю структуру. В известном отношении историографический «здравый смысл», так сказать, «живёт по собственным законам», структурно формируя и даже *аналогичным образом «фабрикуя»* дискурс целого ряда исследований. «Здравомыслие» часто «задает» *одну и ту же* концептуальную матрицу — «сеть исторических конструкций» по Р. Брауну — самым разнообразным (по тематике, жанрам, особенностям авторского стиля и т. д.) исследованиям.

Из этой посылки следует определение феномена «здоровомыслия» в историописании 1990-х — начала 2000-х гг. Историографическое «здравомыслие» представляет собой миметическую модель обыденного мышления и мировосприятия, возникающую в качестве одного из вариантов преодоления марксистской идеологической и научной парадигмы.

Основные элементы («конструкции») «здоровомыслия» кореллированы с возникновением альтернативных марксизму трактовок «человеческой природы», исторического процесса и обусловлены зарождением в историографии новых когнитивных схем.

(В данном случае мы приводим определённые положения в порядке выводов. Однако в их основе лежит целая серия исследований).

По преимуществу логической посылкой «здоровомыслия» выступает постановка в центр размышлений т. н. **«изначальных противоречий человеческой природы»** (49). Это — тенденция, во многом общая для профессиональной и околопрофессиональной литературы (50).

С определяющей наглядностью данная «историческая конструкция» артикулирована, например, в недавней работе И. Б. Орловой, попытавшейся заявить о себе в новом качестве историка:

«Вероятно, человеческая природа за прошедшие ... века изменилась очень мало. Переменилась среда обитания, образ жизни, появились новые технологии, но человек в своей основе остался прежним. Страсти, по видимому, вечны и неизменны. Точно так же, как и сейчас, поступками людей, живших тысячу лет назад, двигали жажда власти, стремление увековечить себя, возвеличить свои деяния, и ради этого люди шли на все: на искажение истины, на ложь, на превознесение своих местнических интересов перед интересами страны. Как и сейчас (Выделено мной. — И. Ч.), огромное влияние на политику, а значит и на судьбу страны оказывали родственное окружение власть имущих, семейные кланы» (51).

По-видимому, принцип, сформулированный И. Б. Орловой, находит всё большее распространение в отечественной исторической мысли, — и, что существенно, в профессионально-знаточеском, специализированном историческом знании в том числе (52).

В отличие от марксистской (советской) традиции, в этом новом «варианте» историознания человек не является креатурой «общественных отношений», — он «индивидуалистичен» и неизменен, «чисто по-человечески» (53) предсказуем и одинаков во все эпохи.

Логическим продолжением этого, по существу, «обыденного» принципа («*есть как есть*») выглядят, предположим, антиисторичные с точки зрения канонов советской историографии «межличностные» аналогии, часто появлявшиеся в 1990-е — начале 2000-х гг. в исторической литературе (54). В указанном смысле привлекает внимание и новая типологизация национальных характеров, — прежде всего, русского (55) — характерная для историографии последних лет.

Основным критерием этой типологизации во множестве случаев оказывается суждение-укус «*так повелось*» (56). «Водиться» же, скажем, в крестьянско-общинной России, может так: «*Тип человеческий ... выковывается уникальный: способный к крайнему напряжению, нечеловеческой концентрации сил в очень краткий период, за который в несколько дней, не щадя ни себя, ни других, наверстывают упущенное за месяцы “безделья”; не видящий особой связи между качеством своей работы и её итогами, а потому и не стремящийся к аккуратности, привычный к тому, что вознаграждение за труд (если оно вообще последует) отделено длительным периодом от самого труда, а посему... Впрочем закончить фразу легко ...*» (Выделено мной. — И. Ч.)» (57).

В данном отрывке из новейшего учебника по «Всемирной истории XX века» нашли выражение своеобразные черты целого ряда новых типологизаций. Характерно, что с научной точки зрения доводы авторов малодоказуемы (едва ли верифицируем, например, смысл фраз «*нечеловеческая концентрация сил*», «не щадя ни себя, ни других», «не видящий *особой* связи»), а с обывательской (дилетантской, любительской) — очевидны. Настолько очевидны, что не «засорно» и продолжить авторскую мысль, — обозначение чуть ли не *единственно возможной* реакции крестьянина на ход событий, как видно, **должно** вести к *однозначному и само собой разумеющемуся* выводу об (устойчивом?) «человеческом *типе*» крестьянства.

Истоки возникновения такого долженствования — исходная дискурсивная проблема. Каким образом в историческом исследовании возникает настолько своеобразная логика? Вследствие чего авторы предваряют читательское согласие с «общеизвестным»? Или, заостря проблему, на чем зиждется целая серия авторских невариативных допущений?

По-видимому, это — вопросы о специфике «нового» историописания в части **общей трактовки исторического процесса**.

В книге В. П. Булдакова «Красная смута: Природа и последствия революционного насилия» (58) на стр. 17 обосновывается следующее суждение:

«верхи и низы России... *никогда* не понимали друг друга ни на уровне ближайшего, ни, тем более, на уровне общенационального интереса — для этого не находилось общего “языка” гражданского права. *Иного не могло и быть*, поскольку отношения власти–подчинения в империи *всегда* довлели над отношениями купли–продажи». К этому суждению примыкает, скажем, заключение на стр. 24: «община *генетически* запрограммирована на самосохранение путём подавления тех, кто мешает этому изнутри». На стр. 25, 27 и 48 вновь возникает нечто подобное: «маргинализируемые слои в России *издавна* практиковали иные — эскапистские — формы неприятия действительности»; «крестьянин *по своей природе всегда* узкий, “заторможенный” прагматик; антиподом “пустого” действия для него становится *безделье*»; «России *всегда* приходилось догонять: управленческие функции вынужденно упрощались порой до диктата». Стр. 54 опять-таки даёт схожий пример: «власть... в России *всегда* подкреплялась иллюзией, что она не даст умереть с голоду в экстремальных условиях — такова должна быть её “божественная природа”» и т. д (59).

Во всех этих случаях косвенно проводится та мысль, что исторический процесс *инвариантен* и *существенно предсказуем*. В. П. Булдаков определённо подводит читателя к заключению, что исторический процесс — пульсирующее пространство постоянно возобновляющихся *норм* (поведения, мышления, восприятия и проч. — вплоть до норм и инвариантов развития (отсюда — и наречия *«издавна», «всегда» и «никогда»*)).

И здесь важны два момента.

Первый. В концепции Булдакова уравнивается *«общее»* (авторское видение некой исторической *нормы*) и *«конкретное»* (реальное историческое воплощение этой *нормы*). Так, по-видимому, соглашаясь с приведёнными размышлениями, следует считать, что община в каждой конкретно-исторической ситуации руководствуется скорее «врожденным коллективизмом» (60), нежели реальной оценкой положения вещей, или, скажем, что крестьянин в силу условий существования, «всегдашнего» прагматизма своей «природы» почти *неминуемо* ориентирован на «безделье»; или же, положим, что осознание верхами и низами имперской России «общенационального интереса» было *полностью* несбыточным (*«иного не могло и быть»*) и т. д.

«Общее» и «конкретное» (возможное уточнение: *«должное»* и *«действительное»* / *«сущее»* и *«явленное»*) в данной концепции не сопоставляются, а отождествляются. Мы вновь сталкиваемся с представлением о самореферентности явлений.

Второй. В. П. Булдаков, как кажется, точно обозначает «пограничье» собственного метода. *«В контексте “смуты в российских душах”* вся российская история кажется *пугающе цикличной* (Выделено мной. — И. Ч.)» (61), — пишет он.

Неоднократно повторяемый исследователем в ряде работ тезис об историческом процессе как манифестации *устойчивости, пластичности* и даже *неизменности* «основополагающих» *человеческих качеств* — по-видимому,

определяющий сегмент подобной методологии. Коль скоро «человеческое естество» (62) остаётся *одним и тем же*, дело историка, учёного — выявление типичного (63). Вместе с тем, и «типичное» можно понимать по-разному; можно по-разному трактовать исторический процесс.

Обратим внимание на определённые концептуальные совпадения монографии В. П. Булдакова с цитировавшейся ранее «Книгой для чтения» по истории XX в. И. И. Долуцкого и В. И. Журавлевой. По существу, в каждом из вышеуказанных фрагментов история характеризуется «безальтернативно», — хотя, безусловно, в первой работе эти тенденции куда нагляднее артикулированы.

Примечательно, что в целом методология анализа оказывается в названных исследованиях парадоксальным подобием метода т. н. **«сценарного прогнозирования»** в современной политологии. Это — изображение исторического опыта в «обратной перспективе» понятия **«всегда»**.

Ученые не только выстраивают, по их мнению, *оптимальный «сценарий» событий*, но и увязывают этот «сценарий» с неизменной и постоянно воспроизводящейся **природой явлений** («человеческий тип» крестьянина, «генетический тип» общины, («*всегдашний*») «догоняющий тип» развития России и т. д.) (64). Тем самым осуществляется как бы «прогнозирование наоборот»: авторские представления о существовании явлений экстраполируются на исторический процесс, причём — так, что исторический нарратив откровенно репрезентирует модель «как *должно* быть и *будет на самом деле*».

Поясим эту, по-видимому, странную мысль.

С одной стороны, в данном дискурсе воссоздается чуть ли не *«среднестатистический»* исторический опыт (**условное историческое прошлое**):

«выковывается *человеческий тип...*»; «нечеловеческая концентрация сил в очень краткий период, за который ... наворачивают упущенное»;

«верхи и низы России *никогда* не понимали друг друга...»

«община *генетически* запрограммирована на самосохранение...»

«маргинализируемые слои России *издавна...*»

«крестьянин *по своей природе всегда* ... прагматик»

«России *всегда* приходилось догонять...»

«власть... в России *всегда* подкреплялась иллюзией...»

С другой стороны — на удивление жестко прогнозируется невариативное «будущее» этого «прошлого» (а точнее — некое *e pluribus unum* «**будущее в прошлом**»):

— **следовательно** —

отсутствие осознания «связи между качеством ... работы и её итогами»; отсутствие стремления «к аккуратности»; привычка «к тому, что вознаграждение за труд (если оно вообще последует) отделено длительным периодом от самого труда, а посему... (Выводы очевидны (?). — *И. Ч.*)»

«отношения власти-подчинения в империи *всегда* довели над отношениями купли-продажи»

подавление «тех, кто мешает этому изнутри»

«практиковали иные — эскапистские — (Только такие, строго определённые (?) — *И. Ч.*) формы неприятия действительности»

«антиподом «пустого» действия для него становится безделье»

«управленческие функции вынужденно упрощались ... до диктата»

«такова *должна быть* (Была и *будет* впредь (?). — *И. Ч.*) её “божественная природа”...»

Авторы шаг за шагом описывают гипотетическую последовательность событий в *терминах долженствования*. Таким образом, и в том, и в другом исследовании создается впечатление:

- неизбежности происходящего;
- его прогнозируемости («сценарности»);
- отражения в *каждом* «отдельном» событийном пласте инвариантной природы и существа исторического.

Характерно, что названным условиям отвечают и следующие исследовательские опыты в историографии 1990-х — начала 2000-х гг. (без репрезентативной выборки здесь не обойтись):

— «Одной из особенностей, характерных для исторического развития России является не только то, что модернизационные изменения инспирировались сверху, но и то, что они *практически никогда* не доводились до логического завершения... *Каждый* новый исторический этап радикально отрицал предыдущий... Если обратиться к истории, то можно заметить, что развитие России осуществляется скачкообразно, когда все силы страны *путём чрезвычайного рывка* брошены на преодоление *предшествующего реформам периода застоя* (эпоха Александра II, перестройка). Политическая власть *насильственно* осуществляет модернизацию *антигуманными, подчас даже варварски жестокими методами*. Но *в конечном итоге* модернизация, осуществляемая ценой огромных перегрузок, перенапряжения всех сил, бесчисленных жертв и невиданных лишений, *всё же не достигает своей цели*» (65);

— «Власти живется в России *всегда* хорошо. Отечественная власть способна с комфортом обустроиваться в капитанской каюте даже терпящего бедствие корабля. И нынешняя эпоха это символизирует, подтверждая: власть *всегда* самодостаточна, ей *всегда* хорошо» (66);

— «Поскольку российское общество оставалось *всегда*, включая период реального социализма, аморфным, однородным (сословным, клановым), социально и политически не структурированным в современном понимании, в его истории ... отчётливо просматриваются такие... явления, как нерасчленённость, с одной стороны, власти и населения, а с другой — власти-населения, собственности. На основе этой нерасчлененности в реальной жизни *всегда* существовали ... некоторые явления, факторы, силы, действовавшие

долговременно и игравшие зачастую определяющую роль во всех сферах жизни... Борьба за собственность внутри “властепопуляции” происходила *всегда*, в том числе и в период исторического коммунизма» (67);

— «...для власти *всегда* было характерно убеждение, что “*мужик своей выгоды не понимает*”. А отсюда и принудительное экспериментаторство в прошлом и настоящем» (68);

— «Многовековой опыт России свидетельствует не только о противоречивости исторического процесса, но и о том, что *практически ни одна цель, поставленная в государственном масштабе не достигалась в полном заданном объёме*. Причин можно назвать много, но определяющей *всегда* было неумение использовать имевшиеся возможности, т. к. не хватало специалистов и просто образованных людей» (69).

По-видимому, этот новый тип дискурса «формируется» в различных исследованиях на одной и той же основе. На наш взгляд, это вполне очевидно по приведённым примерам. Однако мы не станем анализировать каждый из них в отдельности, а попытаемся систематизировать некоторые центральные (распознаваемые и в этих фрагментах) «исторические конструкции» «здоровомыслия», сопроводив их дальнейшими* примерами и комментариями.

Как представляется, дискурс «здоровомыслия» в особенности характерен тем, что:

1. Представление о **природе (исторических) явлений** эквивалентно (равносильно, тождественно) в этой дискурсивной формации представлению об их *самореферентности*.

В подобном плане примечательна, например, дискуссия, развернувшаяся на международном научном коллоквиуме «Рабочие России второй половины XIX — начала XX века: Облик, менталитет, рабочие и общество, рабочие и интеллигенция» в июне 1995 г. В то время как Ю.И. Кирьянов указывал в своём докладе «на ряд черт, характерных для *основной массы* рабочих конца XIX — первых лет XX в., *почитавших Бога, Царя и Родину, религиозные заповеди* (Выделено мной. — И. Ч.)» (70), и именно таким образом обрисовывал новое для отечественной историографии понятие «менталитет», В.Ю. Черняев комментировал выступление Кирьянова так: «религиозность не являлась отличительной чертой менталитета рабочих в государстве, не допускавшем невероисповедного состояния» и проч (71). Иначе, если Ю.И. Кирьянов идентифицировал «**общее**» и «**конкретное**» (в обозначенном смысле), то В.Ю. Черняев определённо говорил, скорее, о «конкретном» (конкретно-историческом). Другой характерный пример указанных дискурсивных стратегий — позиция А.В. Лубского (1998 г.), считавшего, что в современной России «происходит постоянное столкновение языческих, православно-христианских и современных западных политических идеалов (*правды, благодати и закона; лада, соборности и консенсуса; воли, преобразования и контроля над государством*) (Выделено

* Основная цель работы — наглядно показать существование данной проблемы в практике историописания 1990-х — начала 2000-х гг.

мной. — И. Ч.)» (72). Очевидно, что и язычество, и христианство, и современные западные идеалы характеризуются историком так, как если бы «должное» было «действительным», а «сущее» — «явным»

2. Представление об **исторической каузальности** «организуется» в дискурсе «здравомыслия» вокруг обыденных стереотипных клише.

Например, в упоминавшемся пособии И.И. Долуцкого и В.И. Журавлевой кастовая дифференциация в Индии представляется так: «Оскверняет не только прикосновение или даже взгляд представителя низшей касты, но и сам образ жизни, занятия. Как ты понимаешь, речь идёт о священной, а не гигиенической чистоте. Воды Ганга, священной реки Индии, химически и физически грязны. По реке плывут трупы умерших от инфекционных болезней (вроде оспы). Но индусы используют святую воду даже в медицинских целях без всякой обработки. Кипяченая же вода или вода из-под крана, поданная брахману безукоризненно чистым неприкасаемым, оскверняет. **Поэтому** (Выделено мной. — И. Ч.) вся жизнь индийца обставлена табу» (73). Следующим образом подаётся в учебнике русское православие: «Ни одна религия (Выделено мной. — И. Ч.) не ориентирована на коллективное спасение (Авторская разрядка. — И. Ч.) через любовь-жалость в такой степени, как православие. Обряд (особенно покаяние) — общий путь спасения, который проходят с помощью церкви как организации и при поддержке коллектива, а также в нём, “ибо не добро человеку быти одному”. **Поэтому** подавание “опчественным нищим” в деревнях и городах рассматривается как один из верных путей ко всеобщему спасению “братьев во Христе”. В подобной системе ценностей отказ от гордыни — высшая добродетель, а свобода — синоним распущенности, безобразия (Выделено мной. — И. Ч.)» (74).

Совершенно очевидно, что интерпретация «свободы» как безобразия, приложение библейской «гендерной» фразеологии к истории Церкви; само переименование церковного «не добро человеку быти **едину**» сразу же конфигурируют «обыденный» контекст. Достаточно точным указанием на «обыденность» выглядит также и энигматическая «любовь-жалость» и не поддающаяся строгой верификации характеристика сотериологии православия.

Однако более всего характерен, конечно, имитационный стиль авторского нарратива: «опчественные нищие» ~ «братья во Христе» ~ «святая вода» индусов, используемая «даже в медицинских целях» ~ вода, поданная «брахману безукоризненно чистым неприкасаемым» — все это индикаторы заведомой «подражательности» (всем или многим) «событийным» значениям, а отсюда и обыденной стереотипности мышления и языка (75).

Вышеуказанный пример с православием отчасти сопоставим с иным примером из «хроник» историописания 1990-х гг.: «В католичестве внимание верующих сосредоточено на жизненном пути Иисуса Христа. Католик убеждён в одухотворённости (Здесь и далее разрядка автора. — И. Ч.) общественной деятельности на благо ближнего. В православии внимание обращается на сказание о нисхождении Святого Духа на апостолов. Православный убеждён в действительности духовности, внут-

ренной чистоты помыслов человека. *Соответственно*, если главный образ в католичестве — *распятие*, то в православии — *Спас нерукотворный, главный праздник, соответственно, Рождество и Пасха (а у византийцев — даже Духов день)* (Выделено мной. — И. Ч.)» (76).

«Обыденная» тенденциозность и здесь мстит за себя, порождая иллюзию авторского «незнания» (неосведомлённости). Однако в данном фрагменте «обыденность», скорее, укладывается в формулу Льва Толстого об «энергии заблуждения». Не значения доминируют над авторским нарративом, подавляя его многообразием смыслов, а в нем самом «форматируются» значения. Тем не менее, в каждом из этих фрагментов те или иные «обыденные» клише маркируют пересмотр «традиционной» историографической каузальности.

Обратимся в этой связи ещё к одному фрагменту из недавних работ В. П. Булдакова: «...Российская психоментальность лишена установок на устойчивое развитие на основе накопления, напротив, этика выживания сочетается с представлениями о зыбкости социального существования вообще. Такого рода ментальность в *критические моменты* истории как бы подсказывала: “*Гори всё синим огнем!*”» (77). Итак, вновь речь идёт об известной каузальности, о «сценарии» будущего в прошлом, о мимесисе «**явных**» событийных значений и деформации на этой основе научного языка.

3. «**Картина мира**» (в целом) характеризуется в дискурсе «здравомыслия» недифференцированностью.

Референтность всех событийных (вариант: «обыденных») **значений**, бесспорно, прямо не признаётся в историописании 1990-х — начала 2000-х гг., но «в связи» ней (с её латентным признанием) «явочным порядком» трансформируется научный язык. С определённого времени профессиональные учёные могут, например, следующим примечательным образом рассуждать о марксизме: «Материальные интересы важны, но *как известно давно* (Выделено мной. — И. Ч.), “не хлебом единым жив человек”» (78). Некий условный «курс следования» человечества» может описываться в издании ИВИ РАН так: «Как показывает исторический опыт, *людей можно убедить лишь в том, что не противоречит их собственному опыту. Следовательно*, в самом ближайшем будущем нужно, чтобы россиянам (а также всему человечеству) *факт существования Руководителя Земли — стал очевиден*. Конечно, Им будет сделано всё необходимое в этом плане. Но Замысел не может реализоваться иначе, чем через усилия людей (масс и их лидеров) — в частности народов и руководителей России и Соединённых Штатов Америки... **И следовательно**, прямо зависит от “субъективного фактора”. Но, *как гласит мудрая английская пословица — коня можно подвести к воде, но нельзя заставить его пить...* (Выделено мной. — И. Ч.)» (79).

Конспективно отметим в вышеназванном контексте четыре особенности дискурса «здравомыслия».

Во-первых, историографическое «здравомыслие» часто связано с цитированием, комментированием и даже концептуальным обобщением (80) **полюсов и поговорок** (81) и использованием — в разных модификациях —

едва ли не сакраментальной фразы **«как известно»** («давно доказано», «общеизвестно», «как выяснено», «ещё древние знали» и т. п.). Во-вторых, историографическое «здравомыслие» сопряжено с проведением **прямых аналогий** между, условно говоря, «разнополюсными» понятиями и явлениями. Так, в ранее упоминавшейся работе Д. Володихина т. н. «научный сектор» сопоставляется с «ребёнком в материнском чреве» («Либо ему суждена жизнь в совершенно новой форме — в форме человеческого детеныша, либо смерть: выкидыш, аборт... Так и с наукой» (82)); в работах И. Г. Яковенко подчас проводятся аналогии между «агрегатными состояниями» физических «элементов и соединений» (твёрдым, жидким, газообразным) и спецификой локальных цивилизаций (83); в явно востребованных в профессиональных исторических изданиях эссе д. физ.-мат. наук Г. В. Гивишвили могут быть полностью стёрты грани различий между «прямым постэмбриональным развитием организма» и развитием «всех без исключения восточных цивилизаций» (84). (Оговоримся, что здесь имеется в виду определённая логика научной аргументации или даже система *подмен* в ней, а не просто яркие сопоставления). В-третьих, в дискурсе «здравого смысла» **априорное обыденное знание** выступает своеобразным «оселком» **исторического «правдоподобия»** (в оговорённом выше смысле): «В России крестьяне считали: они бедны, потому что их грабят помещики, кулаки, чиновники. Рабочие были убеждены в том, что все их лишения — результат постоянного обмана со стороны мастеров и предпринимателей. Средние слои населения, разночинцы все беды российского общества усматривали в казнокрадстве, лихоимстве и взяточничестве чиновников» (85). В-четвёртых, историографическое «здравомыслие» как миметический феномен оказывается удивительно близким к **художественно-литературному мировосприятию** (притом, что это последнее вполне допустимо трактовать как «метафизику обыденности»). Ограничимся с этой связи двумя примерами. В первом из них *научный дискурс* полностью подменён *литературным* (не случайно в библиографии автора указывается Р. Киплинг, А. Блок, И. Бунин и одна сноска на журнал «Международная жизнь»); во втором — размыты грани между *литературой* и *исторической «реальностью»*. Вобоих случаях приходится говорить о логике «здравомыслия», поскольку доводы авторов ригористически *недоказуемы*.

1. «Цивилизационное движение происходило как бы в прудах, а не в потоках... В случае с американскими обществами, их пруды были полностью размыты и поглощены. Азиатские на время скрылись под водой, но всё же сохранились — *под течением потока*. Как только “средиземноморский” поток затопил всё мировое цивилизационное пространство, он превратился в единый цивилизационный поток, в котором *оставались старые русла или ниши прудов, но воды которого были смешаны в различной пропорции* (Выделено мной. — И. Ч.) и устремлялись уже едино в линейную перспективу» (86);

2. «*Раз сформировавшись*, национальный характер устойчив, консервативен (Срв. представление об устойчивости человеческих качеств, характерное для логики “здравомыслия”. — И. Ч.) ... Если сделать поправку на время,

на внешнее, то видно (Срв. с принципом “очевидности” в логике “здравомыслия”. — И. Ч.), что личности одного склада проходят через *всю нашу историю* (Срв. с понятием “всегда” в логике “здравомыслия”. — И. Ч.). Трудно, например, *не заметить сходства* между протопопом Аввакумом и Лениным при коренном различии их убеждений и взглядов: *та же* страстная и неколебимая вера, *та же* непримиримость к инакомыслию, *та же* готовность к самопожертвованию (Срв. с принципом “аналогизма” и представлением о человеческой “природе” в “здравомыслии”. — И. Ч.). А пушкинский помещик Троекуров? (Заметим, что Троекуров приводится в одном ряду с реальными историческими личностями. — И. Ч.). Множество обстоятельств русской истории способствовало тому, что *он постоянно мелькает среди нас: то в политике, то в бизнесе*. В “Соборянах” Лескова выстроены образы поразительной красоты и *в высшей степени типично русские* — протоиерея Савелия Губерозова и его друга дьякона Ахиллы Десницына. Им свойственны *душевность, скромность и простота* — лучшие качества нашего национального характера (Срв. с принципом “предпосылочного знания” в “здравомыслии”. — И. Ч.). *Вокруг подобных человеческих типов, образующих своего рода “кристаллическую сетку”, и происходит* (Выделено мной. — И. Ч.) формирование национального характера» (87).

Систематизировав некоторые характерные черты «здравомыслия», мы вновь подчеркнем тот факт, что в основе этой классификации лежит целый ряд исследований, — речь никак не идёт о произвольном (или сколько-нибудь случайном) подборе примеров в угоду авторской модели историографического развития. «Здравомыслие» в профессиональной историографии, вероятно, действительно представляет собой новоформирующуюся в публичной сфере России (88) «матрицу» исторического мышления, некоторый своеобразно «законченный» его вариант. Так, нам видится симптоматичным веское замечание Л. П. Репиной и Г. И. Зверевой относительно новейших дидактических материалов по отечественной истории, за небольшими исключениями обнажающих в 1990-е — начале 2000-х гг. «феномен» распространения «омассовленной истории» (89): «...Несмотря на внешнюю разность идеологических предпочтений и ценностных ориентаций авторов (выраженную в базовых понятиях), тексты новых учебных пособий поразительно похожи друг на друга, а порой практически неотличимы» (90). Это действительно так — тем более, что формула логической схожести «работает» в текстах-индикаторах «омассовленной истории» — или, что то же, текстах-индикаторах «здравомыслия» (91) — не только применительно к учебной или, скажем, *только* профессиональной или *только* квазипрофессиональной литературе.

Текстологический анализ множества исторических работ 1990-х — начала 2000-х гг. удостоверяет, что «здравомыслие» — **комплексный** логико-экспланаторный феномен, идентично проявляющийся в разнохарактерных исследованиях. В этом отношении «здравомыслие» «показывает» себя столь «самодостаточным», что позволительно считать его «**ментальной картой**» (mental map), конфигурирующей и логическую последовательность мышле-

ния (в рамках определённого типа исторического мышления), и его систематику, интеллектуальный контекст.

Достаточно сопоставить приводившуюся выше выборку из работ учёных-историков и «сценарные» варианты истолкования прошлого, возникшие в среде «непрофессионалов». Перед нами — выдержки из дискуссии, состоявшейся в 1996 г. в «Вольном экономическом обществе России» и посвящённом сороколетию закрытого доклада Н. С. Хрущева XX съезду КПСС «О культе личности и его последствиях». Примечательно, что авторы, казалось бы, фокусируют внимание аудитории на совершенно разной проблематике. Однако все они интерпретируют историю России в плоскости самовоспроизводства и изначальной (каузальной, сущностно-содержательной) заданности *одних и тех же* характеристик исторического процесса.

Логическая схема исторических интерпретаций не варьируется от выступления к выступлению, — независимо от того, осознается ли это самими авторами.

Президент ассоциации «Общество и политика» В. Ф. Писигин:

«Традиционное авторитарное российское государство есть агрессивный хищнический механизм. Его среда обитания чрезвычайна, а способ существования — воспроизводство и поддержание чрезвычайных ситуаций. Подобно акуле, наше государство *не может* существовать вне экспансии, вне агрессии... В свои *критические минуты* этот монстр может перекрашиваться, подобно хамелеону, сбрасывая с себя идеологическую шкуру, какого бы цвета она ни была, изрыгает любую словесную риторику — лишь бы сохранить свою *действительную и неизменную* сущность (Здесь и далее выделено мной. — И. Ч.)» (92).

Доктор философских наук И. М. Клямкин:

«Аппарат *всё время* воспроизводится, система вся *сохраняется*... Она *очень устойчивая* в этом смысле, потому что никаких других исторических субъектов в этой системе не было, и *любому* человеку приходится *рано или поздно* с этим сталкиваться, что *очень быстро* приводит его к поражению или заставляет *действовать по логике этой системы* (Напомним о “прогностичности” “здорового смысла”. — И. Ч.)» (93).

Сопредседатель Социал-демократического Союза В. С. Липицкий:

«Есть известная точка зрения, что русскому народу *вообще* присуща тенденция к самоуничтожению. Именно поэтому *во всех случаях* мы выбираем наиболее болезненный вариант развития событий, *всё всегда* происходит в наихудших вариантах. Для меня здесь есть один принципиальный вопрос — в какой мере *вообще* возможно у нас — *и тогда и сейчас* реформирование без разрушения» (94).

Итак, систематика «здравомыслия» остается сопоставимо-тождественной как в высказываниях «профессионалов», так и в суждениях «дилетантов» в исторической профессии. Вероятно, — нам всячески хотелось бы избежать любого толка категоричности — по этому факту можно судить о качественных характеристиках «здравомыслия» как определённого языка исторических представ-

лений. Быть может, следует ставить вопрос о дальнейшем исследовании феномена «здравомыслия» в меньшей степени в институциональном (непрофессиональное / «квазипрофессиональное» / «новое» профессиональное историописание и т. д.), чем в *ментальном, логико-семантическом* ключе. Однако, это — предположение, требующее новых исследований и доказательств.

Завершая наше во многом интродуктивное рассуждение о «здравомыслии» в отечественной историографии 1990-х — начала 2000-х гг., мы хотели бы оставить этот вопрос *принципиально открытым*. Наша задача — заявить, что в историографической практике возникла и существует определённая тема для обсуждения.

Некоторый вывод (гипотеза), который мы сочли бы вероятным — до действительно фундаментального анализа «здравомыслия» — высказать уже сейчас, связан с тем, что изменение дискурсивных стратегий историографии репрезентирует не только «эмоции», «просчёты», «изменение исследовательской стилистики» и т. д., но и когнитивную проблему. По существу, она заключается в том, что в историческом познании модифицируются представления о *«реальности»*. Причём в данном смысле мы склонны солидаризироваться с Р. Брауном: эта модификация обусловлена *социально*.

«Здравомыслие», по-видимому, является грандиозной перекодировкой научного языка, варьирующей тему «историк и общество». На протяжении постперестроечного двенадцатилетия «здравый смысл» был и продолжает «становиться» неким формальным метаязыком, на котором учёные ведут опасную игру с «массовым сознанием». Речь идёт о возникновении в историописании 1990-х — начала 2000-х гг. **нового «стандарта» «правдоподобия»**, настолько явного, «адресного» и символичного, что отрицать социальную функцию «здравомыслия» — **поиск новой легитимации прошлого** — невозможно.

Сам факт зарождения (начала «формирования») этого «стандарта» в 1985–1991 гг. во многом объясняет его особенности. Они обусловлены характерными чертами перехода историографии от советской к постсоветской модели историописания или, что то же, попытками проделать сложнейший путь от историографии *«официоза и пропаганды»* к историографии *«ординарного человека и правды»* (95), к «большой истории» «маленьких людей» (96).

Эти попытки имели не только позитивный и многообещающий смысл, — они неожиданно внесли в историографию элемент новой конъюнктуры (97), ориентирующей её на потребности «массового сознания». Можно сказать, что стремление к уходу от пропагандистских муляжей, к т. н. «реализму» и историографическому «неогуманизму» (98) попутно вылилось в историографии в **имитацию (условного) обыденного понимания**, а также поиск культур-диалогических основ для **расширения поля её социальной адресности** (первым шагом в этом направлении была дифференциация «истории КПСС» и «истории народа»; следующим — формирование особого феномена *«историографической публицистики»*; далее следовало начало концептуализации «здравого смысла» уже в 1990-е гг.).

С точки зрения формирования нового «стандарта» правдоподобия «здравомыслие» явилось, с одной стороны, образчиком социальной гибкости (флексibility) историописания, явно вскрывающим его коммуникативную природу, а с другой — примером ярко выраженной усталости советского общества от «высоких идеологий» и «все объясняющих» идей.

В целом концептуализация «здорового смысла» в историографии 1990-х — начала 2000-х гг. существенным образом обозначила целую серию проблем. Это и проблема социальной обусловленности знания, и проблема его зависимости от тех или иных идейных *доминант* ([большей частью] политико-идеологических — в советское время, [скорее] «социетальных» (обыденный концептуализм) — в постсоветский период). Это и выявившаяся (продолжающаяся выявляться) в многочисленных «конфликтах интерпретаций» между историками и литераторами; историками и публицистами (и т. д.) проблема отказа от такого «теоретического дублирования» реальности, которое породило феномен советской историографии, «учредившей» *собственную историческую «действительность»*, кардинально разошедшуюся с жизнью. Это и многоплановая и отнюдь не простая проблема «бытовизации» дискурсивных практик историографии и возможных последствий смены её социальной адресности. Наконец, это самая общая проблема когнитивных оснований науки — «исторических конструкций», задействуемых *в тот или иной момент*.

«Здравомыслие» в историографии 1990-х — начала 2000-х гг. определённо выявляет логику адаптации «профессионального цеха» к новым общественным условиям. Насколько она продуктивна для познания — другой вопрос. Так, например, в одном из эссе на историческую тему, недавно появившемся в неакадемической среде, описывается т. н. «*война мифов*» последнего десятилетия — «*конец истории*» в России, выражающийся в непримиримом противоборстве (мифов) профессионального и квазипрофессионального историописания. «Мы рискуем всерьёз доиграться до того, что не будут восприниматься ни мифы (и будет возникать “ломка” лишённого мифа массового сознания), ни факты», — предрекает автор (99). В современной ситуации и у профессионалов возникают сомнения, не мифологична ли познавательная практика историографии и в целом гуманитарной науки (100)?

Думается, что «здравомыслие» сыграло в возникновении подобного восприятия историознания не последнюю роль. Сформулируем тезис об адаптации науки к новым условиям несколько иначе: признание наличия в историознании тех или иных схем, проявлений и стереотипных клише «здравомыслия» — только одна сторона вопроса. Важно оценить его системный «негативный потенциал». Дискурс «здравомыслия» — бесспорный «миф» в самом точном значении этого слова. Это та «форма» и «способ означения» (101), которая одновременно и деформирует, и создает определённый нарратив. Что же создаёт в науке «здравомыслие»? Вероятно, — то, что наличествовало ранее в развитых формах только в «массовом сознании», — **недифференцированный дискурс обыденного языка**. Опасность его культивирования в науке

заключается в том, что он отнюдь не нейтрален, а стереотипен и подвержен конъюнктурным «инъекциям» гораздо больше, чем традиционный научный язык.

Будучи сопоставим с постмодернистским «письмом» *anything goes*, он характерен тем, что его «текущая» концептология может фиксироваться в любой точке. Неразличимость (символики) значений может оборачиваться в этом дискурсе их произвольной и вместе с тем очень жесткой дифференциацией; подвёрстыванием фактов под целые области «непроблематизируемой семантики»; экспликацией равнозначности «художественных образов», научных данных и априорных клише; подражанием концептуализму «веры», а не «знания»; метаморфозой истории в утопию раз и навсегда тождественных себе явлений; политической и «обыденной» конъюнктурой.

«Обыденная» транслитерация научного языка отнюдь не безобидна. В этом смысле значим нередки анализируемый в современном зарубежном историознании «вопрос Йетца»: «Можем ли мы помыслить танцора “вне” танца?». Можем ли мы рассматривать обыденный язык «вне» *системы* его значений и абстрагироваться от навязываемой им *логики* в том числе и *исторического языка*? Исследовательская гипотеза данной работы заключалась в отрицательном ответе на этот вопрос. Если мы принимаем эту *систему* даже отчасти, — она воздействует на наши трактовки истории.

По-видимому, «здравомыслие» действительно может сместить пока ещё различимые в историописании грани между «мифом» и «фактом», наукой и литературой, обывательским и научным мировосприятием. В этом плане вопрос сохранения «ремесла историка» — рефлексия дискурсивных оснований «здравомыслия» в науке.

Только эта рефлексия может предотвратить (теперь уже) *познавательную* ситуацию, в которой «реальность» истории рискует превратиться в «мир, где состязаются в кетче» (102), а *адаптация* науки к новым «вызовам» времени — в её «опрошение» до цельного исторического мифа.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например: Семенникова Л. И. В трудных поисках самих себя: феномен России // Вестник Московского ун-та. 1993. №6; Она же. Россия в мировом сообществе цивилизаций. — М., 1994; Она же. Цивилизационные парадигмы в истории России. Статья 1 // Общественные науки и современность. 1996. №5.

2. Назаров М. Миссия русской эмиграции. — Ставрополь, 1992. С.86.

3. Милов Л. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные науки и современность. 1995. №1. С.79.

4. Там же. С.87.

5. Кошелева О. Е. Побег Воина // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996 / Под. ред. Ю. Л. Бессмертного, М. А. Бойцова. — М., 1997. С.74.

6. Батенина В. С. Историческая наука в России и о России // Россия в мировой истории: Учеб. пособие / Под. ред. В. С. Порохни. — М., 1996. С.22.

7. Сахаров А. Династия Романовых // Свободная мысль. 1997. №7. С.124.

8. *Ракитов А. Н.* Наука в эпоху глобальных трансформаций //Свободная мысль. 1997. №7. С.57.
9. *Земцов Б.* Ментальность масс в канун «Великих потрясений» //Свободная мысль. 1997. №11. С.86.
- Срв.: точку зрения д.ф.н. И. К. Пангина: «Как мог забытый, тёмный крестьянин, опутанный сетями сначала крепостнической, а потом полукрепостнической зависимости, юридически неполноправный, гнувший спину перед “баринством” и “начальством”, иметь общее мироощущение, общее понимание проблем, если вести речь о прокрестьянски настроенных элементах интеллигенции, с либеральным чиновником, с профессором, дворянином, предпринимателем и т. д., ценности которых несли в себе гены совершенно чуждой русскому простолыдину западной цивилизации?» (См.: *Пантин И. К.* Историческая драма русского либерализма //Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. — М., 1999. С.103).
10. См. сходную концепцию в: *Репина Л. П., Зверева Г. И.* История как учебная дисциплина //Преподавание гуманитарных дисциплин в ВУЗах России: состояние, проблемы, перспективы. Аналитический доклад. — М., 2001. С.192–193.
11. См., например: *Горбачёв М. С.* Избранные речи и статьи. — М., 1987. Т.4; *Яковлев А. Н.* Реализм — знамя перестройки: Избранное. — М., 1990.
12. *Баткин Л. М.* Возрождение истории. — М., 1991. С.19.
13. *Шеварднадзе Э. А.* Мой выбор: В защиту демократии и свободы. — М., 1991. С.69.
14. Имеется в виду традиция, представленная именами Р. Барта, Х. Уайта, Ф. Анкерсмита, Л. Госсмана, Д. Ла Капры, Н. Партнер, А. Вудмена, Д. Скотт и др. В её основе — исследование проблем «разрывов», «модельной природы» и «аутентичности» текстов. «Мимесис» (исторический реализм) трактуется в ней как заявка на репрезентацию «реальности», «внешней» по отношению к «рассказчику», т. е. не обусловленной детерминизмом и «неразрешимостью» (П. де Ман) его языка.
- См., например: Ott I. *Headless History: Nineteenth-Century French Historiography of the Revolution.* — Ithaca, N.Y., 1990; *White H.* *Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect.* — Baltimore, 1998.
15. См.: *Ankersmit F. R.* *The Reality Effect in the Writing of History: The Dynamics of Historiographical Topology.* — Amsterdam, 1988.
16. *Braun R.* *The Holocaust and Problems of Representation //The Postmodern History Reader,* 1997. P.423.
17. *Ibid.* P.421.
18. «Холокост» — одна из самых популярных тем историографических дискуссий по меньшей мере последнего десятилетия. Это — своеобразный «камень преткновения» современного историописания. Одни исследователи связывают с ней «методологическое будущее» исторической дисциплины, другие полагают, что это — чрезмерно разросшаяся тема, вызвавшая непропорционально большое количество дискуссий (так, П. Мэндлер (Ун-т Кэмбриджа) в некоторых последних докладах постоянно напоминает коллегам о том, что «Холокост» — это ещё не вся историография XX в.).
19. *Ibid.* P.421.
20. *Ibid.* P.421.
21. Здесь и далее мы приводим кавычки в соответствии с текстом Р. Брауна.
22. *Ibid.* P.420. Браун создает здесь определённый контрапункт: единственное число — для описания исторической «реальности», множественное — для указания на двусоставность этой «реальности».
23. См.: *Droysen J. G.* *Historik: Vorlesungen über Enzyklopedie und Methodologie der Geshichte.* — Munich, 1937.
24. Для Р. Брауна синонимом «вообразимого», судя по всему, является «намечающее границы допустимого».
25. *Braun R.* *The Holocaust and Problems of Representation //The Postmodern History Reader. L.–N.Y.,* 1997. P.421.
26. *Ibid.* P.421.
27. *Ibid.* P.422
28. *Ibid.* P.421.
29. Этот термин широко используется в зарубежной историографии. Один из последних примеров в этом смысле — проходившая 29–31 августа 2002 г. в Стокгольме Международная историческая конференция, посвящённая проблемам «общественного использования» истории («Contemporary Historians, Professional Standarts and the Public Use of History»).
30. См.: *Ibid.* P.418–425.
31. *Ibid.* P.113.
32. *Ibid.* P.88.
33. См., например, критический анализ постмодернистского «дискурса», опирающийся на ряд интерпретаций языка, привнесённых в историографию тем же постмодернизмом: *Evans R. J.* *In Defence of History.* — L., 1997.
34. *Ревель Ж.* Микроисторический анализ и конструирование социального //Одиссей: Человек в истории. 1996. — М., 1996. С.124.

35. О «Большом стиле» в советской историографии см.: *Бухараев В.* Что такое наш учебник истории. Идеология и назидание в языке и образе учебных текстов //Историки читают учебники истории. — М., 2002.

36. *Соколов А. К.* Курс советской истории. 1917–1940: Учеб. пособие для вузов. — М., 1999. С.7.

37. *Богданов А. П.* История России до Петровских времен. 10–11 кл.: Проб. учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. — М., 1999. С.8.

38. *Зверева Г. И.* Поэтика новой историософии России //Историческое знание и интеллектуальная культура: (Материалы научной конференции, 4–6 декабря 2001 г.). Ч.2. — М., 2001. С.38.

39. Ср., например: *Бурганов А.* Кое-что о цвете спелой земляники //Бурганов А., Булдаков В., Бухараев В. Красный Октябрь: двулика история. — Казань, 1992. С.7.

40. См., например: *Хуторской В. Я.* История России от Рюрика до Ельцина. — М., 1998.

41. *Володихин Д.* Призрак третьей книги (методологический монизм и «глобальная арзанзация») //Персональная история. Исповедь судьбы. — М., 2001. С.19.

42. Там же. С.13.

43. Там же. С.11.

44. Там же. С.10.

45. Там же. С.21.

46. В реальности в этом исследовании осуществлена попытка репрезентации не феноменов, а номенов. Её неисполнимость — источник концептуальных противоречий. Так, автор сначала сводит к нулю дистанцию между *данным* и *возможным* [Бог Ясен / Закон Наличествует / Познание Действенно], а затем проблематизирует то же самое *возможное* [Закон «познают», но он «призрачен», «не познаётся»; «познают не один век», но — еще не»«пора» познать»].

47. Несмотря на то, что И. Г. Яковенко — философ по образованию, его имя немаловажно при оценке историографического процесса 1990-х — начала 2000-х гг.: это один из «отцов» постсоветского цивилизационного подхода.

48. *Яковенко И. Г.* Цивилизация и варварство в истории России //Общественные науки и современность. 1996. №3. С.106. Ср.: «...недавно в одной из публицистических статей я встретил аналогию: Сулов как Победоносцев советского режима. Аналогию довольно любопытная, тем более, что между этими людьми можно найти даже определённое внешнее сходство, не говоря уже о внутреннем» (См.: Вопросы к докладчику и ответы //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып. № 2. — М., 2000. С.23 [В. Я. Гросул]).

49. *Булдаков В. П.* Революция и человек //Крайности истории и крайности историков. — М., 1997. С.33. Ср., например: Гражданская война в России: перекрёсток мнений. — М., 1994. С.64.

50. Историографическое «здравомыслие» — симптом известного сближения в 1990-е — нач. 2000-х гг. профессионального и дилетантского историописания. В этом смысле правомерно сопоставление ряда объяснительных моделей, появляющихся в работах профессиональных учёных и дилетантов. Наша позиция заключается в том, что определённые экспланаторные клише, с одной стороны, не различаются в зависимости от институциональной принадлежности тех или иных авторов, а с другой — отражают существование целой системы исторических интерпретаций. В основании такой позиции — предположение о том, что 1990-е — начало 2000-х гг. ознаменовались размыванием критериев «научности» в историознании. «Научное» исследование в этот период зачастую сближалось с публицистикой, литературой, дилетантским дискурсом; происходил поиск новых парадигм «профессионализма» и «научности».

51. *Орлова И. Б.* Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива. — М., 1998. С.71.

52. Возникновение в среде историков-специалистов по-публицистически ярких концепций, опирающихся на посылку «в истории» — «всё то же самое» (См.: www.echo.msk.ru (Интервью с В. Г. Сироткиным от 21.04. 02). Ср.: Государство и общество: А. Фурсов //Россия 21век... Куда же ты? — М., 2002. С.147–148); появление в историописании указаний на «стабильные, постоянные, неизменные свойства и качества» исторического человека (См.: *Поляков Ю. А.* Человек в повседневности //Отечественная история. 2000. №3. С.125); описания первых попыток установления «советской власти» и дележа имущества «бывших господ ... по-Шариковски» в России XVIII в. (См.: *Резун Д. Я.* Может ли Россия построить открытое общество? (Историко-культурный аспект). — М., 1997. С.11); утверждения о том, что «за последние три тысячи лет человечество мало изменилось», «природа человека не изменилась», закономерно ведущие автора, например, к таким констатациям значения Судебника 1497 г.: «Товарищи, господа! Далеко ли мы ушли от 1497 года, если сегодня наш президент снова говорит о коррупции, о взяточничестве» (Из доклада А. Н. Сахарова «Каким должен быть учебник по истории до XX века» на Всероссийском научно-методическом совещании «Проблемы методологии исследований, инновационные подходы и координация научно-образовательной деятельности в высшей школе» (29 января 2003 г.)); предложения в отдельных ситуациях отказываться от принципа историзма в пользу принципа «это — вне истории, но внутри человеческой природы» (См.: *Березовая Л. Г.* Нетипичная личность в историческом пространстве,

или Эффект «белой вороны» //Общественные науки и современность. 1998.№6. С.136) доказывают эволюцию исторического знания в определённом направлении. Это направление достаточно ёмко обозначено в формулировке Орловой. Характерно, что предлагаемая Орловой модель историописания имеет прямые «научно-историографические» аналоги: «я думаю, что содеяние греха, к сожалению, является имманентным, внутренне присущим человеку и носит вневременной характер, то есть не зависит от времени, в котором человек живёт, от того *событийного, исторического фона* (первобытно-общинного, тоталитарного или какого-либо иного), на котором проходит его жизнь (Выделено мной. — И. Ч.)» (См.: *Подгаецкий В. В.* Парадигма «система- модель-знак» в познавательном пространстве аксиомы И. Д. Ковальченко //Материалы научных чтений памяти И. Д. Ковальченко, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2–3 декабря 1996 г. — М., 1997. С.251. Ср., например: *Алаев Л. Б.* Размышления о прогрессе. Назаретян versus Коротаев //Общественные науки и современность. 1999.№4. С.126).

53. *Фельштинский Ю.* Разговоры с Бухариным. — М., 1993. С.5.

54. Ср. сопоставления; А. Н. Яковлевым «тройки создателей неоканнизма» — Ленина, Сталина, Гитлера (*Яковлев А. Н.* Крестосев. — М., 2000. С.26), Д. А. Волкогоновым Керенского и Горбачёва как «исторических лидеров переходного периода», попавших в принципиально аналогичные ситуации (*Волкогонов Д.* Ленин. Политический портрет. Кн.1. — М., 1994. С.285); М. П. Капустиним и В. П. Булдаковым — Сталина и Ивана Грозного (См.: *Капустин М. П.* Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. — М., 1990; *Булдаков В. П.* «Другая» революция: пути и возможности переосмысления Октября //Академик П. В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. — М., 2000)), А. И. Аргутинским-Долгоруким — Ленина и Петра I: Ленин — продолжатель «реформации» Петра I по категории «социокультурного цивилизационного стиля» (См.: *Аргутинский-Долгорукий А. И.* Путь России? — М., 1997).

55. См., например: *Дилигенский Г. Г.* «Запад» в российском общественном сознании //Общественные науки и современность. 2000. №5; *Ерзин Э. А.* Негативные составляющие российского менталитета //Менталитет россиянина: история проблемы. Материалы Семнадцатой Всероссийской заочной научной конференции. — СПб., 2000. С.178–180.

56. *Долуцкий И. И., Журавлева В. И.* Всемирная история XX века: Книга для чтения. Ч.1. Конец XIX века — 1945 год. — М., 2002. С.41.

57. Там же. С.45.

58. См.: *Булдаков В. П.* Красная смута: природа и последствия революционного насилия. — М., 1997. См. в этой связи, например: Красная смута в человеческом измерении //Вестник РАН. 1998. Т.68. №6.

59. См., например, заключения на С.53, 55 и др.

60. См. критику этой традиции в современной историографии в ст.: *Жуков А. Ф., Жукова А. Н.* К вопросу об индивидуальном и коллективном в менталитете русских //Менталитет россиянина: История проблемы. — СПб., 2000.

61. *Булдаков В. П.* Указ. соч. С.371.

62. Там же. С.5.

63. Ср.: *Черняк Е. Б.* Атрибутивный анализ //Цивилизации. Вып.3. — М., 1995. С.43–44.

64. Ср., например: *Ионов И. Н.* Российская цивилизация. IX — начало XX века: Учебн. книга для 10–11 общеобразоват. учреждений. — М., 1995. С.13–14, 50–58, 133–135 и др.; *Афанасьев Ю. Н.* Вместо введения //Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. — М., 1997. С.16–26; *Резун Д. Я.* Может ли Россия построить открытое общество? (Историко-культурный аспект). — М., 1997. С.18 и др.; *Кравцов В. Н.* Мифологема пути в интеллектуальном конструировании образа России //Россия в новое время: Образ России в духовной жизни и интеллектуальных исканиях конца XIX — начала XX в.: (Материалы Российской межвузовской научной конференции, 17–18 апреля 1998 г.). — М., 1998; *Он же.* Политическая культура современной России //«Новая» Россия: социальные и политические мифы: (Материалы Российской межвузовской научной конференции, 26–27 ноября 1999 г.). — М., 1999. С.89; *Ланской Г. Н.* Миф об истинно народной власти в политическом самосознании //Там же. С.85–88; *Березовая Л. Г.* Самосознание либеральной интеллигенции в начале XX века //Российский либерализм: Исторические судьбы и перспективы. — М., 1999. С.130; Россия в условиях трансформаций. Вып.10. — М., 2000. С.53 [В. П. Булдаков]; *Данилов В. П.* Российская власть в XX веке: Вступительное слово //Куда идёт Россия?.. Власть, общество, личность. — М., 2000. С.6, 8; *Гордон А. В.* Архетипы российской власти //Там же. С.21–29 (особ. С.26–28); *Слесарева Г. Ф.* Общественная история России как проявление единства и многообразия исторического процесса //Россия в новое время: Единство и многообразие в историческом развитии (Материалы Российской межвузовской научной конференции, 28–29 апреля 2000 г.). — М., 2000. С.36–38; *Тафаев Г. И.* Российская цивилизация в условиях модернизации. — Чебоксары, 2000. С.9–10 и др.; *Булдаков В. П.* Губернатор или генерал? //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.12. — М., 2001. С.37–39; *Бодров В. С.* Факторы, определяющие историю России //Актуальные вопросы истории России на пороге XXI века. — СПб., 2001; Россия: 21 век... Куда же ты? — М., 2002. С.176–180 [Ю. Н. Афанасьев]; *Багдасарян В. Э.* Россия в XXI веке: альтернативный сценарий развития//Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.21. — М., 2002. С.19.

65. Репников А. В. Власть и общество в России: трагедия непонимания //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.1. — М., 2000. С.22–23.
66. Вопросы к докладчику и ответы //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.7. — М., 2001. С.28 [В. В. Журавлев]. Ср. также некий вариант «сценарно-прогнозирования» в ст.: Журавлев В. В. Когда логика пасует перед психологией //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.4. — М., 2000. С.23–24.
67. Россия: 21 век... Куда же ты? — М., 2002. С.178–179 [Ю. Н. Афанасьев].
68. Зверев В. В. Аграрная реформа: цель или средство? //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.13. — М., 2001. С.28.
69. Третьяков А. В. Общее и профессиональное образование — основа самоидентификации формулы национальной истории России в конце XIX — начале XX вв. //Россия в новое время: поиск формулы национальной истории: (Материалы Российской межвузовской научной конференции, 27–28 апреля 2001 г.). — М., 2001. С.70.
70. Кирьянов Ю. И. Менталитет рабочих России на рубеже XIX–XX в. //Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 — февраль 1917. — СПб., 1997. С.57.
71. Там же. С.197–198.
72. Государственная власть в России: (исторические реалии и проблемы легитимности) //Российская историческая политология: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998.
73. Долуцкий И. И., Журавлева В. И. Указ. соч. С.19.
74. Там же. С.43.
75. В данном случае мы продолжаем точно придерживаться подхода, заявленного методологом науки А. И. Ракитовым: «...Здравый смысл представляет собой комплекс *разнородных сведений* (Выделено автором. — И. Ч.). Напротив, любая наука — это система организованных знаний с более или менее четкими системообразующими принципами и структурой...» (См.: Ракитов А. И. Указ. соч. С.57). Ср. указание, что язык науки и язык обыденной жизни различаются тем, что первый из них абстрагирован от *непосредственно* воспринимаемых пространственно-временных деталей в: *Ohmori S. Double Look: Science superposed on perseptual world //Boston studies in the philosophy of science. Dordrecht etc., 1998. Vol.45. Japanese studies in the philosophy of science. P.85.*
76. Ионов И. Н. Российская цивилизация. IX — начало XX века: Учебн. книга для 10–11 общеобразоват. учреждений. — М., 1995. С.52. Обратим также внимание на то, что «православие» в версии И. Н. Ионова — определённый пример описания самореферентных явлений: на стр.54. «умная молитва» характеризуется как «никогда не прекращающееся общение с Богом, *сопровожаемое видениями Святой Троицы*» («должное» уравнивается исследователем с «действительным»).
77. Булдаков В. П. «Другая революция»: Пути и возможности переосмысления Октября //Академик П. В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. — М., 2000. С.242.
78. Современная научная мысль об истории как науке //История культуры Дальнего Востока России XVII–XX веков: Учебн. пособие. — Владивосток, 1998.
79. Ковалев Ю. А. Смена культурных парадигм в механизме духовно-нравственной эволюции человечества //Сравнительное изучение цивилизаций мира. — М., 2000. С.138. См. также: С.131, 132, 138. Ср.: «...зимним днем 16 января 1547 г. ... торжественно совершался “чин венчания” *Великого Князя Московского, Государя всея Руси* Ивана IV, которого потом прозовут “Грозным” на царствие... *Утверждалась* следующая иерархия духовно-светского подчинения народа: *наверху сам Бог*, затем *святая пара* (“муж и жена”) Иван Васильевич и Русь» (См.: Резун Д. Я. Может ли Россия построить открытое общество? (Историко-культурный аспект). — М., 1997. С.15 (Обратим внимание на заглавные буквы. На наш взгляд, здесь кроме прочего имеет место и определённая «имитация» событийных значений. — И. Ч.)).
80. То есть использованием в качестве «оснований» для теоретических обобщений.
81. Ср. в упоминавшихся работах: Долуцкий И. И., Журавлева В. И. Указ. соч. С.43, 46; Ионов И. Н. Указ. соч. С.12 и др.; Лубский А. В. Государственная власть в России: (исторические реалии и проблемы легитимности) //Российская историческая политология: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998. С.91. См. также, например: Кравцов В. Н. К вопросу о субъектности власти в российском демократическом транзите //Общество, политика, наука: Новые перспективы. — М., 2000. С.201; Журавлев В. В. Когда логика пасует перед психологией //Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар: (Материалы). Вып.4. — М., 2000. С.24.
82. Там же. С.8. См. также: С.11,16.
83. Яковенко И. Г. О субстанции локальной цивилизации //Сравнительное изучение цивилизаций мира. — М., 2000. С.110.
84. Гивцивели Г. В. К проблеме периодизации всемирной истории //Теоретические проблемы исторических исследований. Вып.1. — М., 1998. С.60.
85. Лубский А. В. Государственная власть в России: (исторические реалии и проблемы легитимности) //Российская историческая политология: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998. С.73.

86. Плеваков К. В. Навстречу Западу: Азия в цивилизационном потоке //XX век: многообразие, противоречивость, целостность. — М., 1996. С.200.

87. Иорданский В. Русские, какие мы? //Свободная мысль. 1998.№2. С.59. По всей видимости речь идёт о некоторой модели историописания, возникающей как в работах профессиональных историков, так и их коллег по гуманитарному цеху (Ср. например с работой д. ф. н. Пернацкого: *Пернацкий В.* Альтернативы истории и выбор пути //Свободная мысль. 1997. №2).

88. См. пример описания систем «кодов, символов, ценностей и дискурсов, которые конституируют культуру публичной сферы» (Р.122), т. е. культуру господствующей в обществе идеологии в ст.: *Ki, Agnes S.* The 'Public' up against the State //Theory, Culture & Society. 2002. 18 (1).

89. Авторы рассматривают эту тенденцию применительно «практически» ко «всей» новейшей литературе по истории России (См.: *Репина Л. П., Зверева Г. И.* История как учебная дисциплина //Преподавание гуманитарных дисциплин в ВУЗах России: состояние, проблемы, перспективы. Аналитический доклад. — М., 2001. С.194).

90. *Репина Л. П., Зверева Г. И.* История как учебная дисциплина //Преподавание гуманитарных дисциплин в ВУЗах России: состояние, проблемы, перспективы. Аналитический доклад. — М., 2001. С.194.

91. Там же. С.192–194.

92. Круглый стол: Сорок лет закрытого доклада Н. С. Хрущева XX съезду «О культе личности». Стенограмма. — М., 1996. С.19.

93. Там же. С.24.

94. Там же. С.26.

95. См. о «честной историографии» в: *Мерцалов А. Н.* Сталинизм и освещение прошлого //История и сталинизм. — М., 1991. С.383.

96. См.: *Журавлев С. В.* «Маленькие люди» и «Большая история». Иностранцы Московского Электроставода в советском обществе 1920-х-1930-х гг. — М., 2000.

97. Сразу же оговоримся, что мы не вкладываем в понятие «конъюнктура» (применительно к 1990-м гг.) резко негативный смысл, а трактуем его, скорее, в «кондратьевском» значении — как некий сложный «расклад» общественной ситуации, порождающей те или иные особенности историографического самовосприятия (См.: *Чечель И. Д.* К вопросу об историографической культуре отечественных профессиональных историков //Выбор метода. — М., 2000).

98. См.: *Илизаров Б. С.* Архивоведение и архивное дело на современном этапе //Теоретические проблемы исторических исследований. — М., 2000. Вып.3. С.40.

99. *Никифоров Ю.* Между прошлым и прошлым //Политбюро: Еженедельный журнал. 2002. №12. С.51.

100. Россия: 21 век... Куда же ты? — М., 2002. С.201 [Г. А. Бордюгов].

101. *Барт Р.* Миф сегодня //Барт Р. Мифологии. — М., 1996. С.233.

102. Там же. С.59.

ВЛАСТЬ: МЕХАНИЗМЫ И РЕЖИМЫ

Дмитрий АНДРЕЕВ

Изучение феномена власти выделилось в последние годы в самостоятельное направление политической истории. Можно назвать, как минимум, два обстоятельства, способствовавших возникновению этой «новой конъюнктуры».

Во-первых, определённая методологическая исчерпанность традиционных подходов к описанию политических процессов в примитивных бинарных противопоставлениях «реформ» и «контрреформ», «либерализма» и «консерватизма». К тому же, традиционные для данной проблематики источники, представляющие собой «вербальные формы политической риторики», оказались, по сути, уже полностью отработанными. А обращение к «невербальным формам коммуникации» замкнуло исследователей непосредственно на сам феномен власти, на его собственное историческое бытие (1). Открывшиеся здесь перспективы научных изысканий начали стремительно осваиваться, а избранный для анализа довольно неожиданный ракурс позволил даже назвать власть «системообразующим элементом русской истории» (2).

Во-вторых, «новая конъюнктура», безусловно, явилась результатом очевидной политизации нашей общественной жизни. Аналитика, ставшая непрменной ежедневной интеллектуальной пищей значительной части гуманитарного сообщества, тоталитаризм пиара, возведенного в ранг информационной культуры, а также непосредственное вовлечение многих историков в обеспечение современных политических процессов — все эти и многие аналогичные обстоятельства сделали чрезвычайно актуальной уже собственно научную проблему функционирования власти в прошлом. Работы последних лет анализируют историю власти, её механизмов и технологий — явных и тайных, эффективных и малопродуктивных. Понятие «режима» если ещё окончательно и не реабилитировано с точки зрения его лексического оттенка, то уже близко к этому. Ведь оно очень точно характеризует некую цельную систему власти, её архитектуру в пространственно-временном измерении.

Первым заметным шагом в данном направлении стал вышедший в 1996 г. коллективный труд петербургских историков «Власть и реформы. От самодержавной к советской России». Уже в самом названии книги причудливым образом переплелись черты старого (слово «реформы») и веяния нового (слово «власть»). Авторский коллектив предпринял попытку написать именно историю российской власти — с эпохи Средневековья и до 20-х гг. минувше-

го века. Подлинное значение этой работы для нашей исторической науки становится более понятным из материалов специально ей посвященного «круглого стола» в журнале «Отечественная история». Очень характерно, что в выступлениях Л. В. Даниловой, О. А. Омельченко, Т. А. Филипповой, С. В. Тютюкина подход авторского коллектива отмечается как принципиально новый и, безусловно, перспективный. А В. В. Поликарпов просто откровенно признал, что «книга даёт больше, чем можно было бы ожидать от неё по названию» (3). Дискуссия показала очевидную востребованность изучения власти как самостоятельного феномена политической истории.

«Новая конъюнктура» уже воплотилась в значительном количестве исследований. Представляется целесообразным сгруппировать эти работы в соответствии с их стержневой проблематикой.

Легитимация власти

Эффективность любой власти напрямую зависит от её легитимации, которая имеет преимущественно «символическую природу» (4). Конкретное содержание этой «символической природы» рассматривается исследователями по нескольким направлениям.

Действенным средством легитимации власти является определённым образом выстроенная мифология. Среди работ, посвящённых данной проблеме, прежде всего, обращает на себя внимание статья А. А. Левандовского, в которой прослеживается развитие властного мифа на протяжении нескольких веков нашей истории — с XV в. и до наших дней. Автор считает, что, несмотря на совершенно разное историческое «наполнение» этого продолжительного периода, легитимацию власти на всём его протяжении обеспечивал и продолжает обеспечивать один и тот же миф. Этот миф «несколько видоизменяется внешне, в полной мере сохраняя свои сущностные черты». Он подобен живому существу, пульсирующему в унисон с самой властью (5). Мифология «Третьего Рима» гарантировала легитимность власти через обращение к эсхатологическим образам — фундаментальной основе средневекового мироощущения (6). А Павел I использовал мифологию «военно-монашеского государства» как оптимальное, с его точки зрения, обрамление «византийско-самодержавной модели» власти (7).

Легитимация власти через религиозный ритуал анализируется Б. А. Успенским. Этот ритуал в русской политической культуре, по его мнению, не отражает, а формирует идеологию власти в виде её харизмы. А харизма обеспечивает легитимацию путём утверждения «особого литургического статуса» носителя верховной власти (8). Роль светского ритуала рассмотрена О. Ю. Захаровой. Придворный церемониал представляется автором как своеобразный язык власти, «форма диалога» с подданными разных иерархических уровней (9).

«Ролевая» легитимация осуществляется путём исполнения носителем верховной власти различных ролевых функций. Данная проблема на материале русского Средневековья подробно рассматривается К. А. Соловьёвым (10).

Наконец, целый ряд работ посвящён проблеме идеологической легитимации. П. В. Лукин показывает тесную взаимосвязь сакрализации царской власти со складыванием представлений о «патерналистских обязанностях царя по отношению к обществу в целом и отдельным его структурам, слоям и сословиям, в частности». Иными словами, в центре внимания автора оказывается старый вопрос о «пределах царской власти». Эти «пределы», по мнению автора, «никогда не были институциональными или юридическими» и сводились исключительно к «неопределённым и аморфным “правилам поведения”» (11). То есть идеологическая легитимация принимала в данном случае оттенок «ролевой». А. Зорин анализирует «идеологическую подоплеку» внешнеполитического курса России в последней трети XVIII — первой трети XIX вв. именно как «исторически конкретную динамику выработки, кристаллизации и смены базовых идеологем», способных, в свою очередь, «конвертироваться» в различные «проявления социального бытия» (12). А. В. Лихоманов рассматривает попытки власти выстраивать собственное идеологическое обеспечение в непростой ситуации 1905–1907 гг., указывая на изъяны и несовершенства имперской пропагандистской машины (13). Послевоенную легитимацию власти Сталина через целенаправленное формирование представлений о ней как об «инстанции высшей справедливости» изучает Е. Ю. Зубкова (14).

Формирование общественного мнения с использованием церкви как государственного института на примере эпохи Александра I нашло отражение в работах Ю. Е. Кондакова, Е. А. Вишленковой и З. П. Тининой. В результате им удалось реконструировать задумку императорского эксперимента по созданию «евангельского государства» на основе упрощённой версии христианства («примитивного», по оценке Кондакова) (15).

Архитектурно-ландшафтные презентации власти

Проблема формирования образов власти путём целенаправленного символического обустройства среды человеческого обитания нуждается в отдельном рассмотрении. Очевидна тенденция к выделению данного аспекта презентаций в самостоятельное направление исследований.

Начало этому было положено работой М. П. Кудрявцева «Москва — Третий Рим: Историко-градостроительное исследование». На обширном материале архитектурных, картографических, археологических и собственно исторических свидетельств автор реконструировал миф, воплощённый в определённым образом организованном городском пространстве. Книга под-

робно и наглядно (благодаря большому количеству авторских иллюстраций) описывает, как теория старца Филофея претворилась в градостроительной композиции средневековой Москвы, преднамеренно обустроивавшейся «по образу уже существующих христианских мировых столиц, почитаемых русскими как священные образцы: Иерусалима, Рима, Константинополя». Архитектурно-ландшафтная символика — составной элемент идеологии, поэтому особенно значимой и перспективной представляется намеченная Кудрявцевым линия параллельного рассмотрения этапов градостроительства и вех утверждения в политической культуре царской власти идеи «Третьего Рима» (16).

«Архитектурная среда воспитывает своих обитателей», — говорит анализирующий древнерусское градостроительство игумен Александр (17). Данное утверждение можно воспринимать и как своеобразный ориентир для исследований архитектурно-ландшафтных презентаций. Главное здесь — описание механизма идейно-пропагандистского воздействия, оказываемого на человека целенаправленным структурированием пространства его бытия. Интересные примеры такого описания даются В. С. Турчиным, А. П. Шевыревым и В. Паперным.

Книга Турчина без преувеличения может быть названа «эстетической энциклопедией» эпохи Александра I. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить рассматриваемые автором проблемы: артистические салоны и художественные кружки, выставки, литературные пристрастия, театральная жизнь, живопись, обычаи и мода. Значительная часть монографии посвящена именно художественной организации пространства бытия. Причём, внимание автора концентрируется не только на архитектуре и градостроительстве, но и на монументальных произведениях, загородных резиденциях императора и усадьбах. Отдельно анализируются феномены ампириного сада и надгробной символики. Наконец, Турчин специально останавливается на пространстве жилища, характеризуя распространённые два столетия назад представления о комфорте. Стержневой идеей исследования является доказательство колоссальной роли самого государя в эстетическом обустройстве своей империи. Автор оперирует понятиями «александровского ампира» и «александрова искусства». Личность царя, по его мнению, «имела определяющее значение в формировании концепции империи как стиля и стиля как империи». Причём, в отличие от Наполеона, Александр вовсе не руководил лично деятелями искусства. Просто удивительным образом характер русского императора и эстетический идеал неоклассицизма совпали в своих ценностных ориентирах: Александр «не насаждал неоклассицизм, он был внутри неоклассицизма, как тот, в свою очередь, внутри него» (18). Новаторство авторского подхода очевидно: образ власти раскрывается через господствующий художественный стиль эпохи.

Шевырев в работе «Санкт-Петербург и Москва: две столицы, два образа власти» различает понятия «пространства власти» и «архитектуры власти».

«Пространство власти» определяется расположением «зримых знаков» властного присутствия — царской и патриаршей резиденций, правительственных учреждений, соборов и мест официальных церемоний. В допетровской Москве подобные знаки были преимущественно сконцентрированы в Кремле, и «пространство власти», таким образом, в целом замыкалось средой этой державной крепости. Петербург же — изначально «открытый город», «пространство власти» здесь практически совпадало с границами Северной Пальмиры, а с представителями имперского руководства можно было запросто столкнуться на улице.

Отсюда — отличие и «архитектуры власти» обеих столиц. Петербург сразу строился как идеальная модель имперской столицы, а Москва (особенно после пожара 1812 г.) усиленно стремилась обрести таковые черты. В результате в Первопрестольной возникло причудливое соединение старого и нового, а сама Москва стала эталоном для губернских центров, где обязательный набор властных учреждений «выглядел подобно образцовому острову в море традиционного хаоса».

Разница пространственных и архитектурных измерений власти отразилась и в специфике церемоний: преимущественно церковных в Москве и светских — в Петербурге. А свойственные этим городам образы власти явились следствием специфической двойной природы русских самодержцев — европейских императоров (т. е. глав бюрократических правительств и военных предводителей) и русских народных царей одновременно (19).

Целенаправленное формирование мировоззренческих установок посредством языка архитектурных форм было составной частью пропагандистских технологий нашего недавнего прошлого. Паперный рассматривает сталинскую архитектуру как специфический код, в котором зашифрована суть сложившегося в те годы политического режима (20).

Перспективным для анализа организованного пространства как особого места концентрации власти представляются подходы С. Д. Домникова, прослеживающего на материале всей дореволюционной истории развитие архетипического образа города (21), а также А. И. Неклессы и А. М. Пятигорского, выстраивающих мифологию города как своеобразной цивилизационной матрицы (22).

Наследование власти

Механизм наследования или передачи власти напрямую связан с чрезвычайно важной проблемой преемственности и, следовательно, жизнеспособности того или иного режима. Последние работы, затрагивающие эту проблему, либо уточняют представления о функционировании данного механизма, либо предлагают нестандартную интерпретацию какого-либо конкретного факта передачи власти. Причём, как следует из рассматриваемых ниже исследова-

ний, не только первое, но и второе направление научного поиска вовсе не предполагает в качестве обязательного условия наличие новых источников.

Н. Ф. Котляр видит в механизме наследования один из истоков древнерусской раздробленности. Историк указывает на две сосуществовавшие с конца XI в. модели наследования — «лествичную» (по «ряду» Ярослава 1054 г., когда столы замещались в соответствии с родовым старейшинством) и отчинную (предполагавшую обычное наследование от отца к сыну). «В соперничестве между “лествичным” и отчинным порядками, — отмечает Котляр, — и проходила в значительной степени политическая жизнь Древнерусского государства» (23). А. В. Назаренко сравнивает «ряд» Ярослава с системой распределения владений, существовавшей у Меровингов: «Все наследники правящей династии имели свои владения в различных областях государства, но всегда существовало ядро в центре государства, которое делилось ещё раз между всеми представителями династии. У франков таким ядром был Париж с округой. На Руси роль такого ядра выполняли Новгород и Киев». Поэтому у нас так и не сложилась собственная киевская династия. Киевская земля находилась под действием своеобразного средневекового властного механизма, называемого историком, вслед за В. Т. Пашуто, «коллективным сюзеренитом» (24).

А. Л. Никитин и Г. Л. Григорьев доказывают возможность существования сводного брата Ивана Грозного по отцу — сына Соломонии Сабуровой Георгия Васильевича. Причём Григорьев вообще считает, что решение Ивана IV о создании опричнины было во многом вызвано опасением конкуренции со стороны Георгия, способного сплотить вокруг себя боярскую оппозицию. «В этом случае, — утверждает автор, — не возбуждает удивления и то обстоятельство, что социальный состав обоих лагерей, земщины и опричнины, оказался довольно схожим». Данная гипотеза проясняет и ряд других фактов царствования Ивана Грозного, в частности, переговоры с английской королевой о политическом убежище для царя и его семьи. Однако сам автор признаёт лишь «предварительный характер» своего исследования (25).

Ж. А. Медведев выдвигает не менее интригующую гипотезу о том, что М. А. Суслов был избран Сталиным в качестве своеобразного наследника-хранителя его культа. Историк даже называет Суслова «тайным генсеком КПСС» (26).

Осенью 1999 г. слово «наследник» стало звучать злободневно. Р. А. Медведев в книге «Загадка Путина» подробно описывает, как первый президент России подыскивал себе преемника, чьи кандидатуры всерьёз рассматривались и по каким причинам они отпадали. Историк показывает безальтернативность последней ельцинской ставки, сделанной в августе 1999 г. О том же, только со свойственной ему образностью и вычурностью, говорит и В. Т. Третьяков в своей знаменитой статье «Жёсткая логика президентских загогулин» (27).

Советники власти

Исключительная роль советников в механизме принятия властных решений очевидна. Именно поэтому данная проблема представляется актуальной как с чисто научной точки зрения, так и с позиции сегодняшней политической конъюнктуры. Примечательно, что в обоих случаях опять-таки всплывает тема автономного пространства власти. Иными словами, грань, отделяющая факт подачи совета носителю власти от участия в принятии решения, является довольно расплывчатой. М. Долбилов для иллюстрации этой особенности взаимоотношений между властителями и их советниками (на примере самодержавия XIX в.) прибегает к следующей метафоре: «Принимаемое правителем решение может восходить не к частному лицу (самому монарху или советнику), а к особому “виртуальному” посреднику, действующему в культурном пространстве между правителем и его окружением. Можно сказать, что решение было принято не столько монархом вместе с конкретной группой людей, сколько сконцентрированным вокруг него образом, “оживлённым” совместными усилиями большей или меньшей группы людей. Это позволяет советникам и консультантам играть с различными культурными значениями образа самодержца и оказывать скрытое символическое давление на субъективную волю царя» (28). Новейшие исследования подтверждают правомерность данного мнения и на материале других исторических эпох.

Так, С. Богатырев рассматривает свойственный средневековой московской политической культуре особый топос «государь — советники». Историк отмечает, что «в соответствии с этим топосом царь был самодержцем, однако, он был обязан выслушивать советников, а его действия были ограничены моральными и религиозными рамками». А советники, в свою очередь, должны были «указывать царю на его неверные действия». Вместе с тем сама «церемония консультации воспроизводила миф о единодушии между правителем и основными представителями элиты». Институт советников долгое время не структурировался. Лишь при Василии III он стал организационно оформляться, а при Иване Грозном за ним закрепилось название Ближней Думы (29).

Другой пример взаимоотношений советника и властителя описан в книге И. Л. Волгина «Колебясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом». Автор повествует о попытках писателя нравственно и духовно воздействовать на власть. У Достоевского сложились довольно близкие отношения с отдельными великими князьями, наследником Александром Александровичем, цесаревной. Причём Волгин реконструирует взаимоотношения Достоевского с Романовыми с обеих сторон. В результате становится очевидным факт весьма значительной степени присутствия Достоевского (и как писателя, и как собеседника) в сознании членов императорского дома (30). Таким образом, исследование Волгина описывает образ советника, воздействующего на власть путем её духовного «окормления».

Ещё об одном царском советнике — коллежском асессоре А. А. Клопове — повествует впервые опубликованная подборка его писем Николаю II в период с 1899 по 1917 гг. (31) Личность Клопова изрядно мифологизирована «стараниями» издателя «Освобождения» П. Б. Струве, слепившего образ недалёкого, но по-житейски вёрткого чиновника, сумевшего втереться в доверие к Николаю, вытребовавшего себе специальный вагон для инспекционных поездок по России ради информирования государя о подлинном положении дел в стране. Вариант Клопова — случай исключительный, почти фантастический. Именно поэтому целесообразно говорить лишь о «казусе Клопова» как одном из вариантов описываемого Богатыревым топоса «государь — советники».

Распутин — ещё один тип советника. Советника-молитвенника, советника-утешителя. Любопытно, что при всём том колоссальном разбросе мнений, какие о нём существуют, именно такое функциональное место Распутина среди ближайшего окружения царя практически никем не подвергается сомнению. Подлинной сенсацией стало исследование О. А. Шишкина, рассматривающего Распутина в совершенно неожиданном свете: как фигуру, оказавшуюся в центре сложного клубка заговорщических проектов, разрабатывавшихся накануне гибели самодержавия (32).

В последние годы дважды переиздавалась книга Ф. М. Бурлацкого о Макиавелли. Автор создает образ советника «государя», способного подготовить для своего господина любое политическое решение: «Он обнажает проблему и выстраивает ряд: цель — средство — результаты. Если вы хотите ввести монархическую власть и это ваша цель, то надо поступать так-то, говорит он. Если ваша цель — ввести республику, то надо поступать иначе. Если вы хотите свергнуть тиранию, то для этого годятся такие-то средства. Если вы хотите разложить республику, то тогда вам пригодятся такие-то инструменты» (33). Сам Бурлацкий долгие годы был советником наших «государей» — Хрущёва, Брежнева, Андропова. Очевидно, что в образе итальянского мыслителя автор выводит самого себя, доказывая собственную значимость и политическую влияние. Это подтверждается ещё одной книгой Бурлацкого — «Никита Хрущёв и его советники — красные, чёрные, белые». Автор вспоминает годы своей работы в интеллектуальных штабах разных генсеков и как бы мимоходом поверяет читателей в «страшную» тайну, которую за давностью лет уже можно обнародовать: «Мощная группа консультантов, собравшаяся вокруг Андропова, конечно же, и не думала ограничивать свою деятельность подготовкой речей или выполнением отдельных поручений, связанных с пленумами ЦК или съездами партии. У нас с самого начала появились обширные планы, имевшие целью выдвижение инициатив, касающихся не только наших отношений с социалистическими странами и странами Запада, но и внутренней политики» (34). В начале данного раздела уже говорилось, что проблема советников власти актуализирована в том числе и сегодняшней политической конъюнктурой. Книги Бурлацкого — очевидная реакция на такую конъюнктуру. Однако симптоматично, что и на

этом примере работает метафора Долбилова: советники манипулируют властителем через образ его власти. Здесь снова вспоминаются слова Бурлацкого из книги о Макиавелли: «Политический театр делает пьесу и её героев, а не герои делают политический театр. Таков вывод, к которому подспудно ведёт нас мысль советника государей» (35).

Переходные режимы

Переходные режимы представляют собой весьма специфические феномены. Их отличительная особенность — определённая цельность, завершённость: они никогда не сворачиваются «на взлёте», но всегда в состоянии кризиса. Им свойственна принципиальная новизна по сравнению с режимами-предшественниками. Однако и режимы-преемники уже качественно отличаются от своих переходных «предтеч». Отсюда содержательная сторона политики любых переходных режимов представляется двуединой: преодоление элементов старого устройства и культивирование неких новых тенденций, представления о которых, как правило, весьма расплывчаты. Такие режимы начинаются и — главное — завершаются заметными историческими событиями, сопряжёнными обычно с насильственным обретением власти. Правда, для Средневековья и раннего Нового времени подобная схема необязательна: переломным моментом может стать уже рубеж царствований. Переходные режимы находятся в ситуации поиска, поэтому они изначально не могут быть эффективными. Сколь-либо существенная концентрация власти для них нехарактерна. Остановимся на описании некоторых примеров подобных режимов.

Книга А. С. Лаврова посвящена времени регентства царевны Софьи Алексеевны. Институт регентства уже по своей природе является режимом переходным. Правда, в нашей истории, в отличие от истории европейской, этот институт функционировал не очень часто. Тем более значимым представляется исследование Лаврова. По его мнению, регентство Софьи оказалось периодом, когда Боярская дума достигла максимально возможного в рамках самодержавной монархии предела своей влияния и даже пыталась координировать и совершенствовать «деятельность различных приказных ведомств». Вместе с тем «правительство регентства» стремилось удовлетворить запросы и служилых землевладельцев. Царская же власть (два соправителя при фактическом господстве Софьи), будучи значительно отдаленной от основной массы землевладельцев, зачастую попадала в зависимость от придворных группировок. Итак, налицо децентрализация власти, становившейся всё менее эффективной. Главный вывод автора: «Переворот 1689 г. показал падение роли традиционных для Русского государства институтов власти» (36). Последующее усиление самодержавия было неизбежно.

Классический для нашей истории пример переходного режима — система власти, функционировавшая в России с Февраля по Октябрь 1917 г. Одна-

ко фактические технологии и механизмы этого режима только недавно оказались в поле зрения отечественных исследователей. С.Ю. Малышева, говоря о сегодняшнем состоянии дел в историографии Временного правительства, замечает, что практически 10 лет, с момента снятия в конце 80-х «ограничительных рамок марксистско-ленинской концепции революции», эта сердцевинная проблема политической истории России XX в. не находила должного освещения. Сказалась одновременно как злободневность сюжета для «реалий 90-х», так и его проблемная не востребованность: Временное правительство рассматривалось преимущественно «в рамках таких ставших чрезвычайно популярными тем, как, например, история либерализма в России, история российского парламентаризма, проблема многовластия и “многопоточности” в российской революции». И только сегодня отечественная историческая наука выходит на качественно новый уровень освоения данной темы — «в основном в рамках “программной оболочки” государственности» (37).

Действительно, в работах последних лет уже сама постановка исследовательской проблемы выглядит технологичной: отвечая на вопрос «как функционировал режим», историки приближаются к пониманию подлинных, а не надуманных причин его кризиса. Однако даже при таком подходе существуют различные точки зрения.

Так, Н.Н. Смирнов продолжает отстаивать, пусть и в несколько модернизированном виде, концепцию «двоевластия»: «Изначально нарушив принцип разделения властей, — считает он, — Временное правительство, в свою очередь, вынесло себе смертный приговор — оно породило Советы». Иными словами, Петросовет и возник «отчасти» затем, чтобы восполнить «лакуну, образовавшуюся с отказом Временного правительства возобновить работу парламента, одной из важнейших задач которого и был контроль за работой министерств и ведомств». Неужели автор всерьез полагает, что, продолжи Дума работу, и Петросовет не возник бы вовсе? По мнению Смирнова, «двоевластие» завершилось образованием в мае коалиционного кабинета, когда «руководство Советов» обрело «реальную возможность воздействовать на формирование правительственного курса». Думается, что новые члены кабинета могли оказывать такое воздействие не только в силу их поддержки со стороны Совета, но и в силу собственной политической влиятельности. Автор считает, что руководство ЦИК оказалось повязанным ответственностью за действия Временного правительства, и «укрепление позиций большевиков в этой ситуации становилось неизбежным» (38). Концепция Смирнова не выглядит убедительной, однако, налицо явная попытка автора предложить целостный технологический анализ режима, отталкиваясь от его институциональной составляющей.

Иной точки зрения придерживается Н.А. Коваленко: механизм государственного управления с Февраля по Октябрь 1917 г. основывался «на принципах партийно-представительной демократии», т. е. в стране установилась «власть партийной системы или, точнее, власть наиболее влиятельных партийных центров и блоков», которые «определяли своих представителей

в различные властные органы, направляли и держали под жёстким контролем их последующую деятельность» (39).

Таким образом, Коваленко разделяет выводы, к которым чуть раньше пришла Н. В. Белошапка. Объектом её исследования стал именно «механизм формирования и функционирования» Временного правительства. Причём, автор прослеживает этот процесс по двум направлениям. Во-первых, как в новый режим встраивался старый административный аппарат. Во-вторых, что собой представляли новые управленческие структуры. Белошапка объясняет «многие структурные изменения в системе государственного управления» исключительно популистским стремлением угодить духу коалиционной политики. Вызывает, правда, недоумение попытка автора объяснить низкую эффективность управленческого аппарата «во многом» тем, что этот аппарат, как, впрочем, и само Временное правительство, изначально не рассчитывались «на далёкую перспективу» (40).

Наиболее взвешенной и аргументированной представляется концепция Ф. А. Гайды. По его мнению, «в условиях слабой политической организации и гражданской “незрелости” общества» опиравшиеся на широкую народную поддержку радикалы попросту «уступили представителям либеральной оппозиции роль создателей новой власти». Правда, из этого отнюдь не следовало, что радикалы собирались подчиниться этой власти. Факт отречения императора создавал у Временного правительства впечатление «правовой преемственности по отношению к самодержавию»: ведь ему «отныне “по закону” принадлежали все prerogatives монаршей власти, а также законодательные функции палат». Более того, сама ситуация оставляла министрам-либералам определённую свободу маневра: «Полнота власти правительства основывалась ими (в зависимости от обстоятельств) то на актах прежней власти, то на полномочиях, “предоставленных” революцией». Отсутствие административных навыков и внутреннего единства вносило серьёзный разлад в повседневную работу правительства. Функционированию властного механизма серьёзно мешала «политическая и ведомственная конкуренция: Министерство юстиции стало “вотчиной” социалистов, а в Юридическом совещании все важные посты были у кадетов». Наконец, режиму не удалось выстроить замкнутый властный контур: «система принятия решений сложилась только в зачаточном виде, а механизм их исполнения фактически отсутствовал». Положение осложнялось преваляровавшим «убеждением о сугубо временном, а потому почти необязательном характере всех принимаемых мер». Властный ресурс Петросовета в то время также был незначительным. Поэтому автор совершенно справедливо считает, что «теория “двоевластия” применительно к данному периоду, несомненно, нуждается в значительной корректировке, если не пересмотре» (41).

Следующий пример переходного режима — правление М. С. Горбачёва. Об этом времени написаны горы литературы, которая в массе своей преимущественно мифологизирует как эпоху, так и её «культурного героя». Общие рассуждения на тему «новой оттепели», «гласности», риторика типа «Иного

не дано» или «Так жить нельзя» не вскрывают сути режима. Даже высокоинтеллектуальные рассуждения о так называемой «конвергенции» уведут в сторону от понимания сути происходивших в 1985–1991 гг. процессов. Представляется, что наиболее предметную оценку режиму даёт Р.Г. Пихоя. Отталкиваясь от его оценок, горбачёвскую систему можно назвать весьма специфическим и уникальным режимом *автофагии*, т. е. самопожирания, самоуничтожения. Борьба с номенклатурой, неуклонная нацеленность на её ликвидацию — вот, по мнению Пихои, в чём состояла сердцевинная тенденция режима. Горбачёв «разрушал стабильность этого строя, того правящего (или управляющего) класса, который сложился за годы Советской власти». Сам Пихоя в своё время находился очень близко от верховной власти. И, естественно, он тонко чувствует и понимает те незыблемые законы, которые должен соблюдать абсолютно любой режим независимо от времени и места его существования. Заметим — режим *нормальный*, т. е. *заинтересованный* в самом себе. Поэтому-то и выглядит знаковым крайне эмоциональное недоумение Пихои, явно диссонирующее с общим выдержанным и обстоятельным стилем его фундаментального исследования: «Поражает горбачёвское недоверие к аппарату, к номенклатуре. Сам плоть от плоти номенклатуры... он, похоже, так и не понял её функции. Оказавшись наверху этой лестницы, он *разрушил* номенклатуру. Следствия этого оказались неизмеримо более существенными, чем он мог предполагать. Приходит на ум сравнение с мальчишками, пытающимися спичками осветить тёмный сеновал» (42). Образ мальчишек со спичками навеивает аллюзии с поджигающим Рим Нероном и заставляет, по крайней мере, принять во внимание муссирующийся в среде коммунистической и патриотической оппозиции тезис о преднамеренной деструктивной заданности горбачёвских преобразований.

Самым последним по времени переходным режимом в истории нашей страны можно считать систему власти Б.Н. Ельцина в период с Августа (или Декабря) 1991 по Октябрь 1993 г. (Получается, что два принципиально отличных переходных режима — горбачёвский и ранний ельцинский — проследовали друг за другом: этот феномен ещё ждёт своего внимательного исследования). Принципиальное содержание этой эпохи вскрыто в работе Пихои, анализирующей события Октября 1993 г. Автор фиксирует сложившуюся систему «двоевластия» Президента и Советов и убедительно доказывает невозможность преодоления этой нестабильной ситуации легитимным путём — причём как в рамках действовавшей на тот момент Конституции, так и через принятие нового Основного закона после летнего Конституционного совещания: «Президентский вариант Конституции мог быть принят только вопреки Верховному Совету и съезду, а парламентский вариант — только вопреки Президенту» (43).

Становящиеся режимы

В отличие от режима переходного, который в конце своего существования сворачивается, режим становящийся закладывает основы устройства, ещё только набирающего силу. Следовательно, исследовательская задача при анализе такого режима заключается в выявлении и описании начатков тех системообразующих механизмов, которые впоследствии будут обеспечивать основные процессы его функционирования.

Для последних работ по истории раннего периода древнерусской государственности характерно дальнейшее развитие концепции, девальвирующей статус института княжеской власти.

А. С. Королев, рассматривая раннегосударственную стадию существования Киевской Руси, фиксирует зависимость князей как от управляемых ими городских общин, так и от собственных дружин. Княжеский титул не был пожизненным, его обретали вместе с «получением в свои руки управления какой-нибудь территорией». Киевский князь — всего лишь глава союза князей. Его власть существенно уступала влиятельности княжеских съездов. Киевское княжение не находилось «в монопольном владении одной династии» — там сидел «наиболее авторитетный вождь, пользующийся поддержкой остальных членов союза». Следовательно, «ни о какой концентрации власти над Русью в 40–70-х гг. X в. в руках киевского князя» не может быть и речи (44).

И. Я. Фроянов и А. А. Горский не находят сколь-либо значимым статус княжеской власти даже в более поздний период древнерусской истории. Фроянов, в соответствии со своей известной концепцией, вообще полагает, что вплоть до монгольского нашествия на Русь существовал «общинно-вечевой» строй, а князь как «носитель высшей исполнительной власти» был всего лишь «общинным чиновником», подотчётным народному вече. Становление монархической власти, по мнению Фроянова, происходило синхронно с процессом складывания централизованного государства и явилось следствием осознанного выбора народа, который предпочел монархию «боярскому олигархическому строю». Горский, также развивая собственный прежний взгляд, отождествляет государственную власть с дружинным началом. По сути, дружина стала корпорацией, структурировавшей «элитный слой». Однако и в этой схеме суверенитет князя фактически ограничен рамками дружины. Только накануне нашествия монголов наступил закат «дружинного государства», и вместо дружины «элитной корпорацией» стал княжеский «двор» (45).

Характерный пример становящегося режима — время царствования Петра I и последовавшая за ним эпоха дворцовых переворотов. Именно тогда, в первой половине XVIII в., закладывались основы «бюрократического самодержавия», просуществовавшего до Февраля 1917 г.

Е. В. Анисимов показывает, что в основе институциональных реформ конца 10-х — начала 20-х гг. XVIII в. лежала «целостная концепция европей-

ского камерализма — учения о бюрократическом делопроизводстве с характерными для него систематичностью, специализацией и унификацией». Пётр перенял шведскую модель камералистской системы. Оттуда он практически целиком взял «отраслевую специализацию, бюрократическую организацию с её штатами, процедурной и делопроизводственной частью». Однако петровские коллегии существенно отличались от шведских, органично вписанных в модель абсолютизма, ограниченного «разветвленной системой сословно-представительных органов, самоуправляющихся городов и сельских общин», незыблемыми сословными привилегиями, реальной личной свободой населения, а также «традиционными королевскими обязательствами перед обществом». Копируя шведскую модель государственного аппарата, Пётр подбивал её «под самодержавие». В итоге Сенат оказался исключительно «бюрократическим органом, передаточным звеном между государем и центральным и местным управлением». К тому же новая структура власти по-прежнему основывалась на принципе поручения, а не ответственности. То есть Пётр фактически срастил «камералистскую „бюрократическую технологию“ с традиционной самодержавной властью» (46).

Н. Н. Петрухинцев рисует подробную картину формирования внутривнутриполитического курса в царствование Анны Иоанновны. Причём автор сразу обозначает, что видит свою задачу в описании именно механизма выработки и принятия решений. Функционирование этого механизма Петрухинцев рассматривает на примере военно-морской политики правительства. В самом начале царствования была выработана программа, во многом повторявшая установки, уже формулировавшиеся во второй половине 20-х гг. и заключавшиеся в намерении пересмотреть политику в сфере финансов и фиска, а также изменить структуру бюджета путем сокращения его расходной части, львиную долю которой поглощали военные программы. Именно они и попали под сокращение. Таким образом, от успеха этого плана напрямую зависел теперь в целом весь внутривнутриполитический курс страны. Непосредственная взаимосвязь задач военного строительства с необходимостью бюджетной экономии обусловила отдельное рассмотрение дел армии и флота: сухопутная армия (из-за прямых налогов с владельческого крестьянства, поставлявшего рекрутов) попала в сферу пристального внимания правительства, а военно-морское строительство, осуществлявшееся за счёт косвенного налогообложения, оказалось «на втором плане». Такая военная политика с бюджетным подтекстом стала основой правительственного внутривнутриполитического курса на протяжении всего царствования (47).

20-е годы минувшего столетия — время становления сталинского режима. Принципиально новым представляется взгляд исследователей, рассматривающих эту эпоху не отдельно от дореволюционного периода (как это практиковалось и советскими официозными историками, и непримиримыми критиками сталинизма — в обоих случаях по вполне понятным причинам), а, напротив, в непосредственной связи с ним. Так, В. А. Шишкин подчёркивает «значительную роль русской государственной традиции» в деле становления

«нового российского партийно-государственного режима». «Всеохватывающее огосударствление экономики», складывание «унитарного государственного многонационального образования» — примеры возрожденных большевиками характерных черт дореволюционной России. Эти элементы прошлого в сочетании с исключительной по своей мощности идеологической политикой способствовали формированию «особого типа идеократического авторитарного режима» (48). Аналогичные мысли высказывает и С. В. Леонов, уточняя лишь, что «советская государственность впитала в себя значительную часть не только царского, но и послефевральского государства». Причём в разное время в зависимости от ситуации в новом советском режиме проступали то самодержавные, то «послефевральские» черты (49).

Указанные подходы, безусловно, выводят изучение данной проблемы на качественно новый уровень, когда идеологическая составляющая исторического процесса получает адекватное её месту освещение. Следует, однако, подчеркнуть, что коммунистическая риторика в этом случае — вовсе не содержание, а всего лишь «упаковка» конкретной политики. К сожалению, претендующая (уже хотя бы по своему названию) на глубинное освещение раннего этапа сталинского режима книга И. В. Павловой вместо детального анализа властных технологий содержит слегка подновлённый раннеперестроечный миф о целенаправленном продвижении «злого гения» к единовластию. Складывается впечатление, что, говоря о создании в недрах партии отдельной законспирированной «партии аппарата», автор попросту стремится продемонстрировать претворение в жизнь высказанного Сталиным летом 1921 г. знаменитого тезиса об «ордене меченосцев». Из авторской концепции следует, что основанная на «стереотипах политической реакции» сталинская модель социализма, опираясь на сложившуюся ещё в самом начале 20-х «конспиративную систему власти» (авторская гипотеза о преднамеренной «конспиративной» реформе партии выглядит малоубедительной), поступательно претворялась в жизнь через «насильственное огосударствление крестьянства», ориентированную на милитаристские нужды индустриализацию, тотальный контроль над населением в виде паспортизации и «массовое насилие» (50). Схематизм и идейный догматизм данной концепции просто мешают разглядеть конкретные факты, с помощью которых только и можно понять технологический аспект формирования сталинского режима.

Исследование С. В. Девятова является как раз примером того, сколь значим скрупулезный анализ исторических реалий для понимания работы незримых механизмов режима. В представлении автора Сталин — прагматичный политик, тонко чувствующий конъюнктуру, свободный от идеологической зашоренности и — главное — вовсе не «обречённый» на единовластие. Или, точнее, далеко не единственный и не первостепенный из «обречённых»: автор аргументированно показывает, что управленческий монополизм был фактически предопределён концентрацией власти в руках высшего партийного руководства ещё при жизни Ленина. Запущенный в 1923 г. механизм внутривластной борьбы стал, по сути, естественным процессом перераспреде-

ния власти внутри правящей партийно-государственной верхушки. Каждая из втянутых в эту борьбу фигур опиралась на собственный силовой ресурс. Для Сталина таким ресурсом стал Секретариат ЦК, с помощью которого он продвигал своих людей «в верхние этажи власти». Дальнейшее — итог долгого и сложного противостояния, результат которого отнюдь не был изначально предопределённым (51).

Е. Г. Гимпельсон прочно увязывает становление сталинского режима со свёртыванием нэпа. Эти два процесса, по его мнению, проходили «параллельно и в теснейшей связи». Выходит, что собственно политическим механизмам становления сталинского режима автор отводит всё-таки второстепенную, хотя и чрезвычайно важную роль. Эти механизмы Гимпельсон оценивает как «другие обстоятельства» или «благоприятные предпосылки». Правда, одна из подобных «благоприятных предпосылок» рассмотрена им чрезвычайно подробно и обстоятельно: Гимпельсон анализирует номенклатурно-бюрократический фактор складывания сталинского режима. Развёрнутое в начале 20-х «орабочивание» государственного аппарата, обернувшееся — и автор это подробно прослеживает — его фактической депрофессионализацией, привело во власть «многочисленный преимущественно малообразованный, неквалифицированный слой управленцев». Став частью политической системы, этот слой начал подталкивать её в сторону «единоличной диктатуры» (52).

Хрущёвская эпоха — также становящийся режим. Выросший из недр сталинской системы, он развился в особую модель, просуществовавшую до 1985 г. Поэтому закономерна произошедшая в конце 90-х переориентация научного интереса с поверхностных сюжетов «оттепели» на проблематику технологической новизны хрущёвской власти. В последние годы об этом много пишет А. В. Пыжиков — как индивидуально, так и в соавторстве с В. К. Криворученко, В. А. Родионовым, Ю. В. Аксютиным и А. А. Даниловым. Заслуга автора заключается не в предложении каких-либо новых концепций или обнаружении неизвестных прежде источников, а в систематизации сведений и концепций, наработанных его предшественниками за минувшее десятилетие.

Суть формировавшейся тогда системы власти заключалась, по словам Пыжикова, прежде всего, в качественном возрастании роли партии. Это стало ответной реакцией высшей партийной номенклатуры на попытки Берии фактически упразднить КПСС как системообразующий каркас государства. После ликвидации Берии развернулся новый конфликт — на этот раз между Маленковым и Хрущёвым, олицетворявшими «два подхода к устройству власти»: вокруг Совмина или при ключевой роли ЦК. Хрущёву и здесь удалось одержать победу. После разгрома его конкурентов в 1957 г. КПСС, наконец, обретает то значение, которое она впоследствии сохраняла вплоть до конца 80-х.

Следующая хрущёвская новация — попытка усилить «роль и значение системы Советов в общей структуре власти». Предполагалось наделить Советы

более реальными полномочиями, а Верховный Совет трансформировать «из чисто декоративного в один из реальных центров власти». Однако этим планам не суждено было сбыться из-за отставки Хрущёва.

А вот другое «технологическое усовершенствование» не только успешно прижилось и стало характерной чертой режима, но и просуществовало до самого конца СССР. Речь идёт о замещении доктрины диктатуры пролетариата иной теоретической схемой — концепцией так называемого «общенародного государства». Казалось бы, такой шаг должен был стать естественным продолжением десталинизации. Однако в реалиях тех лет этот курс мог быть претворён в жизнь лишь частично. Действительно, в конце 50-х заметно укрепились позиции профсоюзов и комсомола, начался демонтаж доктрины диктатуры пролетариата. Но в условиях идеологического монополизма дальнейшее развитие модели «общенародного государства» оборачивалось уже сточением контроля за духовной жизнью людей. Диктатура пролетариата заместилась диктатурой партийной идеологии под новой вывеской.

Становящийся режим находился в состоянии интенсивного поиска оптимальных форм структурной архитектуры власти. Наиболее масштабный эксперимент в этой области («реформирование партийных и советских органов по производственному принципу») был предпринят в начале 60-х, но уже вскоре продемонстрировал свою неэффективность.

Пыжиков показывает, что содержательная сторона хрущёвских реформ (доктрина «общенародного государства», идея привлечения трудящихся к сфере управления, проекты стимулирования различных законодательных инициатив) была сформулирована ещё в послевоенные годы, при Сталине (53). Однако данный факт значим для понимания не столько хрущёвской, сколько сталинской эпохи.

Чрезвычайно важно понять, когда завершается формирование становящегося режима, с какого момента наступает апогей его развития. Данной проблеме был посвящён «круглый стол» в журнале «Родина» (ведущая — Т. Филиппова). Поводом к мероприятию стала первая годовщина пребывания В.В. Путина на посту Президента. Участники «круглого стола» на материале истории XIX и XX вв. размышляли над проблемами: «что в принципе удавалось новым правителям России осуществить за первый год пребывания у власти; в какой степени замыслы успевали реализоваться за это время; можно ли по первому году судить о характере и направленности будущего правления».

Следует сразу оговорить, что участники «круглого стола» исходили из иного, нежели в настоящем исследовании, понимания режима, персонифицируя его с личностями тех или иных правителей страны.

Для дореволюционной России уже сама постановка вопроса о «первом годе» режима не представляется значимой. За этот срок, отмечает А. Шевырев, самодержцы, как правило, успевали сделать немного: темпы развития политических процессов были ещё довольно замедленными.

После 1917 г. ситуация кардинально изменилась: по «первому году» (или чуть более продолжительному сроку) правителя уже можно судить о содержании создаваемого им режима.

По мнению Г. Бордюгова, экспериментаторский и прагматический характер ленинской системы власти, в целом оперативно реагировавшей на внешние вызовы и угрозы, «отшлифовался» как раз к осени 1918 г.: к исходу своего «первого года» вождь довольно последовательно сочетал силовые и несиловые методы управления. Иначе складывался сталинский режим, в становлении которого «просматривается несколько “первых лет”, или “один”, но растянувшийся на десятилетие, на несколько критических моментов, “год”». Стабильность, наступившая после преодоления сложной для Сталина ситуации в конце 20-х — начале 30-х, была разрушена Великой Отечественной. И только после 1945 г. режим стал по-настоящему прочным и неколебимым.

Е. Зубкова связывает проблему определения момента, когда становящийся режим достигает апогея своего развития, с вопросом о том, с какого времени следует «отсчитывать “чистое время” руководителя», его «беспорное личное лидерство». Если Ленин, Андропов и Горбачёв обрели такое лидерство сразу, то все остальные советские вожди «вынуждены были первое время находиться в “коллективном руководстве”, то есть в состоянии борьбы за власть». Следовательно, в последнем случае чрезвычайно важно «отделить “личный зачёт” лидера от “командного”». «Чистое время» Хрущёва, по словам Зубковой, начинается с отставки в январе 1955 г. его главного конкурента — Маленкова. Итоги же его «первого года» убедительно свидетельствуют о том, что он, по сути, стал отстраивать свой режим на тех «прорывных направлениях», которые были чуть раньше определены «командой», пришедшей к власти в 1953 г., в частности, тем же Маленковым. Брежнев полтора года (с осени 1964 до весны 1966 г.) находился «в плотном коллективном окружении». Это было время поиска собственного стиля: реставрация партийной «вертикали власти» и устранение конкурентов сочетались с продолжением начатых его предшественником преобразований. Его «чистое время» началось с XXIII съезда КПСС, восстановившего дохрущевскую атрибутику власти. Главный итог «первого года» Брежнева — обозначение пределов умеренной реабилитации Сталина. Сформированные тогда установки, распространённые на всю сферу государственного управления, функционировали потом на протяжении всего брежневского периода.

В. Булдаков отмечает исключительное значение именно идеологического и пропагандистского аспектов «первого года» Горбачёва. Совершенно провальный, с точки зрения конкретных и содержательных политических решений, этот период вместе с тем заложил основы формируемого новым генсеком режима.

В. Бондарев видит основной итог «первого года» Ельцина в чётком обозначении сути складывающегося режима. Именно тогда, по его мнению, стало ясно, что за масштабной ломкой прежней государственности кроется всего лишь банальное внутриэлитное перераспределение власти: «прежняя элита не

была ни уничтожена, ни отстранена от власти», только «пласты её сместились по отношению друг к другу» (54).

Режимы в апогее

Режимы, достигшие пределов развития, дают наиболее целостное и яркое представление о своих характерных особенностях. Данное обстоятельство способно создать иллюзию исчерпанности их изучения и направить исследовательскую мысль в русло уточнений и доработок деталей. Однако рассматриваемые в данном разделе работы свидетельствуют о том, что новые интерпретации возможны и в оценках принципиальных основ этих режимов.

Ю. А. Сорокин рассматривает правления Екатерины II и Павла I как единый период в истории российского абсолютизма. Отличия их царствований, по его мнению, заключались в разнице не столько политических курсов, сколько в условиях их осуществления. Хотя, конечно, именно при Павле, считает автор, абсолютизм превращается в самодержавие. К сожалению, Сорокин не даёт развернутых определений обоих режимов, ограничиваясь лишь указанием на то, что в основе абсолютизма лежат ценности Просвещения, а самодержавие представляет собой «православную модель власти», претворённую в «национальном государстве дворян». Заложенное Павлом самодержавие было востребовано самой эпохой и «почти на столетие пережило в России абсолютизм» (55). Безусловно, выводы Сорокина выглядят ещё «сырыми», однако, представляются оригинальным развитием мнений, прозвучавших 30 лет назад — во время знаменитой дискуссии об абсолютизме.

Действительно, предстоит уточнить наши представления о ещё очень многих сторонах самодержавного режима. Некоторые из них обсуждались в журнале «Родина» на «круглом столе», посвящённом эпохе Николая I и названном «Апогей самодержавия?» (яркий пример того, когда знак препинания значит гораздо больше, нежели стоящие перед ним слова). Участники «круглого стола» указывали, что многие преобразования Александра II были предвосхищены его отцом (56). Возникает закономерный вопрос: где пролегал та граница, за которой накапливающаяся потребность в переменах переводит режим из состояния апогея в ситуацию кризиса? Свидетельствовала ли крымская катастрофа об исчерпанности самодержавной модели власти? Задача любой дискуссии заключается в грамотном и точном обозначении вопросов, а не в отыскании готовых ответов. В этом смысле «круглый стол» можно считать чрезвычайно продуктивным.

Если же говорить о содержательной стороне самодержавия Николая I, то представляется перспективным анализ, предпринятый Л. В. Выскочковым. Автор описывает режим через личности самого государя и окружавших его людей. Казалось бы, собственно технологическая сторона власти при таком подходе не должна просматриваться. Однако книга Выскочкова доказывает

как раз обратное. Именно знакомясь с написанными автором портретами, начинаешь понимать задумку императора о месте Собственной Его Императорского Величества канцелярии во властной системе страны. Наглядным становится механизм кадровой политики. Обретает конкретные черты практика принятия решений по принципиальным проблемам государственной жизни, в частности, по крестьянскому вопросу. Замечание Выскочкова о том, что личность государя «во все времена определяла многое в истории России» (57), подтверждается фактическим материалом его исследования.

Разумеется, ярким примером режима, находящегося в апогее, является послевоенная сталинская государственность. Примечательно, что и здесь исследователи стали отдавать предпочтение уже не столько характерным, проявленным и «созревшим» атрибутам режима, сколько тем новым тенденциям, которые вызревали в его недрах и вышли на поверхность после смерти вождя. Стали изучаться происходившие во второй половине 40-х дискуссии о путях дальнейшего развития экономики, проекты ограниченного использования рыночных механизмов и материальных стимулов к труду. Особенно перспективным представляется наблюдение о взаимосвязи борьбы группировок в руководстве страны с «кадровым голодом», остро ощущавшимся в последние годы жизни вождя и в значительной степени «удовлетворённым» в результате «сталинского призыва» в ЦК на XIX съезде (58). Роль и место этого «молодого поколения» в перипетиях конца 1952 — начала 1953 гг., как, впрочем, и впоследствии, ещё нуждается в обстоятельном изучении.

Традиционный и наиболее болезненный для нашей государственности вопрос о противостоянии верховной власти и подчинённого ей (по идее) аппарата очень интересно рассматривается В. П. Поповым на примере взаимоотношений Сталина с Микояном. Даже находясь, казалось бы, на вершине своего могущества, вождь оказался неспособным ввести систему продуктообмена из-за нескрываемого сопротивления «хозяйственной олигархии», чьи интересы лоббировал Микоян — курировавший торговлю член Бюро Президиума Совмина. «Конфликт между Сталиным и Микояном, — отмечает Попов, — как и многие конфликты членов сталинского Политбюро с “хозяйником”, выходил далеко за рамки личностных отношений» (59). Данное исследование выводит дальнейшее изучение механизмов режима на качественно новый уровень.

Брежневская эпоха, а точнее — восьмая пятилетка (1965–1970), может рассматриваться как время апогея режима, начавшегося правлением Хрущёва и закончившегося временем Черненко. Пихоя отмечает, что проявившиеся тогда во многих сферах жизни положительные тенденции стали результатом не каких-то серьёзных и разработанных программ развития, а всего лишь следствием преодоления изначально ошибочных хрущёвских экспериментов. Восстановление территориально-производственного принципа партийной системы, ликвидация совнархозов и возрождение министерств способствовали укреплению централизованного управления и, как следствие, «временно дали положительный эффект в развитии промышленности». А упразднение Комитета партийно-государственного контроля означало окончательное утверждение

безраздельного номенклатурного господства под вывеской принципа «партийного руководства». Вместе с тем приёмы управления страной, вошедшие в практику при Хрущеве, оказались жизнеспособными и после его отставки: «принцип стабильности» (впоследствии переродившийся в «застой» 70-х — начала 80-х), «подпитанный» масштабным увеличением добычи в Западной Сибири нефти и газа, на определённое время обеспечил поступательное развитие страны (60).

Ценные наблюдения о сути брежневского режима содержатся в монографии В. А. Козлова, посвященной феномену массовых беспорядков в СССР в период с 1953 и до начала 1980-х гг. Автор на основе колоссального комплекса ранее не доступных для исследователей источников описывает механизмы нескольких моделей массовых беспорядков: «целинных» (или шире — «новостроечных»), солдатских, этнических, политических (автор говорит о политической составляющей массовых беспорядков предельно осторожно; наиболее яркий пример стихийных действий населения с чётко обозначенной политической окраской — волнения в Грузии после XX съезда КПСС). Отдельно рассматриваются волнения городских маргиналов и верующих. Наконец, Козлов подробно анализирует беспорядки, порожденные социально-экономическими факторами. Среди них особенно досконально разбираются события 1962 г. в Новочеркасске.

Казалось бы, данная книга напрямую не затрагивает проблемы механизмов и технологий функционирования власти. Однако автор неизбежно выходит на них, прибегая при описании конфликтов к антиномии «население — власть». Так, Козлов при характеристике брежневского режима использует понятие «либерального коммунизма». Его возникновение он относит ещё к хрущёвской эпохе, когда произошли «некоторое смягчение режима и заметный поворот в социально-экономической политике к интересам и потребностям народа». «Либеральный коммунизм» окончательно оформился уже при Брежневе, причём, автор определяет сущность данного режима как своеобразный «ответ партийной номенклатуры на пережитый ею во второй половине правления Хрущёва кризис». И здесь представляется чрезвычайно значимым и новаторским подход Козлова, рассматривающего в неразрывной связи форму правления и образ жизни населения как феномены, находившиеся в постоянном взаимовлиянии. Например, брежневская частичная реабилитация Сталина явилась в известной степени реакцией на присущий населению «ностальгический “консерватизм” и жажду “порядка”». И, напротив, относительная толерантность режима и поиск им неких новых компромиссных решений, призванных снизить «кривую негативной “пассионарности” советского общества», были прямым следствием технологической неэффективности самого строя. Кризис режима, считает автор, «концентрирует в себе глубочайшие трансформации повседневной жизни, завершившие эпоху революционного идеализма и энтузиазма в массовом сознании и положившие начало угасанию и разложению советской системы экономики, идеологии и власти». В этом смысле более «пассионарные» беспорядки хрущёвского

времени свидетельствовали лишь о начале процесса десакрализации власти в общественном сознании. А свойственный брежневскому времени «относительный “штиль” в конфликтных взаимоотношениях народа и власти» стал во многом результатом возведения этой десакрализации в некую дозволенную сверху оценочную норму советской повседневности (61).

Тупики представительства

Выпавший на первую половину — середину 90-х пик исследовательской популярности проблем конституционализма, парламентаризма, «разделения властей» прошёл, так и не обогатив историографию этой проблемы какими-то принципиальными выводами о роли и месте подобных экспериментов в нашей истории. И только в последние годы в изучении данной темы наметился определённый перелом. Подходя к анализу представительской модели и её институтов технологически, реконструируя механизмы её функционирования, историки несколько приблизились к пониманию онтологической несовместимости традиций русской государственности с этим инструментом управления западным гражданским обществом.

В. А. Демин выводит сам факт неуклонно возрастающей на протяжении XIX в. популярности идей и ценностей конституционализма из политической неудовлетворённости интеллектуалов. Именно из их среды выходила «контрэлита, оценивающая существующий порядок крайне отрицательно и добивающаяся его радикального слома». Такая «контрэлита» формировала в общественном мнении представления о безальтернативности парламентской демократии, хотя культурная «разношерстность» страны требовала «сильной авторитарной власти». Указанная деструктивная «позиция интеллектуальной элиты» и предопределила оберегаемую самодержавием ограниченность представительства. Взаимное неприятие верховной власти и Думы (I и II в большей степени, III и IV — в меньшей) обусловило неэффективность русского парламента. Автор подробно разбирает механизм функционирования Думы, осознавая при этом всю противоестественность самого учреждения базовым основам государственности. И хотя с другими выводами Демина (в частности, о принципиальной возможности встраивания представительского начала в ткань русской монархической власти или о преднамеренном нежелании Николая II проводить реформы в интересах «элиты общества», которую император воспринимал как «вредное средостение между ним и народом») (62) никак нельзя согласиться, вышеприведённые рассуждения о врождённом и неизбежном фрондерстве Думы представляются весьма значимыми.

Интересная оценка реального влияния представительства на политику самодержавия в годы Первой мировой войны дана С. В. Куликовым. Автор приводит целый набор аргументов, свидетельствующих о «косвенном влиянии» Думы и Госсовета на формирование правительства. Император в указанный

период при подборе кандидатов на правительственные должности как правило принимал в расчёт возможную реакцию законодательных палат. Более того, за годы войны три пятых новых министерских назначений явились перемещением в правительство членов Думы и Госсовета. Куликов усматривает «проявление стабильного влияния» законодательных палат в факте «демонстративного сохранения царём на уровне высшей исполнительной власти группы либеральных министров, пользовавшихся доверием Прогрессивного блока». Автор даёт новое объяснение феномену «министерской чехарды», полагая, что «резкое увеличение частоты крупных кадровых перемен» было напрямую вызвано усиливавшимся неприятием целого ряда министров со стороны представительных учреждений. «Министерская чехарда», по его мнению, «стала своеобразной формой согласования высшей кадровой политики самодержавия с законодательными палатами, и прежде всего — с Государственной думой». Поскольку программа Прогрессивного блока не нашла поддержки у верховной власти, «министерская чехарда» не превратилась в «фактор, обеспечивающий единение Государственной думы и самодержавия» (63). Обратим внимание — даже кризисная ситуация войны не привела к конвергенции монархического и представительского принципов, а максимально возможной взаимной уступкой явилась «министерская чехарда». В итоге под обломками рухнувшего самодержавия погиб и первый опытный образец русского парламента.

Эксперименты по выстраиванию представительских учреждений продолжались и после свержения монархии. Двум таким экспериментам — Демократическому совещанию и Учредительному собранию — посвящены монографии С. Е. Рудневой и Л. Г. Протасова.

Лаконичный и бесспорный вывод Рудневой об итогах работы Демократического совещания выражает всю суть этого мероприятия, которое, по словам автора, «справилось с задачей органа, выразившего общественное мнение демократически настроенной части общества». Вот и всё. А чего ещё ждать в ситуации революционного кризиса? Если же говорить о возможном влиянии совещания на текущую ситуацию, то вывод автора о «съезде демократии», который якобы «объективно способствовал решению вопроса о формировании нового состава Временного правительства непосредственным участием своих делегатов» (64), не следует из проанализированного Рудневой материала.

Протасов также склонен к идеализации объекта своего исследования — Учредительного собрания. Вместе с тем он чётко разделяет два феномена — реальный форум, разогнанный в начале 1918 г., и его идеальный образ или, иными словами, всю ту же столь характерную для мировоззрения наших интеллектуалов востребованность конституционализма. И сравнивая Учредительное собрание с некоей «яркой и скоротечной кометой, прочертившей в 1917 году российский политический небосвод и до конца непознанной», автор, безусловно, имеет в виду именно этот идеальный образ. Указывая на то, что разогнавшие Учредительное собрание большевики «уже через несколько дней симитировали его в виде съезда Советов», Протасов стремится

подчеркнуть историческую неизбежность форума (65). С данной мыслью надлежит согласиться, если только опять-таки говорить не о конкретном историческом событии, а о его идеальном образе. И в этом смысле в очередной раз большевистская «имитация» представляется эффективной и технологичной.

Данный раздел назван «Тупики представительства». Проводимая здесь мысль об исторической обречённости конституционалистских экспериментов выражена предельно чётко. Именно поэтому никак нельзя проигнорировать масштабное исследование Б. Н. Миронова, доказывающего обратное.

По его схеме Россия на протяжении двух веков прошла долгий путь от государства «правомерного» (где власть осуществляется «силами бюрократии, а личные и политические права населения сильно урезаются») до «правового» (в котором граждане имеют политические права — «право на участие во власти, право на свободу от власти и право на содействие власти»). Автор называет режим, оформившийся в России XVII в. «народной монархией», ограниченной, с одной стороны, Боярской думой и институтом местничества, с другой — Земским собором, формулировавшим «народное одобрение» — непереносимое «условие легитимности важнейших государственных событий». Следовательно, «народная монархия» не была неограниченным самодержавием, а «народ тоже являлся субъектом государственного управления». В XVIII в. понятие легитимности подверглось существенной секуляризации — рациональное обоснование власти «сняло с государя ограничение традицией и обычаем». После упразднения Петром патриаршества, Боярской думы и земских соборов самодержавие превратилось из «народной» в неограниченную монархию, а народ — из субъекта в объект управления. Механизм государственного управления начал напрямую замыкаться на закон. В результате «весь государственный строй эволюционировал в сторону правомерной монархии», власть переставала быть традиционной и становилась легальной. Дистанцирование императора от дворянства (при Александре I и особенно при Николае I) привело к общей девальвации сословной составляющей самодержавной власти и повышению роли бюрократии. На этом этапе монархия становится «правомерной». И, наконец, после издания в апреле 1906 г. новой редакции Основных законов Россия трансформировалась в «дуалистическую правовую монархию», в которой «законодательная власть принадлежала парламенту и государю, а исполнительная власть в центре — императору и бюрократии, на местах — бюрократии и органам общественного самоуправления» (66).

Итак, налицо стройная и, на первый взгляд, безукоризненная концепция эволюции самодержавия в сторону правового государства и гражданского общества. Совершенно очевидна модернизационная сердцевина этой концепции, и именно поэтому воздержимся от каких-либо критических замечаний в её адрес. Вся история минувшего столетия доказала нежизнеспособность такой модели развития. А последнее десятилетие, в котором адепты данного мировоззрения усматривают долгожданное возвращение России в русло модернизации, ещё ровным счетом ничего не значит: по крайней мере, два сто-

летия (по схеме Миронова) Россия неуклонно эволюционировала в направлении правового государства и гражданского общества, а потом вдруг пошла совершенно другим путём. Но важно другое: автор представил своё видение истории не на языке банальных противопоставлений реформ и контрреформ, прогрессивных и консервативных шагов, а в виде системного технологического описания протекавших в нашей стране процессов. И сделал это на высокопрофессиональном уровне.

С. А. Экштут, похоже, разглядел истоки удивительной живучести «идола» представительства. В книге «На службе российскому Левиафану» он отмечает, что в XVIII в. государство, занимавшее всё пространство бытия, «не смогло своевременно осмыслить появление *новой реальности* — сферы господства частных интересов». И с этого момента «развитие российской государственности может быть представлено и осмыслено как *история болезни империи*» (67). Добавим от себя — болезни неизлечимой и смертельной. Вот где ключ к пониманию очень многих феноменов нашего прошлого. Неудовлетворенные частные интересы сублимировались в интересы политические, а потребность в комфорте переродилась в жажду социальной активности. Только началась эта «болезнь империи» как раз тогда, когда страна уверенно эволюционировала, согласно взглядам Миронова, в направлении «правомерной» монархии.

Режимы «по краям»

Параллельное рассмотрение совершенно разных по своей природе и времени существования режимов, объединённых лишь тем, что они существовали на периферии нашего государства, может показаться странным. Однако их объединяет не столько географическое расположение «на краях» страны, сколько подчеркнуто нестоличный, альтернативный историческому и политическому центру характер. Иными словами, они существовали по-другому, нежели «сердцевина» державы, или даже вопреки ей. Эти режимы — новгородская вечевая республика, антибольшевистские государственные образования и Дальневосточная республика.

Уточнение представлений о властном механизме Новгорода напрямую зависит от новых археологических данных. Находки последних лет позволяют сделать вывод, что зафиксированный в документах второй половины XIII–XV вв. способ ограничения князя в сфере фиска обладает довольно глубокими корнями и прослеживается на археологических свидетельствах XI — первой четверти XII в. В. Л. Янин заключает, что уже в XI в. и, разумеется, в последующее время «порядок взимания государственных податей, вир и продаж существенно отличался от хорошо известного по разным источникам княжеского *полюдь* в южных территориях Руси». В Новгороде «новгородские мужи» сами собирали дань, отдавая князю часть — нечто вроде жа-

лованья. Учёный не исключает и того факта, что новые находки позволят удревнить данную традицию ещё дальше — до середины IX в. В таком случае новгородский режим, основанный на договоре между приглашённым князем и местной знатью и оставляющий за последней прерогативу сбора дани, можно будет считать изначально отличным от монархических режимов Киева и Смоленска, в которых «княжеская власть Рюриковичей утверждалась не договором, а завоеванием». Эволюция своеобразного новгородского режима напрямую зависела от «успехов боярства в его стремлении к власти». Янин обозначает несколько вех в динамике «вечевого строя». Первая из них — создание в конце XI в. боярством «параллельного органа власти» в виде посадничества и установление контроля за земельной собственностью в целях предотвращения «проникновения князя и его людей в вотчинную систему землевладения». Следующая — создание в 1126 г. «сместного суда», где принятие решения фактически осуществлялось посадником. Причём и в системе организации фиска, и в «сместном суде» «вечевой строй» взаимодействовал с князем на основе вовлечения местной аристократии в его властный аппарат. Наконец, в середине XII в. в «докончаниях» особо оговаривается боярский суверенитет в приграничных новгородских волостях — объектах княжеских притязаний (68).

Подлинный прорыв произошёл в последние годы в изучении антибольшевистских режимов и механизмов их функционирования. Вышли обобщающие историографические труды Г. А. Бордюгова, А. И. Ушакова, В. И. Голдина, в которых, помимо анализа посвящённой белому движению литературы, указаны и перспективные направления исследований. Среди них — эволюция «представлений лидеров белого движения об основах государственности», а также самих белогвардейских «режимов власти»; применённые различными белыми правительствами «модели управления в решении национального, крестьянского вопросов»; сравнительный анализ структур белогвардейских аппаратов управления, соотношения в них регулярных и чрезвычайных органов. Кроме того, по мнению названных авторов, в дальнейшей разработке нуждается проблема взаимоотношения белогвардейских властных структур с правительствами государственных образований на Украине, а также в Прибалтике, Закавказье и Средней Азии. Необходимо продолжить рассмотрение режимов «в региональном разрезе», повысить внимание к деятельности белых правительств в области культуры и образования. По-прежнему сохраняется ещё достаточно лакун в истории спецслужб. Представляются актуальными исследования внешней политики белых режимов, их взаимоотношений с интервентами (69).

Исследователями уже сделан ряд принципиальных выводов о механизмах функционирования власти разных белых режимов. Отмечено влияние политической «однородности» правительства А. В. Кривошеина на проводимый им в Крыму курс, обозначены отличия этого правительства от Особого совещания (70). Проведён сравнительный анализ курсов Политического со-

вещания и Северо-Западного правительства, рассмотрены взаимоотношения обеих структур с Н. Н. Юденичем (71). Описаны мероприятия Г. М. Семенова, нацеленные на плавную либерализацию его режима в направлении парламентской демократии (72).

Из исследований, авторы которых стремятся рассмотреть белые режимы в целом — как некий специфический феномен эпохи гражданской войны, надлежит назвать работы Г. А. Трукана и В. Ж. Цветкова. Подобная задача требует от историков тонкого соединения общего видения ситуации с пониманием конкретных технологий властвования.

В этом смысле книга Трукана «Антибольшевистские правительства России» не соответствует собственному названию: политика правительств именно как властных структур теряется в изложении общей канвы событий той эпохи. Автор позволяет себе недопустимые в научном труде и притом совершенно некорректные аллюзии с недавним прошлым нашей страны, а также «сослагательное наклонение» типа утверждения, что «только Учредительное собрание давало шанс для мирного развития России без войны и потрясений». Сквозь ткань изложения проступают его явные антипатии к изучаемым персонам. Такая «идейность» (или даже «партийность») стиля оборачивается схематизмом и упрощениями. Так, суть Уфимской директории представляется автору в следующем: «Признав верховную власть Учредительного собрания, она стала демократическим противовесом и диктатуре большевиков, и диктатуре белых генералов. Но, пожалуй, самое главное заключалось в том, что Директории выпала роль первого и последнего правительства, обеспечившего на короткое время хрупкое единство социалистической и несоциалистической частей антибольшевистской коалиции» (73). Вопрос о технологической стороне деятельности Директории автор, таким образом, оставляет открытым.

Статья Цветкова является как раз примером технологического подхода к анализу рассматриваемой проблемы. Прежде всего, автор чётко разграничивает понятия «белогвардейских правительств» (признававших «единую общероссийскую власть» А. В. Колчака и совпадавших по «основным положениям политических программ») и «региональных антибольшевистских режимов» типа Временного сибирского правительства, Комуча, Уфимской директории, которые Цветков называет «демократической контрреволюцией». В отличие от лидеров этой «демократической контрреволюции», которые отвергали «любую форму единоличного правления», вожди белых «основой режима считали военную диктатуру». Вместе с тем автор отмечает, что диктаторский принцип правления «воплощался далеко не повсеместно и не в полной мере». Если назначение Колчака Верховным правителем России было фактически санкционировано Омским Советом министров, то на белом Юге диктаторское правление выглядело жёстче: «здесь отсутствовали какие-либо законодательные структуры, а работа Особого совещания при Главкоме ВСЮР систематически контролировалась Деникиным». Цветков также рассматривает характерные для белых режимов принципы организации местного

управления и самоуправления. Автор подробно останавливается на проблеме формирования их политического курса. Причём здесь исследователь разделяет подходы к решению текущих управленческих задач и проектированию будущего государственного устройства России (74).

Ещё один пример режима «на краях» страны — Дальневосточная республика. Сущность этого режима крайне трудно определить: Ю.Н. Ципкин рассматривает её как «демократическую альтернативу» остальной Советской России, причём альтернативу, преднамеренно созданную самим Центром «ради ликвидации иностранного вмешательства». Это была своеобразная «буферная республика», где правящей партией по-прежнему оставалась РКП(б). Однако, несмотря на декоративность режима (кадровые назначения на ключевые посты в ДВР осуществлялись из Москвы), его рассмотрение в данном разделе представляется правомерным: «буфер», созданный «на краях» государства, существенно отличался от той властной модели, которая в соответствии с проводимой Центром политикой стремительно утверждалась на всём остальном пространстве России. Автор приводит различные точки зрения на природу режима ДВР. Однако все исследователи однозначно фиксируют его особый характер. Другое дело, что проглядывает из-за этой специфики: только лишь марионеточный режим, созданный под конкретный проект на ограниченный срок, или же относительно самостоятельное государственное образование с тенденцией эволюции в сторону демократического и правового устройства (75).

Рассмотренные направления исследований феномена власти, несомненно, будут развиваться и дальше. Вместе с тем в рамках этого научного проекта обязательно должны появиться и следующие проблемные блоки.

История политических технологий русской власти с древнейших времен и до наших дней. Особого внимания заслуживают такие технологии, как управление по тенденциям и манипулятивные практики. Продолжится изучение механизмов пиара.

Роль бюрократии как самостоятельного субъекта власти в самодержавной, советской и постсоветской России. Взаимоотношения бюрократии и верховной власти (в лице самодержца, партийного вождя или президента). Борьба бюрократии с верховной властью: от дискредитации до провоцирования кризисов или обрушения режимов.

Аппарат власти и его автономное политическое пространство. Аппаратное «обволакивание» власти. Проблема наследования аппарата в ситуации смены режимов. «Конфликтные зоны» между властью и её аппаратом.

Власть в контексте взаимоотношений элит. Политическая история России XVIII–XX вв. как процесс коммуникаций между элитами. Ситуативное «поведение» элит при становлении, расцвете, кризисе и перемене режимов власти.

Русская интеллигенция XIX–XX вв. как программный продукт власти. Функциональная роль интеллигенции в триаде власть — бюрократия (аппарат) — элиты. Феномен «интеллектуальной оппозиции» власти: от запрограммированной имитации до подконтрольной самостоятельности. Интеллигенция как инструмент легитимации новой власти в ситуации смены режимов.

«Русский Термидор»: проблема выстраивания и функционирования постреволюционной власти в политической истории России XX в. Подходы к выстраиванию элементов старого мироустройства в новую государственность.

Региональная политика как амбивалентный инструмент взаимоотношений между властью и элитами. «Двойной стандарт» власти в отношениях с русскими и национальными регионами в советском и постсоветском режимах.

Изучение указанных проблемных блоков потребует от исторической науки преодоления дистанции, отделяющей её сегодня от политологических исследований. Разумеется, это преодоление не должно осуществляться за счёт снижения планки собственно исторического анализа. Результатом такого сближения может стать давно уже назревшая окончательная «реабилитация» текущего момента как полноправного объекта проблемного поля исторической науки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кром М.М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России //Исторические записки. Т.4(122). — М., 2001. С.376–377.

2. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Власть, собственность и революция в России: проблемы анализа в контексте методологических сдвигов современной науки //Историк во времени. Третьи Зиминские чтения. Доклады и сообщения научной конференции. — М., 2000. С.72.

3. Власть и реформы. От самодержавной к советской России. — СПб., 1996; Власть и реформы в России: Материалы «круглого стола», посвящённого обсуждению коллективной монографии петербургских историков //Отечественная история. 1998. № 2. С.3–36. Концептуальным предшественником труда петербуржцев стоит по праву назвать многотомник «Иное» — своеобразный ответ знаменитому перестроенному сборнику «Иного не дано», утверждавшему неизбежность и безальтернативность для нашей страны модернизационной модели развития. В «Ином» доказывалось обратное: России требуется совершенно особый проект. Кроме того, в многотомнике указывалось на необходимость системного технологического описания политических процессов, аргументировалась исследовательская потребность в понимании механизмов власти, ибо такое понимание является залогом выстраивания жизнеспособных государственных систем с довольно высокой степенью управляемости. (См.: Кучкаров З. Системная точка зрения на кризис: потеря управляемости //Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т.2. Россия как субъект. — М., 1995. С.86–87, 104–105; Павловский Г. Слепое пятно (Сведения о беловежских людях) //Там же. Т.3. Россия как идея. — М., 1995. С.386–389; Ушаков В. Немыслимая Россия //Там же. С.391–420).

4. Кром М.М. Ук. соч. С.376.

5. Левандовский А.А. Миф как средство легитимации власти в России (XIX–XX вв.) //Мифы и мифология в современной России. Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2000. С.129–167.

6. Симицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. (XV–XVI вв.). — М., 1998. С.326–329.

7. Скоробогатов А. Семiotика власти Павла I //Ab Imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2001. № 1–2. С.165–190.

8. Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и её русское переосмысление). — М., 1998. С.7, 108; *Он же*. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. — М., 2000. С.30–31.

9. Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII — начала XX в. — М., 2001. С.307.

10. Автор различает две составляющие «потестарного образа власти». Одна — имманентная — проистекает из договорных отношений между общинами и князем. Соловьев называет её «договорной легитимацией». Она представляет собой довольно «жесткую» конструкцию, мало подверженную внешним воздействиям. Другая составляющая — знаковая — «более податлива». В ней соединяются «обряды, диктуемые логикой договорной легитимности (въезд князя в город, заключение ряда, пир)», с обрядами церковными. В домонгольский период обе эти составляющие причудливым образом переплетаются друг с другом. «Для знаковой сферы, — отмечает Соловьев, — становится существенно необходимой апелляция к одной или нескольким традициям: отчинной, византийской и церковной». А «договорная легитимация» существует «под прикрытием» знаковой сферы. Монгольское нашествие уничтожило «договорную легитимацию». А в знаковой сфере «формируется крайне противоречивый образ власти, постоянно “распадающийся” на составные части — образ слуги и образ правителя». Существенные перемены в имманентной составляющей произошли во второй половине XIV в.: «отчинная традиция» стала восприниматься как исключительное право великого князя в отношении других князей, а идея богоустановленной власти из знаковой сферы перешла в имманентную. Сама же знаковая сфера продолжала экстенсивно разрастаться. Наконец, уже в XV в., особенно при Иване III, происходит взаимопроникновение имманентной и знаковой сфер на основе своеобразного «договора государя с Богом, предметом которого стала вся Русская земля». (См.: Соловьев К.А. Властители и судьи. Легитимация государственной власти в Древней и Средневековой Руси. IX — первая половина XV вв. — М., 1999. С.233–235.)

11. Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России XVII века. — М., 2000. С.253–254.

12. Зорин А. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. — М., 2001. С.28–29.

13. Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мнение в 1905–1907 гг. — СПб., 1997. С.28 и др.

14. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. — М., 1999. С.222.

15. Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция (1801–1825). — СПб., 1998. С.212; Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. — Казань, 1997. С.186; Тихина З.П. Самодержавие и Русская Православная Церковь в первой четверти XIX века. — Волгоград, 1999. С.178.

16. Кудрявцев М.П. Москва — Третий Рим: Историко-градостроительное исследование. — М., 1994. С.182–186.

17. Игумен Александр (Федоров). Образно-символическая система композиции древнерусского города. — СПб., 1999. С.75.

18. Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи или империя как стиль. — М., 2001. С.73, 76, 139, 150.

19. Shevyrev A. St. Petersburg and Moscow: Two Capitals, Two Images of Power //Les images du pouvoir dans l'Occident, a Byzance et en Russie au Moyen Age et a l'epoque moderne. — Goettingen, 2003 (в печати).

20. Автор называет этот код «культурой 2». Предшествовавшая ей «культура 1», ассоциируемая с эпохой 20-х, являлась абсолютной противоположностью «культуры 2». Казалось бы, автор не говорит ничего нового: очевидна разница между свойственным 20-м деструктивным революционным нигилизмом в отношении традиционных форм бытия (причём на всех уровнях его организации — от государственного и до семейного) и характерной для времени «зрелого» сталинизма специфической реставрацией имперской политической культуры, в которой нашлась ниша даже для православия. Однако Паперный предлагает иной критерий различения этих двух культур. По его словам, особенностью «культуры 1» является горизонтальность, т. е. «ценности периферии становятся выше ценностей центра», а «люди устремляются в горизонтальном направлении, от центра». Но самое главное, что в этой ситуации «власть не занята архитектурой или занята ею в минимальной степени». В «культуре 2» ценности аккумулируются в центре, а само «общество застывает и кристаллизуется». Следовательно, «власть начинает интересоваться архитектурой — и как практическим средством прикрепления населения, и как пространственным выражением новой центростремительной системы ценностей». Тонкие наблюдения автора заставляют признать, что иное архитектурное решение может, с точки зрения технологии власти, оказаться гораздо более эффективным инструментом политики, нежели несколько знаковых кадровых перестановок или прокручиваемых в СМИ брэндов. Чего стоит одно только приводимое Паперным высказывание архитектора А.В. Щусева: «Преимниками Рима являемся только мы». Или восприятие усыпальницы вождя мирового пролетариата как «ворота, через которые как бы выходит к колоннам демонстрантов дух Ленина, материализовавшийся

- в стоящих на мавзолее вождях». Архитектура, как и идеология, «спускается сверху», а её «художественность (иными словами, заложенные коды и смыслы, программирующие население в нужном направлении. — Д.А.) возникает в частной игре, которую ведут друг с другом Архитектор и Власть». (См.: Паперный В. Культура «Два». — М., 1996. С.20, 48, 56, 72.)
21. Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. — М., 2002.
 22. Неклесса А.И. Глобальный Град: творение и разрушение //Новый мир. 2001. № 3. С.146; Пятигорский А.М. Древний Человек в Городе //Октябрь. 2001. № 11. С.3–85.
 23. Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. С.188, 195.
 24. Древнерусское единство: парадоксы восприятия //Родина. 2002. № 11–12. С.10.
 25. Никитин А.Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III //Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и факты. — М., 2001. С.586–628; Григорьев Г.Л. Кого боялся Иван Грозный? К вопросу о происхождении причины. — М., 1998. С.63–65.
 26. Медведев Ж.А. Секретный наследник Сталина //Вопросы истории. 1999. № 7. С.101.
 27. Медведев Р.А. Загадка Путина. — М., 2000. С.20–29; Третьяков В.Т. Жёсткая логика президентских загогулин //Независимая газета. 17 ноября 1999 г.
 28. Dolbilov M. The Political Mythology of Autocracy: Scenarios of Power and the Role of the Autocrat //Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. № 2(4). Fall 2001. P.794–795.
 29. Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors: Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350s — 1570s. — Helsinki, 2000. P.219, 221.
 30. Волгин И.Л. Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом. — М., 1998. С.242–431.
 31. Тайный советник императора. — СПб., 2002.
 32. Шишкин О.А. Убить Распутина. — М., 2000.
 33. Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя. — М., 2002. С.234.
 34. Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущёв и его советники — красные, чёрные, белые. — М., 2002. С.316.
 35. Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли... С.248.
 36. Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. — М., 1999. С.191–192.
 37. Мальшиева С.Ю. Временное правительство России. Современная отечественная историография. — Казань, 2000. С.204–205, 207.
 38. Смирнов Н.Н. Февраль и российская государственность //Россия в XIX–XX вв.: Сборник статей к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина. — СПб., 1998. С.312–313.
 39. Коваленко Н.А. Центральная власть и аппарат управления в России: механизм формирования и функционирования (февраль–октябрь 1917 г.). — М., 2000. С.291.
 40. Белошапка Н.В. Временное правительство в 1917 г.: механизм формирования и функционирования. — М., 1998. С.157–161.
 41. Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март–апрель 1917 г.) //Отечественная история. 2001. № 2. С.142–143, 145, 147, 150.
 42. Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945–1991. — М., 1998. С.543, 544.
 43. Чрезвычайно важным для характеристики режима представляется замечание Пихоя о том, что конфликт между Президентом и Советами являлся, «по большому счёту, внепартийным или, точнее, надпартийным». Действительно, при всей видимости раскола общества именно по партийной ориентации подлинная причина политической напряжённости первых двух лет правления Ельцина коренилась в общей неопределённости, свойственной абсолютно любому переходному режиму. Более того, именно внепартийность ельцинской системы стала одним из факторов её устойчивости и фактической безальтернативности — как в эпоху «двоевластия», так и тем более в период 1993–1999 гг. (В последнем случае весьма примечательной представляется шутка времени начала Первой Чеченской войны: «Ты за Ельцина с Баркашовым или за Гайдара с Анпиловым?») Или рекламный ролик президентской кампании 1996 г. «Ельцин — президент всех россиян», где слово «всех» было набрано шрифтом, которым печатается название газеты «Правда»). Данные сюжеты, безусловно, должны получить адекватное освещение в будущих исследованиях.
 - Пихоя выделяет ещё одну особенность режима, с особой силой проявившуюся в дни после подписания Указа № 1400. Речь идёт о так называемой «третьей силе» — региональных элитам. Очевидная зависимость федеральной власти от этой «третьей силы» характерна вообще для всего периода ельцинского правления. А до Октября 1993 г. фактор «регионального присутствия» в большой политике попросту превосходил все допустимые пределы. Именно поэтому предложенный «третьей силой» «нулевой вариант» (одновременная отмена Указа № 1400, а также вызванных им решений съезда и Верховного Совета) в принципе не устраивал ни одну из конфликтующих сторон. «Если бы выборы, организованные под контролем регионов, состоялись, — замечает Пихоя, — то под “политическое списание” попадали все активные сторонники противостояния». (См.: Пихоя Р.Г. Конституционно-политический кризис в России 1993 года: хроника событий и комментарий историка //Отечественная история. 2002. № 4. С.69, 75, 70; № 5. С.119, 120, 123.)

44. *Королев А.С.* История междукняжеских отношений на Руси в 40-е — 70-е годы X века. — М., 2000. С.236–239.
45. Призрак федеративной монархии. Древняя Русь: парадоксы восприятия. Полемика //Родина. 2002. № 9. С.38, 39, 40.
46. *Анисимов Е.В.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. — СПб., 1997. С.291, 292.
47. *Петрухинцев Н.Н.* Царствование Анны Иоанновны: формирование внутривластного курса и судьбы армии и флота 1730–1735 гг. — СПб., 2001. С.29, 299–302.
48. *Шишкин В.А.* Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная Россия (1917–1928 гг.). — СПб., 1997. С.359–360.
49. *Леонов С.В.* Рождение советской империи: государство и идеология 1917–1922 гг. — М., 1997. С.306–307.
50. *Павлова И.В.* Механизм власти и строительство сталинского социализма. — Новосибирск, 2001. С.142, 143, 144, 149, 165, 440–444.
51. *Деятов С.В.* Единовластие в России. Возникновение и становление (1922–1927 гг.). — М., 2000. С.340–342.
52. *Гимпельсон Е.Г.* НЭП и советская политическая система. 20-е годы. — М., 2000. С.396–397.
53. *Криворученко В.К., Пыжиков А.В., Родионов В.А.* Коллизии «хрущёвской оттепели». Страницы отечественной истории 1953–1964 годов XX столетия. — М., 1998. С.87; *Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В.* Постсталинское общество: проблема лидерства и трансформация власти. — М., 1999. С.16; *Пыжиков А.В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953–1964 гг.). — М., 1998. С.189; *Пыжиков А.В.* Политические преобразования в СССР (50–60-е годы). — М., 1999. С.294–299.
54. Не обгоняя историю //Родина. 2001. № 3. С.8–12.
55. *Сорокин Ю.А.* Российский абсолютизм в последней трети XVIII в. — Омск, 1999. С.316, 318, 319.
56. Апогей самодержавия? Нехрестоматийные размышления об императоре Николае I //Родина. 1997. № 2. С.51–56.
57. *Высочков Л.В.* Император Николай I: Человек и государь. — СПб., 2001. С.13.
58. *Данилов А.А., Пыжиков А.В.* Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. — М., 2001. С.10, 275.
59. *Попов В.П.* Сталин и советская экономика в послевоенные годы //Отечественная история. 2001. № 3. С.66.
60. *Пихоя Р.Г.* СССР: История власти... С.273–274, 343.
61. *Козлов В.А.* Массовые беспорядки в СССР при Хрущёве и Брежневе (1953 — начало 1980-х гг.). — Новосибирск, 1999. С.9–10, 15, 17–19, 405–407 и др.
62. *Демин В.А.* Государственная дума России (1906–1917): Механизм функционирования. — М., 1996. С.160–162.
63. *Куликов С.В.* IV Государственная дума и формирование высшей исполнительной власти в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917) //Россия в XIX–XX вв... С.262.
64. *Руднева С.Е.* Демократическое совещание (сентябрь 1917 г.): История форума. — М., 2000. С.249.
65. *Протасов Л.Г.* Всероссийское Учредительное собрание: История рождения и гибели. — М., 1997. С.4.
66. *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т.2. — СПб., 2000. С.114, 119, 122, 124, 127, 133, 140, 141, 147, 148, 149, 157.
67. *Экштут С.А.* На службе российскому Левиафану. Историко-социологические опыты. — М., 1998. С.14, 5.
68. *Янин В.* Как устоял «вечевой строй». Становление новгородской государственности //Родина. 2002. № 11–12. С.79; *Он же.* У истоков Новгородской государственности. — Великий Новгород, 2001. С.83.
69. *Бордюгов Г.А., Ушаков А.И., Чураков В.Ю.* Белое дело: идеология, основы, режимы власти. Историко-графические очерки. — М., 1998. С.270–271; *Голдин В.И.* Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х — 90-е годы). — Архангельск, 2000. С.142–143.
70. *Ушаков А.И., Федюк В.П.* Белый Юг. Ноябрь 1919 — ноябрь 1920. — М., 1997. С.58–61.
71. *Смолин А.В.* Белое движение на Северо-Западе России. 1918–1920 гг. — СПб., 1999. С.220–235, 253–297.
72. *Василевский В.* Забайкальская белая государственность. Краткие очерки истории. — Чита, 2000. С.152–162.
73. *Трухан Г.А.* Антибольшевистские правительства России. — М., 2000. С.116, 62–63.
74. *Цветков В.Ж.* Белое движение в России. 1917–1922 годы //Вопросы истории. 2000. № 7. С.56–73.
75. *Ципкин Ю.Н.* Дальневосточная республика: опыт демократической альтернативы //Из истории гражданской войны на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.): Сборник научных статей. — Хабаровск, 1999. С.139, 140.

КОНСПИРОЛОГИЯ И ЭСХАТОЛОГИЯ НА РУБЕЖЕ МИЛЛЕНИУМОВ

Д. А. АНДРЕЕВ, В. Б. ПРОЗОРОВ

Тайные механизмы власти, невидимые центры управления, закрытая сторона происходящих политических процессов — все эти конспирологические сюжеты традиционно вызывают повышенное внимание исследователей. Проблемы, с которыми обычно сталкиваются при изучении подобных сюжетов, также традиционны — отсутствие надёжных источников информации, малоубедительные критерии проверяемости. Именно в силу таких обстоятельств сколь-либо серьёзные и взвешенные работы по данной тематике довольно редки. Однако, несмотря на указанные сложности, популярность конспирологических изысканий не спадает.

Другое дело — как подходить к рассмотрению этой модной темы. И здесь по-прежнему актуальной остаётся проблема даже не методологии научного поиска (методологические споры, как правило, ведутся о нюансах и филигранных деталях исследовательских подходов), а элементарного описательного языка. Видимо, оптимальное решение заключается в отыскании способов понимания самого мифа, его истоков и взаимодействия с другими идеями, формирующими ту или иную культурную среду, а также путей возможного развития. Такой подход не содержит полемического начала, что, в свою очередь, поможет сохранить определённую дистанцированность исследователя от предмета его изучения.

Ещё одним условием эффективного анализа конспирологических моделей является широта взгляда. Для адекватного понимания идеи необходимо погружение в мир, где она оказалась востребованной. Отсюда представляется совершенно оправданным использование самых разных по своей природе источников информации: от философских сочинений и до произведений художественной литературы.

Иными словами, качественная трансформация в изучении конспирологической мифологии уже давно назрела. Более того, некоторые отечественные и зарубежные исследования, выполненные в последние годы, уже позволяют констатировать её начало. Задача настоящего очерка как раз и состоит в том, чтобы проследить, в чем конкретно заключается эта «новая конъюнктура» и как она утверждается в качестве перспективного направления научного поиска.

Новые тенденции в изучении конспирологии

Начнём с того, что лежит на поверхности, т. е. с тех работ, которые рассматривают конспирологию как феномен интеллектуальной истории. В качестве примера обратимся к исследованиям М. Хагемейстера и В. Э. Багдасаряна.

Хагемейстер разводит понятия «мифа о заговоре» и «теории заговора»: если первое представляет собой определённый сюжет, встраиваемый мифотворцем в ткань исторического бытия, то второе — это подход к «интерпретации событий или процессов» как раз с точки зрения такого мифа. Автор предлагает две классификации теорий заговоров — по концептуальному содержанию (от «метафизического» заговора Антихриста до «регионального» заговора против конкретной страны) и по технологии его реализации (группой заговорщиков или же в соответствии с предначертаниями некоего плана).

Наиболее интересными представляются рассуждения автора о «миропонимании», на котором основаны мифология и теория конспирологии. По его мнению, такому «миропониманию» свойственны телеологическое восприятие исторического процесса как результата «планомерных и целенаправленных действий», оценочный дуализм и буквально оккультная вера в существование некоего тайного смысла всего происходящего. Развивая далее эту мысль, Хагемейстер называет причины особой популярности конспирологии в России. По его словам, этому способствуют присущие нашей культуре апокалиптизм и мессианизм, обострённый дуализм и оккультные искания, иступленная страсть к истолкованию знамений и особая популярность псевдонаучных знаний (типа «русского космизма», гумилёвского «этногенеза» или фоменковских спекуляций) (1).

Совершенно очевидно, что рассуждения о предрасположенности русских к конспирологии во многом выглядят натяжкой и даже более того — своеобразной попыткой (причём вопреки пресловутой западной политкорректности!) обоснования национальной ущербности. Однако сам подход автора (не развенчивать конкретные мифы о заговорах, но понять их в культурном контексте), безусловно, выводит изучение конспирологических моделей на качественно новый уровень.

Фундаментальное исследование Багдасаряна представляется в этом смысле ещё более новаторским. Его работа построена на масштабном фактическом материале. Автор не обошёл своим вниманием ни одну из существующих конспирологических концепций. Обращает на себя внимание и грандиозный временной промежуток в полтора столетия, на протяжении которого он рассматривает развитие представлений о заговоре. Неожиданной выглядит уже отправная точка этого периода — «историософская схема» Ф. М. Достоевского. По словам Багдасаряна, она явилась «квинтэссенцией отечественной историографии теории заговора второй половины XIX в.», а самого писателя следует считать «знаковым символом русской конспирологии» и даже «отцом»

всего «данного историографического направления». Отталкиваясь от «Легенды о Великом Инквизиторе» и «Дневника писателя», автор интерпретирует взгляд Достоевского на эсхатологическое противостояние православного (русского) и католического (западного) миров. При жизни писателя это противостояние обрело ещё и значение заговора антихристианского европейского социализма против мессианской роли России.

Багдасарян подробно описывает, как развивались представления о заговоре в дореволюционной общественной мысли и публицистике русского зарубежья. Буквально по крупицам автором собраны и проанализированы факты о перипетиях отечественной конспирологии в советский период. Разумеется, не обойдён вниманием и весь тот массив литературы по данной проблематике, который обрушился на нас за последние 10–15 лет. При этом следует особо отметить, что автор на всём протяжении своего объёмного труда просто знакомит читателя со взглядами своих героев, воздерживаясь от каких бы то ни было попыток их критического анализа. Такой подход превращает книгу в уникальный компендиум сведений о «теории заговора».

Описательность отнюдь не придаёт исследованию Багдасаряна оттенок хрестоматийности и ничуть не снижает собственно научную планку. К тому же автор не ограничивается лишь изложением конспирологических моделей, но пытается выявить определённые закономерности их возникновения и развития. По его мнению, «теории заговора» представляют собой «альтернативное видение природы исторического процесса». Следовательно, задачей историка «конспирологической мысли» является, по мысли Багдасаряна, изучение не заговора как такового, но «преломления веры в него в рамках исторических концепций». В отличие от самого факта заговора, «вопроса антиномичного и потому не разрешимого в принципе», конспирологические модели представляют собой «фиксируемую реальность, требующую изучения». Таким образом, предметом исследования автора оказывается именно феноменологическая, а не эмпирическая составляющая «теории заговора» (2).

Выход книги Багдасаряна делает ненужным наше обращение к целому ряду конспирологических моделей, получивших особое распространение в последние годы. Среди них — дихотомическая конспирология А. Г. Дугина, мифология «Приората Сиона», изыскания Г. Климова и В. Пруссакова, интерпретации советской эзотерической политики О. А. Шишкина. Данные модели детально охарактеризованы Багдасаряном, а их авторы с момента выхода в 1999 г. его «Теории заговора» пока не добавили к своим концепциям ничего принципиально нового.

Качественные изменения произошли в последние годы и в конспирологической эмпирике. Их результатом стало фактическое закрытие — в силу исследовательской исчерпанности — темы масонского влияния на политическое развитие предреволюционной России. Выявлена и детально охарактеризована ниша, которую занимало масонство, определена степень влияния «братских» связей на надпартийное сотрудничество как в рамках Думы, так и в общественных структурах, оформившихся в годы Первой мировой войны.

Обозначены идеологические границы доктринальных установок различных масонских структур. Наиболее полное освещение эти вопросы получили в очень информативной и вместе с тем концептуальной книге В. И. Старцева, ставшей результатом его многолетних изысканий в данной области. Автор предлагает собственную аргументированную периодизацию масонской деятельности. Он подчёркивает отличие думского Великого Востока народов России от восстановленных в 1906 г. русских лож под эгидой французского масонства. Заслуживает внимания предложенная автором реконструкция механизма воздействия масонских связей на властные технологии между Февралём и Октябрём 1917 г. Старцеву принадлежит введение самого понятия «политического масонства» — структуры, нацеленной на «подготовку свержения самодержавия» и «объединение всех оппозиционных и революционных сил в борьбе против общего врага — императора Николая II» (3). Дальнейшее развитие подход Старцева получил в статье И. С. Розенталя, уточнившего нишу этого «политического масонства» в общей партийно-политической палитре русской оппозиции начала XX столетия (4).

В отличие от Старцева и Розенталя, С. П. Карпачев отказывается от институционального взгляда на масонство, предпочитая говорить о ценностных ориентирах, объединявших русскую «масонскую интеллигенцию» главным образом на идеологическом уровне. Что же касается каких-то более определённых форм её интеграции, то, по его мнению, «роли масонства как организации в русской истории рубежа XIX–XX вв. практически не существует» (5).

Отдельного рассмотрения заслуживают многотомные изыскания по истории русского масонства А. И. Серкова и О. А. Платонова.

Книги Серкова характеризует впечатляющая источниковедческая догадка, воплотившаяся, в частности, в издании уникальной энциклопедии русского масонства. По сути, эта энциклопедия представляет собой три самостоятельных компендиума — исторический словарь масонской терминологии, биографический справочник, а также список масонских лож и их членов. Автором выработан оптимальный биографический формуляр, включающий в себя как общие сведения о том или ином человеке, так и собственно масонскую составляющую его деятельности (6).

Однако исследовательские монографии Серкова выглядят менее удачными. За обилием приводимых им фактов подчас слабо прослеживается авторская концепция. А порой допускаются и вопиющие неточности, типа утверждения: «Великий Восток народов России не создавался как надпартийная политическая организация, но, постепенно удаляясь от чисто масонских задач, приобрёл характер политического объединения к 1915–1916 гг.» (7). Достаточно взглянуть на персональный состав создателей Великого Востока народов России, являвшихся в большинстве своём политическими деятелями, чтобы понять ошибочность такого утверждения. К тому же Серков и прямо декларирует своё исследовательское «кредо» именно как стремление «зафиксировать» факты, происходившие внутри самого масонства. Следовательно, задача вписать масонство в реалии общественной жизни попросту отсутствует,

ибо, по словам автора, «это другая, “немасонская” жизнь, с другой “стилистикой” самовыражения, с другим “ритмом”, с другими подходами». Безусловно, и такая исследовательская задача имеет право на существование, однако, более актуальными и востребованными представляются всё-таки иные ориентиры — как раз понять и объяснить роль и место масонства в перипетиях политической истории России. И Серков как высокопрофессиональный исследователь не может этого не понимать. А вызывающий тон в совершенно неуместной декларации по поводу его личного отношения к масонству, игра образами М. А. Осоргина (типа утверждения, что «мастерские — лаборатории миропонимания, а не арена деятельности»), или преподнесения масонства как «тайного союза посвящённого познания» (8)) вполне могут быть поняты как намек автора на принципиальное нежелание выходить за пределы масонского «пространства».

Исследования Платонова написаны в противоположном ключе. Автор стремится доказать, что «масонство является формой иудейской идеологии, орудием осуществления человеконенавистнических, расистских принципов Талмуда». А масонские структуры и их дочерние филиалы «являются своего рода идеалом закулисного управления миром, который иудейские владыки пытаются навязать всем неевреям» (9). Подобную задачу вот уже на протяжении как минимум полутора веков ставили себе многие исследователи, однако, до сих пор безрезультатно. Просто никак не складывается силлогизм о всемирном еврейско-масонском заговоре: противостояния иудаизма и христианства, с одной стороны, и масонства и христианства, с другой стороны, очевидны, а вот третья — итоговая — связка о «всемирном заговоре» никак не складывается. Однако воздержимся от уничижительной критики Платонова: составленная им масштабная подборка фактов уже сама по себе представляет интерес.

Взвешенную и аргументированную оценку сочинениям Серкова и Платонова даёт О. Ф. Соловьёв. Он указывает на фактические (заметим, именно фактические, а не мировоззренческие) изъяны работ обоих авторов и сожалеет по поводу того, что их «ангажированность» повредила объективности. Так, например, Серков явно преувеличивает значение русского заграничного масонства на рубеже XIX–XX вв., а Платонов попросту «замалчивает» независимость от французского масонства Великого Востока народов России (10). Сам Соловьёв в монографии, посвященной роли масонства в мировой политике XX в., подробно не рассматривает Великий Восток народов России, однако, его книга является довольно удачной попыткой анализа масонской составляющей международных отношений. Наиболее интересным и содержательным представляется раздел о масонстве в межвоенной Европе (11).

Указанный прорыв в изучении русского масонства XX в. стал первым в отечественной исторической науке серьёзным шагом по «расколдовыванию» некогда весьма острой конспирологической проблемы. Однако заслуги самих «масоноведов» здесь нет. Масонский сюжет в истории либеральной оппозиции самодержавию оказался закрытым в силу исследовательской ис-

черпанности темы самой этой оппозиции. Прояснение более общей проблемы сняло актуальность вопроса частного, проходного. А ведь именно предреволюционный период традиционно рассматривался как время апогея масонской активности.

Однако о других успехах на поприще постижения эмпирической ткани масонских сюжетов говорить пока что преждевременно. Отсутствие источников не позволяет идти далее предположений и догадок. Одним из возможных направлений следующего прорыва в масонской конспирологии представляется анализ собственно самой мифологии заговора в контексте порождающей её эпохи. Удачный пример такого подхода — недавнее исследование конспирологической мифологии в политической культуре Третьей республики во Франции: выявление очагов мифотворчества, идентификация информационно-пропагандистской направленности тех или иных моделей, увязывание конкретного конспирологического брэнда со спецификой текущего момента позволяют довольно точно определять вероятные «адреса» закулисных политических штабов (12).

Мифология заговора вовсе не ограничивается лишь масонской проблематикой. В последние годы в интеллектуальной жизни нашего общества возникла и успешно набирает силу своеобразная «мода» на конспирологическую модель, «заигрывающую» с эсхатологической мифологией. Ей-то как раз в основном и посвящен настоящий очерк.

«Конец истории» против Конца Света, или Заговор против эсхатологии

Всё началось ещё на излете 80-х, когда прозвучало знаменитое фукуямовское заклинание о «конце истории» и наступлении новой — постисторической — эпохи, в которой прежние цели и смыслы бытия, порождённые христианской европейской культурой, попросту перестают работать. Это заклинание претендовало на роль некоего нового откровения, призванного заменить якобы обветшавший за два тысячелетия взгляд о грядущем и неизбежном Конце Света. Таким образом, «конец истории» — это идейный антипод собственно эсхатологического сценария. Тем не менее вброшенный на рынок элитных интеллектуальных изысков новый брэнд оказался чрезвычайно востребованным и оживил интерес к самым разным моделям финала человеческого существования — в том числе и собственно эсхатологическим.

Следует, однако, отличать эсхатологические представления, которые в принципе не могут быть внерелигиозными, от эсхатологической риторики, образности и символики — т. е. приемов, задействованных для интерпретаций тех или иных феноменов светской культуры. Правда, обращение к эсхатологическим символам как к своеобразному языку, наиболее адекватно выражающему духовные запросы современности, уже само по себе свидетельствует

о каком-то квазирелигиозном состоянии сегодняшнего сознания. А, может быть, под маской респектабельных и даже вполне постмодернистских размышлений начинают исподволь разворачиваться уже, казалось бы, безвозвратно оставшиеся в прошлом эсхатологические полемики многовековой давности?

Обратимся к вышедшему недавно весьма любопытному исследованию Л. Кациса «Русская эсхатология и русская литература». Эта обстоятельная книга повествует как раз об апокалиптическом «градусе» культуры «серебряного века». На многочисленных примерах автор иллюстрирует, каким образом в начале минувшего века осуществлялась рецепция эсхатологических мотивов и что собой представляли их новые интерпретации. Аргументированное изложение, интересные находки и наблюдения, тонкое понимание нюансов художественного сознания изучаемой эпохи — все эти и многие другие достоинства работы Кациса свидетельствуют о ней как о серьёзном вкладе в дело сугубо научного исследования феномена эсхатологического мифотворчества. Однако сказанное автором о «Дополнении к “Диалектике мифа”» А. Ф. Лосева заставляет взглянуть на книгу Кациса и как на своеобразный субъект такого мифотворчества.

Весь пафос Кациса сводится к доказательству антисемитизма Лосева. При этом автор ссылается преимущественно на текст, составленный в недрах ОГПУ и представляющий собой своеобразный конспект «Дополнения». Понятно, что столь специфический документ преследовал собой вполне конкретные цели дискредитации философа. Судить о его подлинных взглядах по этому «апокрифу» попросту некорректно. Тем не менее Кацис торопится заявить, что «гепеушный реферат сделан, видимо, точно» (13).

Книга Кациса вышла ещё до того, как А. А. Тахо-Годи опубликовала все сохранившиеся в Центральном архиве ФСБ РФ фрагменты «Дополнения». Наиболее одиозные высказывания (в частности, о «еврейском достоинстве»), на которые ссылается Кацис, в этом реконструированном тексте отсутствуют. (Видимо, всё-таки уж очень творчески интерпретировал лосевские взгляды «гепеушный реферат»!).

Однако другие заковыченные высказывания из «реферата» подтверждаются подлинными высказываниями самого Лосева. Так, Кацис цитирует замечание о «еврействе» как «оплоте мирового сатанизма». Действительно, философу принадлежит высказывание: «С точки зрения христианства еврейство есть сатанизм, а с точки зрения еврейства христианство есть бесплотная фантастическая выдумка» (14). Однако любой мало-мальски сведущий в истории иудаизма и христианства человек подтвердит абсолютную каноничность данного утверждения — причём с позиций обеих конфессий, между которыми действительно существует неразрешимое эсхатологическое противоречие. Но Кациса, видимо, не интересует теологическая аргументация. Он спешит преподнести это противоречие именно в политической упаковке: «Надо отдать должное философской иронии Лосева, который неприятие антропоморфизма христианства в иудаизме именует “бесплотной выдумкой”».

Однако, как очевидно, за бесплотную выдумку не убивают и не сажают в гетто на протяжении веков. А вот “сатанизм” — достаточное условие для аутодафе!». Допустимы и этичны ли при анализе межконфессиональных барьеров убойные политические доводы? Выходит, что Кацис даёт на этот вопрос положительный ответ.

Автор «Русской эсхатологии» идёт ещё дальше. По его мнению, приведённое замечание Лосева красноречиво свидетельствует об «удивительном параллелизме в истории двух тоталитаризмов» — сталинского и гитлеровского: в одно и то же время, на рубеже 20-х и 30-х гг., «появляются в советской России и в предфашистской Германии две работы — обе о мифе: “Миф XX века” и “Диалектика мифа” с её “Дополнениями”, где на разных мифологических основах — на полужыгеской прагерманской и имяславческой — делаются очень схожие выводы».

Следуя такой логике, можно отыскать истоки фашистской идеологии и в антииудейской полемике, присутствующей практически в любой из книг новозаветного канона. И Кацис, похоже, готов пойти на подобный шаг. Отвечая Л. Столовичу, полагающему, что «у Лосева был не антисемитизм, а религиозный антииудаизм», автор «Русской эсхатологии» восклицает: «Как будто одно исключает другое?!».

Столь наивный вопрос был бы простителен человеку малообразованному. Но в устах высокопрофессионального специалиста по истории русской духовной культуры он обретает просто провокационный оттенок. Антисемитизм действительно не исключает антииудаизма. А вот из антииудаизма, изначально свойственного христианству, вовсе не следует антисемитизм как что-то само собой разумеющееся. И Кацис не может этого не знать.

Вообще при чтении «Русской эсхатологии» не проходит ощущение некоей изначальной антилосевской заданности её автора. Причём порой полемические аргументы Кациса попросту не выдерживают критики. Так, например, он иронизирует по поводу мнения Столовича о высказывании Лосева: «Израиль — проклятье всего христианства», но он всё-таки спасется, по словам «таинственного пророчества апостола». (Тартуский философ находит в приведённых словах «отнюдь не антисемитизм, а скорее сочувствие к страданиям еврейского народа» (15)). А разве не так? Или Кацис считает пророчество апостола Павла о том, что «весь Израиль спасется» (Рим. 11: 25–27) сознательным пропагандистским трюком «антисемита из Тарса»?

Складывается впечатление, что Кацис преднамеренно дискредитирует обострённое эсхатологическое мироощущение Лосева. «Серебряный век» *играл* в эсхатологию, эпатуруя апокалиптическими предчувствиями и ожиданиями. Эта *игра* стала объектом пристального научного анализа Кациса. Лосев относился к эсхатологии предельно серьёзно и в результате оказался «антисемитом». Может быть, в ситуации «конца истории» в принципе непозволительно задумываться о Конце Света? А что в таком случае ожидает нас в постисторическое время?

Постмодернистская тоска по утраченному чувству времени, или Грёзы о Средневековье

В 1996 г., находясь в Москве, Ж. Бодрийяр охарактеризовал нынешнее — постмодернистское — мироощущение в весьма мрачных тонах. В сегодняшнем нивелированном и унифицированном мире культура, по его словам, всё более напоминает некую *постисторическую помойку*, на которой каждая вещь воспринимается исключительно в качестве мусора, пусть более или менее ценного, но всё же мусора, отброса. Наступила эпоха тотальной обратимости, когда абсолютно любая вещь оказывается полностью тождественной собственной противоположности, и «ничто не защищает более символическое пространство» (16). Мы оказались в пространстве «трансполитики» — своеобразной «зоне, где всё становится обратимым, где можно повернуть назад». В этой «зоне» происходят странные явления — «мы сталкиваемся с чем-то, что уже мертво и чему в то же время никак не удаётся умереть» (17).

Запомним эти бодрийяровские образы — они ещё помогут увидеть современность в совершенно неожиданном ракурсе. А пока что отметим одну весьма существенную особенность постмодерна — своеобразную *хронофобию*. Обозначенный Ф. Фукуямой выход за пределы Истории оборачивается выпадением из Времени в некую «зону», где привычные представления о прошлом, настоящем и будущем в принципе не работают. Где уж тут говорить об эсхатологии с её изначальной заданностью движения от некогда утраченного в результате грехопадения Едемского сада до завершения земного бытия как формы жизни.

Обитать вне Времени — нелегкое испытание для человеческой души. Смятённая и подавленная, она принимается искать убежище, в котором ей стало бы уютно, как прежде, когда ещё было Время... Стоит ли поэтому удивляться, что идеальным вариантом такого убежища начинает казаться Средневековье с его предельно осмысленным и цельным восприятием Времени. (Отсюда, кстати, происходит и сегодняшняя мода на своеобразное «виртуальное Средневековье» с его анимационными рыцарями, Гарри Поттером, компьютерными играми в эпоху Мерлина и короля Артура). Ещё в середине 80-х известный итальянский семиолог и писатель У. Эко говорил в очерке «Возвращение Средневековья» о грезах по обе стороны Атлантики о давно минувших днях. Причём тоска по Средневековью — это, по его словам, не только лишь «типичный современный или постмодернистский соблазн»: подобная ностальгия была свойственна уже Возрождению (18).

Как Возрождение могло испытывать ностальгию к Средневековью, когда яростная борьба с ним составляла смыслообразующий стержень ренессансного мироощущения? Адекватны ли наши представления об этих эпохах их подлинному содержанию? Или же образы Средневековья и Возрождения оказались ныне некими символами, с помощью которых можно лучше понять современность?

«Режим» Возрождения: неожиданная находка постмодерна

Недавно в нашем распоряжении оказались два знаковых текста, способствующих разрешению этих вопросов.

Один из них — уже упомянутые реконструированные фрагменты лосевского «Дополнения к “Диалектике мифа”». Философ излагает собственное эсхатологическое понимание Возрождения именно как антихристианского заговора. «Возрождение, — говорит он, — открывает собою тот период истории, когда человек будет ненавидеть Бога, злобствовать на Него, бороться с Ним». Следовательно, сущностью Возрождения является сатанизм. Однако «возрожденцы» всё-таки остерегались выставлять это напоказ. Они, по мысли Лосева, действовали гораздо тоньше. Философ даёт любопытную реконструкцию их конспирологической модели: «В самом начале Бога мы даже и трогать не станем. Бог-де, конечно, есть. Помилуйте! Как же без абсолютного существа! Даже и в церковь, пожалуйста, ходите. Но просим только одной безделицы: *признайте, что вы имеете право на существование*». В данном утверждении скрыта вся квинтэссенция заговора «возрожденцев», ибо в христианстве человек «мыслит себя прахом, пылью, абсолютным ничто перед божественными совершенствами». Возрождение доказывает обратное — а «в этом-то и заключен весь секрет». Да, виртуозно и практически неуязвимо: «И Бог остаётся нетронутым, и религия остаётся в целости, и мир существует, как существовал до сих пор, но... *я тоже* имею право на существование». Именно такое «невинное *тоже* и есть *огромная* победа сатаны над Богом» (19). Остальное сложится уже само собой — секуляризация сознания, обожествление разума, поклонение прогрессу.

Другой текст — книга В. В. Бибихина «Новый ренессанс» — представляет собой авторское изложение взглядов современных зарубежных исследователей на роль и место Возрождения в истории культуры. В этой работе целый раздел (кстати, с весьма характерным названием «Подрыв христианства») посвящён той же самой проблеме, о которой так горячо полемизировал Лосев. Здесь Бибихин довольно подробно излагает позицию протестантского мыслителя Ж. Эллюля. Западный философ стремился объяснить кризис христианства (причём не только сегодняшний, но и проявившийся, по его мнению, уже в первые века истории церкви) «нечеловеческой, невыносимой высотой» новой веры. Непреодолимая и недоступная для человека планка евангельских требований, считал Эллюль, сделала неполноценной его религиозную жизнь, ибо «разрушив религии с их почвенной моралью, христианство не дало ничего взамен». Тезисы Эллюля, обладающие, по оценке Бибихина, «достоинством отчётливой ясности и убедительной простоты», звучат, как своеобразный приговор Благой Вести: «Христианство не религия. Оно не удовлетворяет религиозные потребности человека, а наоборот, по своему

существу и в своей истине противоречит им». Причём под «религиозными потребностями» Эллиус подразумевал вполне определённую вещь: «естественный человек», как следует из его слов, «всегда был религиозен и наделял исключительным мистическим смыслом явления природы или функции социального организма». А уж коли призывы Христа «противоположны естественным наклонностям и привычкам, невыносимы и неприемлемы для здравого рассудка», то «препарирование Евангелия в вековечном религиозно-мистическом духе» оказывается чем-то само собой разумеющимся. Тем более, что ещё накануне Возрождения западноевропейское богословие под исламским воздействием собственными руками привнесло в христианство изрядную долю эзотерического мироощущения: «От Дионисия Ареопагита взяли рискованный образ нисхождения божества по ступеням космического и земного бытия. Расцвела мистика — восточное изобретение, своеобразная техника богообщения, отсутствующая в Библии и Евангелии: в Павловом перечислении даров духа мистики нет» (20).

Тексты Лосева и Бибикина удивительным образом дополняют и объясняют друг друга. Комментарии здесь попросту излишни. Остаётся лишь понять: имеем ли мы дело с обыкновенным, пусть жарким, но всё-таки заурядным, научным спором, или сегодня образы Возрождения приобретают какое-то особенное значение. В пользу последнего говорит уже хотя бы само название книги Бибикина. Написанное вопреки устоявшимся правилам с маленькой буквы да ещё с определением «новый» слово «ренессанс» звучит подобно некоему манифесту... Однако, чтобы лучше разобраться во всём этом, вслед за двумя изложенными текстами процитируем ещё один.

По мысли Эко, мироощущение, основанное на мистике (удовлетворяющей, по «Новому ренессансу», в отличие от христианства, «религиозные потребности» человека), в наиболее концентрированном виде отразилось в оккультном учении герметизма, возникшем ещё в эпоху Поздней Античности. Основопологающим постулатом герметизма является принцип *всеобщего подобия*: каждая вещь находит собственное подобие во всякой другой вещи, и мир целиком отражается в *любом* своем конкретном проявлении. Другая ключевая идея данной эзотерической системы — отказ от закона причинной обусловленности. Герметизм исходит из того, что «взаимодействие различных элементов универсума» осуществляется в соответствии со «спиралеобразной логикой симпатизирующих друг другу элементов». Таким образом, и сам герметический Универсум — это нечто вроде «сети переплетающихся подобий и космических симпатий». Иными словами, известный способ выстраивания умозаключений — «post hoc ergo propter hoc» (после этого — значит, по причине этого) — превращается в герметизме в своё зеркальное отражение — «propter hoc ergo ante hoc» (по причине этого — значит, перед этим).

Ключевой механизм герметического семиозиса — так называемый «герметический дрейф» («интерпретативный обычай, преобладавший в ренессансном герметизме и основывавшийся на принципах универсальной анало-

гии и симпатии») — это, по сути, бесконечный переход «от значения к значению, от подобия к подобию, от связи к другой связи». Герметический семиозис напоминает «неограниченный семиозис» Ч. Пирса — одного из основоположников теории знаковых интерпретаций. Однако у Пирса «знак есть нечто, посредством познания которого мы постигаем нечто большее»; квинт-эссенцией герметического семиозиса могла бы стать несколько отличная формула: «Знак есть нечто, посредством познания которого мы постигаем нечто иное» (21).

Намёк Эко прозрачен. Пространство постмодерна — это пространство интерпретаций. Ещё в середине 70-х Ж. Делез и Ф. Гваттари предложили в качестве метафоры, наиболее адекватно характеризующей данный тип мироощущения, образ «ризомы» — лабиринта, у которого нет ни входа, ни выхода, ни центра, ни периферии; лишь только бесконечное множество пересекающихся друг с другом дорожек. Выпадая из Времени, человек обрекает себя на вечное и бесцельное скольжение от одного знака к другому. Такое блуждание становится смыслообразующим и ко всему прочему ещё фактически повторяет древнюю оккультно-мистическую практику, заново открытую в эпоху Возрождения. Круг замкнулся. Секулярный и прагматический постмодерн на поверку оказался «новым изданием» ренессансной эзотерической доктрины. Видимо, в ситуации «конца истории» Время начинает вести себя непостижимым образом. Возрождение — этот объект безудержных восторгов эстетствующих интеллигентов — вовсе не освобождало личность от «гнёта средневековой тьмы и невежества». Напротив, Ренессанс устанавливал режим предельно жёсткого, даже тоталитарного мифологического господства. Этот режим отвергал христианские ценности и утверждал языческие. Отсюда его востребованность на исходе XX в. выглядит вполне естественной.

«Маятник Фуко» — энциклопедия постмодернистской конспирологии

Вышедший в 1988 г. роман Эко «Маятник Фуко» — красочная литературная иллюстрация такого конспирологического сценария. Действие романа происходит в период с начала 70-х и до середины 1984 г. преимущественно в Италии. Трое друзей знакомятся с вариантом дешифровки одного средневекового текста, похожего на некий План тайной деятельности тамплиеров, спасшихся после разгрома ордена королем Филиппом Красивым. Они принимают его обсуждать и домысливать. В результате на основе краткого текста, представляющего собой в общем-то бессвязные словосочетания, «реконструируется» глобальный План, рассчитанный на несколько веков и служащий руководством к действию ордена тамплиеров. Практически вся европейская история — от Шекспира, Бэкона, иезуитов, масонов, розенкрейцеров и до Гитлера, вишистского

правления, Нилуса, Витте, Николая II — начинает рассматриваться героями как реализация Плана. Постепенно друзей начинают окружать весьма странные личности, как бы намекающие на то, что желают быть посвященными в План, хотя герои держат своё «изобретение» в строжайшем секрете и не дают никакого повода для догадок о его существовании. Действие романа подходит к развязке.

Один из друзей умирает от рака. С другим происходит парадоксальная история — его захватывают люди, называющие себя Тамплиерами-Рыцарями Интернациональной Синархии, т. е. в реальной жизни возникает орден ТРИС — главный субъект придуманного друзьями Плана. Как оказывается, к этому ордену принадлежат практически все действующие лица романа. В ночь Святого Иоанна они собираются в парижской Консерватории Науки и Техники и пытаются заставить захваченного ими героя раскрыть секрет Карты мирового господства (одного из элементов «восстановленного» друзьями Плана), однако, тот отвечает на все их домогательства презрительной иронией. В ярости адепты ордена казнят его — вешают на тресе маятника Фуко, являющегося одним из экспонатов Консерватория.

Третий герой наблюдает эту трагическую развязку, спрятавшись в укромном месте Консерватория. Затем ему удается покинуть это оккультное действо; но он знает, что дни его сочтены — люди ТРИС наверняка уже идут следом за ним...

Эко высмеивает постмодернистское ризоматическое мироощущение — своеобразное «новое издание» ренессансного герметизма. Находясь внутри Плана и занимаясь бесконечными интерпретациями событий мировой Истории, герои романа *играли*. Их блуждание в дебрях Плана чем-то напоминало игру в прятки с самим собой в ризоматическом лабиринте с зеркальными стенами. Этаким ветвящимся зеркальным коридором, применяемым в некоторых эзотерических практиках для выхода в иную реальность. Поначалу путник старается не обращать внимания на десятки собственных отражений. Затем он пытается скрыться от них, однако, осознав бесплодность подобных попыток, в изнеможении начинает воспринимать их как равных, а себя — одной из своих многочисленных копий. Вскоре путнику уже кажется, будто он — лишь отражение другого отражения. И, наконец, в одном из тупиков зеркальной ризомы он лицом к лицу сталкивается с тем, кто лишает нашего героя последнего свойства — быть... Следует ли поэтому удивляться, что плод человеческого воображения способен в один прекрасный миг стать явью и начать реальное материализованное существование. Как рассуждает в конце романа последний оставшийся (пока) в живых герой, «стоит только выдумать План — и он осуществляется другими, значит, План как если бы действительно существовал, более того — отныне он существует».

Друзья осознают свою трагическую ошибку. Умерший от рака признается перед смертью, что рассматривает свою болезнь как наказание за План — за эту шутку с Историей. «Мы, — говорит он, — согрешили против Слова, сотворившего и удерживающего мир». Повешенный на маятнике Фуко пред-

почёл смерть пошлому подыгрыванию ТРИСовцам, ибо не пожелал предать необычайный духовный опыт, приобретённый в детстве. В самом конце войны ему доверили исполнить на трубе торжественный отбой на похоронах павших партизан. В его жизни это был «решающий момент, тот, который оправдывает рождение и гибель» — он тогда «глядел в глаза Истине». Наконец, третий из друзей начинает в какой-то момент понимать всю ничтожность напыщенной эзотерической лжемудрости перед простыми, но абсолютными христианскими истинами. Вспомнив характерное для эпохи Антонинов «тяготение к таинственности», он восклицает: «А ведь как раз незадолго до того явился некто, кто заявил о себе как о сынове Божиим, который воплотился и искупает грехи человеческого рода. Что, этого мало? И обещал каждому спасение, достаточно только полюбить ближнего. Мало ли такой тайны?» (22).

«Маятник Фуко» — и это следует уже из двойного смысла названия романа — своеобразный ответ классику постмодерна М. Фуко, прочувствовавшему возрожденческую эпистему со всеми её «соседствами пригнанности», «переключками соперничества», «сцеплениями аналогии» и «пространством симпатии и антипатии» как некий личный опыт Комментатора, наблюдающего мир из «промежутка между первичным Текстом и бесконечностью Истолкования» (23). Маятник после казни изменяет траекторию своего движения: колебания продолжают лишь под повешенным, сверху же канат становится неподвижным. Принесённая жертва восстанавливает осмысленность и эсхатологическую направленность исторического времени. Между казнённым и небом больше нет бесцельных и однообразных колебаний, они остаются лишь внизу.

От «Нового ренессанса» к «Новому гностицизму»

Оккультная Традиция, переоткрытая Возрождением и пригретая постмодерном, начинает всё чаще раскрываться через образ гностицизма, представляющего собой кульминацию антиэсхатологической мифологии.

Так, говоря о «религиозном измерении» постмодерна, П. Козловски указывает на его удивительное сходство с духовной ситуацией в пору Поздней Античности. Это подобие двух эпох идеально описывается формулой: «Если пророческие ожидания близкого будущего не находят осуществления, им на смену приходят апокалипсические ожидания, если же и они не осуществляются, их сменяет гностицизм». Для Поздней Античности данная схема очевидна и не нуждается в комментариях. Применительно к современности некоторые уточнения просто необходимы. По мысли философа, по мере разочарования модерна «в скорой осуществимости своих утопических ожиданий, он впадает в апокалипсическое отчаяние». Однако и здесь модерн подстерегает разочарование: эсхатологическая развязка явно задерживается. Модерн оказывается обречённым на нигилизм. Антинигилистический рецепт автора «Культуры

постмодерна» сводится к призыву повторить пример Поздней Античности, т. е. «заменить нигилизм гностицизмом».

Однако его «гностицизм» имеет мало общего с одноименным оккультным учением первых веков нашей эры. «Философский гностицизм, или гностическое пространство, — считает философ, — представляют собой не начальные ступени в философии или в христианской вере, а форму познающей религиозности и религиозного познания». Иными словами, именно синкретическая природа роднит древний гностицизм, представлявший собой смесь различных средиземноморских и ближневосточных эзотерических доктрин, и изобретение автора — специфическую попытку соединить воедино рациональное мышление и религиозное чувство. Но важно другое: Козловски преподносит «гностическую форму христианской философии и религии» как «наиболее прогрессивную форму сознания» именно в силу её нацеленности на «действительность человеческого существования». «Действительность», в принципе не нуждающуюся в эсхатологической мифологии (24). И в этом смысле понятно обращение философа к образу гностицизма — религиозно-мистической системы, в которой в силу её внутреннего дуализма эсхатологическая перспектива не предопределена, как в христианстве.

Говоря о проблеме выявления в современной культуре элементов гностического мироощущения, следует особо остановиться на концепции А. И. Неклессы. По его мнению, в настоящее время мир оказался в пространстве «постхристианской цивилизации», в которой господствует некая «неопознанная культура» — гностическая по всем своим основным показателям. Неклесса детально объясняет свой взгляд, предваряя аргументацию развернутой характеристикой основных черт гностицизма именно как специфической позднеантичной эзотерической доктрины.

Прежде всего, гностицизму свойственно отношение к миру материальному как к «области несовершенного, случайного», «пространству “плохо сделанного” земного и человеческого космоса». (Вспомним теперь бодрый-ровский тезис о «постисторической помойке»: сколь созвучен он, как оказывается, гностическому мироощущению!).

Бог в гностицизме предельно дистанцирован от совершенно «чуждого ему творения». (Именно в этом, помнится, обвинял Эллюль христианского Бога; видимо, протестантский мыслитель несколько ошибся адресом). Он напоминает «аристотелев перводвижитель». Самому же миру — результату творения — «присущ тот же механицизм, что и у язычников, нет лишь страха и пиетета перед ним». (Здесь опять невольно возникают ассоциации с неудовлетворёнными «религиозными потребностями» описанного в «Новом ренессансе» «естественного человека»).

Характерны для гностицизма «абсолютизация роли зла, презумпция отдалённости и неучастия “светлых сил” в земных делах при близости и активном соучастии в них “сил тёмных”, а также вытекающий из данной прискорбной ситуации деятельный пессимизм». Развивая приведенный тезис Неклессы, подчеркнём, что из данной особенности гностицизма как раз

и следует свойственная ему антиэсхатологическая мифология. Точнее, фактическая равносильность добра и зла, усугубленная недостижимой трансцендентностью безучастного Творца, лишает эсхатологическую перспективу какой бы то ни было предопределённости. Нет надежды на чаемое в Конце Света исправление земного несовершенства. Бессмысленными становятся упования на искупление грехов и спасение души. Лишенная таких подпорок вера перерождается в игру, скольжение по удовольствиям, погоню за стилевыми разнообразиями. Ведь если нет Конца Света, то всё позволено.

Из специфических черт гностицизма Неклесса также выделяет «глубокий, порой онтологичный дуализм», претворяющийся на социальном уровне в «радикальный, обострённый элитаризм»; иерархический эзотеризм, обращающийся стремлением к выстраиванию «скрытой власти, действующей параллельно власти официальной, но невидимой для неё»; особое «системное мышление» как страсть к придумыванию «бесконечных миров, числовых, нумерологических систем».

Гностицизм, считает Неклесса, похож на некое «упрощённое христианство», которое «близко современному человеку, развращённому потребительской логикой, эманациями поп-культуры и обожающему именно эффективные упрощения, для понимания которых достаточно поверхностного усилия разума». Вместе с тем нельзя не заметить «странной тяги» гностицизма к христианству: хотя они и противоположны в доктринальной основе, различие между ними порой «кажется столь “узким”, словно из сферы субстанции оно переходит в область акцентов». В древности гностицизм даже «свидетельствует о христианстве, как полноценная тень свидетельствует о светиле». Однако между двумя системами пролегает непреодолимая пропасть: «гностицизм, копя в сердце нигилизм, отрицает жизнь и, тяготея к силе искусств, “изобретает несуществующее”, в то время как христианство приходит в падший мир, чтобы попытаться его спасти». (Заметим попутно, что уже один этот нюанс — как и лосевское «*тоже* имею право на существование» — обнажает сатанинскую, с христианской точки зрения, природу гностицизма).

Столь подробное вступление требуется Неклессе для плавного перехода к доказательству его главного тезиса — о гностической природе европейского капитализма, причём как раннего, так и современного.

Подобно «двойничеству-оборотничеству» гностицизма, сосуществовавшего в древности рядом с христианством, «подчас в одних и тех же душах и умах», в эпоху Средневековья и особенно накануне Возрождения «параллельно проекту создания на земле универсального пространства спасения *Universum Christianum*» рынок, превращавшийся в своеобразный «мир-двойник», воздвигал «собственный амбициозный глобальный проект — построения вселенского *Pax Oeconomica*». Причём духовным «тиглем» капитализма были «разноконфессиональные», как их определяет Неклесса, однако, «единые в своей основе гностические ереси»: павликиане, богомилы, катары, вальденсы, а также, конечно, храмовники, «активно занимавшиеся финансовой деятельностью» и создавшие систему, оказавшуюся «впечатляющим прообразом будущих ТНБ, ТНК и виртуальных сообществ-государств».

На примере вальденсов философ показывает, как в еретических общинах, находившихся в условиях подполья, вызревал «дух протестантизма» с его «особым отношением к труду, личным аскетизмом, самоотречением, честностью и скрупулезностью, корпоративизмом, экономией, строгостью нравов».

Неклесса рисует впечатляющую картину сотворения *Pax Oeconomica* как результата заговора средневековых гностических сект: «Изгнанные из легального мира, вынужденные жить в нём “в масках”, общаться между собой непрямой образ сектанты вскоре обнаружили, что именно вследствие данных обстоятельств обладают серьёзными конкурентными преимуществами и великолепно подготовлены для “системных операций”; иначе говоря, владеют готовым механизмом для успешной реализации сговора и контроля над той или иной ситуацией, для разработки и проведения в жизнь сложных, многошаговых проектов, крупных (суммарных, коллективных) капиталовложений, доверительных соглашений, требующих долгого оборота средств и одновременного, деятельного соприсутствия в разных точках земли» (25).

В эпоху Реформации еретическое подполье легитимизируется, переплавляясь либо в протестантские секты, либо в тайные общества Нового времени. Их адепты уже надёжно удерживают в своих руках контроль за мировыми финансовыми ресурсами.

Ход дальнейших событий ясен. Почти пять веков минуло со времени Реформации. Сетевая культура и иные технологии глобализации сделали мир гораздо более управляемым. Детально рассмотрев гностическую природу корней постсовременности, Неклесса не делает каких-либо конкретных футурологических предсказаний о возможном будущем гностицизма. Однако это уже вопрос эсхатологии, а не геоэкономики, в рамках которой философ рассматривает гностицизм. Тем не менее исследование Неклессы создаёт цельное представление о рецепции гностицизма в европейской истории — со времени Средневековья и до наших дней. А детальный разбор природы гностицизма и его характерных черт уже сам по себе подводит читателя к очевидным аналогиям с сегодняшним состоянием постмодерна.

Итак, налицо эффектная мифологическая картина убедительной победы разворачивавшегося на протяжении обоих тысячелетий нашей эры гностического антихристианского заговора. Причём, как видно из работы Неклессы, во всех сферах нашего бытия — от экономики и до культуры.

Литературная подсказка к конспирологическим загадкам

В самом начале мы заявили о принципах своего подхода — говорить не о подлинных или мнимых сторонах тех или иных конспирологических моделей, а рассматривать заговоры как своеобразные мифологические феномены. В качестве примера такого подхода нами был предложен вариант возможной

реконструкции заговора против эсхатологии — основы христианского мироощущения. Показав, как работает данный подход, можно было бы в принципе и поставить точку. Но есть одно литературное произведение, которое позволяет взглянуть несколько иначе на всё, до сих пор сказанное.

Бестселлер В. О. Пелевина «Generation “П”» рисует перед нами фантазмагорический мир, в котором вся власть принадлежит людям, контролирующим электронные СМИ и рекламный бизнес. Выдаваемый ими продукт — от рекламного слогана до информационных сводок — это своеобразный наркотик для потребителей, презрительно именуемых «ботвой». Политика как таковая отсутствует: вместо неё — снимаемые в телестудии сюжеты, погружающие зрителя в виртуальную реальность событий, якобы происходящих на самом деле. Абсолютная манипуляция сознанием «ботвы». Убедительнейшее подтверждение синонимичности понятий власти и пиара. Но и это ещё не всё. Оказывается, что и над медиамагнатами есть власть — таинственная древневосточная богиня Иштар. В её честь творцы виртуального мира совершают ритуалы, правда, не очень-то и вникая в их суть. «Кто всем этим на самом деле правит?» — Изумлённо восклицает главный герой, неожиданно для себя избранный во время одного из таких ритуалов «мужем великой богини» и получивший вследствие этого всю полноту власти над своими коллегами-телевизионщиками. «Мой тебе совет — не суйся», — посоветовал ему один из сослуживцев. И добавил: «Дольше будешь живым богом. Да я, если честно, и сам не знаю. А столько лет уже в бизнесе».

Эта пародия на наши российские реалии рубежа XX–XXI вв. могла бы, конечно, показаться уморительно смешной, если бы не была столь безысходно страшной. Мертвенно леденящей кажется и ерническая авторская обмолвка, как бы вскользь брошенная на первых страницах книги: «Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нём участвует всё взрослое население России». Пелевин мастерски рисует довольно редкую в теоретической конспирологии, но, к сожалению, весьма часто тиражируемую у нас на практике модель *заговора против самих себя*. И главное — в этом случае попросту некого винить. Мы, «ботва», хотим быть объектами манипулятивных технологий. И нам даже где-то приятно, что за правильно подчеркнутые нами избирательные бюллетени кто-то кому-то платит астрономические суммы в «зелёных». Мы уже «на игле» от ящика с голубым экраном. Как презрительно бросает пелевинский герой, оценивая достоинства только что отснятого компромата: «Первый плюс — вызывает ненависть к телевидению. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть» (26).

Вот так — просто и безо всякого гностицизма, несмотря на ритуалы в честь богини Иштар.

Эсхатология как проект

Эсхатологическая тематика сегодня чрезвычайно популярна. Она упакована в самые разные жанры — от памфлетов и до серьёзных научных исследований. Главное же, что объединяет все такие жанровые упаковки, это восприятие эсхатологической мифологии как некоего проекта. Подобный «проектный» взгляд на жизнь вообще характерен для сегодняшнего мироощущения, «отрегулированного» на язык рекламных брэндов и пространство виртуального рынка. Каталогизация мира завершается. Сегодня этой процедуре подвергается эсхатология.

В пародии на соловьёвские «Три разговора» Н. Н. Спасский представляет апокалиптику в образах эдакого «спецмероприятия», раскручиваемого спецслужбами. «Сценарий Конца Света» — выполняемый на заказ аналитический продукт, в основу которого положено Откровение Иоанна Богослова (27). Е. Ихлов и С. Митрофанов рассматривают «индустрию пророчеств» как неперемennую составную часть любого претендующего на масштабность (и главное — на успешность) «политического проекта» (28).

Подлинный «шедевр» инверсии эсхатологической мифологии преподносит В. И. Мильдон. По его мнению, эсхатологический проект (именуемый им «милленаризмом») — подлежащий изживанию рудимент, от которого уже отказался прогрессивный Запад. Мильдон употребляет даже ещё более сильное выражение: «милленаризм — враг человеческий, сколько б ни были интимны его предпосылки». Вредоносность милленаризма, как оказывается, заключается в том, что он ищет «абсолютное решение». А это — проявление тоталитаризма. Германский фашизм, по мнению Мильдона, был последним всплеском «эсхатологизма в историческом сознании Запада». После его краха европейская культура отвергла «эсхатологическую модель истории». А вот Россия, к сожалению, всё ещё пребывает в тенетах этого предрассудка из-за того, что у нас, в отличие от Запада, до сих пор ещё не сформировалась личность. А ведь как только «индивид становится действующим лицом истории, эсхатологизм в качестве социального проекта теряет влияние на умы и уходит в область личных или сектантских настроений». Поэтому главная цивилизационная задача России заключается в том, чтобы «отказаться от многовековой национальной идеи, от милленаристских упований и *войти в историческое время*» (29).

Однако эсхатологический проект сегодня — не только предмет интеллектуальных спекуляций или утончённого «промыывания мозгов». Подлинно новаторским и заслуживающим самого пристального внимания следует считать подход А. Л. Юрганова к изучению русской истории XV–XVII вв., отталкивающийся от фундаментального и определяющего для средневекового человека эсхатологического мироощущения. Историк обращает внимание на то, что уже само складывание Московского царства при Иване III проис-

ходило в ситуации напряженного ожидания Конца Света, предполагавшегося в 7000 г. от сотворения мира (1492 г. от Рождества Христова). Русская государственность поэтому уже изначально содержит в себе достаточно высокий эсхатологический «градус». Автор показывает исключительное значение для духовной культуры той поры апокрифического Откровения Мефодия Патарского, в котором царской власти отводится принципиальная роль в эсхатологическом финале Истории: царь «возвращает» Богу полученную от Него прежде власть. Юрганов считает, что на геральдическом уровне эти представления отразились в символе Московского царства — всаднике, разящем копьём змия.

Автор рассматривает опричнину Ивана Грозного как реакцию царя на очередной пик эсхатологических ожиданий в 60-е гг. XVI в.: царь стремился покарать зло накануне Страшного Суда. Эсхатологические мотивы изобилуют в символике как Опричного дворца, выстроенного по образу описанного пророком Иезекииелем Града Божьего, так и в облачении самих опричников. Чрезвычайно значимым представляется итоговый вывод историка: «Если признать в Русском средневековом государстве смыслополагательную самость, выраженную самосознанием современников, то можно утверждать, что государство это было эсхатолого-мессианским» (30).

Анализируя книгу Юрганова, М. М. Кром выражает опасение, что предложенный автором подход может привести к заключению об абсолютной погруженности средневекового сознания в ожидание Конца Света, когда «всё вообще было проникнуто эсхатологией, каждый шаг исполнен глубокого смысла», и не существовало «ничего будничного или случайного» (31). Можно, конечно, дискутировать по поводу степени востребованности средневековым мирочувствованием эсхатологической мифологии. Однако обозначенные в начале данного раздела игры сегодняшнего сознания с эсхатологией убедительно свидетельствуют как раз о ярко выраженном стремлении современных мыслителей «протиснуться» в тот или иной эсхатологический проект. А там уже вероятность случайного будет чрезвычайно мала.

Перспективы конспирологии в ситуации экспериментального эсхатологического проектирования

Завершая очерк, мы ещё раз подчёркиваем, что предложенная конспирологическая версия претендует на определённую концептуальную полноту и завершённость именно как мифологический феномен. «Конспирология — это целостный корпус идей», — отмечает Д. Пайпс (32). Добавим к этому определению: взятых во всем многообразии взаимного влияния и рассмотренных на максимально возможном временном промежутке. От того, насколько будут учтены оба фактора, напрямую зависит понимание как самой модели, так и возможных перспектив её дальнейшего существования.

Мы уверены, что интерес к конспирологическим исследованиям будет усиливаться. В ситуации, когда мир и протекающие в нём процессы становятся всё более и более прогнозируемыми, управляемыми и направляемыми, востребованность подобной информации очевидна. Другое дело — как, в каких образах и на каком языке следует в XXI в. описывать процессы и механизмы незримой власти. Сегодня уже можно назвать отдельных мыслителей, вплотную подошедших к этому новому стилю конспирологического анализа.

С. Е. Кургиян предлагает даже название для этой сферы исследований — «параполитика». Данным термином, по его мнению, можно обозначить «сумму субъектов и технологий, действующих в условиях непрозрачности». Содержательная сторона «параполитики» наиболее адекватно раскрывается через понятие «Эксперимента», отражающего достигнутый между мировыми элитами консенсус по поводу путей дальнейшего развития цивилизации (33).

А. И. Неклесса говорит о своеобразной революции, произошедшей в технологии глобального управления в конце 60-х — начале 70-х. Именно тогда к сложившейся в эпоху Нового времени и представлявшей собой реальный механизм государственной и надгосударственной власти «триаде» *элита — клуб — правительство* прибавляется новая составляющая в виде научно-аналитических структур. Возникают так называемые «интеллектуальные корпорации», в которых «сочетаются фундаментальное знание, знание прикладное и достаточно новый тип знания — проектное». В результате «происходит соединение знания и власти, выработка для последней оптимальной политики в самых разных областях, разработка ключевых принципов, практических мер, курса действий и — что подчас оказывается не менее важно — их семантического прикрытия (интеллектуального программирования)». Эти «интеллектуальные корпорации» срастаются «с инфраструктурой закрытых клубов, рождая многочисленные метаморфозы — передаточные ремни нового поколения социальных проектов». В качестве примеров таких корпораций Неклесса называет Римский клуб и Трёхстороннюю комиссию. Эти и другие подобные структуры и провели в последнюю четверть прошедшего века проект глобализации (34).

Наконец, не следует игнорировать и кажущиеся парадоксальными утверждения В. М. Фершта о том, что за трагедией 11 сентября 2001 г. стоит новая элита финансистов-интеллектуалов, стремящаяся к переделу мира и формированию «новой экономической географии» планеты (35).

Неограниченные возможности мировых финансовых элит мало у кого вызывают сомнения. Важно другое. При всём прагматизме представителей этих элит их мироощущение вовсе не является секулярным. И. А. Исаев в очерках, посвящённых оккультно-мистическому подтексту концепций власти с эпохи Античности до Нового времени, говорит о необходимости «эзотерической политологии». Только с её помощью, по его мнению, возможно постигнуть «скрытые аспекты власти», понять их функционирование и место в общей системе технологий управления. В частности, автор подробно рассматривает роль алхимической символики в абсолютистской идеологии (36).

«Эзотерическая политология» актуальна и сегодня. Дж. Сорос, например, считает наиболее адекватными для описания своих собственных технологий биржевой игры образы алхимического действия (37). Выходит, что тайный культ богини Иштар, адептами которого являются пелевинские медиакраты, не такая уж и выдумка...

Политика ныне превращается фактически в мистическое действие, магический ритуал. Её гностическое пространство не нуждается в эсхатологической осмысленности и направленности. Она творит собственные эсхатологические проекты, в которых безраздельно господствуют сегодняшние «посвященные», манипулирующие «ботвой». Как сказал герметист начала XX в. Д. Странден: «Тот, кто понимает принцип вибрации, тот схватил скипетр власти» (38).

Исследователи данных сюжетов непременно должны учитывать все эти реалии беспрестанно усложняющегося мира. В противном случае они будут обречены на бесконечное перемалывание баек о «жидо-масонском» заговоре (что, похоже, также является составной частью некоего проекта). Хотя, возможно, современная виртуальная политика выдумает и какие-нибудь иные псевдоугрозы, отвлекающие внимание от её подлинного содержания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Хагемейстер М. Миф о заговоре против России // Мифы и мифология в современной России. — М., 2000. С.92–111.
2. Багдасарян В. Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины XIX–XX вв. — М., 1999. С.22–23, 4, 6, 451.
3. Старцев В. И. Русское политическое масонство начала XX века. — СПб., 1996. С.4.
4. Розенталь И. С. Масоны и попытки объединения политической оппозиции в России начала XX века // Вопросы истории. 2000. № 2. С.52–67.
5. Карпачев С. П. Масонская интеллигенция России конца XIX — начала XX века. — М., 1998. С.230.
6. Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг.: Энциклопедический словарь. — М., 2001. С.8.
7. Серков А. И. История русского масонства. 1845–1945. — СПб., 1997. С.109.
8. Серков А. И. История русского масонства после Второй мировой войны. — СПб., 1999. С.401–404.
9. Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и материалы. Т.1. — М., 2000. С.6, 7.
10. Вопросы истории. 1998. № 9. С.155–159.
11. Соловьев О. Ф. Масонство в мировой политике XX века. — М., 1998. С.93–167.
12. Parry D. L. L. Articulating the Third Republic by Conspiracy Theory // European History Quarterly. Vol.28. № 2. April 1998. P.163–188.
13. Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература. — М., 2000. С.542.
14. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. — М., 2001. С.501.
15. Кацис Л. Ук. соч. С.650–651, 648, 650.
16. Рыклин М. После конца истории // Независимая газета. 1996. 25 апреля.
17. Рыклин М. Вирус прозрачности (Интервью с Ж. Бодрийяром) // Независимая газета. 1996. 22 февраля.
18. Eco U. Travels in Hyperreality. — London, 1987. P.65.
19. Лосев А. Ф. Ук. соч. С.256–259.
20. Библихин В. В. Новый ренессанс. — М., 1998. С.206, 219, 221, 226, 213.
21. Eco U. The Limits of Interpretation. — Bloomington–Indianapolis, 1990. P.19, 24, 26, 27, 28.
22. Эко У. Маятник Фуко. — СПб., 1998. С.730, 666–667, 746, 731.

23. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. — М., 1977. С.89.
24. Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997. С.31, 35–36.
25. Неклесса А.И. Неопознанная культура. Гностические корни постсовременности //Восток (Oriens). 2002. № 1. С.129–130, 132–133.
26. Пелевин В.О. Generation «П». — М., 2000. С.328, 13, 260.
27. Стасский Н.Н. Конец Света: Современная сказка в двух действиях //Независимая газета. 1997. 14 января. В критической рецензии на памфлет Спасского С. Николаев совершенно точно указывает на очевидную востребованность такого вывернутого на изнанку эсхатологического проекта: в ситуации «полного выхолащивания национально-государственной идентичности», утраты «мессианского сознания» фундаментальная драма человеческого бытия превращается в игру, карнавал. Написанный на заказ «Сценарий Конец Света» завершается установлением Царства Зверя, а не появлением «нового неба» и «новой земли» (Откр. 21:1). Николаев видит в этом свидетельство некомпетентности автора «Конец Света». (См.: Николаев С. Инсценировка светопреставления //Независимая газета. 1997. 1 февраля). Думается, однако, что именно такой эсхатологический проект (по сути, гностический) и был заказан для «спецмероприятия».
28. Ицлов Е., Митрофанов С. Индустрия пророчеств //Книжное обозрение «Exlibris НГ». 1999. 25 марта.
29. Мильдон В.И. Миллениумы русский и западный: образы эсхатологии //Вопросы философии. 2000. № 7. С.7–11.
30. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. — М., 1998. С.329, 343, 345, 375, 380, 398, 404, 433.
31. Кром М.М. Герменевтика, феноменология и загадки русского средневекового сознания //Отечественная история. 2000. № 6. С.100–101.
32. Пайнс Д. Заговор: объяснение успехов и происхождения «параноидального стиля» (фрагменты из книги) //Новое литературное обозрение. 2000. № 1(41). С.16.
33. Кургуния С.Е. На два фронта. Концептуально-аналитический меморандум //Россия XXI. 2002. № 3. С.19, 20, 22 и др.
34. Неклесса А.И. Интеллект, элита и управление //Россия XXI. 2002. № 1. С.10–13, 17, 21. Любопытной иллюстрацией к схеме Неклессы служат высказывания С. Караганова о том, что ещё при возникновении Совета по внешней и оборонной политике в 1992 г. члены этой структуры говорили о складывании в России «недоразвитого, полуолигархического капитализма», которому «должна соответствовать широкая политическая организация масонского толка». СВОП, таким образом, «это как бы масонство, но без мастерков». Симптоматична и «шутка» Караганова о том, что «к 2010 году все министры, назначаемые в России, должны быть членами СВОП». Это гарантирует «настоящую, стабильную смену режима». (См.: СВОП — это масонство, но без мастерков //Коммерсантъ-Власть. 1999. 30 ноября. С.20.)
35. Америку взорвал не бен Ладен. И я знаю кто... //Комсомольская правда. 2002. 19 марта; Серова Е. Другие. Мы такими не были? //Московская правда. 2002. 7 июня. Сходная версия (об исключительной роли мировой финансовой элиты) высказывается и Э. Котляром. (См.: Котляр Э. Глобализм, экстремизм и мировой криминал //Московская правда. 2002. 5 июля.)
36. Исаев И.А. Politica Hermetica: скрытые аспекты власти. — М., 2002. С.11, 374, 380.
37. Сорос Дж. Алхимия финансов. — М., 1996. С.346–347 и др.
38. Странден Д. Герметизм: его происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян). — СПб., 1914. С.62.

III

Модели познания

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Михаил КРОМ

Помещая в одной статье анализ новейших отечественных публикаций по таким направлениям исследований, как история ментальностей, историческая антропология, микроистория и история повседневности, я исходил из представления о глубоком внутреннем родстве всех этих направлений. Поскольку это «родство» ещё недостаточно признано на теоретическом уровне (хотя на практике, как мы увидим, сплошь и рядом наблюдается смешение этих дисциплин даже в рамках одного исследования), необходимо хотя бы кратко обосновать избранный мною подход.

Сходство между перечисленными выше направлениями неоднократно отмечалось самими историками, внесшими вклад в их развитие. Питер Берк подчёркивал тяготение исторической антропологии к микроанализу, к изучению небольших сообществ (1). О тесной связи антропологии и микроистории писал Джованни Леви, один из создателей микроисторического направления в современной исторической науке (2). В свою очередь, микроистория, по словам немецкого историка Ханса Медика, «сестра истории быта», хотя «кое в чём она идёт своим путём...» (3). Юрген Шлюмбом, сославшись на это мнение, продолжил мысль своего коллеги, назвав два влиятельных в Германии направления исторической мысли — историческую антропологию и историю повседневности (*Alltagsgeschichte*) — «сёстрами» микроистории, хотя и не вполне идентичными ей (4).

В справедливости приведённых выше характеристик нетрудно убедиться, обратившись к классическим образцам историко-антропологических исследований. Так, книга Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю», недавно переведённая на русский язык (Екатеринбург, 2001), на равных основаниях может быть причислена как к исторической антропологии, так и к микроистории; в ней уделяется большое внимание как истории быта, так и истории ментальностей. Столь же трудно разграничить историю культуры и быта, микроисторию и историческую антропологию в таких признанных шедеврах, как «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис (рус. пер.: М., 1990) или «Сыр и черви» Карло Гинзбурга (рус. пер.: М., 2000).

Отмеченная близость историографических направлений, выступающих сейчас под разными названиями, объясняется генетически: они действительно сформировались в одну и ту же эпоху (1960-е — 1970-е гг.) под влиянием

идей выдающихся историков, антропологов, социологов, культурологов первой половины XX столетия (М. Блока, Л. Февра, М. Мосса, Б. Малиновского, Э. Эванса-Причарда, М.М. Бахтина и др.) и новых «властителей дум» (М. Фуко, К. Гирца, П. Бурдьё). Становление исторической антропологии и родственных ей направлений явилось выражением мощной историографической тенденции — потребности «вернуть» человека в историю, отказавшись от изучения безличных структур, прислушаться к голосам ушедших поколений, понять их способы мышления и поведения.

Однако родство не означает полного тождества: индивидуальный исследовательский опыт конкретных учёных, их принадлежность к тем или иным национальным школам, со своими историографическими традициями, обусловили большое разнообразие конкретных подходов и направлений. Поэтому сейчас мы можем говорить о некоем «поле» историко-антропологических исследований, на котором рядом расположены (и часто пересекаются) такие направления, как история ментальностей, историческая антропология, микроистория, история повседневности, новая культурная история (5). При этом внутри каждого из этих направлений выработаны собственные исследовательские программы, свои «кредо» и манифесты. Между сторонниками родственных по сути направлений происходят дебаты — подобно тому, как и в обычных семьях нередки разногласия и конфликты. Так, К. Гинзбург подверг критике французскую историю ментальностей, а Дж. Леви выступил против интерпретативной антропологии К. Гирца и её приложений к истории (6). Эти демаркационные линии между направлениями важны, но при этом нельзя упускать из виду то общее, что отличает всех приверженцев «истории в человеческом измерении» от сторонников макросоциальной (сословно-классовой) и макроэкономической истории, с одной стороны, и от постмодернистских мастеров сведения социальной реальности к тексту — с другой.

Для всех видов антропологической истории, как бы они ни назывались, характерен перенос акцента с исследования государственных институтов, экономических структур, больших «воображаемых» общностей (класс, нация и т. д.) — на изучение микромиров, взаимодействия людей в небольших группах, стратегий поведения индивидов и семей; а также переход от описания «исторических моментов» и громких событий к анализу рутины и повседневности.

Антропологический подход предполагает также особую чувствительность историка к языку и понятиям изучаемой эпохи, к её символам и ритуалам. Эти понятия и представления людей прошлого могут обозначаться разными терминами («ментальность», «культура», «сознание» и т. д.), но в любом случае сохраняется установка на диалог с прошлым, на выявление его «инаковости», качественного своеобразия, отличий от времени, в котором живёт исследователь.

Наконец, это интенсивная методика, предполагающая внимательное чтение источников и их интерпретацию, а для объяснения поведения и взаимодействия людей активно привлекаются термины и понятия из арсенала соци-

альной и культурной антропологии, социологии, психологии и других наук о человеке.

Очертив таким образом контуры историко-антропологического «поля», существующего в мировой науке, мы теперь можем перейти к анализу его формирования в отечественной историографии.

Менталитет: pro et contra

Из всех разновидностей антропологически ориентированной истории ранее всего — ещё в 70-е гг. — отечественные историки смогли познакомиться с детищем школы «Анналов» — историей ментальности (почему-то более употребительной стала теперь у нас немецкая форма этого слова: «менталитет»). Однако прошло ещё 20 лет, прежде чем специалисты по истории России «освоили» это понятие и начали применять его в своих исследованиях.

На 1993–1996 гг. пришёлся пик теоретического осмысления нового концепта: за это время прошли несколько конференций историков и «круглый стол» философов, посвящённые феномену российского менталитета. Материалы дискуссий были опубликованы (7); одновременно в печати появилось несколько статей историков-русистов, обобщивших достижения зарубежных коллег в исследовании менталитета и обсудивших возможности применения этого подхода к изучению отечественной истории (8).

Эти дискуссии высветили по меньшей мере две теоретические проблемы, неизбежно возникающие перед каждым историком, пытающимся применить понятие «менталитет» к изучению конкретного материала. Во-первых, кого следует считать носителем определённого типа ментальности: индивида, некую социальную группу (класс, сословие, территориальную общность) или весь народ в целом? И, во-вторых, как соотносятся в этом понятии элементы сознательного и бессознательного; другими словами, что в человеческом сознании и поведении соответствует термину «менталитет», а для чего требуются какие-то иные термины?

Что касается первого вопроса, то объяснения на этот счёт «классиков жанра» оставляют простор для различных толкований. Так, в часто цитируемой статье Жака Ле Гоффа можно найти как указание на то, что ментальность присуща всему народу в целом («это то, что имеют между собой общего Цезарь и последний солдат из его легионов, Св. Людовик и крестьянин из его владений, Христофор Колумб и матрос с его каравелл»), так и замечание о том, что ментальность является важнейшим элементом социальной борьбы, что «существуют ментальности классов, наряду с общими ментальностями» (9).

Одни участники дискуссий о российском менталитете заняли позицию, близкую к тезису Ле Гоффа об общем между Цезарем и его легионером: они полагают, что менталитет — это характеристика народа в целом. Так, например,

М. А. Кукарцева считает возможным определить менталитет как «национальный способ видеть мир и действовать соответствующим образом в определённых обстоятельствах». При этом она признаёт наличие менталитета, присущего разным группам и классам общества, но всё внимание сосредотачивает на выделении неизменных черт «совокупного русского менталитета», как то: «стремление русских во всём доходить до крайности, до пределов возможно-го...», сосредоточенность на текущем, ожидание счастья и т. п., и т. д. (10). Однако, следует отметить, что подобные оценки встречаются главным образом в общетеоретических рассуждениях о менталитете. Показательно, что большинство историков-авторов конкретных исследований на тему ментальностей в России предпочитают применять данное понятие к отдельным группам и классам населения: крестьянству, рабочим, дворянству, казачеству и т. д. (11).

В недавно вышедшей книге О. С. Поршневой о менталитете крестьян, рабочих и солдат в годы Первой мировой войны сделана попытка примирить оба отмеченных выше подхода: «На наш взгляд, — пишет исследовательница, — эти два подхода нельзя противопоставлять, так как менталитет индивида или социальной группы органически связан как с культурой народа, нации, к которой они принадлежат, так и с социальными условиями бытия человека» (12). Однако «примирение» двух этих трактовок менталитета возможно только на абстрактно-теоретическом уровне: как только историк приступает к конкретному исследованию, он должен уточнить содержание используемого им понятия, причём предельно широкая трактовка термина (менталитет = «дух народа», национальный характер и т. п.) оказывается практически непригодной для обобщения разнородных данных, отражающих региональные, этнические, религиозные, имущественные и иные отличия населения на необъятных просторах Российской империи или СССР. Вот почему исследователи, включая Поршневу, в большинстве своём предпочитают изучать менталитет отдельных социальных групп.

Двадцать пять лет назад Карло Гинзбург в первом издании своей книги о мельнике Меноккио критиковал попытки изучать ментальность целого народа от легионера до Цезаря за «внеклассовый подход». «Классовый подход — это в любом случае шаг вперёд по сравнению с внеклассовым», — писал итальянский историк (13). Удивительно, что приходится напоминать об этом в нынешней России, где ещё недавно марксизм считался «единственно верным» учением.

Однако та же проблема воспроизводится и на уровне одной большой социальной группы, будь то сословие или класс. О том, какие трудности поджидают здесь исследователя, можно судить по уже упомянутой монографии Поршневой. Во второй главе книги автор, стремясь показать изменения в менталитете крестьянства в годы Первой мировой войны, цитирует негативные высказывания крестьян о царе и царской фамилии, зафиксированные в документах министерства юстиции 1914–1916 гг. Какой-либо источниковедческой характеристики этих материалов не даётся; лишь в нескольких

случаях авторы подобных критических суждений названы по имени, с указанием их местожительства; большинство же высказываний излагаются анонимно, как «типичные», а в итоге делается вывод о «кризисе монархического сознания крестьян в условиях дискредитации в их глазах правящего монарха» (14). Бесспорно, слухи об измене, гнездившейся в царской семье, ходили в те годы по стране. Несомненно и то, что нелестные отзывы о царе часто можно было услышать тогда в городах и деревнях. Насколько, однако, эти настроения были характерны для всего многомиллионного российского крестьянства? И не существовали ли одновременно в крестьянской среде иные, верноподданнические настроения? Сама же Поршнева приводит свидетельство, относящееся к 1915 г., о надеждах вятских крестьян на то, что царь отнимет у «панов» землю и отдаст им; подобные надежды, по приводимым исследовательницей данным, были широко распространены и в ряде других губерний (15). Если учесть к тому же крайнюю изменчивость слухов и настроений, то становится ясно, что реконструкция «ментальной» картины в целом в огромной крестьянской стране даже за короткий период — задача непосильная для одного исследователя. Этим, возможно, объясняется «импрессионистическая» манера, к которой нередко прибегают историки ментальности.

Проблема, о которой шла речь выше, кратко может быть сформулирована так: в основе концепции менталитета лежит представление о некоей однородной социокультурной среде, существующей в данной группе или обществе в целом; это то, что французский историк Ален Буро назвал «ментальным холизмом» (16). А британский исследователь Питер Берк охарактеризовал эту черту истории ментальностей как тенденцию «переоценивать степень умственного согласия (*intellectual consensus*) в данном обществе в прошлом» (17). В этом коренится и сила, и слабость истории ментальности как направления: с одной стороны, способность абстрагироваться от индивидуальных различий позволяет историкам ментальностей выдвигать правдоподобные объяснительные модели, с другой же стороны, получающаяся в итоге «ментальная» картина является несомненным упрощением реальной действительности. Об этом полезно помнить российским исследователям, переживающим сейчас период романтического увлечения историей ментальностей.

Другая методологическая трудность, связанная с применением категории «менталитет» в исторических исследованиях, заключается в генетически присущем этому понятию эволюционизме. Напомню, что термин «ментальность» был впервые введён в оборот этнологом Л. Леви-Брюлем, применявшим его для изучения «пралогического» первобытного мышления (18). Будучи взят «на вооружение» историками, этот термин утратил впоследствии уничижительный смысл, однако сохранил некий антиинтеллектуализм: до сих пор все теоретики истории ментальностей подчёркивают, что речь идёт о не осознаваемых самим человеком установках сознания, привычках мышления и поведения, — эти неотрефлексированные образы и представления и есть «менталитет» (19). Однако *такое* понимание менталитета (а оно,

повторю, является наиболее распространённым) накладывает, на мой взгляд, серьёзные ограничения на его использование в качестве аналитического инструмента для изучения массового сознания и поведения людей в прошлом.

Методологически корректным представляется изучение в рамках истории ментальностей таких явлений, как слухи (20), различные страхи (включая ксенофобию) (21), а также суеверий, бытовой религиозности (например, в действующей армии) (22), — всё это действительно примеры неотрефлексированного поведения или состояния. Но оправданно ли считать частью менталитета трудовую этику крестьян или их представления о верховной власти? Разве эти представления являются чем-то безотчётным, подсознательным и начисто лишены какой-либо логики? То, что в крестьянских обычаях и поведении может показаться нам странным, оказывается вполне рациональным в тех природных и хозяйственных условиях, в которых им приходилось жить (23). Вероятно, следует (по примеру К. Гинзбурга (24)) поставить вопрос о разных типах рациональности — этот подход представляется мне более перспективным, чем традиционное противопоставление «менталитета» народных масс «идеям» образованной верхушки.

Указанная проблема имеет важный источниковедческий аспект. Можно ли считать разного рода прошения и письма, адресованные властям, источником по истории менталитета? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Ограничусь двумя показательными примерами.

Массовым источником для изучения настроений и чаяний российского крестьянства в 1905–1907 гг. справедливо считаются мирские наказания и приговоры тех лет. По мнению Л. Т. Сенчаковой, эти документы являются «зеркалом крестьянского менталитета»; однако процитированные в статье прошения крестьян содержат не некие стереотипы массового сознания, а хорошо аргументированные цифрами и фактами жалобы на малоземелье и нужду, резкие выпады против дворян и помещиков и т. д. (25). Значительно более тонкий анализ тех же документов предлагает в своей работе (опубликованной в том же сборнике) американский исследователь Эндрю Вернер: по его наблюдениям, крестьяне-просители «не только хорошо сознавали свои интересы... но и отдавали себе отчёт в том, кому они пишут» (прошения на имя Николая II составлены в более уважительном тоне, чем просьбы, адресованные отдельным членам Думы; учтены консервативные или либеральные воззрения адресата). В итоге исследователь обоснованно рассматривает эти прошения как часть процесса переговоров между крестьянами и внешним миром, а также между самими крестьянами (26).

По-видимому, термин «менталитет» просто непригоден для анализа подобных документов. То же относится и к солдатским письмам, задержанным военной цензурой (1915 г.), которые анализирует в своей книге О. С. Поршнева: выясняется, что самыми репрезентативными (по подсчётам исследовательницы) были такие суждения солдат, как недовольство жестокой дисциплиной, жалобы на плохое питание и обмундирование, констатация военнотехнического превосходства немцев и т. д. (27). Нисколько не умаляя ценно-

сти сделанных Поршневым наблюдений, хотелось бы заметить, что проанализированные ею письма содержат не какие-то «установки сознания», а живую реакцию людей на обстановку, в которой они находились. Здесь, вероятно, можно говорить о настроениях солдат, об их отношении к происходящему (вполне сознательном!), но «менталитет» здесь опять-таки не при чём.

Всё сказанное позволяет, на мой взгляд, сделать вывод о том, что расширительное толкование и чересчур частое использование термина «менталитет» снижают эффективность его применения в качестве инструмента исследования.

Между тем в арсенале историков есть и другие, более нейтральные (хотя и более расплывчатые) термины, которые употреблялись ещё в 60–70-х гг., до знакомства с французским *mentalité*. К таким понятиям относятся, в частности, «общественное (массовое) сознание» и «социальная психология». Эти термины, однако, принадлежат к другой научной традиции: если «ментальность» родилась на стыке истории и антропологии (этнологии), то два других понятия заимствованы историками из лексикона психологов. Именно к этой традиции принадлежит «историческая психология», разрабатывавшаяся в 60–70-е гг. Б. Ф. Поршневым и его последователями (28). В публикациях последних лет термины «ментальность» и «историческая психология» часто употребляются рядом и порой как синонимы, что не вполне правомерно (29).

В традиции исторической психологии выполнено исследование Е. Н. Марасиновой о сознании дворянской элиты в последней трети XVIII в. Работа основана на контент-анализе 1800 писем, принадлежащих 45 авторам. Предмет изучения определяется Е. Н. Марасиновой как «психология», или «социально-психологический склад» дворянской элиты. В духе социальной психологии, стремящейся к построению модели «базисной личности» (30), автор пытается представить «преобладающий тип личности российского дворянина» (31).

Психологии российских участников войн XX в. посвятила свои исследования Е. С. Сенявская (32). Автор определяет методологию своей работы как синтез трёх направлений: исторической психологии в духе школы «Анналов», философской герменевтики и экзистенциализма (33). Исследование ведётся на стыке многих дисциплин: военной и социальной истории, психологии, социологии. Если для понимания поведения человека в экстремальных ситуациях необходимо привлечение наблюдений, накопленных психологической наукой, то изучение фронтового быта, военного фольклора и т. д. имеет немало общего с работой этнографов. Неудивительно поэтому, что данное направление исследований именуется «военно-исторической антропологией» (34).

Наконец, некоторые современные историки предпочитают обходиться без терминов «менталитет» или «социальная психология» и пишут о «сознании» той или иной социальной группы в прошлом, о свойственных ей «представлениях». Поскольку большинство подобных работ сейчас посвящено изучению образов власти в глазах населения, то мы рассмотрим их в следующем разделе данного очерка в связи с политической антропологией.

Историческая антропология: от теоретических дебатов — к конкретным исследованиям

В отличие от истории ментальностей, восприятие собственно исторической антропологии в России оказалось сопряжено со значительными трудностями. Недоразумения возникли уже по поводу самого термина: дело в том, что к тому моменту, когда А. Я. Гуревич впервые познакомил отечественную научную общественность с новым направлением в западной, прежде всего французской медиевистике, сложившимся под влиянием этнологии и получившим название «историческая антропология» (35), в российской науке уже имелась дисциплина с таким названием, однако предметом её изучения являлась *физическая* антропология, т. е. антропогенез и изменение форм человеческого тела во времени и в пространстве (36). И поэтому, когда в конце 80-х гг. А. Я. Гуревич стал активно популяризировать новое направление исторических исследований, используя заимствованный из западной литературы термин «историческая антропология», ему возражал академик В. П. Алексеев, недоумевавший, зачем переносить название биологической по сути дисциплины на то, для чего, по мнению В. П. Алексеева, уже существовало вполне адекватное обозначение — «историческая психология» (37).

Нужно отметить, что Гуревич сам дал повод для подобных недоразумений, поскольку в своих получивших широкую известность статьях об исторической антропологии он называл в качестве главной задачи нового направления исследований реконструкцию «картин мира» минувших эпох, т. е. то же, что в предшествующих своих работах он считал целью истории ментальностей (38). В этом, возможно, Гуревич следовал за некоторыми французскими историками (в частности, А. Бюргьером), в работах которых история ментальностей и историческая антропология разграничивались недостаточно чётко. Складывалось впечатление, что речь идёт просто о смене названия (39).

Между тем в самой французской историографии к концу 1980-х гг. стало заметно некоторое разочарование в истории ментальностей; расширительное толкование термина «ментальность» уступило место более ограниченному его пониманию. Отмечая частичную утрату популярности этого направления среди историков, А. Буро критиковал идущую ещё от Л. Февра тенденцию к превращению истории ментальностей в некую позитивную дисциплину, отдельную от социальной истории, со своими особыми предметами исследования, тенденцию к её психологизации и т. п. (40). Надежды нового поколения школы «Анналов» на создание «тотальной» социальной истории всё больше связывались с исторической антропологией, в которой видели более широкое и перспективное направление, чем история ментальностей.

Интересный диалог состоялся в Париже между Жаком Ле Гоффом и А. Я. Гуревичем. На вопрос российского коллеги, есть ли какой-то внутрен-

ний смысл в замене «истории ментальностей» понятием «историческая антропология», или эти понятия взаимозаменяемы, Ле Гофф ответил со всей определённой: «История ментальностей и историческая антропология никогда не смешивались. Они сложились почти одновременно, но соответствовали разным целям и объектам. Историческая антропология представляет собой общую глобальную концепцию истории. Она объёмлет все достижения “Новой исторической науки”, объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия антропологии. Она охватывает все новые области исследования, такие, как изучение тела, жестов, устного слова, ритуала, символики и т. п. Ментальность же ограничена сферой автоматических форм сознания и поведения» (41).

Столь категорически заявленное мнение Ле Гоффа о несовпадении истории ментальностей и исторической антропологии не побудило, однако, Гуревича изменить свою позицию по данному вопросу: в книге об историческом синтезе и школе «Анналов» он пишет о «перерастании» истории ментальностей в историческую антропологию, «нацеленную на реконструкцию картин мира» (42).

Историк науки Д. А. Александров протестовал против отождествления исторической антропологии с историей ментальностей: по его мнению, тем самым неоправданно сужается поле исторической антропологии, которая сейчас включает в первую очередь изучение разнообразных форм быта и социальных практик. При этом он ссылался на работы британских и американских историков (которые Гуревич практически оставил без внимания. — М. К.): П. Берка, Э. П. Томпсона, Н. З. Дэвис (43).

Однако этот «протест» остался незамеченным. Научный авторитет Гуревича, недостаточное знакомство с достижениями зарубежных историков (за исключением школы «Анналов»), энтузиазм по поводу истории ментальностей, в которой увидели счастливо найденную новую предметную область исторической науки, — всё это обусловило тот факт, что к середине 90-х гг. XX столетия отечественные историки-русисты понимали историческую антропологию «по Гуревичу» — как некое продолжение истории менталитета. Показательно, что написанный А. И. Куприяновым очерк становления исторической антропологии России по существу сводится к обзору работ по истории ментальностей, с вкраплением небольших сюжетов об истории частной жизни и гендерной истории. Как эти «истории» связаны между собой и почему все они вместе образуют нечто, именуемое «исторической антропологией», автор не объясняет (44).

Непрояснённая природа понятия «историческая антропология» для отечественных историков привела к тому, что до самого последнего времени в России почти не выходило работ, авторы которых прямо ассоциировали бы свои исследования с данным историографическим направлением. Зато на теоретическом уровне проблемы и задачи исторической антропологии обсуждаются весьма активно.

В феврале 1998 г. прошла научная конференция «Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации» (45). При знакомстве с материалами конференции обращает на себя внимание контраст между выступлениями специалистов по всеобщей истории (Ю. Л. Бессмертный, Т. В. Борисенок, С. Ф. Блуменау), которые в своих суждениях об исторической антропологии опирались на достижения современной западной историографии (преимущественно французской), — и докладами историков-русистов, обнаруживших весьма смутное представление об обсуждаемом научном направлении. Вместо серьёзного разговора о том, что *сегодня* представляет собой историческая антропология, как соотносится она с такими направлениями, как микроистория или история повседневности, в чём конкретно состоит «историко-антропологический подход» (о котором постоянно упоминали многие участники конференции), — вместо всего этого некоторые докладчики занялись поиском «предпосылок» исторической антропологии в российской науке XIX — начала XX в. Так, в интерпретации М. Ф. Румянцевой «предшественником» исторической антропологии в России неожиданно оказался А. С. Лаппо-Данилевский с его признанием «чужой одушевленности», в то время как А. Л. Топорков увидел предпосылки того же направления в творчестве выдающихся русских филологов XIX в. Ф. И. Булаева, А. А. Потебни, А. Н. Веселовского (46).

На мой взгляд, здесь мы имеем дело с поклонением «идолу истоков», против чего предостерегал когда-то историк Марк Блок. Такой подход затушевывает новизну обсуждаемого направления, сложившегося только к 70-м гг. минувшего столетия. «Поиск предшественников» (характерный не только для российской, но и, например, французской историографии) начинается тогда, когда новое направление уже сформировалось: только тогда становятся ясны его «истоки» (47)!

Настоящей дискуссии о предмете и методе исторической антропологии на конференции 1998 г., к сожалению, не получилось. Между тем, как явствует из опубликованных тезисов, выступавшие понимали суть обсуждаемого направления отнюдь не одинаково: некоторые докладчики (М. Ф. Румянцева, В. А. Муравьев) делали акцент на интересе к человеческой личности, к индивидууму («человек в истории») (48), в то время как другие (И. Н. Данилевский, А. Б. Асташев и др.) имплицитно отождествляли историческую антропологию с историей ментальности (49).

Разговор о проблемах исторической антропологии был продолжен в 2000 г. на конференции «Историк во времени» в РГГУ (50), на одной из «историографических сред» в Институте российской истории РАН (51), а затем в ходе международной интернет-конференции, проведенной в марте–апреле 2001 г. Межвузовским научным центром сопоставительных историко-антропологических исследований и Московским общественным научным фондом (52). Интерес к исторической антропологии в России в последние годы вырос настолько, что можно говорить о «моде» на это направление. (В РГГУ даже начато обучение по специальной программе «историческая антрополо-

гия») (53). Если при этом наблюдается «дефицит» конкретно-исторических исследований, выполненных в этом ключе, то причина, видимо, заключается в недостатке удачных примеров такого рода работ. Такими образцами могут послужить книги и статьи зарубежных русистов.

В США первые опыты антропологического «прочтения» тех или иных сюжетов и проблем русской истории стали появляться ещё в середине 80-х гг. XX столетия. В вышедшей полемической статье Эдварда Кинана «Традиционные пути московской политики» была сделана попытка перенести акцент с изучения государственных институтов и идеологии на исследование российской политической культуры, под которой автор понимал «комплекс верований, практик и ожиданий, который — в умах русских — придавал порядок и значение политической жизни и... позволял его носителям создавать как основополагающие модели их политического поведения, так и формы и символы, в которых оно выражалось» (54). (Можно заметить, что понятие «культура» трактуется здесь Кинаном антропологически и примерно соответствует понятию «менталитет», активно используемому сейчас российскими историками).

Идеи Кинана получили развитие в монографии его ученицы Нанси Коллман «Родство и политика: Формирование московской политической системы, 1345–1547». Своё исследование она охарактеризовала как «антропологический анализ политики», поскольку оно «фокусирует внимание на отношениях между индивидами и группировками, а не на классах или политических институтах» (55). Исследовательница пришла к выводу, что решающая роль в функционировании средневековой русской монархии принадлежала боярским кланам.

В дальнейшем изучение московской политической культуры было продолжено в книге Валери Кивельсон «Самодержавие в провинциях», статье М. Флайера о ритуале Вербного воскресенья и других работах (56). Список исследований по исторической антропологии России пополнился недавно новой книгой Нанси Коллман о чести в Московской Руси, сразу же переведённой на русский язык (57).

Однако, пожалуй, наиболее ярким событием в этом ряду стал выход двухтомного труда Ричарда Уортмана о мифах и церемониях российской монархии XVIII — начала XX вв. (первый том уже доступен отечественному читателю в русском переводе) (58). Исследование Уортмана принадлежит к направлению, которое Жак Ле Гофф назвал в своё время «политической, или историко-политической, антропологией»: речь идёт об изучении символики власти и способов её репрезентации (59). Книга Уортмана стимулировала появление новых исследований в этом направлении: в их числе можно назвать монографию Виктории Боннел о советском плакате 1917–1953 гг (60).

Ещё более заметно влияние работы Р. Уортмана на современную российскую историографию: я имею в виду не только недавнюю дискуссию вокруг его книги на страницах «Нового литературного обозрения» (61), но и появление

ряда статей, авторы которых прямо заявляют о своём намерении следовать в русле предложенного Уортманом подхода. Так, М. Д. Долбилов проследил реализацию «сценария власти» (включая создание соответствующей мифологии, пропагандистские приёмы и т. п.) в борьбе самодержавия с польским восстанием 1863 г. (62), а С. И. Григорьев под тем же углом зрения рассмотрел деятельность придворной цензуры как инструмента создания образа верховной власти в Российской империи (63). Книга Уортмана, наряду с работами других зарубежных исследователей истории государственной символики, цитируется в статье О. Б. Мельниковой о церемониальных процессиях в России XVII–XVIII вв. (64).

Как видно по приведённым выше работам, Уортман способствовал «кристаллизации» такого направления исследований, как *политическая антропология России* (65). Было бы, однако, неверно относить к данному направлению только те работы, авторы которых себя прямо с ним ассоциируют. Бесспорно к тому же историографическому жанру принадлежат современные исследования, в которых изучаются представления о власти в ту или иную эпоху, политическое сознание (или «менталитет»), символика власти и т. п., даже если авторы этих работ не употребляют самого термина «антропология», а предпочитают говорить, например, о «политической культуре».

Давно и плодотворно изучает символику российской революции 1917 г. Б. И. Колоницкий. В его исследованиях история революции, традиционно рассматриваемая как история борьбы партий, институтов власти и политических лидеров, неожиданно предстает как конфликт символический: по поводу «старых» и «новых» символов и атрибутов власти. Тем самым политическая история вписывается (что характерно для современной мировой историографии) в социокультурную историю (66).

Прошли те времена, когда ссылки на «наивный монархизм» крестьян или «забитость и невежество» масс служили достаточным объяснением прочности царского режима. Теперь исследователи детально изучают народные представления о власти в разные эпохи отечественной истории. Приведу только несколько наиболее важных, с моей точки зрения, работ.

В монографии П. В. Лукина анализируются представления о государственной власти в России XVII в. Автор ни разу не говорит об «антропологическом подходе» и лишь изредка употребляет термин «менталитет», однако ссылки на книгу М. Блока «Короли-чудотворцы» и на «Монтаю» Э. Леруа Ладюри недвусмысленно свидетельствуют о том, в русле какой традиции он видит своё исследование. Книга интересна тонкой нюансировкой основной темы: вместо шаблонного тезиса о «наивном монархизме» вниманию читателей предлагается более сложная и неоднозначная картина. Важными и убедительными представляются, в частности, выводы автора о том, что особа царя считалась хотя и сакральной, но не равной Богу (т. е. не обожествлялась полностью), и что «непригожие речи» (дела о таких «речах» послужили П. В. Лукину одним из основных источников) вовсе не свидетельствуют о падении царского престижа в глазах народа: напротив, это проявление того, что цар-

ская власть занимала центральное место в политических представлениях русских людей XVII в. (67).

Образ царя в массовом сознании россиян на рубеже XIX–XX вв. стал предметом изучения в монографии Г.В. Лобачевой (68). В своей работе исследовательница опирается преимущественно на два комплекса источников: с одной стороны, фольклорные материалы (сказки, былины, песни, пословицы), а с другой — прошения на высочайшее имя, подававшиеся подданными в конце XIX — начале XX вв. Приводимые автором данные относительно содержания и общего количества ходатайств, поступивших в императорскую Комиссию по принятию прошений на протяжении изучаемого периода, представляют большой интерес. Нельзя, однако, не заметить, что эти данные находятся в разительном противоречии с теми выводами, к которым приходит Лобачева на основании изучения фольклорных материалов. Появление в начале XX в. (особенно после первой русской революции) большого количества песен и частушек, высмеивающих Николая II и его семью, автор интерпретирует как «постепенное размывание монархического идеала в общественной психологии» (69). Как же тогда объяснить тот факт (приводимый Лобачевой), что в 1915 г. в Канцелярию по принятию прошений поступило 85.602 ходатайства, адресованных царю, — в 15 раз больше, чем в 1825 г., и в 6 с лишним раз больше, чем в 1881 г.? А в юбилейном для монархии 1913 г. количество прошений на царское имя достигло рекордной цифры — 202.822. Конечно, можно согласиться с Лобачевой в том, что эта «статистика» сама по себе не свидетельствует однозначно о росте авторитета монарха (70), но и не учитывать эти данные в общих выводах об отношении населения к государю накануне революции также было бы неверно. Выходит, тысячи людей продолжали надеяться на помощь монарха, в то время как другие уже распевали неприличные частушки о царе, царице и Распутине. Итоговая картина общественных умонастроений накануне свержения самодержавия получается очень пёстрой и неоднозначной. Очевидно, нам нужны более тонкие исследовательские инструменты для изучения тех материалов, которые использованы в книге Лобачевой.

В книгах С.В. Ярова, образующих своего рода «трилогию», анализируется политическая культура (автор предпочитает пользоваться терминами «политическое мышление» и «политическая психология») рабочих и крестьян в годы революции и «военного коммунизма»: как происходила политизация питерского пролетариата, как проявлялись политическая нетерпимость и эгалитаризм в его среде; что знали и что думали сельские жители о Советах, компартии, Красной Армии, — вот лишь некоторые вопросы, которые задает историк имеющимся в его распоряжении источникам (71).

Общественное мнение в последние годы сталинского режима, отношение населения к политике государства стало темой монографии Е.И. Зубковой (72).

Можно констатировать, что к настоящему времени довольно чётко выделились две предметные области исторической антропологии России: поли-

тическая и военно-историческая (73). В отличие от них, *религиозная антропология* как особое направление исследований ещё только формируется. В центре этого направления находится понятие «религиозности», которую Л. П. Карсавин определил в своё время как «субъективную сторону веры», т. е. не то, во что человек верит, а то, *как* он верит (74). (Сегодня мы бы назвали это религиозным менталитетом). Являясь продолжением исследовательской традиции, у истоков которой стоял Карсавин, современные работы по истории русской религиозности, «народного православия» опираются на наблюдения российских и зарубежных этнографов, фольклористов, социологов, культурологов (75).

В рамках данного научного направления изучаются не только народные верования, представления о конце света, о загробном мире и т. д., но и разнообразные религиозные практики: поминальный культ (76), почитание мощей и икон (или, напротив, их поношение) (77), магия, колдовство и т. п. Все эти сюжеты нашли отражение в капитальной монографии А. С. Лаврова о религии в России 1700–1740 гг. Автор предлагает рассматривать отношения православия, старообрядчества и сектантства как взаимодействие трёх религиозных культур. Он анализирует различные формы народного православия (магию, обряды перехода, эсхатологию, юродство и т. д.) и религиозность дворянского сословия, что даёт возможность исследователю по-новому оценить цели и результаты петровской церковной реформы (78).

Микроистория: поиски метода

С этим влиятельным направлением зарубежной историографии российская научная общественность познакомилась только в середине 1990-х гг., зато сразу — из самых авторитетных источников: в короткий срок на русский язык были переведены программные статьи крупнейших теоретиков и практиков микроистории: К. Гинзбурга, Дж. Леви, Э. Гренди, Х. Медика, Ж. Ревеля (79). Большая заслуга в популяризации микроанализа в исторических исследованиях принадлежит Ю. Л. Бессмертному и руководимому им в течение ряда лет семинару по истории частной жизни в Институте всеобщей истории РАН (80). В 1997 г. был основан альманах «Казус: Индивидуальное и уникальное в истории», по направлению близкий к микроистории (81), а в октябре 1998 г. проведена конференция о применении микро- и макроподходов к изучению прошлого (82).

В первом выпуске альманаха была опубликована статья О. Е. Кошелевой «Побег Воина», в которой анализировался один эпизод русской истории XVII в.: бегство в Речь Посполитую сына известного дипломата Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина в 1660 г. и последующее его добровольное возвращение на родину. Привлекая все сохранившиеся в архиве источники,

Кошелева попыталась выяснить побудительные мотивы, руководившие действиями беглеца, молодого Воина Нащокина, а также понять отношение к его поступку отца, придворного общества и самого царя Алексея Михайловича (83).

Автор искусно строит своё повествование, обнаруживая прекрасное знание реалий описываемой эпохи. Кошелева намеренно оставляет открытым вопрос об истинных мотивах поведения главного действующего лица, чётко отделяя свои предположения от прямых свидетельств источников. Но, отдавая должное мастерству автора, не могу не высказать сомнения в том, что сей действительно интересный «казус» может рассматриваться как наглядный пример микроистории — по крайней мере в том смысле, который вкладывают в это слово историки, чьи труды принесли всемирную известность данному направлению.

Прежде всего, микроистория — это экспериментальный метод: «Микроскопическое рассмотрение даёт нам возможность увидеть такие вещи, которых раньше не замечали, и эта особенность объединяет все микроисторические исследования», — отмечал Дж. Леви (84). Прочитую ещё одно суждение итальянского историка, кажется, прямо относящееся к обсуждаемому здесь случаю: «Микроистория не намерена жертвовать познанием индивидуально ради обобщения: более того, в центре её интересов — поступки личностей или единичные события. Но она также не склонна отринуть всякую абстракцию: малозаметные признаки или отдельные казусы могут содействовать выявлению более общих феноменов» (85).

Иными словами, детальное изучение поведения индивида — не самоцель: микроистория нужна для того, чтобы, присматриваясь к индивидуальным стратегиям людей, разглядеть ранее не замеченные тенденции или явления в жизни изучаемой эпохи. Для объяснения мотивов своего героя Кошелева постаралась «вписать» его в контекст того времени, но этого-то как раз и не получилось, поскольку поступок Воина был не совсем обычен: он и бежал за рубеж без видимых причин, и его возвращение также не поддаётся однозначному объяснению. Вот эта-то «странность» поведения младшего Нащокина и могла бы послужить исследовательнице отправной точкой для размышлений о начавшихся изменениях в отношении «москвитов» к западному миру, однако, этой темы (Московия и Запад) автор лишь бегло коснулась в самом конце статьи.

Знакомство с другими «казусами», о которых пишут авторы альманаха, только укрепляют высказанные выше сомнения. В статье А. В. Антощенко подробно излагаются обстоятельства, приведшие к отставке в 1901 г. П. Г. Виноградова с должности профессора Московского университета; автор объясняет, что уход Виноградова был демонстративным протестом против двусмысленного положения, в котором находился тогда университетский профессор, являясь, с одной стороны, наставником студентов, а с другой — государственным чиновником, обязанным следовать указаниям министерского начальства (86). Эта история, однако, выглядит скорее как иллюстрация к давно

высказанному тезису о неудачной (мягко говоря) политике правительства в отношении университетов на рубеже XIX–XX вв (87). или как отрывок из биографии известного ученого Виноградова. Вновь детализация и ограничение масштаба анализа рамками одного события не приводят ни к какому эвристическому выводу; вместо микроистории как метода исследования читателю предлагается искусно сделанная историческая миниатюра.

В 1999 г. появилась первая монография, представленная её авторами, Е. Э. Ляминой и Н. В. Самовер, как опыт микроисторического исследования. Книга является подробной биографией юноши из аристократической семьи, Иосифа Виельгорского (1817–1839), воспитывавшегося при императорском дворе вместе с наследником престола (будущим Александром II) и умершего от чахотки в возрасте двадцати двух лет. По словам авторов, они стремились «возможно полнее воссоздать биографию» своего героя и «рассмотреть в уникальном черты типического, уловить в личной судьбе и личной трагедии то, что делает “бедного Жозефа” характерным представителем своего поколения» (88).

Как образец биографического жанра, книга Ляминой и Самовер действительно достойна всяческих похвал: благодаря сохранившимся дневникам и переписке молодого И. М. Виельгорского (эти документы помещены в книге полностью, образуя наравне с авторским текстом важную композиционную часть исследования), авторам удалось показать внутренний мир своего героя, включая самые сокровенные его переживания. В какой мере, однако, «бедный Жозеф» может считаться «типичным представителем» своего поколения? Скорее, можно говорить о его исключительности, если принять во внимание выпавшую ему возможность быть товарищем и соучеником наследника престола, глубину и разносторонность полученного им образования, а также присущие ему черты характера и образ мыслей, мешавшие ему (как отмечают авторы книги) чувствовать себя своим человеком в светском обществе.

По ходу изложения авторы касаются многих важных сюжетов: отношений родителей и детей в аристократической среде, принципов тогдашнего воспитания, специфики отношения к монарху в высших кругах дворянского общества и даже уровня развития медицины в ту эпоху. Однако ни один из этих сюжетов не разрабатывается в книге специально и подробно; иначе говоря, как и в работах, о которых шла речь выше, Лямина и Самовер используют контекст эпохи для прояснения тех или иных эпизодов жизни своего героя вместо того, чтобы, наоборот, с помощью биографии высветить дотолем не известные стороны тогдашней жизни. Поэтому потенциал микроистории как метода, вопреки намерению, заявленному авторами в предисловии, раскрывается в книге далеко не полностью (89).

Микроистория как исследовательский подход более эффективно применяется в книге С. В. Журавлева об иностранных рабочих московского Электроставода в 1920–1930-х гг. (90). Автор удачно избрал ракурс для рассмотрения советской повседневности 20–30-х гг.: маленькая колония иностранцев,

работавших в Москве, как в капле воды отразила все тогдашние проблемы советской жизни: жилищную, продовольственную, дисциплину труда и его мотивацию; при этом особенно важно, что эти проблемы увиденны как бы глазами иностранцев, т. е. удастся приложить к явлениям тогдашней советской действительности современные им западные мерки. Мало того, жизнь иностранной колонии служит своего рода барометром открытости советского общества по отношению к внешнему миру и действительности лозунга пролетарского интернационализма: завершение наиболее трудного периода индустриализации и нарастание тенденции к изоляционизму СССР после 1933 г. привело к тому, что за иностранными рабочими перестали «ухаживать», возросло давление на них с целью принуждения к принятию советского гражданства; всё это усилило отток иностранной рабочей силы из страны, а в период репрессий 1937–1938 гг. иностранная колония Электростанции прекратила своё существование (91).

История повседневности: потребность в концептуализации

История повседневности переживает в последнее время настоящий бум. Издатели, чувствуя конъюнктуру, публикуют том за томом: в качестве примера можно привести выходящую в издательстве «Молодая гвардия» серию «Повседневная жизнь человечества». Наряду с переводными изданиями («Повседневная жизнь Древнего Рима», «Повседневная жизнь итальянской мафии» и т. д.), в этой серии публикуются и книги российских авторов, среди них — «Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I» А. И. Бегуновой, «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» Е. В. Романенко и др (92). Однако эти работы описательны, эклектичны и могут быть полезны самое большее в качестве справочников; серьёзного научного значения они не имеют.

Однако и вполне академические исследования на подобные темы страдают одним общим недостатком: отсутствием продуманной концепции того, что собственно называется «повседневностью».

В советские годы выходило немало работ, в которых «быт» ассоциировался с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались жители Древней Руси (93); или приводились статистические данные о заработной плате, питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX–XX вв (94). По-видимому, такой *внешний* подход к проблеме повседневности был в своё время необходим, он вооружил историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой эпохи. Однако сейчас такой подход представляется уже пройденным этапом. Современный, «антропологизированный» вариант истории повседневной жизни исходит из того, что люди активно участвуют в постоянном процессе создания и пере-

устройства структур повседневности, они пытаются «присвоить» и приспособить к себе тот жизненный мир, который их окружает (95).

Неудивительно, что в поисках новых подходов истории повседневности обращаются к микроанализу. Н. Б. Лебина проследила смену жильцов в трёх петроградских домах в 20-е гг. Обнаруженные ею документы свидетельствуют о том, что в быту советская номенклатура очень рано отказалась от «революционного аскетизма», продолжая пропагандировать его на словах (96).

Другие учёные, оставаясь в целом в рамках макроисторического подхода, ограничивают хронологические рамки своего исследования и фокусируют внимание на каком-то одном явлении повседневной жизни. А. Ю. Давыдов проанализировал нелегальное снабжение населения продуктами в 1917–1921 гг., так называемое мешочничество. В центре внимания автора находятся прежде всего макроисторические проблемы: продовольственная политика властей, их борьба против нелегального снабжения, колебания правительственного курса в отношении торговли продуктами, но страницы книги, посвящённые социальному облику мешочников — этих «мужественных людей», которым историк явно сочувствует, а также перипетиям их поездок за хлебом, напоминают этнографические зарисовки (97).

Этнологи и социологи накопили большой опыт изучения повседневных практик, которым они могут поделиться с историками. Например, в «Очерках коммунального быта» И. В. Утехина на основе семиотического анализа пространства квартиры, находящихся в ней предметов и мебели, а также бесед с её жильцами предлагается оригинальная реконструкция мировосприятия обитателей коммуналки конца советской эпохи, с их понятиями о социальной справедливости, стратегиями поведения и т. д. (98).

Социолог С. А. Чуйкина анализирует стратегии выживания дворян в довоенном Ленинграде. Эти стратегии она описывает в терминах социологии П. Бурдьё как «конвертацию ресурсов»: те навыки, которыми обладали дворяне (знание иностранных языков, музыкальное образование и т. д.) и которые до революции часто использовались ими только в приватной сфере (как хобби и т. п.), были востребованы в советскую эпоху и, становясь их профессией, помогли им устраиваться в новой жизни (99).

Примером применения социологического подхода к истории повседневности является монография о советском городе 20–30-х гг. Дихотомия «норм и отклонений» послужила исследовательнице концептуальной рамкой для анализа различных форм повседневной жизни. В книге изучаются как традиционные «аномалии» (пьянство, преступность, проституция, самоубийства), так и аномалии, ставшие нормой при новой власти (коммунальный быт, коммунистическая «религия»). Особое внимание уделено нормированию повседневности: жилой площади, одежды, досуга, частной жизни (100).

Подход, применённый в монографии Лебиной, вызвал решительные возражения А. С. Сенявского, который счёл некорректной попытку «свести всё многообразие городской жизни к социально ущемленным, маргинальным или

патологическим проявлениям» (101). На мой взгляд, однако, содержание книги отнюдь не сводится к выявлению разнообразных аномалий в жизни Ленинграда 1920–1930-х гг. Действительно, избранная автором концептуальная схема довольно жёсткая и не все описанные в книге явления в неё естественным образом помещаются (например, пропаганда атеистического быта и новой «коммунистической религии» едва ли подходят под категорию аномалии или патологии). Но важнее другое: Лебиной удалось показать важный процесс смены обыденных стереотипов и норм поведения и обрисовать многие (хотя, разумеется, далеко не все) структуры советской повседневности 20–30-х гг.



Процесс «антропологизации» истории России идёт полным ходом. Одни исследователи участвуют в этом процессе вполне сознательно, активно экспериментируя с новыми подходами и концепциями, другие, скорее, склонны «плыть по течению», повинувшись капризам научной моды. Наконец, третьи избегают модных словечек и подходят к осознанию необходимости новых подходов в силу логики развития той предметной области, в которой находятся их научные интересы.

Пока по количеству научной продукции лидирует самая старая и самая спорная форма антропологической истории — история менталитета, но уже набирают силу и более молодые и лучше проработанные в методологическом отношении варианты того же направления — такие, как микроистория и история повседневности.

Изучение истории России в антропологической перспективе уже приносит и, уверен, ещё принесёт в будущем заметные научные результаты. Но мода на историческую антропологию грозит опасностью забалтывания самого этого понятия и, в конечном счёте, — дискредитации всего научного направления в целом. Чтобы этого не произошло, необходимо трезво и критически оценивать всё, что печатается сейчас в России под флагом «исторической антропологии», «истории ментальностей», «микроистории» и т. д. Необходимо, далее, внимательно анализировать опыт зарубежных коллег, работающих в том же направлении: публиковать лучшие работы в русском переводе, печатать рефераты, обзоры, рецензии.

Кроме того, важно осознать междисциплинарный статус современных историко-антропологических исследований: сегодня нельзя вести серьёзный разговор об исторической антропологии без ознакомления с концептуальными трудами социологов и антропологов (П. Бурдьё, К. Гирца, В. Тернера, Э. Гоффмана и др.), без овладения созданным ими понятийным аппаратом («хабитус», «плотное описание», «стратегии», «социальная драма» и т. п.).

Наконец, следует иметь в виду, что антропологический подход — лишь один из многих в арсенале современного историка и возможности его применения отнюдь не безграничны. Поэтому есть потребность в серьёзном обсуждении границ данного подхода, его недостатков и возможности сочетания с другими существующими методами и направлениями исторической науки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Burke P.* The Historical Anthropology of Early Modern Italy. — Cambridge University Press, 1987 (reprint 1994). P.3.
2. *Леви Дж.* К вопросу о микроистории //Современные методы преподавания новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при поддержке TACIS. — М., 1996. С.172, 174.
3. *Медик Х.* Микроистория //THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. — М., 1994. Т.II. Вып.4. С.193.
4. *Schlumbohm J.* Mikrogeschichte — Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte //Mikrogeschichte — Makrogeschichte: komplementär oder inkommensurabel? /Hrsg. von Jürgen Schlumbohm. 2. Aufl. — Göttingen, 2000. S.24–25.
5. Подробнее о единстве и многообразии антропологически ориентированной истории см.: *Кром М. М.* Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. — СПб., 2000.
6. См.: *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. — М., 2000. С.45–47; *Леви Дж.* К вопросу о микроистории. С.172–179.
7. См.: Русская история: проблемы менталитета. — М., 1994; Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). — М., 1996; Менталитет и политическое развитие России. — М., 1996; Менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв. Сборник статей. — М., 1996; Российская ментальность (материалы «круглого стола») //Вопросы философии. 1994. № 1. С.25–53.
8. *Пушкарёв Л. Н.* Что такое менталитет? Историографические заметки //Отечественная история. 1995. № 3. С.158–166; *Зубкова Е. И., Куприянов А. И.* Ментальное измерение истории: поиски метода //Вопросы истории. 1995. № 7. С.153–160.
9. *Le Goff J.* Les mentalités: une histoire ambiguë //Faire de l'histoire. Nouveaux objets /Sous la dir. de Jacques Le Goff et Pierre Nora. — Paris, 1974. P.80, 89–90.
10. *Кукарцева М. А.* Метод исторической ментальности в контексте философии истории //Менталитет и политическое развитие России. — М., 1996. С.11–13.
11. О менталитете крестьянства см. статьи в сборнике «Менталитет и аграрное развитие России» (1996), а также книгу: *Буховец О. Г.* Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала XX века: новые материалы, методы, результаты. — М., 1996. О менталитете рабочих см.: *Кирьянов Ю. И.* Менталитет рабочих России на рубеже XIX–XX вв. //Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 — февраль 1917. — СПб., 1997. С.55–76. О менталитете дворянства см.: *Григорьев Л. Г., Ермишкина О. К.* Идея службы Отечеству в структуре политического менталитета российского дворянства в конце XVIII — начале XIX века //Менталитет и политическое развитие России. С.75–77. О ментальности казачества см.: *Щетнев В. Е., Рожков А. Ю.* Менталитет и политическая культура кубанского казачества. (Первая треть XX века) //Там же. С.127–131.
12. *Поринева О. С.* Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период первой мировой войны (1914 — март 1918 г.). — Екатеринбург, 2000. С.25.
13. *Гинзбург К.* Сыр и черви. С.47.
14. *Поринева О. С.* Менталитет и социальное поведение... С.120–122 (цитата — на с. 121).
15. Там же. С.130.
16. *Boureau A.* Propositions pour une histoire restreinte des mentalités //Annales. ESC, 44e . année (1989). No. 6. P.1495.
17. *Burke P.* Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities (1986), перепечатано в кн.: *Burke P.* Varieties of Cultural History. — Polity Press, Cambridge, 1997. P.170.
18. См.: *Ревель Ж.* История ментальностей: опыт обзора //Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». — М., 1993. С.51.
19. *Гуревич А. Я.* Проблема ментальностей в современной историографии //Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып.1. — М., 1989. С.75; *Пушкарёв Л. Н.* Что такое менталитет?.. С.159. Ср. также мнение Ж. Ле Гоффа, высказанное в интервью с А. Я. Гуревичем в декабре 1991 г.: «Ментальность...

ограничена сферой автоматических форм сознания и поведения» (цит. по: *Гуревич А. Я.* Исторический синтез и Школа «Анналов». — М., 1993. С.297).

20. *Колоницкий Б. И.* К изучению механизмов десакрализации монархии (Слухи и «политическая порнография» в годы Первой мировой войны) //Поиски исторической психологии. Сообщения и тезисы докладов международной научной конференции. Санкт-Петербург. 21–22 мая 1997 г. — СПб., 1997. Ч.III. С.105–108; *Яров С. В.* Слухи как феномен общественного сознания (Петроград, март 1921 года) //Там же. С.137–138.

21. *Соловьева Т. Б.* О ксенофобии во время социальных кризисов (По материалам истории Московского царства середины XVI — начала XVII века) //Менталитет и политическое развитие России. С.42–44.

22. *Сенявская Е. С.* Бытовая религиозность на войне. (На примере двух мировых и советско-афганской войн) //Там же. С.135–138.

23. См.: *Милов Л. В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. — М., 1998.

24. *Гинзбург К.* Сыр и черви. С.46.

25. *Сенчакова Л. Т.* Приговоры и наказания — зеркало крестьянского менталитета 1905–1907 гг. //Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). С.173–182.

26. *Вернер Э. М.* Почему крестьяне подавали прошения, и почему не следует воспринимать их буквально //Там же. С.194–204 (цитата — на с. 195).

27. *Поринева О. С.* Менталитет и социальное поведение... С.241.

28. См.: История и психология. — М., 1971; *Поринев Б. Ф.* Социальная психология и история. Изд. 2-е. — М., 1979.

29. См., например: Поиски исторической психологии. Сообщения и тезисы докладов международной научной конференции. Ч.I–III. — СПб., 1997; Историческая психология и ментальность: Эпохи. Социумы. Этноты. Люди. — СПб., 1999.

30. См.: *Шкуратов В. А.* Историческая психология на перекрестке человекознания //Одиссей. Человек в истории. 1991. — М., 1991. С.109–110.

31. *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. (По материалам переписки). — М., 1999. О «преобладающем типе личности» дворянина см. гл. 2 книги.

32. *Сенявская Е. С.* 1941–1945: Фронтное поколение. Историко-психологическое исследование. — М., 1995; *Её же.* Человек на войне. Историко-психологические очерки. — М., 1997; *Её же.* Психология войны в XX веке: исторический опыт России. — М., 1999.

33. *Сенявская Е. С.* Психология войны... С.24.

34. *Сенявская Е. С.* Военно-историческая антропология — новая отрасль исторической науки //Отечественная история. 2002. № 4. С.135–145.

35. *Гуревич А. Я.* Этнология и история в современной французской медиевистике //Советская этнография. 1984. № 5. С.36–48 (об «исторической антропологии» см. с. 40 и сл.).

36. См.: *Алексеев В. П.* Историческая антропология. — М., 1979.

37. *Гуревич А. Я.* Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории //Вестник АН СССР. 1989. № 7. С.71–78. Ср.: *Алексеев В. П.* Не возникнет ли путаница? //Там же. С.78–79.

38. *Гуревич А. Я.* Историческая наука и историческая антропология //Вопросы философии. 1988. № 1. С.56–57; *Он же.* Историческая антропология... С.73–74.

39. Подробнее см.: *Кром М. М.* Историческая антропология. С.30–32.

40. *Boureau A.* Propositions... P.1491, 1493–1495.

41. Цит. по: *Гуревич А. Я.* Исторический синтез и Школа «Анналов». С.297.

42. Там же. С.293.

43. *Александров Д. А.* Историческая антропология науки в России //Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С.3.

44. *Куприянов А. И.* Историческая антропология. Проблемы становления //Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г. А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 1996. С.366–385.

45. Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 4–6 февраля 1998 г. /Отв. ред. О. М. Медушевская. — М.: РГГУ, 1998.

46. Там же. С.26–31, 34–40.

47. См. подробнее: *Кром М. М.* Историческая антропология. С.6–7.

48. Историческая антропология: место в системе наук... С.26–31, 40–44. Г. Н. Ланской усмотрел суть «историко-антропологического метода» в изучении роли личности в историческом процессе (см. там же. С.149–151).

49. Там же. С.45–48, 56–58.

50. Кром М. М. Историческая антропология русского средневековья: Контуры нового направления // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения международной научной конференции. — М., 2000. С. 61–68.
51. Сидорова Л. А. Проблемы исторической антропологии // Отечественная история. 2000. № 6. С. 206–207.
52. История в XXI веке: Историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества (Материалы международной интернет-конференции, проходившей 20.03–14.05.2001 на информационно-образовательном портале www.auditorium.ru) / Под ред. В. В. Керова. — М., 2001.
53. См.: Историческая антропология: Концепция преподавания в РГГУ: Учебно-методическое пособие. — М.: РГГУ, 2001.
54. Keenan E. L. Muscovite Political Folkways // The Russian Review. Vol. 45. 1986. P. 115–116, note 1.
55. Kollmann N. S. Kinship and Politics. The Making of the Muscovite Political System, 1345–1547. — Stanford, 1987. P. 181. См. также: Коллман Н. Боярские роды и отношения при дворе: Образование политической системы Московского государства // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси: Антология / Сост. Дж. Маджеска. — Самара, 2001. С. 172–202.
56. Kivelson V. A. Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth Century. — Stanford, 1996; Флайер М. Расшифровка кода: Образ царя в обряде Вербного воскресенья в Московском государстве // Американская русистика... С. 203–239. Подробнее о работах американских учёных по допетровской Руси, выполненных в русле исторической антропологии, см.: Кром М. М. Антропологический подход к изучению русского средневековья (заметки о новом направлении в американской историографии) // Отечественная история. 1999. № 6. С. 90–106.
57. Коллманн Н. Ш. Соединённые честью. Государство и общество в России раннего нового времени. — М., 2001.
58. Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1–2. — Princeton, 1995–2000. Перевод: Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. — М., 2002. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая II.
59. См.: Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. — М., 2001. С. 25, 403–424.
60. Bonnell V. E. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. — Berkeley and Los Angeles, 1997.
61. См.: «Как сделана история» (Обсуждение книги Р. Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии») // Новое литературное обозрение. № 56. 2002. С. 42–67.
62. Долбилов М. Д. Конструирование образов мятежа: политика М. Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863–1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // АСТНО NOVA 2000 (сборник научных статей). — М., 2000. С. 338–408.
63. Григорьев С. И. Придворная цензура как инструмент создания образа верховной власти в Российской империи: юридический аспект // Источник. Историк. История: Сборник научных работ. — СПб., 2002. Вып. 2. С. 169–237.
64. Мельникова О. Б. Образ империи: церемониальные процессии в России в XVII–XVIII вв. (сравнительный анализ) // Образы власти в политической культуре России. — М.: МОНФ, 2000. С. 95–115.
65. Об этом направлении см. подробнее: Кром М. М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России // Исторические записки. Вып. 4 (122). — М., 2001. С. 370–397.
66. Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. — СПб., 2001. Список других работ автора по данной теме указан в автореферате докторской диссертации: Колоницкий Б. И. Политические символы и борьба за власть в 1917 году: Автореферат дис... доктора ист. наук. — СПб., 2002. С. 37–38. Особо нужно выделить книгу, написанную Б. И. Колоницким совместно с О. Файджесом: Figes O., Kolonitskii B. Interpreting the Russian Revolution. The Language and Symbols of 1917. — New Haven and London, 1999.
67. Лукин П. В. Народные представления о государственной власти в России XVII века. — М., 2000. С. 52–54, 67, 102.
68. Лобачева Г. В. Самодержец и Россия: Образ царя в массовом сознании россиян (конец XIX — начало XX веков). — Саратов, 1999.
69. Там же. С. 105.
70. Там же. С. 115.
71. Яров С. В. Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм и нэп глазами петроградцев. — СПб., 1999; Он же. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918–1919 гг.: политическое мышление и массовый протест. — СПб., 1999; Он же. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг. — СПб., 1999.
72. Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. — М., 1999.

73. Об институционализации военно-исторической антропологии свидетельствует только что вышедший ежегодник: Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. — М., 2002.

74. *Карсавин Л. П.* Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. — СПб., 1997. С.21 (первые опубл. в 1915 г.).

75. См.: Русская религиозность: проблемы изучения /Сост. А.И. Алексеев, А.С. Лавров. — СПб., 1998; *Панченко А. А.* Исследования в области народного православия. Деревенские святые Северо-Запада России. — СПб., 1998.

76. *Steindorff L.* Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. — Stuttgart, 1994 (См. также рец. Р.Г. Скрынникова и А.И. Алексеева на эту книгу: Отечественная история. 1997. № 2. С.201–203); *Алексеев А. И.* О складывании поминальной практики на Руси //«Сих же память пребывает вовеки». Материалы международной научной конференции. — СПб., 1997. С.5–10.

77. *Смиланская Е. Б.* Поругание святых и святых в России первой половины XVIII века //Одиссей. Человек в истории. 1999. — М., 1999. С.123–138.

78. *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. — М., 2000. См. также автореферат диссертации: *Лавров А. С.* Петровская церковная реформа и религиозные культуры России, 1700–1740 гг. (по материалам судебно-следственных дел): Автореферат дис... докт. ист. наук. — М., 2001 (список работ автора по данной теме см. там же на с.52–53).

79. *Гинзбург К.* Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю //Современные методы преподавания новейшей истории. — М., 1996. С.207–236; *Леви Дж.* К вопросу о микроистории //Там же. С.167–190; *Ревель Ж.* Микроанализ и конструирование социального //Там же. С.236–261; *Гренди Э.* Ещё раз о микроистории //Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. — М., 1997. С.291–302; *Медик Х.* Микроистория //THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. Т. II. Вып.4. С.193–202.

80. Итогом работы семинара под руководством Ю.Л. Бессмертного явилась публикация двух коллективных монографий: Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени /Под ред. Ю.Л. Бессмертного. — М., 1996; Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени /Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. — М., 2000. В первой книге Ю.Л. Бессмертный охарактеризовал приёмы работы авторского коллектива как близкие к микроистории (Человек в кругу семьи. С.16).

81. Казус: Индивидуальное и уникальное в истории /Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. Вып.1–4. — М., 1997–2002. Об ориентации на микроисторию свидетельствует вступительная статья Ю.Л. Бессмертного к первому выпуску альманаха — «Что за «Казус»?» (с.7–24), отклики на его выступление см. там же. С.303–320. Материалы большой дискуссии о микроистории помещены в 3-м выпуске (2000 г.).

82. Историк в поиске: Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5–6 октября 1998. — М.: ИВИ РАН, 1999.

83. *Кошелева О. Е.* Побег Воина //Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. — М., 1997. С.55–86.

84. *Леви Дж.* К вопросу о микроистории. С.171.

85. Там же. С.184.

86. *Антоценко А. В.* История одной профессорской отставки //Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. Вып.4. — М., 2002. С.234–272.

87. О профессорских отставках в начале XX в. и — шире — об отношениях российских учёных с царской, а затем — с советской властью см. интересные наблюдения Д.А. Александрова в его вступительной статье к переводу избранных глав из книги Ф. Рингера «Закат немецких мандаринов». Важен сам подход, при котором «умственные привычки» профессоров анализируются в тесной связи с проблемной отношений государственной власти и науки — с одной стороны, и властных отношений внутри самого академического сообщества — с другой (см.: *Александров Д. А.* Фритц Рингер, немецкие мандарины и отечественные учёные //Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С.90–104, особенно с. 99–104).

88. *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Вильегорского: Опыт биографии человека 1830х годов. — М., 1999. С.9–10.

89. Оценка книги Ляминой и Самовер, высказанная А.И. Филошкиным: «На сегодняшний день данная монография — наиболее яркий пример удачного микроисторического исследования в российской монографии» (АСТИО NOVA 2000. С.19) — может быть принята лишь с поправкой на то, что микроисторические исследования остаются пока большой редкостью в отечественной науке и поэтому каждая подобная попытка должна всячески приветствоваться. При этом, однако, важно не потерять ориентиров, которые даёт нам зарубежная микроисторическая классика.

90. *Журавлев С. В.* «Маленькие люди» и «Большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920х — 1930х гг. — М., 2000. Ниже я цитирую эту работу по сокращённому варианту, опубликованному в ежегоднике «Социальная история», см.: *Журавлев С. В.* Иностранная коло-

ния московского Электростанции в начале 1930-х годов: опыт микроисследования //Социальная история. Ежегодник, 1998/99. — М., 1999. С.366–408.

91. Там же. С.407–408. Интересно также обоснованное предположение автора о том, что разочарование в «реальном социализме» советского образца могло подтолкнуть немецких рабочих, вернувшихся из СССР на родину, к вступлению в ряды фашистской партии (см. там же. С.406–407).

92. *Бегунова А. И.* Повседневная жизнь русского гусара в царствование *Александра I*. — М., 2000; *Романенко Е. В.* Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. — М., 2002.

93. См., например: *Очерки русской культуры XVI века. Ч.1.* — М., 1977. С.182–201 (жилище), 202–216 (одежда), 217–224 (пища).

94. *Кириянов Ю. И.* Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало XX в.). — М., 1979; *Крузе Э. Э.* Условия труда и быта рабочего класса России в 1900–1914 годах. — Л., 1981; и др.

95. См.: *Людтке А.* Что такое история повседневности? Её достижения и перспективы в Германии //Социальная история. Ежегодник, 1998/99. — М., 1999. С.77–100 (особенно с.77, 82–84, 88–91).

96. *Лебина Н. Б.* О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20–30-х годов //Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы /Под общей ред. Т. Вихавайнена. — СПб., 2000. С.9–26.

97. *Давыдов А. Ю.* Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Мешочники. — СПб., 2002. (О социальных типах мешочников см. с. 107–126).

98. *Утехин И.* Очерки коммунального быта. — М., 2001.

99. *Чуйкина С.* Дворяне на советском рынке труда (Ленинград, 1917–1941) //Нормы и ценности повседневной жизни. С.151–192.

100. *Лебина Н. Б.* Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы. — СПб., 1999.

101. *Сенявский А. С.* Повседневность как методологическая проблема микро- и макроисторических исследований (на материалах российской истории XX века) //История в XXI веке: историко-антропологический подход... С.29.

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА: ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ

Татьяна ДАШКОВА

Интенсивное развитие «женских» и гендерных исследований может рассматриваться как один из важнейших аспектов преобразований, происходящих в отечественном гуманитарном пространстве в постсоветское время. Недаром один из ведущих представителей гендерных исследований на постсоветском пространстве И. Жеребкина называет это время — «гендерные 90-е» (1). На наших глазах происходит распространение и освоение сформировавшихся в западном гуманитарном знании способов проблематизации действительности и формирование новых институций, предпринимаются попытки переосмысления прежних дисциплинарных конвенций и открытие новых областей исследования. Рассмотрение этих процессов во всей их сложности и неоднозначности представляет чрезвычайный интерес. Дополнительную интригу исследованию может придать социально-историческая перспектива этого процесса: побег позднего феминизма прививаются в стране, которая в своё время воспринималась как место, где феминистские идеи были во многом реализованы.

В данной статье предпринята попытка обозначить некоторые тенденции развития «женских» и гендерных исследований в нашей стране, значимые применительно к ситуации в новейшей российской историографии, и дать обзор научной литературы лежащей в русле «истории женщин», «женской истории» и гендерной истории. Кроме того, я попытаюсь наметить проблемные зоны и показать проективные возможности категории «гендер» на пространстве отечественной истории XX в., т. е. обозначить лакуны и назвать возможные темы и направления исследований, возникшие в связи с освоением новой проблематики. Я оставляю за рамками обзора исследования по «женскому вопросу» в древней, средневековой и новой истории, а также вышедшие в последнее время многочисленные научно-популярные книги о царицах, известных женщинах, быте, нравах, сексуальной жизни и пр. далёкого прошлого (2). Материалом для данного исследования будут выступать издания и тексты, вышедшие как в России, так и в странах бывшего СССР. Все они принадлежат единому научному пространству, существование которого поддерживается тесными контактами учёных, их участием в совместных научных проектах, наличием общих теоретических и идеологических принципов.

«The best from the West»: феминизм, «женские» и гендерные исследования на Западе

Для того, чтобы получить критерии оценки российской ситуации и присущих ей тенденций развития, а также принадлежности историографических трудов к тому или иному направлению, необходимо по возможности придать более или менее отчётливый смысл используемым нами понятиям — «женские исследования» («исследования женщин») и гендерные исследования, зафиксировать характерные для них способы исследовательского и организационного самовыражения. Это особенно важно в связи с тем, что в научном сообществе (особенно в отечественном), с одной стороны, существуют различные интерпретации этих понятий, с другой стороны, не всегда осознается их методологическое и идеологическое своеобразие. Наиболее адекватным способом решения поставленной задачи будет схематическое представление интеллектуальной истории «женских» и гендерных исследований на Западе с уклоном в интересующую нас сферу историографии. При этом следует учесть, что последующее изложение имеет функцию формулировки проблем и концептуальных ориентиров для осмысления отечественной ситуации и не может быть ничем иным, как упрощенной конструкцией, которая, конечно, не учитывает ни всего многообразия проблем, связанных с развитием феминизма, «женских исследований» и гендерных исследований, ни множества различий между течениями, существующими в этом интеллектуальном поле.

Общеизвестно, что «женские исследования» утвердились «на гребне» второй волны женского движения (конец 60-х гг.), в основании которого была идеология *феминизма* (3). Очень кратко она может быть обозначена как противостояние двух тенденций: с одной стороны, требования равноправия женщин, с другой — требования признания особенности женской сферы. На этих же постулатах основывается и «феминистская критика», составившая теоретический фундамент «женских исследований». Она также выработала две противоположные стратегии: с одной стороны, стремление подчеркнуть *равенство* женщин и мужчин, а с другой — попытку настоять на существовании *различия*, то есть постулировать специфически женскую культуру (4).

Результатом феминистской критики гуманитарного зания стало возникновение и институционализация сначала в США (конец 1960-х гг.), а потом в Западной Европе (1980-е гг.) «женских исследований» («*women's studies*») (5). Лозунгом, объединившим в рамках нового направления представителей различных дисциплин, стал тезис «добавить женщину», в котором выразилось стремление устранить существовавшую дискриминацию женщин как объекта научного исследования и сделать видимой роль женщин в истории и жизни современного общества (6). Осознание невозможности решить эту задачу, пребывая замкнутыми в традиционных дисциплинарных рамках, привело к более целенаправленному развитию самостоятельных программ «женских

исследований», получивших впоследствии публичное и академическое признание. В этих программах в наибольшей степени была реализована специфика «женских исследований», отличавшая их от традиционных исследований о женщинах и выразившаяся в идее включения женского жизненного и социокультурного опыта в научную работу (7). Одной из составляющих «женских исследований» стала **«женская история»** («история женщин») (8).

Как историографическое направление «история женщин» может быть осмыслена в контексте становления «новой социальной истории». Именно развитие в русле «новой социальной истории» с её направленностью на изучение «народной истории», «истории снизу» и ориентацией на взаимодействие с другими социальными науками — социологией, демографией, антропологией и др. — стало залогом роста нового направления. Это, с одной стороны, создало условия для более полного осмысления экономических, политических, правовых и т. д. аспектов существования женщин прошлого и признания половых различий как одной из важнейших систем социальной организации, а с другой — раскрыло новые аналитические возможности в исследовании традиционно приоритетных для женщины сфер семьи и частной жизни (9). По мнению Л.П. Репиной, в «истории женщин» можно, хотя бы условно, выделить три направления, отражающие важнейшие тенденции и, одновременно, соответствующие стадиям развития этого историографического направления (10). В первом и наиболее традиционных из них, господствовавшем до середины 1970-х гг., ставилась задача «восстановление исторического существования женщин», «забытых» или «вычеркнутых» из официальной «мужской» историографии. В соответствии с этим выстраивался проект написания особой «женской истории» — «her-story», альтернативной по отношению к традиционной историографии, определявшейся как «his-story». Научные работы, относящиеся к этому течению, имеют в большинстве своём описательный характер. Второе направление, утвердившееся во второй половине 1970-х гг., уже в гораздо большей степени принадлежало к парадигме социальной истории (11). Его представители видели свою цель в изучении исторически сложившихся отношений господства и подчинения между мужчинами и женщинами в патриархатных структурах классовых обществ. Однако в своём стремлении связать «женскую историю» с историей общества они, в духе марксистских теорий, делали упор на объяснение полового неравенства его укорененностью в неравенстве экономическом. В работах представителей третьего направления, сформировавшегося на рубеже 1970-х — 1980-х гг., мы находим стремление учесть всю неоднозначность взаимосвязи распределения половых ролей с другими социальными характеристиками и иерархиями, в частности соотношения сексуального и классового неравенства. Более того, в этих работах уже происходило переопределение понятий «мужского» и «женского» с учётом их внутренней дифференцированности и изменчивости, что в конечном итоге привело к формированию гендерных исследований.

Проблемы, которые в конечном итоге возникли в связи с развитием «женских исследований», были связаны с невниманием к различиям и недостаточной историчностью лежащих в этом русле подходов. Под вопрос были поставлены как природная общность женского опыта, так и наиболее популярные объяснения его специфики, которые, несмотря на все различия между ними, имели один общий недостаток — фиксировали и субстанциализировали бинарную оппозицию «мужского» и «женского» (12). Этим, как показывают исследователи, грешат самые разные версии «женских исследований» от радикально-критических (биологизаторских, марксистских, психоаналитических), так или иначе разоблачающих природу неравенства полов в патриархальном обществе, — до более умеренных и нейтральных, связывавших вслед за Т. Парсонсом и Р. Бейлзом, различие половых ролей с неизменностью социальных функций мужчин и женщин (13). Развитие «женских исследований» всё более обнаруживало закрытость такого понимания по отношению к существованию многочисленных социальных и культурных различий между женщинами разных сообществ и эпох.

Эта закрытость, «заикленность» (Г.-Ф. Будде) обнаруживалась и на институциональном, и на дисциплинарном уровне. Политическая ангажированность и стремление к автономии, сплоченность во имя критики сексизма и реабилитации женщин, представления их опыта и построения альтернативного знания об обществе и истории не только отпугивали многих представителей научного сообщества, долгое время не признававшего научный статус «женских исследований», но и способствовали их самозамыканию, «геттоизации», усилению духа «изоляционизма и кастовости». Сохранение или простое переворачивание существовавших оппозиций «мужское — женское», «публичное — частное» (коренящееся в т. н. концепции «разделенных сфер»), при сохранении их жесткости, не позволяла «женским исследованиям» действительно участвовать в преобразовании гуманитарного знания и, в частности, истории (14). Результатом поисков выхода из этой ситуации стало формирование гендерных исследований или «истории полов».

«Гендером» стали именовать «социокультурный пол», в отличие от «пола» биологического. Это означало, что «центральным предметом исследований... становится уже не история женщин, а *история гендерных отношений* (курсив автора книги — Т.Д.), т. е. тех самых отношений между мужчинами и женщинами, которые будучи одним из важнейших аспектов социальной организации, особым образом выражают её системные характеристики и структурируют отношения между индивидами..., осознающими свою гендерную принадлежность в специфическом культурно-историческом контексте (“гендерная идентичность”))» (15).

Утверждение этого нового видения проблемы пола, связанного с отрицанием биологического и психологического детерминизма и формированием конструктивистского подхода в гуманитарном знании, открывало возможность решения целого ряда актуальных для «женских исследований» проблем. «Гендер», в качестве базового понятия, формирует новый образ фемин-

нистского исследования, переопределяя основополагающие для феминизма стратегии равенства и различия. Это выразилась, во-первых, в осознании необходимости изучения мужчин и формирования мужского опыта *наравне* с изучением женщин и женского опыта. В этом смысле предметом гендерных исследований, в отличие от исследований женщин, оказывается уже не только женщины, но и соотношение полов и, более того, — различные формы половой идентичности, не укладывающиеся в рамки традиционной дихотомии («queer-идентичности») (16). Во-вторых, гендерная оптика оказывается более продуктивной в плане фиксации *различий* в женском опыте (как, впрочем, и в опыте противоположного пола) и изучения механизмов воспроизводства этого опыта в их социально-исторической специфике. В частности, менее однозначной становится и интерпретация важнейшей для феминизма темы дискриминации женщин.

Описанные изменения стали шагом к преодолению «геттоизации» «женских исследований» и облегчили их интеграцию в академическое сообщество. И дело, конечно же, не только в том, что замена «женского» и «феминистского» на нейтральное и «объективно» звучащее понятие «гендер» позволили феминистски-ориентированным исследованиям претендовать на научную серьёзность и объективность, чем, как свидетельствует Дж. Скотт, многие их авторы и воспользовались (17). Значение гендерных исследований связано с их эпистемологической и методологической спецификой, которая обусловлена их взаимодействием со структурализмом и постструктуралистскими течениями и участием в целом ряде «поворотов», произошедших в гуманитарном знании последней трети XX в. (18).

Как бы не оценивались взаимоотношения гендерных исследований с постструктурализмом (19), нельзя не отметить несколько наиболее существенных направлений их развития. Эти направления определялись прежде всего ориентирами культурализма и отказа от универсалистской интерпретации различий, задачами исследования систем значений (ведь именно проблемы *значения* половых различий и механизмов *различения* стала основополагающей для гендерных исследований) и вниманием к средствам выражения и языкам (само) описания и (само) представления, которые получают семиотическую интерпретацию. Благодаря этому, наряду с уже упоминавшимся понятием «идентичность», на первый план выдвинулась проблематика *репрезентации*.

Л. П. Репина, вслед за Р. Шартье, указывает на три аспекта понятия «репрезентация»: коллективные представления, организующие схемы восприятия социального мира; формы символического предъявления и навязывания миру своего социального статуса и политического могущества; закрепление за представителем — «репрезентантом» — утверждённого в конкурентной борьбе и признанного обществом социального статуса (20). Эволюция в понимании репрезентации представительницами гендерных исследований, как её характеризует А. Усманова, была связана с переходом от «миметической» модели исследования репрезентации женщин в искусстве и СМИ, аналогичной модели политического представления, к более сложной модели, в которой

акцент делается на способах конструирования образа женщины и его существования в различных контекстах (21). Таким образом, заслугой постструктурализма оказывается разработка более изощрённых и эффективных способов критики господства (22). Это стало возможным, в частности, благодаря использованию методов анализа дискурса, деконструкции, а также различным литературоведческим подходам (жанровый анализ, мотивный анализ, анализ тропов и пр.) (23).

Это можно проследить на примере изменений в интерпретации проблематики канона в литературе и искусстве. Если для представителей «женских исследований» было важно заменить «мужской канон» на «женский» (то есть дать альтернативный набор «классиков»), то для гендерных исследований разговор о каноне сместился в сторону проблем репрезентации, в том числе, и визуальной. От проблем «состава» канона, предполагающего новый список и свою иерархию, перешли к проблемам его конструирования, трансляции и восприятия/усвоения.

Создание новых инструментов критики и саморефлексии сделало возможной более основательную проблематизацию оснований научного знания, к которой стремилась также и феминистская мысль. «Релятивизация и историзация понятия “знание” способствуют складыванию иного отношения к самому логико-нормативному стандарту научности. Он формулируется как соответствие профессии, как свод правил, ценностных требований, предъявляемых к самому познавательному процессу и к его результату. Профессионализм сопрягается с понятием “институционализации” творчества, направленностью деятельности интеллектуалов на создание образцов, утверждающих intersубъективность и верификацию знания. При таком понимании норма, которая вырабатывалась в пределах профессионального сообщества и идентифицировалась его участниками как научная, обнаруживает функции репрессии и власти. В итоге профессиональная культура предстает в виде определённой *дискурсивной практики*, совокупности познавательных ориентиров, специфического способа общения — ритуала, основанного на разделяемых представлениях и символах» (24). Благодаря этому, с одной стороны, под сомнение были поставлены автономия науки, её эпистемологические предпосылки, критерии релевантности фактов, дисциплинарные границы и интеллектуальные иерархии. Это выразилось, в частности, в критике позитивизма и повышении статуса качественных методов анализа. С другой стороны, были подняты вопросы о значении пограничных и маргинальных областей в науке и за её пределами, о необходимости эстетической и политической рефлексии в отношении знания, о реабилитации маргинального. Всё это позволило гораздо более полно инкорпорировать феминистскую рефлексия, которая оказывалась все крепче связанной с идеями мультикультурализма и других интеллектуальных течений, реабилитирующих маргинальное в системе воспроизводства знания, что способствовало преодолению «геттоизации» феминистски ориентированной науки.

Описанные выше тенденции своеобразно преломились в области гендерной историографии. Обращение к концепции «гендера» позволило восстановить целостность социальной истории, вернув ей оба пола и сориентировав историю женщин на подключение к «более генеральным объяснительным схемам» (25). Осознание того, что «гендерная принадлежность оказывается встроенной в структуру *всех общественных институтов*, а воспроизводство гендерного сознания на уровне индивида поддерживает сложившуюся систему социальных отношений *во всех сферах*» (26), открыло перспективы освоения новых типов источников и достижения нового уровня дисциплинарного сотрудничества и синтеза в изучении истории полов. Это, в свою очередь, стимулировало развитие новых подходов к различным темам, в частности, к тем, которые были выведены в число приоритетных «историей снизу», — таким как «частная жизнь», «повседневность», «массовая культура», «телесность», «сексуальность» и др.

Процесс «академизации» «женских» и гендерных исследований в историографии был связан с значительными преобразованиями в самой исторической дисциплине, обусловленными кризисом традиционных моделей исторического написания. Это произошло благодаря тому, что многие достижения гендерной истории были связаны с выявлением *иных* уровней и тенденций исторического процесса, не фиксируемых традиционными схемами и периодизациями. Таким образом, одновременно с приобщением к «Большой Истории», гендерная история оказалась вовлечённой в теоретико-методологические контроверзы, обусловленные развитием различных форм локальной истории и микроистории, сетевого анализа и нового биографического метода. Именно эти историографические направления и методы, во многом определившие новый этап развития исторического знания, стали одной из опор гендерной историографии. Становление гендерной историографии во многом было связано со сменой историографических парадигм. Оно ознаменовало собой переход от новой социальной истории к новой культурной и новой интеллектуальной истории, обозначив тем самым новое качество историчности «женских» (и «мужских»!) исследований, связанное с осмыслением *динамики* половых различий, анализом многообразных механизмов их создания и воспроизводства и историзацией используемых историками объяснительных схем (27).

Одним из важнейших выражений этого перехода стала историческая проблематизация «женского опыта» и его текстуальной репрезентации, которая затрагивала, с одной стороны, «женский взгляд на мир» в различные исторические периоды, а, с другой, — особенности «женского письма» (28) историографа, включающего в свой научный текст личный опыт и намеренно отказывающегося от нейтральности изложения и пр. С первым аспектом этой проблематизации были связаны интерес к источникам личного происхождения — дневникам, письмам, автобиографиям, а также разработки новых подходов к биографическому исследованию (29), которые позволяли бы не только объяснить жизнь личности «из эпохи», но и, сквозь призму личного

взгляда, прояснить специфику культурного контекста и представить иное измерение общесоциальных процессов. Одним из воплощений второго аспекта стало стремление ввести в повествование «фигуру автора» в её исторической конкретности.

Важным достижением представителей гендерных исследователей стало преодоление традиционных представлений о соотношении частного и публичного, закреплённых в концепции «разделённых сфер». Разработанная историками концепция «женской власти», («women's power») описывала неформальные каналы влияния на политические решения, которыми пользовались женщины в отсутствие у них публично признанного авторитета. С другой стороны, как показывают историки, «средства патриархального господства не исчерпывались экономическими, политическими и культурными институтами (включая религию и образование), ограничивающими доступ женщин в публичную сферу: важным его инструментом является также и контроль над женской сексуальностью в самом широком смысле» (30). Это, а также факты постоянного нарушения границ между частной и публичной сферой, показали историческую обусловленность этих границ и невозможность однозначно определить направление, в котором развивается их взаимодействие (31).

Важнейшим этапом в становлении «гендерной методологии» традиционно считается статья американского историка Джоан Скотт «Гендер — полезная категория исторического анализа» (1986 г.) (32). Зафиксировав необходимость преодоления внеисторичности господствующих интерпретаций пола в истории, Дж. Скотт предложила весьма продуктивную схему анализа исторического материала сквозь призму гендерного подхода. Она наметила четыре основных смысловых «комплекса» гендерной историографии: 1) культурно-символический, 2) нормативно-интерпретационный, 3) социально-институциональный, 4) индивидуально-психологический (33).

Первый комплекс включает в себя работу с системами культурных символов, бытующими в тот или иной исторический период. Это могут быть различные символические женские образы (Ева, Мария) и мифологические представления о невинности, порочности, осквернении и пр. Историка здесь будут интересовать формы репрезентации этих символических смыслов и их трансформации в различных исторических контекстах.

Второй комплекс — это работа со сложившимися в культуре нормативными утверждениями, закреплёнными в религиозных, педагогических, научных, правовых и политических доктринах, причём очень важно показать, как то, что фиксируется в качестве «извечного», «правильного» или «единственно-возможного» возникает и утверждается в борьбе с альтернативными концепциями. Фиксация исторической природы этих утверждений (например, постулата о «женском предназначении») позволит исследователям доказать не «биологический», «извечный» («такова женская природа») характер соотношения «мужского» и «женского», а показать, что оно является продуктом социального конструирования в определённую эпоху.

Третий комплекс предполагает анализ роли полового различия в структуре и функционировании социальных институтов и организаций. Здесь имеются в виду не только традиционно рассматриваемые с этой точки зрения системы родства, брак, семья, домашнее хозяйство, но и рынок рабочей силы, система образования, государственное устройство, социальные отношения, политические институты. Историков должно интересовать, как происходит воспроизводство социального порядка, основанного на половых различиях, как в этой связи функционируют институты социального контроля и за счёт чего осуществляется распределение и перераспределение власти.

Четвёртый комплекс — рассмотрение самоидентификации личности в различные исторические периоды, то есть в чём «субъективная гендерная идентичность» совпадает, а в чём не совпадает с культурно-предписанными и социально-заданными образами «идеальных» мужчин и женщин.

Все эти четыре подсистемы, по мнению Дж. Скотт, намечают панораму возможностей гендерных исследований в историографии, а тот или иной способ их конкретного соотнесения определяет специфику каждого из них. Вместе с тем, по мнению исследовательницы, данная схема должна быть дополнена ещё одним важным аспектом проекции понятия «гендер» на историю общества, связанного с рассмотрением гендерных диспозиций как средства «обозначения отношений власти», как одного из важнейших способов легитимации социального порядка (34). Это дополнение позволяет не только пересмотреть проблемы политической истории, но и по-новому осмыслить политическое значение истории полов.

Подытоживая предложенную характеристику гендерных исследований, следует отметить, что в них формируется новая конфигурация взаимодействия политики (социального движения) и науки. В процессе развития от «женских исследований» к гендерным исследованиям формируется новая практика междисциплинарности благодаря обнаружению значения половых различий как формы организации социального опыта и взаимодействия. Эта практика основывается уже не на предметном единстве, как это было в «женских исследованиях», но на единстве категориальном, в условиях проблематизации принципов научного познания, усложнения дисциплинарного взаимодействия и методологической рефлексии (35). В историографии это выразилось в усложнении представлений об историческом процессе (в частности, в постановке проблемы сопряжения макро- и микроподходов) и в поисках новых форм исторического синтеза. Формирование гендерных исследований создает новые формы для связанного с феминизмом социального опыта и инспирированного им социального активизма. Научная деятельность может иметь смысл политического действия, однако при этом очень важно всякий раз проявлять «местоположенность» и ангажированность субъекта высказывания.

Вместе с тем в адрес гендерных исследований как концепции и дискурсивной практики был высказан целый ряд критических замечаний. О некоторых из них стоит упомянуть. Первое направление критики понятия «гендер» было связано с тем, что, будучи средством академизации феминизма, это

понятие оказывается теоретически неадекватным и политически аморфным, снижающим нон-конформистский пафос феминизма (36). Кроме того, некоторыми исследователями утверждение «гендера» рассматривается как симптом экспансии англо-американской традиции гендерных исследований, которая не может быть в полной мере адекватна опыту других культурных традиций и языков, в которых различие пол/гендер отсутствует. Выдвигались и чисто методологические аргументы. С одной стороны, концепция гендера критиковалась за дематериализацию пола и отрицание активности субъекта (37). С другой стороны, гендерный подход оказывался, с точки зрения некоторых мыслителей, недостаточно «конструктивным» или даже ограниченным своей «конструктивностью». Здесь следует упомянуть о критике Дж. Батлер в адрес оппозиции пол/гендер, которая, будучи призванной выявить социокультурную сконструированность половых различий, в действительности содержит в себе допущение о существовании «пола» или «тела» как чего-то предшествующего конструкции. Более того, понятие «гендера» стало одним из водоразделов между американской и французской традицией феминизма (38). Таким образом, «гендер» сегодня находится в процессе критического переосмысления. «История» с «гендером» продолжается — теперь и в России.

«Back in the USSR».

«Женские» и гендерные исследования в России и странах СНГ:

возникновение сообщества и развитие институций (39)

Ситуацию становления «женских» и гендерных исследований в нашей стране имеет смысл рассматривать в двух взаимосвязанных между собой ракурсах: образования институций и формирования дискурсивного пространства. Но если в отношении первого ракурса мы ограничимся лишь наброском, то второму мы намерены уделить более пристальное внимание, для того, чтобы зафиксировать некоторые тенденции, определяющие конфигурацию «женских» и гендерных исследований в постсоветском гуманитарном знании.

В настоящий момент можно сказать, что «гендерные» институции переживают свой ренессанс, хотя процесс их «утверждения» происходил далеко не безболезненно. Историко-социологический анализ составляющих его «точек роста» можно обозначить здесь лишь как исследовательскую задачу, без выполнения которой невозможно приблизиться к пониманию специфических особенностей существования нового научного направления на постсоветском пространстве. Во всяком случае важно, что мощный рывок, который позволил за десять с небольшим лет пройти путь от разрозненных групп энтузиастов к созданию довольно большого числа научных центров и социальных

организаций и получению государственной поддержки — и это в отсутствие социальной базы в виде женского движения, создававшегося параллельно и при поддержке учёных. Это вызывает не только законное желание гордиться достижениями, но и вопросы, в том числе и о том, не становятся ли научные исследования, основанные на феминистской критике, инструментом мужского доминантного политического дискурса, да ещё и получившего «международный заказ» после IV Всемирной конференции по положению женщин в Пекине (40).

В качестве факторов, способствовавших продвижению «женских» и гендерных исследований в России, Е. Здравомыслова и А. Темкина называют следующие: взаимодействие с женскими политическими и социальными организациями, в том числе и европейскими, что «постепенно стало обеспечивать инфраструктуру интеллектуального обмена»; «фактор глобализации», интеллектуальная и финансовая поддержка западных фондов и исследовательских организаций — в ситуации кризиса института науки в России это позволило не только участвовать в жизни международного научного сообщества, получать доступ к профессиональной литературе и другим источникам научного роста, но и создало условия для материальной заинтересованности российских научных чиновников в поддержке «гендерных» начинаний; формирование новых образовательных структур, оказавшихся более открытыми для гендерной тематики, чем традиционные научные и образовательные учреждения; получение «гендерными» институциями государственной поддержки; «личный фактор», без которого невозможно выживание в условиях нестабильности (41). Институционализация гендерных исследований в России стала важным фактором преобразования научной и образовательной среды, причём это преобразующее воздействие осуществлялось не только через публикации (42), очень часто свидетельствующие о хорошей осведомлённости авторов о методологических дискуссиях и состоянии предметных областей в западной науке. Помимо создаваемых таким образом условий для теоретического диалога, следует отметить также трансляцию форм западноевропейской и американской образовательной практики, с её программами курсов по выбору, методологической свободой и преподавательской толерантностью по отношению к студентам разных рас, национальностей, сексуальных ориентаций (43), а также особый микроклимат внутри научных сообществ (преимущественно «женских») и опыт неформального общения единомышленников.

Период становления отечественных гендерных исследований, по мнению З. Хоткиной, можно разделить на четыре этапа (44). Первый, *просветительский организационный этап* внедрения новой научной парадигмы (с конца 80-х — до 1992 г.): в это время возникают первые феминистские группы, независимые женские организации, появляются первые публикации в журналах (45). В этот же период начинается деятельность зарубежных и российских научных фондов, направленных на поддержку гендерных исследований и оказание финансовой помощи исследователям. В рамках АН, в Институте социально-экономических проблем народонаселения создаётся гендерная

лаборатория (1990 г.), позднее — Московский Центр гендерных исследований (МЦГИ) (46). Второй *этап* — *институционализация исследований* (1993–1995), то есть рост числа гендерных центров и начало официальной регистрации научных коллективов и организаций. За это время были официально зарегистрированы Московский и Петербургский центры гендерных исследований и начали работу Ивановский, Карельский и другие центры. На этом этапе началось создание вузовских программ по феминологии. Третий *этап* — *консолидация учёных и преподавателей* российских гендерных исследований (1996–1998). В этот период начали организовываться конференции по гендерным исследованиям и возросло число публикаций на эту тему. Важным событием этого этапа было проведение трёх Российских летних школ по «женским» и гендерным исследованиям (РЛШГИ): «Валдай-96» в Твери, «Волга-97» в Тольятти и «Азов-98» в Таганроге (47) (организованы Московским ЦГИ) и Международных летних школ в Форосе (48) (организованных Харьковским ЦГИ). Четвёртый этап — активизация работы, направленной на *легитимацию и распространение гендерного образования* (1999 — по настоящее время). В этот период в ряде ведущих вузов страны начинают читаться учебные курсы по гендерным исследованиям: МГУ, РГГУ, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Российский государственный педагогический университет им. Герцена, Высшая школа экономики в Москве, Ивановский, Тверской, Новосибирский госуниверситеты, Уральский государственный технический университет и др. В настоящее время программы по гендерному образованию есть во многих вузах, по этой теме регулярно проводятся конференции, создается информационная сеть, объединяющая на сегодняшний день целый ряд сайтов, в том числе сайты научных центров и сайты, посвящённые «женской» и гендерной истории (49).

По мнению Здравомысловой и Темкиной перспективы институционализации отечественных «гендерных исследований» следует рассматривать как сосуществование двух стратегий — автономизации и интеграции. *Автономизация* предполагает «создание относительно замкнутого сообщества исследователей, занимающихся данной проблематикой, но принадлежащих к разным дисциплинам. Цель таких стратегий — выработка общего понятийного аппарата и языка, постоянная поддержка исследовательской сети, создание собственных каналов научной коммуникации» (50). Формами автономизации является проведение тематических конференций, выпуск специальных изданий, летние школы, публикации в специализированных (гендерных) журналах. *Интегративная* стратегия институционализации предполагает «включение тематики в основное русло общественного дискурса в соответствии с научным дисциплинарным разделением, что означает, например, публикации в основных научных изданиях, участие в общенаучных конференциях» (51). К интегративным акциям можно отнести открытие «гендерных» рубрик в научных журналах «Общественные науки и современность» и «Социологические исследования», тематические выпуски научных журналов, посвящённые гендерным исследованиям (52), организация секции «Гендерные про-

блемы в современном обществе» в рамках Первого Всероссийского социологического конгресса (сентябрь, 2000). По мнению учёных, такая стратегия «препятствует «геттоизации» гендерных исследований как ниши для исключенной и исключаящей группы» (53). Таким образом, как показывает данное описание, процесс институализации «женских» и гендерных исследований в нашей стране протекает весьма интенсивно, хотя и не без трудностей, которые преодолеваются не только благодаря западному финансированию, но и благодаря энтузиазму участников этого научного движения. Менее однозначным оказывается дискурсивный аспект этого процесса, что достаточно ясно осознается многими его участниками (54). Основываясь на их рассуждениях, мы сделали попытку в самом общем виде представить тенденции и проблемы становления «гендерного дискурса» в отечественном гуманитарном знании. При этом наше внимание будет сосредоточено на характеристиках исследовательской деятельности, политической активности и их соотношения, выражающие различные позиции по поводу вопросов, основополагающих для самоопределения «женских» и гендерных исследований.

«Женское», «политическое», «бессознательное»: интеллектуальные стратегии и формы саморефлексии в трудах отечественных исследователей

Как явствует из предшествующего изложения процесс развития «женских» и гендерных исследований в России, хотя и может быть представлен как поступательный, включает в себе различные тенденции и стратегии институционализации. Вообще, отсутствие гомогенности этого интеллектуального пространства не является российской спецификой. Как отмечает Е. Ярская-Смирнова, сегодня «вряд ли следует стремиться к жесткой департаментализации социального знания, разделяя его на женские исследования, феминизм и гендерные исследования,.. ибо сегодня существуют многочисленные варианты программ и исследовательских коллективов» (55). Однако, это отсутствие гомогенности можно оценить также и как характерную черту периода становления нового направления в науке, когда в свете задачи мобилизации и объединения, проблемы интеллектуального самоопределения оказываются менее значимыми. Как свидетельствует О. Шнырова, «в провинциальной научной среде под видом женских иногда ведутся традиционные исследования, в которых не только не используются гендерная и феминистская методология, но и пропагандируются патриархатные взгляды на роль женщины в обществе» (56).

Впрочем, даже между сообществами, воплощающими в своей деятельности принципы феминистской критики, существуют определённые различия. Как показывают Здравомыслова и Темкина, это становление происходило в России по двум основным направлениям, каждое из которых было поддержано

одним из двух течений в российском женском движении 1990-х (и порождало их? — ср. выше о научных истоках женского движения), которые обозначаются как «постсоветское» и «собственно феминистское». «Постсоветское ЖД (“женское движение” — *Т.Д.*) поддержало институционализацию такой дисциплины, как феминология — российский аналог Исследований женщин. Феминистки ввели в российскую дискуссию термин Гендерные исследования. В настоящее время жёсткое разделение двух направлений и исследовательских подходов утрачивает своё значение. Расхождения в интерпретациях гендерного подхода уступают место консолидации единомышленников в рамках сообщества» (57). Несмотря на тенденцию преодоления различий между двумя направлениями, которая фиксируется в приведённом высказывании, можно попытаться зафиксировать различные тенденции в гомогенизирующемся пространстве «женских» и гендерных исследований исходя из различия форм самоопределения и интеллектуальной саморефлексии. Эти формы определяются разным пониманием проблем и стратегий контекстуализации и легитимации своей научной деятельности; соотношения «феминизма», «женских исследований» и «гендерных исследований», научной и политической активности.

Прежде всего, эти различия касаются социального самоопределения представителей «женских» и гендерных исследований. В качестве значимых инстанций при этом выступают женское движение, феминизм, власть и академическое сообщество. В качестве неблагоприятных социальных моментов для развития «женских» и гендерных исследований, называются отсутствие женского движения в качестве его социальной базы, господство патриархальных установок и зачаточное состояние феминистской рефлексии, а также тенденция «модернизации патриархального сознания» (*Н. Пушкарева*) или, в другой формулировке, — тенденция «поиска культурных корней, которая в данном случае принимает форму дискурсивного возвращения традиционных половых ролей» (*Здравомыслова, Темкина*) (58). С этим связано неприятие феминизма, отождествление его с «мужененавистничеством, индивидуальной депривированностью женщин — инициаторов ГИ (гендерных исследований — *Т.Д.*), политической ангажированностью и гомосексуальной ориентацией сторонников гендерного подхода. Эти культурные барьеры приводят к тому, что гендерные и феминистские исследования рассматриваются в обществе как ориентированные на нежелательные изменения в сфере отношений между полами и, прежде всего, на разрушение института семьи» (59). В отношении этих моментов всех исследователей более или менее объединяет уверенность в том, что, в ситуации отсутствия женского движения, развитие «женских» и гендерных исследований создаст среду и будет способствовать в дальнейшем его формированию. Этому, как отмечают *Здравомыслова* и *Темкина*, благоприятствует обострение «женского вопроса» в процессе социально-экономических трансформаций, формирование социального заказа на «гендерную экспертизу» и спонсорская помощь со стороны западных фондов (60). Кроме того, всех исследователей также объединяет осознание необ-

ходимости не замыкаться в идеологии женской виктимизации, несмотря на многообразие форм угнетения женщины в современном обществе, но исследовать и другие существующие «женские» идеологии, создавать «историю / социологию / психологию женской успешности» (Н. Пушкарева), открывая позитивные возможности самореализации женщин (61). При этом, однако, значение феминизма для развития «женских» и гендерных исследований понимается по-разному.

Так, по мнению Н. Пушкаревой, начавшееся в начале 90-х развитие гендерных исследований в России, в отсутствии обсуждения новейших теорий и социальной базы в виде женского движения, имело зачастую формальный характер и весьма неоднозначные последствия. С одной стороны, это развитие осмысляется как «переименование» «феминологии» в «гендерные исследования», лишившее первую опасных, с точки зрения научного сообщества, феминистских коннотаций. С другой стороны, это безопасное название оказалось привлекательным для «переметов», потянувшихся «под крышу» гендерных исследований в погоне за выгодами в получении западных грантов. Отсюда следует парадоксальный вывод о том, что наиболее последовательными сторонниками «гендерной концепции как концепции феминистской» являются те центры и объединения, которые рискуют именовать себя именно «центрами женских исследований» и которые, не страшась, используют феминологическую риторику («женская история», «женская психология», «женский опыт», «женские практики» и т. д.)). «Быть гендеристом (гендерологом), не будучи феминистом — невозможно», — утверждает Пушкарева (62). Аналогичное понимание связи гендерных исследований с феминизмом мы находим в статье И. Клёциной, намечающей две стратегии их включения в образовательную практику. Если при первой из них («жёсткой») преподаватель «будет акцентировать внимание слушателей именно на идеологической стороне гендерных исследований», а основными понятиями станут понятия «феминистская теория», «дискриминация по половому признаку», «сексизм», «гендерное равенство и пути его достижения», то вторая («мягкая») стратегия предполагает, что отправной точкой станут «знакомые» понятия, лежащие в русле дисциплины (например «половые роли» в социологии). «Эта стратегия, — отмечает Клёцина, — не означает, что преподаватель “изменяет” идеям феминистской и гендерной теории, просто он использует другой методический прием при представлении системы нового знания» (63).

Другой подход к проблеме представлен в работах Здравомысловой и Темкиной. По мнению последней, «гендер» как термин выступает своего рода «зонтиком» для маркировки разного рода исследований, в том числе и феминистских. Идентификация исследований и исследователей происходит не по концепту, а по существу аналитических и критических ориентаций... В России исследователь гендерных отношений далеко не всегда идентифицирует себя с феминизмом, но вряд ли он (а) будет разделять откровенно патриархатные взгляды» (64). Таким образом, с этой точки зрения опыт феминизма оказывается уже как бы встроенным в структуру теории, что, с одной стороны,

делает необязательной политическую идентификацию с феминистским движением, однако, с другой стороны, в силу этой встроенности гендерные исследования могут выступать порождающей средой для феминизма (65). Кроме того, даже от тех, кто определяет себя как феминиста, трудно, по мнению автора, ожидать ясной идентификации, особенно в нашей ситуации, когда происходит параллельное усвоение разных версий и «изводов» феминизма. Существенным моментом является также и то, что А. Темкина обращает внимание на необходимость проблематизации патриархата, в связи с тем, что объектом депривации в советской и постсоветской России являются не только женщины, но и мужчины. В соответствии с этим возникает и другое видение реализации гендерного подхода в образовательной практике. «...Концептуальными рамками служат социология знания и история гендерных отношений. Мы ставим задачу ознакомить слушателей с различными теоретическими подходами к исследованию гендерных отношений и логикой их становления (и в рамках общей социальной теории, и в рамках феминистской мысли), с различными методологиями и методами анализа, чтобы предоставить возможность выбора тем и подходов и осуществления исследований в их рамках» (66).

Представленными выше интерпретациями соотношения феминизма и «женских» и гендерных исследований определяется и диапазон истолкований соотношения последних и «Власти». В трактовке Пушкиревой, оппозиция полов становится метафорой традиционно понимаемых отношений власти, в частности, в связи с проблемой знания: «мужское властное начало уже в пределах Отечества занималось их (западных интеллектуальных образцов — Т.Д.) селекцией, отбором, то есть принимало на себя функцию контроля, оставляя женскому роль их повторителя, репродуктора». Но с гендерной концепцией в России, по мнению исследовательницы, «этот номер не прошёл». Таким образом, гендерные и «женские» исследования воспринимаются как очаг сопротивления властному мужскому началу. Однако «те, кто направляют свои усилия на легализацию и легитимацию гендерных идентичностей в системе традиционного социального знания», «будучи видимыми Властью, наблюдаемыми, но пренебрегаемыми ею», «не имеют сил прорваться к рычагам воздействия» (67). Обращение к концепции власти М. Фуко, которое совершенно неожиданно оказывается соединенным в этом высказывании с представлением о «рычагах воздействия», мы находим и в других трактовках отношений исследователей к власти. Так, И. Жеребкина, опираясь на его трактовку власти как вездесущей и продуктивной способности, оказывающей воздействие на индивидов и их тела, трактует «гендерные исследования» (понимаемые вне методологической специфики, скорее как «исследования женщин»), как инструмент формирования женской субъективности. Такой подход заставляет её определить многочисленные рефлексии представителей «женских» и гендерных исследований как «политически невинные» в отношении своего дискурса и своих институциональных практик. В частности,

такowym, по мнению Жеребкиной, оказывается и её собственный тезис о том, что феминистский дискурс «призван» выполнить антивластную функцию в обществе. Становление гендерных исследований в России является симптомом смены режимов власти, перехода от «абсолютистской», основанной на прямом и безразличном к полу насилии власти советского периода, к «надзорной» власти, власти-знанию, основанной на символическом насилии и производящей «индивидуализирующую субъективность», характеризующуюся гендерной или половой маркировкой. В советское время «женское» производилось доминантным мужским дискурсом и субъективировалось лишь в категориях социального статуса, чему соответствовала практика «гендерных исследований» как «сбора данных» о «положении женщин». Новые «гендерные исследования» 90-х гг., с их интересом к «сексуальности», «желанию», «эмоциям», подтверждают тезис Фуко о «желании власти как можно больше знать о своих подданных» и представляют новую форму контроля в виде «регистрации нужд». Это новая форма парадоксальным образом связана не с осознанием «социальной сконструированности» пола, но с его «натурализацией», обретением инстинктов и «освоением» репродуктивной сексуальности (68). Таким образом, «повязанность» гендерных исследований с властью играет в данном случае позитивную роль, связанную с функциями субъективации. Оценивая этот интересный подход к осмыслению отношений гендерных исследований и власти в России, можно сказать, что он разделяет трудности, возникающие в концепции Фуко, основанной на представлении о неизменной вездесущности власти, в отношении возможностей социальной критики и направленного на преобразование ситуации позитивного политического действия (69). Поэтому эпитет «передовая», с помощью которого Жеребкина оценивает функцию субъективации, выбивается из рассуждений о власти, апеллирующих к концепции Фуко.

Иную проблематизацию отношений знания и власти, не являющуюся развитием идей Фуко, хотя и учитывающую поставленную им проблему дискурсивного воспроизводства политического, мы находим в рассуждениях Темкиной. Признавая, что (научный) анализ дискриминации может способствовать её дискурсивному (вос) производству, она не считает возможным отрицать на этом основании практическую продуктивность научного знания, в данном случае, гендерных исследований, в плане преодоления дискриминации. «Социолог обладает значительной символической властью, и в его/её власти влиять на дискурсивное (пере) определение смыслов» (70). Таким образом, признание причастности социолога к (символической) «власти» согласуется здесь с признанием возможности для него, оставаясь исследователем, участвовать в решении социальных проблем («action research»). При этом важно, что у Темкиной, с одной стороны, последовательно утверждается методологическая специфика гендерных исследований, с которой связан их критический потенциал, а, с другой стороны, политический смысл этого научного направления не опосредован с необходимостью связью с женским

движением («гражданская позиция»), а противостояние власти не обозначается через оппозицию «женское» — «мужское» (71).

Вторым параметром различения тенденций, существующих в дискурсивном поле отечественных «женских» и гендерных исследований, является для нас самоопределение их представителей в отношении способов легитимации интеллектуальной деятельности. Существующая здесь проблема связана с освоением концептуального аппарата «женских» и гендерных исследований и переводом возникшего на Западе интеллектуального багажа в отечественную языковую и научную практику, а также с осмыслением/преодолением существующих разрывов между ними и научной традицией / образовательной практикой / общественным сознанием. Пересаживание на нашу интеллектуальную почву концепций, сформировавшихся в иной социокультурной среде, не могло не выдвинуть на повестку дня вопроса о смысле и адекватности этого процесса, о предпосылках и трудностях, возникающих в его ходе. Это вопрос возникает и в отношении нарождающихся в России «женских» и гендерных исследований. Вхождение в освобожденное от догматического диктата пространство отечественной науки разнообразных теорий, создаёт в нём ситуацию («дискурсивной всеядности») (определение Здравомысловой и Темкиной). Применительно к гендерным исследованиям это выражается, с одной стороны, в том, что, возникают новые варианты базовых понятий (например, наряду с понятиями «женские» исследования и гендерные исследования употребляются, с одной стороны, термины «women's studies» и «gender studies», а, с другой, — «феминология», «гендерология»; наряду с гендерными исследователями «бытуют» «гендерологи», «гендеристы», «феминологи»; наряду с гендером — «социогендер»; наряду с «феминностью» существует «фемининность»; существуют разночтения о достоинствах/недостатках синонимичных понятий «мужественность» и «маскулинность» и т. д.). С другой стороны, сами базовые понятия помещаются в несвойственные им контексты, в результате чего происходит их пересемантизация (72). Неструктурированность и методологическая размытость, о которых свидетельствуют описанные тенденции, порождают рефлексии об «особенностях и смысле русских «женских» и гендерных исследований, об актуальности ведущихся на Западе теоретических дискуссий и правомерности применения понятийных схем к российскому опыту, о проблемах переводимости базовых понятий и правилах перевода.

Одна из точек зрения в отношении этих вопросов выражена в рассуждениях Пушкиревой. Для неё развитие гендерных исследований в России не является эпигонством и «гонкой за лидером» в силу того, что «женская тема» существовали в советской науке (в частности, в историографии), несмотря на идеологический диктат. «Многие российские учёные в этом смысле были подобны мольеровскому господину Журдену: они не первый год вели свои исследования, не называя их гендерными, и порой вырабатывали самостоятельно новые методы анализа, не зная, что за “железным занавесом” делается то же самое» (73). С другой стороны, в ситуации «запаздывающей модерни-

зации» Россия имела возможность использовать готовые результаты прогресса Запада. Таким образом, «одномоментное усвоение не совпадающих по времени теорий» (Э. Шоре, К. Хайдер) оказывается преимуществом, даже несмотря на то, что усвоение этих теорий «может происходить и довольно агрессивно, в том числе и в форме упрощений, схематизации, иногда даже профанизации знания» (74). Таким образом, преобразование «чужого» в «своё» путём разработки новых категорий, «рецептирование», которое «принимает подчас форму индивидуальной интериоризации отдельных концептов и освоения самих теорий через культурное «присваивание» обретает в глазах Пушкиревой позитивный смысл. Он состоит в «стремлении запечатлеть собственный познавательный и культурно-исторический опыт», достижении большей связанности и меньшей разобщенности «исследователей теоретических основ и практической деятельности» и создании «внятного языка вместо калькирования западных понятийных категорий». Таким образом адресатом работы по усвоению западных теорий оказываются «практические деятельницы женского движения», до которых нужно «донести... понятийный аппарат современного гендерного дискурса» (75). Условием возможности такого видения становится убеждение в том, что разрыв между «высокой теорией» и практикой, в возможностях постепенного преодоления «оторванности теоретического знания от реальных потребностей женского движения» (76). В отличие от представленной выше тенденции «социально-тематической» легитимации теоретической работы («история женщин» и женское движение) можно выделить тенденцию «парадигматическую», которая, проявляясь в отдельных высказываниях Пушкиревой, наиболее ярко представлена в рассуждениях И. Кона, Здравомысловой и Темкиной. В их текстах интерпретация процесса освоения западных теорий связана не с задачами познавательного и культурно-исторического самовыражения и соединения теории с социальной практикой, но с проблемой создания условий для того, чтобы «быть понятым и услышанным на родном языке» (77). Соответственно для них, в процессе восприятия гендерных исследований в отечественном гуманитарном знании, оказывается значимым их соотносительность с определённой исследовательской парадигмой и научными параметрами, тогда как наличие исследований пола в советском обществоведении не является залогом их легитимации (78). «Гендерным исследователям... приходится решать две задачи — не только задачу легитимации исследовательской области, но и задачу легитимации новейших социальных теорий» (79). Под новейшими теориями Здравомыслова и Темкина подразумевают антиэссенциалистский, конструктивистский подход и качественные методы, широко используемые в гендерных исследованиях, тогда как Кон мыслит эту легитимацию более традиционно — в терминах дисциплинарной адекватности («надо заботиться... об адекватном дисциплинарном расчленении проблем и способов их постановки») — и считает основополагающим для них направлением проблематизации «анализ наиболее очевидных и значимых социально-структурных, политико-экономических неравенств, к восприятию которых наши люди лучше подготовлены своим прошлым марксистским образованием» (80).

Очень важно то, что научное пространство здесь представляется как многоуровневое, а теоретическая деятельность как социальное взаимодействие (педагогов и учащихся, авторов и читателей, «философов» и «эмпириков»), что выражается в постановке проблемы контекста, в котором то или иное высказывание, та или иная проблематизация оказываются осмысленными или, наоборот, неправомерными. «Дискурсивная открытость» должна означать «освоение и ревизию» текстов, написанных на основе иного опыта в условиях пересекающихся дискурсивных потоков, представляющих различные хронотопы» (81).

В связи с этим меняется и восприятие исторической перспективы становления гендерных исследований. Так, в постскрипуме к своим рассуждениям в рамках дискуссии о проблемах и перспективах становления гендерных исследований в России и СНГ, Темкина ставит под сомнение вытекающий из её рассуждений пафос их «запаздывания» по отношению к соответствующему процессу на Западе как раз исходя из инаковости российского контекста, каковую ещё также нужно осмыслить.

Наконец третья («(мета) критическая») форма саморефлексии представителей гендерных исследователей касается издержек легитимации нового направления и сосредотачивается на метакритике критического в своей основе проекта гендерных исследований. Эта форма наиболее ярко выражена в работах С. Ушакина и Г. Зверевой. В них базовые понятия феминизма и гендерных исследований рассматриваются сквозь призму их включенности в дискурсивные практики, утверждающиеся в постсоветском гуманитарном знании. Тем самым рассуждения о «дискурсивной всеядности» как характерной черте периода становления «женских» и гендерных исследований в России переводятся в план текстуальной рефлексии. Такой подход позволяет рассмотреть на примере конкретных текстов, в которых осуществляется перевод (в широком смысле этого слова) выработанного на Западе научного инструментария, стратегии авторов и трудности, возникающие в процессе реализации их намерений, а также увидеть как переосмысленные понятия формируют новую реальность, оценить социальные эффекты тех или иных форм теоретической работы. Таковыми эффектами оказываются мнимая очевидность и омассовление знания. Они могут быть поняты как в результате «присвоения» и «одомашнивания» базовых концептов, включения их в познавательный арсенал — наряду с формами обыденного опыта — как элементов реальности, невнимания к их неоднозначности и зависимости их смысла от способа употребления и контекста (82).

Показательным примером описываемого подхода является анализ судьбы понятия «гендер» в России, произведённый Ушакиным. Этот анализ показывает как экспансия оппозиции пол/гендер в российском гуманитарном знании приводит к «смазыванию», затушёвыванию её аналитической ценности. Это связано со своего рода «субстанциализацией» гендера, с превращением этой категории из характеристики метода в характеристику объекта исследования («гендерные модели», «гендерное сознание», «гендерная асимметрия»

и т. д.). При таком словоупотреблении понятие «гендер» теряет свой (де) конструктивистский смысл, оказываясь инструментом описания отношений между полами, а пол в свою очередь выступает к нечто стабильное и неизменное. Разоблачая такой неререфлексивный «терминологический импорт» категории «гендер» как «симптом колониального сознания... с его неверием в творческие способности своего языка, с его недоверием к собственной истории

и к собственным системам отсчёта», Ушакин определяет сложившуюся ситуацию как «гендерный тупик». Вслед за Дж. Скотт, которая в недавних работах фиксирует аналогичные «неприятности с гендером», он предлагает пересмотреть смысл ставшего рутинным и приобретшего вкус обществоведческой нейтральности и валидности противопоставления пол/гендер (83). Речь идёт, по-видимому, не о том, чтобы отказаться от категории «гендер» как методологического маркера, но о том, чтобы оценить возможности языковых средств — «импортных» и «наших» — выразить соответствующее содержание и сохранить аналитический потенциал гендерного подхода.

Предложенный выше анализ позволяет, как кажется, довольно определённо представить различные модели исследовательской саморефлексии, которые естественно не покрывают ни все возможности такой саморефлексии, ни всё смысловое многообразие текстов, на основе которых они были сформулированы. Эти модели могут, на наш взгляд, служить ориентирами для исследователей, которые оказываются включёнными в дискурсивное пространство отечественных гендерных исследований. Это позволит более осознанно относиться к тем подтекстам, которые стоят за разными способами высказывания.

География и типы научных изданий

Анализ библиографии по «женским» и гендерным исследованиям показал (84), что среди изданий подавляющее большинство составляют научные *сборники*, тогда как монографий — единицы. Это ещё раз свидетельствует о том, что эти направления пребывают в процессе становления, а проблематика и методология только «нащупываются». Чаще всего «сборники» составляют тезисы или доклады на конференциях, объединённые предельно широкой темой. Это позволяет собирать «под одной крышей» как работы из разных областей гуманитарного знания (чаще всего, литературоведение, социология, политология, юриспруденция, история), так и публицистические и/или околonaучные тексты, созданные в пропагандистских и/или литературно-художественных целях (85). Чаще всего, объединение происходит по принципу наличия «женского фермента» — с этим и связана предельная широта формулировок тем конференций и сборников. Весьма показательным является и частое отсутствие рубрикации внутри изданий этого типа: работы

обычно располагаются в алфавитном порядке (что можно при желании интерпретировать и как феминистскую «деиерархизацию», но также и как неструктурированность материала) (86). То есть на данном этапе, для организаторов конференций и редакторов сборников, «удовольствие от встречи», как представляется, зачастую затмевает методологическую осмысленность проводимого мероприятия.

Среди важнейших характеристик гендерных сборников следует отметить практически равное количество столичных (Москва, Санкт-Петербург) и региональных изданий (российских — Иваново, Тверь, Новосибирск и др.) и «стран СНГ» — (Харьков, Минск). Среди *столичных* сборников (их я насчитала более 60) доминирует «общеженская» тематика с небольшим «креном» в социологию и политику (87). Изданий, программно ориентированных на историю — единицы (88). Чаще всего, работы по истории «рассыпаны» по различным сборникам и их нужно «идентифицировать», руководствуясь «принципом историзма». Поэтому в поисках работ по историографии XX в. имеет смысл просматривать сборники, напрямую не связанные с исторической наукой. Особенно это относится к «социологическим» и «политологическим» изданиям. Что же касается «критериев научности» и «показателей качества», то ими чаще всего оказывается не «столичная приписка» издательства, а высокая научная репутация редакторов сборников (И. Жеребкина, З. Хоткина, О. Демидова, Е. Трофимова, А. Кирилина, Н. Пушкарева). В большом потоке разноуровневых столичных изданий отдельно отмечу сборники материалов Летних школ по «женским» и гендерным исследованиями два сборника русско-немецких работ «Пол. Гендер. Культура»: и ту, и другую группу материалов отличает концептуальность и умелое владение гендерной методологией.

Что же касается *региональных* сборников, то здесь абсолютное лидерство по количеству изданий — за Харьковом и Иваново. Так сложилось, что в русскоязычном «гендерном пространстве» именно эти города являются влиятельными исследовательскими центрами, регулярно проводящими конференции, издающими работы и консолидирующими вокруг себя учёных. Отсюда — огромное количество (более 50) сборников, составленных в регионах (89); среди них — ряд изданий, связанных с проблемами истории (90). Причём, нужно заметить, что историческая проблематика доминирует именно в регионах, прежде всего здесь можно отметить издания Тверского Центра женской истории и гендерных исследований. Большой интерес представляют также сборники под редакцией О. Хасбулатовой и И. Жеребкиной, поскольку именно эти учёные наиболее ярко представляют ивановскую и харьковскую школы гендерных исследований, что, безусловно, сказывается и на характере изданий.

Отдельный блок работ составляют учебники, хрестоматии, антологии, а также учебные программы по различным аспектам гендерных исследований. Комплексное представление об их состоянии дают два учебных пособия «Введение в гендерные исследования» и «Теория и методология гендерных

исследований» (91). Для представления междисциплинарного пространства гендерных исследований здесь избирается принцип дисциплинарности, что, по утверждению авторов одного из учебников, соответствует «реальному опыту преподавания социальных дисциплин в постсоветской высшей школе в рамках обязательных учебных планов, факультетов и кафедр» (92). Безусловным достоинством этих пособий является то, что они снабжены хрестоматиями, которые знакомят с наиболее влиятельными работами западных учёных (рубрики соответствуют главам в учебниках), а учебник «Введение в гендерные исследования» — также и сборником программ, демонстрирующим различные варианты включения гендерных исследований в образовательную практику. Кроме того, достоинством этого учебника является, с моей точки зрения, более полное, по сравнению со вторым пособием, представление гуманитарной составляющей гендерных исследований (главы об антропологии, культурных исследованиях, литературной критике и др.), а также более ярко выраженная рефлексия языков описания и социокультурных контекстов их существования. В силу отсутствия отечественной традиции в преподавании новой дисциплины, этот учебник взял на себя двойную функцию: он не только обучает студентов основам гендерных исследований, но и закладывает на нашей почве основания новой научной парадигмы, то есть является не *следствием* исследовательского процесса, а скорее *прецедентом*, стимулирующим этот процесс. Вместе с тем учебник «Теория и методология гендерных исследований» отличает более пристальное внимание к отечественным проблемам, хотя и представленным, главным образом в социально-экономическом и политическом ключе, тогда как во «Введении в гендерные исследования» рассматривается почти исключительно западная традиция, тогда как об отечественной ситуации практически не упоминается.

К этому блоку учебно-научной литературы следует добавить умело составленные и прекрасно прокомментированные «Антологию гендерной теории» и «Хрестоматию феминистских текстов», куда вошли переводы наиболее интересных работ западных исследователей (93). Остальные учебные пособия затрагивают более частные проблемы и отражают очень различный уровень «погруженности» в проблематику (хочется выделить Курс лекций под редакцией Жеребкиной (94)). Это же можно сказать и об опубликованных на данный момент *учебных программах* по «женским» и гендерным исследованиям (95).

Что же касается «гендерной истории», то учебник Репиной «Женщины и мужчины в истории» пока остаётся практически единственным: автор знакомит с основными направлениями в гендерной историографии, даёт обзор исторической проблематики сквозь призму гендерного подхода, приводит хрестоматию источников, полезных в процессе обучения. Книга написана на высоком научно-методическом уровне и не страдает упрощениями и «спрямлениями», характерными для традиционного учебника; кроме того, отдельную ценность представляют тексты хрестоматии (в основном, литературные и культурно-философские, часто — достаточно эксклюзивные), столь необходимые для анализа в ходе учебного процесса. К сожалению, проблематика

и круг источников ограничивается в основном европейским средневековым и новым временем, а методология — западной традицией (что, разумеется, оговорено автором).

В отдельный раздел можно отнести *диссертации* — жанр текстов, который, пожалуй, в наибольшей степени свидетельствует о состоянии дисциплинарных границ. Не вдаваясь в сопоставления, требующие развернутого анализа, интересующих нас исторических дисциплин с другими, постараюсь вкратце охарактеризовать на материале исторических диссертаций ситуацию с «женскими» и гендерными исследованиями по XX в. Работ, которые бы явно идентифицировались с гендерным подходом, мне обнаружить не удалось, что свидетельствует, об устойчивости дисциплинарных границ истории в отношении гендерного подхода, который, по-видимому, ещё не имеет в глазах научного сообщества академической респектабельности. Это подтверждают и приводившиеся выше рассуждения Пушкаревой о значительных трудностях со становлением гендерного подхода в отечественной историографии. Поэтому если «гендерные» работы и существуют, то они, вероятно, скрыты под безличными названиями или мимикрируют под традиционные штудии. Вместе с тем диссертации по «истории женщин» найти достаточно несложно и в будущем их количество, вероятно, будет неуклонно расти (96).

Отдельный интерес представляют периодические издания — *альманахи* и *журналы*, поскольку они являются наиболее мобильным и свободным средством осуществления научной коммуникации. Ситуация с гендерной периодикой отражает сложный процесс проникновения гендерных исследований в академическую среду. В этом отношении характерно, что в официальной исторической периодике, представленной такими изданиями, как «Вопросы истории», «Новая и новейшая история», «Отечественная история», «Родина» и др., статьи по интересующей нас проблематике появляются лишь эпизодически (97). Поэтому основной вклад в «гендерное просвещение» научной общественности, вносят новые издания, специализирующиеся на освещении проблематики «женских» и гендерных исследований. В отличие от традиционных журналов и альманахов, гендерные издания не имели рутинизированной традиции: они начинали «с чистого листа», а не встраивались и/или перестраивали старые бюрократические структуры, поэтому могли с самого начала осуществлять свои замыслы со специально набранным для этого коллективом единомышленников. Не обременённые «репутацией академического издания» и не обязанные охранять «святость традиций» и «дисциплинарных границ», редколлегии гендерных журналов и альманахов могли перенимать всё лучшее из западной издательской традиции и вырабатывать новые стратегии, мобильно реагируя на изменения отечественной исследовательской ситуации. Поэтому нынешнюю издательскую ситуацию в отношении гендерной периодики можно считать удачной.

Среди изданий по «женским» и гендерным исследованиям наибольший интерес, безусловно, представляют журналы (альманахи) (98). По мнению большинства исследователей, наиболее авторитетными на сегодняшний мо-

мент являются харьковские «Гендерные исследования» и питерские «Гендерные тетради» (99). Это серьёзные издания, ориентированные на учёных, специализирующихся в гендерной проблематике. В задачу создателей входит как знакомство «профессиональных читателей» с переводами наиболее интересных работ западных коллег, так и публикации статей отечественных исследователей. Причём издания отходят от столь распространённой у нас тенденции «расширительного» толкования гендера (то есть неразличения «исследования женщин» и «исследования гендера», «предмета» и «метода»). Авторы чётко представляют себе специфику гендерной методологии, поэтому даже при анализе конкретного материала (а не только в теоретических штудиях), исследуют социокультурную динамику взаимоотношения полов, а не просто «добавляют женщин» в истории, социологии, литературе. Журналы имеют подробную рубрикацию, рецензентов, авторитетную международную редколлегию и лучших специалистов в качестве авторов статей. Интересующая нас гендерная история представлена отдельно ежежурнальной рубрикой, хотя, как уже было сказано, «исторические» работы можно встретить и в отделах с другими названиями.

Следует отметить, что историческая наука представлена в периодике не только рубриками и отдельными статьями, но и специализированным научным изданием: с 2001 г. выходит Альманах гендерной истории «Адам и Ева» (100). Издание выходит под грифом Академии наук и Института всеобщей истории, под редакцией Репиной и при ближайшем участии сотрудников руководимого ею Центра интеллектуальной истории. Этот альманах, в редколлегию которого входят ведущие отечественные и западные специалисты в области «женской» и гендерной истории, претендует, и не без оснований, на заполнение соответствующей «академической ниши». Однако, редакция оговаривает «нежёсткий» подход в отношении гендера — чаще встречаются статьи по «истории женщин», что вполне закономерно, если принять во внимание ориентацию журнала преимущественно на древность, Средние века и Новое время. Работ по истории XX в. очень мало, зато они выглядят новаторски и методологически изощрённо (101). Возможно, это связано с тем, что «гендерная методология» в исторической науке продолжает восприниматься как «авангардная» тенденция, более пригодная для работы с текстами эпох «модерна» и «постмодерна», чем античности и средневековья, поэтому её «опрокидывание» в древность воспринимается научным сообществом как излишнее модернизаторство. Альманах «Адам и Ева» имеет «плавающую» рубрикацию и разделы «Рецензии» и «Дискуссионный клуб», призванные стимулировать полемику внутри сообщества.

Среди других периодических изданий стоит отметить хорошо зарекомендовавшие себя журналы «Преображение», «Вы и мы», «Иной взгляд», а также региональные издания: «Женщины. История. Общество» (Тверь), «Женщины в российском обществе» (Иваново) (102). Кроме того, ещё раз напомним, что в ряде российских научных и научно-популярных журналах время от времени появляются «гендерные рубрики» и публикации статей на

«женские темы»: кроме упоминавшихся изданий, нужно сказать ещё о таких журналах, как «Общественные науки и современность», «Социологические исследования», «Филологические науки» (103).

Что же касается книг по гендерной историографии XX в., то их сравнительно немного и о них пойдет речь ниже.

Дисциплинарные границы и познавательные «повороты»

Как видно из предшествующего изложения, становление «женских» и, в особенности, гендерных исследований как на Западе, так и отечественном гуманитарном знании связано с переосмыслением дисциплинарных границ, которое реализуется в определённых типах изданий и текстов. Перед тем как непосредственно приступить к характеристике ситуации в историографии последних лет, остановимся ещё на одной важном понятии — понятии познавательного поворота, которое оказывается весьма продуктивным в плане этого переосмысления, в частности, применительно к исторической науке. Познавательные «повороты» (104) последних десятилетий внесли существенные коррективы в сложившийся гуманитарный «ландшафт». Как справедливо отмечает Зверева, включение носителями профессионального знания понятия «познавательный поворот» в свой лексикон, «создаёт возможности *критического осмысления* разделяемых в сообществе правил и предписаний исследовательской работы, понимания *исторической изменчивости, согласительности, культурной и социальной обусловленности* дисциплинарной нормы» (105). Желание включиться в процесс критического переосмысления неизбежно влечет за собой пересмотр границ науки. В нашем случае, апелляции к социоисторическому, культурному, лингвистическому, визуальному и др. «поворотам», означает признание методологической «открытости» и *междисциплинарного статуса* новой исторической науки, легитимации ««мнофокусного» подхода к изучаемому предмету», полицентричности научно-познавательной модели, в пространстве которой формируются «конкурирующие постструктуралистские, феминистские, гендерные, мультикультурные... и другие исследования» (106).

В связи с концепцией познавательных «поворотов» в исторической науке нужно сказать о трёх междисциплинарных проектах, значимых для изменения современной исследовательской ситуации. Первый — международный проект «Пол. Гендер. Культура» (107), замысленный как совместные русско-немецкие исследования по теории и практике гендерного анализа: в задачу авторов входило познакомить российских исследователей с новейшими тенденциями в области гендерного литературоведения и историографии и показать как методология работает в практике историко-литературного анализа. Этот проект можно рассматривать в рамках *лингвистического и нарратоло-*

гического «поворотов», с характерным для них интересом к повествовательным стратегиям, прежде всего, к «женскому письму» и конструированию/деконструированию «женской идентичности» в исторических и литературных нарративах. Статьи не замыкаются заявленными дисциплинарными рамками, выводя разговор в широкое социально-культурное пространство.

Другой проект — «Женщина и визуальные знаки» (108), может быть рассмотрен в рамках *визуального* «поворота». Это сборник статей российских искусствоведов, социологов, философов по проблемам визуальной репрезентации женщины, большая часть работ которых посвящена образу женщины в современных СМИ (особенно в рекламе). Отличительной особенностью проекта является программное включение в текст статей рефлексии над «личным опытом» и про (пере)живания современности в качестве одной из исследовательских процедур. Следствием чего явилось сосуществование и размывание границ между научными и критическими текстами. «Говорение» о визуальном дополняется концептуальным изобразительным рядом, неким «проектом в проекте», представляющем собой «феминистские» инсталляции и коллажи современных художниц, для которых характерна игра с нарушением или инверсией «границ» мужского/женского в различных контекстах.

И третий проект — сборник «Муже(N)ственность» (109) — первое в России концептуальное издание по «*мужским исследованиям*». В статьях рассматриваются такие важнейшие категории, как «мужская телесность», «мужская честь», «мужественность», проблемы соотношения «мужского» и «женского», связи пола и профессии, пола и нации, проблемы гомосексуальности (110). Таким образом не только отчасти восстанавливается баланс в области отечественных гендерных исследований, явно страдающих креном в «женскую» проблематику, но и появляется возможность критики абстрактных рассуждений о наследии отечественного патриархата.

Анализ «женской» и гендерной историографии XX в. требует от нас проблематизации таких понятий, как «история» и «современность» (критерии «историчности» и начало «современности»). Принадлежность, в том числе и методологическая, анализируемых исследований к XX в., новая проблематизация событий, процессов, биографий, символов, позволяет нам рассматривать их в рамках новейшей историографии, включившей в себя эвристический опыт познавательных «поворотов».

«Женские истории»: тематические приоритеты и лакуны

Этот фрагмент непосредственно посвящён обзору исследований по гендерной проблематике в историографии XX в. Тематическое разнообразие и методологическая разнородность современных историографических работ (111), натолкнули меня на мысль отойти от жёстко-хронологического принципа

описания — и пойти по *проблемно-тематическому* пути. Это, прежде всего, позволит развести более традиционные работы по «истории женщин» и исследования по гендерной истории: первые затрагиваются лишь вкратце, поскольку их характеристики, чаще всего, укладываются в русло традиционной политической или социальной историографии, тогда как последние требуют специальной проблематизации и осмысления в рамках исторической науки.

Кроме того, непродуктивность «хронологического» подхода связана с неравномерностью в освещении «женскими» и «гендерными историками» различных исторических периодов: лучше всего исследованы рубеж веков (конец XIX — начало XX в. — примерно, до 1917 г.), 1920–1930 гг., период Великой Отечественной войны и постперестроечное время, то есть моменты социально-политических переломов), а также с тем, что многие исследования захватывают периоды достаточно большой протяженности, поэтому их тексты не могут быть «локализованы» и «привязаны» к определённой эпохе. Но самое главное заключается в том, что мне бы не хотелось просто «добавить» женские исследования к традиционной историографии XX в. — я хочу показать, что у «истории женщин», а тем более, у «гендерной истории» уже сформировалась своя приоритетная проблематика и свои тематические «зоны». В связи с этим я попытаюсь продемонстрировать, какую пользу может извлечь гендерный историк из «не-гендерных» работ по культуре повседневности, истории ментальности и пр (112). Таким образом, я прослежу, как на пространстве «истории XX века» функционируют различные исследовательские направления: «история женщин», «женская история» и «гендерная история» и покажу, что стратегии гендерных исследований в историографии весьма разнообразны — от работ по традиционной исторической проблематике, до междисциплинарных штудий.

Обзор исследований показал, что в историографии XX в., доминирует тематика, традиционно относимая к *политической истории*. Чаще всего, это работы, выполненные в русле «истории женщин» — это описательные и/или биографические исследования, связанные с женским освободительным движением, женскими организациями и участницами этого процесса. Наиболее значимыми работами по «рубежу веков» считаются книги и статьи О. А. Хасбулатовой (113), посвящённые периодизации и описанию этапов российского женского движения и диссертация И. И. Юкиной (114), где выдвигается иная (не совпадающая с ленинской периодизацией освободительного движения), «женски-ориентированная» трактовка этого процесса. Важным этапом в рассмотрении проблематики являются статьи и книга С. Г. Айвазовой «Русские женщины в лабиринте равноправия» (115). Автор анализирует, каким образом тема прав женщин возникает и осваивается в России в ходе процесса модернизации, с середины XIX в. до наших дней. Кроме того, в книге опубликованы редкие документы по истории русского феминизма, которые, при желании, могут быть рассмотрены как «аргументы в споре» о ходе развития современного женского движения. Следует также упомянуть о стоящей особ-

няком книге американского исследователя Л. Энгельштейн (116) об истории отношений между полами на рубеже веков.

В отдельный блок можно выделить работы по «истории женщин», выполненные в жанре *биографии*. Прежде всего, это исследования о знаменитых советских феминистках А. Коллонтай и И. Арманд; встречаются работы о Н.К. Крупской (117). Есть тексты о знаменитых женщинах «серебряного века» (писательницах, художницах, актрисах, учёных) и об известных русских эмигрантках (118). Работы «об известных женщинах», как правило весьма традиционны, исключение составляет оригинальное исследование Жеребкиной «Страсть» (119), где биографии (и «биографические мифы») известных женщин (В. Засулич, Л. Д. Блок, М. Цветаевой, З. Гиппиус, Л. Брик и др.) рассмотрены сквозь призму феминистского психоанализа.

При изучении 1920–1930-е гг. уже доминирует *социокультурная* проблематика: историков особенно интересуют вопросы, связанные с работой различных женских объединений (женсоветов, женотделов) (120), а также деятельность социально-активных женских групп (большевичек, делегатов, «жен-общественниц») и женской прессы (121). Кроме того, в последние годы проявляют особый интерес к изучению способов решения «женского вопроса» в СССР (122): к социально-политическому и семейному статусу советской женщины (123), а также к проблеме женского труда и женской занятости (124). Чаще эта проблематика раскрывается через описание общественно-политических дискуссий 20-х гг. Другим подходом к «женскому вопросу» в СССР является реконструкция положения женщины через её участие в повседневных практиках: положение в семье, дом, быт, вопросы одежды и питания. Сюда же в последнее время добавляется проблематика пересмотра границ частной и публичной жизни, прежде всего форм нормирования повседневности и контроля приватной сферы. Среди наиболее интересных работ стоит назвать книгу Т.Г. Кисилевой «Женщина и семья в послеоктябрьский период», в которой автор демонстрирует новый взгляд на проблему, свободный от прежней идеологической конъюнктуры (125).

К теме повседневности примыкает «медицинский» или «телесный» аспект, то есть вопросы, связанные со здоровьем женщины, её репродуктивными функциями, а также с её «правами на своё тело» (роды, материнство, аборт, сексуальность, болезни, проституция). Эта новая (в том числе и для исторической науки) проблематика является и особенно важной для «гендерных исследований», поскольку ставит вопрос о властных стратегиях государства по отношению к женщине и о влиянии идеологии не только на умы советских людей, но и на их тела (126). Здесь наибольшего внимания заслуживает книга Ю. Градской «“Обычная” советская женщина» (127): автор пытается очертить границы этого понятия через обзор различных «описаний» женской идентичности — через её участие в политике, трудовом процессе, повседневной жизни, через семью, телесность, сексуальность, «женский язык» (или «язык говорения о женском»). В данном исследовании не только анализиру-

ется редкий исторический материал, но и используются разнообразные методы гендерного анализа, в том числе, и опыт самоописания и саморефлексии.

Вообще методологический потенциал гендерных исследований по отношению к «советской эпохе» оказался очень велик. «Новая оптика» (128) позволила не только формулировать новые проблемы, прежде всего, проблемы *репрезентации* и *саморепрезентации*, но и сфокусировала внимание на новых источниках, таких, например, как рукописные дневники, устные рассказы и биографии. С этими материалами работали Н. Козлова, Ю. Градскова, А. Сальникова (129), но особый интерес представляет книга Н. Н. Козловой и И. И. Сандомирской о «наивном письме» (130): авторы занимаются поиском адекватных методов анализа рукописного дневника малограмотной женщины, двигаясь в процессе чтения, от проблем «наивного» (женского) письма — к «вычитыванию» из текста способов категоризации мира, в том числе и через оппозицию «женского/мужского».

В последнее время появился ряд работ (А. Темкина, Е. Здравомыслова, Ю. Градскова, М. Абашева) по исследованию устных автобиографических рассказов наших современниц. Как правило, это анализ «фокусированных» или свободных интервью, целью которого является реконструкция некоего автобиографического «сценария» — «политического», «сексуального», «творческого». Методы исследования могут быть как социологические, так и литературоведческие и/или антропологические (131).

«Визуальный поворот» в исторической науке позволил поставить проблему *визуальной репрезентации*: визуальный материал (фотографию, кинематограф, живопись, скульптуру, рекламу и пр.) стали рассматривать не как вспомогательный, а как самоценный. В связи с этим в ряде искусствоведческих, киноведческих и культурологических работ утвердилась практика рассматривать «риторику» женских и мужских образов: «имманентный» анализ визуального материала позволил отследить в визуальной культуре соцреализма как разительное отличие в способах репрезентации «мужского» и «женского», так и тенденцию к стиранию и/или инверсии этих различий (132).

Отдельный блок составляют работы, которые можно отнести к новой интеллектуальной истории, посвящённые изучению «символизации» исторических понятий и анализу дискурсивных практик, способствующих этой символизации. Прежде всего, это касается «базовых понятий» и «идеологических метафор». Так особый интерес в плане деконструкции исторического нарратива представляют работы Зверевой (133). Что же касается гендерно окрашенных «идеологических метафор», то хочется отметить статью Е. Ярской-Смирновой об идеологеме «Мать Россия» и «Книгу о Родине» И. Сандомирской (134), где конструирование понятия «Родина» (и его производных «Отечество», «Отчизна») рассматривается как исторически обусловленная риторическая практика, включающая в себя и «гендерное измерение». Также следует упомянуть работу Т. Б. Щепанской о терминах родства («мать», «отец и супруг», «секс-символ» и др.) в дискурсе о власти (135).

Близость к гендерному подходу можно усмотреть также в ряде работ в рамках проектов «Соцреалистический канон» и «Советское богатство» (136). Так, большой интерес представляет статья Х. Гюнтера о «мужской» и «женской» составляющих символического кода соцреализма (образы «отца народов», «Родины-матери» и пр.), основанная на обширном литературном и визуальном материале. Интересные проблемы ставятся и в статье А. Крыловой: автор исследует непростые пути отражения «жизни женщины» и «приватной сферы» в советской литературе (темы любви, семьи, быта и пр.). А. О. Булгакова прослеживает способы формирования особого типа женской красоты в советском кинематографе, умело сочетая разнообразные методы анализа (137).

Пока ещё только вырабатываются подходы к теме «женщина и Великая Отечественная война». Несмотря на то, что эта тема широко освещалась в советской историографии (138), это были, как правило описательные работы, которые мы «задним числом» можем отнести к «истории женщин». Современные учёные пытаются найти новые подходы к описанию женщины на войне и в тылу: исследователей интересует военная повседневность, её проживание и переживание мужчинами и женщинами (139). Отдельную проблему составляет анализ идеологии и пропаганды (в том числе и визуальной) в годы войны, её «конструирование» и различные способы воздействия на мужчин и женщин. Особенно интересной, прежде всего, по постановке проблемы, является статья А. Усмановой о конструировании «гендерного субъекта» в кинематографе военного времени (140): автор показывает при помощи каких средств в кинематографе создаётся «идеологический нарратив», как осуществляется его воздействие на (женского) зрителя, как он «читается» в различные исторические периоды (тогда/сейчас) и различными типами зрителей (непрофессиональный / (феминистский) исследователь). Вообще, для нового взгляда на военную тему характерно освобождение от давления пропагандистских схем и интерес к проблемам «конструирования» военной «реальности» в целях её пропагандистского транслирования (141).

По истории «оттепели» 50–60-х гг. гендерных работ фактически нет. Отчасти заполняют эту лауну исследования по культуре повседневности этого периода, в которых, при желании, можно выделить «мужскую» и «женскую» составляющие. Речь идёт о книге П. Вайля и А. Гениса и работе Л. Б. Брусиловской (142): проблематика «мужественности» может быть усмотрена в связи с дальними походами, бардовским движением, «великими стройками», спортом, знакомством с текстами Хемингуэя; «женская тема» логически следует из проблематики быта, интимизации жизни, всплеска интереса к поэзии.

Отдельно, в связи с культурой 60-х (70-х), хочется упомянуть прекрасную статью О. Вайнштейн (143) о советском «модном каноне» и женской саморепрезентации через одежду. Следует отметить, что исследования по истории моды, где мода может рассматриваться и как социальное конструирование пола, и как телесная практика, постепенно занимает видное место в «гендерной истории». Проблемами «конструирования» при помощи одеж-

ды мужских и женских образов занимается в своих «не-гендерных» работах историк русского костюма Р. Кирсанова⁽¹⁴⁴⁾.

Также следует упомянуть ряд интересных работ по истории и антропологии коммунального быта — это, прежде всего, статья Е. Герасимовой, фрагмент исследования С. Бойм и книга И. Утехина (145), где анализируются различные аспекты «коммунального образа жизни», стирающего границы между «публичной» и «приватной» сферами и своеобразно переопределяющего характер взаимоотношения полов.

В последнее время в самостоятельное направление исследований можно выделить работы фольклористов, исследующих культурные практики нашего времени и «мифологизирующие» тенденции в современных субкультурах. Здесь хочется отметить прекрасные питерские сборники «Мифология и повседневность» (146), в которых постоянно присутствует проблематика связанная с анализом фольклорной составляющей «женских» субкультур, часто с использованием гендерного подхода (например, работы Т. Б. Щепанской о современном социальном институте родовспоможения (147)). Также представляет большой интерес исследования И. А. Разумовой о фольклоре современной русской семьи, построенное на анализе устных рассказов, и работы С. Б. Борисова (148).

Следующим и наиболее исследованным этапом является постперестроечное время вплоть до настоящего момента. При всем обилии и многообразии работ по «женской» проблематике, в связи ними особенно сложно говорить о «гендерной истории», поскольку в них чаще всего речь идёт о современности, которая далеко не всегда рассматривается «в исторической перспективе». Здесь доминирует *социально-политическая* проблематика, а самыми распространёнными темами являются: «женщины и политика», «женщины в новой экономике», «женщины и бизнес» (149). Также встречаются исследования об изменении семейного статуса современной женщины, о проблемах планирования семьи, о «смешанных» браках и пр. Большинство работ представляют собой исследования по прикладной социологии, демографии, экономике. В плане «гендерной теории» несомненный интерес представляют обобщающие работы А. А. Темкиной (150) о женском пути в политику.

Развитие «женских» и гендерных исследований в России, как и многие другие трансформации в отечественном гуманитарном знании, представляет собой весьма неоднозначный процесс. Интенсивное возникновение институций всё ещё не позволяет преодолеть маргинальное положение этого научного направления, а открытость для интеллектуального взаимодействия с Западом и сосуществование разных способов рефлексии не устраняет эффектов «присвоения» и «одомашнивания», выхолащивающих суть осваиваемых подходов.

В области историографии пока что являются господствующими вполне традиционные подходы к изучению взаимоотношений полов в прошлом. Продолжает активно развиваться «история женщин», носящая описательный и «экстенсивный» характер, тогда как гендерная история, с её методологической изощренностью, продолжает оставаться редкой (хотя и очень желанной) гостьей в отечественной историографии, что свидетельствует о незначительном пока влиянии научного опыта, воплощенного в гендерной истории, на расширение методологического горизонта профессиональных историков.

Кроме того, сами гендерные исследования на настоящий момент продолжают страдать некоторой однобокостью: постоянно и интенсивно исследуется лишь «женская составляющая» исторических процессов и трансформаций, тогда как «история мужчин» и «квир-исследования» (гомосексуальность, трансвестизм и др.) продолжают оставаться для историков темами редкими и экзотичными.

Если говорить о наиболее перспективных направлениях в развитии гендерной истории, то они, на мой взгляд, будут связаны со следующими аспектами исторического знания: «визуальным» (визуальная пропаганда, анализ кинофотоматериала, иллюстраций, декоративно-прикладного искусства, моды, телевизионных практик и пр.), «телесным» (телесность и быт, телесность и мода, внешность и идеология, медицинская составляющая властных стратегий, историческая обусловленность женской и мужской красоты и пр.), «дискурсивным» (анализ «идеологических составляющих» в исторических / историографических, политических / политологических, литературных / литературоведческих текстах и пр.).

Всё это перспективы на будущее. В настоящем же хочется верить, что появление работ, лежащих в русле гендерной историографии, в которых воплощается новое восприятие истории — как процесса, как дисциплины, как формы устройства знания, — даёт все основания надеяться на то, что «полезные категории анализа» будут в нашей науке все более востребованными.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жеребкина И. Гендерные 90-е...: о перформативности гендера в бывшем СССР //www.gender.univer.kharkov.ua

2. См. библиографию в кн.: Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность: История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000: Материалы к библиографии. — М., 2002.

3. По истории феминизма и женского движения на Западе см.: Теория и история феминизма /под ред. И. Жеребкиной. — Харьков, 1996 и соответствующие разделы в учебном пособии и хрестоматии «Введение в гендерные исследования» Харьков, 2001; в нашей стране см.: Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия: Очерки по литературной теории и истории. Документальные материалы. — М., 1998; Мельникова Т.А. Женское движение в России: традиции и инновации. — М., 2000.

4. См. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований //Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. — М., 1999. С.32–33.

5. В. И. Успенская упоминает также и о двух способах именовании этой традиции: «Понятие “феминистские исследования” появилось в Дании и популярно в Скандинавских странах как своеобразный протест против “американского культурного империализма”; оно используется также с целью сделать акцент на политическом значении борьбы феминистов за новое научное знание о человеке и обществе. Ещё одним альтернативным термином, который используется в Скандинавских странах и в России для обозначения женских исследований, является термин “феминология”. Он был введён в научный оборот в Дании в 1971 г. как легко переводимый на многие языки и достаточно нейтральный». См.: *Успенская В. И.* Опыт интеграции гендерных исследований в учебное расписание университетов Западной Европы и США // Пути и перспективы интеграции гендерных методов в преподавание социально-гуманитарных дисциплин. — Тверь, 2000. С.26.

6. *Ярская-Смирнова Е.* Возникновение и развитие женских и гендерных исследований в США и Западной Европе // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков—СПб., 2001. С.19–20, 25.

7. *Хоф Р.* Возникновение и развитие гендерных исследований... С.27.

8. Понятие «женская история» выражает специфику женского опыта по отношению к «истории женщин» («истории о женщинах»), однако, в противоположность «гендерной истории», эти понятия могут употребляться как идентичные.

9. См.: *Репина Л. П.* История женщин сегодня: историографические заметки // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М., 1996. С.39–42; *Пушкарева Н.* От 'His-stori' к 'Her-stori': рождение исторической феминологии // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М., 2001. № 1. С.24.

10. См.: *Репина Л. П.* Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. — М., 2002. С.11–12.

11. О проблемы истории женщин и гендерной историографии в контексте социальной истории см. также: *Бок Г.* История, история женщин, история полов // THESIS: Женщина, семья. 1994. № 6. С.170–200.

12. *Хоф Р.* Возникновение и развитие гендерных исследований... С.30–31.

13. *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Ч.2: Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. — Харьков—СПб., 2001. С.411–420; *Хоф Р.* Возникновение и развитие гендерных исследований... С.30–33, 39; *Репина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история — М., 1998, С.160–161; *Здравомыслова Е., Темкина А.* Социальное конструирование гендера: феминистская теория // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков—СПб., 2001. С.148–151.

14. *Будде Г.-Ф.* Пол истории // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. — М., 1999. С.133; *Репина Л. П.* Женщины и мужчины в истории... С.10; *Хоф Р.* Возникновение и развитие гендерных исследований... С.33.

15. Ср.: *Репина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история. — М., 1998. С.160. Ср. определение «гендера» в работе: *Здравомыслова Е., Темкина А.* Социальное конструирование гендера: феминистская теория // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков—СПб., 2001. С.161, акцентирующее конструктивистскую «природу» этого понятия. О проблемах концепции «идентичности» см.: *Ушакин С.* Поле пола // Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999. С.35–45; *Малахов В.* Неудобства с идентичностью // *Малахов В.* «Скромное обаяние расизма» и другие статьи. — М., 2001. С.79–100.

16. Под «queer-идентичностью» («странной» или «эксцентричной» субъективностью) вначале понималась женская гомосексуальная субъективность, а затем — любые формы субъективности, не укладывающиеся в рамки концепции гендерной дихотомии. См. об этом: *Жеребкина И.* «Прочти моё желание...». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. — М., 2000. С.202; *Репина Л. П.* Женщины и мужчины в истории... С.13; *Аусландер Л.* Женские+феминистские+лесбийские+гей+квир исследования=гендерные исследования? // Введение в гендерные исследования. Ч.2: Хрестоматия. — Харьков—СПб., 2001. С.63–92

17. *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория... С.409. Ср.: *Будде Г. Ф.* Пол истории... С.134.

18. См.: *Зверева Г. И.* Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов: Сб. научн. ст. — М., 2001. С.11–20.

19. Поскольку утверждения о влиянии постструктурализма на гендерные исследования являются общим местом и содержатся в большинстве работ, укажем лишь те рассуждения, которые проблематизируют это влияние применительно к истории и указывают на его границы: *Будде Г. Ф.* Пол истории... С.136–138; *Репина Л. П.* Новая историческая наука... С.160.

20. *Репина Л. П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. — М., 1996. С.31; Ср. *Усманова А.* Репрезентация как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе // Топос. 2001. № 1(4). С.50–66; *Гинзбург К.* Репрезентация: слово, идея, вещь // Новое литературное обозрение. № 33. С.5–21.

21. Усманова А. Гендерная проблематика в парадигме культурных исследований // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков—СПб., 2001. С.447–449.
22. Ср. Дж. Скотт о Фуко. См.: *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория... С.422. О значении Фуко для феминистских и гендерных исследований см. также *Жеребкина И.* «Прочти моё желание...»... С.30–51; *Ушакин С.* Фокусируя Фуко: феминистские диску(р)ссии // Гендерные исследования №4 2000; *Его же.* Пол как идеологический конструкт: о некоторых направлениях в российском феминизме См. <http://www.russ.ru/journal/media/98-03-27/ushak.htm>.
23. См. напр.: *Мецгеркина Е.* Феминистский подход к интерпретации качественных данных: методы анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие / Под ред. И. Жеребкиной. — Харьков—СПб., 2001. С.197–237.
24. *Зверева Г.И.* Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // *Одиссей. Человек в истории.* 1996. — М., 1996. С.12.
25. См.: *Репина Л.П.* «Новая историческая наука»... С.53, 159;
26. Там же. С.52–53.
27. *Репина Л.П.* Вызов постмодернизма... // *Одиссей. Человек в истории.* 1996. — М., 1996. С.25–38.
28. Об особенностях «женского письма» в феминистской критике см.: *Жеребкина И.* Феминистская литературная критика // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков—СПб., 2001. С.543–561.
29. О новой биографической истории см. *Репина Л.П.* «Новая историческая наука»... С.248–281. О подходах к изучению женских автобиографий см.: *Савкина И.* «Пишу себя...» Автодокументальные женские тексты в русской литературе 1-ой половины 19 в. — Tampere, 2001. С.21–46; Ср. о значении психоистории для развития «женских исследований»: *Пушкарёва Н.* От 'His-stori' к 'Her-stori':... С.27–28.
30. *Репина Л.П.* История женщин сегодня... С.45.
31. См.: *Репина Л.П.* «Новая историческая наука»... С.194–208; *Будде Г.Ф.* Пол истории... С.133.
32. См. *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория... С.405–436.
33. Названия даны Л. Репиной, у Дж. Скотт дается только описание этих «подсистем».
34. *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория... С.424–426.
35. Об обсуждении проблем междисциплинарности в связи с «женскими» и гендерными исследованиями см.: *Ярская-Смирнова Е.* Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований. — М., 2001. С.13–16.
36. См. *Джудит Батлер.* «Феминизм под любым другим именем. Интервью с Розы Брайдотти» // Гендерные исследования. 1999. № 2. С.48–78.
37. См. об этом, напр., в рассуждениях И. Кона в материале: *Жеребкина И., Пушкарёва Н., Кон И., Темкина А.* Обсуждение темы «Проблемы и перспективы развития гендерных исследований в бывшем СССР». См. <http://www.gender.univer.kharkov.ua>; *Будде Г.Ф.* Пол истории... С.137–138. Последний из приведённых аргументов имеет важное значение в контексте развития историографии последней трети XX в., одной из тенденций которого стало возвращение субъекта. Об этом см., напр.: *Бессмертный Ю.Л.* «Что за казус?..» // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории.* 1996. — М., 1996. С.7–29
38. См. об этом напр. *Жеребкина И.* «Прочти моё желание...»... С.215–230, 238–246; Понятие «гендера» стало одним из водоразделов между американской и французской традициями феминизма.
39. Две нижеследующих главы написаны в соавторстве с Б. Степановым. Его вкладом в написание статьи стал также ряд конструктивных советов и помощь в подборе материала.
40. *Жеребкина И.* Гендерные 90-е...: о перформативности гендера в бывшем СССР. См. www.gender.univer.kharkov.ua.
41. См.: *Здравомыслова Е., Темкина А.* Институционализация гендерных исследований // Гендерный калейдоскоп. — М., 2001. Здесь и далее цитируется по электронной версии, представленной на <http://www.eusp.ru/gender/publications.htm>
42. В связи с этим невозможно не упомянуть о переводах классических для данной интеллектуальной традиции текстов, таких как «Второй пол» Симоны де Бовуар (М., 1997), «Загадка женственности» Бетти Фридан (М., 1994), «Миф о красоте» Н. Вулф (Иностранная литература. 1995. №3) и др.
43. См. подробный и содержательный обзор системы гендерного образования в США и Западной Европе, т. ч. особенности университетских программ женских и гендерных исследований: *Ярская-Смирнова Е.* Одежда для Адама и Евы... С.7–38; *Она же.* Возникновение и развитие женских и гендерных исследований в США и Западной Европе... С.17–48.
44. См.: *Хоткина З.* Гендерные исследования в России — десять лет // *Общественные науки и современность.* 2000. № 4. С.21–26.
45. З. Хоткина предлагает вести отчёт с публикации программной статьи А. Посадской, Н. Римашиевской, Н. Захаровой «Как мы решали женский вопрос» в 1989 г. в журнале «Коммунист». Позднее, в 1991–1992 гг. в журналах «Общественные науки и современность» и «Социологические исследования»

открываются рубрики, посвящённые проблемам гендера. (См. список ст. по гендерной тематике, опубликованных в ж. ОНС в 1991–2000 гг. в №4 за 2000 г.).

46. См.: <http://www.gender.ru>.

47. См. сб.: Материалы Российской летней школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай-96». — М., 1996; Тезисы докладов и выступлений III Российской летней школы по женским и гендерным исследованиям «Азов-98». — М., 1998; Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999. О научно-образовательном значении этого проекта см. ст.: Хоткина З. Летние школы по гендерным исследованиям в России 1990-х годов как модель образования // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. Вып. 2. — М., 2000. С. 249–257.

48. См.: Гендерные исследования: феминистская методология в социальных науках: Матер. 2-й Международ. летней школы по гендерным исследованиям. «Форос-1998». — Харьков, 1998.

49. С точки зрения представленных на них материалов здесь прежде всего выделить следующие важные для нашей темы сайты Тверского центра женской истории и гендерных исследований <http://www.tvergenderstudies.ru> (здесь «выложены» тексты публикаций центра), Харьковского центра гендерных исследований <http://www.gender.univer.kharkov.ua>, (представлены некоторые важные тексты и библиография), Владивостокского центра гендерных исследований <http://www.vvsu.ru/gender/> (библиографические ссылки), сайт отделения СО ГИИТБ РАН, Женская информационная сеть <http://www.womnet.ru>, информационный портал «Женщина и общество» <http://www.owl.ru>, а также сайт «Российские женщины в 20 веке» <http://www.a-z.ru/women/>, где содержатся источники и литература по интересующему нас периоду.

50. Там же.

51. Там же.

52. См.: Общественные науки и современность. 2000. № 4; Филологические науки. 2000. № 3.

53. Здравомыслова Е., Темкина А. «Институционализация...»

54. Нужно сказать, что в уровень критической саморефлексии в работах представителей гендерных исследований в целом выше, чем в текстах представителей других набирающих в последние годы силу направлений в отечественном гуманитарном знании. Целый ряд этих работ будет проанализирован ниже. К сожалению, на момент написания работы нам ещё не была доступна важная статья Н. Пушкарёвой Проблема институционализации гендерного подхода в системе исторических наук и исторического образования // Женщины. История. Общество. Вып. 2. — Тверь, 2002, С. 9–22

55. Ярская-Смирнова Е. Возникновение гендерных исследований в США и Западной Европе... С. 41

56. Шнырова О. Проблемы восприятия гендерных исследований в академической среде (Иваново) // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. Вып. 2. — М., 2000. С. 234

57. См. Здравомыслова Е., Темкина А. «Институционализация...». Как представляется, отечественная «феминология» или «социальная феминология», которая определяется как «междисциплинарная отрасль научного знания, которая изучает совокупность проблем, связанных с социально-экономическим и политическим положением женщины в обществе, эволюцию её социального статуса и функциональных ролей» в большинстве случаев реализует программу именно «женских исследований». См. Социальная феминология / Отв ред. О. Хасбулатова. — Иваново, 1998. С. 4. О самоопределении социальной феминологии свидетельствуют уже названия учебников по этой новой дисциплине (см. ниже). Н. Пушкарева вводит термин «историческая феминология», задачи которой она определяет следующим образом: «“историческая феминология” изучает изменения опосредованной женским полом действительности “в пространстве” и “во времени” (то есть с учетом географической, этно-культурной и хронологической составляющей)». Предмет исторической феминологии — это «женщины в истории» (курсив мой — Т. Д.), это история изменений их социального статуса и функциональных ролей, а также... — это «женская история», то есть история глазами женщин, написанная с позиций женского опыта». См.: Пушкарева Н. Гендерная проблематика в исторических науках // Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие. — Харьков–СПб., 2001. С. 281.

58. См. Здравомыслова Е., Темкина А. «Институционализация...»; Жеребкина И., Пушкарева Н., Кон И., Темкина А. Обсуждение темы «Проблемы и перспективы развития гендерных исследований в бывшем СССР». Здесь цитируется по электронной версии, представленной на сайте <http://www.gender.univer.kharkov.ua>. (Далее обозначается как «Обсуждение...»); Жеребкина И. «Гендерные 90-е...». Следует отметить, что процесс возвращения традиционных половых ролей оценивается Е. Здравомысловой, А. Темкиной и И. Жеребкиной неоднозначно.

59. Здравомыслова Е., Темкина А. «Институционализация...»; Ср. замечание Н. Л. Пушкаревой о том, что проблемы феминистского движения воспринимаются в научном сообществе «как личные, психологические проблемы самих недоласканных носителей этих идей». Ср. также Шнырова О. Проблемы восприятия гендерных исследований в академической среде (Иваново) // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. Вып. 2. — М., 2000. С. 232–238. См. также «Обсуждение...».

60. См. Здравомыслова Е., Темкина А. «Институционализация...».

61. См. «Обсуждение...».

62. См. там же. Интересно, что при этом исследовательница сетует, что статей анализирующих «оформление гендера» в разные эпохи так и не появляется, а в созданной при её участии рубрике «Гендерная история» в ежегоднике «Социальная история» печатаются статьи по исторической феминологии, а также на «исчезновение маскулинности» из общей тематики гендерных исследований» и «превращение гендерных исследований в “старые, добрые” исследования женщин». Аналогичную представленной выше интерпретацию гендерных исследований мы находим у Т. Клименковой: «гендерная проблема — это для нас сейчас прежде всего практически так называемая “женская тема”»: *Клименкова Т. А.* «Переход от «женских исследований» к гендерному подходу. Возникновение научного сообщества» См. <http://www.a-z.ru/women/>.

63. *Клёцина И. С.* Методологические проблемы включения гендерной проблематики в преподавание социальных и гуманитарных наук // Пути и перспективы интеграции гендерных подходов в преподавание гуманитарных дисциплин. Матер. научн. конф. — Тверь., 2000, С.31. См. также <http://www.tvergengerstudies.ru>. Характерным в этом отношении представляется также и то, что большинство из содержащихся в материалах данных рекомендаций по интеграции гендерного подхода в образовательную практику не касаются проблемы соотношения «мужского» и «женского» и фактически определяются лозунгом «добавить женщину».

64. См.: «Обсуждение...».

65. См. там же. Исходя из этого высказывания И. Жеребкина сближаем различаемые нами позиции А. Темкиной и Н. Пушкаревой. См. *Жеребкина И.* Гендерные 90-е...

66. См. там же.

67. См. там же.

68. *Жеребкина И.* Гендерные 90-е...; Ср. также *Жеребкина И.* «Прочти моё желание...»... С.30–51. В этом движении, обратном по отношению к западному, где феминистская эмансипация была связана с движением от «биологического» («естественного») к «социальному», выражается специфика отечественной ситуации.

69. См. об этом: *Уолцер М.* Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия в XX веке. С.277–303. За рамками нашего обзора осталась последняя монография И. Жеребкиной «Женское политическое бессознательное» (М., 2002), важная с точки зрения обсуждаемой здесь проблематики.

70. См.: «Обсуждение...».

71. См. там же. Темкина не отрицает значения женского движения, но одновременно подчёркивает роль, которую играют в его становлении гендерные исследования. Проблемы неоднозначности политического представления и возможности прямого политического действия затрагиваются также в рассуждении И. Кона.

72. См. напр. см.: «Обсуждение...»; *Ушакин С.* «Человек рода он»: знаки отсутствия // О муже(Н)ственности: Сб. ст. — М., 2002; *Пушкарева Н.* Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы в системе исторических наук // Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999. С.21–24; *Жеребкина И.* Гендерные 90-е...; Наиболее подробный анализ дискурсивной практики российского феминизма см.: *Зверева Г. И.* «Чужое, своё, другое...» феминистские и гендерные концепты интеллектуальной культуре постсоветской России // Адам и Ева. 2001. № 2. С.238–278. Эта статья стала важным отправным пунктом для построения наших рассуждений.

73. *Пушкарева Н.* Гендерные исследования: рождение, становление... С.23–24.

74. «Обсуждение...».

75. См. там же; Ср. *Ажгихина Н.* Интервью // Женщина и визуальные знаки. — М., 2000. С.166.

76. См. «Обсуждение...»; Справедливости ради следует отметить, что женское движение выступает в тексте Пушкаревой основным, но не единственным адресатом теоретической работы.

77. См. там же.

78. В связи с этим показательными представляются упоминания наших ведущих представительниц гендерной историографии, Н. Пушкаревой и Л. Репиной, о том, какое значение имел для их занятий женской темой междисциплинарный семинар по истории частной жизни под руководством Ю. Л. Бессмертного. См.: *Пушкарева Н. Л.* Русская женщина: история и современность: История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000: Материалы к библиографии. — М., 2002. С.3, *Репина Л. П.* Женщины и мужчины в истории... С.3.

79. См. *Здравомыслова Е., Темкина А.* «Институционализация...»; Ср. выше о соотношении «женских» и гендерных исследований.

80. См.: «Обсуждение...».

81. Там же.

82. См. *Зверева Г. И.* «Чужое, своё другое...»... С.239–278. *Ушакин С.* Пол как идеологический конструкт: о некоторых направлениях в российском феминизме См. <http://www.russ.ru/journal/media/98-03-27/ushak.htm>.

83. См. Ушакин С. «Человек рода он...»: знаки отсутствия //О муже(N)ственности. — М., 2002. С.12–20. В этой статье автор развивает также идеи Дж. Батлер о перформативном характере пола.

84. Большим подспорьем в моей работе стала библиографическая сводка из книги: Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность: История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000: Материалы к библиографии. — М., 2002. К сожалению, все работы в этой библиографии даны в алфавитном порядке и без рубрицирования («Предметный указатель» помогает лишь отчасти, поскольку охватывается период в два века), поэтому я, ознакомившись со всем списком, выделила из него общетеоретические исследования; работы по советской историографии; сборники статей. Также я дополнила эту библиографию рядом текстов, вышедших после 2000 г.

85. В качестве примера сосуществования научных и художественных текстов можно привести CD-ROM «Женский дискурс в литературном процессе России конца XX века» (М., 2002). Анализ таких исследований был бы чрезвычайно полезен для понимания состояния «женских» и гендерных исследований в России.

86. Справедливости ради хочется отметить, что на конференциях, разумеется, имеет место деление на секции, хотя всё равно ощущается тематическая разнородность.

87. В связи с «разбросанностью» библиографии по гендерной проблематике, приводим её единым списком (работы, изданные с 1995 г.): Гендер как интрига познания: Сб. статей /Сост. А.В. Кирилина. — М., 2000; Гендер: язык, культура, коммуникация: Матер. Первой междунар. конф. — М., 1999; Гендер: язык, культура, коммуникация: Матер. Второй междунар. конф. — М., 2001; Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: Сб. статей. — СПб., 1996; Гендерные аспекты социальной трансформации: Демография и социология /Под ред. М.М. Малышевой. — М., 1996. Вып.15: Демография и социология; Гендерные исследования в России: Проблемы взаимодействия и перспективы развития: Матер. конф. /Сост. З.А. Хоткина. — М., 1996; Гендерные проблемы в этнологии /Под ред. А.Н. Седловской, И.М. Семашко. — М., 2001; Гендерные репрезентации в советской и постсоветской массовой культуре: Матер. летн. шк. по социологии Института социологии РАН. Июнь–июль 1999 /Под ред. И.Н. Тартаковской. — М., 1999; Достижения и находки: Кризисные центры России: Центр по проблемам женщин, семьи и гендерным исследованиям при Институте молодежи /Под ред. Е.В. Забелиной, Е.В. Израелян. — М., 1999; «Ей не дано прокладывать новые пути?»: Из истории женского движения в России/Под ред. О.Р. Демидовой. — СПб., 1998. Вып.2; Женские и гендерные исследования /Под ред. И.И. Юкиной. — СПб., 2000. Вып.5; Женщина в зеркале российской прессы. — М., 1997; Женщина в мире мужской культуры: Путь к себе: Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О.Р. Демидовой. — СПб., 1999; Женщина и визуальные знаки /Под ред. А. Альчук. — М., 2000; Женщина и культура: Матер. конф. «Новые возможности для женщин» /Сост. Е.И. Трофимова. — М., 1997; Женщина и мужчина на пути к устойчивому развитию: Опыт гендерного подхода /Отв. ред. Е.В. Никонорова. — М., 1997; Женщины в реформируемой экономике. — М., 1995; Женщины и журналистика: Матер. междунар. конф. — М., 1996; Женщины и преступность. — М., 1998; Женщины Серебряного века: Тез. докл. III научн. конф. «Российские женщины и европейская культура». — СПб., 1996; Материалы «круглого стола» «Женский вопрос накануне XXI века». — М., 1998; Мужчина и женщина в современном мире: Меняющиеся роли и образы /Отв. ред. А.Н. Седловская, И.М. Семашко. — М., 1999. Ч.1; Мужчина и женщина в современном мире: Меняющиеся роли и образы /Отв. ред. А.Н. Седловская, И.М. Семашко. — М., 1999. Ч.2; Образы женщин в современной российской журналистике /Под ред. И.Ю. Юрны. — М., 1998. Вып.2; Перспективы гендерных исследований: Тез. научн. — практич. конф. — М., 1996; Положение женщин в реформируемой экономике: опыт России /Под ред. А. Московской. — М., 1995; Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания. — М., 1998. Т.1; Проблемы женщин и семьи глазами социологов. — М., 1997. Русская женщина и православие: Богословие. Философия. Культура /Отв. ред. Т. Горичева. — СПб., 1996; Сборник студенческих работ по гендерным исследованиям. — СПб., 1998; Сексуальные домогательства на работе /Отв. ред. З.А. Хоткина. — М., 1996; Семейное право России: проблемы развития. — М., 1996; Семья, гендер, культура: Матер. международных конференций 1994–1995 гг. /Под ред. В.А. Тишкова. — М., 1997; Семья и женщина как фактор стабильности в новых социально-экономических условиях: Матер. междунар. симпозиума /Под ред. В.И. Супрун. — Новосибирск, 1998; Семья на пороге XXI в.: социологические проблемы /Под ред. Ю.А. Гаспарян. — СПб., 1999; Семья на пороге третьего тысячелетия. — М., 1995; Теория и практика женского вопроса: Восток–Запад /Отв. ред. Д. Демпе и др. — СПб., 1997; Феминизм и российская культура. — СПб., 1995; Феминистская теория и практика: Восток–Запад: Матер. междунар. научно-практич. конф. — СПб., 1996; Феномен пола в культуре: Матер. междунар. научн. конф. — М., 1998.

88. См.: Гендерная история: pro et contra: Межвуз. сб. дискуссионных матер. и программ /Под ред. М.Г. Муравьевой. — СПб., 2000; Гендерная методология в социальных науках /Под ред. И.М. Жеребкиной. — СПб., 2001; Женское движение в контексте российской истории: Юбилейные чтения «90 лет Первому Всероссийскому женскому съезду». — М., 1999; Женщина. Гендер. Культура /Отв. ред. Н.Л. Пушкарева, Е.И. Трофимова, З.А. Хоткина. — М., 1999; Женский вопрос в контексте национальной

культуры: Из истории женского движения в России: Сб. научн. тр. Вып.3. Ч.1. — СПб., 1999; О благородстве и преимуществе женского пола: Из истории женского вопроса в России /Отв. ред. и сост. Р.Ш. Ганелин. — СПб., 1997; Проблемы гендера: история, общество, культура. — М., 1997.

89. См. (работы, изданные после 1995 г.): Гендерные исследования: феминистская эпистемология в социальных науках. — Харьков, 1998; Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. Ч.1: Методология, образовательная политика, философия. — Иваново, 2000; Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. Ч.2: Социология, политология, юриспруденция, экономика. — Иваново, 2000; Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. Ч.3: История, язык, культура. — Иваново, 2000; Гендерные отношения в России. История, современное состояние, перспективы: Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. Ч.1. — Иваново, 1999; Гендерный фактор в языке и коммуникации. — Иваново, 1999; Женская тема в средствах массовой информации: Семинары для молодых журналисток Мурманской области: Сб. ст. — Мурманск, 1998; Женские и гендерные исследования в Тверском государственном университете /Под ред. В.И. Успенской. — Тверь, 2000; Женщина в зеркале социологии. — Иваново, 1997–1998. Вып.1–2; Женщина в зеркале социологии: Межвуз. сб. научн. ст. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. — Иваново, 2000. Вып.3; Женщина не существует: Современные исследования полового различия /Под ред. И. Аристарховой. — Сыктывкар, 1999; Женщины России: проблемы адаптации и развития в новых экономических условиях. — Иваново, 1995; Женщины России на рубеже XX–XXI вв. — Иваново, 1998; Женщины российской провинции: Сб. научн. тр. Вып.1. — Ижевск, 1997; Женщины: семья, общество, политика /Под ред. Т. М. Демиденко. — Пенза, 1999; Женщины в отечественной науке и образовании. — Иваново, 1997; Женщины в отечественной науке и образовании /Под ред. А. И. Евстратовой. — Кострома, 1997; Женщины и право /Отв. ред. Н. В. Кузнецова и др. — Саратов, 1995; Женщины России: Проблемы адаптации и развития в новых экономических условиях. — Иваново, 1995; Женщины российской провинции: Сб. научн. тр. Вып.1. — Ижевск, 1997; Западный опыт и гендерные исследования в России. — Иваново, 2000; Образование и реализация предназначения женщины: Матер. научн.-практич. конф. — Минск, 1997; Потолок пола /Отв. ред. Т. В. Барчунова. — Новосибирск, 1998; Проблемы общества — проблемы женщин: Тез. докл. междунар. научн. конф. — Волгоград, 1996; Сборник научных докладов преподавателей Женского негосударственного института «ЭНВИЛА» /Под ред. И. Чикаловой. — Минск, 1999; Семья и женщина как фактор стабильности в новых социально-экономических условиях: Матер. междунар. симпозиум. — Новосибирск, 1998; Семья и женщина: реальность и тенденции: матер. междунар. симпозиум. /Под ред. В. И. Супрун. — Новосибирск, 1998; Семья и семейный быт в восточных регионах России. — Владивосток, 1997; Социальная защита женщин: современные проблемы. — Иваново, 1995; Социальная феминология /Отв. ред. О. А. Хасбулатова. — Иваново, 1998; Социальная феминология: Межвуз. сб. научн. ст. /Отв. ред. Е. Ф. Молевич. Вып.1. — Самара, 1997; Социальное самочувствие и ценностные ориентиры российских женщин: Матер. мониторингового исследования. — Иваново, 1998; Социокультурный анализ гендерных отношений / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой. — Саратов, 1998 (см. также http://meltingpot.fortunecity.com/rundberg/963/publ/gend_sb_www/cover.htm); Теория и история феминизма /Под ред. И. А. Жеребкиной. — Харьков, 1996; Femina Postsovetica: Украинская женщина в переходный период: От социальных движений к политике /Под ред. И. Жеребкиной. — Харьков, 1999; Феминизм и гендерные исследования /Под ред. В. И. Успенской. — Тверь, 1999; Феминология: методология исследования и методика преподавания: Тез. докл. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. — Иваново, 1996.

90. Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Матер. междунар. научн. конф. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. Ч.3: История, язык, культура. — Иваново, 2000; Женщина и российское общество: научно-исторический аспект. — Иваново, 1995; Женщины в истории: возможность быть увиденными. Вып.1. — Минск, 2001; Женщины. История. Общество: Сб. научн. тр. Вып.1. — Тверь, 1999; Женщины в политике и управлении: история и современность: Тез. междунар. конф. — Иваново, 1999; Женщины в социальной истории России: Сб. научн. тр. — Тверь, 1997; Женщины и российское общество: научно-исторический аспект: Межвуз. сб. научн. тр. /Под ред. О. А. Хасбулатовой. — Иваново, 1995; Женщины России. История и современность: Тез. Всерос. теоретич. конф. — Ижевск, 1995; Сотворение истории: Человек. Память. Текст /Под ред. Е. А. Вишленковой. — Казань, 2001; Социально-правовой статус женщины в исторической ретроспективе. — Иваново, 1997; Социальные трансформации положения женщин в России. Матер. междунар. научн. конф. — Иваново, 1995; Становясь видимыми: Проблемы гендерной истории /Под ред. И. Р. Чикаловой. — Минск, 2001.

91. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие /Под ред. И. А. Жеребкиной. — Харьков–СПб., 2001; Введение в гендерные исследования. Ч.2: Хрестоматия /Под ред. С. Жеребкина. — Харьков–СПб., 2001; Введение в гендерные исследования. Ч.3: Учебные программы /Под ред. С. Жеребкина. — Харьков–СПб., 2002. Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций /Под общ. ред.

О. А. Ворониной. — М., 2001; Учебная программа по курсу «Основы гендерных исследований» /Отв. ред. О. А. Воронина, Н. С. Григорьева, Л. Г. Луныкова. — М., 2000.

92. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие /Под ред. И. А. Жеребкиной. — Харьков–СПб., 2001, С.13

93. Антология гендерной теории: Сб. переводов /Сост. и коммент. Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. — Минск, 2000; Хрестоматия феминистских текстов. Переводы /Под. ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. — СПб., 2000

94. Теория и история феминизма: Курс лекций /Под ред. И. Жеребкиной. — Харьков, 1996.

95. Авторские учебные программы. Феминология. Социология гендерных отношений. Семейведение. — Иваново, 1999; Аннотации к курсам по женским и гендерным исследованиям в ТвГУ /Под ред. В. И. Успенской. — Тверь, 1999; *Аракелова М. П., Емельянова Е. Д., Кулик В. Н.* Женщина в российском обществе. XX век. История и современность: Спецкурс. — М., 1996; Введение в теорию гендера: Учебн. пособ. Вып.1. — Алма-Ата, 1999; Внедрение гендерных курсов в систему среднего образования: Методич. пособие. — Иваново, 2000; *Гурко Т. А.* Гендерная социология //Социология в России /Под ред. В. А. Ядова. — М., 1996. С.169–194; Женщина в российском обществе. XX век. История и современность: Спецкурс /Отв. ред. М. П. Аракелова. — М., 1996; *Калабихина И. Е.* Социальный пол: Экономическое и демографическое поведение: Учебно-методические материалы. — М., 1998; *Клецина И. С.* Гендерная социализация. Учебное пособие. — СПб., 1998; *Клецина И. С.* Гендерные исследования //Программы учебных дисциплин для подготовки практических психологов высшей квалификации. — СПб., 1998. С.257–274; Основы гендерной социологии /Под ред. И. И. Черновой. — Вятка, 2000; Современная женщина. Проблемы самореализации: Материалы к общеобразовательным программам. — Самара, 1997; Социология, политология, феминология: Учебные программы. — Иваново, 1996; Учебная программа по курсу «Основы гендерных исследований» /Отв. ред. О. А. Воронина, Н. С. Григорьева, Л. Г. Луныкова. — М., 2000; Феминология. Семейведение: Учебн. пособ. — М., 1997; Феминология, социология гендерных отношений, семейведение: Авторские учебные программы. — Иваново, 1999; *Шинелева Л. Т.* Феминология. Семейведение: Учебн. пос. — М., 1997. Подробнее об авторских учебных курсах см.: *Хоткина З.* Гендерные исследования в России — десять лет //Общественные науки и современность. 2000. № 4. С.21–26.

96. См., напр.: *Балахнина М. В.* Социально-бытовое положение женщин-работниц Западной Сибири (1921–1929). Автореф. дисс... канд. ист. наук. — Новосибирск, 1997; *Веремько В. А.* Высшее светское образование мужчин и женщин в России в начале XX в.: Автореф. дисс... канд. ист. наук. — СПб., 1996; *Локтионова Л. Д.* Женские авиационные части в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Историческое исследование: Дисс... канд. ист. наук. — М., 1999; *Рябцева И. А.* Женщины Сибири, 1920–1930-е гг.: Демографические и социальные проблемы: Автореф. дисс... канд. ист. наук. — Новосибирск, 1996 и др.

97. См., напр.: *Репина Л. П.* Гендерная история: проблемы и методы исследования //Новая и новейшая история. 1997. № 6; *Пушкарёва Н. Л.* Гендерный подход в исторических исследованиях //Вопросы истории. 1998. № 6 и др. Позитивным моментом можно считать также появление «гендерной» рубрики в альманахе «Социальная история».

98. Следует заметить, что граница между «гендерными журналами» и «гендерными альманахами» несколько «размыта»: часто именуют «журналами» издания с малой периодичностью выхода (как правило, 1–2 раза в год).

99. См.: Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных науках /Ред. И. Жеребкина. — Харьков. Вып.1. 1998; Вып.2. 1999; Вып.3. 1999; Вып.4. 2000; Вып.5. 2000; Вып.6. 2001; Гендерные тетради. Труды Санкт-Петербургского филиала Института социальных исследований РАН /Ред. А. А. Клецин. — СПб. Вып.1. 1997; Вып.2. 1999.

100. На настоящий момент вышло три номера. См.: Адам и Ева. Альманах гендерной истории /Под ред. Л. П. Репиной. № 1. — М., 2001; № 2. — М., 2001; № 3. — М., 2002.

101. Об опыте дискурсивного анализа российской «гендерной литературы» см.: *Зверева Г. И.* «Чужое, своё, другое...»; об анализе практики «переписывания» истории с т. з. «женского опыта» см.: *Градскова Ю. В.* Женская биография и «переписывание истории»: случай СССР //Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М., 2001. №2. С.163–173; исследование советской символики сквозь призму детского мировосприятия (в т. ч. и анализ «наивного письма») см.: *Сальникова А. А.* Немного о «красном революционном козле», или девочки-современницы о символах и образах революции 1917 года //Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М., 2001. №3. С.91–132.

102. Кроме того, следует упомянуть о других «женских» изданиях («Деловая женщина», «Женский архив», «Женщина плюс», «Материнство» и пр.) и об изданиях стран «ближнего зарубежья»: «Женская солидарность» (Минск), «Энвила. Журнал Белорусского ЦГИ» (Минск), «Иной взгляд: Междун. альманах гендерных исследований» (Минск, 2000); «Гендерні студії. Спеціальний випуск Незалежного культурологічного журналу» (Львів, 2000. № 17).

103. См. напр.: Общественные науки и современность. 2000. № 4; Филологические науки. 2000. № 3.

104. Для интеллектуального сообщества познавательные «повороты» отмечают важность перемен, легитимацию процесса переопределения объема и границ «своей» академической дисциплины, иное (по отношению к «классическому») представление о взаимоотношениях между отраслями социально-гуманитарного знания. Подробнее см.: *Зверева Г. И.* Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры //Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов: Сб. науч. ст. — М., 2001. С.11–20.
105. Там же. С.11.
106. Там же. С.13.
107. Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования /Под ред. Э. Шоре и К. Хайдер. Вып.1. — М., 1999; Вып.2. — М., 2000. Среди авторов: Э. Шоре, Р. Хоф, И. Шаберт, Г. Зверева, О. Демидова, Н. Пушкарева и др.
108. Женщина и визуальные знаки /Под ред. А. Альчук. — М., 2000. Среди авторов: Н. Козлова, О. Вайнштейн, А. Левинсон, О. Воронина, Е. Гошило, Л. Бредихина, М. Рыклин и др.
109. Муже(Н)ственность: Сб. ст. /Сост. С. Ушакин. — М., 2002. Среди авторов: С. Ушакин, И. Кон, Е. Ярская-Смирнова, И. Савкина, О. Забужко, Е. Здравомыслова, А. Темкина и др.
110. В качестве немногочисленных примеров вышедших на русском языке исследований по истории гомосексуальности можно привести следующие монографии: *Кон И. С.* Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. — М., 1998; *Клейн Н. Л.* Другая любовь: Природа человека и гомосексуальность. — СПб., 2000; *Сэдэджвик-Косовски И.* Эпистемология чулана — М., 2002
111. Напомним, что меня будут интересовать, в основном, книги и статьи, вышедшие начиная с 1995 г.
112. Я оставляю за рамками своего обзора полезные «не-гендерные» монографии Н. Лебиной, Ш. Фитцпатрик, Ш. Плаггенборга, поскольку они анализируются в других статьях данного сборника.
113. *Хасбулатова О. А.* Опыт и традиции женского движения в России (1860–1917). — Иваново, 1994; *Она же.* Социально-исторический опыт и традиции женского движения в России. — М., 1995. Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, см. библиографию в кн. Н. Пушкаревой.
114. *Юкина И. И.* Историко-социологический анализ женского движения России (середины XIX — начала XX в.). Автореф. дисс... канд. социол. наук. — СПб., 2000.
115. *Айвазова С. Г.* Русские женщины в лабиринте равноправия: Очерки по литературной теории и истории. Документальные материалы. — М., 1998. С.7.
116. *Энгельштейн Л.* Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX веков. — М., 1996.
117. *Осинович Т.* Александра Коллонтай — теоретик и практик феминизма //Гендерные исследования: Феминистская эпистемология в социальных науках. — Харьков, 1998. С.103–117; *Она же.* Коммунизм, феминизм, освобождение женщин и Александра Коллонтай //Общественные науки и современность. 1993. № 1; *Жукова Л. А., Еришова Э. Б.* А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд и Н. К. Крупская о проблеме равноправия полов //Женщина в российском обществе. 1998. № 1. С.46–53.
118. Женщины Серебряного века: жизнь и творчество: Тез. докл. — СПб., 1996; *Демидова О. Р.* Женщины русской эмиграции (Краткий обзор материалов Бахметьевского архива) //Русские писательницы и литературный процесс в конце 18 — первой трети 20 в. — Wilhelmshorst, 1995. С.211–217 и др. ст. этого автора.
119. *Жеребкина И.* Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России. — СПб., 2001.
120. *Козлова Н. Н.* Женотделы в контексте эмансипаторского проекта большевиков //Женские и гендерные исследования в Тверском государственном университете. — Тверь, 2000. С.86–93.; *Емельянова Е. Д.* Разбирая архивы: преодоление стереотипов и новые подходы //Женщины. История. Общество: Сб. науч. тр. Вып.1. — Тверь, 1999. С.53–64.
121. *Козлова Н.* Женский мотив //Женщина и визуальные знаки. — М., 2000. С.19–29; *Даикова Т. Ю.* «Работницу» — в массу»: Политика социального моделирования в советских женских журналах 1930-х годов //Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С.184–192.
122. *Аракелова М. П.* Государственная политика в отношении женщин Российской Федерации в 20-е гг.: опыт организации и уроки. — М., 1997; *Козлова Н. Н.* Женский вопрос в первые годы советской власти //Женщины. История. Общество: Сб. науч. тр. Вып.1. — Тверь, 1999. С.65–71.
123. *Осинович Т.* Проблемы пола, брака, семьи и положения женщины в общественных дискуссиях середины 1920-х гг. //Общественные науки и современность. 1994. № 1; *Градскова Ю. А.* Новая идеология семьи и её особенности в России //Общественные науки и современность. 1997. № 2.
124. *Балахнина М. В.* Социально-бытовое положение женщин-работниц Западной Сибири (1921–1929). Автореф. дисс... канд. ист. наук. — Новосибирск, 1997; *Евстратова А. М.* Государственная политика и женский вопрос в 20–30-е гг. //Социальные трансформации положения женщин в России. — Иваново, 1995. С.156–159.

125. *Кисилева Т. Г.* Женщина и семья в послеоктябрьский период: Опыт исторического анализа. — М., 1995.
126. *Клименкова Т.* Женщина как феномен культуры. — М., 1996; *Воронина О. А.* Женщина и социализм: Опыт феминистского анализа //Феминизм: Восток, Запад, Россия. — М., 1993. С.205–226. *Мерненко И.* Конструирование понятия аборта: дискуссия от разрешения к запрету: СССР, 1920–1936 гг. //Гендерные исследования. 1999. № 3. С.151–165;
127. *Градскова Ю.* «Обычная» советская женщина — обзор описаний идентичности. — М., 1999.
128. О перспективах и проблемах, встающих перед исследователем, начавшим заниматься «недавним прошлым» см.: *Дашкова Т.* «Я храню твоё фото...». Советская культура 1930-х годов: взгляд из 1990-х //Неприкосновенный запас. 2001. № 16. С.112–116.
129. См.: *Козлова Н. Н.* Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора. — М., 1996; *Градскова Ю.* Гендерные подходы к изучению биографий //Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов: Сб. научн. ст. — М., 2001. С.287–294; *Она же.* «Женская биография и «переписывание истории»...»; *Сальникова А. А.* Немного о «красном революционном козле»...
130. *Козлова Н. Н., Сандомирская И. И.* «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: Опыт лингво-социологического чтения. — М., 1996.
131. *Темкина А.* Сценарии сексуальности и сексуальное удовольствие в автобиографиях современных российских женщин //Гендерные исследования. 1999. № 3. С.125–150; *Здравомыслова Е.* Коллективная биография современных российских феминисток //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. Сборник статей /Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. — СПб.: Труды ЦНСИ, Вып.4. — СПб., 1996. С.33–61. *Абашева М. П.* Литература в поисках лица (русская проза в конце XX века: становление авторской идентичности). — Пермь, 2001 (часть 3).
132. См., напр.: *Рыжкин М.* Тела террора (тезисы к логике насилия) //Террорологии. — Тарту–М., 1992. С.34–51; *Он же.* Пространства ликования — М., 2002; *Маматова Л.* Модель кинофильмов 30-х годов //Кино: политика и люди (30-е годы). — М., 1995. С.52–78 (см. также вклейку «Образы-образцы» с фотографиями «идеальных типов» мужчин и женщин на С.69–76); *Дашкова Т.* Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х годов //Логос. 1999. № 11–12. С.131–155.
133. См.: *Зверева Г.* Формы репрезентации русской истории в учебной литературе 1990-х годов: опыт гендерного анализа //Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. — М., 1999. С.155–180.
134. *Ярская-Смирнова Е.* Взгляды снаружи, взгляды изнутри. «Мать Россия» в постсоветской антропологии //Ярская-Смирнова Е. Одежда для Адама и Евы. Очерки гендерных исследований. — М., 2001. С.187–215; *Сандомирская И.* Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. — Wien, 2001.
135. *Щепанская Т. Б.* Дискурсы власти: термины родства //Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. Вып.4. /Ред. В. А. Попов. — СПб., 1999. С.211–243.
136. Соцреалистический канон //Под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. — СПб., 2000; Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию Ханса Гюнтера /Под ред. М. Балиной, Е. Добренко, Ю. Мурашова. — СПб., 2002.
137. См.: *Гюнтер Х.* Архетипы советской культуры //Соцреалистический канон. — СПб., 2000. С.743–784; *Крылова А.* Советское личное: «семейно-бытовая» тема в предвоенной советской литературе //Там же. С.803–813; *Булгакова О.* Советские красавицы в сталинском кино //Советское богатство. — СПб., 2002. С.391–411.
138. См. «Предметный указатель» (дефиниция «Армия и женщины в годы Великой Отечественной войны») в кн. Н. Пушкаревой «Русская женщина...».
139. Пересмотр проблемы «женщина на войне» начался с кн. С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (М., 1988). Современные исследования см.: *Демидова О. Р.* Женщина и война (На материалах женской документально-исторической прозы) //Женщина в мире мужской культуры: путь к себе. Матер междунар. научн. конф. — СПб., 1999; *Парамонов В. Н.* Российская женщина в условиях войны 1941–1945 гг.: некоторые аспекты изучения проблемы //Феминология: методология исследования и методика преподавания: Тез. докл. — Иваново, 1996; *Мерзлякова Г. В.* Охрана материнства и детства в годы Великой Отечественной войны //Социальные трансформации положения женщин в России. — Иваново, 1995; *Локтионова Л. Д.* Женские авиационные части в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Историческое исследование: Дисс... канд. ист. наук. — М., 1999; *Сенявская Е. С.* Женщина на войне глазами мужчин //Русская история: Проблемы менталитета: Тез. докл. научн. конф. — М., 1994.
140. *Усманова А.* Кино и немцы: гендерный субъект и идеологический «запрос» в фильмах военного времени //Гендерные исследования. 2001. № 6. С.187–205.
141. См.: *Назаров А.* Отражение «реальности» в советских хроникальных кинофотодокументах 1930–1940-х годов //Неприкосновенный запас. 2002. № 22. С.94–97.
142. *Вайль П., Генис А.* 60-е. Мир советского человека. — М., 1998; *Брусиловская Л. Б.* Культура повседневности в эпоху «оттепели»: метаморфозы стиля. — М., 2001

143. *Вайнштейн О.* Улыбка чеширского кота: взгляд на российскую модницу //Женщина и визуальные знаки. — М., 2000. С.30–40.
144. *Кирсанова Р.* Образ красивого человека в русской литературе 1918–1930 годов //Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. — М.,1995. С.236–249. См. также: *Она же.* Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: (Опыт энциклопедии). — М., 1995.
145. *Герасимова Е.* Советская коммунальная квартира //Социологический журнал. № 1–2. С.224–244; *Бойм С.* Общие места. Мифология повседневной жизни. — М., 2002. С.159–216; *Утехин И.* Очерки коммунального быта. — М., 2001.
146. Мифология и повседневность: Матер. научн. конф. /Сост. К. А. Богданов, А. А. Панченко. Вып.1. — СПб., 1998, Вып.2. — СПб., 1999, Вып.3. — СПб., 2001 (выпуск целиком посвящён гендерной проблематике).
147. *Щепанская Т. Б.* О материнстве и власти //Мифология и повседневность: Матер. научн. конф. — СПб., 1998. С.177–195. См. также: *Она же.* Мир и миф материнства: С.-Петербург, 1990-е годы //Этнографическое обозрение. 1994. № 5.
148. *Разумова И. А.* Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. — М., 2001; *Борисов С. Б.* Рукописный девичий альбом — М., 2002
149. См., напр.: *Силласте Г.* Демократия без женщин — не демократия: Социологические очерки. — М., 1991; Женщины и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. — М., 1994; Социальные трансформации и положение женщин в России. Матер. междуна. научн. конф. — Иваново, 1995; Женщины России: Проблемы адаптации и развития в новых экономических условиях. — Иваново, 1995. См. также библиографию Н. Пушкаревой.
150. *Темкина А. А.* Женский путь в политику: гендерная перспектива //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. — СПб., 1996. С.19–33; *Она же.* Политика и гендерный контракт //Феминистская теория и практика: Восток–Запад. — СПб., 1996. С.296–316; *Она же.* Женское движение как общественное движение: История и теория //Гендерные тетради. Вып.1. — СПб., 1997. С.45–93. В связи с этим хотелось бы также упомянуть об изданиях возглавляемого Е. Здравомысловой и А. Темкиной Центра независимых социальных исследований, материалы которых представляют несомненный интерес для понимания происходящих в последние десятилетия трансформаций в сфере повседневности и, в частности, гендерных аспектов этого процесса. <http://www.indepsores.spb.ru>.

ИМПЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И РОССИЙСКАЯ ЭТНОПОЛИТИКА

Александра БАХТУРИНА

Со второй половины 1990-х гг. в отечественной историографии отмечается стабильный рост внимания историков к изучению имперской и национально-государственной составляющих российской государственности. В этом направлении исследований прослеживается тесная связь с общемировыми тенденциями. Глобальные политические последствия распада империй в XX в., распад СССР, а также межэтнические конфликты на Балканах повлекли за собой рост «Empire studies» в зарубежной исторической науке. Они заставили под новым углом зрения проанализировать проблему устойчивости империй и национальных государств, ответить на вопрос о наиболее оптимальных формах государственного устройства, позволяющих лучше регулировать долгосрочные межэтнические отношения.

Массовый интерес к теме Империи в России вспыхнул в начале 90-х гг., что подробно и всесторонне было проанализировано Л. С. Гатаговой в статье «Империя: идентификация проблемы» (1996 г.) (1). Тогда и были намечены два наиболее важных направления предстоящих исследований: осмысление имперского характера государственности России и особого менталитета населения, сформировавшегося под её влиянием. С момента публикации статьи прошло семь лет и теперь предстоит ответить на вопрос о том, что изменилось в подходах к «имперской» теме, осталась ли она преимущественно достоянием политологии и публицистики, или можно говорить о том, что осмыслении истории России происходит под влиянием нового взгляда на сущность отечественной государственности?

Несколько предварительных замечаний.

Во-первых, история империи изучается в рамках крупных международных проектов с участием российских учёных, в частности, в рамках проекта «Империя и регионы: российский вариант», организованного с российской стороны учениками и коллегами Б. В. Ананьича А. В. Ремнёвым, П. И. Савельевым и др (2). Публикации в рамках российско-американского проекта, организованного Дэвидом Ранселом (Ун-т Индиана, США) затрагивают самые разнообразные аспекты имперской проблематики (история административного управления окраинами Российской империи, имперских элит и т. д. В рамках российско-американского проекта, посвящённого имперской проблематике в 1997–1998 гг. исследовались различные аспекты истории коло-

ниальных империй (3). Предварительные результаты ряда совместных проектов, посвящённых полиэтнической империи, были изложены в сборниках статей, опубликованных в 1997 г. В одном из них основное внимание уделено региональному фактору в развитии империи (4). Вторая книга, вышедшая по результатам международной конференции в Казани, содержит широкий спектр статей по таким вопросам как имперские мифы, институты и идеи, взаимоотношения между центром и периферией, «множественность пространств, в которых проживало население империи». Одна из основных тем сборника — до сих пор лишь поверхностно исследованное развитие имперского сознания в дореволюционной России. С конца 90-х гг. «имперская» проблематика активно изучается в Казани, Саратове и ряде других регионов России.

Во-вторых, среди российских историков широкое распространение получили исследования Т. Викаса, Н. Барона, П. Кауппала, Т. Мартина, Д. Шерри, Ч. Стейнведела, Р. Суни (5), М. Хагена (6), Т. Полвинена, Дж. Хоскинга, А. Каппелера, Э. Хобсбаума, и др. на русском языке (7).

В-третьих, «имперская» проблематика продолжает оставаться объектом не только истории, но и политологии, этнологии, социологии, демографии. Преобладание публицистических работ об империях во второй половине 1990-х гг. сменилось стабильным ростом научных исследований. Одним из первых шагов в переходе от публицистики к научной разработке темы стали дискуссии в научно-популярном журнале «Родина» в рубрике «Мы — в империи. Империя — в нас». В них нашли отражение различные направления «имперской» проблематики в российской и зарубежной историографии, специфика власти в Российской империи, история национальных отношений, содержание понятия империя. В ряде специальных номеров журнала в развитие темы были рассмотрены различные политико-культурные, а также внутри- и внешнеполитические аспекты правительственного курса в отношении, как собственных иноэтничных и иноконфессиональных окраин, так и в отношении ближайших соседей Российской империи (8).

Россия — государство-империя?

В настоящий момент ни в зарубежной, ни в российской исторической науке практически не существует сомнений в правомерности отнесения России нового времени к категории государств-империй, в чем ранее ей нередко отказывали (9). Ситуация осложняется тем, что среди исследователей имперской проблематики нет единого мнения относительно содержания понятия империя. Разнообразие имеющихся определений привело российских учёных не только к необходимости выработки собственных теоретических положений, но и классификации уже имеющихся.

Наиболее удачно эта задача была реализована в 2001 г. С. Каспэ (10). Он разделил существующие определения «империи» на две основные группы:

синдромные и генетические. К числу «синдромных» отнесены те, где исследовательская задача ограничивается выделением набора признаков — «синдромные определения можно множить практически бесконечно, поскольку в окончательном перечне системообразующих признаков всегда присутствует неустранимый элемент субъективности, делающий его уязвимым для критики и открытым для пересмотра» (11). Именно с этой точки зрения подвергаются критике наиболее употребительные в исторической науке определения империи, данные С. Н. Айзенштадтом, А. Шопар-Ле Бра, Г. С. Кнабе, Л. С. Гагаевой, А. Ф. Филипповым и др. Основное критическое замечание заключается в том, что в большинстве определений империи, основанных на перечислении основных характерных черт (сакральность власти, экспансия, наличие центра и периферии, полиэтничность, единая государственная идеология, значительная временная протяженность и ряд других), содержатся признаки, обоснованность применения которых именно к империям вызывает сомнения (12). Большинство признаков империи можно не менее успешно использовать применительно к любому государству, поэтому простое их перечисление недостаточно для понимания того, что же такое империя. Исходя из недостаточности синдромных определений империи, Каспэ пришёл к заключению, что не только в России, но и в мире в целом исследования имперской темы нуждаются в использовании генетических определений, «описывающих корни феномена, причины его возникновения и функциональные механизмы, поддерживающие его существование» (13). Генетическое определение империи может быть представлено в форме описания «имперского цикла», включающего фазы формирования, роста и кризиса империи. К числу ключевых моментов «имперского цикла», а следовательно, и генетического определения относятся: наличие в системе политической легитимации государства абсолютных универсальных компонентов, устойчивой тенденции к территориальному расширению, а также отсутствие либо ограниченность ассимиляции населения вновь включаемых в состав государства территорий, сохранение им своих этнокультурных особенностей (14). Но, к сожалению, несмотря на заявленную автором попытку дать генетическое определение, представленный список условий формирования империи не выходит за рамки существующей традиции типологизации, основанной на перечислении признаков, присущих имперской системе организации государственной власти. Поэтому работа Каспэ к настоящему моменту в части, посвящённой определениям империи, важна с точки зрения постановки проблемы, решение которой ещё впереди.

В статье Г. Елисеева (15) предпринята попытка типологизировать государства-империи: империя мессианской идеи и империя закона и порядка. Первый тип отличают более динамичное развитие, стремление к мировому господству, второй — более стабилен, он может остановиться в своём территориальном расширении, когда достигнет «естественных границ».

Необходимость создания более чёткого определения государства-империи очевидна. Его отсутствие в настоящий момент породило одну из весьма

спорных проблем российской исторической науки: вопрос о правомерности отнесения СССР к типу государств-империй.

Большинство зарубежных исследователей придерживаются мнения о том, что СССР был империей, поскольку существовала этнотерриториальная структура, в рамках которой межэтнические границы устанавливались и гарантировались государством. Государство также определяло отношения центра и периферии (16). Наиболее заметный шаг к отнесению СССР к государствам имперского типа был сделан А. Шопар-Ле Бра, который в своём определении империи оговорил что «власть в империи монолитна и находится в руках одного лица или одной партии». Подход Шопар-Ле Бра до настоящего времени используется отечественной исторической наукой. С. Каспэ утверждает, что «СССР был империей постольку, поскольку он был Россией и поскольку не было обнаружено иных, более функциональных форм организации российского этнополитического пространства» (17). Но достаточно ли признавать государство империей лишь в силу его исторической преемственности? Более того, сам автор отмечает, что уже в первые годы существования СССР имело место исчезновение целого ряда имперских признаков: «Отказ от идеи мировой революции и переход к строительству социализма в одной стране уже означал принятие не вполне имперской стратегии формирования закрытой территориально-политической структуры (в отличие от принципиально открытой, разомкнутой и потому безгранично расширяемой империи)» (18). СССР «сжался» идеологически, «трансформировавшись из потенциальной модели всего мироздания в актуальное устройство всего лишь одной... его части» (19).

Для демографа и социолога А. Вишневого принадлежность СССР к государствам имперского типа не вызывает сомнений. Обращает внимание, использованная им система доказательств этого положения. Анализируя миграции населения на территории Российской империи в контексте «дискриминационной миграционной политики», он склоняется к тому, что в империи имелись давние и прочные традиции вытеснения «инородцев» — «продвижение восточных славян в неславянские районы империи» (20) признак имперской политики, признак империи. Ещё одним признаком империи в целом и СССР, в частности, для Вишневого является разделение на метрополию и колонию. Отмечая специфику территориальной организации Российской империи, а также то, что главной «колонией» СССР стала деревня (21), он склоняется к тому, что «в целом объективное разделение СССР на европейско-восточнославянскую метрополию и азиатские колонии, унаследованное от прошлого, сохранилось» (22).

Однако авторы фундаментального труда «Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории» считают, что термин «империя» применительно к СССР «возник под влиянием негативных оценок советской политики её «недоброжелателями» и использовался именно для того, чтобы подчеркнуть негативную сущность советской государственности (23).

В. А. Тишков, объясняя причины утверждения термина «советская империя» в отечественной науке, отметил, что отнесение СССР рядом историков к государствам имперского типа в годы «перестройки» имело огромные политические последствия: «Не заяви некоторые популярные историки..., что СССР — это историческая аномалия и ему нет места на исторической карте, ещё не известно как без этого самого важного аргумента интеллектуалов осуществлялась бы политическая мобилизация на демонтаж существовавшего политического режима, а вместе в этом и исторического государства» (24). «СССР, — подчёркивает Тишков, — действительно был многоэтничным... государством со сложными проблемами взаимоотношений центра и периферии, доминирующей русской (точнее — русскоязычной) культуры и культуры этнических меньшинств, но этого явно недостаточно, чтобы считать его нелегитимным государством, а тем более — империей» (25).

Можно говорить о том, что российские учёные в настоящий момент заняли двойственную позицию в вопросе «имперской» интерпретации СССР. Вопрос о том, являлся ли СССР империей, имеет значение для исторической науки, с одной стороны, с точки зрения проблемы преемственности Российской империи и СССР, разрыва отечественной истории в 1917 г. (характеристика истории России как единого целого, казалось бы, весьма закономерно подводит к тому, чтобы отнести СССР к числу империй, но своеобразие советской государственности заставляет в этом усомниться), с другой, «имперская парадигма... — это не просто академический концепт, а это мощный идеологический лозунг» (26). Поэтому очевидно, что обоснованное решение проблемы возможно лишь при условии полного отказа от какой-либо политики и создания исторических исследований, целью которых является детальное изучение наиболее устоявшихся к настоящему моменту признаков имперской государственности, поскольку уникальное этнополитическое строение СССР требует углубленного анализа. Именно при изучении этнополитических аспектов советской государственности можно будет дать научно аргументированный ответ на вопрос о том, в каком смысле и в какой степени Советский Союз может быть интерпретирован как империя.

Аналогичная двойственность присутствует и в зарубежной историографии. Т. Мартин, утверждая, что СССР не являлся империей в силу новизны своей структуры, вводит понятие «империя позитивного действия», обозначающее государство, которое не являлось собственно колониальным, но сохраняло в подчинении окраины (27).

Важнейшей теоретической проблемой в изучении империй в настоящий момент является изучение «имперского цикла»: причин возникновения, основных тенденций развития имперских систем и условий их кризиса и распада. Опираясь на выводы Г. С. Кнабе о том, что в ходе развития империи происходит выравнивание имперского центра и периферии (28), С. Каспэ пришёл к заключению, что именно этот процесс можно рассматривать в качестве основной эволюционной тенденции имперских систем, приводящей, в конечном счете, к распаду империи (29).

Безусловным достижением российской историографии является исследование изменений, происходящих в империях под воздействием модернизационных процессов. Активное развитие данного направления именно в отечественной науке не случайно, поскольку именно исторический опыт России наиболее наглядно показывает влияние модернизации на состояние имперской государственности.

Вишневский, оперируя понятием «консервативная модернизация» рассмотрел проявление модернизационных процессов в СССР и Российской империи. По его мнению, «советская модель ускоренной консервативной модернизации» отвечала историческим условиям, в которых оказались в первой половине XX в. восточнославянские народы СССР, и была до определённой степени эффективной, однако, эта эффективность резко падала при перенесении на социокультурную почву Прибалтики, Кавказа или Средней Азии (30).

Одновременно В. А. Красильщиковым была описана имперская модель модернизации, специфика которой заключается в том, что это она была «во имя сохранения военно-политического статуса империи, ради усиления военно-технической мощи, которая позволяла бы как противостоять нападению извне, так и поддерживать собственную экспансию» (31). Каспэ также отмечает, что имперская модернизация призвана максимально ограничить сферу действия модернизационных процессов, поскольку они, с одной стороны, необходимы, чтобы обеспечить политическую и военную конкурентоспособность государства, с другой, оказывают разрушительное воздействие «на все аспекты имперской идентичности» (32). Важнейшими последствиями модернизации в империи являются: рационализация сознания в результате чего «утрачивает актуальность мистический смысл существования империи как мироустроющей силы; имперская экспансия жёстко блокируется при вторжении в пределы интересов Запада; индустриальное развитие приводит к образованию единого экономического пространства и разрушению системы неэквивалентного обмена между центром и периферией; ускоряется стремление региональных элит к обретению политической самостоятельности (33). В результате, «системная модернизация, модифицирующая все стороны социальной действительности и приводящая к рождению нового общества, влечёт за собой... крах империй».

Наряду со схемой, предложенной Каспэ, которая является в настоящий момент наиболее универсальной, существуют и другие взгляды на процесс распада империи. Г. Елисеев, исходя из своей классификации, считает, что империя распадается при попытке перейти от империи одного типа к другому. Крах СССР как мессианской империи, по его мнению, связан именно с попыткой трансформации в империю закона и порядка после окончания Второй мировой войны под влиянием краха идеи мировой революции. Здесь следует заметить, что в многочисленных и заслуживающих уважения по своей научной значимости исследованиях по истории СССР крах идеи мировой революции в советской России произошёл гораздо раньше. По этой же аналогии

Елисеев выводит причины распада Российской империи, попытавшейся перейти от империи закона и порядка к мессианской, связывая этот процесс с зарождением и распространением идей панславизма. В этих выводах очевидно господство теории прерывности исторического развития, которая в настоящее время представляется весьма спорной.

Важные выводы о процессе распада империи сделал В.С. Дякин: «При наличии определённой степени зрелости этносов, включенных в состав многонациональных империй, удержание их в одном государстве возможно только при помощи силы. Как только империя высказывает отсутствие такой силы, она разваливается» (34). К факторам же распада империй он отнёс компактное проживание этноса, достижение им определённой степени зрелости или наличие собственной государственной традиции и развитой культуры. Последние подталкивают этнос к автономии, а затем государственной независимости.

Распад Российской империи в последние годы активно изучается в связи с историей Первой мировой войны. Включение её в сферу имперской и этнополитической проблематики в 90-х гг. во многом оживило интерес к событиям российской истории 1914–1917 гг. В 1998 г. на заседании уже упоминавшегося международного научного коллоквиума были прослежены механизмы распада империи в годы войны. Если для М. ван Хагена доминирующим является этнический фактор: в России шёл процесс разрушения космополитизма национальных элит, поляризация общества по национальному признаку под влиянием национальной политики военных и гражданских властей, а также интернационализация национальных проблем империи, которые становились вопросами внешней политики (35), то для В.П. Булдакова — десакрализация власти, кризис идеологии, обусловленный формированием рационалистически мыслящей элиты, кризис государственного управления (36).

Идеологический компонент в характеристике империй занимает ныне существенное место. Ещё в 1996 г. И.Г. Яковенко предложил рассматривать имперскую идею как социокультурный комплекс имперского сознания, выражающийся «на индивидуальном уровне в форме конфессиональной (в архаических империях) или идеологической (в современных империях) самоидентификации» (37).

Т.А. Филиппова выделяет «два типа имперства»: «византийско-православной идеи единственной империи» и идеи «Рима “ветхого”, “нулевого”, воплощающего бездуховную идею бюрократической государственности» (38). Российская империя постоянно расширялась, но идея расширения Российской империи была «надпрагматична» и плохо сочеталась с механизмом имперской экспансии в британском духе. Независимо от наличия экономических интересов в расширении границ Российской империи, оно имело «принципиально иную мотивационную базу», имея в виду значительную роль идеологического компонента в развитии Российской империи.

Т.А. Филиппова и Д.И. Олейников отметили двойственную роль империй в истории: «Империя на восходящей к идеалу линии... — мощный сти-

мул исторического развития, ответ на вызов времени, проявление зрелого государственного целеполагания, признак взросления нации», а в то же время «империя как достигаемое становится фактором торможения, болезнью государственности, историческим эфемером, готовящим почву для произрастания новых форм организации социума» (39).

Итак, можно говорить о трёх основных направлениях в историографии, в рамках которых разрабатывается «имперская» история. Первое представлено исследованиями, в которых понятие «империя» равноценно понятию «великая держава». В них рассматриваются преимущественно вопросы внешней и внутренней политики Российской империи, международные отношения, расширение имперских границ и влияние этого процесса на внутривнутриполитическую жизнь государства. Признание наличия обширной территории в качестве одного из существенных признаков империи рядом исследователей, способствовало оформлению второго направления: изучение империи как особого политического организма, характеризующегося наличием разнообразных форм и методов управления имперской территорией и особыми отношениями между государством и обществом. В центре внимания находится изучение правительственной политики, статуса имперских элит. Особое место отводится изучению отдельных регионов и политике «центра». Основой существования империи в рамках данного направления признается система отношений «центра» и «периферии» от гибкости которой зависит сохранение государственного единства империи (40). Для представителей третьего направления доминирующим является многонациональный характер имперской государственности. В рамках данного подхода исследователи обращают особое внимание на трансформацию имперской политики под воздействием процессов модернизации и национальных движений.

Этнополитические аспекты имперской государственности

Имперская тема, понимаемая как изучение вопросов, связанных с процессами возникновения, развития и распада полиэтничного государства, в современной российской историографии, независимо от декларируемого «имперского» контекста, непосредственным образом смыкается с изучением проблем государственного устройства и взаимодействия различных этносов в России в целом.

Параллельно с «имперской» интерпретацией российской истории в отечественной и зарубежной историографии под влиянием работ А. Каппелера была декларирована необходимость изменения «русоцентристского» взгляда на историю России. Российские и зарубежные историки в последнее время склоняются к мысли о необходимости изучения истории России как многонационального государства. Практически единственной до настоящего момента попыткой дать целостное осмысление российской национальной политике

является книга «Национальная политика России: история и современность» (1997 г.). Авторы попытались показать российскую национальную политику на различных этапах, включая современный. В сборнике статей «Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений» (1999 г.) также был сделан заметный шаг в развитии многоаспектного изучения национальной политики Российской империи и СССР.

В коллективном труде под редакцией С.Г. Агаджанова и В.В. Трепавлова «Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления» (1997 г.) (41) рассматриваются вопросы управления окраинами Российской империи. Эта книга является первым в России комплексным исследованием истории институциональных аспектов российской этнополитики.

Но в целом в изучении многонационального российского государства преобладают исследования отдельных регионов. Такой подход в одинаковой степени характерен как для зарубежной, так и для отечественной историографии. Особым вниманием начинает пользоваться история восточных окраин Российской империи. Это связано с возрастанием интереса к мусульманству и мусульманам в мире в целом (42). Одновременно заметен рост интереса исследователей к истории стран Балтии и Финляндии в период пребывания этих территорий в составе Российской империи и СССР. Особым вниманием пользуются проблемы истории экономических, культурных и национальных взаимоотношений прибалтийских немцев, латышей и эстонцев восточноприбалтийского региона с имперским центром (43). Обращает на себя внимание активное обращение молодых исследователей к названной проблематике. Учениками Б.В. Ананьича и Р.Ш. Ганелина в конце 90-х гг. был подготовлен ряд кандидатских диссертаций по истории межнациональных отношений и правительственной политике (44).

В монографии Л.Е. Горизонтова «Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX — начало XX в.)» (1999 г.) предпринята попытка через изучение польского вопроса в национальной политике России «осмыслить Россию как империю», доказать, что её развитие в очень существенной степени зависело от взаимодействия центра и окраин. Одним из аспектов этого взаимодействия со стороны центра стала попытка самодержавия усилить русскую диаспору в польских губерниях, создать там русское общество в миниатюре, которое бы унаследовало политические, социальные и экономические проблемы российских губерний (45).

Изучение истории взаимоотношений имперского «центра» и «периферии» приводит к тому, что подробно исследуются институты и административная практика Российской империи. Значительное внимание исследователей в последние годы привлекают вопросы управления Сибирью (Ремнев А.В., Конев А.Ю., Матханова Н.П. и др.), Кавказом (Гатагова Л.С., Лежава Г.П., Геворкьян Д.П. и др.) и другими российскими регионами. Не меньшим вниманием пользуется история немцев и евреев, проживавших на территории России, которым посвящены многочисленные статьи, публика-

ции документов, коллективные исследования (46). Специальный номер журнала «Отечественная история» (1999 г.) был посвящён теме «Россия и Крым». Авторами статей были рассмотрены самые различные аспекты проблемы, начиная с истории вхождения Крыма в состав России до XX в. (47).

Значительный интерес представляют тематические номера Российского исторического журнала «Родина». «Особой, едва ли не центральной темой» номера, посвящённого взаимоотношениям России и Германии в XX в., стала «жизнь и судьба русских немцев», что было обусловлено тем, что «русский немец» оказался «двойным заложником российско-германского противостояния» (48). Положение немцев в России в XX в. было подробно рассмотрено авторами статей с самых разных точек зрения (49). Важные замечания по проблеме «империя и регион» были высказаны авторами статей и в тематическом номере «Родины» о Сибири. Ремнев заметил, что при отсутствии явных этнических противоречий между Сибирским регионом и имперским центром всегда существовал «призрак сепаратизма», обусловленный как отдалённостью региона, так и позицией местной бюрократии (50).

Изучение взаимоотношения центра и окраин Российской империи приводит историков к необходимости оценить это взаимодействие, сформировать образ России-империи на основе истории имперской национальной политики. В итоге, возникает взгляд «из центра», с другой, формируется точка зрения регионов. Для тех и других одним из важнейших является вопрос о русификаторском характере политики империи и, следовательно, о последствиях имперской экспансии для различных этносов.

В своё время ряд немецких и американских учёных пришли к выводу, что оценивать российскую национальную политику только как «русификаторскую» невозможно (51). Э. Таден предложил структурировать понятие «русификация» и подразделить её на незапланированную, культурную и административную. Это предложение было воспринято далеко не всеми зарубежными историками. А. Каппелер, например, придерживается того мнения, что понятие «русификации» должно быть ограничено культурно-языковой сферой и применяться по отношению к политике, приоритетной целью которой является языковая, культурная ассимиляция нерусских этносов русским. Исходя из этого определения, он также пришёл к выводу, что «русификация» в российской национальной политике отсутствовала вплоть до середины XIX в. «Целенаправленная культурно-языковая политика русификации обозначилась только с 1860 г.; но и тогда она не оформилась во всеохватывающую концепцию, которая могла бы совершенно вытеснить наднациональную основную модель» (52). Каппелеру принадлежит также весьма важное наблюдение относительно того, что при выявлении русификаторских мероприятий в российской национальной политике необходим терминологический анализ источников, в которых употребляется понятие «русификация». «Когда в источниках речь идёт о русификации, необходимо убедиться, используется ли понятие русский в этническом смысле или относится к империи, её ценностям и нормам» (53).

Одновременно с выраженной тенденцией к отказу от всеобъемлющего использования понятия «русификация» для характеристики российской национальной политики, возникла и противоположная точка зрения. Э. Вейнерман выступил за необходимость расширенной трактовки этого понятия, поскольку считает, что в российской политике необходимо выделять политическую, языковую, религиозную, культурную и этническую русификацию. В Российской империи были использованы все варианты русификации, направленные на ассимиляцию нерусских этносов (54).

А. И. Миллер в качестве теоретической основы своей монографии «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) (55) использовал наблюдения Э. Хобсбаума об использовании идей единства нации в качестве нового способа поддержания государственной стабильности в конце XIX в.: «...Идея “нации” стала новой религией государств» (56). Хобсбаум ввёл понятие «государственный национализм» под которым подразумевал государственную политику, направленную на укрепление национального патриотизма и формирование «однородной массы граждан, гомогенизированной... в лингвистическом и административном отношении» (57). Таким образом, Хобсбаум констатировал появление во второй половине XIX в. государственной политики языковой и административной ассимиляции населения как средства укрепления государства.

Основываясь на этих выводах, Миллер рассмотрел попытки проведения ассимиляторской политики самодержавия в малороссийских губерниях, причём в сравнении с аналогичной политикой во Франции, Британии и Испании. В итоге, он пришёл к выводу о закономерности ассимиляторской политики на определённом этапе развития государств-империй, когда в «рамках государственного национализма государство стремится минимизировать внутреннюю этническую разнородность» и для этого активно утверждает единый язык «высокой культуры, администрации и образования, а также общенациональной идентичности, которая могла подавлять региональные отличия, а могла и терпеть их, но лишь как подчинённые» (58). Таким образом Миллер вернулся к господствовавшему в российской историографии конца XIX в. понятию государственной ассимиляции, т. е. эта политика предстает не как зловещая «русификация», а как закономерность в развитии полиэтничного государства конца XIX — начала XX в., направленная на достижение государственной стабильности.

Особенности национальной политики России крайне сложно поддаются однозначной оценке. Объяснение её своеобразия в последние годы находят в особенностях её территориальной организации, когда различные нации и народности проживали в рамках единой имперской границы. С одной стороны, разделение на метрополию и колонию постепенно стиралось, население сближалось и возникала иллюзия единого государства. С другой стороны, население, принадлежащее к одной нации, локализованное внутри империи на какой-либо территории, обладающее различными культурно-языковыми, религиозными, а нередко, и государственными традициями проявляло сперва

стремление к автономии, а затем и к государственной самостоятельности. Авторы предисловия к сборнику «Казань, Москва, Петербург: Российская империя под взглядом из разных углов» (1997 г.) в этой связи отметили, что в России XIX — начала XX в. «понятия «нации» и «империи» оказались нераздельно взаимосвязанными». Эта взаимосвязь обеспечила то, что нерусские народы не противопоставлялись русскому как народы колоний народу метрополии, но «инкорпорировались» в состав русского государства. Процесс культурного, языкового и религиозного включения нерусских народов в империю, по их мнению, имел двойные последствия, с одной стороны, стимулировал политику русификации, «проводившуюся с тем большей бесцеремонностью, что все народы империи символически как бы уже были приобщены к русскому государству», с другой, давал возможность «развития местной национальной культуры, национальных административных и религиозных институтов» (59).

В последние годы значительная часть исследователей приходит к выводу о том, что в российской этнополитике доминировал не русификаторский курс, а вполне закономерное стремление к укреплению административно-территориальной целостности государства. Формируется новый взгляд на имперское прошлое России. «Русификация» превращается в политику ассимиляции, направленную на обретение государственной властью независимости от этнополитических элит путём отказа от признания их автономности и самоценности, обеспечение условий для развития государственного целого.

Несколько иначе выглядит политика Российской империи и СССР в отношении нерусских этносов в работах историков субъектов Российской Федерации, стран СНГ и государств Балтии, авторы которых нередко становятся жертвой политических амбиций. Огромный массив научной и популярной исторической литературы (60), активные попытки создания «национальных историй» привели к тому, что во второй половине 90-х гг. эти работы стали объектом самостоятельных историографических исследований, опубликованных АИРО-XX в фундаментальной книге «Национальные истории в советском и постсоветских государствах» (1999 г.) (61). Она, без сомнения, стала первым опытом осмысления процесса формирования национальных историографий и вызвала живой интерес в исторической среде (62).

В частности, в статье Л. С. Гатаговой выделены наиболее характерные черты, присущие региональным историческим исследованиям 90-х гг.: использование их национальными элитами республик в качестве влиятельного фактора воздействия на массовое сознание: «...Суждения о жёсткой экспансионистской политике, колониальном гнёте, ассимиляции, русификации, христианизации и геноциде» заслоняют или крайне искажают реальную, гораздо более неоднозначную картину в исторических работах по истории Кавказа (63). С. М. Исхаков, рассматривая написание истории народов Поволжья и Урала также отметил, что особым вниманием историков Башкортостана, Татарстана пользуются вопросы происхождения и исторического развития татар, башкир, удмуртов (64), история вхождения и развития их в составе

России. В последние годы вообще башкирская историография развивается весьма активно. Одной из основных тем является описание исторического опыта национальной государственности, провозглашение автономной республики, поскольку «народ, не обладавший историческими традициями государственности, не смог бы совершить подобный ответственный исторический шаг» (65). Авторы, работающие в данном направлении, не скрывают политического подтекста своих исследований. М. М. Кульшарипов в своей книге подчёркивает, что это «исследование представляет интерес для обоснования закономерности возникновения движения за суверенные права Республики Башкортостан» (66). Аналогичные задачи обоснования собственной государственности ставят перед собой и историки Татарстана. «Любая государственность, — подчёркивает Р. Хаким, директор Института истории Национальной академии наук Республики Татарстан, — нуждается в своём историческом обосновании и черпает духовный потенциал в традициях. Татарстан, став самостоятельным, перестал зависеть от московской точки зрения и начал вырабатывать собственные взгляды на историю» (67).

Историографический анализ «национальных историй» был продолжен С. В. Константиновым и А. И. Ушаковым в полемической книге «История после истории. Образы России на постсоветском пространстве» (2001 г.) (68). В работе рассмотрены взгляды на историю России в Туркменистане, Азербайджане, Закавказье, Белоруссии, странах Балтии. Авторы дифференцированно оценивают подходы историков в различных государствах, считая, что в странах Балтии ещё не полностью преодолены присущие советской историографии исторические образы России, когда как в Грузии образ России рисуется исключительно в негативных тонах, а в белорусской историографии единого мнения нет. Эти различия авторы преимущественно связывают с современной политической ситуацией, когда отношение к России сегодня формирует восприятие исторических событий (69).

Необходимо добавить, что в ряде работ по истории Эстонии и Латвии присутствует негативный образ российской политики с конца XIX в. Деятельность российского самодержавия по ограничению немецкого влияния в крае трактуется как русификация латышей и эстонцев, разрушение системы национального образования, а период с 1940 г. именуется временем «советской оккупации» (70).

В контексте проблемы историй отдельных этносов на территории России всё более активно изучается вопрос о положении русских. Попыткам исследовать положение русских в составе СССР способствует утверждение взгляда на русскую историю как историю многонационального государства. К концу 90-х гг., как заметили Е. Зубкова и А. Куприянов, «в современной историографии нет попыток выделить “чисто русскую” историю из истории российской» (71), однако, имеются интересные исследования, посвящённые способам решения «русского вопроса» на протяжении длительного исторического периода, динамике численности русского населения (72). А. И. Вдовин в своих работах рассмотрел позицию ЦК РКП(б) в отношении к вопросу о созда-

нии русской республики в составе СССР. Он сделал выводы о последствиях недостаточного, по его мнению, выделения русского этноса в составе Российской империи и СССР, что привело к отчуждению между государством и русским народом, равнодушию «наиболее многочисленного народа к судьбе “империи”», утратившей способность к выражению и защите его национальных интересов и ценностей. Иными словами, «русский народ не рассматривал СССР как своё национальное государство» (73). Исследователи проблем русского этноса вплотную подходят к вопросу о причинах кризиса многонационального государства и условиях его устойчивости. Они дают ответ на вопрос о том, должно ли многонациональное государство иметь национальную основу, или же государственная власть должна стоять на позициях наднациональных. Вдовин, к примеру, пришёл к заключению о том, что «национальный вопрос в полиэтничных государствах успешнее всего решается в рамках унитарных государств, в которых центр делегирует национальным автономиям часть своих полномочий, а не наоборот» (74).

Имперская тема в исследованиях по «русскому вопросу» практически не затрагивается, но представители данного направления обращаются к проблемам имперского кризиса, устойчивости полиэтничных государств и способов их оптимальной организации. Данная тема также рассматривается в контексте вопросов истории и современной практики федерализма (75).

История отдельных этносов на территории России непосредственно связана с изучением природы этнических конфликтов (исторической, политической, экономической), что является для современной историографии не просто актуальной темой, но жизненной необходимостью. История XX столетия снова переписывается под влиянием национальных и этнических движений. Неожиданная для многих сила этнического и национального сознания опровергла казавшиеся неоспоримыми почти в течение всего двадцатого столетия утверждения об отмирании культурных и национальных различий к концу XX в. Рост внимания к этническим факторам в историческом развитии общества не миновал не только российскую историческую науку, но и политологию, социологию, этнографию и др. Довольно сложно говорить о собственно исторических исследованиях в этой области, поскольку многие из них затрагивают современные вопросы и пишутся «на стыке» дисциплин. Проблематика такова, что требует выработки и использования единого междисциплинарного понятийного и терминологического аппарата. Исторические сюжеты в рамках этнополитической проблематики активно используются экономистами, политологами, юристами. Одно из первых мест в рамках этой проблематики занимает изучение влияния этнонационального фактора на распад полиэтничного государства, а также положения отдельных этносов с точки зрения перспектив их гармоничного взаимодействия.

В рамках исследовательского проекта «Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве» под руководством М.Н. Губогло в 90-х гг. опубликовано 99 монографий и сборников документов (76). В статье самого Губогло «В лабиринтах этнической мобилизации» (2000 г.) подведены опре-

делённые итоги проводившихся исследований. Говоря о причинах распада полиэтнического государства, он отметил, что в конце 80-х — начале 90-х гг. в СССР произошло сближение демократии с этнонационализмом «во имя общей борьбы за демонтаж государства и за погребение коммунистической идеологии», которое не дало положительных результатов (77). Важным фактором распада многонационального государства автор считает «разбалансирование идентичностей», что, в сочетании с другими объективными факторами, привело к распаду Османской империи и поставило на грань развала Российскую (78).

В литературе последних лет довольно активно утверждается точка зрения об «этнократическом вызове» единству страны (79), который выражается в стремлении политической элиты субъектов федерации рассматривать республиканскую государственность как форму обеспечения господства титульной нации. В этой связи ряд авторов отмечают, что государственность, основанная исключительно на основе этничности, нарушает права человека, способствует межэтническим конфликтам (80). Из этого следует, что историческое прошлое оказывает неослабевающее влияние на современную этнополитическую ситуацию в России. Однако мало специалистов стремятся обращаться к прошлому, последствиям национальной политики Российской империи и СССР. Наибольшим вниманием пользуется политика периода образования Союза ССР и депортаций по этническому признаку в 30–40-х гг. Практически не исследована, особенно с точки зрения последствий для современной ситуации, национальная политика 1950–1970-х гг., в том числе история пересмотра республиканских границ, положение РСФСР в составе Союза.

Важные наблюдения в изучении факторов распада полиэтнического государства сделаны М. Н. Губогло, Ю. И. Семеновым, В. А. Тишковым. Губогло даже ввёл понятие «этническая мобилизация», под которой он понимает процесс превращения этноса в определённую политическую силу, в котором значительную роль играют требования связанные с развитием национального языка (81). Семенов предложил дифференцировать понятие «национально-освободительное движение», поскольку этим термином, по его мнению, нередко обозначаются различные явления, а именно: борьба дискриминируемого этноса против национального гнёта или борьба за привилегии для того или иного этноса, за «приоритет» титульной нации, «а тем самым и за утверждение в стране режима дискриминации по этническому признаку, за изгнание или ассимиляцию представителей всех других этнических групп. Такого рода антидемократическое движение нельзя охарактеризовать как национально-освободительное. Его можно назвать квазинациональным» (82).

Помимо политических причин «этнократического вызова», в современной исследовательской литературе говорится о других факторах, создающих этническую напряженность. Более того, Тишков высказал мысль, что национальная политика СССР, в том числе депортации чеченцев, не являются первопричиной современных событий. По его мнению «экономический фактор,

в том числе в его криминальном аспекте, играл важную роль в эволюции чеченского конфликта» (83). Также в число причин, вызывающих межэтнические противоречия, В. А. Тишков включает взаимодействие элит в полиэтнических обществах, «ибо элиты, а не массы склонны и способны вызывать вражду... Согласие и сотрудничество элит и есть тот самый “мир между народами”» (84).

В этой связи обращает на себя внимание статья Гатаговой, в которой на примере Большого Кавказа выделены следующие причины возникновения этнических противоречий: географические (ограниченность территории), суровые природно-климатические условия, этнические (избыток этносов на одной территории, конфессиональные (слишком близкое соседство христианства и ислама) и ряд других. Интересно также наблюдение об этнических конфликтов на Кавказе как способе преодоления внутриэтнической дробности (85).

Подробная характеристика особенностей и содержания этнических конфликтов в истории России была дана российскими участниками VI Международного конгресса Центрально- и Восточноевропейских исследований, состоявшегося летом 2000 г. в Финляндии. Гатагова, анализируя эпоху Александра II, пришла к выводу, что для России пореформенного периода были характерны «протоконфликты», которые отличали стихийность, слабая связь с внешними событиями, архаичный характер мотиваций, неучастие элит, политическая неангажированность (86). В докладе В. П. Булдакова было отмечено, что изучение «этнических конфликтов по горизонтали» имеет существенное значение для определения природы революционного кризиса Российской империи в 1917 г. «Характер этнических конфликтов позволяет утверждать, что кризис империи носил системно-традиционалистский, а не чисто политический или идеологический характер» (87). Периодизацию этнических конфликтов советского периода (1917–1953 гг.) представил Г. А. Бордюгов по материалам компьютерной базы данных «Этнические конфликты», созданной по проекту АИРО-XX на материалах более 10 архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Он разделил этнические конфликты в советской России на две группы. К первой отнёс конфликты, возникавшие в кризисные периоды (1917–1922, 1928–1934, 1939–1945 гг.), побудительными причинами которых были прежде всего политические и социально-экономические. В этих конфликтах «политика власти провоцировала столкновения» и «обозначала своего противника по этнической принадлежности». Ко второй группе отнесены конфликты относительно стабильных периодов (1923–1927, 1934–1939, 1945–1953 гг.), возникавшие под воздействием культурно-бытовых и идеологических факторов (88).

Причины этнических конфликтов рассматривают не только историки. Анализируя развитие российского федерализма, многие экономисты отмечают, что специфика взаимоотношений субъектов и общенационального центра связана не столько с национально-этническим или чисто политическими аспектами, сколько с нескрываемыми экономическими интересами. В результате, роль этнического компонента в развитии современного полиэтнического

государства выглядит весьма сомнительной (89). Здесь мы наблюдаем одновременное развитие двух противоположных тенденций. С одной стороны, историки, отойдя от чисто формационной схемы и классового подхода в оценке явлений стали вполне определённо говорить о роли и влиянии национальных движений на внутри- и внешнеполитические процессы (авторы коллективного труда «История внешней политики России. Конец XIX — начала XX в.» отмечают, что «национализм явился идеологической основой в совпавших по времени исторических процессах становления индустриального общества и завершения самоорганизации государств-наций в Европе» (90)). С другой, специалисты в области современной истории склоняются к мысли о том, что этнические проблемы занимают далеко не первостепенное место в этнических конфликтах.

Современное состояние исследований по проблемам имперской государственности и этнополитики России показывает, что подводить итог и делать обобщающие выводы ещё рано. Можно лишь констатировать, что изучение многонациональной империи стало более интенсивным. Основной и в ряде случаев весьма успешно решаемой задачей большинства исследователей является изучение России как полиэтнического государства имперского типа во всем его многообразии. Одновременно под влиянием современной этнополитической ситуации, особенно в национальных историографиях, доминирует национально-государственный подход. Историки в постсоветских государствах и многих республиках Российской Федерации конструируют свою историю с целью обоснования собственных государственных традиций, перейдя почти безболезненно от старой идеологии к этноцентризму, создавая таким образом по воле политических элит новые исторические мифы. Стремление к «национализации» истории проявилось не только у нерусских народов. В поисках сущности русской нации, «русской идеи» политики и историки пытаются создать этническую русскую историю. Развитию данного направления способствовало введение в научный оборот многих ранее неизвестных фактов из истории создания и развития советской федерации. Одновременно с этноцентрическим направлением формируется региональный подход к истории Российской империи в рамках исследований по истории Сибири и Дальнего Востока. В отличие от национальной истории, этнические и национальные факторы здесь не являются доминирующими. Развитие этого направления ряд российских и зарубежных историков считают наиболее перспективным, т. к. путём изучения отдельных регионов станет возможным реконструировать в целом основные принципы и методы имперской региональной политики. Таким образом, его сторонники основной акцент делают на изучение структур и методов управления имперской периферией, понимая её как некую территорию, где сосуществуют (не обязательно в состоянии конфликта) различные религиозные и этнические группы. Значительной пе-

реоценке подвергается история национальной политики Российской империи. В развитии большинства основных направлений имперской проблематики прослеживается тесная связь российских исследований с общемировыми тенденциями.

Исследования имперского характера российской государственности идут «на стыке» истории, политологии, социологии и философии. Многие выводы проецируются на современность и нередко используются для обоснования той или иной политической позиции. Проблема сочетания имперского и национально-государственного компонента в российском государстве в ряде работ превращается в защиту лозунга «национальной империи».

Россия не может уйти от вопросов, связанных с необходимостью вновь и вновь определить отношение к имперскому прошлому и имперской национальной политике. При этом изучение России — империи и российской этнополитики в современной исторической науке теснейшим образом переплетается с попытками обоснования положительного опыта имперской государственности в политологической, социологической и философской литературе. Выводы исследователей могут иметь далеко идущие политические последствия, поэтому необходим максимально объективный анализ исторического развития имперской традиции, взаимодействия различных народов России и объединяющей функции российского государства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Исторические исследования в России: тенденции последних лет. Под ред. Г. А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 1996. С.332–353.

2. Подробнее об участниках и содержании проекта см.: *Каспэ С.* Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. — М., 2001. С.1, 18.

3. *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917* /Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzarini. — Bloomington: Indiana University Press, 1997. Indiana-Michigan series in Russian and East European studies /General ed. by A. Rabinowitch, W.G. Rosenberg); *Imperial Russia: New histories for the empire* /Ed. by J. Burbank, D.L. Ransel. — Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998. (Indiana-Michigan series in Russian and east European studies /General ed. by A. Rabinowitch, W.G. Rosenberg); *Nation, Empire, Colony: Historicizing Gender and Race* /Ed. by R.R. Pierson, N. Chaudhuri; With the Assistance of B. McAuley. — Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1998.

4. Имперский строй России в региональном измерении (XIX — начала XX в.): Сборник научных статей. — М., 1997.

5. *Суни Р.Г.* Империя как она есть: имперская Россия: «национальное» самосознание и теории империи //Ab Imperio. — Казань. 2000. № 1–2; *Схимелленник В.* Идеологии империи в России имперского периода //Там же.

6. *Хаген М., ван.* Великая война и искусственное усиление этнического самосознания в Российской империи //Россия и первая мировая война. — СПб., 1999; См. также: Казань, Москва, Петербург: Российская империя под взглядом из разных углов. — М., 1997.

7. *Каппелер А.* Россия — многонациональная империя. — М., 1997; *Полвинен Т.* Держава и окраина. — СПб., 1997; *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя. — Смоленск, 2001 и др.

8. Родина. Россия и Турция — диалог евразийских империй. 1998, №5–6; Там же. Украина и Россия. 1999, №8; Там же. Россия на Кавказе: контакт-конфликт цивилизаций?. 2000, №1–2; Там же. Земля Сибирь. № 5.; Там же. Славянский мир — в поисках взаимности. 2001, №1–2; Там же. Россия и Иран: диалог цивилизаций. № 5; Там же. Евреи в России. 2002. № 4–5; Там же. Россия и Германия в XX веке: преодолевая прошлое. № 10.

9. См. например: *Eisenstadt S.N. Empires //International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.V. — N.-Y., 1968. P.43–44.*
10. *Каспэ С.* Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. — М., 2001.
11. Там же. С.20.
12. Там же. С.27.
13. Там же. С.20.
14. Там же. С.30
15. *Елисеев Г.* Заметки об империи //Империя. Сделай сам. — М., 2001. С.98–108.
16. *Zaslavsky V.* The Soviet Union //After Empire: Multiethnic Societies and Nation. — N.-Y.-L., 1997. P.85; Nationalism and Empire: The Habsburg Empire and the Soviet Union. — N.-Y. 1992; *Suny R. G.* Ambiguous Categories: States, Empires, and Nations //Post-soviet Affairs. 1995. № 2.
17. *Каспэ С.* Империя и модернизация. С.195.
18. Там же. С.188.
19. Там же. С.190.
20. *Вишневецкий А.* Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. — М., 1998. С.248–258.
21. Там же. С.278.
22. Там же.
23. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории. — М., 2002. С.17.
24. *Тишков В. А.* Самый историчный век: диалог истории и антропологии. «Век меньшинств» //Россия на рубеже XXI века. — М., 2000. С.288–289.
25. Там же.
26. Там же. С.288.
27. *Мартин Т.* Империя позитивного действия. Советский Союз //Ab Imperio. 2002. № 2. С.82–83.
28. *Кнабе Г. С.* Империя изживает себя, когда провинции догоняют центр //Закат империй. Семинар //Восток. 1991. № 4.
29. *Каспэ С.* Империя и модернизация. С.78.
30. *Вишневецкий А.* Серп и рубль. С.281.
31. *Красильщиков В. А.* Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX в. с точки зрения мировых модернизаций. — М., 1998. С.28.
32. *Каспэ С.* Империя и модернизация. С.83.
33. Там же. С.79–81.
34. Вопросы истории. 1996. № 11–12.
35. *Хаген М., ван.* Великая война и искусственное усиление этнического самосознания в Российской империи //Россия и первая мировая война. — СПб., 1999. С.387.
36. *Булдаков В. П.* Война империй и кризис имперства: к социокультурному переосмыслению //Россия и первая мировая война. С.410.
37. *Яковенко И. Г.* От империи к национальному государству (Попытка концептуализации процесса) //Полис. 1996. № 6.
38. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. — М., 2000. С.135.
39. Золотой век Екатерины Великой. — М., 1996; *Искендеров А.* Закат империи. — М., 2002; История внешней политика России. Конец XIX —начало XX в. — М., 1997; *Акишин М. О.* Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. — Новосибирск, 1996. Власть и реформы. От самодержавной к советской России. — СПб., 1996. и др.
40. *Греков Н. В.* Опыт взаимодействия местной администрации и жандармских органов в решении проблем межнациональных отношений на территории Степного края (1905–1915 гг.) //Вестн. Омск. ун-та. 1996. Спец. вып. № 3.; *Железкин В. Г.* Национально-государственное устройство России в XVIII — начале XX вв. //Архивы Урала. — Екатеринбург, 1996. № 1; *Жукова Л. А.* и др. История государственного управления в России (IX–XVII вв.). — М., 1996; *Кирей Н. И.* Создание и реформирование власти административного управления на Кубани в дореволюционный период (1792–1917) //Средневековая и новая Россия. — СПб., 1996; *Матханова Н. П.* Губернаторский корпус Восточной Сибири в середине XIX в. //Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 2.; *Матханова Н. П.* Генерал-губернатор в системе управления России: закон и практика (на примере Восточной Сибири середины XIX в.) //Проблемы истории местного управления Сибири XVIII–XX вв. — Новосибирск, 1996; *Матханова Н. П.* Полномочия губернатора в середине XIX в. //Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории. — Новосибирск, 1998; *Конев А. Ю., Рабцевич В. В., Ремнев А. В.* Итоги и проблемы изучения административной политики самодержавия в Сибири (XVII — начало XX вв.) //Культурное наследие Азиатской России. Материалы I Сибирско-Уральского исторического конгресса (25–27 ноября 1997 г.). — Тобольск, 1997; Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления. — М., 1997; *Новикова И. Н.* Великое княжество Финляндское в имперской политике России //Имперский строй России в региональном измере-

нии (XIX — начало XX в.). — М., 1997; *Ремнев А. В.* правительственные поиски новых административных границ на Дальнем Востоке России (1860-е — первая половина 18880-х гг.) //Россия и Восток: История и культура. — Омск. 1997; *Он же.* Проблемы управления Дальним Востоком России в 1880-е гг. //Исторический ежегодник. — Омск. 1996; *Он же.* Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX — начала XX веков. — Омск. 1997; *Ремнев А. В., Савельев П. И.* Актуальные проблемы изучения региональных процессов в имперской России //Имперский строй России в региональном измерении (XIX — начало XX в.) — М., 1997; *Овчинникова Б. Б., Главацкая Е. М., Редли Д. А.* Обзор основных тенденций в управлении национальными территориями в Российской империи XVIII–XIX вв. //Архивы Урала. — Екатеринбург. 1996. № 1. и др.

41. Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления. — М., 1997.

42. См. например: *Russia's Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917.* — Indian University Press, 1997; *Said E. Orientalism. Western Conceptions of the Orient.* 1995, etc.

43. *Зубкова Е. Ю.* Феномен «местного национализма»: «эстонское дело» 1949–1952 годов в контексте советизации Балтии //Отечественная история. 2001. № 3. С.89–102; *Федосова Э. П.* Россия и Прибалтика: культурный диалог. Вторая половина XIX — начало XX. — М., 1999; Россия и Балтия. Народы и страны. Вторая половина XIX — 30-е гг. XX в. — М., 2000.

44. См. например: *Воробьева Е. И.* Мусульманский вопрос в имперской политике Российского самодержавия: вторая половина XIX века — 1917 г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — СПб., 1999; *Андреева Н. С.* Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX в. Диссертация на соискание ученой степени к. и. н. — СПб. 1999 и др.

45. *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX — начало XX в.). — М., 1999. С.217.

46. *Рябченко С. А.* Погромы 1915 г. Три дня из жизни неизвестной Москвы. — М., 2000; Немцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. — М., 1999; Немцы в России: Петербургские немцы. — СПб., 1999. Родина. 2002. № 10; Родина. 2002. № 4–5 и др.

47. *Волобуев О. В.* Рождение и судьбы новой крымской государственности в первой половине XX века //Отечественная история. 1999. № 2. С.89–99; *Зарубин А. Г., Дейников Р. Т.* От вассального ханства Османской империи до Таврической губернии в составе России //Там же. С.80–88; *Зарубин В. Г.* От «форпоста Мировой революции» до последнего пладцарма «белой» России //Там же. С.99–106; *Мальгин А. В.* Россия и русские: опыт Крыма //Там же. С.135–141; *Некрасов А. М.* Возникновение и эволюция Крымского государства в XV–XVI веках //Там же. С.48–58; *Царевская Т. В.* Крымская альтернатива Биробиджану и Палестине //Там же. С.121–125 и др.

48. См.: Родина. 2002. № 10. С.2–3 (Кураторы номера К. Аймермахер и Г. Бордюгов, ведущий редактор — Т. Филиппова).

49. *Гатагова Л.* Хроника бесчинств. Немецкие погромы в Москве в 1915 году //Родина. 2002. № 10. С.18–23; *Горяева Т.* Убить немца //Родина. 2002. № 10. С.41–46; *Вайскау Н.* Без вины виноватые. Российские немцы на спецпоселении и в трудармии //Родина. 2002. № 10. С.99–104 и др.

50. *Ремнев А.* Призрак сепаратизма //Родина. 2000. № 5. С.10–17.

51. История СССР. 1981. № 4. С.192.

52. *Каппелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи //Россия — Украина: история взаимоотношений. — М., 1997. С.138.

53. Там же.

54. Цит. по: *Каппелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи //Россия — Украина: история взаимоотношений. — М., 1997. С.144. (В статье А. Каппелера приведена ссылка на неопубликованную рукопись Э. Вейнерман «Russification in Imperial Russia. The Search for Ethnic...»).

55. *Миллер А. И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). — СПб., 2000.

56. *Хобсбаум Э.* Век империи. 1875–1914. Ростов н/Д.: Издательство Феникс, 1999. С.219

57. *Хобсбаум Э.* Век империи. 1875–1914. Ростов н/Д.: Издательство Феникс, 1999. С.221

58. *Миллер А. И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). — СПб., 2000. С.27.

59. Казань, Москва, Петербург: Российская империя под взглядом из разных углов. — М., 1997. С.17.

60. См. например: Проблемы национального в развитии чувашского народа. — Чебоксары, 1999; *Тагиров И. Р.* Очерки из истории Татарстана и татарского народа (XX век). — Казань, 1999; *Кульшаринов М. М.* Башкирское национальное движение (1917–1920 гг.). — Уфа, 2000; *Он же.* Историческая демография башкирского народа //История Башкортостана по материалам всероссийских и всесоюзных переписей населения в XVI — XX вв. — Уфа, 1999; *Касимов С. Ф.* Автономия Башкортостана: становление

национальной государственности башкирского народа (1917–1925 гг.). — Уфа, 1997; *Хаким Р.* История татар и Татарстана. — Казань, 1999. *Юнусова А. Б.* Ислам в Башкортостане. — Уфа, 1999.

61. Национальные истории в советском и постсоветских государствах /Под ред. Г. Бордюгова и К. Аймермахера. — М.: АИРО-XX, 1999.

62. См. например: *Губогло М. Н.* В лабиринтах этнической мобилизации //Отечественная история. 2000. № 3. С.106–124; *Журавлев В. В.* Договориться о прошлом //Ex Libris НГ. 2000. № 5; *Котов В.* О книге «Национальные истории...» //Отечественная история. 2001. № 5; *Сорокина О.* О книге «Национальные истории» //Pro et Contra. Осень 2001.

63. Национальные истории. С.266.

64. Там же. С.281–283.

65. История Башкортостана (1917–1990-е годы). — Уфа, 1997. С.7.

66. *Кульшарипов М. М.* Башкирское национальное движение (1917–1920 гг.). — Уфа, 2000 г.; См. также: *Кульшарипов М. М.* Историческая демография башкирского народа //История Башкортостана по материалам всероссийских и всесоюзных переписей населения в XVI—XX вв. — Уфа, 1999; *Касимов С. Ф.* Автономия Башкортостана: становление национальной государственности башкирского народа (1917–1925 гг.). — Уфа, 1997.

67. *Хаким Р.* История татар и Татарстана. — Казань, 1999. С.2–3.

68. *Константинов С. В., Ушаков А. И.* История после истории. Образы России на постсоветском пространстве. — М.: АИРО-XX. 2001.

69. Там же. С.48–56, 66–68 и др.

70. История Эстонии. — Таллинн, 1996. Т.2. С.15, 95; Подробнее см. доклады И. Бутулиса, А. Вишняускаса, А. Адамсона в: Образ России и стран Балтии в учебниках истории. Под ред. Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2002.

71. Национальные истории. С.322.

72. *Вдовин А. И.* Российская нация. Национально-политические проблемы XX века и общенациональная российская идея. — М., 1996; *Вдовин А. И.* Российский федерализм и русский вопрос //Русская нация и государство. — М., 2002. С.107–164; *Троицкий Е. С.* Русский народ в поисках правды и организованности (1988–1996). — М., 1996; *Кабузан В. М.* Русские в мире. Динамика численности и расселения (1917–1989). Формирование этнических и политических границ русского народа. — СПб.; 1996 *Козлов В. И.* История трагедии великого народа: Русский вопрос. — М., 1997. *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Русский народ в национальной политике. XX век. — М., 1998.

73. Федерализм как способ разрешения межнациональных противоречий и «русский вопрос» в России. История и современность //Опыт европейского федерализма. — М., 2002. С.122.

74. *Вдовин А. И.* Российский федерализм и «русский вопрос» //Вестник МГУ. Сер.8. История. 2000. № 5. С.37–38.

75. Федерализм и региональные отношения. — М., 1999; *Аяцков Д. Ф.* Российский федерализм: исторический опыт и современные проблемы. — Саратов. 1999; Ассиметричность федерации. — М., 1997; *Юрьев С.* Правовой статус национальных меньшинств: теоретико-правовые аспекты. — М., 1998; *Карпентян Л. М.* Федеративное государство и правовой статус народов — М., 1996; *Аринин А. Н., Марченко Г. В.* Уроки и проблемы становления российского федерализма. — М., 1999 и др.

76. См. например: *Губогло М. Н.* Развивающийся электорат России. Этнополитический ракурс. Т.1–2. — М., 1995–1996; Федерализм власти и власть федерализма /Отв. ред. М. Н. Губогло. — М., 1997; Суверенный Татарстан. Документы и материалы. Хроника. Т.1–3. — М., 1998; Хроника жизни национальностей накануне распада СССР. 1989 год. — М., 1997; Калмыкия — этнополитическая панорама. Т.1–2, — М., 1995–1996; *Амелин В. В., Торукало В. П.* Оренбуржье в этнополитическом измерении. Т.1–2. — М., 1996; *Лежава Г. П.* Между Грузией и Россией. — М., 1998 и др.

77. Отечественная история. 2000. № 3. С.108.

78. Там же. С.122.

79. *Дедаев В. М.* Парадигма федерализма в контексте реформ российской государственности. — М., 1999. С.113–123.

80. Там же. С.123; Так же см.: *Фомин А.* Национализм: благо или угроза Украине? //Свободная мысль. 1998. № 7. С.17; *Денисова Г. С.* Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов. — Ростов н/Д., 1996.

81. *Губогло М. Н.* Языки этнической мобилизации. — М., 1998.

82. *Семенов Ю. И.* Секреты. Клио. Сжатое введение в философию истории. — М., 1996. С.62–63, *Он же.* Философия истории от истоков до наших дней: Основные проблемы и концепции. — М., 1999. С.46.

83. *Тишков В. А.* Этнография чеченской войны. — М., 2001. С.47.

84. Национальная политика России: история и современность. — М., 1997. С.635.

85. *Гатагова Л. С.* Кавказ после Кавказской войны: этноконфликтный аспект //Россия и Кавказ сквозь два столетия. — М., 2001. С.49, 52.

86. *Гатагова Л.* Межэтнические отношения и протоконфликты в эпоху Александра II //VI World Congress for central and East European studies. 29 July — 3 August. 2000. Tampere. Finland. P.127.

87. *Булдаков В. П.* Кризис империи и динамика межэтнических конфликтов в России (1917–1918 гг.) //VI World Congress for central and East European studies. 29 July — 3 August. 2000. Tampere. Finland. P.75.

88. *Бордюгов Г. А.* Характеристика этнических конфликтов при Ленине и Сталине //VI World Congress for central and East European studies. 29 July — 3 August. 2000. Tampere. Finland. P.68–69.

89. *Валентей С. Д.* Федерализм: российская история и российская реальность. — М., 1998. С.83; *Лексин В. Н., Швецов А. Н.* Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития.

90. История внешней политика России. Конец XIX — начало XX в. — М., 1997. С.12.

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОЛЕ АГРАРНОЙ ИСТОРИИ

Дмитрий ЛЮКШИН

То обстоятельство, что Россия большую часть своей истории оставалась крестьянской страной, априори обуславливает включение аграрных сюжетов в исследования по отечественной истории. Российское крестьянство, как подметила И. Е. Кознова, — «постоянный объект исторических и прочих исследований» (1).

Вновь определяя крестьянство: российский дебют крестьяноведения

Со второй половины XIX в. русская социология и историософия пытались осмыслить крестьянский вопрос, впрочем (как показали события второй русской смуты), не слишком успешно. Для советских обществоведов аграрная история вообще была сакральной темой, наполненной потаёнными смыслами и тайным знанием. За статистическими данными и хозяйственными параметрами в историко-партийной традиции намётанный взгляд искушённого бойца научного фронта без труда угадывал политическую ориентацию автора. В практиках замещённого исторического знания, где задача поиска объективной истины отступала перед реалиями борьбы за выживание (порой не только статусное или номенклатурное), признание преобладания беднейшего крестьянства в структуре российского населения свидетельствовало о принадлежности к когорте историков сталинской закалки, полагавших, что уже в 1917 г. Россия вполне созрела для пролетарской революции. Констатация же того очевидного факта, что большинство населения страны в начале XX в. никак не могло быть пролетаризовано (2), означала вовсе не научный вывод, а являлась печатью, которой были отмечены адепты версии о «превентивном» характере Октябрьской революции. Большинство этих исследователей принадлежали к когорте, так называемых, «шестидесятников», представители которой двинулись на штурм командных высот в науке и образовании в годы Перестройки. Для этого организационно-статусного противостояния комму-

нистов-либералов и коммунистов-ортодоксов не имело никакого значения, что статистическая цифирь, используемая ими в схоластических диспутах, вообще не может служить доказательством в дискурсе гуманитарных исследований (3).

Традиция апеллировать к статистике для обоснования социологических гипотез и футурологических концептов была заложена в отечественном обществоведении В. И. Лениным (4), выкладки которого долгое время служили эталоном исследовательской работы. Произвольно выбранным индикатором тестирования социальной структуры были избраны лошади, имевшиеся в одном крестьянском дворе. Хозяйства с 1–2 лошадьми, признавались середнячками, имевшие большее число — кулацкими, безлошадные, соответственно, беднячками. Генерированная посредством такой немудрёной редукции модель социальной структуры российского крестьянства (5) едва ли не идеально подходила для идеально-типических упражнений (6) в поле политической социологии (7). Впрочем, вопрос о практической значимости этих изысканий оставим открытым, как не относящийся, непосредственно, к теме данной статьи.

Вместе с тем нельзя не признать, что отказ от «лошадиной» статистики, породил больше вопросов, чем ответов. Методологическая революция в обществоведении, сопровождавшая крах советского государства и коллапс коммунистической идеологии, была, если можно так выразиться, «революцией сверху». Поэтому рефлексия по поводу адекватности исследовательских процедур отечественного обществознания, навязанная советским исследователям общества (историкам, социологам и т. п.) носила принудительный характер. Как следствие, освоение евро-атлантической методологии и концептуализации зачастую просто симулировалось. Однако, для внешнего наблюдателя, теоретический бум в отечественной гуманитарной науке казался очевидным.

В обстановке методологического ажиотажа начала 90-х гг. начались крестьяноведческие исследования в России. Под руководством Т. Шанина была сформирована исследовательская группа для работы над проектом «Изучение социальной структуры российского села». Крестьяноведческие методики были презентированы в ходе семинара «Современные концепции аграрного развития», под руководством В. П. Данилова, материалы которого публиковались в журнале «Отечественная история» (8) и сборнике «Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире» (9). Кстати, эта «хрестоматия крестьяноведения» (10), вышедшая 15-тысячным тиражом, до сих пор остаётся наиболее доступным изданием, позволяющим, в общих чертах, ознакомиться с основным содержанием дискурса крестьяноведения. В этих публикациях вводились в оборот базовые категории крестьяноведения, задававшие границы крестьяноведческого дискурса: «Крестьяне» (11), «Моральная экономика» (12), «Этика выживания» (13).

Содержание этих понятий недвусмысленно указывало на антропологический характер крестьяноведения как исследовательской дисциплины. В отличие от отечественной социологической традиции структурирования общества по имущественно-функциональному признаку крестьяноведы полагают различие

между бедностью и богатством в том, какие обязательства в рамках деревенской общины несёт крестьянин. При этом понятие справедливости соотносится с тем, насколько успешно он их исполняет. Эвристический потенциал такого подхода превосходит объяснительные потенции идеально-типической модели. В результате «многие выглядящие странными деревенские обычаи имеют смысл в качестве скрытых форм страхования» (14). Поэтому использование выводов, сделанных в ходе крестьяноведческих исследований, в виде дополнительных объяснений казалось соблазнительным.

Крестьяноведческие методы и отечественная традиция аграрной истории: конфликты и компромиссы

Отечественное историческое сообщество, пребывавшее в этот период в состоянии «столыпинофилии» поначалу благосклонно восприняло тезисы крестьяноведов, однако на одном из семинаров по современным концепциям аграрного развития, где обсуждалась работа Э. Р. Ф. Вулфа «Крестьяне Нью-Джерси: Энглвуд Клиффс» (15) выявилось принципиальное расхождение во взглядах на аграрную историю между Т. Шаниным, и российскими историками. В то время как историки увлечённо обсуждали процентное соотношение бедняков и середняков в русской деревне начала XX в., Шанин высказал мысль о беспредметности этой дискуссии (16). Для него, постулирующего теоретическую дополнительную ленинскую и столыпинскую аграрных стратегий (17), было очевидно, что беднейшее крестьянство не в состоянии обеспечить собственное выживание, просто потому что пребывание в рамках моральной экономики подразумевает обеспечение выживания всех членов сельского сообщества и выполнение обязательств перед правительством. Следовательно, если большинство жителей деревни не в состоянии платить налоги и обеспечить воспроизводство своих семейных хозяйств, то речь идёт не о крестьянском сообществе, а если в состоянии — очевидно, что большая часть крестьян явно не бедствует. При этом следует принять во внимание ограниченность общинных ресурсов и, соответственно, социальных гарантий, которые может предоставить сельский мир. По мнению Т. Шанина содержать даже 30 процентов «нахлебников» ему не под силу. Хотя доводы английского профессора согласовались с данными о низкой доходности отечественного аграрного производства, легитимированными в отечественной историографии, его оппоненты не были склонны принимать их в расчёт.

Таким образом, использование этнографических, по существу, наблюдений (18) в качестве аргументов в исторических дискуссиях постсоветского периода оказалось затруднено из-за рассогласования дискурсивных формаций. Хотя, в принципе, вопрос о взаимодополнении крестьяноведческого и исторического подходов решается положительно (19), при условии пони-

мания границ и областей, в которых оно возможно. Однако, методологическое размежевание легко преодолимое в антропологическом дискурсе, включающем гносеологический инструментарий обеих дискурсивных формаций, однако, до сих пор остаётся актуальным. То, что это расхождение историков и крестьяноведов не было своевременно преодолено (или хотя бы отрефлектировано) послужило основанием для постепенного снижения интереса исторического сообщества к крестьяноведческим методикам и организационного обособления историков-аграрников и крестьяноведов.

На практике, эта «специализация» препятствовала эффективному освоению поля отечественной аграрной истории. Так, смена конъюнктуры в исторических исследованиях во второй половине 90-х гг. не позволила актуализировать крестьяноведческие методы в изучении аграрной истории России. В частности, в книге «Исторические исследования в России—I. Тенденции последних лет» (20) крестьянская тематика была заявлена лишь в социально-психологическом очерке И. Е. Козновой (21).

В вышедшем в свет в том же 1996 г. сборнике «Судьбы российского крестьянства» (22), авторы которого рассматривают историю крестьянства с традиционных (для отечественного общественно-научного познания позиций), наиболее интересные и проблемные сюжеты «выпали» из исследовательского поля. Так, практически без внимания были оставлены события «второй русской смуты» в российской деревне.

Тенденция к сегментации поля аграрной истории сохраняется и сейчас. В аграрной парадигме отечественной исторической науки в последнее время организационно оформились два направления, персонифицированные с одной стороны В. П. Даниловым, с другой — А. П. Корелиным. В то время как сторонники первого декларируют актуальность крестьяноведческих подходов и междисциплинарных методов в исторических исследованиях, второй настаивает на достаточности исторических методик для описания социального тела российского крестьянства (23). Между тем, в ходе практических исследований обе группы испытывают проблемы, обусловленные ограниченными возможностями исследовательского потенциала обоих подходов.

Затруднения историков уже не принято объяснять отсутствием корректных источников по теме, что было актуально в конце 80-х гг., тем более что аграрные сюжеты не раскрываются при обращении ко вторичным источникам, а на первичные вообще рассчитывать не приходится (24). К середине 90-х гг. «было учтено всё, что только можно было учесть, — любой деревенский всплеск возмущения и недовольства, отражённый в местной документации и периодической печати» (25). Результаты аграрных исследований впечатляют. Например, в статье Корелина «Россия сельская на рубеже XIX–XX веков» (26) обобщён огромный фактический материал, учтены архивные и исследовательские данные более чем за 100 лет. Автору удалось описать аграрную политику правительства, историю кооперативного движения, экономическое положение русской деревни. Однако, хотя по всем показателям ситуация в сельском хозяйстве была вполне благополучна, оказалось, что

«всё отчётливее проступали признаки кризисных явлений» (27). При этом содержание кризиса остаётся непрояснённым.

В свою очередь, в крестьяноведческих проектах не удалось в полной мере использовать эвристический потенциал исторических исследований. Историки, участвовавшие в них, были мобилизованы для решения локальных, вспомогательных задач в интересах обеспечения репрезентативности собственно «социологической» программы (28). В результате, крестьяноведческие методики оказались актуализированы, в основном, на социологическом материале, в исторической науке они менее востребованы. Строго говоря, «социологизм» крестьяноведения случайный элемент дискурсивной формации, просто Скотт, Рэдфилд и другие «отцы-основатели» пытались найти решение актуальной задачи — именно выяснить причины активного нежелания вьетнамских крестьян принимать достижения евроатлантической цивилизации, ценность которых очевидна для американцев или европейцев. В России же, по причине отсутствия крестьянства, как социальной страты, актуальное крестьяноведение не имеет полноценного объекта исследования. Однако, уникальность российской аграрной истории в том, что крестьянство не было уничтожено, оно самоликвидировалось (29). Причём произошло это в строгом соответствии с логикой российской моральной экономики, что возвращает в разряд дискуссионных проблему исторической причинности, и вопрос о содержании аграрного вопроса в России на протяжении XX в. Проще говоря, необходимо всё же выяснить: боролись ли крестьяне за землю, или их интересовало что-то ещё.

Несмотря на длительное и плодотворное сотрудничество в рамках «шанинского» проекта историки-крестьяноведы не смогли не только ответить на этот вопрос, но и внятно поставить его. Поэтому, отдавая дань уважения их научной добросовестности и работоспособности (30), приходится признать, что потенциал крестьяноведческого подхода в исторических исследованиях оказался, не использован. Косвенным подтверждением экзотического характера крестьяноведческих методик может служить их недостаточное распространение среди провинциальных историков и социологов.

Оригинальный — и пролонгированный во времени — опыт актуализации исторических концептов в поле антропологических исследований проделала Кознова — один из наиболее авторитетных специалистов в области интерпретации культурных следов в современном сообществе российских исследователей деревни. Ещё семь лет назад она констатировала, что крестьянство — носитель социальной памяти в России (31), далее, она сделала вывод, что социальная память детерминирует его социальное поведение в настоящем. Развивая свою аргументацию, она приходит к выводу, что память крестьянства избирательна, а некоторые образы неотрефлексированы и «живут» в подсознании (32). При этом, процедура запоминания остаётся неявной, нечёткой (См.: «XX век в социальной памяти российского крестьянства». М., 2000). С точки зрения позитивной науки Кознова, кажется, не добилась сколько-нибудь серьёзных результатов, однако, методологический прорыв

очевиден: крестьяне, как явствует из её исследований, это те, кто обладает крестьянской социальной памятью (33). Наконец-то, к началу третьего тысячелетия удалось разобраться, что лошади здесь ни при чём. Развитие дискурса отечественной аграрной истории сдерживается, не столько нежеланием авторов обрести истину, сколько сложностями, возникающими в процессе ментального освоения членами научного сообщества основных категорий и традиции антропологических исследований.

Пожалуй, западные исследователи аграрной истории России благодаря корректному использованию крестьяноведческих подходов именно в поле аграрной истории, больше преуспели в истолковании крестьянских акций начала XX в. В частности, Шанин оригинально и логично интерпретировал проблему аграрных беспорядков периода первой русской революции (34). Следует также отметить работы А. Грациози «Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933», вышедшую в издательстве Гарвардского университета в 1996-м и переведённую на русский язык, а также «Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 годы», изданную АИРО-XX (35). Это, безусловно, одни из наиболее удачных (из имеющихся на сегодняшний день) работ по истории крестьянства. Автор, кажется, не слишком удачно хронометрировал эту самую «войну». Любопытно, что проблема периодизации оказалась столь значима не только для российских авторов, но и для представителей евро-атлантического научного сообщества (36). Однако, для темы данной статьи наибольший интерес представляет отрефлексированное А. Грациози пересечение объекта его исследование с полем, где действуют историки-крестьяноведы (37). Автор не понаслышке знаком с методикой крестьяноведческих исследований (38), что и позволяет ему корректно сравнивать методы и результаты собственных наблюдений с выводам В. Данилова и его российских коллег (39). При этом А. Грациози оказался большим крестьяноведом, чем сами крестьяноведы, утверждая, что аграрная революция, на которой настаивает Данилов, была вызвана случайным стечением обстоятельств (война, упадок государственной власти и т. п.). Сами крестьяне не смогли бы организованно выступить против стабильной социальной организации (40).

Рефлексивное крестьяноведение: генезис курса

Очевидно, что крестьяноведение как научное направление не вполне оформилось и в евро-атлантической научной традиции, однако его аналитические практики вписываются в общую для мировой историографии тенденцию «очеловечивания» исторического объекта, актуализированную в постмодернистских концептах микроистории, истории повседневности, исторической антропологии. Несмотря на обилие версий, большое разнообразие конкретных подходов, исследовательских методов и организационных форм эти ин-

теллектуальные процедуры генетически обусловлены дискурсивной формацией структурной антропологии, презентированной во второй половине XX в. Клодом Левим-Строссом (41). Тогда же была сформулирована и основная методологическая проблема, возникающая в процессе формирования любого антропологического концепта — проблема унификации методологии. В частности, в случае с историей и антропологией (42) сложность заключается в том, что использование диахронических методов фактически блокирует возможность исторических исследований, задача же хронологического упорядочения социальных процессов, являющиеся (в антропологической версии) совокупностью локальных сценариев, осложняется отсутствием достоверной источниковой базы. Проще говоря, очевидный процесс генерации современными аграрными сообществами стратегий выживания, не является доказательством их крестьянского характера (43).

Каждая генерация исследователей по-своему решает эту дилемму (44). Однако, учитывая, что работы К. Леви-Стросса пятидесятилетней давности лишь недавно оказались доступны русскоязычному читателю весьма недавно (45), трудно было ожидать от отечественных обществоведов (хотя бы они даже искренно стремились освоить новый метод) адекватного восприятия крестьяноведческих манифестов. К слову сказать, вскормленные в дискурсе евроатлантической антропологии крестьяноведы далеко не всегда считали нужным осуществлять публичную рефлексию по поводу оснований собственной теории, которая вне историографического контекста оказывалась «неудобной» для восприятия.

Интенцией, побудившей Д. Скотта и его последователей обратить внимание на общинное крестьянство, явилось упорное нежелание вьетнамских земледельцев брать землю (заметим — бесплатно) в частную собственность. Столкнувшись с такой немотивированной и, как казалось, иррациональной стратегией, евро-атлантического сообщества постаралось выяснить причины такого поведения (46). Разработка специфической методологии для анализа крестьянских сообществ инициировала формирование дискурсивной формации крестьяноведения.

Впрочем, сами крестьяноведы, рефлексируя по поводу гносеологических оснований своих интеллектуальных процедур, выводят дискурсивную формацию крестьяноведения из работ и интенций организационно-хозяйственной школы А. Чайнова (47). Хотя, сами «отцы-основатели» рассматривали социологию крестьянских хозяйств в качестве вспомогательного направления при решении задач рационализации экономического планирования хозяйственной деятельности сельских общин и крестьянских «дворов» (48). Поклонение «идолу истоков» (М. Блок), впрочем, типично для укореняющего в научной традиции дискурса (49), представители которого стремятся опереться на авторитет предшественников, в видах легитимации своих интеллектуальных практик (50).

Евроатлантическая версия исследования крестьянского бытия интенционально несёт в себе здоровый заряд этнографической любознательности и этно-

логического сравнительного анализа. Совокупность данных заходов актуализирует проведение исторических разысканий, обращённых на изучаемый объект. В конечном итоге, крестьяноведение, как дисциплина, представляет из себя мультипарадигмальный, междискурсивный метод исследования (51) аграрного производства в традиционалистских сообществах, которые обозначены как «община» или «двор». Потенциальная возможность появления данного дискурса возникла вследствие длительных и настойчивых усилий мирового научного сообщества по легитимации сложной методики социальной антропологии в качестве единого исследовательского комплекса. Приемлемые в данном дискурсе эвристические методы открывали широкие перспективы не только в социологии, но и в исторических исследованиях (52).

Как уже упоминалось, начало крестьяноведческим исследования в России было положено в ходе работы над проектом «Британского фонда» по изучению социальной структуры российского села. Географические рамки исследования охватывали территорию России, Белоруссии, Армении и Средней Азии. Благодаря усилиям руководителя проекта Т. Шанина в кратчайшие сроки сложился исследовательский коллектив, члены которого составляют ядро отечественных крестьяноведов.

Практически сразу к работе над этим проектом были привлечены историки. В рамках крестьяноведческого проекта задача собственно историков сводилась к тому, чтобы записать «истории жизни ряда семейств, вместившие в себя все решающие для страны события, через которые было суждено пройти поколениям этих разных крестьянских родов» (53). Хотя в программе исторического исследования, разработанной В. Даниловым, оговаривалось, что исторические сюжеты разрабатываются в интересах социологической программы (54), однако, был оговорен самостоятельный характер исторических изысканий (55). Педалируя значение именно исторических сюжетов Данилов, подчеркнул, что «руководитель социологического проекта и автор программы профессор Манчестерского университета Теодор Шанин не ограничился вопросами памяти о прошлом, а пригласил к участию в проекте историков, с тем, чтобы воссоздать документальную картину прошлого исследуемых селений» (56). Таким образом, практически сразу произошла профессиональная автономизация исторической группы, организационно закреплённая в связи с созданием Центра крестьяноведения и аграрных реформ во главе с Шаниным и Даниловым в качестве структурного подразделения Международного академического центра социальных наук (Интерцентра), образованного в 1993 г. (57).

Историки, привлечённые к работе над проектом Британского фонда, приступили к подготовке сборников документов по истории «Антоновщины» и донского казачества в 1918–1921 гг. Под руководством В. Данилова была начата работа над серией самостоятельных проектов, поддержанных французскими и американскими фондами: «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939» (58) и «Аграрно-крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.» (59). Началась работа над проектом «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939 гг.» (60).

В 1995 г. завершилось организационное оформление крестьяноведческого сообщества, осенью была создана Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН) — российско-британского университета постдипломного образования. В МВШСЭН на условиях ассоциативного членства был включён Интерцентр. Возглавил Школу Шанин. Таким образом, лидером всей программы крестьяноведческих исследований в России является Шанин. Историческое направление в отечественном крестьяноведении персонифицирует Данилов. Появление формально-организационной структуры в российском крестьяноведении свидетельствует о начале формирования отечественной исследовательской традиции антропологических исследований. У российских обществоведов появилась возможность самостоятельного развития аналитических практик и методологических приёмов, актуальных в современном научном сообществе. В этом смысле появление МВШСЭН можно признать основным итогом первого десятилетия крестьяноведческих исследований в России.

Само по себе создание организационных форм, однако, не обуславливает плодотворного развития исследовательского дискурса. В этом плане российское крестьяноведение вообще и историческое, в частности, испытывает некоторые затруднения, связанные с восприятием и интерпретацией концептов исторического крестьяноведения в отечественном научном сообществе. Преодоление данной апории возможно посредством широкого распространения результатов крестьяноведческих изысканий, знакомства провинциальных исследователей с методами и традицией аграрной антропологии. К сожалению, научные результаты, полученные в ходе крестьяноведческого анализа сюжетов русской аграрной истории, не слишком востребованы и доступны именно в провинции, где для большинства исследователей основным методом изучения аграрной истории остаётся выстраивание в хронологическом порядке властных распоряжений и подсчёт актов крестьянского неповиновения (61). В значительной степени это обусловлено небольшими тиражами крестьяноведческих изданий и довольно ограниченным доступом к ним. «Великий незнакомец» когда-то выступил в роли своеобразного ледакола, но, образно говоря, «полынья» за ним уже почти затянулась. Не имея возможности следить за развитием и наращиванием исследовательских усилий крестьяноведов на поле российской аграрной истории (62), лишённые базы для самостоятельного освоения методологического инструментария крестьяноведения и не имея возможности формализовать результаты собственных штудий (в виде учёных степеней), провинциальные историки отказываются от антропологического взгляда на прошлое. Впрочем, 10 лет для развития и популяризации дискурсивной формации — не самый большой срок.

Гораздо больший оптимизм внушает внутридискурсивная динамика крестьяноведения в России. В процессе институционализации, в ходе практических исследований формируется новая национальная традиция аграрных исследований, позволяющая ставить и решать аналитические задачи при помощи методов адекватных изучаемому объекту — крестьянству России. Речь

идёт о поэтапном формировании методологии двойной рефлексивности, сформировавшейся в ходе трёх последовательно проведённых в 1990–2001 гг. исследований сельской России (63).

Историческая антропология в крестьянском измерении: функции и границы

Методология двойной рефлексивности (рефлексивная методология), является частью методологического инструментария современного крестьяноведения. В значительной степени это социологическая методика интерактивного полевого исследования, предполагающая вживание исследователя в изучаемое сообщество и «глубинное» интервью с помощью «полуструктурированных» опросников. Подобная методика широко применяется в антропологии для изучения социальной коммуникации и формирования структурной модели традиционных сообществ (64). Осторожное отношение к попыткам экстраполировать методы этнографии на индустриальные социальные анклавы было преодолено в евро-атлантическом научном сообществе во второй половине XX в., однако исследований подобного рода не так-то много. Использование рефлексивной методологии для изучения структурированных сообществ находящихся в состоянии гомеостаза действительно является новацией, хотя сами по себе глубинные интервью широко используются в социологических исследованиях. Погружение в среду приводит к формированию у исследователя субъективного восприятия объекта, что неизбежно отражается на его интерпретациях, поэтому использование этого метода и ограничено. В рамках академической традиции он полагается пригодным для формулировки проблемы, а не для её разрешения.

То обстоятельство, что социальная организация российского крестьянства более 10 лет исследуется при помощи этнографических методов, косвенным образом свидетельствует о том, что жители современной российской деревни изучаются как маргинальное сообщество, где неформальные формы коммуникации более значимы, чем формальные.

С другой стороны, в аграрной истории применение рефлексивных методов ограничено, поскольку интерпретации потомков и «историческая память» по уровню репрезентативности не в состоянии конкурировать с историческим источником, если речь идёт об исторической науке в академическом смысле. Это положение чревато двумя выводами. Во-первых, методологические возможности крестьяноведческой методологии в рамках исторических исследований ограничены, равно как и значение выводов, полученных с их помощью. Таким образом, результаты, полученные в ходе крестьяноведческих исследований, не могут рассматриваться как дополнительные данные в ходе исторических исследований. Во-вторых, актуализация рефлексивной методологии

в поле исторической науки (аграрной истории, в том числе) мыслима лишь в процессе антропологизации самого поля аграрной истории (65).

В конечном итоге, крестьяноведение обретает своё место в структуре научного познания. То, что этот процесс динамично развивается и в России, и в странах, которые выступают ныне в качестве носителей традиций мировой гуманитарной науки, свидетельствует о наличии в нашей стране квалифицированных исследовательских кадров, способных воспринять и использовать новые методы познания. Вместе с тем, необходимо отдавать отчёт об эвристических границах и пределах антропологических методов. Это избавит от необоснованных ожиданий и, как следствие, от разочарований. Антропология, к счастью, не претендует на вскрытие законов мирового развития (впрочем, как и всякая институционализируемая наука). В этом смысле задача антропологического познания аграрной истории вполне согласуется с задачами исторической науки, в том виде как их сформулировал выдающийся русский историк С. Ф. Платонов, ещё в начале XX в.: «История есть наука, изучающая конкретные факты в условиях именно времени и места, и главной целью её признаётся систематическое изображение развития и изменений жизни отдельных исторических обществ и всего человечества» (66).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кознова И. Е. Социальная память русского крестьянства в XX веке // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г. А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 1996. С.389.

2. Понятия бедности и богатства имеют не только абсолютное (денежное) выражение, но и относительные характеристики. Речь может идти о способности населения самостоятельно обеспечить собственное выживание и исполнение обязательств перед властями.

3. См.: Скотт Д. Указ. соч. С.75.

4. См.: Ленин В. И. Тетради по аграрному вопросу 1900–1916. — М., 1969; *Его же*. Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России». — М., 1970.

5. При этом, правда, забывали, что понятие социальной структуры» относится не к эмпирической деятельности, а именно к моделям, построенным по её подобию. Проще говоря, процессы, текущие в моделях общества, могут не коррелировать с событиями, происходящими в самом социуме. (См.: Левин-Стросс К. Структурная антропология. — М., 2001. С.287).

6. Выступая в одном из семинаров по аграрному развитию, материалы которых в 90-х гг. публиковались в журнале «Отечественная история», Т. Шанин заявил: «...Утверждение о том, что в русских сёлах накануне революции было 65% бедняков, считаю злой шуткой над логикой современных исследований». — См.: Отечественная история. 1993. № 6. С.105.

7. Очевидно, что чем меньше элементов образуют систему, тем более жизнеспособной она является. Обратная сторона — редукция реальных связей в социометрических моделях. Технические сложности, встававшие перед исследователями (выраженные дилеммой Гольдштейна) породили, в частности, метод «кейстади».

8. См.: Отечественная история. 1992. №5; 1993. № 2, 6; 1994. № 2, 4–6; 1995. № 2, 4, 6; 1997. №2; 1998. № 1, 6.

9. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. — М., 1992.

10. Данилов В. П. Наконец-то хрестоматия крестьяноведения издаётся в России! // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. — М., 1992. С.5.

11. Т. Шанин определил крестьян как «мелких сельскохозяйственных производителей, которые, используя простой инвентарь и труд членов своей семьи, работают — прямо или косвенно — на удовлетворение своих собственных потребительских нужд и выполнение обязательств по отношению к обладателям

политической и экономической власти» (См.: Шанин Т. Понятие крестьянства // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.11.

12. Дж. Скотт, введший в оборот понятие «моральной экономики», так определил его содержание: крестьянское «понимание экономической справедливости и их рабочее определение эксплуатации — их взгляд на то, какие из притязаний на произведённый ими продукт правомерны, а какие нетерпимы». См.: Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.204.

13. Этику выживания Дж. Скотт трактует как совокупность технических и социальных приёмов, выработанных крестьянством «для сглаживания тех волн, которые могут утопить человека», то есть для преодоления последствий периодических неурожаев, технологических провалов и вмешательства извне. См.: Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.203.

14. Lipton M. The Theory of the Optimizing Peasant. Journal of Development Studies. Vol.4. 1969. P.341. Цит. по Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.205.

15. См.: Отечественная история. 1993. № 6. С.82–84.

16. Разговор о русском крестьянстве в ходе дискуссии о работе, исполненной на американскую тему, возник, в частности, потому что Э. Вулф является специалистом и по российской аграрной истории (Wolf E. R. Peasant Wars of the Twentieth Century. — New York, 1969), его текст «Крестьянские восстания» включён в сборник «Великий незнакомец».

17. См.: Шанин Т. Россия как «развивающееся общество». Революция 1905 года: момент истины. — М., 1998.

18. Автор отдаёт себе отчёт в том, что термин «этно» имеет в отечественном общественном сознании определённую семантическую нагрузку, однако классическое определение этнографии (сформулированное К. Леви-Строссом ещё в 1949 г.), как дисциплины, занимающейся наблюдением и анализом человеческих групп вообще, содержит особую оговорку, что отличия или экзотический характер объекта наблюдения не имеют «ни малейшего отношения к объекту исследования» (См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. С.8).

19. То обстоятельство, что в 1994 г. создан и более восьми лет успешно работает под руководством Т. Шанина и В. Данилова «Центр крестьяноведения и аграрных реформ», само по себе является доказательством актуальности конвенционального подхода в историческом крестьяноведении.

20. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет.

21. См.: Кознова И. Е. Социальная память русского крестьянства в XX веке // Там же.

22. Судьбы российского крестьянства / Под общей редакцией Ю. Н. Афанасьева. — М., 1996.

23. Различие между этими группами прослеживается и в источниках финансирования. Так исследовательские усилия А. П. Корелина и его коллег получали поддержку Фонда Форда, Института «Открытое общество», РФНФ; крестьяноведческие программы Т. Шанина и В. Данилова последовательно финансировались Британской академией, Международным научным фондом «Культурная инициатива», фондом «Открытое общество» (Прага), Национальным гуманитарным фондом США (NEH) и INTAS.

24. Дневники кочегаров и пастухов остаются чем-то вроде «Эльдорадо» для каждого историка-аграрника, все надеются их когда-нибудь прочитать.

25. Кабанов В. В. С чего началась гражданская война? О значении так называемых 1-й и 2-й социальных войн в деревне // Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 год. Ч.1. — М., 1994. С.73.

26. См.: Россия в начале XX века / Под редакцией А. Н. Яковлева. — М., 2002. С.224–270.

27. Корелин А. П. Россия сельская на рубеже XIX—XX веков // Россия в начале XX века. — М., 2002. С.232.

28. См.: Данилов В. Историк в социологическом исследовании российской деревни // Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России. — М., 2002. С.118–124.

29. Презентированные в качестве объекта крестьяноведческих исследований казачские семьи или самарские фермеры не соответствуют параметрам крестьянства, заданным самим же Т. Шаниным («крестьяне — мелкие сельскохозяйственные производители, которые, используя простой инвентарь и труд членов своей семьи, работают — прямо или косвенно — на удовлетворение своих собственных потребительских нужд и выполнение обязательств по отношению к обладателям политической и экономической власти»). См.: Шанин Т. Понятие крестьянства // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.11.

30. Один из «побочных» продуктов обширной программы исторического крестьяноведения — сборник документов: Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг. Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. — М., 2002. Почти тысяча страниц документов — очевидный результат плодотворной исследовательской и архивной работы. Добротное и насыщенное издание. Отечественная историческая

наука давно нуждалась в столь обстоятельном и полном издании. Пожалуй, самое ценное, что документы здесь, в отличие от аналогичных сборников советской эпохи не подверглись селекции и цензуре.

31. См.: Исторические исследование в России. Тенденции последних лет. С.386–404.
32. См.: *Кознова И. Е.* Горькое масло реформ: об аграрных преобразованиях на Вологодской земле //Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Учёные записки. 1999. Вып.3. — М., 1999. С.201–226.
33. См.: *Кознова И. Е.* XX век в социальной памяти российского крестьянства. — М., 2000.
34. См.: *Шанин Т.* Россия как «развивающееся общество». Революция 1905 года: момент истины. — М., 1998.
35. См.: *Грациози А.* Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. — М., 2001; *Он же.* Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 годы. Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских движениях. — М.: АИРО-XX, 1997.
36. Андреа Грациози датирует свою «Крестьянскую войну 1912–1956 гг., авторы «шанинского проекта» обнаружили в России целую крестьянскую революцию, датировав её 1902–1922 гг., О. Файджес в своей знаменитой «People's Tragedy» датирует «русскую революцию» 1891–1924 гг., Р. Пайпс... и многие другие пытаются втиснуть в чёткие хронологические рамки события второй русской смуты, как будто имеет принципиальное значение, когда она началась и когда кончилась.
37. См.: *Грациози А.* Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. С.10.
38. А. Грациози участвовал в совместном российско-французском проекте «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939».
39. См.: *Грациози А.* Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. С.76.
40. Этот вывод совпадает с выводом Дж. Скотта, об оборонительном характере социальных стратегий крестьянства, лежащем в основании крестьяноведческого дискурса.
41. См.: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология.
42. В контексте изложения самого Леви-Стросса антропологический подход формируется посредством объединения этнографической и этнологической парадигм, укоренённых в социологическом дискурсе и взятых в исторической перспективе.
43. Осторожное использование крестьяноведческих подходов в отечественной социологии отчасти обусловлено сомнением в крестьянском характере современного российского аграрного производства.
44. См.: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. С.9.
45. Так, сборник «Первобытное мышление» был издан в 1994 г., а программный текст: «Структурная антропология» — в 2001-м.
46. Манифест крестьяноведения — работа Дж. Скотта «Моральная экономика крестьянства. Восстание и выживание в Юго-Восточной Азии» (Нью-Хэвн; Лондон. Изд-во Йельского ун-та, 1976) была посвящена именно этой проблеме.
47. См.: *Шанин Т.* Крестьяноведение и Вы: к русскому изданию //Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. С.21–23.
48. Собственно социальные характеристики крестьян, впервые привлекли внимание Томаша и Знанецкого, положив начало социологии Чикагской школы, получившей известность, однако, в процессе разработки социальной структуры города
49. См.: *Кром М. М.* Историческая антропология. Пособие к учебному курсу. — СПб., 2000. С.6–7.
50. Как показывает историографический опыт, воссоздание утраченного дискурса невозможно именно потому, что с течением времени исчезает социальный контекст, определяющий стиль исследовательской традиции.
51. Одним словом можно сказать — комплексный.
52. Учитывая то обстоятельство, что зачисление современных деревенских обывателей в крестьяне не вызывает однозначного одобрения обществоведов, можно утверждать, что в России именно историческое крестьяноведение представлялось наиболее перспективным. Косвенным подтверждением этому служит тесное сотрудничество с Т. Шаниным известного российского историка-аграрника В. П. Данилова.
53. *Фадеева О., Никулин А.* Исследование и исследователи: замыслы, проекты, результаты, люди (1990–2001 гг.) //Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России. С.94.
54. *Данилов В.* Историки в социологическом исследовании российской деревни (1990–1994 гг.) //Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России. С.119.
55. Там же. С.120.
56. Там же. С.115.
57. С российской стороны «Интерцентр» возглавила Т. Заславская, с британской — Т. Шанин.
58. В итоге предполагалась публикация 4-х томного сборника документов. В настоящее время в свет вышли 2 тома, третий находится в печати.
59. Результатом их деятельности стали исследования: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919— 1921 гг. («Антоновщина»). — Тамбов, 1994; Филипп Мионов (Тихий Дон в 1917— 1921 гг.)

— М., 1997; Крестьянское движение в России в 1901–1904 гг. — М., 1998; Приговоры и наказания крестьян Центральной России 1905–1907 гг. — М., 2000; Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Документы и материалы. — М., 2002. Ещё ряд изданий готовятся к публикации.

60. В рамках этого проекта предполагается издание пятитомного собрания документов и материалов. К настоящему времени опубликовано 3 тома, ещё один находится в печати.

61. Автор на личном опыте убедился в неактуальности крестьяноведения в кругах провинциальных исследователей. Вот уже около десяти лет, выступая на конференциях с презентацией итогов своих исследований, приходится отвечать на вопрос о том, кто такие «крестьяноведы».

62. Обидно, но «Рефлексивное крестьяноведение» существует всего в тысяче экземпляров. Например, научная библиотека им. Н. Лобачевского — основная научная библиотека Поволжья вовсе не имеет этого издания.

63. См.: *Шанин Т.* Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни.

64. См.: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология.

65. Этот процесс далёк от завершения даже вне российской исследовательской традиции. Однако стремление к истинному знанию подталкивает его движение.

66. *Платонов С. Ф.* Лекции по русской истории. — Петроград, 1917. С.8.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сергей АНТОНЕНКО

Процессы, протекающие в историческом сознании России на рубеже веков, характеризуются многовекторностью. Среди тенденций, которые обнаруживают себя в мире исторических исследований, довольно ясно обозначилась определённая *десекуляризация* мышления и языка. Проявлением этого становится появление текстов, несущих отчётливо различимый конфессиональный отпечаток, а также актуализация материала, так или иначе связанного с конфессиональностью.

Под *конфессиональной составляющей исторического дискурса* я понимаю как различные исследовательские подходы и концепции, связанные с конфессиональной проблематикой российской истории, с оценкой роли религиозного фактора в формировании этнической, государственной и культурной субъектности России, так и попытки «опознать» тот или иной исторический феномен в качестве прежде всего *религиозного* — причём определяющим является то обстоятельство, что, в отличие от трудов по сравнительному религиоведению, работы, посвящённые российской специфике, чаще всего оказываются «маркированы» конфессиональными предпочтениями или антипатиями их авторов.

Дело государственной важности

Конфессиональность как фактор, влияющий на характер общественного диалога о прошлом, заметна не только в рамках цеха историков, но и в более широких границах исторического сознания. Поэтому представляется уместным проследить данную тему не только на материале академических работ (среди которых следует особо отметить появление в последние годы нового историографического жанра — масштабных церковно-исторических проектов, таких как многотомные энциклопедия «Христианство», переизданная «История Русской Церкви» митрополита Макария и «Православная Энциклопедия») (1). Весьма значимым представляется материал целого корпуса

современных научно-популярных и историко-публицистических текстов, а также «установочных» работ — призванных, например, задавать информационные и идейные ориентиры для государственных чиновников, соприкасающихся с конфессиональной проблематикой.

Среди подобных работ стоит выделить пособие «Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное состояние)», изданное главной «кузницей кадров» управленцев новой России — Российской Академией государственной службы при Президенте РФ. Обращение к тексту позволяет отметить два существенных момента. Прежде всего, констатируется, что религия играет всё более заметную роль в жизни общества — следовательно, актуальной становится задача формирования новой концепции государственно-церковных отношений. Сложность решения этой задачи определяется прежде всего *историческим* фактором: «Государство и его политика, с одной стороны, и религия и Церковь, с другой, имеют разные цели и выполняют разные задачи в обществе» (2). Авторы работы декларируют, что «потенциал религии, включающий в себя многовековой исторический, нравственный опыт, может, должен быть использован в целях достижения гражданского мира и согласия в России» (3).

При этом составители пособия недвусмысленно предостерегают своих читателей об опасности поворота России на путь построения конфессионального государства. Они категорически отвергают перспективу возрождения «русской идеи» в православном варианте: «В условиях многонационального и многоконфессионального государства, каким является Российская Федерация, протекционизм в отношении одной религии неизбежно вызовет, и уже вызывает недовольство у приверженцев других религий, а также у стоящих за ними и нередко отождествляющих с этими религиями свою национальную принадлежность народов. К тому же, проправославная ориентация государства, а значит официальное допущение религии к различным сферам нерелигиозной жизни (клерикализм) будет препятствовать идентификации неправославных верующих и неверующих с самим общественным строем и политикой государства» (4).

Таким образом, не находит подтверждения гипотеза, высказываемая некоторыми исследователями, что формирование конфессиональной составляющей в историческом сознании жителей России обусловлено государственной установкой, выдвигающей православие на роль желанного «интегратора» общества. Мое предположение заключается в том, что изменение роли и места религиозной проблематики в отечественной историографии вызвано не внешними, а внутренними процессами, протекающими в мире гуманитарного знания.

Заслуживает внимания также центральное положение, которую занимает в этом контексте тематика, связанная с православием — точнее, со значением православия в судьбах русской культуры и российской государственности. Данное обстоятельство определяет и направленность настоящей работы. В дальнейшем именно православная проблематика будет предметом рассмотрения

и анализа. Такое ограничение, несколько сужает исследовательский горизонт, но, в то же время, даёт возможность рассмотреть феномен конфессиональной составляющей на наиболее ярких примерах, относящихся как к таким глобальным вопросам, как историософия российской цивилизации, так и к остроактуальным проблемам новейшей истории.

Сакральная лексика в науке: pro et contra

Для русской мысли всегда было характерно стремление различая, сопрягать «родное и вселенское»; вновь и вновь искать формулу соотношения «кафолического» и национального в духовной культуре. На острие этих исканий находится тема, вынесенная в заглавие антологии, изданной Русским христианским гуманитарным институтом: «Православие: pro et contra». Уже само название даёт представление о характере интеллектуального диалога в сфере христианской историософии, об антиномичности высказываемых суждений. Книга вроде бы не является «новым» фактом отечественной публицистики — в ней нет текстов ныне живущих авторов. Однако, как справедливо отмечается в статье «От издателя», книга — событие, выходящее за рамки обычных изданий, выходящих в серии «Русский путь», и это предопределено самой природой рассматриваемой реальности: «Для России Православие — не просто один из феноменов её исторической судьбы. Православие — неустранимая основа нашего социокультурного бытия, сила, проявляющаяся в культуре, но неизмеримо превосходящая её по сути» (5).

Во вступительной статье «Что такое православие?» составитель сборника В. Фёдоров делает попытку наметить концепцию, в которой признание высокой культурной миссии православия в истории оказывается освобождено от мессианско-националистических обертонов: «В России понимание духовности часто бывает связано с реализацией национальной идеи. Но христианское понимание таково, что подлинная духовность наполняет духовным смыслом национальную идею лишь воплощая в себе идею единства человека с Богом и единства людей в Боге. Преодоление националистического искушения не означает, однако, что не следует замечать того благого влияния, которое русское православие и русская культура оказывают на европейскую и мировую культуру» (6). В подтверждение тезиса о православии (и русском православии в частности) как «закваске» культурного прогресса в истории приводятся слова Патриарха Константинопольского Афинагора: «Русские в наше время сыграли роль, подобную византийским гуманистам, пришедшим на Запад после падения Константинополя... Русские религиозные мыслители, рассеянные по всему Западу после Революции, были носителями великого христианского возрождения, в котором божественное и человеческое обрело свою полноту друг в друге, и всё значение которого ещё не до конца открылось нам» (7).

Если в рамках историософского осмысления роли православия в судьбах России использование конфессионально окрашенных терминов представляется чем-то вполне органичным, то прагматическая профессиональная историография (даже имеющая просветительно-педагогическую направленность) при первых подступах проблеме сталкивается с достаточно острой проблемой научного языка. В последние годы наблюдается процесс сакрализации историко-религиозной лексики, причиной которого, на мой взгляд, является отсутствие (или неразработанность) в русском языке внеконфессиональной (точнее — конфессионально нейтральной) терминологии, описывающей религиозные феномены.

Дореволюционные историки Церкви и религии совершенно естественно использовали в своих трудах церковную лексику. В советское время проблема именования решалась порой в ущерб не только литературному стилю, но и орфографическим правилам русского языка. (В результате появлялись такие монструозные словообразования, как «т. н. святые», «А. Невский», «С. Радонежский», «Д. Донской», «бог» и «библия» со строчной буквы и т. п.). Возможно ли выработать нейтральный, секулярный, социологизированный терминологический аппарат исторических, в особенности религиоведческих исследований? Это представляется весьма проблематичным в силу хорошо известной лингвистам «оценочной нагруженности» русского языка. Кроме того, многие сакральные термины остаются единственно адекватными для описания явлений с конфессиональной спецификой. Например, человек, воспитанный антирелигиозной пропагандой, несомненно, возмутится, увидев в научном издании сочетание «святой праведный Иоанн Кронштадтский» — он сочтёт такую формулировку «потаканием церковникам». Между тем, здесь был использован лишь «технический» богословский термин, наименование одного из чинов или ликов православных святых: слово «праведный» означает, что этот человек был канонизирован Церковью как святой, живший в миру, вне монашеского сана... Разумеется, при обращении к сакральной терминологии требуется тактичность не меньшая, чем при обращении к самому предмету «истории духа». Сегодня возврат к конфессиональной лексике происходит даже у авторов, стремящихся подчеркнуть свою сциентическую дистанцированность от предмета исследования.

Ярким примером описанного является «учебное пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ» (получившее рекомендацию Учебно-методического объединения вузов РФ по педагогическому образованию) под характерным названием — «Великие духовные пастыри России». Показательно, что сборник жизнеописаний людей, оставивших заметный след в истории русского православия (включающий два не привязанных к конкретным биографиям «экскурса», написанных А. Г. Кузьминым), озаглавлен именно так — в духе конфессионально окрашенной почтительности — а не нейтрально (например, «Видные деятели Русской Церкви»). Книга собрала под одной обложкой как явно апологетические тексты, близкие по стилю агиографическому жанру, так и «объективизированные» работы, претендующие

на то, чтобы стать попыткой разобраться — с точки зрения истории — в неоднозначности, а зачастую и противоречивости поступков реально живших иерархов и подвижников.

Образцом своего рода «историко-публицистической агиографии» может служить очерк А. В. Ефремова и С. М. Сергеева «Святой Иоанн Кронштадтский» (8), в завершении которого звучит искренняя надежда на возрождение Святой Руси — идеала самого отца Иоанна. К сожалению, цитирование действительно ярких антилиберальных пассажей «всероссийского пастыря» и пересказ хрестоматийных фактов его биографии подменяют в тексте анализ обширнейшего корпуса источников и личных свидетельств об отце Иоанне. Удивительно, что не получило сколько-нибудь подробного освещения духовное значение миссии Иоанна Кронштадтского в контексте вызовов новой эпохи — XX в. Об отце Иоанне как «продолжателе молитвенных и богословских традиций Отцов Церкви» говорится буквально в одном абзаце. «Охранительный» пафос не даёт читателю почувствовать главное — насколько дерзновенно новым для своего времени был радикальный традиционализм служения и проповеди протоиерея о. Иоанна Сергиева...

Увлекательной как для читателя, так, очевидно, и для самого исследователя попыткой воссоздания подлинного облика одного из самых известных русских святых является очерк А. Е. Петрова «Сергий Радонежский» (9). Для автора характерен критический подход к источникам, стремление «разобраться в противоречиях», проанализировать их, чтобы достичь «адекватного понимания деятельности Сергия». Позитивистская исследовательская мотивация сочетается у биографа «всероссийского чудотворца» с искренней заинтересованностью в выяснении сути нравственного ориентира, того житейского идеала, который дал миру Сергий. Основываясь на изучении и сопоставлении агиографических и летописных материалов, автор бестрепетно разрушает ту гармоничную канву жития Преподобного, которая во множестве пересказов кочует из одного издания в другое. Историк расстаётся с версией о поездке Дмитрия Донского в Троицкий монастырь, о пророчествах и благословениях игумена накануне Куликовской битвы (вообще, по мнению А. Е. Петрова только «рязанская миссия Сергия стала единственным достоверным фактом участия игумена в политических событиях своего времени» (10)); высказывается предположение, что легенда о дарах Константинопольского патриарха Филофея Сергию и патриаршем благословении на введение общежитийного устава в обители была вставлена в текст Жития в эпоху Василия II, в эпоху идеологической борьбы, связанной с Флорентийской унией (11). Касаясь чисто духовной, богословски-мистической проблематики, критически настроенный автор объявляет «необоснованным» мнение о Сергии Радонежском как распространителе идей византийского исихазма. Конечно, отвергается и определяющая роль афонского мистического учения в духовной жизни русских земель накануне и после Куликовской битвы. Характерно, что здесь в наибольшей степени заметны конфессионально окрашенные вкусы и предпочтения биографа Троицкого игумена. Признавая «размытость и неопреде-

лённость» термина «исихазм», А. Е. Петров далее пишет: «На Руси так и не были восприняты идеи Паламы об обожении. Не привился в русском монашестве и равнодушный к мирским чаяниям индивидуализм безмолвствующих в молитве (паламизм для достижения состояния обожения не предполагает ни коллективных действий, ни общей причастности благодати). На Руси уединение от мира предполагало возврат к нему через любовь. В силу общинных стереотипов в мировоззрении русскому монашеству была не свойственна концепция индивидуального спасения. Поэтому-то и целью затворничества было не столько собственное спасение, сколько служение миру примером» (12).

Не трудно заметить, что такие черты подвига преподобного Сергия как трезвенность, практичность, даже прагматизм в решении жизненных проблем (на них обращал внимание ещё Г. П. Федотов) находят особый отклик у автора; мистические откровения Преподобному явно не вдохновляют историка (а ведь Сергей Радонежский удостоился явления Пресвятой Богородицы — событие неординарное в контексте русской, да и христианской в целом агиографии). Чудеса святого объясняются «действительным даром личного магнетизма», а там, где они явно превосходят этот дар — констатируется, что «автор жизнеописания как бы невольно подталкивает своего читателя к материалистической трактовке произошедшего чуда» (13). Заслуживает внимания, что вывод, к которому приходит историк в конце своего прагматического изложения, в принципе совпадает с традиционной трактовкой личности Сергия: «Современники сумели выделить и оценить то главное, чему мог научить их пример троицкого игумена — они восприняли нравственный и одновременно социальный идеал старца. Этот идеал, основанный на оптимизме русской православной традиции, воплощённый в жизнь личным примером игумена, стал для современников образцом общежития. Общежития, основанного на простоте (умеренности, естественности), силе (как физической, так и духовной и энергетической) и нравственности, тесно связанной как с гражданской позицией самого игумена (читай: его общины), так и с представлениями о социальной справедливости. Как ни странно, главные уроки миротворца Сергия, собственно и заложившие основу сергиевской традиции, состоят в противостоянии. Противостоянии единства и разделенности мира, принципов коллективизма и избранности, общины и иерархии, труда и наживы» (14).

На страницах весьма показательного сборника «Великие духовные пастыри России» нашло своё отражение ещё одно явление, напрямую связанное с проблемами конфессиональности — это феномен *верующего историка*, не занимающегося ни публицистической апологетикой, ни историзированной агиографией — но также и явно не имеющего желания эмоционально отстранённо «препарировать» источниковый материал. Подобные авторы обычно не злоупотребляют декларациями, свидетельствуя о личном исповедании в завершение работы. Так, Г. А. Артамонов в заключительных строках своего очерка «Митрополит Киевский Кирилл» (15) отметив, что источники сооб-

щают слишком мало собственно о личности первосвятителя Руси в эпоху Александра Невского, пишет: «И, взглядываясь по прошествии веков во внешне скромную фигуру митрополита, невольно хочется со всем православным миром вознести молитву к покровителю Земли Русской: “Святителю отче Кирилле, моли Бога о нас. Аминь”» (16).

Сборник «Великие духовные пастыри России», подготовленный историками так или иначе связанными со школой А. Г. Кузьмина, находится «в поле» ещё одной гносеологической проблемы: насколько продуктивно рассмотрение религиозных явлений с точки зрения логики развития «мира» — того самого мира, на преодолении которого настаивает и в победе над которым утверждает себя большинство религиозных традиций, в том числе и христианство?.. Во всяком случае, нельзя назвать особенно удачным Предисловие, написанное ректором МПГУ, академиком РАО В. Л. Матросовым. Здесь, в лучших традициях социологизаторства, даётся секулярная трактовка таких ключевых понятий православной традиции, как «общежитие», «подвижник», «Закон» и «Благодать». Не утруждая себя аргументацией тезиса, автор заявляет, что «давно замечено... основное различие западного и восточного христианства: индивидуализм и соответственно повышенное внимание к Ветхому Завету Запада (? — С. А.) и большая расположенность к Новому Завету и коллективному началу Востока». История духовной традиции не выдерживает инструменталистского подхода. Вряд ли сбудутся надежды академика В. Л. Матросова на то, что найдутся «новые формы общежития», которые позволят «войти в XXI век с решением проблемы наиболее оптимального использования истощающихся экономических ресурсов на основе духовно-нравственного многовекового опыта» (17).

Христианство или «двоеверие»? Новое открытие «Святой Руси»

После того, как отошла в прошлое советская «марксистско-ленинская» парадигма, опиравшаяся на утверждение, согласно которому религия есть явление, не имеющее своей собственной сущности, «фантастическое отражение в головах людей тех сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни» (Ф. Энгельс), перед исследователями открылась захватывающая перспектива изучения духовных традиций в качестве самодостаточных феноменов, развивающихся по собственным внутренним законам и оказывающих воздействие на все сферы жизни человека.

Состоялось фактическое «открытие» Древней Руси как христианского европейского государства. Новому переосмыслению, в частности, подверглись сложные коллизии, связанные с соотношением язычества и христианства в древнерусской культуре. В качестве внешнего катализатора здесь, возможно, выступил наблюдаемый в современном российском обществе рост

интереса к «этническим» верованиям и культам, а также появление феномена неоязычества.

Исследования древнерусского язычества в России прошли путь своего становления от романтической «мифологической школы» А. Н. Афанасьева, через скептически-позитивистский подход Е. В. Аничкова и его последователей — к масштабным реконструкциям поздних работ Б. А. Рыбакова, в которых дохристианские верования обретают вид законченной религиозной системы со своей разработанной философией, литургикой, эстетикой и т. д. (Следует заметить «на полях», что объёмные компендиумы покойного академика — излюбленное чтение отечественных неоязычников: отсюда они увлекают обильный материал для собственного «религиозного дизайна».)

Известно, что Рыбаков прямо опирался в своих реконструкциях славянских верований на построения древнерусских книжников, которые он увязывал с археологическими данными. Многие современные исследователи склонны гораздо более осторожно подходить к древнерусским источникам. Почти все повествующие о язычестве тексты имеют полемическую, обличительную направленность и, опираясь на византийскую традицию, «подгоняют» верования древних славян к библейским и античным образцам. Не более надёжным оказывается и археологический материал: проблема определения и интерпретации культовых мест (святилищ, языческих храмов) — давняя и общая проблема; погребальный же обряд славян второй половины I тысячелетия н. э. в сравнении с синхронными древностями соседних народов выглядит настолько бедным, что его характерным признаком, как указывал ещё Л. Нидерле, является отсутствие всяких признаков.

Для большинства российских исследователей рубежа XX–XXI вв., не принадлежащих к школе Рыбакова, характерен явный скептицизм в оценках степени мощи и развитости «языческого пласта» древнерусской культуры. Напротив, христианство уже в первые века после Крещения Руси предстаёт действенным фактором, глубоко преобразующим этнические, культурные и социальные реалии.

Пожалуй, в наиболее рельефном виде эти тенденции выражены в монографии В. Я. Петрухина «Древняя Русь: Народ. Князья. Религия». Исследователь отмечает скудость, спорность и малую достоверность тех «фрагментов» язычества, которые сохранились под пером древнерусских книжников. Никаких языческих мифов древнерусские книжники не записывали: письменность распространилась на Руси с принятием христианства, и в официальной книжной культуре не существовало ниши для собственного дохристианского наследия. Древнерусские поучения ориентировались на библейско-патристические образы языческих верований. Исходя из этого, Петрухин подвергает сомнению историческую достоверность схемы, изложенной в древнерусских источниках и некритически принятой Рыбаковым. Согласно этой концепции, язычники-славяне поклонялись сначала упырям и берегням, потом роду и рожаницам, и наконец — богу Перуну. Этапы развития религиозных представлений Рыбаков соотносил с этапами развития производительных сил

и общественных отношений в духе формационной теории. Опираясь на труды предшественников, Петрухин показывает, что русский книжник при составлении данной схемы следует византийским образцам обличения язычества, в том числе — и в «исторической» части. Далее оказывается, что «реконструкции» маститого академика в основе своей представляют просто трансляцию античных мифологем и средневековых евгемерических представлений о божествах предшествовавшей эпохи. Выделение, разграничивание исторических периодов развития славянского язычества «оказывается чрезвычайно уязвимым при обращении к аутентичным, а не книжным источникам по славянскому язычеству: так, само имя громовержца Перун является, безусловно, общеславянским и праславянским, имеющим индоевропейские истоки... Культ Перуна намного древнее Древнерусского государства, а «культ» упырей надолго это государство пережил» (18).

Рассмотрение археологического «языческого» материала помещено Петрухиным в параграф под характерным заглавием: «Святылища и мнимости в археологии». Автор констатирует, что «“классические” памятники языческого культа, вошедшие во все обобщающие работы по славянским верованиям, — такие как “жертвенник” в Киеве из старых раскопок В.В. Хвойко (1908 г.) и даже “святылище” в Перыни под Новгородом — после новых исследований и придирчивого анализа старой документации стали предметами дискуссий» (19). Предполагается даже, что название урочища «Перынь» (др.-рус. «возвышенность, горная местность») было отождествлено с культом Перуна только в XVII в., в русле «народной этимологии».

Итак, «чистое» древнерусское язычество, ранее представлявшееся «чётко очерченным» явлением, буквально на глазах теряет ясные контуры. Выясняется, что у нас крайне мало источников, позволяющих судить собственно о нём. Вместе с тем, Петрухин не отказывает себе в удовольствии проводить достаточно дерзновенные реконструкции идеологии Древней Руси, затрагивая загадочную область, в которой сопрягаются ценности православия и дохристианской культуры: «...Борис и Глеб оказывались не только первыми святыми князьями, но и первыми общерусскими святыми, объединяющими государственный — княжеский — культ святых покровителей Русской земли в широком (и постоянно расширяющемся с расширением государственных границ) смысле и народное почитание носителей ширящегося “святого” плодородия, матери сырой земли» (20).

Если попытаться выразить историко-культурную доминанту монографии Петрухина в философских терминах, то язычество предстаёт в ней лишённым своего «логоса». Оно не обладает — по крайней мере, в X в. — жизненной силой, которая позволила бы ему утверждать себя через сопротивление христианству. Автор работы принимает взгляды древнерусских писателей, согласно которым у крещения народа в Киеве практически не было противников, как «конкретно-исторические, а не просто “книжные”» (21). В подтверждение этого указывается, что отказ князя и бояр от языческих культов — разрушение капища и низвержение кумиров — практически лишало эти культы

смысла, т. к. князь в славянской дохристианской религии был и верховным жрецом. С точки зрения Петрухина, принятие христианства — не «верхушечное событие», а подлинный «культурный переворот», затронувший не только естественные (городские) центры христианизации, но и сельскую глубинку. Данные археологии, в частности, переход от языческого обычая хоронить умерших «на горизонте» к христианскому погребению, свидетельствуют о преимущественно ненасильственном характере происходивших трансформаций: «в принципе “спланировать” эволюцию обряда с нарастанием христианских черт насильственными методами было невозможно» (22). Разбирая известные историкам факты «языческой реакции» (восстание волхвов), автор монографии приходит к выводу, что в действительности речь может идти об эксцессах, имевших не языческую, а гностическую, т. е. еретическо-христианскую основу: «Полемика Яна с волхвами обнаружила дуалистические представления, в целом несвойственные славянской языческой мифологии». «По сути, это движение можно считать если не “еретическим”, то по своей сути соответствующем учению о последних временах, библейским чудесам и пророчествам, то есть движением, возникшим под прямым воздействием христианства» (23).

Конечно, тезис о ненасильственном принятии новой веры большинством населения Руси сближает работу Петрухина с церковной историографией, как дореволюционной, так и современной. Ещё в большей степени соответствует православной «историософии Святой Руси» идея Крещения как радикальной этнообразующей, пересоздавшей русский народ: «ригористический подход церкви к славянским языческим культам был подходом **историческим**, ибо эти культы действительно были присущи “языцам” — восточнославянским племенам, но не русским — новому народу» (24).

Совершенно естественно в данном контексте воспринимается скепсис Петрухина относительно такого устоявшегося в истории культуры стереотипа, как «двоеверие» русского народа. По мнению исследователя, «историографический синдром» двоеверия заставлял усматривать «следы» христианско-языческого синкретизма там, где в имели место проявления ортодоксально-христианских или конфессионально нейтральных, светских мотивов. «Эти “светские” мотивы создавали ту конфессионально нейтральную сферу, где возможен был синтез различных традиций и в рамках которой развивалось “бытовое” декоративно-прикладное искусство и сам “быт” — и эта бытовая сфера подвергалась непримиримому осуждению, прежде всего, со стороны строителей быта совершенно иного образца — **монастырского**» (25). «Монашеский» укор миру и создал понятие «двоеверие», под которым понималось, между прочим, не столько одновременное следование христианским и языческим обрядам, сколько нетвёрдость, колебания в вере вообще. Таким образом, истоки мнения о «живучести» и глубине языческого пласта в «русской душе» лежат в полемической и проповеднической литературе, ставившей перед собой задачи духовно-нравственного исправления «мира», а не скрупулёзно-точной фиксации бытовавших верований. (Между прочим, здесь

допустимо провести параллель с современной церковной литературой, в которой всё нравственно неприемлемое с христианской точки зрения оценивается как «языческое»).

Подводя итог своего обозрения, Петрухин утверждает: «важнейшим фактором, определявшим общие тенденции развития русской культуры и русского самосознания в XI–XIII вв. (и в последующие столетия), был конфессиональный... С конфессиональной принадлежностью связан в русских памятниках XI в. термин *русские сыны*, акцентирующий единство происхождения *русских* вообще, а не только русского княжеского рода (русского рода в договорах с греками)» (26). Ненасильственный характер распространения новой веры и её глубокое проникновение в толщу народной культуры уже на рубеже X–XI вв. автор связывает с эсхатологическим характером христианского провозвестия: «...Вопрос, заданный Феодосием Печерским веселящемуся на пиршестве князю Святославу, — “Так ли будет на том свете?” — волновал отнюдь не только монахов и князей... Крещение Руси в конце X в. совпало, как уже говорилось, с ростом эсхатологических настроений в конце первого тысячелетия христианства и картина Страшного суда воздействовала на представления людей, живших в кризисную эпоху смены веры» (27). При этом «эсхатологический пафос древнерусской литературы оказался пророческим — древнерусская “домонгольская” культура как целостность погибла» (28).

Вместо двояверной «сверху донизу» страны, буквально все проявления культуры которой обнаруживают «языческий подтекст», а народные восстания представляют собой попытки реставрации догосударственных обычаев (29), Древняя Русь обретает в работах историков рубежа веков черты молодой, но уже вполне сформировавшейся христианской цивилизации. Христианские ценности уже в ранний период формирования русской государственной традиции определяли не только внешний строй и уклад жизни, но и мировосприятие людей. Именно такой вывод можно сделать по прочтении работы А. А. Горского, посвящённой «узловым» моментам истории русского менталитета. Композицию из четырёх очерков под заглавием «Всего еси исполнена земля русская...» открывает глава, посвящённая Игорю Святославичу, герою «Слова о полку Игореве». Автор обращает внимание на такой примечательный факт: из всех князей средневековой Руси по известности у современных россиян с Игорем Святославичем могут сравниться только Александр Невский и Дмитрий Донской (но первые знамениты своими победами, а второй обязан славой поражению). Более того, в сознании жителей Древней Руси перипетии неудачного похода на половцев также занимали весьма значимое место. Проанализировав летописные свидетельства, Горский заключает: «даже если бы до нас не дошло “Слово о полку Игореве”, следовало бы признать, что поход Игоря Святославича на половцев 1185 г. явился событием, которое произвело на современников большее впечатление, чем любые события XII — нач. XIII в., вплоть до монгольских нашествий» (30).

Задаваясь вопросом о причинах такого уникального положения Игоревы похода в историческом сознании современников, автор заключает, что это

событие было отмечено уникальным стечением фактов (сепаратное выступление, затмение солнца и пренебрежение этим недобрым предзнаменованием, полная гибель войска в степи, пленение князя и его побег). Но само сочетание этих деталей не объясняет внимания, которое приковывал к себе поход Игоря Святославича. Значимость данного исторического события проясняется лишь при обращении к христианскому контексту, определявшему взгляд на историю в эпоху Средневековья. События похода в совокупности «не только содержали “мифологический заряд”, позволивший автору “Слова” изобразить Игореву эпопею как картину гибели и воскресения мира, но и давали небывалую доселе возможность осмысления в рамках христианской морали: грех (сопровожаемый отвержением Божья знамения) — Господня кара — покаяние — прощение. Такое осмысление прослеживается во всех трёх произведениях, посвящённых событиям 1185 г.» (31).

Подводя итог, автор пишет, что развитие фабулы событий 1185 г. «явились для недавно христианизированной страны ярким проявлением воли Бога. Отсюда — сильное воздействие Игоревой эпопеи на современников и небывалый отклик на неё в общественной мысли» (32). Таким образом, широкий резонанс неудачного эпизода борьбы с половцами объясняется не обстоятельствами, связанными с общественно-политическими причинами (осознание пагубности феодальной раздробленности и необходимости объединения сил Руси), а прежде всего — конфессиональным фактором.

В свете изменения как оценок роли религии в истории, так и общих подходов к исследованию памятников, имеющих конфессиональную специфику, представляется заслуживающей внимания и такое явление, как отход исследовательского сообщества от однозначно скептического, порой тенденциозного восприятия исторической достоверности текстов церковного происхождения или процерковной ориентации. Восстанавливают свой статус свидетельства произведения, которые безоговорочно принимались официальной церковной историографией, но в советское время проходили «по отделам» «мифов» или «пропаганды церковников». Примером может служить восприятие исследователями такого известного сюжета, как «выбор веры» князем Владимиром. Если более осторожный Петрухин пишет: «Речь не идёт, конечно, об исторической реальности прений о вере в Киеве накануне крещения Руси (хотя и отрицать возможность такого диспута также нет прямых оснований)» (33), то блестящий знаток зарубежных источников по истории Древней Руси А. В. Назаренко напрямую связывает летописное предание об «испытании вер» князем Владимиром с политико-идеологической реальностью 80-х гг. X в. Его исследование заканчивается следующим полновзвучным аккордом: «Думаем, заслуживает реабилитации и “Сказание об испытании вер”. Мирные переговоры с волжскими булгарами после похода 985 г. (как бы ни относиться к этой дате) подразумевают обмен посольствами. Всё сказанное выше даёт право предполагать и довольно оживлённые сношения Владимира с Германом II в 978–983 гг. Говоря о греческих послах, достаточно указать на переговоры, непосредственно предшествовавшие крещению Владимира.

Вмешательство автора “Сказания” в этот добротный летописный материал заключалось в его литературной компоновке, объединившей изолированные известия единой сюжетной канвой “выбора веры”. В этом у него, как говорилось, могли быть и литературные образцы, давшие мотив для внесения в “Сказание” эпизода с послами от “жидов козарьстиих” — хотя и здесь исключать какую-то реальную основу нельзя» (34).

Церковь в государстве: «тождество», «симфония» или пленение?

Важным моментом, характеризующим развитие историографического процесса и исторической науки в целом, является сотрудничество светских исследователей с Церковью, которое выражается, в частности, в участии учёных в масштабных публикаторских проектах, в многотомных сериях («Материалы по истории Церкви» и др.), издающихся при поддержке соответствующих структур Московской Патриархии, а также церковных или «просто» христианских учебных заведений. Надо отметить, что подобное сотрудничество чаще всего оказывается взаимовыгодным — Церковь, выступая (в той или иной степени) в качестве спонсора исследований или публикаций, восстанавливает свой статус покровительницы знаний и культуры; богословы в её «ограде» получают фактологический материал — часто новый и уникальный — который они могут использовать в своей апологетической деятельности. Историки же открывают для себя новые темы и новые возможности интерпретации событий.

За последние годы вышло в свет особенно много исследований и материалов, посвящённых наиболее «востребованным» с точки зрения общественного интереса проблемам взаимоотношения Церкви и государства в период от начала последнего царствования до юбилейных торжеств Тысячелетия христианства, знаменовавших фактическое окончание коммунистического давления на верующих. Чертой, объединяющей большинство работ, посвящённых указанному периоду, является стремление к переосмыслению штампов «пропагандистской истории» или стереотипов массового «исторического» сознания. Так, например, С.Л. Фирсов в объёмном исследовании, посвящённом жизни Русской Церкви в конце XIX — начале XX в., уже в самом начале предлагает отказаться от мифа о «благословенной» для русского православия дореволюционной поре. Это заставляет сделать уже простой анализ статистических и экономических данных. Исследователь задаётся вопросом: много или мало перед революцией было священнослужителей в Российской империи? Вывод автора состоит в следующем: «Если рассмотреть, сколько православных приходилось на одного священно- и церковнослужителя, то придётся признать, что мало: получалось более 820 человек на одного представителя белого духовенства... В 1900 году в Православной Российской Церкви на-

считывалось 49.082 храма, однако лишь в 24.625 причт получал жалование. К тому же, и сумма этого жалования была минимальна... Сложность ситуации заключалась в том, что внешнее положение Православной Церкви резко диссонировало с её внутренним состоянием. В самом деле: при ежегодном росте числа храмов и монастырей проблемы православных клириков не выглядели слишком удручающими и свидетельствовали для посторонних, мало знакомых с внутрицерковной жизнью людей, скорее об укреплении позиций главной конфессии империи, об её непререкаемом авторитете» (35). Ряд последующих соображений исследователя, касающихся подготовки церковных реформ, не в меньшей степени идёт в разрез с устоявшимися стереотипами. Показательно, однако, что автор монографии пытается подойти к ответу на поставленные во введении вопросы (например, мог ли последний русский государь способствовать проведению давно назревших преобразований и содействовать созыву Поместного собора? Была ли у Церкви возможность обезопасить себя на случай гибели самодержавной империи?) учитывая внутреннюю логику православной традиции. Так, размышляя о первом из приведённых выше вопросов, Фирсов отмечает: «...в условиях политической нестабильности и нараставших год от года внутренних проблем церковные реформы не столько содействовали бы освобождению Церкви от излишней государственной зависимости, сколько воспринимались бы как разрушение союза властей, отказ от покровительства православию» (36).

Целый ряд клише, господствующих в сознании не только «правоориентированной», но и либеральной части российского общества, «разбивает» М. В. Шкаровский в своём исследовании «Нацистская Германия и Православная Церковь». В работе, построенной на мощном источниковом фундаменте, доказывается несостоятельность мифов о национал-социалистах как о «друзьях» Церкви, о Гитлере как «спасителе» и «покровителе» православия, о «христианских духовных перспективах» германского национал-социализма. Сравнивая советский и германский «подходы» к «церковному вопросу», автор заключает: «При всей первоначальной внешней разнице национал-социалистской и советской (1920–1930-х гг.) церковной политики между ними было много общего. Это хорошо видно на примере области Вартегау, которая была в 1939 г. избрана “испытательным полигоном” для нацистских церковных экспериментов. Как и в СССР, там были закрыты монастыри, вся религиозная деятельность низводилась до уровня общин и т. д. ... Реальная религиозная политика германской оккупационной администрации, как справедливо отмечало местное население, также имела много общего с довоенной советской... Изучение опыта движения воинствующих безбожников в СССР казалось правительству III Рейха очень полезным» (37).

При том, что и Гитлер, и Сталин лично уделяли внимание церковным вопросам, политика советского вождя оказалась прагматически более выигрышной: «...руководитель СССР был способен, если того требовали обстоятельства, на кардинальное изменение позиции в религиозном вопросе, что оказалось совершенно неожиданным для властей III Рейха. Эти перемены

были вызваны целым комплексом причин... Несомненно, Верховный главнокомандующий действовал по заранее разработанному плану, в котором с некоторых пор стал уделять Церкви значительное внимание для придания собственному режиму власти видимость демократического веротерпимого государства... С весны 1943 г., когда исход войны стал ясен, он начал размышлять о будущем послевоенном переделе мира, разрабатывая планы создания мировой державы. В этих имперских замыслах Церкви отводилась немаловажная роль. Значительно более прагматичный, чем вожди III Рейха, Сталин “переиграл” их» (38).

Итоговый вывод Шкаровского позволяет судить о Православной Церкви как о единственном незапятнанном островке в эпоху войн и тоталитаризма. Хотя и в Германии, и в России Церкви не смогли воспрепятствовать установлению тоталитарных режимов, всё же Церкви «стали одним из немногих островков нравственности, опорой внутреннего сопротивления тоталитарной идеологии и этике». Русская Православная Церковь не поддавалась искушению расчитаться за нанесённые ей коммунистическим государством жесточайшие удары. «Она создавала, по словам Ленинградского митрополита Алексия, “нравственные условия победы”. Религиозный фактор сыграл существенную роль в изменении поначалу неблагоприятного для СССР хода боевых действий» (39). Церковь выступала в качестве патриотической силы и на оккупированной территории, «где неожиданно для нацистов начался бурный стихийный процесс церковного возрождения». На захваченных нацистами землях в 1941–1944 гг. было открыто 9400 храмов. «И эти церкви стали центрами русского национального самосознания... Впрочем, проблема патриотизма в годы второй мировой войны является достаточно сложной и неоднозначной. Представители всех частей Русской Православной Церкви, в том числе и карловацкое духовенство, были патриотами и желали возрождения свободной процветающей великой России. Но представляли себе пути к достижению этой цели по-разному и порой оказывались в “разных лагерях”. В целом же можно сделать вывод, что ни одна из частей или юрисдикций Русской Церкви не стала сотрудничать с нацистами... К концу 1943 года нацисты проиграли СССР и пропагандистскую войну в церковной области, что было особенно заметно на примере балканских стран» (40).

Как безусловно прогрессивный с точки зрения развития историографии можно оценить факт отхода значительной части историков от однозначных и односторонних — обычно негативных — оценок взаимоотношений Церкви и государственных органов и инстанций в советский период. М. И. Одинцов, автор ряда инновационных публикаций начала 1990-х гг. (монография «Государство и Церковь в России: XX век» (М., 1994), статьи в журналах «Отечественные архивы», «Наука и религия» и др.), считает, что новая российская государственность должна учитывать наработки прежней эпохи в выстраивании отношений с Церковью. По его мнению, изучение истории церковно-государственного диалога — «не только процесс познавательный, но и значимый и актуальный для государства и формирующегося в стране (пусть

медленно и трудно) гражданского общества» (41). Политика в сфере свободы совести, полагает учёный, «должна отвечать российским традициям, не выглядеть чужеродным, навязываемым извне элементом. В ней диалектически должны быть соединены опыт западной демократии и российский (в т. ч. советский) опыт в решении “религиозного вопроса”» (42).

Линию, намеченную Одинцовым, развивает — значительно углубляя и усиливая аргументацию за счёт привлечения нового архивного материала — исследователь из Челябинска Татьяна Чумаченко. В книге «Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг.» она сосредотачивает внимание на деятельности ряда государственных институтов и специализированных органов, и прежде всего — Совета по делам РПЦ. Работа этого аппарата власти до выхода в свет монографии Т. А. Чумаченко в значительной степени оставалась «в тени» интереса исследователей. Церковные историки (С. Гордун, Д. В. Поспеловский), не вдаваясь в рассмотрение противоречивых политических тенденций сталинской эпохи, зачастую изображали членов Совета по делам РПЦ просто «обер-прокурорами, представлявшими идеологию воинствующего безбожия». Чумаченко замечает, что позиция страдающей стороны, которую занимают эти авторы «заставляет их видеть в Совете по делам РПЦ только орган контроля за деятельностью РПЦ. Но для того, чтобы контролировать, нужно помочь возродиться, нужно обеспечить нормальную жизнедеятельность религиозных организаций, что невозможно было сделать усилиями лишь одной церкви. Совет по делам РПЦ, его председатель Г. Г. Карпов видели главную свою задачу в реализации церковной политики правительства, претворении её в жизнь. И при решении этой задачи Совет через своих уполномоченных контролировал всю сферу государственно-церковных отношений в стране. При этом Г. Г. Карпов, защищая интересы верующих, нередко входил в конфликт с представителями власти на местах... Анализ архивных документов, и в первую очередь фонда самого Совета по делам РПЦ, даёт основание считать точку зрения Одинцова о следовании руководства Совета конституционно-правовой линии в отношениях с РПЦ, в том числе и в кризисных ситуациях, более обоснованной» (43).

В последнее время даёт о себе знать тенденция причисления некоторых советских вождей — Г. Маленкова и даже И. Сталина — к чуть ли не «криптохристианам». В отношении кадрового чекиста с безупречным по советским меркам происхождением Г. Г. Карпова существует историографическая легенда о его «семинарском» прошлом. Чумаченко не затушёвывает фактов достаточно ярко выраженной атеистической, в чём-то даже откровенно богоборческой личной позиции советских функционеров, в том числе — самого Карпова. (Последний, например, был настолько принципиальным противником возвращения Церкви св. мощей, что предлагал собрать все имеющиеся в стране мощи, относительно которых пока не поступало запросов «церковников», и уничтожить их). И всё же, итоговый вывод исследователя не может не показаться многим «ревизионистским»: «...Несмотря на непоследовательность и противоречивость правительственной церковной политики, деятельность

Совета по делам РПЦ, его настойчивость в деле реализации принятых законодательных актов, способствовали становлению хоть и ограниченной, но правовой базы государственно-церковных отношений, и в целом — достаточно цивилизованных взаимоотношений между советским государством и Русской православной церковью. Безусловная заслуга в этом принадлежала председателю Совета по делам РПЦ — Г. Г. Карпову» (44). Приводимые автором факты одновременно не могут не скорректировать сложившийся в массовом сознании стереотипный образ сталинского режима. Так, не вписываются в рамки картины абсолютной тоталитарной деспотии свидетельства о торможении инициатив Центра со стороны партийно-государственного аппарата на местах (в частности, оказывалось «скрытое противодействие реализации распоряжений СНК об открытии духовных учебных заведений (в том числе подписанных лично И. Сталиным)» (45)).

Обращение к яркой и доказательной книге Т. А. Чумаченко даёт возможность обозначить здесь ещё одну проблему, стоящую перед современной исторической наукой. Это — вопрос о необходимости *специально религиозоведческого* и даже *теологического* ракурса рассмотрения в работах, посвящённых церковно-общественным и церковно-политическим темам. Нужно ли светскому учёному, занимающемуся историей Церкви как одного из социальных институтов, привлекать богословский материал, обращаться к «самосвидетельству Традиции»?.. По моему мнению, эта исследовательская практика способна придать «стереоскопичность» рассмотрению темы, усилить убедительность выводов. К сожалению, внеконфессиональный подход в работе Чумаченко, имеет и свои слабые стороны — проявляются они, например, в «Заключении», где автор, переходя к обобщениям, пишет: «Для догматической традиции вселенского православия характерно отождествление церкви и государства (? — С. А.)... Следование догмату тождества церкви и государства (? — С. А.), при постоянном усилении последнего привело церковь, в конечном итоге, к потере своей самостоятельности... С падением монархии и установлением советской власти догматы православной церкви не изменились, а исторический опыт трансформировался в традицию. Сила этих обстоятельств и сделала возможным такой феномен, как церковная политика советского государства в том виде, в каком она осуществлялась в СССР» (46). Нетрудно заметить, что приведённая выше трактовка «догматической традиции вселенского православия» находится в явном противоречии как с самой этой традицией, так и с памятниками восточнохристианской государственной мысли. Уже знаменитая VI новелла императора Юстиниана говорит о Церкви и государственности, как о двух дарах божественного человеколюбия — имеющих единый источник, но всё же различных, — и настаивает на их «симфонии», а не тождестве. Византийские памятники («Исагога», «Номоканон XIV титулов»), рецепция которых на Руси прослеживается со времён «Слова...» митрополита Илариона, утверждают принцип «диархии» светской и духовной власти: взаимодействие «империи» и «священства» только тогда гармонично, когда каждое из этих начал исполняет присущие ему функции,

т. е. церковь — духовные, а государство — светские. Очевидное нежелание автора углубляться в православную экклезиологию (отнюдь не «заглохшую», а наоборот, актуализированную XX в.) приводит в этом месте работы к некоторой поверхностности выводов — что, впрочем, не принижает значения проведённого исследования.

Апологеты и обличители православной цивилизации: в поисках формулы русской истории

Где же именно, в каком из отделов современной гуманитаристики наиболее ярко проявляется конфессионально-исторический дискурс? — Он присутствует не только в работах, посвящённых истории религии и Церкви, но и в трудах, обращающихся к типологии и специфике российской цивилизации (оцениваемой как часть «восточнохристианской ойкумены», как особый «православно-евразийский» мир, или иначе), проблемам национального менталитета, специфике и константным, «родовым» чертам российской власти.

Чтобы убедиться в правоте данного тезиса, достаточно обратиться к новейшим образцам литературы по указанным проблемам, а также по тем, где доминирующая роль православия провозглашается с большей или меньшей степенью убедительности: взаимоотношения власти и общества («мира»), развитие законодательства и правосознания, особенности хозяйственного уклада и даже воинского искусства — не говоря уже о художественной культуре.

В среде историков и культурологов, имеющих вкус к генерализациям, возникают обобщающие концепции, увязывающие судьбы Церкви с судьбами русского этноса. При этом наблюдается не только «прорастание» прежних конфессионально ориентированных формул русской истории («уваровской», «бердяевской» и т. п.), но и привлечение к новому «идеотворчеству» наработок XX в. Материалы конференций и сборники научных трудов, проходящие «из провинции» позволяют заключить, что данный процесс развивается не только «в столицах», но и в крупных интеллектуальных «губернских» центрах России.

На основе идеи об «эсхатологизме» как определяющей духовной и культурной доминанте исторического пути нашей страны выстраивает свою концепцию исследователь Махнеева из Уральской государственной архитектурно-художественной академии (г. Екатеринбург) в работе «Религия как связующее начало российского общества». Постулируя, что «религиозное начало на различных стадиях развития российского общества предстаёт прежде всего как нечто объединяющее, иными словами — как иррациональное ядро, всегда являющееся основой сложных общественных иерархий, формирующее систему связей между людьми, и, следовательно, сообществами и государствами» (47), автор приходит к выводу о своеобразной «духоцентричности» русского самосознания, основанного на признании духовного в качестве дей-

ствительной реальной силы, обладающей творческим потенциалом. Отсюда выводит О. А. Махнеева своё объяснение катаклизмов и катастрофических «переворотов», сопровождающих Россию на путях её исторической судьбы: «потребность служения началу высшему является причиной существующей в российском обществе традиции периодического отвержения существующего организующего начала, олицетворяемого Церковью. Для России характерно стремление к буквальной реализации эсхатологического мифа, т. е. к обретению Царства Божия на земле, одновременно воплощающего потерянный рай. Отказ от всего существующего во имя создания нового и совершенного обуславливает периодическое возникновение потребности уйти из-под власти официальной церкви. Сотрудничество Церкви с государством приводит к отождествлению её с властными структурами и заставляет сделать вывод о принятии духовным центром исторического процесса и, следовательно, об отказе достичь совершенства и желании всего лишь улучшить по мере сил и возможностей существующий порядок вещей. Отказ обрести Град Невидимый русские не приемлют. Именно этим обусловлено преобладание начала разрушающего, проявившееся в период 1920–1930-х гг., в частности, через осуществление гонений на Церковь» (48).

Основной «сюжет» истории России выстраивается как дихотомия двух начал — «разрушающей культуры», находящейся в непрерывном поиске нового центра, долженствующего быть совершенным и «культуры созидательной», возвращающейся на новом витке спирали развития к утерянному организующему центру. Первопричина чередования двух периодов — приверженность России к эсхатологической идее. Разные эпохи исторического развития российского общества — заключает автор — нельзя изучать без учёта различных этапов истории русского православия, служащих индикатором культурных переломов.

Не менее любопытная попытка синтеза вполне материалистических этнологических построений Л. Н. Гумилёва («теория пассионарности») с православно-монархической, церковно-государственнической идеологией, принимаемая историком культуры В. Л. Махначом. Сборник его статей и эссе под названием «Очерки православной традиции» рекомендован в качестве учебного пособия по истории Отделом по религиозному образованию и катехизации Московского патриархата. Для исторического анализа Махнача существуют два ценностных ориентира — Церковь и империя, чьё культурное (а не только военно-политическое!) величие неразрывно связано с фазами этнической «пассионарности». В свете этого получают свои характеристики исторические деятели Руси и России — причём довольно часто Махнач ругает своих героев за то, за что их принято хвалить; а временами хвалит совершенно не за те деяния, которые обычно удостоиваются похвалы у историков. Приведём несколько примеров (стоит извиниться за «надёрганность» цитат, но это вполне согласуется с общим стилем книги, идейная целостность которой совершенно не страдает от тематической разбросанности).

«Александр Невский совершил культурный выбор, сравнимый по значению с выбором веры при св. князе Владимире. Орда тогда не принадлежала

ни к одной великой культуре и, следовательно, ничем не могла угрожать нашей великой культуре восточного христианства, Восточной Европе. Запад? Мы, несомненно, могли победить Орду в союзе с ним. Но только ценою окатоличивания, крепостничества, превращения в окровавленный щит западного мира» (49). (Несколько смягчая радикально-евразийские «гумилёвские» обертонны, звучащие в прославлении союза с Ордой, Махнач заявляет: он «всегда считал, что, как ни славна куликовская победа, много большую небесную славу нам принесло бы крещение Орды!» (50).

«Император Павел I был выдающимся политиком... он создал поразительный по глубине мальтийский проект. Вот уж за что несправедливо упрекают императора Павла западники и патриоты!.. А ведь могли же мы владеть Мальтой (нет-нет, не как русской землёй, как орденской), тем более, что гротмейстерский ранг стал как бы наследственным в династии русских государей. Так выгодно ли это России? Выгодно ли это Вселенской Православной Церкви?» (51).

«...Примеры поразительно антиимперской (и антинациональной, кстати!) политики оставил нам Александр I. Стремясь быть благодетелем Европы, он уклоняется от православной политики на Балканах, ослабляет помощь грекам. Стремясь облагодетельствовать поляков, дарит им единую Польшу, которую тогда допустили бы существовать только под русским флагом. И за это оставляет в руках Австрии исконно русские земли Галиции...» (52).

Император Николай II в интерпретации Махнача — это прежде всего «человек своей эпохи», государь эпохи модерна. Православный традиционалист Махнач оценивает модерн исключительно позитивно: статья об этом явлении культуры озаглавлена «Похищенное возрождение» (53). Период рубежа XIX–XX вв. открывал, по мнению автора «Очерков православной традиции», возможности для нового социального и духовного синтеза на подлинно национальной основе: «Если традиция теплится, она восстанавливает разрыв, перешагивая через время упадка, разорения, порабощения... Модерн с его методом *стилизации* пришёл на Русь изнутри по-русски, в результате наших собственных мучений в поисках *своей* традиции» (54).

И уж совсем восторженным прославлением эпохи (в общем-то, достаточно спорной с точки зрения ортодоксально-христианского подхода к оценке явлений культуры) звучит следующий пассаж Махнача: «Модерн пал смертью храбрых 2 марта 1917 года. Пал, как св. Андрей Боголюбский, у которого, прежде чем убить, украли *меч*» (55).

В книге «Очерки православной традиции» делается попытка набросать образ «России, которую мы потеряли», заметно отличающийся от сусально-консервативного православно-монархического мифа: «...либералы бывают консерваторами, и это самые достойные люди, которые есть в государстве. Новым был также и П. А. Столыпин, и тот, кто его нашёл — Император Николай II. Это тоже была одна из форм нового: Россия общественная, Россия, устранившая бюрократическую переборку между государством и обществом, Россия семейных ценностей, очень тонкого традиционного, традиционалист-

ского, православного искусства. Россия, какой она могла бы быть, если бы мы не позволили отнять у нас последнего нашего Государя» (56).

Махнач прогнозирует различные варианты будущего русской цивилизации, исходя из этнологии Льва Гумилёва и собственных конфессионально окрашенных культурологических предпочтений: «Этнологически — русские выходят сейчас из фазы надлома. Впереди — инерция, фаза, в которой этнос восстанавливает свою жизнеспособность, научившись себя беречь» (57). Перед «Россией будущего» — три варианта выбора: путь изоляции, возвращение к имперскому самосознанию и третий, не исключающий второго, путь — «культурологический», предполагающий ориентацию на верность органичной для русских культуре — восточнохристианской. Именно третий вариант, с точки зрения В. Л. Махнача — «наиболее продуктивен» (58).

В последние годы в отечественной философии культуры появилась тенденция признания религии (в духе некоторых идей А. Тойнби) движущей силой, основой и стержнем всякой культуры и цивилизации. В случае с Россией это порой означает выведение всех как позитивно, так и негативно оцениваемых сторон русской исторической действительности из «выбора князя Владимира»...

Амбивалентность оценок в наибольшей степени проявляется при обращении к остро дискуссионным темам современности — традиция и модернизация, формирование различных «версий» идентичности... Византийский «извод» христианства может рассматриваться как изначально антимодернизационная сила — или как «закваска» любой модернизационной активности. Прежние идеологические варианты идентичности («советский человек» и пр.) могут легко заменяться новыми конструктами — например, формулой идентичности может служить «принадлежность к православной цивилизации» (понимаемой в качестве сверхконфессиональной общности).

Значение религиозного фактора как некоей константы исторического развития России признаётся и православными (или церковно ориентированными авторами); и теми, кто в целом отрицательно оценивает влияние греко-восточного христианства на судьбы страны. В последнем случае заслуживает внимания следующий факт: если в советские времена критическая оценка роли православия обычно была связана с нивелировкой религиозного фактора как такового, то сегодня подобный подход чаще всего основан на иноконфессиональной духовной ориентации. В отдельных, особо показательных случаях речь может идти о регенерации языческих идейных систем и религиозно-психологических комплексов. Здесь могут выстраиваться такие, например, смысловые ряды: «христианская ортодоксия = торможение, регресс, насилие власти над народом»; «ересь и/или язычество = прогресс, народность».

Как попытка концептуализации в данном направлении может быть отмечена книга Л. А. Андреевой «Религия и власть в России». Автор, находясь под явным влиянием идей Б. А. Рыбакова о «светлом языческом прошлом» Руси (59) и «мрачной эпохе» торжества Православия, выводит из конфессиональной специфики восточного христианства происхождение того «прокля-

тия деспотизма», которое висит над исторической Россией: «Правовая и политическая история Европы и России во многом определены их религиозной историей. Христианский догмат (??? — С.А.) о верховном правителе — “наместнике Иисуса Христа”, в должности которого переплелись функции светского и жреческого Мессии, оказал решающее влияние на ход как европейской, так и российской истории... Религиозный догмат о верховном правителе — “наместнике Иисуса Христа” — оказал решающее влияние на ход исторического развития именно России» (60). В XVII в. в России окончательно установился «режим цезаропапизма», но уже с XVIII в. начался «необратимый процесс заката христианской модели наместнической власти». Однако «в XX в. в Советской России наместническая власть вновь воскресла в обновлённой социально-футуристической версии» (61). Конец идеологии наместничества положили только события 1991 г...

Итог исследования (выполненного, по словам автора, «на основе метода исторического концептуализма») звучит как приговор российской государственной традиции: «Исторически власть на Руси являлась одной из типологических разновидностей архетипической модели наместнической власти, которая в истории цивилизаций проявлялась в различных формах, но всегда приводила к одному и тому же конечному результату — установлению деспотического режима... В начале XXI в. Россия остаётся страной, подверженной влиянию мифа о её особом историческом пути, страной, у которой отсутствует рациональная, светская идеология государства» (62).

Основные идейные постулаты Андреевой основаны на сочинениях Вячеслава Полосина — бывшего православного священника, принявшего ислам. Его «программная» книга «Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии» — ярчайший пример конфессионалистски окрашенной публицистики. Интеллектуальная нечестность автора проявляется в том, что о свои подлинные религиозные предпочтения он затушёвывает, предпочитая употреблять такие понятия как «трансцендентный монотеизм», «религия Единобожия» и т. п. Текст буквально пропитан ненавистью Полосина к своему прежнему исповеданию — причём любопытно, что для создания негативного образа православия и исторической российской государственности автор использует одновременно неоязыческие, славянофильские, «имперские», либерально-западнические и революционно-нонконформистские идеологические клише! Историческая схема Полосина (принявшего в исламской умме имя Али) выглядит весьма эклектичной, и единственное, что скрепляет её разнородные составляющие — это неприязнь автора к православной традиции. Претендуя на роль знатока мифологии, бывший священник в собственном идейном конструировании постоянно изменяет внутренней логике мифа. Приведём несколько пассажей, говорящих сами за себя:

«В Земле Русской в первом тысячелетии н. э. господствовало народоправство, всё решал народ на вече и советах... князь был лишь наёмным воеводой и сборщиком налогов... Земля Русская была тогда духовным и политическим лидером Европы. Владимир, убив братьев, тиранически захватил

власть в Киеве в 980 году и стал фактически самодержцем. Он предал главное дело своего отца — создание Русской империи, превратив Русь в колонию восточных римлян... Породнившись с азиатскими деспотами, он разрушил в 988 году священную территорию народовластия и перенёс свой двор на сакральную территорию, превратив его в “священный дворец” по образцу диктаторских восточных режимов и провозгласив князя “причастником Царствия Божия”, который неподотчётен народу. Владимир силой поставил над русским народом первосвященника-инородца...

До монгольского ига христианская мифология не имела всеобщего успеха, базируясь в основном в городах, при дружинах князей... Монголы... ревностно способствовали тотальной христианизации русского населения... Москва, входившая во Владимирско-Суздальский улус (“белое ханство”), была возвышена богдыханом за особые заслуги московских князей в деле истеребления русских людей, восстававших против ига монголов. Ханский ярлык был платой за геноцид русского народа, и именно поэтому у московской власти в период становления её собственной государственности сформировался и закрепился на века и донныне **архетип жестокого, не семейного, не родственного, а колониального отношения к своему народу**... Тем самым, в Московии изначально отсутствовало национальное самосознание — место нации занимала колониальная “богоносная” власть и “святое” государство — “святая Русь”... Из пепла человекобожеской Московии народ воскрес через демократию земского собора 1613 года, сохранив до конца этого века двоевластие монарха и народа. Пётр и Екатерина Великая пришли к власти через переворот и были фактически не династическими монархами, а народоводителями. Немало сил они прилагали к тому, чтобы народ сам ощутил себя политическим субъектом. Аристократы Муравьёв и Пестель пошли ещё дальше..., однако были уничтожены военной диктатурой... Византийско-монгольская хтоническая мифология была поначалу прервана великой русской революцией февраля–ноября 1917 года, после которой большевики, тогда ещё социал-демократы, руководимые национальным героем Лениным, совершили такой акт приватизации, который не снился и Анатолию Чубайсу, раздав землю в собственность крестьянам — факт, совершенно игнорируемый современными политологами!» (63).

Полосин следующим образом подводит итог своему «исследованию политической мифологии»: «Содержит ли российская или русская мифология иные архетипы, стимулирующие социальную активность, предприимчивость, внутреннюю и внешнюю свободу? Российская мифология — нет, но русская — да. Под российской я понимаю мифологию, рождённую в московском улусе Золотой Орды, под русской — дохристианскую мифологию и идеологию северорусских земель, не попавших под монгольское иго, и периодические попытки её восстановления при царях-харизматиках и под знаменем революций» (64).

Нет сомнения, что круг работ, подобных двум процитированным выше, будет расширяться, причём антихристианский или антиправославный пафос

станет своего рода духовным паролем, объединяющим людей весьма различных конфессиональных предпочтений.

Церковь как субъект исторического познания, или церковная историография сегодня

В заключении остановимся кратко на процессах, проходящих в церковной историографии: отойдя в недавнее время от чисто «описательного» стиля, она довольно успешно намечает контуры нового церковно-исторического концептуализма (призванного выполнять, кроме всего прочего, и христианско-апологетические задачи). Импульсом, придавшим определённую динамику творчеству церковных авторов, стало празднование Юбилейного 2000 г. Состоявшийся 13–16 августа 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял такие важнейшие, определяющие миссию православных христиан в мире Третьего Тысячелетия документы, как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» и «Основные принципы взаимоотношений с инославными». Многие вопросы, касающиеся соотнесения канонического наследия и современности, были поставлены на Соборе впервые после Поместного собора 1917–1918 гг. — поэтому практически ни один из комментариев не обходится без исторического экскурса. (Итоги публицистической дискуссии по деяниям Архиерейского Собора представлены в книге «Церковь: шаг в новый век» (М., 2000), подготовленной к изданию агентством «Метафрасис» и православным интернет-журналом «Соборность»). Трудно переоценить значение для исторического сознания Церкви принятого собором решения о канонизации сонма новомучеников и страстотерпцев Российских, в том числе государя императора Николая Александровича и его семьи (65). Русская Церковь в преддверии нового Тысячелетия христианской эры утверждает себя как Церковь исповедническую, Церковь мучеников, а значит — Церковь воистину Апостольскую. Показательно также, что юбилейный Архиерейский Собор, наряду с жертвами богборцев XX в., причислил к лику святых ревнителя церковной свободы митрополита Ростовского Арсения Мациевича, пострадавшего в XVIII в. от императорской власти...

Если до революции в работах по истории Церкви, происходящих из клерикальных кругов, доминировал сервильный этатизм, а после революции клерикальная историография свелась к чисто описательным, чаще всего «юбилейным» статьям в календарях и «Журнале Московской Патриархии», то сегодня у церковных авторов заметна тенденция к самостоятельному историософскому анализу и незаурядным синтетическим построениям. Отметим, в частности, работу священника Алексея Николина «Церковь и государство (история правовых отношений)», изданную Сретенским монастырём (как известно, эта обитель не без оснований претендует на то, чтобы быть интеллектуальным центром Русской Церкви). Общий дух работы о. Алексея можно

охарактеризовать как «церковно-народный» и «неовизантийский»: «На Руси два великих события — основание Русского государства и создание Русской Православной Церкви совершались внешне отдельно и независимо друг от друга. Однако оба эти события происходили в одном народе и удивительно согласованно. Почти одновременно были положены основы и Русского государства, и Русской Церкви. Потом вместе, как бы рука об руку обустроивались они в продолжении целого столетия. Почти разом завершилось и их становление... Влияние Византии сказалось на всех сторонах жизни молодого государства, формирующейся Поместной Церкви... Византизм — идея взаимодействия Церкви и государства, Православия и монархического начала — сыграл, пожалуй, решающую роль в деле формирования из многих племён и народностей русского народа, формирования русского человека — хранителя особых религиозных и государственных воззрений» (66).

В книге священника Алексея Николина история государства предстаёт как воплощение духовного проекта, в котором церковное начало является определяющим: «Восприняв византийскую идею “симфонии властей”, Древняя Русь верно и глубоко разрешила вопрос практического взаимодействия Церкви и государства — в разделении их сфер и в органическом согласовании их целей и усилий. Своеобразие русского развития состояло в том, что Русская Православная Церковь, строясь сама, устанавливая отношения с новым государством, в то же время играла важную, если не определяющую роль в его устройении... Русская Православная Церковь стала фактически не только пестуном русского народа, но и воспитателем молодого государства» (67).

Отход от принципа «симфонии» неминуемо приводит к деградации государства и общества. С начала эпохи петровских преобразований «предпринимались попытки изменить нравственный идеал русского народа: на место Святой Руси поставить в сердце православного человека Великую Россию». Происходило «возвеличивание государства, интересам которого снова, как во времена языческого Рима, должно было быть подчинено всё и в человеке, и в народе» (68). «В целом XVIII век — это век практически непрекращающихся усилий по переделыванию мировоззрения русского человека, быта русского народа на немецкий, протестантский лад». Это век, когда государственная власть вместо совместного с Церковью делания по «украшению жизни человеческой, по религиозному воспитанию народа, встала фактически на путь постепенного его религиозного развращения, его расцерковления» (69). Таким образом, для историософии священника-правоведа не характерна безусловная апологетика государственной власти (глава IV рассматриваемой работы, посвящённая взаимоотношениям Церкви и светской власти в XVIII в., названа по-пастырски сурово: «Государственное еретичество»). В то же время, в исследовании нет «безудержного» народопоклонства, проводится трезвая оценка воцерковленности русского общества на разных этапах истории.

По-новому расставлены и акценты, характеризующие узловые, ключевые моменты российской истории, моменты цивилизационного перехода. Так,

например, конец господства древнерусской церковно-политической парадигмы автор относит к собору 1666–1667 гг., а не к эпохе Петра I. Московский собор предпринял попытку переосмысления русской истории: «целью такого переосмысления было — превратить православное Русское государство просто в одну из многих монархий — простое государство, хотя с имперскими претензиями, но без особого, освящённого Богом, пути в истории» (70). Большое значение придаётся фигуре Павла I — в контексте того, что его царствованием открылось «время осознания российскими государями своих задач как царей самодержавных, как образа Царя Царей. Это время осознания ими своих первоначальных задач — охранения Православия не только в России, но и в других православных странах. Это время осознания того, что задачи Русского царя, Промыслом Божиим на него возложенные, выходят далеко за пределы задач верховного носителя государственной власти» (71). В свете церковного учения даются нетривиальные характеристики деятельности императоров Александра I («Священный Союз был задуман как некое преддверие тысячелетнего царства»); Николая I (опровергается расхожий тезис о его «мертвящем» консерватизме); Александра II («...государственная инициатива и государственное, а не церковное осознание проблем»); Александра III (целью которого, по мнению о. Алексея Николина, было не ликвидировать кризис русского сословного общества, а «заморозить его, создав условия для ликвидации этого кризиса в будущем»). Отмечая глубокую веру и преданность Церкви государя Николая II, священник пишет о трагедии его царствования как следствии вероисповеднической политики государства, порождённой петровскими реформами. В Петербургской России Церкви вроде бы была гарантирована защита — но только «это была защита пленением». «Лишая Церковь свободы проповеди, свободы пастырского окормления, государственная бюрократия вольно или невольно открывала дорогу западническому религиозному индифферентизму и неверию в виде гуманизма... Гуманизм вёл к воинствующему социализму и революционному движению...» (72). Наконец, истоки политики государственного атеизма священник выводит не из первых декретов Советской власти, а из мероприятий Временного правительства, которое «первым встало на путь конфессионального безразличия и даже атеизма, изменив тем самым многовековую политику Русского государства» (73).

В СССР вряд ли был осуществим синтез церковной и академической историографии. Но подобный синтез весьма плодотворно развивался в зарубежной русистике. Сегодня многие из достижений западных исследователей Церковного Предания православного Востока стали доступными для русского читателя. Заметным историографическим событием стал выход в свет труда учёного иезуита, иеромонаха о. Герхарда Подскальски «Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)». Книга, текст которой был специально исправлен и дополнен для русского перевода, является, по мнению отечественных византинистов, осуществивших её публикацию, «единственным в своём роде справочным пособием или руководством

по древнерусской литературе, обладающей и всей необходимой полнотой, и достаточной концептуальной зрелостью, обеспечившей ясность построения и поразительную ёмкость изложения огромного фактического материала». Издание работы Герхарда Подскальски с полным правом можно назвать примером научной и конфессиональной корректности. Редактор текста, отмечая в предисловии, что вероисповедные пристрастия автора отнюдь не переходят в предвзятость, что труды плеяды учёных иезуитов — современных исследователей православного Востока «в какой-то мере восполняют безмолвие православной науки, ликвидированной советской властью», всё же делает следующую существенную оговорку: «Но одновременно нельзя не подчеркнуть и то обстоятельство, что никакое, даже самое заинтересованное, отношение к чужой традиции не может заменить непосредственное приобщение к ней в церковной жизни, чем и объясняются наиболее существенные упущения автора. В частности, не всегда отдаётся должное православному пониманию внутреннего единства Св. Писания и святоотеческого Предания, и не вполне учитываются богослужебные традиции русской церкви (что и отмечается издателями в соответствующих местах и в меру их собственного знакомства с предметом)» (74). Текст снабжён обстоятельными «Комментариями издателей», которые не только вносят коррективы, отражающие развитие науки за годы, прошедшие с первого издания книги (в 1982 г.), но и дают читателю возможность познакомиться с православной трактовкой затрагиваемых в исследовании богословских вопросов. Например, утверждение Герхарда Подскальски о том, что «согласно современному словоупотреблению, термин “богодуховенный” применяется только к Св. Писанию», сопровождается следующим богословским комментарием: «Здесь автор затрагивает одно из наиболее фундаментальных расхождений между Западом и Востоком христианского мира, определившее многие специфические черты их христианского самосознания. В отличие от Запада, Восток сохранил исконное христианское представление об историческом континуитете Откровения, дарованного раз и навсегда, чрез Воплощение и Жертву, и непрерывно продолжающегося в Церкви, Телe Христовом и вместилище Св. Духа, действующего в ней постоянно, повсеместно и неистощимо, в силу чего не может быть и речи ни о каком “убывании” духоносности её подвижников, членов её тела, от апостольских времён к отеческим и далее до наших дней... Поэтому Церковное Предание, с одной стороны, так же богодуховенно, как Священное Писание, а с другой стороны, отнюдь не сводимо ни к какому замкнутому множеству святоотеческих сочинений “золотого века”. Накопление Предания продолжается, пока живёт Церковь, и оно представляет собой принципиально открытую структуру её жизнедеятельности как целостного живого организма...» (75). Следует подчеркнуть, что замечания православных историков к труду своего коллеги выдержаны в очень достойном тоне, носят исключительно уважительный характер; они как бы свидетельствуют о том, что книга Герхарда Подскальски выходит в стране, не утратившей связи с собственной духовной традицией.

Специфической областью православной исторической мысли является старообрядческая историография (76). Элементы исторического дискурса всегда присутствовали в работах защитников древнерусского «извода» православия — ведь обоснование правоты старообрядчества строилось по принципу отождествления «древности» («древнее благочестие», «древнее православие») и «истинности» в христианском предании. Соответственно, труды старообрядческих апологетов — от Андрея Денисова и Александра диакона до авторов XX в. Ф.Е. Мельникова и епископа Михаила — включали в себя не только пространные исторические экскурсы, но и настоящие оригинальные исследования (богословско-исторические, литургические, церковно-археологические и даже палеографические). В настоящее время российское старообрядчество переживает непростой период возрождения — со всеми присущими ему организационными трудностями и интеллектуальными сложностями. Сегодняшние «ревнители древлего благочестия», так же как и интеллектуалы-староверы начала прошедшего столетия, испытывают необходимость в построении системы ориентаций в континууме российской истории. Но если старообрядцы русского «серебряного века» в своём историческом творчестве дерзновенно обращались к таким темам, как судьбы вселенской Церкви, соотношение традиции и модернизации в христианской перспективе, историческая миссия России в контексте православной эсхатологии и эсхатологии (учение о «Третьем Риме» и т. д.), то старообрядцы — наши современники в большей степени сосредотачивают свои усилия на собирании и сбережении уцелевших элементов своей традиции и внутриконфессиональной саморефлексии. В начале 1990-х гг. были переизданы некоторые яркие образцы старообрядческой апологетической публицистики (см., напр.: В. Рябушинский. «Старообрядчество и русское религиозное чувство». Издательство «Мосты». М.—Иерусалим, 1994). Старообрядцами переиздаются также работы русских историков — исследователей раскола (разумеется, сочувственно настроенных по отношению к «древнему благочестию»). Крупным историографическим фактом стал выход в свет серьёзной и в то же время увлекательно написанной работы С.А. Зеньковского «Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. (Издательство «Церковь». М., 1995). Одним из первых опытов осмысления изнутри традиции и исторического пути старообрядчества является компендиум, озаглавленный «Старообрядчество. Лица, предметы, события, символы. Опыт энциклопедического словаря» (составители С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. Издательство «Церковь». М., 1996). Свой вклад в историко-идеологическое обеспечение русского старообрядчества внесла и книга молодого автора (в 1995–1998 гг. занявшего должность заведующего историческим архивом и книгохранилищем Старообрядческой Митрополии Московской и всея Руси) А.В. Панкратова «От востока направо. История, культура, современные вопросы старообрядчества» (М., 2000). Историко-богословские, искусствоведческие и публицистические статьи, собранные в книге, отличает глубоко осмысленный и творческий подход к наследию русского староверия. Хотелось бы верить, что «обретение

голоса» русским старообрядчеством будет проходить в духе именно этого подхода — сочетающего чёткость, твёрдость мировоззрения и многогранность интересов; отрицающего всякий формализм и «этнографизм». Тогда гуманитарная общественность России может надеяться на новый, содержательный диалог с одной из наиболее традиционалистски ориентированных конфессий.

Общий анализ развития исторического дискурса в современной России показывает, что сложившееся положение (при котором идейная ориентация исследователя играет настолько определяющую роль, что в ряде случаев становится возможным говорить о «конфессионализме» историографических проектов) не верно было бы приводить в качестве примера внеучебной ангажированности или человеческой пристрастности. «Завышенный градус» общих оценок — позитивных или негативных — роли религии (прежде всего православия) в историческом бытии России объясняется не только общей социокультурной ситуацией в стране, всё более явно ориентирующей на поиск путей выхода из острейшего ценностного кризиса конца XX в., но и «внутренним» климатом на интеллектуальном пространстве исторической науки. Сегодня у исследователя остаётся не так много возможностей выдержать отстранённо-агностический тон, или отделаться стандартными, «ритуальными» формулировками — религиозная составляющая так или иначе становится частью исторического сознания и властно требует от служителя музы Клио самоопределения по отношению к себе. Для ряда светских авторов конфессиональность является попыткой преодолеть отчуждение, «нащупать» новый канал коммуникации в условиях идейного кризиса. Присутствие «вероисповедного» измерения ставит перед историком множество этических и методологических проблем (некоторые из них я попытался обрисовать выше) — но одновременно создаёт возможность более глубокой рефлексии и, соответственно, более глубокого проникновения в предмет изучения. Практика показывает: академическая корректность и вероисповедная определённость совместимы. Рискну предположить даже, что именно сочетание этих начал в историко-культурологических исследованиях и способно максимально приблизить нас к тому идеалу, который был выражен религиоведом (!) Спинозой в знаменитой формуле: **«Не плакать, не смеяться, но понимать».**

В целом можно заключить также, что конфессиональная составляющая исторического дискурса в России играет более значимую роль, чем в западных («христианских») странах, что сближает современную российскую историографию с историографией стран, относящихся к «восточным» цивилизационным мирам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Христианство. Энциклопедический словарь. Т.1–3. БРЭ. — М., 1993–1995. История Русской Церкви. Кн. I–VII — *Макарий (Булгаков)*, митрополит Московский и Коломенский; Кн. VIII (1)–VIII (2) — *Смолич И.К.*; кн. IX — прот. *Владислав Цыпин*. Председатель Научно-редакционного совета — *Арсений*, архиепископ Истринский. Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. — М., 1994–1997. Православная энциклопедия. Под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». (Издание продолжается, первый том «Русская Православная Церковь» вышел в 2000 г.).
2. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное состояние) /Отв. ред. Овсиенко Ф.Г., Одинцов М.И., Трофимчук Н.А. (РАГС при Президенте РФ, Фонд национально-культурного возрождения народов России) — М., 1996. С.14.
3. Там же. С.3.
4. Там же. С.17.
5. Православие: pro et contra. Осмысление роли Православия в судьбе России со стороны деятелей русской культуры и Церкви /Сост. В.Ф. Федоров. Издательство Русского христианского гуманитарного института. — СПб, 2001. С.5.
6. Там же. С.5.
7. Там же. С.7.
8. Великие духовные пастыри России /Под редакцией проф. А.Ф. Киселёва. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. — М., 1999. С.427–436.
9. Там же. С.183–208.
10. Там же. С.207.
11. Там же. С.199.
12. Там же. С.196–197.
13. Там же. С.194–195.
14. Там же. С.208.
15. Там же. С.110–131.
16. Там же. С.131.
17. Там же. С.3.
18. *Петрухин В.Я.* Древняя Русь: Народ. Князья. Религия //Из истории русской культуры. Т.1 (Древняя Русь). Языки русской культуры. — М., 2000. С.237.
19. Там же. С.243.
20. Там же. С.257.
21. Там же. С.273.
22. Там же. С.274.
23. Там же. С.317, 321.
24. Там же. С.314–315.
25. Там же. С.295.
26. Там же. С.340.
27. Там же. С.341.
28. Там же. С.355.
29. См: *Петрухин В.Я.* Указ. соч. С.288.
30. *Горский А.А.* «Всего еси исполнена земля русская...». Личность и ментальность русского средневековья. Очерки. Языки славянской культуры. — М., 2001. С.26.
31. Там же. С.28.
32. Там же. С.30.
33. *Петрухин В.Я.* Указ. соч. С.269.
34. *Назаренко А.В.* Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. Языки русской культуры. — М., 2001. С.434.
35. *Фирсов С.Л.* Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). Круглый стол по религиозному образованию и диаконии. — Б. м., 2002. С.24, 26.
36. Там же. С.6.
37. *Шкаровский М.В.* Нацистская Германия и Православная Церковь. (Нацистская политика в отношении Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР.) /Материалы по истории Церкви. Кн.32. Издательство Крутицкого Патриаршего подворья. Общество любителей церковной истории. — М., 2002. С.502.
38. Там же. С.503–504.
39. Там же. С.506.

40. Там же. С.507.
41. *Чумаченко Т.А.* Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. — М.: АИРО-XX, 1999. С.7.
42. Там же. С.8.
43. *Чумаченко Т.А.* Указ. соч. С.16.
44. Там же. С.230.
45. Там же. С.231.
46. Там же. С.233–234.
47. *Махнеева О.А.* Религия как связующее начало в жизни российского общества //Русский вопрос: история и современность. Сборник научных трудов. — Омск, 2000. С.256.
48. Там же. С.257.
49. *Махнач В.Л.* Очерки православной традиции. — М.: Издательство «Хризостом», 2000. С.7.
50. Там же. С.44.
51. Там же. С.19.
52. Там же. С.162.
53. Там же. С.92.
54. Там же. С.93, 99.
55. Там же. С.102.
56. Там же. С.26.
57. Там же. С.322.
58. Там же. С.171.
59. *Андреева Л.А.* Религия и власть в России. Религиозные и квазирелигиозные доктрины как способ легитимизации политической власти в России. — М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2001. С.12–13 и сл.
60. Там же. С.249–250.
61. Там же. С.252.
62. Там же. С.252.
63. *Полосин В.А.* Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии. Издание второе, дополненное и переработанное. — М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1999. С.423–426, 430.
64. Там же. С.427–428.
65. В преддверии канонизации семьи Николая II издавалась как литература, посвящённая последнему царствованию, так и документы той эпохи. См., напр.: Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи. — М., 1996.
66. *Свяц, Алексей Николин.* Церковь и государство (история правовых отношений). Издание Сретенского монастыря. — М., 1997. С.50, 52.
67. Там же. С.52–53.
68. Там же. С.78.
69. Там же. С.103.
70. Там же. С.75.
71. Там же. С.104.
72. Там же. С.139.
73. Там же. С.147.
74. *Акентьев К.К.* От издателя //Герхард Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). Издание второе, исправленное и переработанное для русского перевода. Перевод А.В. Назаренко под редакцией К.К. Акентьева. — СПб: Византинороссика, 1996. С.XVII.
75. Комментарии издателей //Герхард Подскальски. Указ. соч. С.515–516.
76. Речь в данном случае идёт не об академической историографии старообрядчества, представленной светскими («внешними» с точки зрения самих старообрядцев) исследователями — пусть даже с искренней симпатией относящихся к изучаемой ими традиции — а о работах, происходящих из глубины мира русских староверов. Среди коллективных трудов, в создании которых проявилось сотрудничество и сотворчество старообрядцев с профессиональными учёными, я бы отметил сборники «Мир старообрядчества», издаваемые Московским университетом, альманахи Музея истории и культуры старообрядчества и в особенности — сборник научных статей «Старообрядчество в России (XVII–XX вв.)», ответственный редактор и составитель — Е.М. Юхименко (Языки русской культуры. — М., 1999).

IV

Идеологические системы

ТЕМА КОНСЕРВАТИЗМА В НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Константин СУЛИМОВ

Тема консерватизма, необычайно широкая и разнообразная как тематически и содержательно, так и по способам, областям и целям использования, центрирована, собственно, на понятии «консерватизм». Когда используют само слово, даже мельком и походя, более или менее осознанно опираются на то или иное его толкование. В первом приближении может даже показаться, что вариативность этих толкований столь значительна, что они просто несовместимы между собой и речь идёт о принципиально разных вещах. Или может сложиться впечатление о том, что пространство дискурса о консерватизме простирается от чего-то подобного наивности Алисы из полного аллюзий разговора с Шалтаем-Болтаем: «разве имя должно что-то значить?», до сугубого волюнтаризма её собеседника: «когда я беру слово, оно означает то, что я хочу». Ниже я постараюсь показать, что вопрос — в характере плюральности этого пространства, которое удивительным образом сочетает в себе незыблемые для всех основания с почти абсолютной свободой в оперировании понятиями.

Но Алиса, как помнится, была девочкой сметливой и в полном соответствии позитивистскому духу своего века возразила «волюнтаристу»: «вопрос в том, подчинится ли оно вам» — прочертив ещё одну смысловую линию в современность. Дело, конечно, не в том, «подчиняется» ли слово «консерватизм» тем, кто его использует. Иначе говоря, соответствует ли употребление этого понятия его «истинному» значению? — именно это составляет основную заботу авторов значительного числа публикаций по данной тематике, что также станет предметом анализа. Главной методологической посылкой для меня является вопрос (и поиск ответа на него — главной целью), противопоставленный Шалтаем алисиному сомнению: «кто из нас здесь хозяин»? Этот вопрос позволяет связать научное и политическое измерение консерватизма не только тематически и номинально, но содержательно и по сути. От ответа на вопрос, кто является последней решающей, т. е. политической, инстанцией, зависит общая оценка возможного исхода или направления научной дискуссии о консерватизме и характер политического противостояния под его флагом.

Исходная «матрица»

Общим местом стала фиксация того обстоятельства, что моментом настоящего прорыва в изучении феномена консерватизма в отечественной науке стал рубеж конца 1980-х — начала 1990-х гг. Связывают это, естественно, с отказом от идеологической предвзятости и вытекающим из неё негативизмом оценок. Во многих работах одной из обязательных процедур, вводящих в тему, стало цитирование текстов (прежде всего из словарей) советских времён, в которых консерватизм оценивался как «приверженность к старому строю, старым, отжившим порядкам, отстаивание и стремление восстановить их», а также вражду «ко всему новому, передовому в политической жизни, науке, литературе и т. д.» (1).

При этом одни полагают, что эти оценки есть совершеннейший анахронизм и «не оспариваются разве что в силу их очевидной непопулярности» (2). Другие отталкиваются от них при построении и обосновании собственного позитивного видения консерватизма, но об этом позже. Здесь необходимо лишь отметить, что весьма характерное представление о том, что «эмоционально-негативная трактовка» термина «консерватизм» «преобладала в научно-исследовательской и публицистической литературе» «особенно в нашей стране» (3), не совсем верно. С ним, очевидно, не согласился бы, например, британский консерватор О'Салливен, который в своей книге 1976 г. с горечью писал о том, что отождествление консерватизма с инстинктивной защитой старого столь общепринято, что проникло даже в «Оксфордский словарь», который определяет консерватизм как «установку на сохранение существующих институтов», «а это равно приложимо и к пещерному человеку, довольному своим молотком, и к дикарю, слепо следующему обычаям племени...» (4). Собственно, даже сам этот своеобразный провинциализм (или претензия на исключительность), нередко распространяемый на оценку отечественной ситуации вокруг консерватизма в целом, не свидетельствует об уникальности отечественной историографии, например, не сильно отличает её от немецкой.

Возвращаясь к рубежу 1980–1990-х гг., необходимо отметить, что его выделение в качестве момента прорыва именно в изучении феномена консерватизма в отечественной науке все же во многом условно. Речь, скорее, можно вести о появлении условий для расширения и углубления исследований, что выразилось и в снятии идеологических барьеров, и в некотором всплеске интереса со стороны учёных, публицистов и отчасти политиков. И проявится это уже во второй половине 1990-х гг. как в увеличении публикаций, в том числе, монографических, так и в появлении настоящей политической моды на консерватизм.

Кроме того, сюжеты, связанные с консервативной политикой, консервативной мыслью, консервативными партиями сами по себе не были табу в советской историографии. Нелицеприятная оценка вполне могла сочетаться с качественным анализом и изложением фактического материала. Правда, вместе с этим появлялись работы под, скажем, неоднозначными названиями, к примеру: «консервативные тенденции в современной буржуазной педагогике» (5).

Изучение консерватизма как целостного явления также началось ещё в советское время, что было во многом связано с интересом к захлестнувшей Запад в 1980-е гг. «консервативной волне». В книгах и статьях А. Ю. Мельвиля, К. С. Гаджиева, А. А. Галкина, П. Ю. Рахшмира, А. С. Панарина, А. А. Френкина и др. рассматривались природа и типология консерватизма, этапы его эволюции и место, занимаемое в современном мире (6). Работы этих авторов стали своеобразным мостом от отечественной науки к западной историографии консерватизма. Их собственные концепции, подходы и понимание формировались в структурной и тематической корреляции с зарубежными результатами в постижении и осмыслении консерватизма. При этом в отечественный научный оборот были введены основные проблемные вопросы консервативного дискурса: о природе явления и содержании понятия, о соотношении консервативных идеологии, мышления и политики, о ценностном ядре консерватизма и времени его появления как отчётливого политико-идеологического феномена, о его соотношении с другими политико-идеологическими силами и движениями. Большое внимание уделялось проблеме типологии консерватизма, как в горизонтальном — конкретно-ситуационном, так и в вертикальном — историческом измерениях. Необходимо отметить, что основным объектом анализа являлся западный консерватизм в его англосаксонском и европейско-континентальном проявлениях. Тем не менее, научные результаты 1980-х гг. сохраняют своё значение и поныне, так как именно они во многом определили направления и подходы исследований в 1990-е гг.

Тем более, что многие из пионеров продолжают свою научную деятельность и сегодня. Появляются новые работы А. А. Галкина, А. А. Френкина, П. Ю. Рахшмира (7). Под руководством последнего при Пермском государственном университете был создан Центр исследований по консерватизму. Результатами его работы стали многочисленные публикации, большинство из которых — итоговые сборники проведенных научных конференций (8). В 1990-е гг. появляется и становится на ноги новое поколение исследователей западного консерватизма. В частности, в том же Пермском университете были подготовлены диссертации М. И. Дегтяревой, А. А. Борисовым, Г. И. Мусихиным, Ю. А. Крашенинниковой, О. Б. Подвинцевым и др (9). Сегодня они весьма активны на научном поприще (10), как и их коллеги, — исследователи зарубежного консерватизма (11). Отдельная, очень значимая и важная тема — это появление значительного числа переводов зарубежных авторов, которых с той или иной степенью однозначности относят к консервативному лагерю (12).

Восстановление «исторической справедливости»

Если о начале 1990-х гг. и можно говорить как о моменте серьёзного прорыва в изучении консерватизма, то самое прямое отношение это утверждение имеет к «открытию» феномена русского консерватизма или консерватизма в России. Рост научного и публицистического интереса в этом направлении намного превосходил аналогичный процесс в отношении западного консерватизма. При этом, как и в случае с последним, было бы неверно говорить о полном отсутствии в советское время исследований по тем или иным проблемам, которые могут быть помещены в консервативный контекст (13).

Но перемены действительно были очень серьёзными. Объяснения тому приводятся самые разные, но в целом их можно разделить на два основных блока: политико-идеологические и собственно научные. Первые сводятся к обоснованию необходимости поиска новых идей, опробованных или хорошо продуманных рецептов развития страны, тем более способных помочь в идеологическом противостоянии с новыми западниками на новом витке обострения в России модернизационных проблем (14). В общем, «сегодня поиск твёрдой почвы для выработки политического сознания заставляет нас обращаться к старым книгам, возвращать читателям забытые имена русских консервативных писателей» (15).

Есть работы, авторам которых основная задача видится не в идеологическом и не в научном, а в просветительском ключе (16). Правда, просвещение само по себе, а тем более просвещение ради просвещения, как правило, трактуется весьма определённо — с идеологической точки зрения.

Объяснения состоявшегося прорыва к исследованию консерватизма в России с точки зрения требований научного поиска и прочих внутринаучных соображений обращают внимание на необходимость ликвидации «ощутимого дисбаланса» в сторону изучения истории «левой» и на то, что «изыскания в данной области стали не менее респектабельными, чем труды по истории социалистических или либеральных течений» (17). Действительно, рассмотрение российской истории в «консервативном» контексте, прежде всего, открывало новую и весьма обширную сферу приложения сил. Особенно, если учитывать падение интереса и престижности исследований по истории «левой». И даже те, кто совсем недавно занимался исключительно последней, легко меняли «ориентацию».

Отчётливо просматриваются несколько основных направлений, по которым развивалась историография о консерватизме в России в последнее десятилетие XX в. Прежде всего, «слом стены умолчания» вокруг «забытых мыслителей» (18). Как отмечает А. В. Репников, «их книги переиздаются многотысячными тиражами и по-прежнему пользуются повышенным спросом» (19). Впрочем, тираж он не указывает, но следующая информация действительно говорит о многом. Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» была переиз-

дана дважды, дважды же вышел труд Л. А. Тихомирова «Монархическая государственность», трижды переизданы статьи К. П. Победоносцева из «Московского сборника», и, наконец, как минимум шесть раз переиздавали фундаментальную работу К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство» (20)! «Консервативному мышлению» Рассела Кёрка — естественно, лишь на русском языке — такое и «не снилось». И это только самые известные имена.

Кроме того, выходит масса работ, посвящённых как вышепоименованным, так и многим, другим (21). 1990-е гг. характеризуются настоящим бумом диссертационных работ, посвящённых самым разным сторонам существования консерватизма в России (22). Публикуются документальные сборники и монографические работы по проблематике правых партий и организаций в России (23). Предпринимаются попытки исследовать историю русской консервативной эмиграции (24). Уделяется внимание проблематике либерального консерватизма (25). Выходят общетеоретические работы, в которых предпринимаются попытки осознать феномен консерватизма в России как целостного явления (26).

«Очевидность» консерватизма

Описание развертывания тематики консерватизма в отечественном научном дискурсе в последнее десятилетие будет неполным, если не учесть тех исследований и публикаций, форумов и научных столов, которые были посвящены не отдельным национальным разновидностям консерватизма, но консерватизму как целостному явлению, игравшему и, на взгляд многих, продолжающему играть немаловажную роль в жизни человеческого общества (27). Рассмотрение консерватизма в политико-философском, историософском, метатеоретическом и метаисторическом ключе стало весьма популярным. Именно на этом уровне задаются теоретические рамки и методологические подходы, ставятся основные вопросы, подлежащие раскрытию в конкретно-исторических, социологических, психологических и прочих исследованиях. Именно этот уровень является главной полемической площадкой, где сталкиваются мнения и обнаруживается несходство позиций. На него же поднимаются с эмпирического уровня, когда определяют правомерность именованного или иных мыслителей, политиков, действий и прочего в качестве консервативных. Потому как только здесь можно найти главного референта консерватизма как явления — содержание его истинного понятия.

Один из самых беспроигрышных путей поиска определения понятия «консерватизм» демонстрирует В. Н. Гарбузов, когда сначала он объявляет, что консерваторами в политике являлись О. Бисмарк и Б. Дизраэли, К. Меттерних и У. Черчилль, Ш. де Голль и Л. Эрхард, В. Жискара де Эстен, Р. Рейган и М. Тэтчер, и лишь после ставит вопрос «что же такое “консерватизм”?» (28). Очевидно, что ответ едва ли разойдется с посылкой. Впрочем,

другого пути и не существует. Мы вынуждены ориентироваться на *очевидные* проявления консерватизма, которые, возможно, не всегда были столь очевидными или, по крайней мере, не для всех. Касательно, например, князя Отто фон Бисмарка, можно вслед за автором одной из работ вспомнить, что «безнадёжный реакционер» (как его воспринимали немецкие либералы) после 1871 г. превратился для них же в «персонифицированное явление мирового духа», они усмотрели «своего рода теофанию» в фигуре «железного канцлера» (29).

Сложность улавливания «очевидностей» чаще всего объясняют с помощью ссылок на сложность, многоплановость и противоречивость самого явления. Предлагают отказаться от неоправданно широкой трактовки консерватизма, «при которой одним словом характеризуются различные феномены» (30). Первый феномен — функциональный, т. е. консерватизмом называется функция накопления и передачи информации, присущая любой системе. Второй феномен касается реализации этой функции в поведенческой сфере. Консерватизм как ценностная и идеологическая система, по сути, представляет собой рефлексию на тему двух первых феноменов (31). На мой взгляд, А. А. Галкину в результате дифференциации трёх данных феноменов удалось зафиксировать некий ориентир — не определение и не понимание консерватизма, — а именно ориентир, с которым вольно или не вольно соотносятся при употреблении слова «консерватизм» в общественно-политическом контексте.

И всё же, содержательное наполнение этого ориентира может быть различным — трактовка А. А. Галкиным общественной функции консерватизма являет собой лишь один из вариантов. Собственно, сам функциональный подход к этому феномену может быть опротестован, что постоянно и совершается. Порой вообще возникает сомнение в том, что есть единая для всех носителей русского языка семантическая матрица слова «консерватизм» или что её можно чётко зафиксировать, — настолько велика смысловая дифференциация этого понятия в процессе его конкретизации, то есть различения того, что считают *консервативным от неконсервативного*.

Пожалуй, самое значимое для отечественной историографии поле дифференциации смысла центрируется полемикой вокруг хранительно-охранительного импульса консерватизма. Одним из полемических полюсов является абсолютизация этого импульса, который воспринимается, в данном случае, не только как смыслообразующее начало консерватизма, но покрывает весь его интеллектуальный, ценностный, конкретно-политический горизонт. И тогда под консерватизмом понимают нечто сугубо охранительное, направленное на «замораживание» *status quo* независимо от складывающейся обстановки и велений времени, что открывает прямую дорогу к сведению консерватизма к историческому ретроградству и политической реакции. Однозначно сформулировать противостоящую подобному подходу позицию едва ли возможно в силу того, что она сама крайне дифференцирована в историографии. Её единство фиксируется, прежде всего, негативным образом, через неприятие сугубо охранительной трактовки консерватизма.

«Хранители» vs. «охранители»

Полемическое напряжение между этими полюсами в отчётливом виде возникает в начале 1990-х гг., сохраняясь и по сей день. Причём в позициях обеих сторон перекрещиваются собственно научные аргументы и мировоззренческие установки и мотивации. Так, к пониманию консерватизма в сугубо охранительном ключе нередко приводит поиск большей понятийной и смысловой определённости. Для её достижения часто используются различные варианты системно-функционального подхода (32). Степень взыскуемой определённости может быть столь высока, что исследователи видят необходимость в выработке «формулы консерватизма»: $\text{conservatism} = F [P, X(t)]$ (33) (И. Б. Сокольская), или в однозначном определении социальной базы консерватизма, вплоть до пересчёта «по головам», например: «те 107 тыс. душевладельцев, которые жили в эпоху крестьянской реформы» (34) (В. Я. Гросул). Очевидно, последний автор полагает: исчезновение этой социальной базы лишает существование консерватизма всякого смысла или, точнее, он вырождается, как сегодня в России, в совершенно реакционную попытку «законсервировать существующую разруху» (35).

Конечно, не существует безусловной корреляции между пониманием консерватизма исключительно в качестве защитника *status quo* и его оценкой как реакционного явления в негативной коннотации, тем более что нередко представление о том, что «реакция бывает целительна в иные моменты истории» (36); но прогрессистская установка сознания некоторых исследователей, видимо, всё же оказывает влияние на их восприятие консерватизма. Или, как выразился Д. М. Володихин, «беспристрастному анализу русского консерватизма... в значительной степени мешает консерватизм мышления самого научного сообщества» (37). Автор цитаты, поучаствовав, кстати, в умножении смыслов слова «консерватизм», имел в виду не пристрастную симпатию единоверцев, а инерцию мышления, до сих пор несущего в себе негативизм оценок советского времени.

Пожалуй, об этом же, лишь смещая идеологические акценты, ещё в 1992 г. писал Б. Г. Капустин, разбирая полемику А. Агеева и А. Немзера в «Независимой газете» по поводу консервативности-либеральности А. Солженицына. При диаметральной противоположности оценок, оба разделяли один «предрассудок нашей несоциалистической интеллигенции, что либерализм — это всё “хорошее” (современное, демократическое, цивилизованное), а нелиберализм соответственно — “плохое”» (38). Для самого Б. Г. Капустина А. Солженицын — безусловный консерватор и идейно, и политически. Он даже уточняет — «национал-консерватор» (39).

Против представления о консерватизме как механистической защите *status quo* и, тем более, как политико-идеологической реакции на рубеже 1980–1990-х гг. выступали многие, и с разных позиций. Нередко эти выступления

не отличались ни научной, ни политической внятностью. Тем не менее, некоторые из них представляют интерес для анализа, так как демонстрируют, пусть и в утрированном виде, вполне действенные сегодня подходы к пониманию консерватизма и способ обращения с категориально-понятийным аппаратом.

К примеру, Консервативная партия Льва Убожко ещё в конце 1980-х гг. была, «прогрессистской» партией, безусловно порывавшей с перестроечным *status quo*. Это обеспечивалось эклектичным использованием под единой вывеской различных по идеологическому происхождению положений, надёрганных, что называется, «на злобу дня» из западных источников. В результате рядом оказывались утверждения о том, что «в природе равенства нет и быть не может» и «исконное право человека — это право на сомнение, на несогласие с большинством, на заблуждение и на отстаивание своей концепции» (40). Высказывались требования «соблюдать приоритет прав личности по отношению к интересам государства» и, одновременно, деидеологизации, «т. е. признания права на любую идеологию, идею и мнение», провозглашалось, что «демократия для нас не лозунг и не пустой звук, а норма и сущность государственного устройства...», а также необходимость обретения «не лево или правозкстремистского», но третьего пути (41). Пожалуй, более других диссонировали с «традиционным» набором консервативных ценностей требования отказа от имперских притязаний и покаяние по поводу прошлых имперских «прегрешений», а также «ликвидация всех вооруженных сил на земле» (42). Но всё это само по себе совсем не делает эту программу неконсервативной. Единственным «убойным» аргументом «против» является то, что эту партию мало кто воспринимает всерьёз. А характерный стиль концептуального мышления, который заключается в совершеннейшем пренебрежении любыми конвенциональными границами, когда, например, определение консерватизма относительно либерализма достигается посредством включения второго в первый, свойственен сегодня многим научным исследованиям. Поэтому «образцовое» понимание консерватизма, который есть «политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и поддержание исторически сформировавшихся в России форм государственности и общественной жизни, в первую очередь традиционных морально-правовых её оснований, воплощённых в российской государственности, нации, религии, браке, семье, собственности», сочетается с представлениями о том, что «Консервативное движение России» — либеральное движение, поскольку оно отстаивает основные права и свободы человека, «КДР» — социальное движение, потому что защищает слабых и «КДР» — за справедливое общественное устройство (43).

Иной, куда более внятный вариант консерватизма продемонстрировал В. И. Алкснис в интервью, опубликованном в начале 1993 г. в журнале «Кентавр» (44). Примечательно, что для его собеседника — заместителя главного редактора журнала А. В. Рябова — нет сомнений относительно консервативности члена Политсовета Фронта национального спасения, «одного из наибо-

лее известных деятелей оппозиции» — «непримиримой» и «право-левой», идеологический спектр которой простирается «от ортодоксально-коммунистических, неоккоммунистических до национал-патриотических и советско-государственных» (45). Для самого Алксниса это тоже не проблема. По его словам, он не стыдится того, что является консерватором, и вообще: «“консерватор” — не совсем плохое понятие» (46) (в этих формулировках также можно уловить инерцию негативного отношения к самому слову, о которой говорилось выше). Он легко апеллирует к фигурам М. Тэтчер и Р. Рейгана как политическим деятелям консервативного плана, проводивших успешные реформы в своих странах. Концептуальный подход Алксниса к консерватизму состоит в разведении политической позиции и идеологических воззрений: «у консерваторов могут быть самые разные идеологические воззрения — в зависимости от исторических условий и традиций различных государств» (47). Единственное, что объединяет сторонников политического консерватизма, это прагматизм, понимаемый им как осторожное отношение к любым переменам, реформам. Этот прагматизм, конечно, также оказывается окрашенным в идеологические цвета, а именно — «государственности» и «здравого смысла». Принцип взаимоотношения между ними видится в том, что политика «здравого смысла» реализуется в «государственности» путём её поддержания и укрепления. Но оппозиционная диспозиция Алксниса существенно радикализует его прагматизм. Нежелание иметь дело с существующим положением вещей настолько велико, что он даже категорически против прихода оппозиции к власти в данный момент — начало 1993 г. Страна должна испить чашу «шокотерапии» до дна и только тогда люди «сами всё поймут и помогут в восстановлении сильного государства» (48). Таким образом, перед нами одна из вариаций на тему палингенетического мифа (неизбежное великое возрождение после не менее впечатляющего краха), который часто используют в подходах к анализу крайне правых, экстремистских вариантов консерватизма. Но этот миф отражает лишь структуру политического мышления, а не его содержание. А оно, судя по всему, может быть конкретизировано лишь в процессе политической реализации. Потому проблема разведения крайне правых и крайне левых, национал-большевизма, консерватизма, и даже христианского эсхатологизма остаётся открытой.

Решению, в том числе, и этого вопроса, посвящена целая серия публикаций активного участника дискуссии о консерватизме, развернувшейся в первой половине 1990-х гг., Т.А. Филипповой (49). В более широком плане, в них представлено видение консерватизма, пребывающего в подвижном поле напряжения между полюсами реакции и радикализма. Задача тем более сложная, что исходное понимание Т.А. Филипповой консерватизма центрировано на отношении к *status quo*, с одной стороны, и акцентуации его динамического начала, с другой. Задача решается двояким образом.

Ключевым элементом в соотношении со *status quo* является не его пассивное, конформное принятие или защита во что бы то ни стало, а морально-политический выбор, заключающийся в решении принять существующее

положение вещей как данность, относительно которой только и может формироваться консервативная политика. Но этот собственно политический принцип прагматического предпочтения пусть суровой, но реальности перед высоколобыми абстракциями и отвлеченными принципами оказывается недостаточен и с концептуальной, и с политической точек зрения. Любой прагматизм, не сводимый к вегетативной реакции на внешние раздражители, руководствуется осознанием реальности, в процессе которого сам прагматизм (антитеоретичность, «мудрость без рефлексии» и прочие святыни) должен быть осмыслен в качестве ценности. Только так прагматическая политика консерватизма получает ориентиры, а значит становится возможной. «Его тактика и стратегия зависят от природы противника и не связаны системой постулатов» (50) — но в противнике нужно увидеть противника.

Филиппова не стесняется подчеркнуть парадоксальность консерватизма. На этом фоне логичным выглядит представление о наличии разных консерватизмов. В поле консерватизма как целостного явления выделяются консерватор-«охранитель», который «будет защищать скорее всего определённый “общественный порядок”, воплощённый в государстве, режиме, строе, и в эпохи потрясений неизбежно “сползёт” в реакцию, каковая суть выживание старого *за счёт* нового», и консерватор-«хранитель» — он «увидит объект защиты в самом человеческом обществе, которое своевременной реформой нужно спасать от революционных крайностей» (51). В свою очередь, именно «революционная крайность» есть предел творческого сохранения человеческого общежития.

Сквозь призму своего видения консерватизма Филиппова анализирует российскую историю, находя, что «по сути своей весь XIX в. в России стал колоссальным полем действия консервативной идеи», которая состояла в попытке решения «двуединой задачи адаптировать новое и стабилизировать старое» (52). Своеобразие её подхода выразилось в особенном истолковании последствий известной «сдвинутости» понятий в России относительно европейских образцов, когда умеренный на западным стандартам консерватор виделся здесь «отчаянным либералом», а либерал — «невозможным радикалом». Эта «сдвинутость» препятствовала внятной дифференциации политического и идеологического полей в России и, одновременно сама порождалась её отсутствием. Можно сказать, обращаясь к популярной теме консервативно-либерального синтеза, что таковой существовал на отечественной почве в XIX в.: консерватор защищал «значимость конечной цели — охрану стабильности общества», а либерал определял и обосновывал «пути и способы продвижения к этой цели» (53). Но синтез оказался нежизнеспособен и малопродуктивен, потому что внутри него отсутствовала та политическая динамика, каковой только и порождаются и воспроизводятся его составные части.

Пожалуй, более распространенная позиция состоит в том, чтобы эту дифференциацию всё же обнаруживать, беря в качестве примера европейские образцы. Значит, необходимо вновь и вновь обнаруживать противостояние и борьбу либерализма и консерватизма на уровнях идей и конкретной поли-

тики. А это делать тем легче, чем более охранительным представляется консерватизм. Но как не иссякают определения консерватизма типа: «идейное и политическое течение охранительного характера, направленное на принципиальное сохранение существующих социальных отношений и государственного устройства» (54), так не иссякают и несогласные с ними. Например, А. М. Руткевич споря с позицией, представленной в книге «Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика», для которой вышеприведённое определение является программным, утверждает, что настоящими русскими консерваторами были как раз те, кто пытался проводить реформы сверху, «по Бисмарку» — Екатерина II, Сперанский, Александра I и Александра II (55). Т. А. Алексеева говорит о необходимости разведения консерватизма и традиционализма. Последний — это архаизация и регресс (56). А В. Л. Цымбурский обосновывает «консервативное реформаторство» стремлением изменить второстепенное, чтобы сохранить главное (57). Как же сочетается способность к реформе с охранительной функцией? А. Ф. Филиппов полагает, что «именно консерватор, для того чтобы оставаться консерватором, должен как можно чаще меняться в отличие от прогрессиста, у которого есть одна-единственная цель и он идёт к ней, круша все на свете» (58). Таким образом, речь идёт о наличии динамического начала в самой природе консерватизма и консерватора. Кроме того, традиций, которые могут быть сохранены, много и иногда из них приходится выбирать (59).

Экстремизм vs. радикализм

Проблема, однако, во всегда сохраняющейся возможности того, что внутреннее динамическое начало в сочетании с произвольным выбором охраняемых традиций может привести к стремлению создать традицию. И тогда исследователи, например, поднимают на щит ценность опыта «консервативной революции» в Испании: «реставрация не сводится к защите всего старого, консервативного и архаичного, она есть постоянное творчество в рамках традиции, требующее волевых усилий и даже героизма» (60). Продолжая движение в рамках этой логики, можно прийти к осознанию того, что Реставрация — тоже Революция, КонтрРеволюция духа, вечно обращенного к Истокам, к Небу, к Абсолюту (61). Таковую позицию обычно легко дисквалифицируют по двум направлениям — указаниями на её ненаучность и праворадикальность. Но сам автор полагает, что «идеи испанских традиционалистов перекликаются, а в главном — полностью совпадают, с мыслями Ф. Достоевского, К. Леонтьева, И. Ильина» (62).

С этим можно спорить, но фраза «революционеры от консерватизма», возможно, повлиявшая на возникновение самого выражения «консервативная революция», действительно написана Фёдором Михайловичем. Ему же принадлежит следующая цитата: «Одним словом, мы — революционеры, так

сказать, по собственной какой-то необходимости, так сказать, даже консерватизма» (63). И автор вполне респектабельной работы, отталкиваясь от мысли Достоевского, строит следующую теоретическую конструкцию: «Именно такими консерваторами — отрицателями настоящего, буржуазного настоящего, “по необходимости” — стали и А. Герцен в 40-е годы, и М. Бакунин и В. Нечаев — в 50-е годы XIX века, открыто призывавшие не только к разрушению сложившейся в этот период государственной машины, но и, в силу “революционной необходимости” — к полной террористическо-анархической революции, к бунту как форме своеобразного неоконсервативного традиционализма, поскольку сам бунт, восстание воспринимались ими как разрушение несправедливого общественного устройства и возвращение к некой первичной примордиальной реальности» (64). В линию того же «неоконсерватизма» А. Н. Мочкин помещает Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, М. М. Тареева, В. В. Розанова, Вяч. Иванова, Л. Шестова (65).

Различение собственно консерватизма и правого радикализма (этимологически часто фиксируемое в противопоставлении экстремизма как крайней формы чего-либо, здесь, консерватизма — радикализму, от латинского «коренной», т. е. имеющему самостоятельное измерение своего существования), безусловно, одна из самых сложных проблем в исследованиях по консерватизму. Автор процитированной выше книги, решает её, дифференцируя консерватизм как целостное явление на рационалистический консерватизм *status quo*, «консерватизм тождества» и неоконсерватизм (66). Вопрос, в таком случае, — на сколько далеко «вправо» сдвигается неоконсерватизм. Иногда утверждают, что крайне правые не являются консерваторами, потому что находятся за рамками «политической культуры» (?) и олицетворяют «тёмную народную стихию» (67). Вопрос о разграничении остаётся без ответа. Более внятная позиция заключается в подходе, согласно которому в периоды стабильности консерваторы защищают статус-кво, но могут и резко его критиковать в иное время, но «совсем другое дело, если критики имеют в виду создание новой реальности, отвечающей умозрительным схемам правого радикализма» (68). Применяя этот подход в конкретно-исторической ситуации начала XX в., М. Н. Лукьянов определил в качестве «консерваторов» политические силы, занимавшие позиции правее октябристов, и исповедовавшие известный принцип — «Православие. Самодержавие. Народность» (69).

Д. Б. Павлов и В. В. Шелохаев, напротив, утверждают, что «союз 17 октября вместе с примыкавшими к нему партиями и организациями представлял собой правый фланг российского либерализма и занимал промежуточное положение между конституционными демократами и правыми радикалами» (70). Таким образом, задача разведения консерватизма и правого радикализма решается ими путём отказа признать самостоятельное существование консерватизма в партийно-политическом спектре России того времени.

Проблема возможного перерождения консерватизма в правый радикализм тесно связана с пониманием его общей природы. Если в качестве ключевого принципа консерватизма зафиксировать принцип охранения *status quo*,

то любое движение по исторической вертикали — в прошлое или в будущее — будет расценено как прекращение существования консерватизма в данной исторической ситуации (71). Конечно, это решает проблему только в теоретической, а не в реально-политической плоскости. Но когда под «главным системообразующим принципом» консерватизма понимают «принцип следования социальной традиции» (72), то даже на концептуальном уровне будет невозможно прочертить чёткую границу между ним и его соседями справа.

«Русский консерватизм»

Пространство поиска «главного системообразующего принципа» консерватизма достаточно велико, хотя и не безгранично. Кроме уже упомянутых это могут быть те или иные ценности и «антиценности», например, недоверчиво отстраненное отношение к человеку, к его разуму и Разуму с большой буквы, антииндивидуализм, различные социально-политические институты от семьи до государства и т. д. Но все перечисленное, как правило, так или иначе, связывается с понятием «традиция». Ценности, обычно, в ней «покоятся», а «антиценности» её разрушают. Довольно часто в консерватизме видят особенное отношение к миру, открытую имманентность этому миру в духе превосходной фразы, процитированной Т. А. Филипповой в заключении книги «Российские консерваторы»: «консерватизм не крепость, куда мы отступаем под натиском перемен, а открытое поле нашего опыта, в котором мы встречаем эти перемены» (73). Но, во-первых, здесь тоже речь идёт о «встрече перемен», а, во-вторых, такой подход больше поддаётся литературному описанию, чем концептуальному осмыслению.

Центрирование консерватизма на традиции основано на истолковании истории. Один из наиболее распространенных вариантов такого истолкования в отечественной историографии заключается в «русификации» традиции и, соответственно, консерватизма как её носителя. В «легких» формах это может выражаться во фразах типа приведённой в аннотации книги, посвящённой российским консерваторам XIX в.: «каждый из них был всего лишь Россиянином» (74). По-видимому, это должно многое объяснять с точки зрения обоснования включения в книгу портрета «каждого из них». Но, например, В. А. Гусев, автор одной из недавних программных книг по русскому консерватизму идёт значительно дальше. Для него «русская консервативная политическая идеология» тождественна «русской политической идеологии», очевидно, потому что своё всегда консервативно (75). Более того, усвоение и реализация чужого консервативного по Гусеву есть «революционный радикализм по отношению к собственной цивилизации» (76). Из этого следуют логичные выводы о том, что Чаадаев — это «французский консерватор русского этнического происхождения» и «если русский консерватизм исчезнет из идеологического пространства, то это будет означать только одно — ис-

чезновение русских традиций, а, следовательно, и самой России как особого социокультурного мира» (77).

Иные авторы не столь категоричны в определении обоюдоострой зависимости судеб России и «русского консерватизма» и утверждают, среди прочего, что «отечественный консерватор, пожалуй, не в меньшей степени, чем либерал, являлся по преимуществу кабинетным мыслителем, взращенным на идеях западной философии» (78). Можно обнаружить и промежуточную точку зрения: «Российский консерватизм был изначально менее связан с европейской традицией, что делало его “не совсем консерватизмом” в историческом значении этого понятия» (79) (т. е. в качестве реакции на Великую французскую революцию).

Тема соотношения и взаимодействия западного консерватизма и консерватизма в России есть принципиальная тема в том отношении, что она является составной частью проблемы поиска образца, с которым можно сопоставить видение консерватизма в России в целом или в его частностях. Составной частью этой же проблемы являются дискуссии о стержне, ядре, системообразующем принципе консерватизма, т. е. всем том, без чего «анализ тех или иных проявлений феномена консерватизма будет беспредметен и бессмыслен» (80). Но дело не только в конкретных исследованиях. Без образца, референта, «хозяина» — в конечном счёте, окажется проблематичен весь дискурс о консерватизме. А это одно из тех ключевых понятий, которые, хорошо ли плохо ли, но помогают нам структурировать восприятие этого мира. Пожалуй, можно говорить о наличии корреляции между степенью настойчивости поиска образца «настоящего» консерватизма и степенью желаемой упорядоченности мира вокруг.

Тематическое единство — «чехарда понятий»

Так или иначе, но представление об обязательном наличии — скорее не рядом, а где-то — референта консерватизма как понятия есть то общее в современной дискуссии о консерватизме, что её поддерживает и организует. Таких общих моментов совсем не много. Безусловно, здесь присутствует тематическое единство. Фактологическая база рассуждений, изысканий и дискуссий о консерватизме и тематически, и содержательно принципиально едина. Речь идёт об одних и тех же людях, темах, исторических сюжетах. Различия, конечно, есть, но они малозначительны. Практически не оспаривается правомерность обращения к тем или иным вопросам на том основании, что они не имеют отношения к теме «консерватизма». Не приходилось в связи с ней встречать, например, обращения к знаменитой полемике Ивана Грозного с Курбским, хотя при известной интеллектуальной изощренности можно признать в первом консерватора, отстаивающего самодержавный принцип, а в его оппоненте — стремящегося ограничить верховную власть либерала.

Или, наоборот, Курбский «сыграет роль» желающего сохранить сословные привилегии консерватора, а Грозный — реформатора, олицетворяющего наступление эпохи новой централизующей государственности в некотором созвучии, кстати, с европейскими образцами (81). Круг тем и сюжетов, так или иначе связанных с «консерватизмом» для большинства очевиден и введение новых (не столь частое) воспринимается как повод для дискуссии, согласия — несогласия с выдвинутой позицией или для её корректировки, но не отвергается «с порога». Здесь сказывается то, что спорящие находятся в единой научной парадигме, т. е. общение идёт между людьми, понимающими друг друга.

Тема, всегда привлекающая особое внимание — это построение типологий. Их существует немало, но примечательно редкостное единство, которое проявляют их авторы. В большинстве случаев, по-видимому, в качестве матрицы, как структурной, так и смысловой используется типология, предложенная ещё в 1980-е гг. пионерами изучения консерватизма в отечественной историографии. В ней выделяется «традиционалистский», «либеральный (реформистский)» и «экстремистский» типы консерватизма. Для сравнения приведу три более современных типологии. Э.Г. Соловьев выделяет «европейски ориентированный романтизм Чаадаева, традиционалистское, во многом антимодернизационное “самобытничество” теоретиков официальной народности и поиски славянофилами особого, “третьего” пути исторического развития» (82). В.А. Гусев типологизирует консерватизм XIX в. следующим образом: «государственно-охранительный» (Карамзин, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, М.О. Меньшиков); «православный русский» (славянофильство) и отдельно Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев — «консерваторы-футуристы» (83). Третья типология из книги «Русский консерватизм XIX столетия»: «консерватизм с прогрессом», «консервативный центризм», «реакционное течение» (84). При этом, в тексте направление под названием «консерватизм с прогрессом» шло с приставкой «как бы». Авторам этой типологии было нелегко принять такой консерватизм. А.В. Репников, резюмируя на новом этапе типологические изыскания, не мудрствуя лукаво, просто фиксирует существование «правого», «центристского» и «левого» направлений в российском консерватизме (85).

Дискуссии по консерватизму, ведущиеся очно и заочно, порой, напоминают некую понятийную чехарду. Использование понятий иногда теряет почти всякий смысл или до него очень сложно добраться. Кроме этого, современная дискуссия в некотором отношении очень «идеологична», а именно, в том негативном для многих классиков консервативной мысли, свете, что в этой дискуссии сам консерватизм, волей неволей, становится идеологией — писаной программой, сборником дискутируемых и тасуемых книжных ценностей и истин, на основании которых воздвигаются «консервативные проекты», вполне, при этом, умеренного содержания. В этом смысле, консерватизм перестал отличаться от либерализма, социализма и прочих идеологических -измов.

Не случайно столько внимания уделяется проблематике всевозможных гибридов либерализма и консерватизма. Но содержательная сторона вопроса нередко теряется в процессе выяснения того, является ли либеральный консерватизм правым флангом либерализма, а, соответственно, консервативный либерализм — левым крылом консерватизма (86)? А, может быть, всё наоборот, и консервативный либерализм есть правый фланг либерализма, а либеральный консерватизм — левое крыло консерватизма? Чтобы не ошибиться, многие просто берут одно из понятий в скобки и прицепляют к другому (87). Оперируя двумя понятиями и акцентируя разные члены двучленов можно получить четыре -изма «с лица необщим выраженьем». Слова сами творят себе референтов.

Встречаются и такие фразы: «консервативно-реакционная политическая антиутопия, выражающая стремление наиболее право-консервативной идеологии». Это сказано по поводу «неоконсерватизма» Юлиуса Эволы, который был «как бы экстремистским закатом этого направления консерватизма» (88). Разобраться здесь в уровнях и степени синонимичности понятия «консерватизм» будет нелегко, даже располагая контекстом. Использование в одном месте различных понятий, — например, «охранительный консерватизм», «бюрократический консерватизм», «правительственный консерватизм», «традиционные формы жизни», «исторические основания» (89) — без пояснения их концептуального соотношения является вполне обычным делом. При этом очень высока степень безапелляционности в определении тех или иных людей, идей и прочего под теми или иными понятиями. На этом фоне сомнение в чём-то выглядит редким. Во всей книге «Российские консерваторы» лишь автор одного портрета — Т.А. Филиппова — поставила по поводу своего персонажа (Петр Андреевич Шувалов) вопрос о том, «по праву ли он — “консерватор”» (90)? И единственная оставила этот принципиальный вопрос открытым.

Хорошо известно, что конкретные мыслители и политики с трудом поддаются помещению их в узкое прокрустово ложе понятий. На этом пути «поименования» конкретных мыслителей теми или иными «-измами» встречаются и откровенные недоразумения фактологического свойства (91). Можно указать и на более серьёзные тенденции, связанные с проблемой понятийного определения конкретных личностей. Обычно этот процесс сопровождается многочисленными оговорками и пояснениями. Но в современной отечественной историографии некоторые авторы доводят степень безусловности своих суждений до такого уровня, что начинают смаковать противоречивое и непоследовательное оперирование понятиями, которое, конечно, является таковым только лишь с более традиционной точки зрения. Например, в работе о Константине Кавелине Ю.С. Пивоваров рассматривает его как безусловного либерала. Правда, выясняется, что с либерализмом Кавелина всё не так просто. Кроме всего прочего, он был «идеалистом самодержавия» и «совестью самодержавия», хотел «спасти русскую идентичность» и вообще, участвовал в решении «исторической задачи русского либерализма», которая «со-

стоит и в том, чтобы сохранять самый малый “нравственный минимум”» (92). «Задача, замечу, — добавляет Ю. С. Пивоваров — сугубо консервативная» (93). Завершает же он полным разрывом с традиционным пониманием соотношения понятия и его референта: «А то, что его либерализм не очень-то либерален, важно ли это?!» (94). Лично я не знаю, по крайней мере, относительно Кавелина.

Но для научного и политического дискурса в современной России такая позиция влечёт определённые последствия. Понятия перестают играть роль разметки научного и политического поля, которое дробится самим характером употребления слов. Понятия продолжают использовать в качестве меток и ориентиров, долженствующих помочь не выпасть из темы, а также в качестве последнего аргумента и отсылки (типа: смотри словарную статью такую-то). Но это только запутывает, потому что понятийной определённости нет. Во всём нужно разбираться и всё осмысливать самому.

Всё замыкается в своеобразном логико-лингвистическом пространстве, которое не имеет точки отсчёта, ясных перспектив исхода (политического или любого другого) и поддерживается лишь рефлексивным равновесием тем, участников, понятий, святых (более или менее) имен. Поддержанию этого равновесия способствует отсутствие жесткой конвенции при безусловном ограничении тематического поля: традиция, ценности, разведение с реакцией, враги, снова традиция, политические мифы как творящая сила, традиция.

Совсем недавно (в августе 2002 г.) я ещё раз имел хорошую возможность убедиться в том, что все, казалось бы, бесконечное, разнообразие и вариативность оценок, позиций, подходов к консерватизму сводится к логико-лингвистическому измерению и в нём же снимается. Эмблематическим свидетельством тому явилась не то полемика, не то просто перепалка между П. Ю. Рахшмиром и С. П. Перегудовым (для обоих консерватизм не мода 90-х, но научная тема ещё с советских времен) по вопросу о том, как соотносятся понятия консерватизм и неолиберализм и каким из них нужно называть «нечто» современное на Западе. В соотнесении с целью данной работы примечательный момент состоит не в том, о каком явлении шла речь и уж конечно не в том, как «действительно» это нечто называется или чем является, а в том, что оба признали логику друг друга и, естественно, остались при своём.

Научное сообщество: «творцы» «консерватизма»

Переходя к оценке перспектив развития исследований по консерватизму в России, необходимо отметить, что в самой историографии по этому поводу наблюдается, за естественными исключениями, оптимистичный настрой. Он находит выражение в представлении, что «начало комплексному изучению русского и мирового консерватизма в России положено» (95), и хотя случались

ошибки и искажения, это не только не может помешать дальнейшей работе, но наоборот, должно стимулировать к ней и указывать направления. В качестве примера можно привести программную статью А. В. Репникова (96). В ней сформулированы «новые задачи», с которыми, как представляется, согласились бы многие.

Начинает А. В. Репников с постулата о необходимости «сформулировать более четкое определение понятия «консерватизм»» (97). Я уже отмечал, что эта установка, выражающаяся в поиске консервативного ядра, стержня, в стремлении освободиться от схематизма восприятия, ложных представлений и т. д., действительно, есть то общее, что объединяет всех участников дискуссии о консерватизме. Далее Репников обращается к столь тонкому моменту, как православный аспект мировосприятия русских консерваторов, который нужно обязательно учитывать во избежание односторонности в оценках. Следующим пунктом программы выступает тема соотношения и взаимоотношений русского и западного консерватизмов, которая, наверняка, останется одной из самых востребованных тем ближайшего будущего. Проблемой, по мнению Репникова (и в этом с ним многие согласны), является то, что на периферии исследования оказались «такие важные составные части отечественного консерватизма, как его экономическая и национальная составляющая» (98). Дискуссионным остается и вопрос о хронологических рамках русского консерватизма. Два наиболее популярных представления о времени его появления — рубеж XVIII–XIX вв. и эпоха Петра Великого — неустойчивы и постоянно проблематизируются мнениями того рода, что консерватизм только проявил себя, например, «к середине XVIII в., а существовал он много раньше» (99).

Серьёзной исследовательской задачей Репникову видится прояснение того, существовал ли наряду с «дворянским консерватизмом», «консерватизмом бюрократии» «народный консерватизм» и «как он выражался в реальной жизни» (100). Не был обойдён вниманием и феномен либерального консерватизма, прежде всего, как знак неоднородности консерватизма в России. Кроме этого, по мнению Репникова, ещё «недостаточно разработанной остаётся тема эволюции консерватизма в русской эмиграции» (101). Можно ли считать его проявлениями «евразийство» и «сменовеховство», «русский фашизм» и казачество, или в консервативном контексте имеет смысл изучать только монархическое движение? С этим вопросом Репников увязывает дальнейшее изучение темы «советского консерватизма», собственно, его наличия и совпадения его «инвариантного ядра» с таковым же в дореволюционном консерватизме. Заключается список задач оптимистично-рабочей констатацией: «современный консерватизм ещё ждет своих исследователей» (102).

Этот перечень задач и направлений дальнейших исследований по консерватизму, конечно, не полон, но в достаточной мере репрезентативен. Почти все поставленные задачи имеют двойное измерение. С одной стороны, речь идёт о конкретном эмпирическом материале, работа с которым, очевидно, будет продолжена, расширяя и углубляя наши познания. Но конвенцио-

нальной позиции в понимании того, что же такое консерватизм, достичь едва ли удастся, а этот вопрос имеет прямое отношение к организации эмпирического материала, подходам к его изучению и восприятию. Соглашаясь с господствующим мнением в том, что немалую проблему для научного познания создает сложность и противоречивость самого феномена консерватизма, нельзя не заметить и обратную сторону. Одни, по сути, утверждают, что действительное постижение консерватизма доступно только консерватору (103). Другие, постулируя необходимость более полного и объективного исследования различных сторон консерватизма, предваряют свой анализ заключением, например, того плана, что «именно объективное изучение российского консерватизма позволяет дать ему в целом негативную оценку» (104). Значит, и проблема с достижением конвенции коренится, скорее, не в изучаемом предмете, а в изучающих его.

Более точно: изучающие и рассматривающие в том числе изучают и рассматривают самих себя, потому что консерватизм в своём рефлексивном измерении не есть нечто существующее по ту сторону научного «забора». Наоборот, сфера науки, научных дискуссий, исследований и изысканий является существенной, а на сегодняшний момент, может быть, основной составной частью того референтного поля, в котором это явление политически существует и воспроизводится. Конечно, будет наивным полагать, что исчезновение из научного дискурса слова «консерватизм» приведёт к исчезновению консервативной политики, консервативных восприятия, мироощущения, мышления и действия или того, что так называют. Но, думается, что именно наука в силу своих рефлексивных возможностей является той инстанцией, которая фиксирует, удостоверяет, санкционирует и, в немалой степени, определяет существование консерватизма как такового, связывая воедино различные его проявления.

Это, конечно, не означает, что наука является политической силой, ведущей и направляющей нашего или любого другого общества. Но выход на политическое измерение консерватизма возможен сегодня посредством анализа бытования этого понятия, его употребления и понимания именно в науке. Научное сообщество не только и не столько отражает некую реальную ситуацию вокруг консерватизма, сколько само её воспроизводит в разнообразии представлений и полемических позиций. Говоря о консерватизме, мы даём ему жизнь, и поддерживаем её. Дело не только в идеологической ангажированности многих исследователей или в оценочном подходе к явлению, или в том, что научные результаты могут использоваться политиками. Но и в том, что любая идеология творится и воспроизводится в полемическом противостоянии, непременно включая в себя контридеологию, и тем стабилизирует себя. Научное поле представляет для этого процесса прекрасную площадку, обеспечивая возможность столкновения мнений и кристаллизации позиций. И даже те, кто видят себя только и исключительно учеными, не могут остаться в стороне, потому что, используя слово «консерватизм», они уже занимают позицию, которая может быть принята, оспорена, поставлена

под вопрос. В конце концов, сам сциентизм может быть подвергнут идеологическому и политическому измерению.

Научный дискурс о консерватизме структурно и тематически не отличается от идеологической игры — они изоморфны. Тем более, что нередко в них действуют одни и те же люди. И даже тот факт, что многие учёные ни идеологически, ни властно не заинтересованы, ничего в этом не меняет. Для примера можно привести весьма характерную оценку учеными одной современной политической силы. Авторы заключения в книге «Политические партии России: история и современность» сначала называют «идеи Гайдара–Чубайса» «праворадикальными», а на следующей странице именуют этих же людей «доморощенными либералами» (Политические партии России: история и современность. С.627–628.). Не думаю, что это свидетельствует о неаккуратности или о неспособности свести концы с концами, хотя, например, для меня это сочетание звучит, по меньшей мере, странно. Полагаю, что оно может быть вполне логичным, если эта логика определяется отношением к конкретным людям (в данном случае негативным). Пластичность же слов столь велика, что не потребуются больших интеллектуальных усилий для обоснования концептуального единства этих понятий. А это в свою очередь означает, что позиция «хозяина» в научном дискурсе о консерватизме проблематична. Эту роль не могут сыграть традиционные методы достижения научной истины посредством конвенциональных процедур и формальных логических выкладок. И политическая релевантность или иррелевантность идеологического концепта не может быть свидетельством его «истинности», потому как сами они будут соответственно определяться на уровне концептов же.

Самые интересные метаморфозы позитивистский дух исследователей консерватизма претерпевает в попытках найти «настоящую, исконную, истинную» традицию, которые настолько озадачивают, что хочется обратить внимание на следующее. Действительно серьёзный вопрос состоит в том, что происходит с традицией, когда её вытаскивают на свет, на бумагу, на всеобщее обозрение, когда она становится предметом рефлексии, а значит, предметом выбора — работает ли она по-прежнему? и если да, то как? Проблемой является именно это, а не изобретение или интерпретация традиции. Проблема также в том, во что часто превращают традицию в идеологических построениях. Ей придают вид автоматизирующей, самостоятельной истины, что есть смерть политического как такового. По тому же «ведомству» зачастую проходят разнообразные «функционалистские» трактовки консерватизма, акцентированным примером которых может служить фраза: «поскольку существует консервативная функция, наличествуют и её носители» (105). Такое впечатление, что функция, как и традиция, появляется до человека и способна существовать без него. Традиция в таком понимании стоит универсализирующих истин либерализма (социализма, глобализма и т. д. и т. п.). Но тогда формируется основной парадокс консервативного дискурса — желать того, чего не желаешь, т. е. создания самовоспроизводящейся системы, аналогичной

западной, либеральной по происхождению — тем более, что многие из её ценностей уже вошли в плоть и кровь многих из нас.

Есть ли по-прежнему в этом мире место для идеологий массовых настроений? Это вопрос политический. Но, примечательным образом, поставлен он был в своё время в рамках науки и отвечают на него до сих пор прежде всего учёные. И может быть, от ответа на него зависит новое идеологическое различие. На какой стороне окажется консерватизм? Или покрывало идеологий окончательно сдернуто и остается лишь голый политический принцип? В качестве такового можно предложить фразу Й. Шумпетера, одобрительно процитированную И. Берлином: «Осознать относительность своих убеждений и всё же твердо отстаивать их — вот что отличает цивилизованного человека от варвара». Впрочем, тут же стоит добавить, что Лео Штраус категорически не согласился с этой формулой, указав, что если её принять всерьёз, то и Платона нужно счесть варваром, а это означает изменить самому себе. Изменить своему представлению о добре и зле, о друзьях и врагах. Говоря иначе — изменить своей способности идентифицировать себя в окружении других людей, идей, мнений, ситуаций. Но это (делая круг) означает изменить и своей возможности «осознать относительность своих убеждений и все же твердо отстаивать их».

На этом фоне более чётко прослеживается и проблематичность партийно-политического бытия идеологий. Тем более, что, на мой взгляд, различие научного и политико-идеологического дискурса о консерватизме сегодня возможно лишь по сугубо формальным основаниям и потому постоянно преодолевается и реконфигурируется. Можно, пожалуй, говорить о том, что сформировалось некое пространство коммуникации. Оно, конечно, является лишь относительно единым, дискретным, но ограничения и препятствия условны и подвижны.

Определяющим моментом коммуникации выступает вовсе не различие науки и политики, но иное различие двух измерений консерватизма, пересекающихся под неким неопределённым (постоянно изменяющимся) углом и имеющих свои полюса напряжения. С одной стороны, речь идёт о попытке определить и зафиксировать суть и сущность консерватизма (и вообще, и не нашего, и нашего прошлого, и нашего настоящего) при одновременном примеривании его к России (или России к нему). В другом измерении консерватизм явно или неявно постулируется в позитивистском ключе как нечто безусловно реально существующее, как референтное понятие, но, парадоксальным образом, проблематичное и трудноуловимое в реальной жизни.

На мой взгляд, это вполне коррелирует с общей оценкой развития темы консерватизма в отечественной историографии, в качестве которой может быть использована ёмкая формула «прогрессивная эклектика». Г. Алмонд, видный американский политолог, применил её для характеристики современ-

ного состояния науки о политике. Прогрессизм здесь означает безусловный рост, накопление и совершенствование знаний о предмете. Сегодня это мы и наблюдаем. Но эти знания эклектичны, т. е. не могут быть подведены под один содержательный знаменатель, исходя из которого можно было бы судить об их научности. Таким образом, наша дорога — узнавать всё больше и больше о *многих и разных* консерватизмах. Единственным моментом, объединяющим различные школы, подходы и принципы является безусловная возможность сосуществования в едином пространстве, называемом наукой. Что определяет возможность сосуществования концепций, которые подчас научными друг друга не считают — вопрос отдельный и, очевидно, не решаемый в рамках науки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Краткий словарь иностранных слов. — М., 1952. С.196. Цит. по: Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. — Воронеж, 2001. Вып.1. С.3.
2. Полис. 2001. № 3. С.113.
3. *Моро Г.* Понятие и сущность консерватизма //Библиотека консерватизма на вебсайте партии Единство. <http://www.edin.ru/user/index>.
4. *O'Sullivan N.* Conservatism. — L.: Dent, 1976. P.9. Цит. по: Либерализм, Консерватизм, Марксизм. Политическая наука: проблемно-тематический сборник. — М., 1998. № 1. С.105.
5. Консервативные тенденции в современной буржуазной педагогике. — М., 1989.
6. *Мельвиль А.Ю.* Социальная философия современного американского консерватизма. — М., 1980; *Галкин А.А., Рахимир П.Ю.* Консерватизм в прошлом и настоящем. — М., 1987; *Рахимир П.Ю.* Типология современного консерватизма //Общественные науки. 1990. № 1; *Рахимир П.Ю.* Эволюция консерватизма в новое и новейшее время //Новая и новейшая история. 1990. № 1; *Гаджиев К.С.* Современный консерватизм: опыт типологизации //Новая и новейшая история. 1991. №1; *Панарин А.С.* Стиль «ретро» в идеологии и политике (критические очерки французского неоконсерватизма). — М., 1989; *Френкин А.А.* Западногерманские консерваторы: кто они? — М., 1990.
7. *Галкин А.А.* Консерватизм как система ценностей //МЭ и МО. 2001. № 2; *Галкин А.А.* Консерватизм вчера и сегодня //Власть. 2000. № 2; *Рормозер Г., Френкин А.А.* Новый консерватизм: вызов для России. — М., 1996; *Рахимир П.Ю.* Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. — Пермь, 1999.
8. Исследования по консерватизму. Вып.1. Консерватизм в современном мире. — Пермь, 1994; Вып.2. Консерватизм в политическом и духовном измерениях. — Пермь, 1995; Вып.3. Консерватизм и либерализм: созвучия и диссонансы. — Пермь, 1996; Вып.4. Реформы: политические, социально-экономические и правовые аспекты. — Пермь, 1997; Вып.5. Политика и культура в контексте истории. — Пермь, 1998; Вып.6. Консерватизм и цивилизационные вызовы современности. — Пермь, 2000, а также: Исторические метаморфозы консерватизма. — Пермь, 1998; Консерватизм: идеи и люди. — Пермь, 1998.
9. Американские консерваторы и мультикультурализм. Автореферат дис. ... канд. исторических наук. — Пермь, 2000; *Подвицнев О.Б.* Постимперская адаптация консерватизма. Автореферат дис. ... д-ра политических наук. — Пермь, 2002; *Дегтярева М.И.* Консервативная адаптация Ж. де Местра. Автореферат дис. ... канд. исторических наук. — Пермь, 1997.
10. *Мусихин Г.И.* Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). — СПб., 2002; *Дегтярева М.И.* Понятие суверенитета в политической философии Ж. де Местра //Полис. 2001. № 3; *Подвицнев О.Б.* Шагающие не в ногу. — Пермь, 1999.
11. *Гарбузов В.Н.* Типология американского консерватизма: историографический очерк. — Псков, 1999; *Мочкин А.Н.* Парадоксы неоконсерватизма (Россия и Германия в конце XIX — начале XX веков). — М., 1999; *Аленов С.Г.* Русские истоки немецкой «консервативной революции»: Артур Мёллер ван ден Брук //Полис. 2001. № 3; *Молодяков В.Э.* Консервативная революция в Японии: идеология и политика. — М., 1999; Либерализм, Консерватизм, Марксизм. Политическая наука: проблемно-тематический сборник. — М., 1998. № 1; *Руткевич А.М.* Прусский социализм и консервативная революция //Шпенглер О. Прусса-

чество и социализм. — М., 2002; *Боровиков А. П.* Классический консерватизм. — СПб., 1997; *Пленков О. Ю.* Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм. — СПб., 1997; *Тулаев П.* Консервативная революция в Испании. — М., 1994; Национализм, консерватизм и либерализм в навой и новейшей истории Запада. Межвузовский сборник научных трудов. — Калининград, 1996.

12. *Бёрк Э.* Размышления о революции во Франции. — М., 1993; *Местр Ж де.* Санкт-Петербургские вечера. — СПб., 1998; *Его же.* Рассуждения о Франции. — М., 1997; *Оужиот М.* Рационализм в политике и другие статьи. — М., 2002; *Шмитт К.* Политическая теология. — М., 2000; *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. — М., 1992; *Хайек Ф. фон.* Дорога к рабству. — М., 1991; *Рормозер Г.* Кризис либерализма. — М., 1996.

13. См., например историографию в: *Лукьянов М. Н.* Российский консерватизм и реформа, 1907–1914. — Пермь, 2001. С.7–8.

14. См., например: *Репников А. В.* Русский консерватизм: вчера, сегодня, завтра //Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. — Воронеж, 2001. Вып.1; *Гусев В. А.* Русский консерватизм: основные направления и этапы развития. — Тверь, 2001.

15. *Смолин М. Б.* Очерки имперского пути: неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX веков. — М., 2000. С.115.

16. Российские консерваторы. — М., 1997. С.16.

17. *Лукьянов М. Н.* Указ. соч. С.8.

18. *Репников А. В.* Указ. соч. С.11.

19. Там же.

20. Там же.

21. См., например: *Ермашов Д. В.* *Ширинаяц А. А.* У истоков российского консерватизма: Н. М. Карамзин. — М., 1999; *Гнатюк О. Л.* Русская политическая мысль начала XX века: Н. И. Кареев, П. Б. Струве, И. А. Ильин. — СПб., 1994; *Тимошина Е. В.* Политико-правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К. П. Победоносцев. — СПб., 2000; Конфуций, Уваров и другие. Сборник. — СПб., 2000; *Смолин М. Б.* Очерки имперского пути: неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX веков. — М., 2000; *Парамонов Б.* Солженицын о постмодернизме //Парамонов Б. След: Философия. История. Современность. — М., 2001.

22. *Соколов А. М.* Культурно-философский смысл идеи консерватизма. Автореферат дисс. ... канд. философских наук. — СПб., 1997; *Турунок С. Г.* Консерватизм в идеологическом процессе (теоретико-методологический аспект). Автореферат дисс. ... к-та политических наук. — М., 1995; *Лотарев К. А.* Политический консерватизм в процессе реформирования российского общества: история и современные проблемы. Автореферат дисс. ... канд. политических наук. — М., 1995; *Нарезный А. И.* Проблема государственного устройства России в консервативно-либеральной мысли второй половины XIX века. Автореферат дисс. ... д-ра исторических наук. — Ростов н/Д, 1995; *Начапкин М. Н.* Монархическая идея в русском консерватизме конца XIX — первой половины XX веков. Автореферат дисс. ... к-та исторических наук. — Екатеринбург, 1998; *Шамигулин В. И.* Эпистемология либерального консерватизма (опыт аналитического подхода). Автореферат дисс. ... д-ра социологических наук. — М., 1995; *Карцов А. С.* Проблема общественного идеала в русском консерватизме (II-я половина XIX — I-я половина XX веков). Автореферат дисс. ... к-та философских наук. — СПб., 1998; *Ачкасов В. А.* Традиционализм в политической жизни России. Автореферат дисс. ... д-ра политических наук. — СПб., 1997; *Багушкин А. И.* Консервативные политико-правовые воззрения в России во второй половине XIX — начале XX веков. Автореферат дисс. ... канд. юридических наук. — М., 1998. См. впечатляющий размерами список диссертаций в: *Репников А. В.* Указ. соч. С.18.

23. Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. — М., 1998. Т.1–2; Политические партии России: история и современность. — М., 2000; См. также библиографию в *Лукьянов М. Н.* Указ. соч.

24. См., например: *Омельченко Н. А.* Политическая мысль русского зарубежья: очерки истории (1920 — начало 1930-х годов). Учебное пособие для вузов. — М., 1997; Русское Зарубежье: Трагедии, надежды, жизнь... В.1. — М., 1993.

25. Либеральный консерватизм: история и современность. — М., 2001; *Парамонов Б.* Чичерин, либеральный консерватор //Парамонов Б. След: Философия. История. Современность. — М., 2001; Российские реформаторы: XIX — начало XX века. — М., 1995; Российские либералы: кадеты и октябристы. — М., 1996; Исследования по консерватизму. Консерватизм и либерализм: созвучия и диссонансы. — Пермь, 1996. Вып.3.

26. Консерватизм в России: По материалам «круглого стола» в редакции журнала «Социс» //Социс. 1993. № 1; *Лушкин С. Н.* Историософия российского консерватизма XIX века. — Н. Новгород, 1998; *Репников А. В.* Консервативные концепции российской государственности. — М., 1999; *Высоцкий П. А.* Национально-государственные интересы России: внутриполитический аспект. — М., 2000; *Карцов А. С.* Правовая идеология русского консерватизма. — М., 1999; *Деникин А. В.* Консерватизм и либерализм о социально-философской мысли России XIX века. — М., 2000; *Гусев В. А.* Русский консерватизм: основ-

ные направления и этапы развития. — Тверь, 2001; *Вершинин М. С.* Русский консерватизм: ретроспективно-политологический анализ //Клио. — СПб., 1998. № 1(4); *Василенко А. В.* Либерально-консервативный синтез: к проблеме формирования идеологии современного российского государства //Вестник Воронежского государственного университета. Серия 1: Гуманитарные науки. 2000, № 2. — Воронеж, 2000; Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол» //Отечественная история. 2001. № 3; Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. — М., 2000; Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. — М., 2000; Российские консерваторы. — М., 1997; Российский консерватизм: теория и практика. Сборник научных трудов. — Челябинск, 1999; *Соловьев Э. Г.* У истоков российского консерватизма //Полис. 1997. № 3.

27. *Абелинскас Э. Ю.* Консерватизм как мировоззрение и политическая идеология: опыт обоснования. — Екатеринбург, 1999; *Волкогонова О. Д.* Либерализм и консерватизм в России: метаполитические размышления //Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2001, № 5; Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») //Полис. 1995. № 4; О семинаре по проблемам консерватизма в Российском фонде культуры //Вопросы философии. 2001. № 8; *Гарбузов В. Н.* Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) //Полис. 1995. № 4; *Красильщиков В.* Консерватизм — идеология прогресса? //Свободная мысль. 1992. № 9; *Григоров С. Г.* Преодоление заданности: размышления о консерватизме //Полис. 2000. № 3; Консерватизм и социализм: близнецы или антиподы? — М., 1994; Консерватор: эксперт, гражданин, правитель. Государство, общество, частная жизнь, познание («круглый стол») //Вестник Московского государственного университета. Серия 12: Политические науки. 1995. № 4; *Молчанова Е. Б.* Проблема определения понятий «консерватизм» и «неоконсерватизм» в западной и отечественной политологической литературе. — М., 1994; *Фролов А. В.* Консерватизм: хорошая или плохая идея? //Власть. 1997. № 6; *Сокольская И. Б.* Консерватизм: идея или метод? //Полис. 1998. № 5; Современное общественное развитие: консервативное видение. Исследовательский проект «В поисках социальных концепций» / «Горбачев-Фонд». Под ред. А. Галкина, Ю. Красина. — М., 1996; *Руткевич А. М.* Что такое консерватизм? М.; — СПб., 1999.

28. *Гарбузов В. Н.* Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) //Полис. 1995. № 4. С.60.

29. *Мочкин А. Н.* Парадоксы неоконсерватизма (Россия и Германия в конце XIX — начале XX веков). — М., 1999. С.64.

30. *Галкин А. А.* Консерватизм в ценностно-идеологической «системе координат»: в: Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») //Полис. 1995. № 4. С.35.

31. Там же

32. См., например: *Суслов М. Г.* Системный и внесистемный подход к проблемам консерватизма //Исследования по консерватизму. Вып.2. — Пермь, 1995; *Сокольская И. Б.* Консерватизм: идея или метод? //Полис. 1998. № 5.

33. *Сокольская И. Б.* Указ. соч.

34. *Гросул В. Я.* Пять дворянских реваншей в: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол» //Отечественная история. 2001. № 3. С.110.

35. Там же. С.111.

36. *Володихин Д. М.* О российских консерваторах без гнева и пристрастия в: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол». С.104.

37. Там же

38. *Капустин Б.* Не найдя себя — не признав другого: о наших либерально-консервативных контроверзах //Свободная мысль. 1992. № 11. С.4.

39. Там же. Но позиция Капустина примечательна и интересна в данном контексте не этой типологизирующей оценкой, а в трёх других моментах. Во-первых, он указывает на характерную симптоматику всего постсоветского научного и околонучного дискурса об идеологических контроверзах: возможность, исходя из одного основания (здесь — указанный предрассудок), при рассуждениях об одной и той же фигуре (сюжете, идее, политике и т. д.), прийти к разноречивым выводам. Итак, «если Солженицын хорош, то его нужно непременно записать либералом», а если нет, то «стало быть, писателя нужно отнести к сторонникам “патриархально-авторитарного устройства государства”, то есть, называя вещи своими именами, к ретроградам» (Там же). Капустин не согласен ни с тем, ни с другим. На аргументацию по этому поводу имеет смысл обратить внимание, в ней пересекаются позиции Капустина как ученого — с одной стороны, и как внятного либерала — с другой. Примечательный момент заключается в его отчетливом узнавании в Солженицыне и его «однодумях» достойных политических и идеологических противников (т. е. они не либералы, но и не ретрограды), чьи аргументы необходимо учесть и осмысленно на них реагировать, что пойдет на пользу самому либерализму и не оттолкнет оппонента, тем самым, способствуя маргинализации его действительно архаических элементов. В том числе поэтому, Капустин решительно разводит консерватизм Солженицына и с защитой status quo, и с политической и идейной реакцией. Он

пишет: «сколь бы ни были заметны элементы архаики в его мысли, Солженицын — современный консерватор» (Там же. С.5). Современен же он не попыткой «законсервировать существующую разруху», а «проницательной реакцией на слабости либерализма, выявленные современной жизнью как на Западе, так и в России» (Там же).

40. Консервативная партия. Декларация. Программа. Устав. — М., 1989. С.1.
41. Там же. С.2–4.
42. Там же. С.3, 10.
43. «Консервативное движение России». (Учредительная конференция общероссийского движения «Консервативное движение России». Москва. 15 февраля 1997). — М., 1997.
44. Точка зрения консерватора //Кентавр. 1993. Январь–февраль.
45. Там же. С.124.
46. Там же. С.124–125.
47. Там же. С.125.
48. Там же. С.127.
49. *Филиппова Т. А.* Предчувствие ностальгии //Свободная мысль. 1993. № 9; *Она же.* Мудрость без рефлексии (Консерватизм в политической жизни России) //Кентавр. 1993. Ноябрь–декабрь; *Она же.* Свобода и мера //Родина. 1994. № 2.
50. *Филиппова Т. А.* Предчувствие ностальгии. С.36.
51. Там же
52. Там же. С.37.
53. *Филиппова Т. А.* Мудрость без рефлексии. С.52.
54. О семинаре по проблемам консерватизма в Российском фонде культуры //Вопросы философии. 2001. № 8. С.166.
55. Там же
56. Там же. С.166–167.
57. Там же. С.168.
58. Там же. С.167.
59. Там же. С.168.
60. *Тулаев П.* Консервативная революция в Испании. — М., 1994. С.32.
61. Там же
62. Там же
63. Цит. по: *Мочкин А. Н.* Указ. соч. С.10.
64. Там же
65. Там же. С.124.
66. Там же. С.9.
67. Российские консерваторы. С.8.
68. *Лукьянов М. Н.* Указ. соч. С.14.
69. Там же. С.11.
70. Политические партии России: история и современность. С.109.
71. *Сокольская И. Б.* Консерватизм: идея или метод? //Полис. 1998. № 5.
72. *Гусев В. А.* Русский консерватизм: основные направления и этапы развития. — Тверь, 2001. С.209.
73. Цит. по: Российские консерваторы. С.382.
74. Российские консерваторы.
75. *Гусев В. А.* Указ. соч. С.210.
76. Там же. С.211.
77. Там же. С.212–235.
78. *Соловьев Э. Г.* У истоков российского консерватизма //Полис. 1997. № 3.
79. *Муслихин Г. И.* Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). — СПб., 2002. С.14.
80. Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. — Воронеж, 2001. Вып.1. С.4.
81. Если некоторые полагают, что первым либералом был Прометей (Либеральный консерватизм: история и современность. — М., 2001. С.14.), то почему бы не увидеть что-то консервативное в сюжете принятия христианства на Руси. Вопрос лишь в том, кто там консерваторы: те кто сопротивлялись нововведениям или Владимир, от которого можно протянуть линию к «Православию», как части знаменитой триединой формулы? Пожалуй, уместно вспомнить анекдот о том, что первым консерватором «на самом деле» был Адам, Ева была первым либералом, а змей-искуситель — радикалом с бородой Карла Маркса.
82. *Соловьев Э. Г.* Указ. соч.
83. *Гусев В. А.* Указ. соч. С.212.
84. Русский консерватизм XIX столетия.

85. Репников А. В. Метаморфозы русского консерватизма: от С. С. Уварова до Никиты Михалкова в: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол». С.106.

86. См., например: Либеральный консерватизм: история и современность. — М., 2001. С.4.

87. См., например: *Омельченко Н. А.* Политическая мысль русского зарубежья: очерки истории (1920 — начало 1930-х годов). — М., 1997. С.22.

88. *Мочкин А. Н.* Указ. соч. С.65.

89. См., например: Российские консерваторы. С.287–322.

90. Там же. С.191.

91. Так, Ю. Ф. Самарина и его «единомышленников» иногда причисляют к тем, кто на русской почве были носителями «революционного консерватизма» или находились на подступах к «полноценной и оригинальной консервативно-революционной философии и идеологии в России» (*Молодяков В. Э.* Консервативная революция в Японии: идеология и политика. — М., 1999. С.36.). Обосновать же это можно уже тем, что «оппозиционность славянофилов существующему режиму (особенно при Николае I) была несомненна, как несомненна и их традиционалистская ориентация» (Там же). Но дело здесь, кажется, не в содержании славянофильских воззрений и их заинтересованной оценке, а в книге под названием «Революционный консерватизм», одним из авторов которой и был Ю. Ф. Самарин (*Самарин Ю. Ф., Дмитриев Ф.* Революционный консерватизм. — Берлин, 1875). Но эта книга не апология «революционного консерватизма», а, наоборот, саркастический по духу ответ автору работы «Чем нам быть?» отставному генералу Фадееву и всем тем охранителям, цель которых запугать правительство и подвигнуть его на уничтожение всего, созданного в годы Великих реформ. Самарин доказывал, что мнение «охранение» желает идти путём чисто революционной ломки во имя отвлеченного принципа и, следовательно, само знаменитое словосочетание использовано, по видимому, в стилистике оксюморона (См.: *Руткевич А. М.* Прусский социализм и консервативная революция // *Шпенглер О.* Пруссачество и социализм. — М., 2002. С.192; *Алленов С. Г.* Мёллер ван ден Брук: веки жизни и творчества революционного консерватора // Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. — Воронеж, 2001. Вып.1. С.224. С. Г. Алленов также указывает на: *Нольде Б. Э.* Юрий Самарин и его время. Paris, 1978. С.225–232). О Ю. Ф. Самарине в контексте «консервативной революции» обычно вспоминают в связи с выяснением этимологии этого понятия, а не «родословной» описываемого им явления. Но куда большее отношение к обоим аспектам имеет Ф. М. Достоевский. Именно его слова о «революционерах от консерватизма» привлекли особое внимание Мёллера ван ден Брука и он вводит их в немецкоязычный оборот в предисловии к «Бесам», изданным в 1919 г. В 1921 эстафету подхватывает Томас Манн во введении к русской антологии — для него речь идёт синтезе Ницше и русской души. Фиксирует же понятие «консервативная революция» на немецкой почве и применительно к немецкой действительности Хуго фон Гоффманшталь в 1927 г.

92. *Пивоваров Ю. С.* Либерализм в стране «развитого романтизма» (Константин Кавелин и его место в русской политической традиции.) // Либерализм, Консерватизм, Марксизм. Политическая наука: проблемно-тематический сборник. — М., 1998. № 1. С.136, 166.

93. Там же. С.136.

94. Там же. С.166.

95. Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. — Воронеж, 2001. Вып.1. С.6.

96. *Репников А. В.* Русский консерватизм: вчера, сегодня, завтра // Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее.

97. Там же. С.12.

98. Там же. С.13.

99. Там же. С.14.

100. Там же.

101. Там же.

102. Там же. С.14–15.

103. См., например: *Боханов А. Н.* О «теории», которой не было в: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол». С.116.

104. *Степанский А. Д.* Грехи и слабости отечественного консерватизма в: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения: «Круглый стол». С.126.

105. *Галкин А. А.* Консерватизм в ценностно-идеологической «системе координат». С.35.

УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Александр МАКУШИН

Процесс осмысления и переосмысления истории русского либерализма, стартовавший ещё в 1960-е гг. в рамках изучения истории «непролетарских партий», и получивший новый импульс на рубеже 80-х и 90-х, не мог завершиться вместе с разочарованием широких масс в либеральных идеалах. Ведь по оптимистическим оценкам, история русского либерализма насчитывает более двух столетий, во всяком случае, не менее полутора. Однако до сих пор среди исследователей существуют серьёзные расхождения во взглядах на отправной пункт определения либерализма.

Вместилище добродетелей, или вектор мышления?

Наиболее незамысловатый подход — перечисление признаков (скажем так, добродетелей), составляющих суть либерализма и отличающих его, напр., от консерватизма. Выявление таких признаков — полезная работа, но в конце её часто выясняется, что на многие из этих признаков могли бы претендовать и оппоненты либералов. Одна из возможностей избежать такой ситуации — вместо длинного перечня ограничиться одним главным признаком. В целом большинство подобных определений вращаются вокруг двух понятий — свобода и индивидуализм.

Наряду с указанным подходом, который можно было бы определить как сущностный, можно выделить функциональный подход, сторонники которого отвечают не столько на вопрос о целях, сколько о методах либерализма (компромисс, терпимость, и т. д.). Характерно, что в обыденном сознании советского времени либерализм ассоциировался с его «гнилой» ипостасью — мягкотелостью, попустительством и пр. С советской традицией трактовки либерализма перекликается попытка его определения путём привязки к определённой социальной слою — буржуазии (1). Правомерность такого подхода вполне признаётся и на Западе (2).

Перечисленные подходы объединяет общая черта. Для них либерализм есть нечто рационально познаваемое, уловимое в категориях «чистого разума». Однако, попытка углубления в проблему, выяснения причин предрасположенности

того или иного деятеля или мыслителя к либерализму (равно как и консерватизму, радикализму) погружает нас в атмосферу некоей мистической тайны. Ни социальное происхождение, ни воспитание, ни, надо полагать, биологическая наследственность не в состоянии объяснить идейно-политической ориентации. В связи с этим многими авторами признаётся, что либерализм — своего рода «этос», «метаполитическая концепция», включающая в себя не только приверженность той или иной партии, но и глубинную мировоззренческую установку (3).

Исторические формы либерализма — классический, постклассический («новый»), неоклассический — в разной степени представлены на российской почве. Неудачные результаты внедрения последнего порождают среди исследователей тоску по первому. Бытует мнение, что учёт «уроков истории» мог бы дать положительный эффект в современных условиях (4). Однако едва ли оно соответствует действительности. Либералам начала XX в. приходилось, при сравнительно благополучной ситуации в экономике, преодолевать фатальное упорство самодержавия в конституционном вопросе. Либералы конца века практически без усилий получили свободу и демократию, зато столкнулись (и частично сами вызвали) с тяжелейшим экономическим кризисом. Отсюда естественное различие в приоритетах. Даже когда дореволюционные либералы проявляли интерес к экономическим вопросам, они «усматривали главную причину экономической отсталости России не в сфере экономических отношений, а прежде всего в отсутствии в стране политических свобод» (5). Сразу вспоминается признание П. Б. Струве: «Русская интеллигенция не понимала значения и смысла промышленного капитализма» (6). Правда, существенно отличалась позиция П. Н. Милюкова. А. В. Гоголевский, анализируя одну из программных статей Милюкова, пишет: «...Понимая неразрывную связь политики и экономики, П. Н. Милюков не мыслил новое государство без нового аграрного и рабочего законодательства» (7). Одним из ключевых у него был тезис о возможности поэтапного решения политических и социальных проблем: вначале либералы и социалисты совместными усилиями добывают конституцию, а потом пусть социалисты в одиночку борются за интересы трудящихся. Разумеется, в кадетской программе содержался изрядный элемент социальной демагогии, и обрушиваться на Милюкова с критикой за «манчестерство» (!), как это делает, к примеру, А. В. Соболев (8), не совсем справедливо.

Стихийность или конструктивизм?

Сегодня активно обсуждается проблема: существовала ли в начале XX в. некая интегральная либеральная модель переустройства России, или она сконструирована *postfactum* в трудах современных исследователей. Здесь

сталкиваются два противоположных представления. Первое, представленное В. В. Шелохаевым, состоит в том, что такая модель, безусловно, существовала. Некоторые авторы обнаруживают, помимо этой основной модели, также ряд частных. По мнению Д. Е. Новикова, правомерно говорить о существовании у либералов «внешнеполитической доктрины (концепции) как целостной системы взглядов на цели и задачи внешней политики России, пути и средства их реализации». С. М. Смагина отмечает, что и в послеоктябрьской эмиграции либералы «попытались выработать оптимальную модель общественного устройства России» (9). Критически оценивает либеральное доктринерство А. Д. Степанский: «Либералам была совершенно чужда известная мысль “надо ввязаться в бой, а там видно будет”. Напротив, они стремились заранее предусмотреть все основные элементы той системы, которую планировали создать, здесь они нередко даже перегибали палку, преждевременно вдаваясь в подробности. Почти все разработанные проекты оказались мертворожденными...» (10).

С другой стороны, либерализм традиционно ассоциируется (не только в экономике) с принципом *laissez faire*, и, при всём их рационализме, страсти либералов к социальной инженерии не может сравниться с аналогичным пристрастием социалистов: «либеральная философия — это философия стихийности, спонтанности» (11), типичная «черта либеральных методов — их “антиконструктивизм”: либералы обычно поддерживают “социальную инженерию” лишь в той мере, в какой она устраняет преграды развитию уже сложившихся институтов и отношений. Их целью не является изобретение конкретных проектов “хорошего общества” и проведение в жизнь неких произвольно сконструированных моделей» (12).

Похоже, при анализе данной проблемы мы сталкиваемся с тем редким случаем, когда истина лежит в промежутке между крайними позициями: «В либерализме изначально заложена идея регулируемой нестабильности...» (13), что поясняется американским исследователем И. Шапиро: «Сторонники либерализма разделяют две обязательные основополагающие установки. Одна из них заключается в признании свободы личности наиболее значимой моральной и политической ценностью. Другая установка — это непоколебимая вера либералов в способность науки постепенно разрешать социальные проблемы» (14). То есть, либерализм естественным образом занимает срединную позицию между базирующимся на стихийности консерватизмом и базирующимся на рации радикализмом.

В этой связи не могу не отметить точку зрения М. А. Абрамова, которая стоит особняком и не разделяется мной. Он упрекает дореволюционных либералов не за избыток, а за *недостаток* доктринерства: «Отсутствие философской культуры, стихийный прагматизм приверженцев либерализма сыграли свою негативную роль в политической деятельности кадетов, пренебрегших не только теоретическим наследием Б. Н. Чичерина, но и научным потенциалом таких своих членов, как П. Новгородцев и П. Струве» (15).

Корни и заимствование

Значительное внимание исследователей по-прежнему привлекает проблема «корней» русского либерализма. Большинство авторов полагает, что обвинения в адрес либералов в бездумном заимствовании иностранных идей необоснованны, что экзотический плод либерализма мог произрастать и в российском климате (16). Что же касается заимствования, его никто не отрицает, но в нем не усматривается никакого преступления. Прежде всего потому, что заимствование осуществлялось дифференцированно, у русских либералов не было целостного метафизического представления о «Западе», а имелось чёткое осознание преимуществ и недостатков политических систем разных государств (17), «русские либералы... не стремились к слепому заимствованию западного опыта, учитывая в той или иной степени исторические особенности формирования русской государственности» (18).

Впрочем, если бы всё обстояло так благополучно, проблема и не возникла бы. Существуют и противоположные мнения. Например, что для западноевропейцев, в отличие от североамериканцев, характерно «пассивное понимание свободы, т. е. стремление исключить из жизни риск, нестабильность и хаос», что, к примеру, западногерманское государство (до объединения) «приучило своих граждан к тому, что опекает их на протяжении всей жизни и практически во всех сферах социального бытия», а характерная черта французов — «отсутствие духа свободного предпринимательства». Для исправления же этого положения тамошние либералы стремятся «интегрировать в французскую реальность как можно больше американского и японского» (19).

И вновь отметим своеобразие точки зрения М. А. Абрамова, не вписывающуюся в общую схему. Он полагает, на сей раз не без основания, что «заимствования русских либералов» начала XX в. с Запада уже были с дефектами, ибо тогда западная либеральная традиция переживала не лучшие времена, попала под социалистическое влияние. Результатом этого стало, например, отсутствие в кадетской программе «открытого признания частной собственности на землю» и поддержка общины (20).

Либерализм и консерватизм

Целый пласт проблем касается отношений либералов с другими идейными течениями, как рядоположенными (консерваторы, радикалы), так и выделяемыми по иным критериям (националисты, демократы). Консерватизм часто фигурирует в качестве *alter ego* либерализма, либо наоборот: «либерализм не противоположен консерватизму, а скорее может рассматриваться как его второе лицо, обращённое к будущему, а не к прошлому» (21). Роль сторон в этом симбиозе представляется так: «По мере утверждения либеральных

основ, превращения их в господствующие на Европейском континенте, консерватизм взял на себя функции охраны победившего либерализма» (22). При этом, охранять либерализм надо или от «друзей слева», или от самого себя: «Без присутствия консервативных элементов сама либеральная теория теряет почву под ногами и либо полностью растворяется во множестве прогрессистских течений, либо трансформируется в одну из разновидностей радикализма» (23).

Вызывает споры соотношение понятий «либеральный консерватизм» и «консервативный либерализм». Если в 1998 г. О.Л. Гнатюк отмечала, что многие авторы не разграничивают их (24), то на страницах сборника «Либеральный консерватизм» (2001), вопрос получил подробное освещение. Между В.В. Шелохаевым и В.Ф. Пустарнаковым развернулась косвенная полемика. Для первого «либеральный консерватизм представляет собой одну из форм либерализма как родового понятия», а консервативный либерализм — «левое крыло консерватизма», для второго — «либеральный консерватизм представляет собой в основе консерватизм, но с существенной “прививкой” идей из либерализма» (25). Разбиравший этот спор Б.М. Витенберг собственной позиции не высказывает, но, судя по его иронии, вопрос о том, откуда происходят ведьмы — из Новгорода или Киева — ему безразличен, и больших надежд на «гибрид» либерализма и консерватизма он не возлагает (26). Между тем, данный вопрос заслуживает серьезного отношения. Если исходить из соображений формальной логики, то, безусловно, консервативный либерализм — это либерализм, а либеральный консерватизм — это консерватизм, т. к. в словосочетаниях данного типа субъект важнее атрибута. Недаром Л.К. и В.В. Журавлевы выражают свою солидарность с В.Ф. Пустарнаковым: «Несущей конструкцией либерального консерватизма в России всё же следует считать консерватизм» (27).

В тех случаях, когда авторы не придают значения нюансам, оба рассматриваемых понятия сливаются в одно, каковым в подавляющем большинстве случаев оказывается «либеральный консерватизм». Рискну выдвинуть «лингвистическую» гипотезу о причине предпочтения этого термина: он на один слог короче, а потому экономичнее, что с точки зрения, например, неопозитивистской эпистемологии далеко не безразлично.

Продолжая цепь логических рассуждений, легко прийти к выводу, что консервативный либерализм / либеральный консерватизм должен занимать центристскую нишу. Н.И. Дедков так это и формулирует в связи с анализом взглядов В.А. Маклакова: «Консервативный либерализм можно охарактеризовать как следование в политике “средней линии”» (28). Но взгляды того же Маклакова дают поводы и для совсем иного утверждения. Вслед за В.В. Лентовичем А.В. Соболев настаивает: «Только у границы консервативного политического спектра и может существовать подлинный либерализм» (29). Это явно неоправданное ограничение либеральной палитры справа. Однако допускается и противоположный, левый «уклон» — «консервативный либерализм» в кадетской программе 1906 г. (30), т. е. там, где его и близко не

было. Подобное суждение кардинально противоречит самооценке кадетов, выраженной устами Милюкова на учредительном партийном съезде: «Наша программа наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы» (31). В данном случае кадетский вождь был на редкость адекватен.

Рассмотрение проблемы соотношения либерализма и консерватизма будет неполным, если ограничиться констатацией их близости и взаимодополняемости. Все же это разные, более того, противоположные феномены. По вопросу о сути их различия В. Ф. Пустарнаков полемизирует с Т. А. Филипповой, не соглашаясь с утверждением, согласно которому, «расходясь в решении конкретных политических вопросов, либерализм и консерватизм разделяют одни и те же основные культурные и этические ценности»... Консерватизм и либерализм исторически развивались как очень разные типы мировоззрения, идеологии и общественно-политической мысли» (32). Можно согласиться с В. Ф. Пустарнаковым в положительной части его утверждения — это действительно разные типы мировоззрения. Но возражение Т. А. Филипповой бьёт мимо цели, т. к. не совсем верно интерпретирует её мысль. Это, быть может, чётче видно в аналогичной цитате из другой её статьи: «На практике консерватизм отнюдь не предстает антиподом либерализма. Исправно оппонируя ему в конкретных политических ситуациях, он всё же разделяет с ним многие доктринальные и нравственные ценности» (33). Конечно, напрасно исследовательница сужает поле противостояния до «конкретных политических ситуаций», но в данном случае мы как раз возвращаемся к самой первой из рассмотренных выше проблем — о сущности либерализма (и, соответственно, консерватизма). Если попытаемся определить эти сущности через достаточно широкие совокупности признаков, то непременно придём, вслед за Т. А. Филипповой, к выводу, что оба множества в значительной мере совпадают. Если же вести речь о типах мировоззрения, нельзя не согласиться с В. Ф. Пустарнаковым.

Противоположность мировоззрений отчётливо видна на примере, приводимом А. В. Репниковым: «С целью опровержения политических концепций консерваторов их оппоненты пытались поставить под сомнение искренность их религиозных убеждений» (34). Действительно, здравомыслящему либералу трудно представить, как можно верить в такую чепуху, как существование бога. Он ещё готов мириться с религией из социально-политических соображений (уважение к традиции, «опиум для народа»), но его совесть, как минимум, равнодушна к ней, а то и вопиёт против этого закоренелого заблуждения рода человеческого.

С точки зрения того же самого здравомыслящего либерала, который постепенно превращается в «лирического героя» моего повествования, консерватизм — более примитивная идеология по сравнению с либерализмом, стремящаяся ограничиться более примитивным набором благ (без свободы, без справедливости). Но именно потому он и более устойчив в кризисных условиях. Очень характерный пример в этом смысле — поправка основной

массы кадетов в годы гражданской войны (своего рода кадетский «нэп» — отказ от доктрины под давлением обстоятельств). Н.И. Канищева делает на этом основании вывод: в критической ситуации либерализм «оказывался весьма податлив нажиму со стороны консервативных тенденций» (35). Можно добавить, что и радикализм в подобных ситуациях имеет заведомое преимущество перед либерализмом. Либерализм — слишком тонкий и хрупкий инструмент, чтобы применять его в неподходящих условиях.

Либерализм и национализм

Весьма серьезно разрабатывалась в последние годы тема «национализм и либерализм» (36). Ни этнонационализм, ни имперская идея никогда не пользовались почётом среди русских либералов. В начале XX в. большинство из них признавали «национальный» вопрос как вопрос еврейский, польский и т. д., но никак не русский. И даже в эмиграции П.Н. Милоков, слывший специалистом в национальном вопросе, по-прежнему с недоверием относился «к терминам “национальный”, “националисты”, полагая, что вследствие злоупотребления ими со стороны правых они звучат двусмысленно» (37).

Традиционное господство в русском либерализме антinationалистических и антиимперских идей вело к тому, что те либералы, которые придерживались иных взглядов, удостаивались порицания не только со стороны своих политических оппонентов, но и со стороны исследователей. О.Л. Гнатюк, высоко оценивая П.Б. Струве, оговаривается: «... Его аргументация в пользу “завоевательного” национализма (как свидетельства силы и здоровья большой нации) ... не делает Струве — как политическому мыслителю — чести». Более того, она пытается оказать Струве сомнительную услугу, защищая его от «наветов»: «Некоторые авторы и сегодня безосновательно считают, что в концепции “Великой России” он выдвинул “национально-либеральный империализм”, который “имел целью захват проливов и экспансию на Ближнем Востоке”» (38).

Б.Г. Капустин и И.М. Клямкин выражали серьезную обеспокоенность тем, что в сознании либерально настроенных россиян (таковых, по данным социологического опроса, набралось 4%) идея свободы тесно смыкается с национальной идеей (39). Казалось бы, надо радоваться, но призрак В.В. Жириновского, который бродил в то время по России, так напугал исследователей, что они пришли к выводу: единственная альтернатива социал-либерализму в создавшихся условиях — национал-социализм. Хотя на самом деле очевидно, что такой альтернативой является национал-либерализм. Отказываясь даже помыслить саму возможность национал-либерализма, Капустин и Клямкин, тем самым, примкнули к тупиковой милюковской ветви русского либерализма. Перспективной же, как представляется, является линия Струве, для которого национализм и либерализм — естественные союзники.

Эта линия находит в современной отечественной литературе всё больше сторонников. И не только в отечественной. Л. М. Дробижева, анализируя западную литературу, констатирует, что М. Линд, выступивший со статьей «В защиту либерального национализма», не одинок со своей точкой зрения (40).

В интерпретации Т. А. Алексеевой национализм выглядит, пожалуй, даже чересчур либеральным. Со ссылкой на А. Макинтайра она отмечает, что «патриотизм уже не менее рационален, чем универсалистские принципы справедливости» (41). Конечно же, патриотизм не рационален, но эта черта отнюдь не должна считаться недостатком, даже с точки зрения либерала. Вновь обратимся к авторитету Струве: национализм — «начало иррациональное и *не нуждается ни в какой этической санкции*» (42). Поэтому совершенно прав был другой классик, Н. А. Бердяев, когда отмечал «действительную трудность теоретического обоснования идеи патриотизма для либеральной философской доктрины» (43). И едва ли прав А. Н. Медушевский, причисляющий национализм к характерным признакам либерализма (44). Проблема как раз и состоит в том, чтобы объединить эти два феномена для взаимовыгодного сотрудничества. В противном случае такой мощнейший политический ресурс, как национализм, достается на откуп правым (а сегодня ещё и левым) радикалам.

Либерализм и демократия

Среди отечественных исследователей до сих пор вызывает споры вопрос о степени «неразрывности» либерализма и демократии, хотя западными теоретиками он решён ещё в XIX в.: это вполне независимые феномены, тесно сросшиеся лишь благодаря политической практике евроатлантической цивилизации. Аналогичным образом трактует этот вопрос, например, И. Н. Сиземская (45). С точки же зрения Шелохаева, подлинный либерализм, в отличие от «пара-квази-псевдолиберализма», неотделим от демократии (46). Клямкин и И. К. Пантин высказывают схожие мнения о том, что судьба российского либерализма напрямую зависит от возможности его синтеза с демократией. При этом, Пантин систематически развивает мысль о том, что в отличие от Запада, либерализм и демократия в России не дополняли друг друга, а сталкивались, и притом вину за эти столкновения исследователь склонен большей частью возлагать на либералов: «Своей догматической привязанностью к принципам правового либерализма (в противовес социальному)» русский либерализм «словно бы заключил мятежный дух свободы в жёсткий каркас существовавшей социально-политической система»; признание либералами прав и свобод «не имеет действительной ценности, если не сопровождается борьбой против самодержавия — основной силы политического угнетения общества» (47). Утверждение о том, что русские либералы отказывались от борьбы с самодержавием, присутствие которого в советской литературе можно

было так или иначе оправдать, сегодня звучит по меньшей мере странно. Многие русские либералы начала XX в. *не хотели* быть демократами (48). Но «ведущая партия либеральной буржуазии», кадетская, в борьбе за избирателя объективно вынуждена была выдвигать демократические лозунги.

В той мере, в какой исследователи признают различие либерализма и демократии, их позиции существенно расходятся по вопросу о том, какая из двух ценностей имеет более высокий приоритет. Если, например, из статьи А. В. Лукина с неизбежностью вытекает вывод, что в случае конфликта демократии с либерализмом выбор должен быть сделан в пользу последнего (49), то А. Г. Дугин занимает противоположную позицию (50). Определённым диссонансом звучит в этом споре и мнение А. А. Кара-Мурзы. На первый взгляд, создается впечатление, что его позиция проникнута скорее демократическим, чем либеральным пафосом. В то же время для него «главный вопрос всей политической мысли» — «как не допустить варвара в политику?» (51) Тут уже демократией и не пахнет.

Вообще говоря, из обсуждения в современной литературе проблем либеральной демократии и либерального национализма постепенно кристаллизуется вывод: если без синтеза с национализмом либерализм в России обречён на маргинальное существование, то без демократии он вполне может процветать, по крайней мере, в рамках переходного периода.

Либерализм и радикализм

Вполне логично, что расстановка исследовательских сил в обсуждении проблемы «либерализм и демократия» практически совпадает с расстановкой для проблемы «либерализм и радикализм». Те, кто считает русских либералов начала XX в. недостаточно демократичными, считают их и недостаточно радикальными. Отрицая первостепенное значение идеи социального равенства, российские либералы, по мнению Пантина, отдали политическую инициативу социалистам; реформистский путь развития, отстаиваемый либералами, оказался тупиковым (52). Сразу же напрашивается возражение — а разве где-либо вообще либералы придавали идее социального равенства *первостепенное* значение? Далее, ориентируясь преимущественно на реформы, либералы, тем не менее, при определённой политической конъюнктуре не исключали желательности революции (53). В связи с этим нельзя согласиться и с мнением О. Ю. Малиновой, усматривающей существенное различие между либералами начала и конца XX в. в «революционных методах» последних, породивших «немислимое словосочетание «радикал-либерализм» (54). Это словосочетание вполне мыслимо и применительно к началу XX в., а не применялось оно разве что потому, что сам по себе термин «либерализм» имел в то время радикальную окраску.

Вовсе не хочу тем самым утверждать тождества либерализма и радикализма. Напротив, глубоко правы те, кто считает, что симбиоз либерализма

и социализма (как главной разновидности радикализма) «не может представлять из себя ничего иного как химеру, т. к. главные устремления этих доктрин абсолютно разнонаправлены» (55). Эта мысль, на мой взгляд, гораздо ближе к истине, нежели, например, такие классики окололиберальной мысли, как С. Н. Булгаков или С. Л. Франк, считавший социализм «прямым выводом из либерально-демократических идей свободы и равенства» (56). Идея равенства, составляющая сердцевину социалистической доктрины, не имеет к либерализму (в отличие от идеи справедливости) ни малейшего отношения. Тем не менее либералы начала XX в. не вполне осознавали, что с социалистами им не по пути.

Большинство исследователей признаёт факт сращивания в России начала XX в. либерализма с радикализмом и даёт ему вполне заслуженную суровую оценку. В. И. Коваленко и А. И. Костин, признают, что в тогдашних условиях понятие либерализма часто не отделялось от радикализма; (57) В. Н. Жуков и А. Н. Загородников полагают, что тяготение к левым роковым образом сказалось на судьбах русского либерализма (58).

Но даже в работах тех исследователей, которые не отрицают радикализации русского либерализма в начале XX в., можно обнаружить чересчур снисходительное отношение к нему. А. В. Гоголевский следующим образом интерпретирует позицию Милюкова, который до революции 1905 г. осторожно относился к лозунгу всеобщего избирательного права: Милюков шёл к этому лозунгу «с опаской, вполне осознавая невежество масс и понимая, какую необузданную стихию могут развязать всеобщие выборы» (59). Увы, не вполне. Вплоть до выборов в I Думу Милюков всерьёз опасался (равно как С. Ю. Витте надеялся), что достаточно демократичный избирательный закон растворит без остатка горсть соли земли — либеральной интеллигенции — в пресноводном океане наивного мужицкого консерватизма (60). Впрочем, в другом случае русский либерализм выходит в изображении А. В. Гоголевского, наоборот, в чрезмерно радикальном обличе. Он преувеличивает роль радикальных активистов «Союза освобождения» в процессе образования и деятельности кадетской партии: «По воспоминаниям И. В. Гессена, на учредительном съезде присутствовали главным образом “освобожденцы”, образовавшие костяк партии» (61). На самом деле, в том месте воспоминаний Гессена, где идёт речь об учредительном съезде кадетской партии, мемуарист ни словом не обмолвился об указанном обстоятельстве (62). Более того, в «Воспоминаниях» Милюкова утверждается прямо противоположное: большинство освобожденцев на съезд просто не попали из-за железнодорожной забастовки (63). Что же касается их роли в выработке партийной политики, многие видные освобожденцы (В. Я. Богучарский, Е. Д. Кускова и др.) в кадетскую партию либо совсем не вошли, либо не прижились в ней.

В завершение анализа проблемы соотношения либерализма и радикализма следует обратить внимание вот на какое обстоятельство. Как правило, авторы избегают вступать в прямую полемику друг с другом, даже если их позиции кардинально расходятся (А. И. Володин в этой связи сделал меткое

замечание о громком диалоге глухих (64)). И как раз проблема избыточно-го/недостаточного радикализма русских либералов провоцирует исследователей на особенно категоричные высказывания (хотя, опять-таки, они не называют те мишени, в которые целются). Очевидно, острота этого вопроса вытекает из его политической актуальности. Отсюда неизбежные последствия — ангажированность, эмоциональность, порой прямые передержки. Чего стоит, напр., заявление С. Г. Кара-Мурзы о том, что идеалом (!!!) либерализма является война всех против всех (65). Там, где интеллектуально честные либеральные мыслители, начиная с Т. Гоббса, констатируют суровую реальность, прекраснодушные радетели за всеобщее счастье усматривают, очевидно, пропаганду насилия.

Милюков и Маклаков

Разумеется, в число причин расхождения исследователей в оценках степени радикализма русских либералов входят не только их субъективные пристрастия. Реальные разногласия либеральных лидеров даже внутри отдельных партий были достаточно велики, не говоря уже о широком разбросе мнений между различными партиями. О многих аспектах этих разногласий шла речь выше, но сюжет заслуживает того, чтобы специально посвятить ему несколько строк.

Если до революции 1905 г. главными лидерами «новых» либералов были Милюков и Струве, то затем ситуация изменилась. Струве эволюционировал вправо и уже не мог конкурировать с Милюковым за влияние на паству последнего. Основным милюковским оппонентом справа внутри кадетской партии думского периода в литературе единодушно, по традиции, заложенной М. М. Карповичем, признаётся В. А. Маклаков. При этом наибольший интерес исследователей привлекает не деятельность Милюкова и Маклакова в тот период, а осмысление ими, в эмиграции, истории русского либерализма.

Наиболее глубоко проанализировавшие аргументы сторон Н. И. Дедков и О. В. Будницкий приходят к взаимосогласующимся выводам. Последний отмечает, что неверно распространенное мнение, будто Маклаков «возлагал главную ответственность за случившуюся с Россией катастрофу на либералов»: «Говоря о том, что катастрофа более всего ударила по либеральному лагерю, он указывал, что суд истории осудит защитников старого режима более всех остальных, поскольку “они долгие годы имели в руках власть, никем не оспоренную и ничем не ограниченную”». Кроме того, Будницкий ставит под сомнение осуществимость предлагавшейся Маклаковым задним числом тактики сотрудничества с властью и указывает, что «сам Маклаков и в опубликованных текстах, и ещё более откровенно в переписке неоднократно признавался в личной для него невозможности пойти» на такое сотрудничество (66).

Дедков идёт дальше, и, в отличие от Будницкого, полагающего, что для Маклакова революция — «абсолютное зло» и что уже в 1904–1905 гг. Маклаков был убеждён в катастрофичности всякой революции «в стране исторического бесправия и невежества», рисует несколько иной портрет: «До начала первой русской революции Маклаков вёл себя гораздо менее осмотрительно и особого страха перед революцией не испытывал» (67). В подтверждение этого в другой статье Дедкова можно найти такое высказывание Маклакова, сделанное им 21.02.1905: «Есть некоторая польза в аграрных беспорядках. Такие явления усиливают затруднения, испытываемые правительством. Самодержавие делается всё более опасной профессией» (68). Важным штрихом к этому портрету является и цитата из Маклакова-эмигранта: «Я остался тем, чем был, и принципиально признаю и право на насилие, и иногда необходимость насилия. Если я признаю за государством право насилия..., то я по необходимости должен признать и право на революцию» (69). В свете этого анализа ясно, что представления Маклакова об истории русского либерализма были далеко не столь иллюзорными, как это видится, например, Пантину, а различие взглядов Маклакова и Милюкова не было столь кардинальным, как полагает А. В. Соболев (70).

Личность и деятельность Милюкова представлены в современной литературе в достаточно благоприятном свете. Трактовка мотивов его политических поступков, как правило, осуществляется в его пользу. Л. Г. Березовая следующим образом квалифицирует призывы Милюкова к организаторам декабрьского восстания 1905 г. одуматься и отменить его: «Хладнокровие политика уступило место интеллигентскому неприятию “бойни”» (71). Между тем, Милюков действовал в тот момент исключительно как хладнокровный политик (и в данном случае его нельзя упрекнуть). Он считал, что восстание неизбежно потерпит поражение, и это ослабит силы противников самодержавия (72). Так и вышло.

Важное отличие Милюкова от Маклакова усматривается исследователями в том, что если последний в эмиграции «покаялся», признал ошибочными те политические шаги своей партии, которые он считал таковыми (хотя во многом это было покаяние за чужой счёт), то первый продолжал политическую борьбу буквально до последнего дыхания. Лишь один документ полу-апокрифического характера, письмо неясной датировки и с неясным адресатом, содержащее несвойственный Милюкову самокритичный пассаж о том, что история проклянет кадетов за Февральскую революцию, будоражит умы исследователей. А. С. Сенин (73) и А. В. Соболев склонны считать этот документ подлинным, хотя последний оговаривается: «Почитатели Милюкова объявили эту переписку апокрифом, и сам Милюков в своих позднейших мемуарах ни словом о ней не обмолвился, но это лишь подтверждает несовместимость раскаяния с обликом жестоковейного лидера кадетов» (74). Однако, апокрифом счёл письмо С. П. Мельгунов, который в эмиграции ни в малейшей степени не был поклонником Милюкова. В мемуарах же Милюков хронологически не дошел до момента возможной отправки этого письма.

В то же время исследователи почему-то не обращают внимания на любопытное сообщение об указанном письме, появившееся в 1960 г. в Швейцарии (75), и включенное немецким историком Т. Боном в его обширную библиографию работ о Милюкове (76). Похоже, это сообщение, основанное на документе из архива германского МИДа, заслуживает большего доверия, чем статья Е. Ефимовского, на которую ссылается А. В. Соболев. Тем более, что сам Ефимовский позаимствовал сведения о письме из публикации в «Русском воскресении» от 1 апреля (!) 1955 г. (77).

Февральская революция

Апофеозом русского либерализма начала XX в., и одновременно началом его конца была Февральская революция. Строго говоря, вся история отечественного либерализма, начиная приблизительно с демонстрации 4 марта 1901 г. у Казанского собора в Петербурге — это история Февральской революции (включая 1905 год как её «генеральную репетицию» и октябрь 1917 г. как эпилог). Для марксистских историков в своё время общим местом было признание, что эта история разворачивалась по канонам фарса. Недаром в двадцатые годы олицетворением либерализма в беллетристике стали образы Кисы Воробьянинова (жена которого «нашла, что в очках он вылитый Милюков») и Васисуалия Лоханкина. Сегодня общепризнано, что это была трагедия, причём с несколькими промежуточными кульминациями.

За рамками внутрикадетских (Милюков — Маклаков) и внутрилиберальных (Милюков — Гучков) оппозиций лежали оппозиции гораздо более принципиальные: либерализм — самодержавие и либерализм — социализм. Современные исследователи, избавляясь от злорадного либо сострадательного фатализма своих предшественников по отношению к либералам, настаивают на «реальности и принципиальной реализуемости конституционной альтернативы в старой России» (78), на том, что «либеральная модель вполне имела под собой реальную материальную базу в виде сформировавшихся элементов гражданского общества и правового государства», но — увы — «верховная власть показала свою полную неспособность к “самообновлению”» (79). Вместе с тем ставится вопрос о механизме такого самообновления, поскольку простой «отказ от властных полномочий (как добровольный, октроированный, так и насильственный — путём революции и переворота) отнюдь не означает непосредственного перехода к правовому государству. В условиях вакуума власти отсутствие инфраструктуры демократических учреждений и низкая политическая культура сами по себе являются факторами, способствующими восстановлению более привычных для общества авторитарных институтов» (80).

В этих условиях особую ценность приобретает способность противоборствующих сторон к компромиссу. Казалось бы, с этой точки зрения в самом

неприглядном виде выглядят левые представители либерального лагеря — кадеты, — стремившиеся заблокировать даже столыпинскую аграрную реформу в то время, как октябристы пытались найти взаимопонимание с правительством по всему комплексу внутривластных проблем. Однако С.С. Секиринский находит объяснение и оправдание тому, что, на первый взгляд, выглядит политиканством кадетских лидеров, — их противостоянию реформе, которая «по своей основной идее» являла «образец именно либеральной политики»: «Делая ставку на саморазвитие патриархального института общины при максимальном освобождении посредством “малых” реформ от сковывавших её эволюцию “внешних” и “внутренних” пут, кадеты обосновывали возможность принципиально иной, действительно либеральной и потому компромиссной, “безболезненной”, щадящей стратегии реформаторства. Столыпин же самой практикой форсированного разрушения общины уподоблял реформу “социальному катаклизму”. Радикализму требований левых партий противостоял консервативный радикализм правительства» (81). В данном случае мы имеем дело с типичным примером упоминавшегося выше «функционального» подхода к характеристике либерализма.

Если указанная парадоксальная трактовка кадетских намерений заслуживает, как минимум, серьёзного внимания, то другие попытки «реабилитации» кадетизма порой лишь следуют в русле устоявшихся либеральных мифов. Эти мифы быстро заполнили пространство бывшей марксистской историографии не только потому, что либерализм оказался непосредственным преемником коммунизма на арене большой политики, но и в не меньшей мере потому, что историки (как и вообще интеллектуалы) чаще всего идентифицируют себя именно с либералами. По той же причине, кстати, среди крупных дореволюционных историков подавляющее большинство было либералами, преимущественно кадетами.

Приведу несколько примеров живучести либеральных мифологем. В.М. Швырин в рецензии на монографию А.Н. Медушевского пытается оспорить отстаиваемую последним интерпретацию выборгского воззвания. Если для автора «мотивация поведения либеральной оппозиции определялась во многом их установкой на усиление конфронтации с правительством, по аналогии с другими подобными западноевропейскими кризисами», а целью воззвания было восстановление масс против правительства (82), то рецензент, принимая сторону кадетов, утверждает, что они боялись беспорядков после роспуска Первой думы и хотели канализировать народное недовольство (83). На самом деле кадеты хотели в очередной раз надавить с помощью левых на правительство и повернуть колесо истории вспять — уж очень хорош был для них расклад в Первой думе (84).

Сходный пример можно обнаружить в учебнике «Политические партии России», где указано, что причиной неудачи предшествовавших роспуску Первой думы переговоров кадетов с Д.Ф. Треповым, П.А. Столыпиным и А.П. Извольским было то, что «царские бюрократы не желали идти ни на какие уступки кадетам» (85). Это утверждение выглядит чрезмерно катего-

ричным. Трепов соглашался на довольно далеко идущие уступки: «принудительное отчуждение», всеобщее избирательное право и т. п. (86). Другой вопрос, что за спиной бюрократов стоял ещё более непреклонный царь. Однако и кадеты в той ситуации преждевременно приступили к дележу шкуры неубитого медведя — поста премьера в «ответственном министерстве». Кроме того, как расценить отказ кадетов от принципа коалиции в проектируемом кабинете, при условии, что они не обладали в думе абсолютным большинством?

Третий пример на ту же тему любопытен тем, что в нём прослеживается эволюция взглядов одного и того же автора в верном, как мне представляется, направлении. Если в 1996 г. Ф. А. Гайда полагал, что целью Прогрессивного блока было «обеспечение согласованной работы государственного аппарата и широких общественных сил во имя победы» (87), то в 2002 г., в написанной совместно с Д. А. Андреевым статье о воспоминаниях В. И. Гурко, он утверждает: «Гурко выступал за указание правительству точных и ясных мер, которые оно могло бы провести в целях обороны, и рассчитывал на то, что документ станет основой для соглашения палат с прогрессивными министрами. Однако у думских либералов, прежде всего у кадетов, были другие цели. Программа в их руках превратилась в декларацию, основной задачей которой стало завоевание политической популярности в глазах общественности. Поведение радикальных либералов на переговорах с властью было деструктивным, ситуацию взял в свои руки более искушенный в подобных акциях Миллюков, и Гурко опять стал лишним» (88).

Вообще, для разъяснения участи Прогрессивного блока и в особенности его революционного детища — Временного комитета Государственной думы, чрезвычайный интерес представляет развернувшаяся в последнее время полемика Ф. А. Гайды и А. Б. Николаева. Позволю себе остановиться на этом, на первый взгляд, частном сюжете, подробнее, поскольку на самом деле он далеко не частный. 27 февраля 1917 г. — это ключевое событие российской истории XX столетия, когда действиями незначительного количества людей (верхушка Прогрессивного блока) на ограниченном пространстве (здание Таврического дворца) в непродолжительный отрезок времени (несколько часов) была решена, без преувеличения, судьба России. Совершенно прав был В. И. Старцев, когда писал: «У меня лично нет никакого сомнения, что все последовавшие за ней (Февральской революцией — *А. М.*) события, включая Октябрьскую революцию, гражданскую войну, сталинизм, террор и даже перестройку, генетически связаны с победой солдатского восстания 27 февраля 1917 года» (89). А победа восстания, в свою очередь, была обеспечена политическим прикрытием, предоставленным думой. Эта мысль развивается в новейшей работе Николаева (90).

Гайда, частью независимо от Николаева, частью в полемике с ним, категорически возражает против этой мысли. Он утверждает, что «ни о каком активном участии буруазии в революции и «пособничестве» силам, совершившим переворот в столице, на первых порах не могло быть и речи» (91), и ссылается при этом на Н. Н. Суханова. Однако, во-первых, Суханов по праву

заслужил лавры главного фальсификатора истории революции (не в смысле искажения фактов, а в смысле бесстыдства трактовок), а во-вторых, именно Суханов, с присущим ему литературным мастерством, запечатлел ключевой момент революции, имевший место вечером 27 февраля. Сцена стоит того, чтобы её процитировать: «Из кабинета Родзянки в комнату вошёл Милюков... У него был торжественный вид и сдерживаемая улыбка на губах. “Состоялось решение, — сказал он, — мы берём власть...” ...Я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение, новую благоприятную конъюнктуру революции... Закрепление переворота я считал теперь обеспеченным» (92).

В более поздней статье Гайды содержится оговорка относительно роли думы: «Её единственной робкой попыткой принять активное участие в революции было создание Временного Комитета, который сразу вынужден был выйти за рамки законности, чтобы удержать развитие событий в наиболее умеренном русле» (93). Однако, за исключением того, что здесь дезавуирован легкомысленный пассаж из статьи 1996 г. о том, что «Временный комитет действовал в соответствии со старым, то есть законным государственным порядком» (94), цена этой оговорки невысока. «Робкая попытка» думы на весах истории потянет больше, чем буйство двухсоттысячного петроградского гарнизона и организаторские потуги новорожденного совета вместе взятые. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением, что «революция свершилась не под эгидой Думы». Именно под её эгидой, под «крышей» февральский переворот пережил свои самые первые, критические часы. Указание на то, что значение Временного комитета резко упало впоследствии, ничего не меняет.

Судьба самой думы в послефевральский период — совершенно иное дело. Она действительно, как пишет Гайда, до революции не смогла занять «места в системе власти как реальное народное представительство» (95) и в силу этого после февраля сошла на нет. Третьеиюньская дума слишком сильно искажала реальную расстановку социально-политических сил в стране, поэтому триумфаторы первых революционных дней, кадеты, спешили от неё избавиться, помня о том, какие унижения им довелось перенести в ней, после триумфа в Первой думе.

Помимо этого, важнейшую роль в судьбе думы сыграл мотив личного соперничества, разрабатываемый в новейшей литературе Б. М. Витенбергом (96). Он акцентирует внимание на противостоянии М. В. Родзянко и Г. Е. Львова, корректируя версию событий, изложенную в мемуарах Милюкова. Однако и эта традиционная версия позволяет объяснить многое. Согласно ей, Львова усиленно продвигал в премьеры сам Милюков, надеявшийся играть при «безобидном» князе роль серого кардинала. Как указывает Будницкий, первый премьер Временного правительства на самом деле не был таким божьим одуванчиком, каким его часто изображают, и при случае сам мог пустить в ход интриги, отстаивая своё положение (97). Но поскольку в момент переворота он отсутствовал в столице, ключевую роль в «свержении» Родзянко довелось сыграть все же Милюкову.

Гайда следующим образом обрисовывает эту ситуацию: «И лидеры Петросовета, и члены нового правительства не желали связывать себе руки любыми контактами с призрачными институтами прежней власти, поэтому Родзянко и не стал главой кабинета» (98). На самом деле тут обратная последовательность: сущность дела заключалась в лицах, а в учреждениях — лишь форма. Милюков хотел оттеснить Родзянко, потому и играл на понижение акций Думы. А поскольку механизм поэтапной передачи власти по цепочке Николай — Родзянко — Львов (= Милюков) — Керенский — Ленин уже заработал, то остановить его было невозможно, и Милюков с такой же легкостью восторжествовал над Родзянко, как два месяца спустя Керенский — над ним самим.

Социальная база, или среда восприятия?

Выше упоминалось, что одно из определений либерализма, популярное в марксистской историографии, увязывает его с «буржуазностью». Однако в последнее время в литературе установилось мнение, которое отстаивал ещё А. Я. Аврех, о том, что русский дореволюционный либерализм не был «буржуазным». Даже прогрессистам не удалось превратить свою партию в «чисто капиталистическую» (99), не говоря уже о кадетях и октябристах. Впрочем, относительно прогрессистов существует и другое мнение (100). За отсутствием прочной буржуазной опоры, исследователи усматривают элементы социальной базы либералов в самых различных слоях. С точки зрения Медушевского, «в Германии и странах Восточной Европы, развивавшихся по пути модернизации, либеральная идеология выражала устремления всех передовых элементов общества; не связанная с каким-либо одним социальным слоем, она получила широкое распространение» (101). А. Л. Стародубова, напротив, присоединяется к точке зрения Шелохаева, что русский дореволюционный либерализм вообще не имел «адекватной среды восприятия» (102). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в последней формулировке речь идёт не о «социальной базе», а о «среде восприятия». Видимо, в данном случае мы имеем дело не со стилистическим разнообразием, а с принципиальным отличием. Аналогичный принцип был положен в основу энциклопедии «Политические партии России»: «И российский, и мировой опыт убеждает, что ни по своему социальному составу, ни по социальным группам и слоям, интересы которых декларируются в программах и лозунгах, нет и не может быть чисто классовых партий» (103).

Наиболее благодатной средой восприятия либерализма в России исследователи признают, естественно, интеллигенцию. Гораздо большие споры вызывает вопрос, насколько восприимчивыми были к нему в начале XX в. правящие круги. Если, например, И. В. Нарский полагает, что «модернизация России не вела автоматически и безусловно к либерализации и за политикой

С. Ю. Витте не стояло никакой либеральной программы, никакого правительственного либерализма, поскольку эта политика должна была укрепить существующую систему» (104), то А. П. Корелин следующим образом оценивает программу Витте накануне созыва I думы: «По сути это типичная либерально-консервативная программа, во многом заимствованная позднее П. А. Столыпиным» (105). Думается, последняя точка зрения ближе к истине, по крайней мере, в отношении Витте, который, кстати, считал, что даже Александр III, проживи он дольше, «по собственному убеждению двинул бы Россию на путь спокойного либерализма» (106).

Совершенно особой «средой восприятия» либеральных идей в начале XX в. было российское масонство, споры о роли которого в февральских событиях периодически вспыхивают с новой силой. В последнее время немало усилий для «развенчания масонской легенды» приложил В. В. Поликарпов (107). Однако его аргументация, основанная на огульном отрицании так называемых «некрасовских известий», вызывает серьёзные сомнения, на что обращает внимание И. С. Розенталь. Последний автор, между прочим, отмечает: «Быстрое формирование новой власти в дни Февральской революции явилось высшим, но и единственным достижением масонов» (108). В свете приведённых выше соображений о драматургии февральских событий такое «достижение» нельзя недооценивать.

Характерной чертой изучения либерализма за последние семь лет является реакция на излишества периода либеральной бури и натиска начала 90-х, на восторженность посткоммунистических увлечений. То, что для западных исследователей является обыденностью уже в течение столетий, вполне естественно произвело слишком сильное впечатление на выпущенных на свободу вчерашних подневольных марксистов. До сих пор процесс усвоения концепций до конца не завершён, но в настоящее время он сопровождается большей осознанностью, избирательностью, взыскательностью отечественной науки, избавляющейся от комплекса неполноценности по отношению к западной.

Тем не менее, налёт *избыточной* субъективности (не хочу сказать — конъюнктуры) ещё достаточно велик. И он будет оставаться таким до тех пор, пока оценка событий начала XX в. будет сохранять, наряду с научной, *политическую* актуальность в прямом смысле этого слова: пока общество будет опасаться за своё будущее, допускать возможность повторения февральско-октябрьского сценария.

Но преодоление этой субъективности на настоящий момент уже не представляется главной задачей исследователей истории русского либерализма. Прежде всего, наметился переход от прямолинейного «арифметического» анализа численности, социального состава, писанных программ различных партий к более изощренным методам, ориентированным в первую очередь не на воспроизведение содержания либерального сознания, а на по-

гружение в пучину их «бессознательного» (если таковое у либералов, конечно, имеется).

Оговорку по поводу наличия у либералов бессознательного я сделал не из праздного желания поиронизировать над ними. При анализе литературы мне бросилось в глаза одно любопытное обстоятельство. В.Ю. Карнишин в рецензии на книгу Нарского и Булдаков в рецензии на книгу О. Файджеса и Б. Колоницкого наблюдают, вслед за авторами монографий, под разным углом зрения, одну и ту же картину. Карнишин: «Давая оценку неизменных атрибутов черносотенных организаций — “знамена, пение гимна, крики “ура”, концерты духовной музыки в перерывах или по окончании собраний, коллективное моление”, — автор подчёркивает, что в подобной политической практике отражались крестьянское мироощущение и стереотипы поведения людей со слабым осознанием собственной личности, которая растворяется в коллективе» (109). Булдаков: «В новой (послефевральской — А.М.) системе властных символов сразу же возобладали сакральные знаки социалистического подполья — красные флаги, “Марсельеза” и т. п. Они неуклонно превращались в общенациональные символы. А поскольку у либералов своя символика отсутствовала, в массах возобладал “культ социализма”, в который вкладывалось традиционно-утопическое содержание» (110). Как видим, сугубый рационализм либералов подводил их и в данном случае. Пренебрежение элементарными вещами влекло за собой колоссальный политический ущерб.

Перспективным является анализ либеральной риторики (пресловутых «дискурсивных практик»), которой уделяется серьёзное внимание в работах Секиринского; вероятно, немало ещё сюрпризов таят в себе пути сравнительно-исторического изучения отечественного либерализма, которым интенсивно занимается Медушевский; накоплению нового фактического материала способствует «диверсификация» исследований, переход от работ о партиях к работам об отдельных личностях, любая из которых достойна, как минимум, десятка кандидатских диссертаций.

При всём при этом не следует упускать из виду, что если раньше партия навязывала «парадигму» силой, более или менее явно, в зависимости от внутривнутриполитического климата, то теперь мода предлагает её с виду ненавязчиво, но, в сущности, тоже достаточно назойливо.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Либерализм в России. — М., 1996. С.422.
2. Либерализм, консерватизм, марксизм. — М., 1998. С.35.
3. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. — М., 1999. С.111.
4. *Согрин В. В.* Либерализм в России. — М., 1997. С.21.
5. *Шелохаев В. В.* Либеральная модель переустройства России. — М., 1996. С.116.
6. Цит. по: Либеральный консерватизм: история и современность. — М., 2001 С.353.
7. *Гоголевский А. В.* Очерки истории русского либерализма XIX — начала XX в. — СПб., 1996. С.95.

8. Либерализм в России... С.304.
9. Русский либерализм... С.306, 522.
10. *Степанский А. Д.* Либеральная Россия, которую мы потеряли //Св. мысль. 1995. №12. С.98.
11. Там же (В. Ф. Пустарнаков). С.15.
12. *Малинова О. Ю.* Либерализм в политическом спектре России. — М., 1998. С.58.
13. *Алексеева Т. А.* Либерализм как политическая идеология//Полития. 2000. №1. С.120.
14. *Шапиро И.* Введение в типологию либерализма //Полис. 1994. №3. С.7–8
15. Опыт русского либерализма. — М., 1997. С.11–12.
16. *Пивоваров Ю. С.* Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX — первой трети XX столетия. — М., 1997. С.276.
17. Либеральная модель общественного переустройства России. — М., 1994. С.64.
18. Русский либерализм... С.331.
19. Либерализм Запада (Ф. Мало, К. Исмаль). — М., 1995. С.210, 215.
20. Возможности либерализма в осмыслении современного мира //Полис. 1994. №3. С.127.
21. *Секиринский С. С., Шелохаев В. В.* Либерализм в России. — М., 1995. С.4–5.
22. Либеральный консерватизм... (Т. Ф. Ермаченко). С.151.
23. Либерализм в России... (В. И. Прилеенский). С.353.
24. *Гнатюк О. Л. П. Б.* Струве как социальный мыслитель. — СПб., 1998. С.9,185.
25. Либеральный консерватизм... С.4,13.
26. *Витенберг Б. М.* Российские либералы во времена «мнимого конституционализма» //Новое литературное обозрение. 2001. №51. С.324.
27. Либеральный консерватизм... С.105.
28. Русский либерализм... С.544.
29. Либерализм в России... С.304.
30. *Осипов И. Д.* Философия русского либерализма, XIX — начало XX в. — СПб., 1996 С.106.
31. *Милюков П. Н.* Воспоминания. — М., 1991. С.208.
32. Либеральный консерватизм... С.17.
33. Русский либерализм... С.202.
34. Там же. С.329.
35. Там же. С.302.
36. *Малинова О. Ю.* Либеральный национализм. — М., 2000.
37. Призвание историка. — М., 2001. С.271.
38. *Гнатюк О. Л.* Ук. соч. С.145–146, 152.
39. *Капустин Б. Г., Клямкин И. М.* Либеральные ценности в сознании россиян //Полис. 1994. №1, 2.
40. *Дробышева Л. М.* Возможность либерального этнонационализма //Реальность этнических мифов. — М., 2000.
41. *Алексеева Т. А.* Ук. соч. С.127.
42. *Гнатюк О. Л.* Ук. соч. С.62.
43. Либеральный консерватизм... С.269.
44. *Медушевский А. Н.* Либерализм как проблема современной западной историографии //ВИ. 1992. №8/9. С.171.
45. Русский либерализм... С.209–210.
46. *Шелохаев В. В.* Русский либерализм как историографическая и историософская проблема //ВИ. 1998. №4. С.37.
47. *Пантин И. К.* Драма противостояния демократия/либерализм в современной России //Полис. 1994. №3. С.76, 81.
48. Либерализм в России... С.423.
49. *Лукин А. В.* Переходный период в России //Полис. 1999. №2.
50. *Дугин А. Г.* Демократия против либерализма //Элементы. 1998. №2.
51. Либерализм в России... С.59.
52. Либерализм в России... С.404; Русский либерализм... С.106.
53. Либеральная модель общественного переустройства России. — М., 1994. С.35,43.
54. *Малинова О. Ю.* Либерализм в политическом спектре... С.102.
55. Либерализм в России... С.351.
56. Либеральная модель... С.326.
57. *Коваленко В. И., Костин А. И.* Политические идеологии: история и современность //Вестник МГУ. Серия 12. 1997. № 2. С.54–55.
58. *Жуков В. Н.* Рец. на: Либерализм в России. — М., 1996 //Вопросы философии. 1998. №5. С.154; Русский либерализм... С.116.

59. Гоголевский А. В. Ук. соч. С.95.
60. Макушин А. В., Трибунский П. А. П. Н. Милоков: труды и дни (1859–1904). — Рязань, 2001. С.285.
61. Гоголевский А. В. Ук. соч. С.140.
62. Гессен И. В. В двух веках. — Берлин, 1937. С.205.
63. Милоков П. Н. Воспоминания... С.207.
64. Либерализм в России... С.421.
65. Кара-Мурза С. Г. Проект либерализации экономики России: адекватен ли он реальности? //Свободная мысль. 1992. №7. С.15.
66. Русский либерализм... С.416–417, 423.
67. Политические партии России: страницы истории. — М., 2000. С.312.
68. Либеральный консерватизм: история и современность. — М., 2001. С.288.
69. Русский либерализм... С.542.
70. Либерализм в России. — М., 1996. С.304–314, 404.
71. Русский либерализм... С.132.
72. Милоков П. Н. Год борьбы. — СПб., 1907. С.171.
73. Сенин А. С. А. И. Гучков... С.153.
74. Либерализм в России ... С.300.
75. Epstein J. Wer stuerzte den letzten Zaren? //Schweizer Monatshefte fuer Politik, Wirtschaft, Kultur. Juli 1960.
76. Bohn T. Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905. — Koeln, 1998. S.409.
77. Ефимовский Е. Перед судом истории //Возрождение. 1956. Т.51.
78. Секиринский С. С. Власть, общество и народ в ретроспективе конституционных проектов //Отечественная история. 2002. №5. С.191.
79. Политические партии России в зеркале энциклопедии: проблемы и решения //Отечественная история. 1997. №3. С.140.
80. Шевырин В. М. Рец. на: А. Н. Медушевский. Демократия и авторитаризм. — М., 1998 //Вопросы истории. 1999. №3. С.166–167.
81. Секиринский С. С. Российские реформаторы //Отечественная история. 1997. №3. С.131.
82. Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм. — М., 1998. С.418–419.
83. Шевырин В. М. Ук. соч. С.166.
84. Милоков П. Н. Год борьбы... С.525.
85. Политические партии России: история и современность. — М., 2000. С.160.
86. Милоков П. Н. Воспоминания... С.251–252.
87. Гайда Ф. А. Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия //Вопросы истории. 1996. №3. С.34.
88. Андреев Д. А., Гайда Ф. А. В. И. Гурко и его воспоминания //Отечественная история. 2002. № 6. С.146.
89. Старцев В. И. Свержение монархии и судьбы России //Свободная мысль. 1992. №7. С.81.
90. Николаев А. Б. Государственная дума в Февральской революции. — Рязань, 2002.
91. Гайда Ф. А. Февраль 1917 года... С.34.
92. Суханов Н. Н. Записки о революции. — М., 1991. Т. 1. С.97.
93. Гайда Ф. А. Февральская революция и судьба Государственной думы //Вопросы истории. 1998. № 2. С.41.
94. Гайда Ф. А. Февраль 1917 года... С.35.
95. Гайда Ф. А. Февральская революция... С.42.
96. Витенберг Б. М. М. В. Родзянко или князь Г. Е. Львов? Проблема лидерства в объединенной оппозиции //Отечественная история. 1999. № 4.
97. Будницкий О. В. Нетипичный Маклаков //Отечественная история. 1999. № 3. С.71.
98. Гайда Ф. А. Февральская революция... С.34.
99. Либеральная модель... (В. В. Шелохаев). С.10.
100. Селецкий В. Н. Прогрессизм как политическая партия и идейное направление в русском либерализме. — М., 1996.
101. Медушевский А. Н. Конституционные проекты русского либерализма и его политическая стратегия //Вопросы истории. 1996. №9. С.3.
102. Российские либералы. — М., 2001. С.221–222.
103. Политические партии России: конец XIX — первая треть XX века. — М., 1996. С.6.
104. История национальных политических партий России. — М., 1997. С.329.
105. Корелин А. П. Рец. на: Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. С. Ю. Витте и его время. — СПб., 1999 //Отечественная история. 2000. № 6. С.193.

106. *Витте С. Ю.* Избранные воспоминания. — М., 1991. С.270.
107. *Поликарпов В. В.* Рец. на: Февральская революция. 1917. — М., 1996 //Вопросы истории. 1998. № 1. С.157; Из следственных дел Н. В. Некрасова 1921, 1931 и 1939 годов //Там же. 1998. №11/12.
108. *Розенталь И. С.* Масоны и попытки объединения политической оппозиции в России начала XX века //Вопросы истории. 2000. № 2. С.64,65.
109. *Карнишин В. Ю.* Рец. на: И. В. Нарский. «Революционеры справа». — Екатеринбург, 1994 //Вопросы истории. 1997. № 7. С.163.
110. *Булдаков В. П.* Рец. на: *Файджес О., Колоницкий Б.* Вглядываясь в русскую революцию. — New Haven—Lnd., 1999 //Вопросы истории. 2001. №6. С.165.

ИСТОРИЯ РЕФОРМАТОРСКОГО НАРОДНИЧЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Геннадий МОКШИН

Сегодня история и идеология русского народничества, по всей вероятности, не вызывает такого интереса в историческом сообществе, как это было в 60–80-е гг. XX в., когда увидели свет труды М. Г. Седова, Б. С. Итенберга, С. С. Волка, Е. Р. Ольховского, В. А. Твардовской, В. Ф. Антонова, Н. А. Троицкого и мн. др. «классиков» отечественного народниковедения. Современных исследователей общественно-политической мысли дореволюционной России всё больше и больше привлекают идеологи русского консерватизма и либерализма, чьё идейное наследие ещё не так давно оставалось закрытым для серьёзного научного анализа.

Все это, однако, не означает, что народническая тематика перестала быть актуальной и старая традиция прервалась. Просто идеологический плюрализм 1990-х гг. позволил новому поколению исследователей обратиться к так называемым «белым пятнам» нашего прошлого, которые оказались и в истории народничества. Прежде всего, это, конечно же, проблема террора и шире радикализма в идеологии и практике народнических организаций 70–80-х гг. XIX в. и их преемников — социалистов-революционеров (1). Многие историки стремятся теперь представить революционеров «заложниками заблуждения» и осудить их за «нетерпение мысли», что вызывает, в общем, справедливые нарекания со стороны старшего поколения исследователей русского освободительного движения (2). В то же время некоторые идеи, например, о том, что народовольцы, сами того не сознавая, боролись не за волю народа, а за собственные права и свободы (3), вполне созвучны современному уровню осмысления истории русской радикальной интеллигенции.

Социальные издержки утверждения в России рыночной экономики вновь актуализировали старые споры народников с марксистами о судьбе капитализма в России, об особой исторической миссии русской интеллигенции, призванной дать ответ: какая цивилизация нужна нашему народу, какой тип развития лучше всего соответствует его духовным и материальным потребностям (4). Известно, что приоритет в разработке этих проблем принадлежал представителям либерального (легального или ещё точнее реформаторского)

народничества, которые отрицали насильственные средства преобразований в условиях модернизации страны и перехода к индустриальному обществу. Главными их теоретиками были И. И. Каблиц-Юзов, В. П. Воронцов, С. Н. Кривенко, Н. К. Михайловский.

Данная статья посвящена новым подходам к изучению процесса формирования и эволюции мировоззрения народнической интеллигенции второй половины XIX в., подходам, которые получили отражение в новейшей историографии русского реформаторского народничества.

Изменение приоритетов в изучении революционного и реформаторского народничества

Дело в том, что в современной учебной, энциклопедической и отчасти специальной исторической литературе по-прежнему господствует марксистско-ленинская (социально-классовая) концепция народничества. Суть её такова. Народники — это крестьянские демократы. Их знаменитое учение о возможности некапиталистического развития России, опираясь на крестьянскую общину, объективно выражало интересы мелкобуржуазного крестьянства. Изменить ход русской истории крестьянские демократы были не в состоянии, но они могли попытаться облегчить переход сельского населения к капитализму, что и стало практической задачей либерального народничества 80–90-х гг. XIX в (5).

Подобному пониманию социальной природы народничества соответствует, так скажем, «прямолинейная» периодизация его истории: 1860-е — начало 1880-х гг. — история революционного народничества; 80–90-е — либерального (его история отсчитывается с 1881 г.).

Эволюцию народничества историки-марксисты напрямую связывают с изменением социальной природы русского крестьянства — его постепенным обуржуазиванием. Шестидесятники и семидесятники хотели поднять крестьян на революцию, в 1880-е гг. народническая мысль снизошла до идеологии «малых дел» и «тихой культурной работы». Налицо тенденция к «понижению» идейно-теоретического уровня (по сравнению с основоположниками народничества А. И. Герценым и Н. Г. Чернышевским), что оказалось одной из причин перерождения некогда «активного» (действенного) народничества в «пошлый мещанский оппортунизм» либеральных народников и утраты им характера прогрессивного общественного движения. «На чистую воду» вывели эпигонов народничества (Михайловского, Даниельсона, Воронцова, Кривенко, Южакова) только русские марксисты — истинные наследники революционных демократов 40–60-х гг. XIX в.

Нетрудно догадаться, изучению какого течения в народничестве (революционного или либерального) марксистская его концепция препятствовала с наибольшей силой. Возьмем для примера учебник для исторических

факультетов университетов «История России XIX — начала XX вв.» под ред. В. А. Федорова (М., 1998). Истории революционного народничества здесь по традиции уделено 12 убогих страниц. Либеральному (легальному) — всего 12 строк. Примерно такое же соотношение (по объему исследований) было и в советской историографии народничества.

Главная причина не просто замалчивания, а *целенаправленного извращения* доктрины народников-реформистов (атрибутация её как реакционной мелкобуржуазной утопии, соединенной к тому же с политической трусостью и угодничеством перед самодержавием) чисто идеологическая. В 90-е гг. XIX в. — период самоутверждения русского марксизма, именно народники-реформисты оказались его главными оппонентами. Согласно их трактовке, «нео-марксисты», выделяя в качестве основы жизни экономические условия, а все остальные считая «надстройкой», забыли о человеческой личности и обо всех неэкономических факторах, так тесно связанных с капитализмом. Подобное понимание исторического процесса обезличивало интеллигенцию и народную массу, низводя их до степени шашек, которыми играли господин капитал и госпожа индустрия и прочие, не подлежащие воздействию экономические факторы. В конечном счёте, это учение делало живого человека заложником экономической схемы, по которой ему надлежало «быть строительным материалом, заполнить скорее исторический ров и образовать собою гать, по которой перейдут будущие, не существующие ещё поколения в лучшую жизнь» (6).

Даже сойдя с политической сцены, реформаторское народничество по-прежнему заключало в себе потенциальную опасность, т. к. глубокое проникновение в его социальную философию могло посеять сомнение в непогрешимости марксистско-ленинской концепции исторического развития. Не случайно смысл абсолютного большинства работ советских историков о либеральном народничестве (в первую очередь докторских и кандидатских диссертаций, претендующих на новизну и научную значимость) сводился к его «критике», «разоблачению» и «разгрому» русскими марксистами. Лучшая защита это, безусловно, нападение.

Первая диссертация о легальном народничестве, в которой была предпринята попытка изучения содержательной стороны идеологии либерального народничества без утрированных обвинений в реакционности и сознательном затушевывании эксплуатации трудящихся, была защищена В. Г. Хоросом в 1967 г. Через пять лет он опубликовал её в виде монографии (7). Первая «ласточка» наделала тогда много шума (особенно зачисление Воронцова и Каблица в разряд продолжателей традиции «русского социализма»), но долгожданной весны (начала «реабилитации» идей легального народничества) она не принесла.

Настоящий прорыв в традиционной схеме изучения идеологии правого народничества сделала кандидатская диссертация В. И. Харламова о И. И. Каблице-Юзове, выполненная в МГУ в 1980 г. (под руководством М. Г. Седова) (8). Харламов первым предложил новую периодизацию истории

либерального народничества, начав её с рубежа 50/60-х гг. XIX в (9). В 1994 г. он рассказывал автору этих строк, как здорово ему досталось от оппонентов. Ведь это был подкоп под концепцию классового перерождения народничества, на которой строилась вся марксистская критика идеологии либеральных народников.

Однако потребовалось ещё долгих 15 лет, чтобы устами Б.П. Балуева, автора монографии «Либеральное народничество на рубеже XIX–XX веков» (М., 1995), признать, что никакого идейного разгрома русскими марксистами идеологов либерального народничества не было. Это миф. В начале XX в. народничество (правда, уже в лице эсеров и энесов) переживало явный подъём. В лагере легальных марксистов, напротив, наступила дезорганизация, завершившаяся переходом части марксистов на позиции идеализма.

Впрочем, мы не собираемся отбрасывать марксистскую интерпретацию народничества, бросаться из одной крайности в другую, тем более что социально-классовый подход, безусловно, имеет свои резоны. Научный плюрализм предполагает сосуществование различных исследовательских подходов, кстати, сложившихся ещё в дореволюционной историографии народничества. Истина не может принадлежать представителям какого-либо одного идейного течения (марксистам, либералам, консерваторам или самим народником). Истина открывается только в сравнении всех позиций между собой, она во взаимодействии и противодействии. Ведь что такое народничество до сих пор неизвестно, настолько широко и многообразно это явление пореформенной русской жизни. Было народничество прогрессивное (революционное и легальное) и консервативное (славянофильское и почвенническое), социальное и религиозное, ортодоксальное и критическое. Уже сами народники 70–90-х гг. XIX в. затруднялись выработать приемлемую для всех, так сказать, универсальную формулу народничества (а такие попытки принимались не раз и не два, а на всем протяжении его истории). При этом каждая народническая фракция утверждала, что только её идеологи знают, чем живет и что хочет наш народ, только она одна истинно народническая. Все хотели, чтобы их воспринимали как рупор многомиллионного русского народа. С этой точки зрения, даже марксизм можно рассматривать как разновидность народничества (в широком смысле этого слова) (10).

Современные исследователи идеологии русского реформаторского народничества, судя по работам последних лет, видят главной своей задачей дальнейшее развитие процесса его «реабилитации», начавшегося на рубеже 1980/90-х гг. Прежде всего, это касается признания народничества такой же «научной» доктриной, как марксизм. При этом новые подходы к изучению русского народничества актуализируют ряд проблем, которые прежде мало занимали внимание историков. Назовем главные из них. Во-первых, это вопрос о наименовании неревolutionного крыла русского народничества. Многие исследователи считают, что термин «либеральное» народничество не отражает внутреннего содержания этой доктрины. Второй вопрос касается пресловутого раскола интеллигенции с народом, оказавшегося для народни-

чества настоящей «ахиллесовой пятой». В статье будет предпринята попытка доказать, что разногласия именно по этому вопросу в 90-е гг. XIX в. приведут реформаторское народничество к глубокому внутреннему кризису. И ещё одна сложная задача связана с разработкой исследователями проблем возникновения, эволюции и кризиса реформаторского народничества, нашедших отражение в новой внутренней периодизации его истории.

Что такое русское народничество?

Новая постановка проблемы

Один из новых подходов к пониманию народничества предполагает рассмотрение его истории в контексте процесса самоидентификации пореформенной русской интеллигенции. Сама «интеллигенция», как часть образованного русского общества, со своей особой маргинальной культурой, по мнению ряда отечественных и зарубежных исследователей, возникла во второй четверти XIX в. из-за несоответствия между социальным статусом этой группы и той особой общественной роли, на которую она начинала претендовать. Можно сказать, что *оппозиция* к существующему в России режиму сформировала русскую интеллигенцию (11).

«Субъективно считая себя выразительницей взглядов крестьянства, народническая интеллигенция, — пишет один из ведущих специалистов по истории реформаторского народничества В.В. Зверев, — объективно выражала собственное видение происходивших процессов и пыталась оказать на них влияние» (12). Подробно проанализировав дореволюционную историографию легального народничества, исследователь обнаружил, что подобная точка зрения высказывалась ещё в начале XX в. А.Н. Потресовым и Ю.О. Мартовым. Последние рассматривали эволюцию русского народничества от революционизма к идеологии «малых дел», исходя из «нарастания группового самосознания интеллигенции», которое развивалось в направлении более реалистичного понимания своего общественного предназначения и собственных интересов (13).

Одним из первых постсоветских исследователей, кто пришёл к такому же выводу, была Л.Г. Березовая. Народничество, пишет она это не столько национальная идеология, сколько тип сознания, миропонимания определённой части русской интеллигенции, который она выработала в условиях ускоренной модернизации России с целью собственной идентификации. «Народничество стало национальной религией тех, кто отрёкся от Бога, чурался власти и не принадлежал к народу» (14).

Сами идеологи народничества неоднократно признавали, что оно возникло как ответ на вопрос: «что интеллигентный человек может сделать для народа?». Все теоретики не только революционного, но и легального народничества стремились научно обосновать ту особую роль в русской жизни, на

которую претендовала народническая интеллигенция, а именно: быть главным выразителем и защитником мнений и интересов простого народа перед лицом власти и остальной части русского общества.

Главная особенность народнического сознания (в отличие от национального) — это самоопределение через народ. Точнее через специфическое представление о русской жизни как некоей дихотомии (народ — не народ). В народническом понимании «народ» — это физически трудящиеся классы. «Не народ» — все остальные, включая так называемых «работников умственного труда» (народу от их деятельности, в лучшем случае, «ни тепло, ни холодно»). Интересы двух частей общественного организма если не диаметрально противоположны, то, во всяком случае, не совпадают. Поэтому самоопределиваться для народнической интеллигенции — это значит решить дилемму: с народом или против него. От этого зависело «настоящая» она интеллигенция или нет. Для иллюстрации приведём отрывок из письма студента Медико-хирургической академии С. С. Голоушева к матери. «Народ, — делится он с ней в феврале 1874 г. своими самыми сокровенными мыслями, — единственный производитель, он кормит и поит целый класс бесполезных ему и вредных паразитов, из среды которых и мы с вами вышли и к которым отчасти пока ещё и принадлежим. И всякий человек, не обративший всю свою деятельность, не отдавшийся совершенно на служение народу, является непременно паразитом и вором» (15).

Здесь мы подошли к необходимости разобраться с главной идеологемой русского народничества — «интеллигенцией». Если народничество есть выражение группового самосознания определённой части отечественной интеллигенции, то что же представляла собой она сама?

Дать определение русской интеллигенции очень сложно, т. к. отношение к ней как к особому феномену пореформенной жизни России утвердилось в литературе совсем недавно. Многие исследователи и теперь, не без оснований, доказывают, что никакого феномена не существовало, и мы имеем дело с мифами о русской интеллигенции (т. е. с её мечтами о том, чему так и не суждено было сбыться) (16).

В любом словаре можно прочитать, что под интеллигенцией следует понимать профессиональных работников умственного труда (включая учащихся высших и старших классов средних общеобразовательных и специальных учебных заведений). До начала 90-х гг. это социологическое определение интеллигенции считалось аксиомой. Марксистская идеология всеми силами пыталась внушить интеллигенции, что у неё нет и не может быть особых «классовых» интересов, она в лучшем случае прослойка между классами. А раз так, то её роль в общественной жизни не самостоятельная, а сугубо служебная — обслуживать соответствующие потребности государства и общества.

Однако предотвратить возникновение в среде интеллигенции политической оппозиции старая (советская) власть так и не смогла. Сегодня уже не секрет, что именно интеллигенция как наиболее сознательная и граждански активная часть нации оказалась главной социальной базой и опорой демокра-

тии. И она останется таковой до тех пор, пока не созреет класс частных собственников (17). Осознание этой отличительной особенности российской модернизации и особой роли в ней интеллигенции (особенно в процессе вытеснения традиционного типа сознания современным) вызвали в научной печати и публицистике настоящий «интеллигентский бум» (18). А.В. Шапошников предложил считать интеллигентами всех, кто сам себя так называет, т. е. использует это понятие для самоидентификации (19). Как ни странно, но именно оно даёт ключ к пониманию того значения, которое придавали ему русские народники в 70–90-е гг. XIX в.

Для того, чтобы установить конкретное содержание дефиниции «интеллигенция» в народнической её интерпретации, рассмотрим один отрывок из журнала «Отечественные записки». Этот текст появился в начале 1880-х в связи с нападками на либерально-демократическую интеллигенцию со стороны газеты «Новое время». Устами А.С. Суворина, охранители попытались скомпрометировать интеллигенцию буржуазным характером её требований введения в России политических свобод.

Главным критерием принадлежности к новой русской интеллигенции, по мнению внутреннего обозревателя «Отечественных записок» (С.Н. Кривенко), выступала деятельность на общественную пользу, стремление к совершенствованию существующего порядка, к уничтожению всяких привилегий во имя идеи всеобщего блага и процветания, а не ради своих личных или «карманных» интересов. «Выдвинутая процессом истории и дошедшая до сознания гражданских своих обязанностей, она отдает себя всецело общественному делу и, прежде всего, думает об этом деле, а не о себе, своём брюхе». Интеллигенция «знает, во что обошлась она народу, знает, что, вследствие запутанности жизненных условий, она лежит на нём, хотя бы и не непосредственным бременем, и теперь желает отдать ему больше, чем взяла и берёт, желает отдать ему всё, что может». «Она постольку и существует, поскольку нужна народу, и до тех пор существует, пока в ней имеется необходимость, как в отдельной, дифференцированной силе. Ей тяжело это отдельное состояние, созданное совершенно помимо её воли. Ей часто не находится определённого места в жизни при настоящих экономических и политических условиях, и не достаётся на её долю ни минуты спокойствия; она живёт гораздо больше надеждами и будущим, чем настоящим; она вечно стремится вперед, к вечной правде, и зовет за собою других, прокладывая им пути... Немного у нас такой интеллигенции. Деятельность её только началась..., но такова именно новая интеллигенция, которой предстоит сыграть историческую роль, и иною она быть не может» (20)..

Итак, перед нами типичный интеллигентский текст, дающий обоснование характерному для народничества социально-этическому подходу к пониманию того, что есть «настоящая» русская интеллигенция. Это бессословная социальная группа, принадлежность к которой определяется наличием «критического» мышления, т. е. исповедованием определённой системы взглядов. В данном историческом контексте термин «интеллигенция» означал самона-

звание разрозненных маргинальных групп разночинцев, которые, попав под влияние народнической идеологии, использовали это слово (видимо, пушенное в оборот И. С. Аксаковым в самом начале 1860-х гг (21)), чтобы отделить своих единомышленников от противников радикальных социальных преобразований России.

Можно сколько угодно оспаривать образ мысли и «раздутое» самомнение так называемой «прогрессивной» русской интеллигенции, но факт остаётся фактом. Её политические и идейные враги с «интеллигенцией» себя, как правило, не отождествляли. А если и делали это, то лишь для того, чтобы отнять у либерально-демократической интеллигенции право считать себя «мозгом нации» и «совестью народа».

Обобщая сказанное, согласимся с мнением И. Герасимова о том, что «интеллигент» — это интеллектуал в модернизирующемся обществе, который берёт на себя несвойственную интеллектуалам (т. е. людям интеллектуального труда) функцию реорганизации общества в поисках новой социальной идентификации (22). Нигде в Европе слово «интеллигенция» не употребляется в смысле особой общественной силы, которая берёт на себя роль носителя исторического, нравственного и иного самосознания общества, творца новых социальных форм и этических идеалов.

Ещё раз подчеркнём, что можно ставить под сомнение те нравственные достоинства русской интеллигенции, за которые ратовали П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, С. Н. Кривенко, В. П. Воронцов и другие идеологи русского народничества. Они действительно создали «Великий миф» о русском интеллигенте как бескорыстном слуге народа и прогресса. Здесь важно другое: то, что определённая часть образованной российской молодежи усвоила этот миф и энное количество десятилетий вела себя так, как будто она и в самом деле «великий ускоритель» русского исторического процесса. И с каждым годом её роль в общественной и политической жизни страны не уменьшалась, а наоборот, возрастала.

В итоге получается следующий смысловой ряд: народник — это интеллигент/ интеллектуал, пытающийся найти своё место в модернизирующемся обществе. Нельзя сказать, что это единственно верное понимание сущности русского народничества. Однако именно этот подход создаёт перспективу для изучения идеологии русского реформаторского народничества, ибо трактует её не как какой-то тупик в развитии народнической мысли, но как важный шаг вперёд по пути перерастания русской интеллигенцией сознания «лишних людей», как своего рода «детской» болезни формирующегося социального организма.

«Реабилитация» легально-народнической концепции модернизации России

Как известно, в основе народнического плана реформирования страны лежало специально разработанное П. Л. Лавровым и Н. К. Михайловским учение о сущности, формах и движущих силах социального прогресса, учение, призванное обосновать необходимость и возможность построения в России социалистического общества.

Советская историческая наука всегда трактовала народническую теорию прогресса как субъективно-идеалистическую и антиисторическую. Главный объект её критики — субъективный метод, руководствуясь которым народники представляли критически мыслящих личностей (интеллигенцию) сверх исторической силой. Но вот в 1994 г. В. В. Блохин в диссертации, посвящённой историческим взглядам Н. К. Михайловского, задается вопросом: можно ли отрицать эвристическую значимость теорий, если они (несмотря на весь свой утопизм, т. е. подход к действительности по принципу должествования) на практике нормируют жизнь и управляют действительностью? (23). В итоге Блохин приходит к заключению о том, что социология народничества *научна* в такой же мере, как и марксизм, как и любая иная научная система. Нет и не может быть, пишет ученый, универсальных и неизменных критериев научности, без учета социо-культурной динамики (изменения запросов конкретно-исторической среды) (24). Иными словами, общественный прогресс невозможно объяснить без учёта психологического или личностного фактора в истории, игнорируя «стихийную силу» индивидуального сознания, как это делали марксисты.

Сказанное выше означает, что и сам социалистический идеал народничества, призванный разрешить проблему самореализации личности в истории, исторически преходящ. Его появление было обусловлено переходным состоянием российского общества, мучительным процессом экономической модернизации страны со свойственными ей социальными издержками, что, в конечном счете, и вызвало в умах интеллигенции психологический перелом. С 60-х гг. XIX в. в её среде быстро формируется тип личности, активно стремящейся к альтруизму, к самопожертвованию, самоотдаче, бескорыстию, отказу от личного блага (25). Заметим, что причины «народопоклонства» русской интеллигенции прояснены ещё не до конца. Поэтому нравственно-психологический подход к изучению генезиса русского народничества в последние годы все больше и больше привлекает внимание учёных (26).

Важнейшей составной частью народнической концепции пореформенного развития России является теория о «невозможности» развития в ней капитализма. Известно, что её экономическое обоснование в 80-е гг. XIX в. дали идеологи именно реформаторского народничества (В. П. Воронцов и Н. Ф. Даниельсон). По выражению Р. Уортмана, эта теория укрепила веру русской

интеллигенции в её идеалы и два последующих десятилетия служила «главной линией обороны народнической веры» (в том числе и в спорах народников с марксистами) (27).

Сегодня даже в школьных учебниках пишут, что русские марксисты сильно преувеличили степень зрелости отечественного капитализма. Этим историки как бы отдают дань народникам, которые первыми показали объективную картину состояния российской экономики. Однако их главный тезис о «мертворожденности» русского капитализма, по понятным причинам, вызывает скепсис. Ведь народники-экономисты, как это показано в монографии В.В. Зверева «Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов: Два портрета на фоне русского капитализма» (М., 1997), отрицали не сам факт его развития, а *возможность* выполнения им в России своей главной и, безусловно, прогрессивной миссии: обобществления производства и труда (28).

Разумеется, существует и противоположная точка зрения, которую разделяет большинство историков. Например, Б.Н. Миронов доказывает, что в социо-культурном, экономическом и политическом отношениях Россия XVIII — начала XX вв. изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские страны, только асинхронно. Поэтому антибуржуазное сознание российской интеллигенции, главной идеологией которой было народничество, тормозило социальную модернизацию страны (индивидуализацию личности, демократизацию семьи, генезис гражданского общества и правового государства) (29). С резкой критикой народнического учения об особом пути развития России, как одного из главных наших национальных мифов, выступает В.К. Кантор (30).

Можно, конечно, с цифрами в руках доказывать, что если бы не большевистско-народнический переворот, утвердивший в России «демократию без свободы», то ни о каком «творческом бессилии» русского капитализма не могло быть и речи. Но Великая Октябрьская революция имела место быть, и её победу обеспечила поддержка не только «человека с ружьем», но и многомиллионного крестьянства, которое понимало под «социализмом» протест против набирающего силу процесса раскрестьянивания пореформенной деревни.

В 90-е гг. идеи В.П. Воронцова и Н.Ф. Даниельсона о самобытном укладе российского хозяйства получили развитие в трудах учёных-экономистов, занятых разработкой современной теории реформирования страны. Профессор С.-Петербургского университета В.Т. Рязанов, подробно проанализировавший эволюцию современных теорий модернизации, включая появление западных её моделей, сделал следующий вывод. Цивилизационный подход, если его очистить от примитивной апологетики западной цивилизации, в значительной степени ориентирован на многовариантность общественно-экономического прогресса и предполагает учет культурной и национально-хозяйственной специфики стран, включившихся в процесс перехода от традиционного к современному (индустриальному) обществу (31).

Главную заслугу народников В.Т. Рязанов увидел в том, что именно они первыми разработали систему научных взглядов и политических решений,

которую можно обозначить как формирование стратегии российского пути в экономическом развитии. Суть народнического плана социально-экономической модернизации России заключалась в сочетании земледелия с промышленностью и постепенном утверждении социализированной (артельной, кооперативной, государственной) экономики. Особо следует отметить, что народники не отрицали перспективы создания в России крупного промышленного производства, как нередко писалось в литературе ранее. Они предлагали сделать ставку на развитие внутреннего рынка (т. е. рынка потребительских товаров и прежде всего агропродуктов). И только накопив ресурсы, оздоровив хозяйство и обеспечив тем самым начальную самоиндустриализацию, России следовало активно включаться в мирохозяйственные связи. Иначе ей грозило превращение в сырьевой придаток развитых капиталистических стран (32).

Есть все основания считать, пишет Рязанов, что русские народники, несмотря на ряд серьёзных ошибок, всё же одними из первых в мировой экономической науке подошли к необходимости *выбора* отличного от западной модели пути формирования рынка с опорой на создание многоукладного хозяйства, активной ролью государства, учетом исторических особенностей общественно-экономического развития (сохранения поземельной общины) и т. д. (33).

Особый интерес у современных исследователей идейного наследия русского реформаторского народничества вызывает их учение о крестьянской общине. Этой теме была специально посвящена диссертация Д. Д. Жвания (34). Рассмотрев взгляды на общину В. П. Воронцова, И. И. Каблица и П. А. Соколовского, автор, во-первых, установил преемственность взглядов на этот социальный феномен между народниками-реформистами и основоположниками народничества (А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским). Далее он подробно изложил сущность народнической концепции общины, как «института горизонтальной амортизации» и влияния на её становление и развитие «морального характера крестьянской экономики». Наконец, Д. Жвания поновому осветил отношение народников-реформистов к процессу разложения общины, указав при этом на ту противоречивую роль, которую сыграла в её судьбе крестьянская реформа (в пику известному марксистскому тезису об идеализации народниками реформы 1861 г.) (35).

Анализируя предложенную народниками-реформистами программу экономической, политической и культурной демократизации страны, разумеется, нельзя обойти стороной их представления о механизме (стратегии и тактике) предполагаемых преобразований.

В этом вопросе современное народниковедение сделало существенный шаг вперед, признав в целом позитивный характер «культурничества» (термин введён в оборот русскими марксистами в середине 90-х гг. XIX в. для обозначения правого течения народнической мысли — сторонников теории «малых дел»). Прежде всего, это обращение народников-культурников к реальным нуждам народных масс, акцентирование внимания на культурных

предпосылках социальных изменений в обществе, неприятие насилия как главной движущей силы прогресса и попыток немедленного разрушения обветшалого здания Российской империи.

В последние годы в литературе появляются исследования, авторы которых не без оснований доказывают, что только с обращением к «культурничеству» значительная часть интеллигенции превратилась в живую силу общественного строительства. Одним из первых историков, выступивших в защиту теории «малых дел» и отказавшихся квалифицировать её как «реакционную», «чисто мелкобуржуазную» и, «безусловно, несоциалистическую» был В. И. Харламов (36). В дальнейшем идеи Харламова получили развитие в трудах Б. П. Балужева, В. В. Зверева, С. Я. Новака, Д. Д. Жванин, С. Н. Касторнова. На сегодняшний день подробно проанализированы как идейное содержание этой теории, так и практические вопросы «культурной работы» народолюбивой интеллигенции в деревне, разработанные главными теоретиками «малых дел» Я. В. Абрамовым, С. Н. Кривенко, В. П. Воронцовым и др. Установлена их ведущая роль в практическом движении провинциальной, главным образом, *земской* интеллигенции, охватившем русское общество в середине 1880 — начале 1890-х гг. (так называемое «второе хождение в народ») (37).

С темой культурнических начинаний интеллигенции в деревне пересекается монография И. А. Гордеевой об «интеллигентных» земледельческих общинах (колониях), в создании которых принимали участие некоторые известные народники (38). В нашей историографии коммунитарные «эксперименты» 1870–1890-х гг. (интеллигентные посёлки учеников А. Н. Энгельгардта, колония Криница на Черноморском побережье и т. д.) рассматривались скорее как курьёзы, а их участники — как странные люди с «оторванными от жизни» идеями. Гордеева убедительно показала, что коммунитарный идеал выражал стремления определённой части образованного общества к «внутреннему нравственному *самосовершенствованию*, мыслимому за основной способ улучшения общества, альтернативный революционному». Поэтому и движение образованных людей «на землю» она идентифицировала как составную часть российского общественного движения последней трети XIX в., расширив тем самым наше представление о его многообразии (39). Единственное сомнение вызывает причисление к основным деятелям коммунитарного движения С. Н. Кривенко на том основании, что в 70-е гг. XIX в. он организовал на Кавказе подобную земледельческую колонию-общину. Если верить воспоминаниям Кривенко, цель колонистов состояла в выработке практического образца более рационального и альтруистического (читай, социалистического) уклада жизни с целью его последующей презентации народу (40).

Признание исследователями резонности главного положения «культурнической» доктрины народников: невозможности прочного «внедрения цивилизации в тело России» без предварительного подъёма общего уровня жизни народа, ещё не означает, что они склоняют голову перед другим её постулатом: если каждый будет сознательно и честно выполнять то дело,

к которому приставлен, то все «великие» социальные вопросы разрешатся сами собой. Большинство историков по-прежнему считают аполитизм правого крыла легального народничества его самым слабым местом и признают преимущество позиции Н. К. Михайловского и его многочисленных единомышленников. Последние, как известно, были сторонниками неотложной политической реформы (ограничения самодержавия и введения широких политических свобод).

Впрочем, полемика в легально-народническом лагере о механизме общественных преобразований страны (о соотношении «малых» и «больших» дел) ещё ждёт своего исследователя. На наш взгляд, убеждение в том, что все защитники «малых дел» *отрицали* «большие дела» (т. е. общественные преобразования, призванные не улучшить сложившуюся структуру общественных отношений, а принципиально её изменить), существенно упрощает понимание причин и характера возникшей полемики.

«Либеральное» или «реформаторское» народничество? Две линии в изучении идеологии правого народничества

Стремление историков к реабилитации теории и практики реформаторского народничества не исключает наличия между ними серьёзных разногласий. Самое существенное из них касается вопроса о том, как следует именовать правое (нереволюционное) крыло народничества: либеральным или реформаторским. Спор этот возник сравнительно недавно — в начале 1990-х гг. и впоследствии принял характер непримиримого противостояния. И главная причина тому — различное понимание исследователями типологических черт русского легального народничества.

Главными представителями двух линий изучения правого народничества выступают Б. П. Балуев и В. В. Зверев. Каждый из них написал по обобщающей монографии, названия которых говорят сами за себя. «Либеральное народничество...» у первого автора и «Реформаторское...» у другого.

Б. П. Балуев является выразителем по сути марксистского (классового) подхода к изучению народничества, но уже очищенного от свойственной марксистской историографии «очернительной» тенденции в оценках взглядов главных идеологов легального народничества. Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, С. Н. Кривенко и т. д., по его мнению, суть «крестьянские демократы». Поэтому Б. П. Балуев не счел возможным отказываться от традиционного именованья этих народников либеральными. «Сразу оговоримся, — пишет он в главе «Историография проблемы», — что встречающееся иногда в нашей научной литературе для обозначения этого направления общественной мысли название «легальное народничество» мы считаем не вполне корректным и правомерным, ибо легальность или нелегальность — это показатель формы, а не существа направления» (41). В понимании существа народничества

Б. П. Балугев скорее склонен согласиться с ленинским его определением. Не случайно в своих многочисленных трудах по истории легального народничества Балугев сохранил верность теме споров народников с марксистами (42).

Выразителем принципиально нового подхода к проблеме типологизации легального народничества выступает В. В. Зверев. Чтобы отгородиться от прежней исследовательской традиции, он ещё в начале 90-х гг. ввёл для его обозначения новые термины — «легально-реформаторское народничество» и «народники-реформаторы» (43). «Либерализм и народничество, — конкретизирует свою позицию исследователь, — доктрины, полярные в своей основе. Либерализм ориентирован на индивидуализм личности, народничество на первое место ставит коллектив личности. Либерализм главным условием развития социума считает конкуренцию и столкновение интересов в различных областях жизни, народничество — обеспечение достойных условий существования всем членам общества» (44). Не согласен В. В. Зверев и с отождествлением народнического мировоззрения только с «русским», «крестьянским» социализмом, как это делал В. И. Ленин. «Его содержание, — по убеждению Зверева, — гораздо шире и включает в себя как социалистические, так и антикапиталистические, антилиберальные идеи» (45).

Какая же позиция находит большее понимание среди историков? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многие специалисты по истории русской общественно-политической мысли (И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, Н. Д. Ерофеев, М. Д. Карпачев, С. Н. Касторнов и др.) поддерживают точку зрения Зверева (46). Некоторые исследователи, правда, уточняют, что если народничество и может быть либеральным, то это будет либерализм особого рода, свойственный отсталым странам (47). Совершенно другая картина складывается при знакомстве с учебной и обобщающей литературой, затрагивающей интересующий нас предмет. Здесь абсолютное большинство авторов трактует природу правого народничества «по старинке» (48). Более того, с традиционной терминологией вынужден считаться и сам В. В. Зверев. Его статья для энциклопедии «Отечественная история» (Том 3. М., 2000) называется «либеральные народники».

О том, что разногласия между сторонниками и противниками термина «либеральное народничество» носят принципиальный характер, свидетельствует различная интерпретация ими причин и характера противоречий между двумя основными фракциями реформаторского народничества.

По мнению Б. П. Балугева, эти противоречия не существенны, т. к. касались не содержания народнической доктрины, а способов её проведения в жизнь. И «культурники» (Каблиц, Абрамов, Воронцов, Кривенко), и группа Михайловского были типичными крестьянскими демократами, твердо убеждёнными в необходимости для России иного, т. е. социалистического, пути развития с опорой на крестьянскую общину. (Так, кстати, считали историки-марксисты, включая таких авторитетнейших исследователей легального народничества, как В. Г. Хорос и Э. С. Виленская). Всех либеральных народников, пишет Балугев, роднят такие типологические черты, как «осознанная отстра-

нённость» от подпольных и тем более террористических методов борьбы, вполне лояльное отношение к «малым делам» (несмотря на теоретическое их осуждение политизированной фракцией «Русского богатства») и, наконец, апелляция к властям по поводу сохранения общинных устоев в деревне (49). Единственное серьёзное различие касалось вопроса о роли в общественном движении русской интеллигенции. Народники-ортодоксы из газеты «Неделя» её явно недооценивали, намереваясь «похоронить» интеллигенцию в деревне, за что Н. К. Михайловский подверг их резкой критике. Детально исследовавший эту полемику, Б. П. Балуев пришёл к выводу об исторической правоте Н. Михайловского, отводившей интеллигенции роль руководителя и воспитателя народных масс. Однако, в условиях кризиса либерально-народнической идеологии эта «правота» уже не имела существенного практического значения, т. к. начиная с 90-х гг. XIX в. радикально настроенная молодежь эволюционировала от народничества к марксизму (50).

Совсем иную типологию реформаторского народничества предлагает В. В. Зверев. Он выделяет в нём adeptов культурнической деятельности (все те же П. П. Червинский, И. И. Каблиц, Я. В. Абрамов, В. П. Воронцов и С. Н. Кривенко) и сторонников социалистического выбора («политики» во главе с Н. К. Михайловским). По убеждению Зверева, в их противостоянии друг другу «отчетливо проявились два различных подхода как в оценке общего состояния российского общества, так и возможных перспектив его развития в будущем: или приспособление к новым условиям существования, или политическое реформирование страны с ориентацией на социалистический идеал». Единственным объединяющим элементом легальных народников, пишет исследователь, осталось лишь признание необходимости ненасильственной, мирной эволюции страны (51).

Как видно, В. В. Зверев склонен к более широкой, чем у его предшественников, трактовке понятия народничества, т. к. связывает его эволюцию с развитием самосознания русской интеллигенции как самостоятельной общественной группы.

Заметим, что данное понимание социальной природы русского народничества допускает и другие его типологии, т. к. далеко не все исследователи согласны с резким противопоставлением Зверевым «социализма» и «культурничества» (полностью отождествляемого им с «теорией малых дел»). Например, Жвания считает характерными чертами реформаторского народничества традиционализм, популизм, морализм и самобытный модернизм (52). Все народники-реформисты стремились опереться на социальные институты русской деревни, и это главное, что их объединяет. Касаясь разногласий между основными течениями народнической мысли, Жвания, на наш взгляд, справедливо полагает, что их следует искать в различном отношении их главных теоретиков к проблеме взаимоотношений интеллигенции с народом (53).

Учитывая недостаточную разработанность данного вопроса в литературе о легальном народничестве, рассмотрим его более подробно.

«Ахиллесова пята» реформаторского народничества (К вопросу о расколе интеллигенции с народом)

С начала 1860-х гг. «прогрессивная» русская интеллигенция столкнулась с резкой критикой со стороны славянофилов и почвенников, которые первыми обвинили её в *отрыве* от народа и низкопоклонстве перед Западом. Со временем эта критика создала устойчивую антиинтеллигентскую традицию. Свою лепту в её формирование внесли такие известные отечественные мыслители и общественные деятели как, И. С. Аксаков, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой (и мн. др., включая народников и марксистов).

Особенно выделяется в этом ряду фигура Льва Тихомирова, который сам был одним из создателей великого мифа о радикальной русской интеллигенции. «Прозрев», в 90-е гг. XIX в. он напишет поразительные строки. Интеллигенция — это часть образованного класса, объединённая идеями «известного направления». Возомнив себя «лучшей частью» нации, она решила пересоздать её «по собственному классовому типу», навязать народу своё понимание жизни. Ничто не обещает «прогрессивной» интеллигенции столько «мест», влияния, доходов, легкого труда на счёт массы народа, как осуществление её якобы общечеловеческих идеалов. Таким образом, по Тихомирову, подлинные мотивы народолюбивой «русской интеллигенции» в её тайном желании управлять нацией, предварительно дезорганизованной «передовыми» идеями (54).

Интересно, как относятся к подобным обвинениям в адрес радикально-демократической интеллигенции историки. Было время когда их считали грязными инсинуациями, состряпанными с целью дискредитации высокой исторической миссии русской интеллигенции. Теперь так почти уже не пишут, но и от представлений об особом предназначении интеллигенции тоже отказываться не спешат. Россия была страной запоздалого капитализма. Потребность в национальном объединении (вследствие начавшегося распада сословного общества) реализовывалась в ней не через создание национального рынка и национального капитализма (как это было на Западе), а через чисто духовную сферу, через поиски национального «духа», идеи и т. д. Историческое призвание русской интеллигенции, как особой социально-духовной силы, не связанной непосредственно с интересами какого-либо сословия или класса, как раз и состояло в том, чтобы выработать такой комплекс идей и представлений, который должен был способствовать формированию национального самосознания русского народа (55). Примерно так представляли себе историческую задачу русской интеллигенции и в окружении Н. К. Михайловского.

Касаясь самого «больного» русского вопроса о причинах разрыва «передовой» части общества с «народом», многие историки больше склонны видеть их во внешних условиях деятельности отечественной интеллигенции

(в «полицейских рогатках», социальных барьерах, громадной разнице в уровне образования и культуры), которые мешали естественному процессу сближения двух частей единого организма. Иными словами, не стоит придавать слишком большое значение интеллигентской рефлексии по поводу её «вины» перед народом. Тем более, что самобичевание в духе народнической «Недели» 1880-х гг., пытавшейся развить в демократической интеллигенции комплекс «заедания чужого хлеба», так и не получил широкого распространения.

Однако быстрая деидеологизация общественных наук в 90-е гг., активное переосмысление достижений дореволюционной отечественной и современной зарубежной историографии (56) позволили приоткрыть другую сторону проблемы интеллигенции, о которой раньше (в советские годы) говорили не иначе, как о буржуазных фальсификациях истории русского освободительного движения.

Новый подход к пониманию природы радикальной русской интеллигенции трактует её как своего рода «монашеский орден», призванный нести в мир «новое евангелие». Сознание *этой* интеллигенции (никогда не участвовавшей в государственной жизни страны) было совершенно лишено здравого прагматизма. Оно основывалось на догматической вере в «науку», в «политику», в «народ», занявших в её мирозерцании место прежнего Бога (57). Не случайно сомнения в возможности *этой* интеллигенции сыграть в судьбе страны и народа заведомо прогрессивную роль возникли даже в среде легальных народников (их умеренного крыла), серьёзно опасавшихся её превращения в новый господствующий класс после прихода представитель *этой* интеллигенции к власти.

Вопрос об «интеллигентофобии» в полном объеме был поставлен в 1999 г. петербургским историком Б. И. Колоницким. Он же предложил рассматривать эту проблему в контексте процесса самоидентификации русской интеллигенции, в развитии которого и проявились различные, порой взаимоисключающие подходы к пониманию того, «что есть такое русская интеллигенция» и каково её действительное историческое предназначение (58).

Особый интерес представляет, с этой точки зрения, сравнение взглядов народника-западника Н. К. Михайловского и народника-почвенника И. И. Каблицы-Юзова, отстаивавших два диаметрально противоположных подхода к определению «русской интеллигенции». Н. Михайловский считал интеллигенцию особой надклассовой силой, развивая тем самым традиционный для народничества социально-этический подход. И. Каблиц первым из народников назвал русскую интеллигенцию «буржуазным» классом (социально-экономический подход), правда с известными оговорками относительно её «альтруистического» меньшинства.

По мнению Колоницкого, причина антиинтеллигентской позиции Каблицы в «почвеннической» интерпретации им оппозиции «интеллигенция — народ» (59). Каблиц обвинял «интеллигенцию» в том, что она проникнута духом «буржуазности» и «бюрократизма» и стремится к осуществлению над «народом» политического господства (заметим, что эта идея была высказана

им задолго до Тихомирова). Поэтому «лучшая» часть интеллигенции или, говоря словами Каблица, «альтруистическое меньшинство», должно было идти в народ, чтобы с помощью «малых дел» помочь ему развить собственное самосознание и взять осуществление своих интересов в собственные руки. Иными словами, И.И. Каблиц-Юзов и его сторонники хотели освободить народ от «тлетворного» влияния на него «эгоистической» русской интеллигенции в лице Н.К. Михайловского и русских либералов.

Все, кто когда-либо писал о полемике Каблица с Михайловским о роли в истории «интеллигенции» и «народа» («ума» и «чувства»), неизменно отдавали предпочтение позиции последнего. Однако и в идеях Каблица-Юзова имелось своё рациональное зерно. Об этом свидетельствуют, например, работы Н.Г. Павловой и М.Е. Главацкого, попытавшихся доказать влияние И. Каблица и В. Воронцова на формирование марксистской концепции интеллигенции (60). Дело в том, что и народники-почвенники, и русские марксисты, не доверяя обуржуазившейся русской интеллигенции, отстаивали необходимость создания интеллигенции «народной» (соответственно «крестьянской» и «пролетарской»). Свой вклад в развитие отечественной антиинтеллигентской традиции внесли, кстати говоря, и эсеры. Они также поставили вопрос о наличии у русской интеллигенции собственных классовых интересов, отличных от народных (61).

Таким образом, противостояние правого и левого крыла в реформаторском народничестве по проблеме «интеллигенция и народ» имело глубокие корни, а именно: стремление части русской интеллигенции взять на себя несвойственную для неё *политическую* функцию главного вдохновителя и руководителя общественно-политической жизни страны. У нас же до сих пор причины критики Н.К. Михайловского представителями других народнических фракций чаще всего сводятся к их собственным ошибкам и заблуждениям.

Проблемы периодизации истории реформаторского народничества

Отказ нынешнего поколения исследователей легального народничества от марксистской концепции его истории (как и от других, заведомо политизированных конструкций и схем) потребовал разработки новой интерпретации процесса возникновения, эволюции и кризиса этого идейного течения пореформенной русской интеллигенции. Новое понимание этого процесса нашло отражение в периодизации истории русского реформаторского народничества.

В самом общем виде данная периодизация включает четыре этапа: возникновение народничества (конец 50-х — первая половина 60-х гг. XIX в.); формирование легально-народнической доктрины, её социолого-экономических основ (конец 60-х — начало 80-х гг. XIX в.); преобладание реформаторской тенденции в народничестве, расширение влияния легально-народничес-

кой мысли на русскую интеллигенцию (середина 80-х — середина 90-х гг. XIX в.); кризис «классического» народничества и зарождение неонародничества (вторая половина 90-х гг. XIX — начало XX в.) (62).

Рассмотрим наиболее спорные вопросы современной историографии реформаторского народничества, связанные с проблемой его периодизации.

В первую очередь это проблема гносеологических корней легального народничества. Сегодня уже мало кто из народниковедов сомневается в том, что их надо искать в трудах А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, давших обоснование как революционной, так и реформаторской деятельности народничества. Например, Д.Д. Жвания делает важный вывод о том, что даже известный поклонник «топора» Чернышевский «призывал не только к революции, но и к созданию артелей и товариществ, закладывая тем самым основы реформистской народнической теории “малых дел”» (63). Сложнее обстоит дело с выяснением причастности к разработке идейных основ легального народничества Н.А. Добролюбова, Г.Е. Благовестлова, Г.З. Елисеева, В.В. Берви-Флеровского и некоторых других демократических деятелей 1860–70-х гг. Исследователи пока обходят этот вопрос стороной.

В то же время сделаны значительные шаги по пути признания в числе источников формирования народнического мировоззрения ряда коренных постулатов славянофилов и западников типа К.Д. Кавелина (идеи самобытного развития России, «бережения» общины, необходимости социального прогресса и борьбы с самодержавным деспотизмом и т. п.) (64). Данный подход позволяет трактовать легальное народничество (имевшее в своём составе «славянофильскую» и «западническую» фракции), как попытку синтеза духовных ценностей двух основных течений дореформенной русской мысли на почве практической деятельности во имя блага и процветания России и её народа. Под таким углом зрения рассматривали появление народничества уже некоторые дореволюционные его исследователи (65).

Сомнения и споры вызывает также общественный генезис реформаторского народничества. Часть историков связывает переход народнической интеллигенции на позиции реформизма и культурничества с неудачей «хождения в народ» 1874–75 гг., обнаружившего политическую инертность русского крестьянства (66). Другие (и они пока в меньшинстве) настаивают на том, что разделение народников на революционеров и культурников произошло ещё в конце 1860-х гг. под влиянием общих причин, вызвавших к жизни феномен действенного народничества 70-х гг. (67). Заметим, что в последние годы исследователи добавили к их числу факторы идеальные и этические (идеи долга, вины и расплаты интеллигенции с народом), впервые признав, что в данный период общественное развитие определял не экономический фактор, а нравственно-этические идеалы молодежи (68).

Ещё одна спорная проблема — причины торжества народнического реформизма над революционизмом. Многие исследователи, если не большинство, связывают его с упадком движения революционного народничества, а также с распространением в обществе иллюзий относительно «народной»

политики Александра III. Данный подход, разумеется, имеет все права на существование, если трактовать его не так прямолинейно, как это делалось ранее. Дескать, на «культурную работу» в земство интеллигенция шла только потому, что в политику все пути были перекрыты. Думается, что более детальное изучение легальной народнической публицистики 1880-х гг. («Неделя», «Мысль», «Русское богатство» и др.) убедит историков, что отказ от идеи *простого* решения *сложных* социальных вопросов (желательно одним росчерком пера) имел своим основанием рост политической и культурной зрелости идеологов реформаторского народничества и той части демократической интеллигенции, взгляды и убеждения которой они выражали.

Особенно широк разброс мнений относительно кризиса идеологии легального народничества. Его возникновение относят и к началу, и к середине, и к концу 1890-х гг. Дело в том, что исследователи пока не выработали общепринятого понятия «кризиса народничества». Ещё не так давно под ним понимали «крах народничества», вызванный коренными изменениями в экономической и общественной жизни страны и ускоренный идейным «разгромом» идеологов легальных народников русскими марксистами. Сейчас историки больше склоняются к толкованию «кризиса» народничества, как проявлению его внутреннего идейного роста. По мнению В. В. Зверева, классическое народничество не смогло предложить всеобъемлющей и интегральной программы переустройства России. Осознание этого факта в окружении Н. К. Михайловского и послужило основной причиной его трансформации в неонародничество (69).

Так или иначе, но именно раскол в «Русском богатстве» 1893–94 гг. между сторонниками и противниками идеологии «малых дел» (т. е. нового «хождения в народ», но уже без веры в быстрое политическое перевоспитание крестьянства) есть наиболее яркое подтверждение начала самого серьёзного кризиса в истории реформаторского народничества. Во второй половине 90-х гг. в «политизированном» «Русском богатстве» найдут приют будущие неонародники Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, В. М. Чернов, которые потом назовут Н. К. Михайловского своим учителем (70). Умеренных народников после неудачи журнала «Новое слово» и газеты «Сын отечества» ожидало забвение.

Наличие разногласий по перечисленным выше вопросам свидетельствует о недостаточной их изученности. Но нельзя не отметить и положительные сдвиги в понимании путей и судеб реформаторского народничества. Прежде всего, исследователи больше не рассматривают его историю как «отрыжку» (результат перерождения) революционного народничества. Реформаторское народничество — это самостоятельное направление народнической мысли со своими специфическими общественными задачами, стратегией и тактикой общественных преобразований. И если его представителям так и не удалось реализовать свою миссию, т. е. вывести страну из нарастающего в ней кризиса путём мирных, ненасильственных преобразований, то главная причина тому не в отрицании капитализма (новейшие исследования показывают, что,

увы, это отрицание возникло не на пустом месте), а скорее в отсутствии в России 80–90-х гг. XIX в. реальной политической силы, на которую они могли бы опереться.

В настоящее время в российской историографии набирает силу процесс переосмысления творческого наследия реформаторского народничества. Исследователи стараются выявить общие мировоззренческие основы этого наиболее крупного и мощного течения общественной мысли и политического движения второй половины XIX в., особенности его концептуальных и теоретических построений, идеологического оформления альтернативных вариантов модернизации страны.

Осознание необходимости концептуализации подхода к изучению легального народничества, вычленения векторов обобщения и анализа этого явления пореформенной русской жизни, рассмотрение не одной только фактологической канвы событий его истории, а их сущностного содержания — это, несомненно, важное достижение современного народниковедения. Однако практическое изучение поставленных вопросов, учитывая относительно небольшое число обобщающих трудов, охватывающих всю историю реформаторского народничества, можно сказать, только начинается. Причин тому много, но мы выделим только самые важные.

В. В. Зверев, изучавший реформаторское народничество в контексте истории российской модернизации, доказывал, что эта проблема должна рассматриваться сквозь призму «традиций и новаций, их конфликтного столкновения и разрушения в период кризисов с последующим развитием общественных форм бытия» (71). Такой подход позволил ему, с одной стороны, отказаться от вульгарно-марксистского понимания кризиса как главного и неперемennого условия разрушения старого мира; с другой — выработать критерии оценок таких понятий, как «реформаторство» и «революционизм», выявить их общие закономерности, подчеркнуть различия, остановиться на особенном и частном.

Важным условием исследования русского народничества стала необходимость уточнения понятий «интеллигенция», «народ», «народничество», «культурничество», «либерализм», «модернизация» и т. д. Каждое из них допускает теперь различные и даже противоположные толкования, что создает для исследователей ряд дополнительных трудностей.

Существенные препятствия для изучения идеологии легального народничества представляет также разбросанность научных и публицистических работ его теоретиков по десяткам дореволюционных журналов и газет. Например, С. Н. Кривенко за 30 лет своей писательской деятельности опубликовал около 230 статей в примерно 20 периодических изданиях. Правда, до революции наиболее важные статьи Воронцова, Даниельсона, Кривенко, Южакова и др. переиздавались в виде книг и тематических сборников, но

теперь все они стали библиографической редкостью. Публикация отрывков из них в «Народнической экономической литературе» (М., 1958) проблемы малодоступности первоисточников, конечно же, не решает. Счастливые исключения составляют разве что труды Н.К. Михайловского, переизданные несколько раз, в том числе в полном собрании его сочинений (СПб., 1906–1913. Т.1–10). Это, несомненно, одна из причин того, что после 1917 г. о Н.К. Михайловском было написано около 600 работ — больше чем обо всех остальных идеологах легального народничества вместе взятых (72).

Попробуем определить конкретные задачи дальнейшего изучения истории русского реформаторского народничества.

— В литературе практически отсутствуют специальные исследования политических биографий и общественных взглядов виднейших идеологов умеренно правого народничества, таких, как П.П. Червинский, В.П. Воронцов, Л.Е. Оболенский, Я.В. Абрамов, А. С. и В.С. Пругавины, С.Н. Южаков, которые в своём творчестве зафиксировали и отобразили процесс самоопределения народнической интеллигенции. На преимуществах персонифицированного подхода к изучению легального народничества, которое так и не оформилось организационно (т. е. у него практически нет программных документов), особенно настаивает В.В. Зверев, а до него это делал В.И. Харламов.

— Анализ новейшей литературы о причинах и характере разногласий внутри легально-народнического лагеря (особенно по вопросу о путях сближения интеллигенции с народом) убеждает в необходимости новой классификации его основных идейно-тактических направлений. Очевидно, что имеющаяся в наличии «биполярная» типология реформаторского народничества, выделяющая в нем только правое и левое крыло (сторонников «малых» и «больших» дел), искажает истинную расстановку его сил и, соответственно, главные тенденции в его эволюции. О многообразии народнической мысли свидетельствует, например, существование в реформаторском народничестве так называемого «созидательного» течения, главные теоретики которого В.П. Воронцов и С.Н. Кривенко стремились к примирению позиций умеренных и радикальных народников (73).

— История становления «созидательного» народничества — это тоже тема для специального исследования. Особенно интересен в ней сюжет, связанный с деятельностью московского кружка Н.Н. Златовратского, организовавшего в 1885–1886 г. в Москве «съезд» народников. Как известно, на нем были выработаны «основные тезисы» народничества («Кредо») (74).

— Относительно слабо изучен целый ряд актуальных для пореформенной России общественных проблем, разрабатываемых идеологами реформаторского народничества. Это национальный вопрос (польский, украинский, еврейский и т. д.), отношение народников к раскольникам и сектантам, проблемы развития местного самоуправления и реформирования политического устройства России в целом. Все они только поставлены исследователями. В более подробном анализе нуждается и столь важная для понимания эволю-

ции русского народничества проблема исторической миссии радикальной русской интеллигенции и её конкретных социальных функций, в какой мере её решение теоретиками легального народничества соответствовало реальным задачам русской жизни.

— Остро ощущается недостаток сравнительно-исторических исследований реформаторского народничества и революционного, а также неонародничества; народничества и славянофильства, почвенничества, либерализма, легального марксизма. Их появление, несомненно, поможет преодолению той терминологической путаницы, которая мешает историкам различных течений общественной мысли пореформенной России адекватно понимать друг друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: *Кан Г.С.* «Народная воля»: идеология и лидеры. — М., 1997; *Будницкий О.В.* Терроризм в русском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). — М., 2000; *Романовский С.И.* Нетерпение мысли или исторический портрет радикальной русской интеллигенции. — СПб., 2000; и др.
2. См.: Освободительное движение в России: современный взгляд или приверженность традициям? «Круглый стол» // *Отечественная история*. 1999. № 1. С.3–18. О состоянии современного народниковедения см. также: *Твардовская В.А.* Франко Вентури и советская историография народничества // *Труды Института российской истории РАН*. — М., 2000. Вып.2. С.126; 129–134 (обсуждение доклада).
3. *Будницкий О.В.* «Кровь по совести»: терроризм в России (вторая половина XIX — начало XX в.) // *История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях*. — Ростов н/Дону, 1996. С.10–11.
4. См.: *Наумова Т.В.* Интеллигенция и пути развития российского общества // *Социологические исследования*. 1995. № 3; *Интеллигенция в условиях общественной нестабильности*. Сб. ст. — М., 1996; *Моисеев Н.Н.* Об интеллигенции, её судьбе и ответственности // *Социально-гуманитарные знания*. 1999. № 2.; и др.
5. Подробнее см.: *Карпачев М.Д.* Очерки истории революционно-демократического движения в России (60-е — начало 80-х гг. XIX в.). — Воронеж, 1985. Гл.2. «Об определении народничества».
6. *С.К.* [*Кривенко С.Н.*] По поводу внутренних вопросов // *Новое слово*. 1896. № 12. С.231, 235.
7. *Хорос В.Г.* Народническая идеология и марксизм (конец XIX в.). — М., 1972.
8. См.: *Харламов В.И.* Из истории либерального народничества в России в конце 70-х — начале 90-х годов XIX в. *Общественно-политические воззрения Каблицы /Юзова/*: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — М., 1980.
9. *Харламов В.И.* О периодизации истории либерального народничества в России (Постановка вопроса, литература, задачи изучения) // *Проблемы истории СССР*. — М., 1979. Вып.10. С.113.
10. См.: *Агаев С.Л.* «Маркс был соединён со Стенькой Разиным» (Об истоках большевизма) // *Политические исследования*. 1992. № 4. С.166; *Жукоцкий В.Д.* Народнические корни ленинизма: «хитрость разума» или «ирония истории»? // *Вопросы философии*. 2001. № 12. С.60.
11. См.: *Живов В.* Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // *Новое литературное обозрение*. 1999. № 37. С.37–51; *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). — СПб., 2000. Т.2. С.110, 317–323; *Хоскинг Джеффри*. Россия: народ и империя. — Смоленск, 2000. 274–278; *Виртшафтер Элис*. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. — М., 2002. С.180–205; и др.
12. *Зверев В.В.* Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам XIX в. — М., 1997. С.13.
13. Там же. С.14–15.
14. *Березовая Л.Г.* Самосознание русской интеллигенции начала XX в.: Дис. ... докт. ист. наук. — М., 1994. С.51.
15. *Революционное народничество 70-х гг. XIX в.* — М., 1964. Т.1. С.166.
16. См.: *Соколов К.Б.* Мифы об интеллигенции и историческая реальность // *Русская интеллигенция. История и судьба*. — М., 1999; *Могильнер М.* Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосмос в России начала XX в. как предмет семиотического анализа. — М., 1999; *Орлов С.Б.* Интеллигенция

как мифологический феномен. Историко-социологический анализ //Социальные исследования. 2001. № 11; и др.

17. Подробнее см.: *Межуев В.* Интеллигенция и демократия //Свободная мысль. 1992. № 16. С.34–47; *Дискин И. Е.* Российская модель социальной трансформации //Pro et Contra. Три века отечественных реформ. — М., 1999. Т.4. № 3. С.20–28; *Бочаров В. В.* Интеллигенция и насилие: социально-антропологический аспект //Антропология насилия. — СПб., 2001. С.39–87; и др.

18. За последние 10–12 лет прошло несколько десятков конференций, посвящённых истории отечественной интеллигенции, опубликовано несколько сот книг и статей. Успешно защищено около 150 диссертаций. В 2000 г. в Иваново (где, кстати, с 1998 г. действует НИИ интеллигентоведения) вышел библиографический указатель «Изучение проблем интеллигенции в 1990-е годы», составленный О. Ю. Олейником. В нём 196 стр.

Даже при поверхностном знакомстве с этой литературой легко обнаружить, что у исследователей нет ответа на вопрос, в чём состоит феномен русской интеллигенции. Точнее, нам предложат три сотни вариантов ответов. Примерно столько определений термина «интеллигенция» насчитали Г. А. Будник и Т. Б. Котлова — См.: *Самарцева Е. И.* Российская интеллигенция до октября 1917 года. Историкографический очерк. — Тула, 1998. С.72.

19. *Шапошников А. В.* Историческая миссия русской интеллигенции //Россия накануне XXI века: Новые вехи. — Воронеж, 1999. С.145.

20. По поводу внутренних вопросов //Отечественные записки. 1882. № 10. С.275–276.

21. *Катаев В. Б.* Боборыкин и Чехов (К истории понятия «интеллигенция» в русской литературе) //Русская интеллигенция. История и судьба. С.384, 386.

22. *Герасимов И.* Российская ментальность и модернизация //Общественные науки и современность. 1994. № 4. С.67.

23. *Блохин В. В.* Историческая концепция Николая Михайловского (к анализу мировоззрения российской народнической интеллигенции XIX века). — М., 2001. С.11. Монография Блохина воспроизводит его кандидатскую диссертацию «Исторические взгляды Н. К. Михайловского», защищённую в 1994 г.

24. Там же. С.69, 105, 109. Заслугу разработки первой научной теории общественного идеала признают за Н. К. Михайловским и его последователями и другие исследователи народнической социологии. См., например: *Кукушкина Е. И.* Традиции русской социологии в изучении природы интеллигенции //Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. 2001. № 1. С.85.

25. *Блохин В. В.* Указ. соч. С.67–68.

26. См.: *Эткинд А. М.* Народничество и люкритакс: классики филологии о русских сектах //Лотмановский сборник., — М., 1997; *Калинчук С. В.* Психологический фактор в деятельности «Земли и воли» //Вопросы истории. 1999. № 3; *Плимак Е. Г., Пантин И. К.* Драма российских реформ и революций (сравнительно-политический анализ). — М., 2000 (Очерк четырнадцатый. «Хождение в народ...»).

27. *Wortman R.* The Crisis of Russian Populism. — Cambridge, 1967. P.160.

28. См. также: *Антонов В. Ф.* Народничество в России: утопия или отвергнутые возможности //Вопросы истории. 1991. № 1. С.5; *Юдин А. И.* Проблема обоснования общественного идеала в социологии Н. К. Михайловского. — Тамбов, 1997. С.103,116; *Кара-Мурза С.* Столыпин — отец русской революции — М., 2002. С.8–12; и др.

29. *Миронов Б. Н.* Указ. соч. Т. 2. С.289, 291, 320–321.

30. *Кантор В. К.* «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. — М., 1997. С.254 и др.

31. *Рязанов В. Т.* Экономическое развитие России: Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв. — СПб., 1999. С.94–99.

32. Там же. С.216–217.

33. Там же. С.7. См. также: *Рачков М. П.* Политико-экономические прогнозы в истории России. — Иркутск, 1993. С.15–24; *Расков Д. Е.* О судьбах капитализма в России (Предисловие к библиографическому обзору «В. П. Воронцов») //Экономическая история России: Проблемы, поиски, решения. Ежегодник. — Волгоград, 1999. Вып.1. С.367–369.

34. *Жвания Д. Д.* Народники-реформисты о крестьянской общине в 70–90-е гг. XIX в. (В. П. Воронцов, И. И. Каблиц, П. А. Соколовский): Дис. ... канд. ист. наук. — СПб., 1997.

35. Там же. С.279–287. Взгляды на крестьянскую общину народников (Н. А. Каблукова, Н. А. Карышева, В. С. Пругавина и др.) анализируются также в диссертации С. Н. Касторнова. См.: *Касторнов С. Н.* Народники-реформисты о социальных и общественно-политических проблемах России второй половины XIX — начала XX вв. Сравнительный анализ: Дис. ... канд. ист. наук. — Орёл, 2002. С.176–204.

36. См.: *Харламов В. И.* Публицисты «Недели» и формирование либерально-народнической идеологии в 70–80-х годах XIX в //Революционеры и либералы России. — М., 1990. С.182–183; *Харламов В. И.* Теория «малых дел» Юзова в оценке читателей-современников //Из истории общественно-политической мысли России XIX в. — М., 1990. С.110–112.

37. См.: *Новак С.Я.* Я.В. Абрамов — пионер «теории малых дел» //Отечественная история. 1997. № 4. С.80–85; *Зверев В. В.* Эволюция народничества: «теория малых дел» //Отечественная история. 1997. № 4. С.86–94; *Жвания Д.Д.* Указ. соч. С.81–88; *Балуев Б.П.* «Малых дел» теория //Отечественная история: Энциклопедия. — М., 2000. Т.3. С.465; *Касторнов С.Н.* Указ. соч. С.43–45, 48, 73, 86.
38. *Гордеева И.А.* «Забывшие люди» истории. Российское коммунитарное движение в России. — М.: АИРО-XX, 2003.
39. Там же. С.393–402.
40. *Кривенко С.Н.* На распутье (Культурные скиты и культурные одиночки). — СПб., 1895. С.4.
41. *Балуев Б.П.* Либеральное народничество на рубеже XIX–XX веков. — М., 1995. С.7. О том, что понятия «либеральное народничество» и «легальное народничество» нельзя употреблять как синонимы (второе понятие шире первого, т. к. акцентирует внимание на подцензурном способе изложения взглядов легальных народников) писал и В.И. Харламов. См.: *Харламов В.И.* Публицисты «Недели». С.164.
42. См.: В.И. Ленин о народничестве и неонародничестве (Сущность, типология разновидностей, периодизация) //Наследие В.И. Ленина и современность. — М., 1989. С.293–303; Либеральное народничество и Г.В. Плеханов (Проблема интеллигенции) //Революционеры и либералы России. С.46–77; Спор народников с марксистами о роли интеллигенции в историческом развитии России //Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. — М., 1996. С.167–176; и др.
43. *Зверев В.В.* В поисках социалистической перспективы //Наше отечество (Опыт политической истории). — М., 1991. Т.1. С.182–184, 197.
44. *Зверев В.В.* Реформаторское народничество... С.24. См. также: *Зверев В.В.* Западноевропейский либерализм и русское народничество: общее и особенное //Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. — М., 1999. С.263–270.
45. *Зверев В.В.* Реформаторское народничество... С.24.
46. См.: *Плимак Е.Г., Пантин И.К.* Указ. соч. С.276–277; *Ерофеев Н.Д.* Б.П. Балуев. Либеральное народничество на рубеже XIX–XX веков. — М.: Наука, 1995 //Отечественная история. 1997. № 1. С.178–179; *Карпачев М.Д.* Б.П. Балуев. Либеральное народничество... //Вопросы истории. 1997. № 7. С.165–166; *Касторнов С.Н.* Указ. соч. С.18–19.
47. *Жвания Д.Д.* Указ. соч. С.106.
48. Термина «либеральное народничество» придерживаются в своих кандидатских диссертациях С.В. Лёвин («С.А. Харизоменов. Общественная и научная деятельность»). — Саратов, 1999) и В.В. Васильев («Аграрные отношения в России конца XIX — начала XX века в публицистике либеральных народников, А.И. Чупров и Н.П. Огановский. — Самара, 2000). Но монография В.В. Зверева о реформаторском народничестве в них даже не упоминается.
49. *Балуев Б.П.* Либеральное народничество... С.55, 78, 258–259.
50. Там же. С.258–259.
51. *Зверев В.В.* Реформаторское народничество... С.363–365.
52. *Жвания Д.Д.* Указ. соч. С.103–105.
53. Там же. С.279.
54. *Тихомиров Л.* Критика демократии. — М., 1997. С.556, 585, 586, 592–595.
55. См.: Интеллигенция и народ //Философские науки. 1990. № 7. С.48–63; *Касьянова К.* О русском национальном характере. — М., 1994. С.14–17, 20, 34; Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. М.—Венеция, 1999. С.27, 49–51, 134; и др.
56. Обзор зарубежных исследований см.: *Шеррер Ю.* Русская дореволюционная интеллигенция в западной историографии //Интеллигенция в истории. Образованный человек в представлениях и социальной действительности. — М., 2001. С.9–30.
57. См.: *Аксюцкий В.* Орден русской интеллигенции //Москва. 1994. № 4; *Элбакян Е.С.* Религиозная идея в сознании народников //Кентавр. 1995. № 3; *Берлин Исайя.* История свободы. Россия. — М., 2001. С.9; *Жукоцкий В.Д.* Русская интеллигенция и религия: опыт реконструкции смысла //Философия и общество. 2002. № 1; и др.
58. *Колоницкий И.Б.* «Интеллигентофобия» в конце XIX — начале XX в.: К постановке вопроса //Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX века. — СПб., 1999. С.266–275; см. также: *Колоницкий И.Б.* Идентификация российской интеллигенции и интеллигентофобия (конец XIX — начало XX вв.) //Интеллигенция в истории. С.150–170.
59. Там же. С.160–161.
60. См.: *Павлова Н.Г.* Формирование марксистской концепции интеллигенции в России: (историко-философский анализ): Дис. ... канд. филос. наук. — Екатеринбург, 1994. С.50, 62, 65, 76, 77, 81, 165; *Павлова Н.Г., Главицкий М.Е.* К вопросу о «народнических» традициях в марксистской концепции интеллигенции //Проблемы методологии истории интеллигенции: Поиск новых подходов. — Иваново, 1995. С.45–51.
61. См.: *Жаворонкова А.А.* Неонародническая интеллигенция 90-х годов XIX в. (К истории идейного становления): Дис. ... канд. ист. наук. — М., 1997. С.46, 53.

62. См.: *Харламов В. И.* О периодизации истории либерального народничества в России. С.113; *Зверев В. В.* Реформаторское народничество... С.6; *Касторнов С. Н.* Указ. соч. С.247–248.
63. *Жвания Д. Д.* Указ. соч. С.73.
64. См.: *Итенберг Б. С.* Славянофилы, западники и народники. (Историографические наблюдения) //Историографический сборник. 1994. Вып.16. С.87; *Рязанов В. Т.* Указ. соч. С.172–176.
65. *Соловьев Е. А.* Очерки из истории русской литературы XIX в. — СПб., 1907. С.345.
66. См.: *Балуев Б. П.* Либеральное народничество... С.25–26, 256; *Жвания Д. Д.* Указ. соч. С.74–81; *Касторнов С. Н.* Указ. соч. С.246–247.
67. См.: *Зверев В. В.* Русское народничество: доктрина и практика //Политическая история России. — М., 1998. С.251–252.
68. См.: *Юдин А. И.* Идея вины русской интеллигенции //Вестник ТГУ. 1998. Вып.2. С.62–64; *Щербакова Е. И.* Синдром разночинца: социально-психологические истоки радикализма русской интеллигенции //Интеллигенция в истории. С.139–149; *Блохин В. В.* Историческая концепция Николая Михайловского. С.219–225.
69. *Зверев В. В.* Реформаторское народничество... С.316.
70. Об идеологах неонародничества см.: *Алексеева Г. Д.* Народничество в России в XX в. (Идейная эволюция). — М., 1990. Гл.4. «Народники XX в. и Н. К. Михайловский»; *Балуев Б. П.* Либеральное народничество... Гл.3. «Михайловский и его литературная семья»; *Протасова О. Л.* Политическая и общественная деятельность А. В. Пешехонова. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — М., 1996; *Гусев К. В.* В. М. Чернов. Штрихи к политическому портрету. — М., 1999 и др.
71. *Зверев В. В.* Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам XIX в. Автореф. дис. ... докт. ист. наук. — М., 1997. С.18.
72. Библиографию Н. К. Михайловского см.: *Михайловский Н. К.* Герои и толпа. Избранные труды по социологии: В 2-х т. — СПб., 1998. Т. 2. С.398–405.
73. Название «созидательное» отражало стремление народников к созданию материальных и духовных предпосылок для будущего культурно-исторического подъема страны. Подробнее см.: *Слобожанин М.* Из истории созидательного народничества. Черты из журнальной деятельности С. Н. Кривенко //Жизнь для всех. 1910. № 7, 8–9, 11.
74. *Златовратский Н. Н.* «Кредо» [о народничестве] — РО ИРЛИ. Ф.111. Д.30. Л.1–5 об.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ И ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Ирина ГОРДЕЕВА

В первой половине 1990-х гг. ушедшего века историография социалистических и леворадикальных идей и движений в России (1) была, пожалуй, одним из самых дискуссионных полей исторических исследований. Воспринимаясь в качестве составной части такого историографического конструкта, как история «освободительного движения в России», наиболее приближенной к современности и её проблемам, она стала отправной точкой для размышлений об «истоках наших кошмаров» (2) — «трагедии, разразившейся в начале XX в. и не закончившейся до сего времени» (3). Более того, это знание было одним из самых востребованных обществом, поэтому неудивительно, что подавляющее большинство работ по интересующим нас проблемам было написано в жанре исторической публицистики, а опубликовано в научно-популярных изданиях и общественно-политической периодике.

Однако в середине 90-х впервые стало ощущаться, что после публицистических экспериментов, долгих разговоров о кризисе в исторической науке, выяснения отношений с советской историографией, «методологических дискуссий» и споров о достижениях западной русистики, наконец-то, и в профессиональной историографии появились интересные прежде всего научной новизной конкретно-исторические исследования.

Предметные предпочтения

Современная историография социалистических и леворадикальных идей и движений в России показательна прежде всего в содержательном плане — тематических, проблемных, сюжетных предпочтений и изблюбленных персоналий. Любопытная картина получается, если сравнить её — за неимением иной системы координат — с предметной шкалой истории российского «освободительного движения», сложившейся в советской историографии второй половины XX в.

Появление социалистических идей в России относится к концу 30-х — 40-м гг. XIX в., и к данному периоду интерес современных исследователей

очень низок, особенно это касается историков. Это можно сказать о Герцене и Огареве (4) (последнего спасает то, что он является саранским «культурным героем»). Кружки 30–60-х гг. XIX в., петрашевцы, «нигилисты» и отдельные мечтатели первой половины XIX в. чаще всего интересуют не историков, а литературоведов и философов (5). Социалисты «второго ряда» изучаются почти исключительно краеведами (6). Однако в этих работах проблемам утопического и «русского» социализма уделяется лишь незначительное внимание, при этом последний в современных исследованиях вообще превратился скорее в во вневременную и внепространственную концепцию. Некоторые работы, посвящённые истории общественной мысли России, избегают проблемы истории социализма вопреки логической необходимости (7).

Далее, почти перестали читать и перечитывать Н.Г. Чернышевского (8). Из всех тех, кто ранее числился в «революционных демократах», в последние несколько лет повезло, наверное, только В.Г. Белинскому — его взгляды, в том числе и социалистические увлечения, обрели своего исследователя-историка, отличающегося высоким уровнем постановки теоретических проблем (9). Востребованность в историографии 90-х гг. понятия «нечаевщина» может создать иллюзию изученности идей и биографии С.Г. Нечаева, но за единственную монографию о нем до сих пор мы можем сказать спасибо только «вольному историку» Ф.М. Лурье (10). Столь же непопулярны в качестве предмета исторического анализа народничество и «хождение в народ» (11), если, конечно, речь не идёт о «реформистском» («либеральном») народничестве (12) или «Народной воле» и начале российского терроризма (13) — в этих проблемных полях современные российские историки демонстрируют исключительную по масштабам профессиональную активность.

На фоне повального увлечения терроризмом во второй половине 90-х гг. почти не заметен интерес к таким направлениям социалистических движений, как российский христианский социализм, коммунитарное движение и толстовство (14), а также «полицейский социализм» (15), к проблеме взаимоотношений социализма и религии (16). Недостаточно высоко и профессиональное внимание историков к анархизму, включая публикацию документов и изучение теоретического наследия М.М. Бакунина и П.А. Кропоткина (17).

Марксизм в России (18), личность и идеи Г.В. Плеханова (19), вопросы истории российской социал-демократии активно исследуются в последнее время прежде всего в связи с историей «многопартийности» в России (20), проблемами российской политической культуры и социалистических идей в революциях начала XX в. (21). Здесь наметился очевидный дисбаланс в низком профессиональном интересе к большевикам и В.И. Ленину (22) и значительном увлечении меньшевиками и Ю.О. Мартовым (23).

Однако безусловные лидеры интереса профессиональных историков — это неонароднические партии начала XX в. и их террористическая деятельность (24); подтверждением популярности темы можно считать наличие множества исследований местных организаций неонародников (25), а также

судьбы небольшевистской социалистической альтернативы после Октябрьской революции (26).

В связи с интересом к проблеме терроризма в российском общественном движении в последнее время существенное приращение литературы произошло и в сфере исследований борьбы с терроризмом, правоохранных и судебных органов (27), и лишь тема «каторга и ссылка» по-прежнему не привлекает внимания историков (28).

Заметным историографическим явлением с середины 90-х гг. стал (правда, стимулируемый извне — зарубежными фондами и институтами) рост интереса российских историков к массовым движениям, рабочей истории и, что особенно важно, к «иным рабочим движениям» — проблемам самоорганизации, солидарности и социальной помощи в рабочей среде, отчасти — к профсоюзному движению (29).

На этом фоне особенно заметно угасание интереса к «крестьянскому социализму» и проблеме народного менталитета (30) (особенно жаль такое направление исследований, как «народная утопия», ранее представленное именами А. И. Клибанова и К. В. Чистова); очень мало историков, изучающих столь популярное в конце 80-х — начале 90-х гг. кооперативное движение (31).

Таким образом, налицо избирательность интереса современных гуманистариетов и особенно историков к истории социалистических и леворадикальных идей и движений в России. Предпочтение отдается традиционным направлениям политической истории и истории идей в ущерб интеллектуальной и культурной истории или психоистории. Более того, бросается в глаза «негативная» зависимость от советской историографии: перепроизводство текстов по сюжетам, являвшимся её «белыми пятнами», и их очевидный недостаток в тех предметных областях, изучение которых в советское время считалось «научно актуальным». Характерной чертой периода стала также активная публикаторская работа — теперь уже поставленная на систематическую основу, интерес к «детективным» историографическим проблемам как проявление «здорового охотничьего инстинкта историка-профессионала» (32).

Теоретические предпочтения

Чтобы рассмотреть, каковы тенденции современных исследований социалистических и леворадикальных идей и движений, в чем их принципиальная новизна и с какими теоретическими и методологическими трудностями сталкиваются сегодня историки, я разделила их на четыре подхода, которые подробно рассмотрю на примере наиболее типичных для каждого направления работ.

«ИСТОРИОСОФСКИЙ» ПОДХОД

Первый подход условно можно назвать «историософским». В нём сохраняются такие черты перестроечной историографии, как телеологизм и стрем-

ление к извлечению из прошлого этических уроков. В 1995–2002 гг. *профессиональные* историки всё реже и реже обращаются к этому жанру. Чаще всего в нём выступают те наши коллеги, для которых история социалистических и леворадикальных идей и движений является не основной сферой изучения, а как бы «хобби»: вдруг захотелось выступить на эту тему перед непрофессиональным читателем или главный предмет изучения требует хотя бы вскользь остановиться на этих сюжетах. В целом же, исходя из рассмотренной выше тематики и жанровой специфики новейшей литературы по интересующим нас проблемам, сегодня можно с удовлетворением констатировать, что тот «перестроечный» «тип интеллектуализма», внутри которого историк чувствовал себя призванным не столько к исследованию, сколько к размышлению о «последних» вопросах гуманистического идеала на языке «смерти и жизни», себя исчерпал (33). Применительно к истории российского общественного движения это означает, что все меньше появляется работ, для авторов которых источником бесконечной рефлексии являются Ф. М. Достоевский и Н. А. Бердяев, для которых история российской общественной мысли — это история неслышанных пророчеств и забытых истин, русские революционеры — «бесы», а герои истории — почти живые собеседники (34).

Конечно, подобный «тип интеллектуализма» имеет право на существование. В этом жанре на те же «вечные темы» создано гораздо больше глубоких, интересных и талантливо написанных работ писателей, литературоведов, философов: главное, что они это делают с большими основаниями на то, чтобы считать свои тексты «профессиональными». Как историческая публицистика эти работы были бы понятны, если бы их не сопровождал антураж, характерный для профессионального текста: имя автора сопровождается перечислением его научных званий и должностей, в тексте, насыщенном «научными» терминами, обязательно присутствует научно-справочный аппарат, наблюдается своеобразный культ исторического источника — самыми ценными объявляются аргументы «от источника». Встречаются очень забавные случаи изобретения интеллектуальных традиций подобных исследований, имитации использования модных методологий и неадекватного использования модных терминов (менталитет, архаика, архетип, дискурс, модернизация) (35).

Для подобных текстов, даже если они и созданы профессиональными историками, характерны многочисленные анахронизмы, своеобразный понятийный аппарат, насыщенный демонологическими и медицинскими метафорами, преобладание неопределённо-количественных числительных над определённо-количественными, стандартный набор сносок (безусловный лидер — Н. А. Бердяев), по которым нельзя догадаться, над какой проблемой, периодом или даже географическим регионом работает человек.

Однако подобных работ с середины 90-х историки создали не так много, чаще же особая темпоральность — временные структуры «вечности» — и риторика «последних вопросов» о добре и зле накладываются на добротные, классические с источниковедческой точки зрения исследовательские труды.

Характерным примером этого может служить монография Ф.М. Лурье о С.Г. Нечаеве, издававшаяся дважды: в 1994 и в 2001 г. в серии «Жизнь замечательных людей». Понятие «нечаевщины» стало для Лурье организующей категорией для понимания всей российской истории освободительного движения. К ответу за Нечаева он (во многом следуя за Достоевским) призывает декабристов, членов кружка Н.В. Станкевича, «Белинских и Грановских», М.А. Бакунина, В.Г. Белинского, петрашевцев, П.Г. Зайчневского, ишутинцев, а также позднейших участников революционного движения, которые шли по пути, «унавоженном нечаевщиной» (36). Все они оказываются связанными одной мистической связью: «Нечаев умер, сожгли его вещи, где-то похоронили труп, а дьявольская энергия создателя разрушения не ушла в преисподнюю, она переселилась в других...» (37). Наиболее конкретные категории у Лурье — морально-этические (ложь, обман, запугивание, шантаж, мистификация, ненависть, нетерпимость, аморализм, цинизм, произвол, разрешение, преступление, уголовщина, вседозволенность, кровопролитие), самые расплывчатые и непрояснённые — такие термины, как социализм и социалистический, революция и революционный, утопия и утопический, освободительное движение, «законы развития общества» — без которых он всё же не может обойтись. Важным для концепции монографии Лурье является ложный психологизм (38), и основанные на нем выводы-упрощения в настоящее время оказались востребованными авторами пособий по истории терроризма «ведомственного» характера.

В этой книге документ существует как бы в двух пространствах-измерениях: с одной стороны, это исторический источник, каким его знают профессиональные историки, привязанный к конкретным обстоятельствам возникновения, с другой — это свидетельство вне времени и, зачастую, вне пространства: «катехизис революционера» — «главнейший памятник литературного творчества Нечаева, откровеннейший документ нечаевщины и последовавших за ней этапов российского освободительного движения», которым «подпитывались корни всех революционных течений, включая большевизм» (39).

На мой взгляд, о постепенном возвращении историзма в подобные работы свидетельствует и сравнительный анализ первого и второго издания монографии Лурье: книги практически идентичны по структуре и содержанию, однако в издании 2001 г. отсутствует ранее стоявшая на месте заключения глава «Шабаш», где речь шла о долговременных последствиях «нечаевщины», о том, как «готовившийся Нечаевым шабаш набрал силу к началу XX столетия» и как при Сталине наступил «экстремум шабаша, его вершина»; точно так же и в предисловии Б.Ф. Егорова к этой книге во втором издании исчезают рассуждения о Сталине.

Стоит особо отметить, что «историософский» подход, несмотря на христианскую риторику, вряд ли можно отнести к христианскому дискурсу, христианской философии истории: на этом уровне он эклектичен и противоречив, зато наибольшую последовательность этот подход демонстрирует скорее

в качестве общественно-политической идеи конформизма по отношению к властям. Неслучайно, он так востребован авторами современных учебных пособий по терроризму для будущих борцов с терроризмом.

В плане способа постановки вопроса к прошлому к этому направлению примыкают (но далеко не исчерпываются им) работы отдельных представителей самого старшего поколения из ныне живущих историков, тех, кто в советское время занимался историей российского освободительного движения. Для них, видимо, обращение к нравственным альтернативам российской революционной традиции — итог не только профессиональной деятельности, но и личной интеллектуальной биографии (40).

«ОБЪЕКТИВИСТСКИЙ» ПОДХОД

И всё же «свободное размышление строго по документам» — этот жанр уже стал достоянием прошлого. Основную часть исследований социалистических и леворадикальных идей и движений с середины 90-х гг. создали историки, работающие с конкретно-исторической проблематикой, в текстах которых прослеживается как преемственность по отношению к советской историографии, так и сфера историографических новаций. Типичными примерами подобных исследований являются монографии по политической истории России, издаваемые ассоциацией «Российская политическая энциклопедия» при поддержке РГНФ, издательством «Эдиториал УРСС», а также «АИРО-XX».

Во второй половине 90-х гг. историками последовательно ставились и решались следующие теоретические и методологические задачи:

— Избавления от идеологического наследия, догматизма и «мифологем» советской исторической науки, от её методологической односторонности и избирательности в выборе предметов исследования;

— Преодоления конъюнктурного перестроечного типа интеллектуализма, уже успевших сложиться на публицистической волне новых стереотипов и штампов, «вольных интерпретаторских наслоений, эмоциональной шелухи и заклинаний» (41);

— Активная работа с историческими источниками, прежде всего в плане их публикации, создание конкретно-исторических исследований по ранее замалчивавшимся или недооцененным вопросам политической, социальной и интеллектуальной истории России (42);

— Методологический поиск путей к научному объективному освещению прошлого, в том числе и путём профессиональных дискуссий и обмена опытом с зарубежными коллегами (43).

Решение третьей из перечисленных задач нашло наиболее зримое воплощение — в десятках конкретно-исторических сборников документов, монографий и сотнях статей и публикаций отдельных исторических источников. В теоретическом словаре историков этого направления наиболее позитивно окрашенным понятием является слово «фактология», которое, не являясь каноническим источниковедческим термином, выступает в роли интегрирующей

профессиональной ценности, основы для самоидентификации внутри профессиональной культуры.

Однако, на мой взгляд, маркерами теоретических и методологических трудностей, с которыми столкнулись представители этого подхода, являются:

— недостаток работ, претендующих на обобщающий характер и учебных пособий по истории социалистических и леворадикальных идей и движений;

— определённая слабость постановки теоретических и методологических задач во вводных и заключительных частях исследований, неотрефлексированность собственных теоретических основ и исследовательского языка;

— почти полное отсутствие специализированных изданий, посвящённых истории «освободительного движения» в России, постоянных тематических рубрик в периодике, а также методологических работ и профессиональных дискуссий (44).

Для обобщающих работ по интересующей нас проблеме характерно, что чаще всего они создаются не профессиональными историками, а философами или политологами; в их проблематике современные вопросы довлеют над историографическими; жанры этих работ носят не всегда определённый характер, авторы этих работ почти не испытывают потребности к обращению к новейшим публикациям документов и работам по истории социалистических и леворадикальных движений. Как правило, наиболее удачные в историографическом плане из таких работ — это современные сборники статей и энциклопедические статьи по истории политических партий в России, но они имеют скорее справочный, чем обобщающий характер.

Ещё интереснее ситуация с учебными пособиями. Они чаще создаются провинциальными историками, чем столичными, цель их создания нередко бывает связана с ведомственными интересами и, как правило, такие пособия создаются в обход профессиональной экспертизе на основе маргинальных, неакадемических версий истории общественного движения. В качестве примера таких учебных пособий можно назвать пособия А. Ю. Головатенко, который активно использует понятие «тоталитарного» общественного движения применительно к российскому революционному движению начала XX в., В. Кузнецова, который среди множества ипостасей российского революционного движения обнаруживает и сексуальную («все они [революционеры] в той или иной степени были сексуальными извращенцами» (45)); а также работы А. И. Суворова, в которых правоохранительные и карательные органы и их интересы становятся почти самостоятельным субъектом исторического процесса.

На уровне постановки исследовательских задач и в выборе языка исследования для теоретических и методологических посылок историков-«объективистов» присутствуют следующие характерные черты:

— уверенность в общественной актуальности своего исследования при невнимании к формулировке научной актуальности;

— декларация стремления дать «объективную оценку» исследуемому явлению;

— неотрефлексированность базовых категорий анализа, их расширительное употребление или даже придание им значений из обыденной жизни.

Проблема «актуальности» исследования отнюдь не такая безобидная в теоретическом отношении, как этом может показаться тем, кто привык автоматически писать об общественно-политической важности своей работы. Если у историков в конце 80-х — начале 90-х не возникало сомнений в том, что их знание востребовано обществом, то сегодня это уже не столь очевидно и даже более того — поставлено под вопрос. В том, как на него ответит историк в каждом конкретном случае, находят своё отражение его представления о том, где грань между прошлым и настоящим, какова онтологическая основа используемых им категорий и функция профессионального исторического знания в обществе.

Экспертное историческое знание востребовано обществом в весьма ограниченном масштабе. Задача эксперта — информационное обеспечение профессиональным историческим (и историографическим) знанием актуальных общественных проблем. Примером признанного эксперта может служить О.В. Будницкий. Однако потребность СМИ в экспертах ограничена, и если уж они приглашают человека, образ которого должен отозваться в сознании зрителей и слушателей сигналом узнавания «историк!», то чаще всего этими «историками» будут Э. Радзинский или В. Сироткин, которые склонны не к развенчанию, а к созданию исторических мифов.

Характерно, что если в своих первых работах о терроризме Будницкий замечал, что изучаемая им проблема имеет не только историографический характер, но и поможет нам извлечь «уроки из прошлого» (46), а в 2000 г., когда вышла его монография, а общественная значимость проблемы терроризма приобрела сверхактуальность, он уже писал, что «для историка существует опасность модернизировать события прошлого и привнести в свой анализ оценки, свойственные времени, в котором он живет и пишет; иными словами, пойти на уступки политической конъюнктуре. ... При определённой типологической схожести революционного терроризма XIX — начала XX вв. с терроризмом наших дней у них, по нашему мнению, больше отличного, нежели общего. И актуальность изучения истории терроризма, как нам представляется, определяется, прежде всего, научными, нежели политическими причинами. В то же время, современные события неизбежно изменяют историческую перспективу и заставляют историка скорректировать некоторые оценки» (47).

В такой ситуации особенно важными оказываются процедуры различения — оттенков понятий, явлений, смыслов, недоступных для массового исторического сознания. Поэтому попытаться «предугадать, как наше слово отзовется», необходимо на уровне решения вопроса о *научной* актуальности исследования и его теоретических основаниях вместо того, чтобы ограничиваться «теоретико-методологическими» «скороговорками» о принципах объективности и историзма, о стремлении к «всестороннему, комплексному исследованию», в которых отсутствует сколько-нибудь серьёзное внутреннее содержание.

Далее, при всём стремлении сторонников данного подхода к «объективности», хотелось бы привести слова Н. Н. Козловой, прозвучавшие в одной из её последних статей, о том, что уже сам «выбор исследователем языковых средств свидетельствует, из какой теоретической картины мира он исходит, как понимает социальное действие и самого человека. Текст ещё раз напоминает: за каждой попыткой эмпирического исследования — философские скелеты в шкафу» (48). Почти оксюморон «объективной оценки» в этом смысле указывает на наличие проблемы. Ещё большие проблемы связаны с состоянием «социалистического» словаря понятий, без которых не обойтись при изучении истории общественного движения.

Из всего словаря, активно используемого при изучении интересующей нас проблематики, непродуманными, необсужденными, очень приблизительными остаются такие важнейшие термины, как «освободительное движение» и его «этапы», «социализм» и «социалистические» движения, «русский социализм», «русский марксизм», «революция» и «революционное движение», «революционная демократия», «нигилизм», «народничество», «провокация», «мировая революция», «диктатура пролетариата», «народ» и «пролетариат», «коллективизм», «община» и «общинность», «ассоциация», «кооперация». Во многом на данном этапе утрачена высокоразвитая культура внимания к терминам «социалистического» словаря, характерная для советской исторической науки. Особенно обидно за такое понятие, как «утопия», которое почти совсем исчезло из современно словаря российских гуманитариев, в то время как на Западе исследователи демонстрируют его исключительно богатый теоретический потенциал. Повезло лишь некоторым терминам, таким, как «интеллигенция», «реформаторское народничество» (стараниями В. В. Зверева, Д. Д. Жвани и др.), «терроризм». В этом смысле поучительным может быть то, что современные декабристоведы не постеснялись вернуться к прояснению такого понятия, как «декабрист».

Более того, именно в связи с неотрефлексированностью собственных теоретических оснований одной из нерешенных данным направлением задач представляется «возвращение личности» в историю. Как показала в своём исследовании Е. А. Котеленец (49), активная публикаторская работа, открытие новых («сенсационных») фактов и обстоятельств биографии В. И. Ленина и его соратников в гораздо меньшей степени ведёт к научной новизне исследовательских выводов, чем просто внимательное прочтение давно известного комплекса исторических источников.

Декларированное внимание к субъективной, психологической стороне исторических процессов также оказалось недостаточно обеспеченным в методологическом отношении. Например, Р. А. Городницкий ставит перед собой задачу воссоздания «мировоззрения и психологии эсера-террориста», использует такие «термины», как «духовный облик», «внутренний мир», чуткость к любым проявлениям несправедливости», «тяжелейший психологический и мировоззренческий кризис», «помутнение сознания», «душевный надлом», «смятенное состояние духа» и т. п., но в целом ограничивается традиционным

изложением биографии своего героя (50). Располагая таким благодатным источником, как переписка (богатство её образов заметно уже в многочисленных авторских цитатах), он не пытается их в современном смысле этого слова прочитать; он жалуется на информационный потенциал свидетельств членов боевой организации: «искать в подобных воспоминаниях что-нибудь существенное о жизни БО — дело безнадёжное» (51), и вместо того, чтобы попытаться расшифровать скрытые пласты информации, он отдаёт безусловное предпочтение свидетельствам Б. В. Савинкова (52), как следствие, в работах Городницкого трудно разделить точку зрения самого исследователя и Савинкова. Когда же в другом своём произведении автор берется исследовать «существо натуры Гершуни», но непонятным остается, почему Г. А. Гершуни стал террористом, не ясна его роль в боевой организации (53). То же самое можно сказать о работах Г. С. Кана о «Народной воле» (54): поставив перед собой высокую задачу «изучения интеллектуального и психологического облика видных народовольцев, а также менталитета (!) социально-активных членов общества, идущих в революционные организации», он не смог методологически решить эту задачу и в результате своего диссертационного исследования пришёл к банальному «выводу» о том, что «основными чертами характера людей, составлявших костяк Исполнительно Комитета “Народной воли”, были: глубокая убежденность в необходимости революции в России (в народовольческом варианте), огромный, хотя и не всегда внешне бросающийся в глаза, темперамент, сильная воля, большая энергия, немалый практический ум, готовность на полное самопожертвование во имя исповедуемых целей» (55).

НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА

Исключительным вниманием в своих «теоретических скелетах» отличаются работы казанской исследовательницы М. Могильнер (56), которая демонстрирует в своих работах сочетание дискурсивного анализа с семиотическим подходом и традиционными методами исторического исследования, а также ряд исследователей российской и советской культуры, среди которых не так часто можно встретить историков, но которые работают над проблемами, оставленными профессиональной историографией без внимания (57).

Если рассматривать гуманитарные науки в целом, то сегодня стало заметным, что, как пишет Г. И. Зверева, в 90-е гг. в «академической среде формировался новый тип профессиональной саморефлексии», который «выражался в том, что исследователь стал обращать повышенное внимание на сам процесс познания и конкретные мыслительные операции, применяемые при изучении предмета; поэтому исследовательская практика рассматривалась преимущественно как интеллектуальная работа, совершаемая... в пространстве «своей» академической культуры» (58). Наверное, с большей или меньшей уверенностью в каждом конкретном случае можно говорить о принадлежности таких исследователей к отдельной профессиональной субкультуре, ориентированной на новые методологические подходы, методологически

ёмкие историографические технологии (во многом главный герой таких работ — метод). Главные события 90-х для этой «субкультуры» — освоение семиотического подхода, исторической антропологии, микроистории, чтение французских постструктуралистов, дискуссии вокруг «постмодернизма» и т. п., их трибуна — не исторические, а литературоведческие и общегуманитарные журналы, отдельные удачные сборники конференций, но в целом их читает очень узкий круг читателей — и прежде всего из-за теоретической сложности их языка.

В исследовании истории социалистических и леворадикальных идей и движений этот подход ещё в полной мере себя не проявил, но уже сегодня можно сказать, что внимание его сторонников будет направлено на те пласты информации, которые с помощью инструментария традиционного источниковедения не читаются, и утверждаться оно будет в полемике с «объективистским» направлением, причём главным предметом обсуждения, как уже показали отдельные рецензии и «круглые столы», будет то, как сделаны эти работы, то есть вопрос о том, что такое современный профессионализм.

СОЦИАЛИСТЫ ИЗУЧАЮТ СОЦИАЛИСТОВ, РАДИКАЛЫ ИЗУЧАЮТ РАДИКАЛОВ

Принципиальный отказ от позиции объективной «внезаходимости» характерен для представителей четвертого подхода — современных профессиональных историков левой ориентации, которые в исследованиях не пытаются абстрагироваться от своих политических взглядов. Это чаще всего социал-демократы, анархисты или коммунисты; они выступают в «партийной» периодике, журналах «Альтернативы», «Свободная мысль», «Община», и изданиях «Фонда развития политического централизма» и т. д. В редких случаях, как, например, с Н. А. Троицким, можно встретить варианты сознательного следования марксистской традиции восприятия освободительного движения в России, чаще же речь идёт о молодых историках, которые поставили перед собой цель творческого переосмысления теоретического наследия социалистов второй половины XIX–XX вв. (59).

Преимуществами изучения социалистов глазами социалистов и радикалов глазами радикалов являются следующие характерные черты этого историографического направления:

— внимание к мелочам, тонкостям, фигурам и идеям «второго ряда», всему многообразию социалистической мысли и леворадикальной традиции;

— широкая международная перспектива восприятия общественной мысли и общественного движения;

— постановка проблемы социального творчества масс на серьёзном теоретическом уровне;

— осмысленность собственных методологических предпосылок (60), стремление к творческому пересмотру «марксизма», теоретического наследия «франкфуртской школы» (61).

— Неприкрытая ангажированность сторонников данного подхода, на мой взгляд, могла бы сыграть положительную роль в профессиональном

сообществе, провоцируя полемику, но этого пока не произошло — интерес профессионального сообщества к таким изданиям невысок.

Примером того, как в сегодняшних историографических спорах сложно бывает отделить «идеологию» от «методологии» является единственная дискуссия второй половины 90-х гг., которая состоялась в связи с интересующими нас сюжетами (62). То качество, которое приняли споры о характере «Народной воли», на мой взгляд, свидетельствует о неэффективности историографической коммуникации на почве «этического» отношения к предмету исследования. Для того, чтобы историографические дискуссии были более плодотворными, необходимо поставить их на «эстетическую» основу, а именно обратить принципиальное внимание на следующие структурные элементы историографического знания:

— соотнесение конкретно-исторических исследований с вниманием к собственным теоретическим посылкам; выход за дисциплинарные границы историографии в поисках новых теоретических языков;

— расширение предметного и проблемного полей исторических исследований прежде всего за счёт открывания заново огромного и сложного мира социализма и левой культуры (63);

— разработка потенциального богатства таких «полезных категорий исторического анализа», как «социализм», «солидарность», «утопия» и т. д., исследование многообразия исторических смыслов современного «социалистического словаря», изучение (и различение) исторических и академических традиций его употребления.

На мой взгляд, реализация подобной программы может послужить основой складывания пространства диалога для многочисленных и отнюдь не самодостаточных в своём стремлении к научной истине идеологических, теоретических, дисциплинарных, региональных и, наконец, возрастных профессиональных сообществ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь я исхожу из самых общих определений социализма и левого радикализма — это тем более важно, что в настоящее время, ассоциируясь прежде всего с «большевизмом» и «советским тоталитаризмом», эти понятия превратились в мифологические образы, которыми пугают детей и в которых весьма слабо прослеживаются следы исторических и научных традиций их употребления. К социалистическим принято относить такие идеи и движения, которые отдают предпочтение ценностям солидарности, общечеловечности, большинства, коллектива в противовес индивидуализму, частному интересу. Как социально-политическое учение, социализм противопоставляет себя буржуазному обществу и индивидуалистическому либерализму. Социалистические идеи в совокупности с рядом общечеловеческих ценностей (приверженностью идеям свободы личности и демократии, интернационализму, верой в общественный прогресс, социальную справедливость, равенство) составляют «левую» политическую культуру. Левый радикализм — это одно из практических измерений левой культуры, представляющее собой методы общественного действия, направленные на радикальное изменение буржуазного строя и системы ценностей — начиная с создания очагов «левого» образа жизни в существующем обществе и заканчивая насильственным ниспровержением всей системы.

2. Бурин С. Н. Судьбы безвестные: С. Нечаев, Л. Тихомиров, В. Засулич. — М., 1994. С. 7.

3. *Лурье Ф. М.* Нечаев: Созидатель разрушения. — М., 2001. С.14.

4. Герцен и современность: Материалы из альм. «Pro Fribur» (1996, №113, дек.), посвящ. А. И. Герцену /Ассоц. «Pro Fribur» и др.; [Сост. А. Д. Марголис]. — СПб.; — Фрибург (Швейцария), 1996; *Володин А. И.* Об историсофии Герцена //Вопросы философии. 1996. № 9. С.82–89; *Порох И. В.* Герцен о России //В раздумьях о России (XIX век). — М.: Археографический центр, 1996. С.230–242; *Володин А. И.* Об историсофии Герцена //Вопросы философии. 1996. № 9. С.82–89; *Роот А. А.* «Колокол» (1868–1869) и традиции вольной русской прессы: отражение общественно-политической жизни России: [Газ. А. И. Герцена и Н. П. Огарева]: (Концепции исслед.): Материал спецкурса для студентов-журналистов. — Казань, 1996; Герцен и Огарев в кругу родных и друзей /Отв. ред. Л. Р. Ланский, С. А. Макашин //Литературное наследство. — М., 1997. Т.99. Кн.1–2; *Порох И. В.* Герцен о России //В раздумьях о России (XIX век). — М., 1996. С.230–242; *Капинос С. В.* Проблема гармонии личности и общества в социально-религиозных исканиях раннего Н. П. Огарева //Россия в новое время: Личность и мир в историческом пространстве. Материалы межвуз. науч. конференции 14–16 апреля 1997 г. — М., 1997. С.115–117; *Хестанов Р.* Церковь и республика учёных: И. Киреевский и А. Герцен //Логос. 1999. № 2 (12). С.111–121; Н. П. Огарев в новых документах и иллюстрациях /Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. — Саранск, 1999; Н. П. Огарев от XIX к XXI веку: Материалы и тез. докл. XXVII Саран. междунар. Огарев. чтений (к 185-летию со дня рождения), Россия, — Саранск, 1998, 8–9 дек. /Гл. ред. Н. И. Воронина. — Саранск, 1999; *Дмитриев С. С.* К вопросу о происхождении «русского социализма» А. И. Герцена (Герцен и славянофильство) //Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. — М., 1999. С.227–265; *Твардовская В. А., Итенберг Б. С.* Русские и Карл Маркс: Выбор или судьба? — М., 1999. С.35–65; *Антонов В. Ф.* А. И. Герцен: Общественный идеал анархиста. — М., 2000; *Роот А. А.* Герцен и традиции Вольной русской прессы: [Монография]. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001; *Хестанов Р.* Александр Герцен: Импровизация против доктрины. — М., 2001.

5. *Егоров Б. Ф.* Русские утопии //Из истории русской культуры. Т.5 (XIX век). — М., 1996. С.225–276; То же //Звезда. 1996. № 12. С.175–190; Плод революционной страсти /Публ. Эк. Щербаковой //Родина. 1996. № 1. С.73–76; Революционный радикализм в России: век девятнадцатый: Док. публ. / РАН. Под. ред. Е. Л. Рудницкой — М., 1997; *Эткинд А. М.* The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым //Знамя. 1997. № 1. С.153–182; *Пустарнаков В. Ф.* Ещё раз о сущности русского Просвещения 1860-х гг. и впервые о его кризисе //http://www.philosophy.ru/iphras/library/i_ph_4/03.html; *Белов С. В.* «Меня спасла каторга»: Повесть о Достоевском и петрашевцах. — СПб., 2000; *Сараскина Л.* Николай Шпешнев. Несбывшаяся судьба. — М., 2000.

6. Среди них постоянством своего интереса и новизной материалов отличается Кировский историк В. Д. Сергеев: *Сергеев В. Д.* Пропагандист с динамитом: Правда и миф о Степане Халтурине. — Вятка (Киров), 1998; *Он же.* Ревнителю революционного нетерпения. Из истории Вятки. — Вятка (Киров), 2000; *Он же.* Николай Аполлонович Чарушин: Народник, общественный деятель, издатель, краевед: (К 150-летию). — Вятка (Киров), 2001.

7. *Рудницкая Е. Л.* Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. — М., 1999; *Итенберг Б. С.* Российская интеллигенция и Запад: Век XIX: Очерки. — М., 1999.

8. Приятные исключения: *Вайсконф М.* «Солнцев дом» Веры Павловны //Вопросы литературы. 1997. Ноябрь–декабрь. С.353–359; *Щербакова Е. И.* Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в восприятии радикальной молодежи середины 60-х годов XIX века //Вестник МГУ. Сер.8. История. 1998. № 1. С.59–68; *Твардовская В. А., Итенберг Б. С.* Указ. соч. С.87–104; *Антонов В. Ф.* Н. Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. — М., 2000.

9. *Тихонова Е. Ю.* Гуманизм Белинского как русское духовное явление //В раздумьях о России (XIX век). — М., 1996. С.129–154; *Тихонова Е. Ю.* Мироззрение молодого Белинского. 2-е изд. — М., 1998; *Тихонова Е. Ю.* В. Г. Белинский в споре со славянофилами. — М., 1999; *Тихонова Е. Ю.* Человек без маски: Личность В. Г. Белинского в его переписке. — М., 2002.

10. *Лурье Ф. М.* Нечаев: Созидатель разрушения; *Будницкий О. В.* «Теоретическое убийство»: С. Г. Нечаев и его «Катехизис революционера» //История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. — Ростов н/Дону, 1996. С.43–47.

11. *Черемичина Т. Б.* «Хождение в народ» русской интеллигенции и архетип странника //Архетип: Культурологический альманах, 1996. — Шадринск, 1996. С.114–116; *Затеева Т. В.* Народнический роман XIX века: философские истоки. — М., 1998; *Затеева Т. В.* Народнический роман. Концепция личности и способы её изображения: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.01.01 /Моск. пед. гос. ун-т. — М., 1998; *Калинчук С. В.* Психологический фактор в деятельности «Земли и воли» 1870-х годов //Вопросы истории. 1999. № 3. С.46–58; *Калинчук С. В.* Группа «Чёрный передел» и проблема федерализма в движении революционного народничества в 70–80-х годах XIX века: Автореф. дис. канд. ист. наук. — СПб., 2000.

12. См. статью Г. Н. Мокшина в настоящем издании.

13. *Левандовский А. А.* Бомбисты //Родина. 1996. № 4. С.48–51, 54–56; *Кан Г. С.* «Народная воля»: Идеология и лидеры. — М.: Пробел, 1997; *Милевский О. А.* К вопросу о причинах отхода Л. Тихомирова от

революционного движения. — Томск, 1998; Индивидуальный политический террор в России, XIX — начало XX в.: Материалы конференции /Сост. К. Н. Морозов. — М., 1996; Женщины-террористки в России: [Бескорыст. убийцы: Воспоминания] /Сост., вступ. ст. и примеч. О. В. Будницкого. — Ростов н/Д: Феникс, 1996. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый: Док. публ. /РАН. Ин-т рос. истории; Под. ред. Е. Л. Рудницкой — М.: Археогр. центр, 1997; Женщины-террористки в России: [Бескорыст. убийцы: Воспоминания] /Сост., вступ. ст. и примеч. О. В. Будницкого. — Ростов н/Д: Феникс, 1996; *Воронихин А. В.* Вера Фигнер: Путь в террор //Освободительное движение в России. Вып.16. — Саратов, 1997. С.75–85; *Левандовский А. А.* Смертельный счёт (Убийство Александра II) //Цареубийства: Гибель земных богов /Сост. Н. В. Попов. — М., 1998. С.407–421.

14. *Мелешко Е. Д.* Толстовские земледельческие коммуны //Опыты ненасилия в XX столетия: Социально-этические очерки. — М., 1996. С.157–166; *Мелешко Е. Д.* Толстовство как социально-этический феномен //Л. Н. Толстой и традиции ненасилия в двадцатом веке: (Материалы симпозиума). — М., 1996. С.13–17; *Скорородова А. С.* Русский «религиозный позитивист» В. Фрей //Огюст Конт: К 200-летию со дня рождения. — СПб.: Петрополис, 1998. С.191–207; *Гордеева И. А.* Интеллигентная деревня //Азбука агробизнеса. 2000. июль. С.27–28; *Гордеева И. А.* «Батицкое дело»: Социальный эксперимент А. Н. Энгельгардта и его место в истории общественного движения последней четверти XIX в //http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/20/3; *Гордеева И. А.* «Забытые люди» истории. Российское коммунитарное движение. — М.: АИРО-XX, 2003.

15. *Ксенофонтов И. Н.* Георгий Гапон: вымысел и правда. — М., 1996; *Потолов С. И.* Петербургские рабочие и интеллигенция накануне революции 1905–1907 гг. «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» //Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций, 1861 — февраль 1917 г. — СПб., 1997. С.530–541 и др. статьи данного автора. Особый интерес к этой проблеме наметился в пособиях, созданных для воспитания работников правоохранительных органов, о чём см. ниже.

16. *Ходоров А. А.* Между религией и революцией: Духовные искания русской интеллигенции Серебряного века //ОНС.2000. № 2. С.151–162; *Эткинд А. М.* ХЛЫСТ: (Секты, литература и революция). — М., 1998; *Морозов К. Н.* Поиски ответов на «проклятые вопросы» этики и богоискательство в эсеровской среде в межреволюционный период (июнь 1907 г. — февраль 1917 г.) //Махаон. №2, март-апрель 1999; *Жукоцкий В. Д.* Русский марксизм в религиозном измерении: Историко-философский аспект: Автореф. дис. ... д-ра филос. Наук. — Екатеринбург, 2000.

17. *Штырбул А. А.* Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти XX века: Антигос. бунт и негос. самоорг. трудящихся: теория и практика. — Омск: ОмГП, 1996; *Твардовская В. А.* «Двух голосов переключка»: Достоевский и Кропоткин в поисках общественного идеала //В раздумьях о России (XIX век). — М., 1996. С.272–297; *Дубовик А. В., Дубовик А. В.* Деятельность «группы екатеринских рабочих анархистов-коммунистов» в 1905–1906 гг. //Индивидуальный политический террор в России, XIX — начало XX в.: Материалы конференции. *Ермаков В. Д.* Анархистское движение в России: история и современность. — СПб., 1997; *Телицын В. Л.* Нестор Махно: Историческая хроника. М., — Смоленск, 1998; *Шубин А. В.* Анархистский социальный эксперимент: Украина и Испания, 1917–1939 гг. — М., 1998; Анархизм: Сборник — М., 1999; Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935: В 2 т. — М., 1999; *Антонов В. Ф.* А. И. Герцен: Общественный идеал анархиста. — М., 2000; *Памяти М. А.* Бакунина. — М., 2000; *Коротич П. О.* Российские анархисты в годы первой мировой войны: Идеология, организация, тактика, 1914–1918 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — М., 2000; Труды международной научной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения П. А. Кропоткина (Москва, Дмитров, С-Петербург, 9–15 дек. 1992 г.) Вып.2. Идеи П. А. Кропоткина в социально-экономических науках //Институт экономики РАН. — М., 1997; *Талеров П. И.* Место идей анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в истории России и российского анархизма второй половины XIX — начала XX вв.: Автореф. дис. ... к-та ист. наук. — СПб., 1997; *Должиков В. А.* М. А. Бакунин в национально-региональном политическом процессе эпохи «оттепели» (рубеж 1850–1860-х гг.). — Барнаул, 2000; *Борисёнок Ю. А.* Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. — М., 2001.

18. *Тютюкин С. В., Шелохаев В. В.* Марксисты и русская революция. — М., 1996; *Пустарнаков В. Ф.* Парадоксы в истории марксизма в России //http://www.philosophy.ru/iphras/library/marx/marx20.html.

19. *Тютюкин С. В.* Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. — М., 1997; *Коган С. Н.* Г. В. Плеханов и русская философия. — Архангельск, 1998; Исторические судьбы России: Плехан. чтения, 29.05–30.05 1999 г.: Тез. докл. / [Науч. ред. — Т. И. Филимонова] — СПб., 1999; *Калачева Е. Н.* Общественно-политическая деятельность Г. В. Плеханова в 1917 году: Автореф. дис. канд. ист. наук. — М., 2001; «Теперь мы переживаем период ревизии Плеханова». Р. М. Плеханова об очерке А. М. Горького «В. И. Ленин». Начало 1930-х гг. /Публ. Т. И. Филимоновой //Исторический архив. 2001. № 2. С.43–66.

20. Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия. — М., 1995; Программы политических партий России. Конец XIX — начало XX в. — М.: РОССПЭН, 1995; Исторический опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии: К 100-летию РСДРП: Материалы рос.-герм. двусторон. симп. 5–7 марта 1998. — М., 1998.

21. Черемных О. А. Революционно-демократический фронт в годы первой российской революции (1905–1907 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. открытый пед. ун-т — М., 1996; Революция и человек: Быт, нравы, поведение, мораль. — М.; Революция и человек: Социально-психологический аспект. — М., 1996; Будницкий О. В. В чужом пиру похмелье: евреи и русская революция // Евреи и русская революция: Материалы и исследования. М.—Иерусалим, 1999. С.3–21; Трухин М. Д. Идея Учредительного собрания в программе и практической борьбе леворадикальной части неонародничества в период первой русской революции 1905–1907 гг. — М., 1999; и др.

22. Котеленец Е. А. В. И. Ленин как предмет исторического исследования. Новейшая историография. — М., 1999; а также см. библиографию автора.

23. Меньшевики в 1917 году: В 3-х т. /Под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. — М., 1994–1997; Сергеева Е. Б. Меньшевики в политической борьбе на Урале (1917–1924 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Тюменский гос. ун-т. — Екатеринбург, 1997; Ненароков А., Павлов Д., Розенберг У. В условиях официальной и полуофициальной легальности. Январь–декабрь 1918 г.: Документально-исторический очерк //Меньшевики в большевистской России, 1918–1924. Т.1. Меньшевики в 1918 году. — М., 1999. С.19–56; Тотюкин С. В. Меньшевизм как идейно-политический феномен //Меньшевики: Документы и материалы, 1903 — февраль 1917 гг. — М., 1996. С.5–25; Меньшевики в советской России: Сб. док. [Сост.: В. К. Виноградов и др.]. — Казань, 1998; Меньшевики в 1917 г.: В 3-х т. Т.3. Меньшевики в 1917 году: От Корниловского мятежа до конца декабря. Ч.1. Август — первая декада октября. — М., 1996; Меньшевики в большевистской России, 1918–1924. Т.1. Меньшевики в 1918 году /Отв ред. З. Галили, А. Ненароков; Отв. составитель Д. Павлов. — М., 1999; Ненароков А. Упущенная возможность единения демократических сил при решении вопроса о власти //Меньшевики в 1917 г.: В 3-х т. Т.3. Меньшевики в 1917 году: От Корниловского мятежа до конца декабря. Ч.1. Август — первая декада октября. — М., 1996. С.13–71; Меньшевики в большевистской России, 1918–1924. Т.2. Меньшевики в 1919–1920 гг. /Отв. ред. З. Галили, А. Ненароков; Отв. составитель Д. Павлов. — М., 2000; Меньшевики и меньшевизм: Сб-к статей. — М., 1998; Меньшевики: Документы и материалы, 1903 — февраль 1917 гг. — М., 1996; Орлов И. Б. «Персонаж исчезнувшей меньшевистской Атлантиды» (Петр Павлович Маслов: Экономист, публицист и политический деятель) //Меньшевики и меньшевизм: Сб-к статей. — М., 1998. С.153–191; Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. Политик и историк. — М.: Наука, 1997; Шерстянников Н. А. Меньшевистская альтернатива в Российской социал-демократической рабочей партии: (1903 г. — февр. 1917 г.) — М., 1999; Устинкин С. В. Некоторые аспекты участия меньшевиков в гражданской войне //Исторический опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии: Сб. статей. — М., 1998; Урилов И. Х. История российской социал-демократии (меньшевизма). — М., 2001; Орлов И. Б. «Персонаж исчезнувшей меньшевистской Атлантиды» (Петр Павлович Маслов: Экономист, публицист и политический деятель) //Меньшевики и меньшевизм: Сб-к статей. — М., 1998. С.153–191.

24. Куканов А. В. Государственная власть и политический терроризм партии социалистов-революционеров (1900–1905 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Санкт-Петербург. акад. — СПб., 1997; Ярцев Б. К. Социальная философия В. Чернова //Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-философских дискуссиях 20-х годов). — М., 1996. С.94–141; Еремин А. И. Так начиналась партия эсеров //Вопросы истории. 1996. № 1. С.144–146; Горюничий П. А. Три стиля руководства Боевой организацией партии социалистов-революционеров: Гершуни, Азеф, Савинков //Индивидуальный политический террор в России. XIX — начало XX в.: Материалы конференции. //Балуев Б. П. Дело А. А. Лопухина //Вопросы истории. 1996. № 1. С.134–143; Морозов К. Н. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1909–1911 гг. и загадка «дела Петрова» //Индивидуальный политический террор в России. XIX — начало XX в.: Материалы конференции. Сыпченко А. В. Народные социалисты и террор //Индивидуальный политический террор в России, XIX — начало XX в.: Материалы конференции. Сыпченко А. В. Народно-социалистическая партия в 1907–1917 гг. — М., 1999; Панюков А. А. Народно-социалистическая партия России и её роль в борьбе за решение аграрного вопроса. 1905–1917 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Орлов. гос. ун-т. — Орел, 1999; Морозов К. Н. Поиски ответов на «проклятые вопросы» этики и богословства в эсеровской среде в межреволюционный период (июнь 1907г. — февраль 1917г.) //Махаон. №2, март–апрель 1999; Анархисты: Док. и материалы, 1883–1935 гг.: В 2-х т. /Сост., авт. предисл., введ. и коммент. В. В. Кривенький — М., 1998–1999; Добровольский А. В. Социалисты-революционеры Сибири: От распада к самоликвидации. — Новосибирск, 1997; Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. — М., 1997; Леонов М. И. Эсеры и II Дума //Вопросы истории. 1997. № 2. С.18–33; Добровольский А. В. Социалисты-революционеры Сибири: От распада к самоликвидации. — Новосибирск, 1997; Баранов А. С. Образ террориста в русской культуре конца XIX — начала XX века: (С. Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Б. Савинков) //Общественные науки и современность. 1998. № 2; Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. — М., 1998; Горюничий П. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901–1911 гг. — М., 1998; Еремин А. И. Судьба Михаила Гоца //Вопросы истории. 1998. № 2. С.144–148; Могильнер М. Б. Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. — М.: Новое литературное обозрение, 1999; Мельни-

ков В.В. Партия эсеров и «трудовики» на этапе буржуазно-демократической революции 1905–1907 и 1917 гг. в Ставропольской губернии и Терской области: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Ставрополь, 1999; *Городницкий Р.А.* Г.А. Гершуни — «крестный отец» эсеро-терроризма //Евреи и русская революция: Материалы и исследования. М.—Иерусалим, 1999. С.233–266; *Гусев К.В.* В.М. Чернов. Штрихи к политическому портрету (Победы и поражения Виктора Чернова). — М., 1999; *Будницкий О.В.* Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). — М., 2000; *Лавров В.М.* Партия Спиридоновой (Мария Спиридонова на левозеро-эсерских съездах). — М., 2001; *Мещеряков Ю.В.* Мария Спиридонова. Страницы биографии /Архив. отд. Администрации Тамбов. обл. Гос. архив Тамбов. обл. — Тамбов: Центр-пресс, 2001; и др.

25. *Добровольский А.В.* Социалисты-революционеры Сибири в конце 1917 — начале 1920 гг. /Отв. ред. В.А. Демидов; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Обществ. комплекс. науч. — исслед. ин-т. — Новосибирск, 1999; *Салтык Г.А.* Создание и деятельность партии социалистов-революционеров в губерниях Черноземного центра России (конец XIX века — октябрь 1917 года): Монография /Курский гос. технический ун-т. — Курск, 1999; *Бехтерев С.Л.* Эсеро-максималистское движение в Удмуртии. 1997; *Квасов О.Н.* Террористическая деятельность революционеров Центрального Черноземья в начале XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Воронежская лесотехническая акад. каф. истории и политологии. — Воронеж, 2000; *Васёхина Н.В.* Московская организация партии социалистов-революционеров (июнь 1907 — февраль 1917 гг.) — М., 2001; *Крамская С.В.* Социалисты-революционеры на Дону в 1905–1907 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ростовский гос. ун-т. — Ростов н/Д, 2001; *Ляхудзев М.И.* Левые эсеры в политической жизни Урала в 1917–1918 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Уральский гос. ун-т. — Екатеринбург, 2001.

26. *Злоказов Г.И.* Меншевиство-эсеро-ВЦИК Советов в 1917 году. — М.: Наука, 1997; *Медведев В.Г.* Поиск третьего пути в русской революции. Генезис и эскалация «демократической контрреволюции» //Преподавание истории в школе. 2000. № 1. С.16–22; *Павлов Д.Б.* Репрессии в отношении членов социалистических партий и анархистских организаций в первое пятилетие «пролетарской диктатуры» //Меншевики и меньшевизм: Сб-к статей. — М., 1998. С.69–108; *Павлов Д.Б.* Большевицкая диктатура против социалистов и анархистов. 1917 — середина 50-х гг. — М., 1999; *Протасов Л.Г.* Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. — М., 1997; *Шубин А.* Социалисты в российской революции 1917–1921 гг. //Карло Россели и левые в Европе: К 100-летию со дня рождения. — М., 1999. С.91–126; *Ненароков А.П.* Последняя эмиграция Павла Аксельрода. — М.: АИРО-XX, 2001.

27. *Ларин А.М.* Из истории суда присяжных в России. — М., 1995; *Суворов А.И.* Политический терроризм в России в XIX — начале XX века и российское общество: Учеб. пособие. — М., 1999; *Полов И.В.* Московское охранное отделение в борьбе с революционным терроризмом, 1905–1914 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Краснодар, 2000; *Ларин А.М.* Государственные преступления. Россия. XIX век: Взгляд через столетие. — Тула, 2000; *Троицкий Н.А.* Адвокатура в России и политические процессы 1866–1904 гг. — Тула, 2000; и др. работы данного автора; *Перегудова З.И.* Политический сыск России (1880–1917). — М., 2000; и др. работы данного автора; Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина XIX — начало XX вв.). Сб-к документов. — М.: АИРО-XX, 2001.

28. *Федорова В.И.* Народническая ссылка Сибири в общественно-политической и идейной борьбе в России в последней четверти XIX века. — Красноярск, 1996; *Шенмайер Н.Г.* Эсеры в каторжных тюрьмах Восточной Сибири 1907–1917 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Иркутск, 1997.

29. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций, 1861 — февраль 1917 г. — СПб., 1997; Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г. Хроника /Ответ. сост. и ред. И.М. Пушкарева. — М., 1998. Вып.5. 1899 г.; Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г. Хроника /Отв. сост. и ред. И.М. Пушкарева. — М., 1999. Вып.6. 1900 г.; *Чураков Дм.* Модернизация и судьба российского рабочего класса: вчера, сегодня, завтра //Альтернативы. 2001. № 1. С.141; *Дамье В.В.* Левые в Европе в XX веке: Альтернатива системе или альтернатива в рамках системе? //Карло Россели и левые в Европе: К 100-летию со дня рождения. — М., 1999. С.55–64; *Шубин А.В.* Социалисты в Российской революции 1917–1921 гг. //Там же. С.91–126; *Дамье В.В.* Тоталитарные тенденции в XX веке //Мир в XX веке /Отв. ред. А.О. Чубарьян. — М., 2001. С.71–78; *Ненароков А.П., Павлов Д.Б.* Движение рабочих уполномоченных 1918–1921 гг.: проблемы изучения //Политические партии России: Страницы истории. — М., 2000; *Чураков Д.О.* Рабочий класс и рабочее государство: анатомия конфликта. Очерки по истории протестного движения рабочих в 1917–1918 гг. — М., 2000. Характерно, что в 1999 г. была опубликована подготовленная к печати ещё в 1991 г. монография О.И. Горелова: *Горелов О.И.* Цугцванг Михаила Томского: Штрихи к политическому портрету. — М., 2000; История профсоюзов России: Этапы, события, люди. — М., 1999; *Носач В.И.* Профсоюзы России. Драматические уроки 1917–1921 гг.: Учеб. Пособие. — СПб., 2001; *Носач В.И.* Профессиональные союзы России (1905–1930). — СПб., 2001.

30. Здесь преобладает интерес к концепции «общинной революции»: *Панков В.* Земля блаженных //Родина. 1996. № 2. С.104–110; *Панков В.* Русский мечтатель //Родина. 1996. № 1. С.110–112; *Чистов К.В.* Социально-утопические легенды XVIII в. и их изучение //Вопросы истории. 1997. № 7. С.154–159; *Поли-*

ицук Н. С. Обычаи и нравы рабочих России (конец XIX — начало XX в.) //Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций, 1861 — февраль 1917 г. — СПб., 1997. С.114–130; Бухараев В. М., Люкшин Б. И. Крестьяне России в 1917 году. Пиррова победа «общинной революции» //1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: От новых источников к новому осмыслению. — М., 1998. С.131–142 и др. работы данных авторов; Хлынина Т. П. Советы и традиционное общество Юго-Востока Европейской России //1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: От новых источников к новому осмыслению. — М.: ИВИ РАН, 1998. С.270–282; Поринева О. С., Поринев С. В. (Нижний Тагил) К характеристике менталитета народных масс России: Революция 1917 г. в фокусе массового сознания рабочих, крестьян и солдат (Опыт многомерного статистического анализа писем в центральные органы Советов рабочих и солдатских депутатов) //Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2000. № 26. (<http://www.aik.barnaul.ru/aik/bullet/26/31.html>).

31. Туган-Барановский М. И. К лучшему будущему: Сб. социально-философских произведений. — М., 1996; Давыдов А. Ю. Свободная кооперация в России (до октября 1917 года) //Вопросы истории. 1996. № 1. С.24–40; Кабанов В. В. Кооперация, революция, социализм. — М., 1996; Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России XX века. — М., 1997; Кооперация: Страницы истории: В 3-х т. Т.1. Избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков: В 3-х кн. Кн.1. 30–40-е годы XIX — начало XX в. — М., 1999; Фигуровская Н. К. П. А. Кропоткин о кооперации //http://www.history.dux.ru/tk2-11.htm. В исследовании кооперативного движения инициатива принадлежит экономистам и, в частности, Н. К. Фигуровской. С 1991 по 2002 г. Институт экономики издал 9 сборников статей «Кооперация: Страницы истории», а также 3 книги под тем же названием в серии «Памятники экономической мысли».

32. Витенберг Б. М. История и историки 1917-го: прежняя жизнь другая жизнь //Новое литературное обозрение. 2001. № 52.

33. Подробнее см.: Чечель И. Д. Исторические представления советского общества эпохи перестройки //Образы историографии: Статьи. — М., 2001. С.199–234.

34. Основной императив этого подхода очень хорошо выразила Анна Гейфман: «Всё сказал Достоевский — и я почтительно умолкаю: моё дело лишь подтверждать пророчества архивными документами». Террор: Метания души, забытой Богом: Интервью Михаила Поздняева с Анной Гейфман //Русский журнал. 17.12.1997 (<http://www.russ.ru/journal/travmp/97-12-17/geifm.htm>).

35. См, например: Аникин А. В. Элементы сакрального в русских революционных теориях (К истории формирования советской идеологии) //Отечественная история. 1995. № 1. С.78–92.

36. Лурье Ф. М. Нечаев: Созидатель разрушения. С.12. Лурье называет «нечаевщиной» «вседозволенность в политической борьбе».

37. Там же. С.370.

38. «Каждого вождя противоправительственного сообщества не покидало опасение того, что кто-то его опередит и сделает свою революцию, первый взберётся на освободившийся трон. И тогда он останется ни с чем. Это и порождало зуд нетерпения». «Могли ли претендовать на серьёзную карьеру недоучка Нечаев, помощник присяжного поверенного Ульянов, заурядный литератор Чернов? Они превосходно понимали, что только собственная революция в силах взнести их на вершины власти, дать всё и сразу. Именно эта простая мысль питала их веру в необходимость быстрой революции, разжигала нетерпение и нетерпимость...» (Лурье Ф. М. Нечаев: Созидатель разрушения. С.13,19).

39. Там же. С.104.

40. Речь идёт о В. А. Твардовской, Е. Л. Рудницкой, Б. С. Итенберге.

41. Соколов А. К. Новейшая история России: К построению концепции общего курса //Россия и мировая цивилизация: К 70-летию члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. — М., 2000. С.606.

42. В плане постановки задач и оценки достижений см.: Леонтьев Я. В. Новые источники по истории левозероцкого террора //Индивидуальный политический террор в России, XIX — начало XX в.: Материалы конференции; Крестьянский вопрос. Н. Г. Чернышевский: Библиогр. журн. ст., 1858–1859гг. //Сост. и общ. ред. А. Ф. Ковлягин, акад. — Пенза, 1997; Могильнер М. Б. Художественная литература как источник по истории российской радикальной интеллигенции начала XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук /Казанский гос. ун-т. — Казань, 1998; Корников А. А. Источниковедческие аспекты изучения биографий деятелей меньшевистской партии //Меньшевики и меньшевизм: Сб-к статей. — М., 1998. С.127–152; Колесникова Л. А. Народническая мемуаристка: (По материалам источникового комплекса журнала «Каторга и ссылка». — Нижний Новгород, 1999; Яров С. В. Протоколы фабрично-заводских собраний как источник для изучения общественного сознания рабочих Петрограда 1918–1923 гг //Нестор. 2001. № 1(5). С.194–222.

43. Тютюкин С. В. Революция 1905–1907 гг. в современной отечественной историографии //1905 год — начало революционных потрясений в России XX века: М-лы междунар. Конференции. — М.: ИРИ РАН, 1996. С.63–79; Плимак Е. Современные споры о Ленине //Свободная мысль. 1996. № 2; Троицкий Н. А. Дилетантизм профессионалов: (Письмо в редакцию журнала «Родина») //Освободительное дви-

жение в России. Вып.16. — М., 1997. С.184–188; Исторический опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии: К 100-летию РСДРП: Материалы рос.-герм. двусторон. симп. 5–7 марта 1998 г. — М., 1998; *Гинев В. Н.* Народовольческий террор в историографических оценках и мнениях //Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX века. — СПб., 1999. С.26–43; *Яхимович З. П.* Некоторые аспекты исследования левой культуры в XX столетии //Карло Россели и левые в Европе: К 100-летию со дня рождения. — М., 1999. С.65–74; Одна, но пламенная страсть: [Интервью с Е. Л. Рудницкой] //Знание-сила. 2000. № 10. С.100–111; *Котеленец Е. А.* В.И. Ленин как предмет исторического исследования. Новейшая историография. — М., 1999; *Земцов Б. Н.* Историография революции 1917 г. //Махаон. 1999. № 2; *Литвак Б. Г.* Парадоксы российской историографии на переломе эпох. — СПб., 2002.

44. *Калинчук С. В.* Психологический фактор в деятельности «Земли и воли» 1870-х годов //Вопросы истории. 1999. № 3. С.46 —58; *Козлова Н. Н.* Позиция исследователя и выбор теоретического языка //ОНС.2001. № 5. С.143–152; единственно исключение — возобновленное в Саратове издание «Освободительное движение в России».

45. *Кузнецов В. Н.* Революционное движение в России: (В помощь учителю). — Ульяновск, 1998. С.44.

46. *Будницкий О. В.* «Кровь по совести»: терроризм в России (вторая половина XIX — начало XX в.) //История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. С.9–10.

47. *Будницкий О. В.* Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). С.3. Те же слова он повторил после терактов Америке: *Будницкий О. В.* Терроризм: История и современность //http://hawk.irex.ru/publications/polemika/10/budnitzkii.html.

48. *Козлова Н. Н.* Позиция исследователя и выбор теоретического языка //ОНС.2001. № 5. С.151.

49. *Котеленец Е. А.* Указ. соч.

50. *Городницкий Р. А.* Егор Созонов: Мировоззрение и психология эсера-террориста //Отечественная история. 1995. № 5. С.173.

51. *Городницкий Р. А.* Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901–1911 гг. — М. С.118.

52. Там же.

53. Там же.

54. *Кан Г. С.* «Народная воля»: Идеология и лидеры. — М., 1997.

55. *Кан Г. С.* Эволюция... С.1, 19–20.

56. *Могильнер М.* Вперёд к открытому обществу: Кризис радикального сознания в России (1907–1914 гг.). — М., 1997; *Могильнер М.* Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. — М.: НЛО, 1999; *Могильнер М. Б.* Социальная биография интеллигенции как «жизнь в дискурсе». Случай Петра Боборькина //Неприкосновенный запас: Очерки нравов культурного сообщества. 1998. № 2. С.66–70; *Могильнер М. Б.* Трансформация запальной нормы в переходный период и психические расстройства //Общественные науки и современность. 1997. № 2. С.70–79.

57. *Гордон А. В.* Великая Французская революция, преломленная советской эпохой //Одиссей. Человек в истории, 2001. — М., 2001. С.311–336; *Соколов А. Н.* Языковое освоение терминов социальных учений: История лексикографической фиксации //http://ideashistory.org.ru/almanacs/alm14/51sokolov.htm.

58. *Зверева Г. И.* Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры //Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов: Сб-к науч. статей. — М., 2001. С.14.

59. К сожалению, у нас не так много работ этих авторов по российской истории: *Дамье В. В.* Левые в Европе в XX веке: Альтернатива системе или альтернатива в рамках системе? //Карло Россели и левые в Европе: К 100-летию со дня рождения. С.55–64; отдельные статьи из сборников: Рабочий класс в процессах модернизации России: Исторический опыт: Материалы международной научно-практической конференции. Москва. 29 сентября 2000 г. //Под ред. П. Шульце, А. В. Бузгалина, Д. О. Чуракова. — М., 2001; Рабочий класс и рабочее движение России: История и современность //Под ред. А. В. Бузгалина, Д. О. Чуракова, П. Шульце. — М., 2002; *Тарасов А.* Письма либералу-шестидесятнику из Архангельска и либералам-шестидесятникам вообще //Альтернативы. 2000. № 2, № 2001. № 1, 3; *Тарасов А.* Суперэтатизм и социализм //Свободная мысль. 1996. № 12; и др. работы данного автора, особ. его статьи об учебниках истории в «Свободной мысли».

60. «Утверждение, что социализм не столько наука, сколько идеология, — это не его унижение и дискредитация, а банальная констатация познавательных возможностей человека» (*Волконский В.* Социализм в ракурсе теории цивилизаций //Альтернативы. 2001. № 1. С.26).

61. *Дамье В.* Философия Франкфуртской школы //Самиздат. http://zhurnal.lib.ru/m/magid_m_n/frankfurt.shtml.

62. *Троицкий Н. А.* Друзья народа или бесы? //Родина. 1996. № 2. С.67–72; *Левандовский А. А.* Бомбисты //Родина. 1996. № 4. С.48–51, 54–56; *Троицкий Н. А.* Дилетантизм профессионалов: (Письмо в редак-

цию журнала «Родина») //Освободительное движение в России. Вып.16. — М., 1997. С.184–188; Освободительное движение в России: современный взгляд или приверженность традициям? «Круглый стол» //Отечественная история. 1999. № 1. С.3–18; *Троцкий Н.А.* Прямой ответ на «круглый стол» //Отечественная история. 1999. № 6. С.185–186; *Рудницкая Е.Л., Киянская О.И., Итенберг Б.С.* По поводу «прямого ответа» Н.А. Троцкого //Отечественная история. 1999. № 6. С.187; *Троцкий Н.А.* Прямой ответ на «круглый стол» //Освободительное движение в России: Межвузовский сб-к науч. тр. /Под ред. Н.А. Троцкого. — Саратов, 2000. Вып.18. С.3–7; Круглый стол «Террор в русском освободительном движении: от 14 декабря 1825 г. к 1 марта 1881 г.» //Освободительное движение в России: Межвузовский сб-к науч. тр. /Под ред. Н.А. Троцкого. — Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 2001. Вып.19. С.108–191; *Кан Г.С.* «Разоблачитель» и «апологеты» «Народной воли» (письмо в редакцию) //Там же. С.180–185; *Троцкий Н.А.* «Самообличение» разоблачителя (о «письме в редакцию») Г.С. Кана //Там же.

63. Важным введением в мир современного гуманитарного знания, посвящённого социализму и левой культуре, будет знакомство со следующими Интернет-сайтами: общества Society for Utopian Studies с журналом Utopian Studies Journal (<http://www.utoronto.ca/utopia/journal/index.html>); виртуальной библиотекой и коллекцией ссылок по рабочей истории, левой культуре и социализму Международного института социальной истории (Амстердам) (<http://www.iisg.nl/~w3vl/index.html>); сайтом Communal Studies Association (<http://www.swarthmore.edu/Library/peace/CSA/index.html#miss>); страницами, посвящённые левой культуре (http://www.geocities.com/mightyquinn_99163/culturepage.html; <http://dsausa.org/archive/Docs/Lingo.html>); анархизму (<http://www.anarchistcommunitarian.net/>); и другими интернет-ресурсами, на которые можно попасть по ссылкам с этих сайтов и страниц.

Специальный раздел

Мировое
россиеведение

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАСЛЕДИЕ СОВЕТОЛОГИИ

Ирина ОЛЕГИНА

В американской и английской историографии истории России и Советского Союза, сформировавшейся как научное направление в послевоенные годы, в последнее десятилетие XX в. произошли значительные перемены, связанные, прежде всего, с изменением объекта исследований — СССР, глубочайшим экономическим кризисом страны и коренными изменениями в международных отношениях. Изучение истории России советского времени перестало рассматриваться как дело особого, повышенного внимания, появилась возможность менее политизированного, более академического подхода, хотя эта тенденция и не является абсолютной.

Изменились взаимоотношения западных и российских учёных: широкие контакты, работа наших исследователей за рубежом и западных в России, конференции в нашей стране, на которых широко представлены западные учёные (1), совместные исследовательские проекты. Ознакомлению российских читателей с изучением России за рубежом способствовала изданная в 1996 г. книга, в которой о национальных исторических школах рассказывают сами западные учёные (2). В ней об американской историографии российской истории пишут Уильям Г. Розенберг, Питер Кенез, об английской — Э. Эктон и Питер Гэтрелл; Джон Энтин и Роберт У. Дэвис рассматривают проблемы английской и американской историографии, имеются очерки по историографии Германии, Италии, Канады.

Преодоление идеологического противостояния способствовало плодотворному сотрудничеству в поисках научной истины. Огромное значение имел несравненно более широкий доступ к архивным материалам, причём не только наших, но и зарубежных исследователей (особенно следует отметить возможность пользоваться документами партийных архивов, так как ранее ими не могли пользоваться те, кто не имел партийного билета).

Интересно отметить, что публицистическая волна захватила не только российскую науку, но и американскую, что, в общем, неудивительно, ибо в Советском Союзе и России происходили события, взволновавшие весь мир. Когда мы имеем дело с «современностью, превращающейся в историю» (как

задолго до этого сказал О. Л. Вайнштейн), вторжение современности со всеми её бурями и страстями в труды историков совершенно неизбежно и это бывает во все времена.

Общим в подходах российских и американских историков является также стремление увидеть черты преемственности между дооктябрьской и послеоктябрьской Россией (в области политики, экономики, культуры), а не только имевшие место коренные изменения и разрывы, что помогает глубже понять российскую историю XX в.

Перемены в России были настолько обвальными, что доктрина «тоталитаризма» оказалась воспринятой в России её либеральным руководством и СМИ, тогда как на Западе в 70-е — начале 80-х гг. была очень сильная тенденция не рассматривать её как удовлетворяющую исследователей парадигму. Р. У. Дэвис, анализируя учебники, программы, экзаменационные вопросы для общеобразовательной школы России в 1992, 1993 гг., отметил жёсткую позицию Министерства образования РФ в утверждении этой концепции: «Использование термина “тоталитаризм” для характеристики сталинского режима — вопрос крайне противоречивый. Но Министерство образования Российской Федерации возвело концепцию в новую догму» (3).

На Западе в 70-е — начале 80-х гг. шла острая дискуссия между историками «тоталитарной» школы и «ревизионистами», которая нашла своё отражение в книге Стивена Коэна «Переосмысливая советский опыт» (4), к сожалению, до сих пор не вышедшей в России. Как будет показано в настоящей статье, расхождения во взглядах до сих пор не преодолены и споры в американской (и не только американской) русистике продолжаются.

Появление на рубеже 80–90-х гг. на русском языке прежде запечатанных в спецхраны книг, а в журналах статей известных историков, экономистов и других западных специалистов по России, было проявлением желанной свободы. Однако мы увидели далеко не всё. Безусловно, трудно выбрать из того моря литературы по истории России «самое-самое». Были изданы работы Александра Рабиновича, книга Ст. Коэна «Бухарин — политическая биография. 1888–1938», книги Роберта Конквеста «Большой террор» и «Жатва скорби», но так и осталась незавершённой публикация 14-томной «Истории Советской России» Эдварда Х. Карра — выдающегося английского историка. Ждут своего часа и другие превосходные работы зарубежных историков, которые следовало бы перевести.

Из переводов последних лет отметим выход нескольких книг Ричарда Пайпса, в 1993 г. — «Россия при старом режиме», в 1994 — первый и второй тома его «Русской революции», в 1997 — «Россия при большевиках» (составляющая 3-ю часть трилогии). Имеется на русском языке небольшая работа Р. Пайпса «Три почему русской революции» (1996 г.), и особенно хочется отметить выход в свет его последней работы «Собственность и свобода» (5) (2000 г.).

Моше Левин, Мартин Малиа, Александр М. Некрич, Р. У. Дэвис приняли участие в двухтомнике «Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал» (6).

В составе издательских программ «АИРО-XX» имеется серия «Первая публикация в России», в которой с 1995 г. вышли 11 монографий, в том числе американских и английских историков — Ст. Коэна, Кевина Макдермота и Дж. Агню, Анны Гейфман. Следует назвать также опубликованные на русском языке другие книги А. Гейфман (7) и Питера Соломона (младшего) (8). В 1997 г. вышел второй том исследования Роберта Такера о Сталине (первый, посвящённый периоду 1879–1929 гг. вышел в 1990 г.) (9).

В 1998 г. издана книга Э. Саттона «Уоллстрит и большевистская революция» (10). Интересен подход к пониманию русской революции Теодора Шанина, в основе которого рассмотрение России как «развивающейся» страны (11). При содействии института Кеннана в Вашингтоне были изданы заметки Джорджа Кеннана-старшего (12).

Из изданий начала XXI в. Можно назвать книгу Л. Грэхэма о судьбе Пальчинского, выход в серии ЖЗЛ работы Р. Пейна 1964 г. «Ленин» (13). (Возможно, в этом списке имеются проблемы, так как трудно учесть всё, что делается на местах).

Расширение доступа к архивным фондам вызвало к жизни проекты, в которых участвуют российские и западные исследователи. Линн Виола называет в качестве примера издание «Трагедия советской деревни» (в котором участвует В.П. Данилов, сама Виола), «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД», Йельскую серию «Annals of Communism». Ш. Фитцпатрик и Л. Виола выступают со-редакторами «Исследовательского путеводителя» по социальной истории России в 1930-е годы» (14). Большой удачей можно назвать выход в Самаре двухтомной антологии «Американская русистика» (15). Публикация этого сборника осуществлена в рамках программы сотрудничества с российскими университетами в области общественных наук, осуществляемой Американским советом по сотрудничеству в области образования и изучения языков (АСПРЯЛ/АКСЕЛС) при финансовой поддержке Информационного Агентства США (USIA). Составителем и автором введений к обоим томам выступил профессор университета штата Мериленд Майкл Дэвид-Фокс. Кроме него, в редакционную комиссию вошли профессор Мерилендского университета Джордж Маджеска, доктор Пётр Кабытов, доцент Ольга Леонтьева и директор издательства «Самарский университет» Л. Крылова. Задачей антологии было дать представление о тенденциях развития, об основных направлениях американской русистики. Отобранные профессором Дэвидом-Фоксом работы и превосходно написанные «введения» к двум томам достаточно хорошо выполняют эту задачу.

В 90-е гг. в американском руссиеведении стали разрабатываться новые методологические подходы и исследовательские практики. Поколение историков, пришедшее в науку в 80-е гг. эффективно работает в 90-е гг. Но это то поколение, на глазах которого распался СССР, произошли важнейшие изменения в Восточной Европе, закончилась «холодная война». Несомненно, все эти события не могли не отразиться на их мировосприятии. В 1990-е — 2000-е гг. появились новые журналы, освещающие проблемы руссиеведения.

В 1993 г. старейший журнал английского советоведения «Soviet Studies» был переименован в «Europe–Asia Studies». В 1993 г. в Лос-Анджелесе стал выходить журнал «Russian History», с 1996 г. в Калифорнии стал издаваться «Soviet and post-Soviet Review», с 2000 г. выходит «Kritika» в Блумингтоне. Продолжают выходить «The American Historical Review»; «Journal of Modern History», «Current History», «Slavic Review», «The Russian Review».

Изучение России в Британии: традиции и поиск нового взгляда

Рассмотрение британской историографии хотелось бы начать с такой выдающейся фигуры как Эдвард Хэллет Карр (1892–1982) — дипломат, историк международных отношений и истории СССР, автор книг по теоретическим вопросам исторической науки, труды которого значимы не только для британской, но и для всей западной историографии. Карр умер за несколько лет до «перестройки» и почти за 10 лет до крушения советского коммунизма и СССР. Однако в последние годы интерес к научному наследию Карра возрос. В июле 1997 г. была организована международная конференция по Карру в университете Уэльса, материалы которой легли в основу сборника, вышедшего в 2000 г. (16). В 1999 г. Нью-Йорке появилась книга Дж. Хэслэма о Карре (17). Не раз писал о Карре Р. У. Дэвис, которого связывают с Э. Х. Карром годы сотрудничества. Он осветил этапы деятельности Карра и эволюцию его взглядов. В начале 1930-х «Великая Депрессия убедила его в том, что капитализм — банкрот и должен уступить место системе в которой государство играет решающую роль», — пишет Р. У. Дэвис в очерке о книге Хэслэма. На Карре большое впечатление произвела советская индустриализация. Затем советские политические репрессии и чистки переменяли его взгляды (кстати, он посетил СССР в мае 1937 г.), он стал враждебен к СССР (18). Но в годы борьбы против нацизма изменился его взгляд на мир. В 1941–1946 гг. — он помощник редактора «The Times» и автор передовиц. Р. У. Дэвис приводит фразу, написанную влиятельным секретарём Ллойд-Джорджа в 1943 г.: «Профессор Карр в *The Times* стоит нескольких генералов на поле сражения» (19).

В книге Хэслэма приводится много новых данных о влиятельном положении Карра в годы войны и его последующей изоляции в самые напряжённые годы «холодной войны» до смерти Сталина. Хэслэм отмечает, что в официальных кругах Карр считался «просоветским», что ему было отказано в высших (senior) постах в Лондонской школе славянских и восточно-европейских исследований, в Оксфорде, и Кингс колледже в Кэмбридже. «Карр в свою очередь был бескомпромиссным, иногда несдержанным в отношении тех (включая Леонарда Шапиро), кого он рассматривал как поставщиков (purveyors) “холодной войны”» — пишет Дэвис (20).

Дэвис сожалеет, что Хэслэм не уделил должного внимания блестящим лекциям Карра, составившим позднее его книгу «Новое общество» (1951), а ведь именно положения этой книги были мировоззренческой базой его «Истории Советской России»: «Карр предполагал, что как коммунистический, так и не коммунистический миры двигались — и должны двигаться — к Новому обществу, и именно с этой оценкой мира в XX веке неизменно, в своём понимании, он писал свою *Историю*» (21). Ему хотелось бы видеть также более серьёзную оценку его *Истории*, «её вклада в наше знание и понимание» (22). Дэвис полагает, что это будет «критическая оценка», так как «большую часть предположений Карра о будущем мира сделал недействительной коллапс советского коммунизма и очевидная победа глобального капитализма» (23). Но, как писали в 1983 г. известные историки Дж. Или, У. Розенберг, М. Левин, Р. Суни, «анализ, данный Карром, является теперь необходимой отправной точкой в понимании динамики сталинизма» (24).

Сборник Э. Н. «Карр: критическая оценка» (2000 г.) включает автобиографию Карра, введение (М. Кокс), хронологию его жизни и деятельности, обзор его бумаг (хранятся в Бирмингемском университете). Книга состоит из трёх разделов: I. Жизнь и эпоха; II. Русский вопрос; III. Международные отношения; IV. Что такое история. Среди авторов: Дж. Хэслэм, В. Портер, Ч. Джонс, Р. У. Дэвис, Ст. Уайт, М. Кокс, Х. Тиктин, К. Дженкинс и др.

Остановлюсь чуть подробнее на очерке Ст. Уайта «Советский Карр», посвящённом восприятию и оценкам Э. Х. Карра в СССР — стране, которой он отдал столько лет неустанных трудов, результатом чего была его «История Советской России» в 9 томах (в 14 книгах). Ст. Уайт отмечает, что книги Карра были доступны в СССР узкому кругу специалистов, которые относились к автору с большим уважением, но они не были известны широкому кругу читателей. Он останавливается на работах И. Олегиной, А. Неймана, В. Черник и других, которые писали о Карре, и показывает связь даваемых ими оценок с политическим климатом в стране (но не только). Хотелось бы отметить справедливое суждение Ст. Уайта о значении разработки Э. Х. Карром вопроса о «преемственности и изменениях» в истории (25). Причём, на наш взгляд, эта концепция Карра подтверждается не только в отношении прошлого (дореволюционная и советская история), но и настоящего (советская и постсоветская история). Совершенно справедливо отмечает Ст. Уайт, что остались недооценёнными другие разделы научного наследия Карра (проблемы внешней политики, история Коминтерна, труды по истории русской общественной мысли).

Последние тома «Истории» Карра охватывают период 1926–1929 гг. и вышли под названием «Основы плановой экономики». Том 1 (в 2-х частях), в котором рассматриваются экономические и социальные проблемы периода, написан в соавторстве с Р. У. Дэвисом, ныне заслуженным (Emeritus) профессором Бирмингемского университета.

В дальнейшем Р. У. Дэвис взял на себя труд продолжить исследование за пределы 1929 г. и написать «Индустриализацию Советской России» (1929–

1937 г.) предположительно в 6 томах. К настоящему времени вышло 5 томов, каждый из которых имеет своё название. Пятый том «Годы голода, 1931–1933» написан вместе с С. Уиткрофтом. (ныне работает в Австралии) (26). На заключительной стадии работы над третьим томом Р. Дэвис смог привлечь материалы советских архивов, поскольку они стали доступны (архивы ВСНХ и Наркомснаба в ГАРФ) и использовать их основательно в работе над 4 и 5 томами. Это фундаментальное историко—экономическое исследование требует глубокого серьёзного изучения. Некоторые свои выводы и выводы своих коллег —единомышленников Р. Дэвис сформулировал в своём очерке 1996 г.: «...Мы все сходимся на том, что тип советской экономики 30-х годов нельзя объяснить исключительно сосредоточением ресурсов на плановой индустриализации, ибо последняя сочеталась с широкой экономической политикой, которая в свою очередь, имела непредсказуемые последствия для экономики в целом и приводила к модификациям в политике. Три аспекта этого вывода представляются особенно важными. Во-первых, экономика находилась под сильным влиянием идеологических установок; во-вторых, экономическая система 30-х годов не была стабильной, она по своему эволюционировала и подчинялась как бы собственным законам. В-третьих, на экономическое развитие влияли географические и климатические факторы, неадекватно оцениваемые политиками» (27).

Вопросам преемственности и изменений в дореволюционной политике и политике нэпа посвящён сборник под редакцией Р. Дэвиса (1990 г.) (28). В период перестройки и после появлялись его статьи в советской периодической печати, а также работы по истории России в 90-е гг. (29).

Р. У. Дэвис сотрудничает с российскими исследователями — коллегами по изучению истории России 30-х гг. Вместе с О. В. Хлевнюком, Л. П. Кошелевой и др. он является составителем сборника «Сталин и Каганович. 1931–1936 гг.» (М., 2001).

По истории дореволюционной экономики России в 90-е гг. продолжали выходить работы П. Гэттрелла, профессора Манчестерского университета. В 1994 г. вышла его книга «Правительство, промышленность и перевооружение России, 1900–1914», в которой на обширном фактическом материале показано, перед какими вызовами стояла позднеимперская Россия: насколько стабильны были её экономические и административные структуры, насколько она была подготовлена к войне 1914 г. П. Гэттрелл разделяет взгляд, согласно которому «нестабильность была функцией борьбы между различными структурами производственных отношений (некапиталистических и капиталистических), скорее чем противоречий, порожденных капитализмом» (30).

В британской историографии активно работает Стивен Л. Уайт. Его преподавательская деятельность связана с университетом Глазго. В течение ряда лет в 90-е он был президентом, а потом вице-президентом Британской Ассоциации славянских и восточно-европейских исследований, является председателем Британского Академического Комитета для сотрудничества с русскими архивами (с 1997 г.), занимает ещё ряд постов в журналах и т. д. Сфера

его научных интересов — политология, политическая история СССР и России, посткоммунистического мира. Назовём лишь некоторые из его последних трудов: «После Горбачёва» (в 1994 г. — 4-е издание), «Новая политика России: Управление постреволюционным обществом» (2000). «Советская элита от Ленина до Горбачёва» (в соавторстве — 2000 г.), «Коммунизм и его коллапс» (2001 г.) (31).

В изучении посткоммунистического мира в Британии значительное внимание уделяется его элитам. В работе Д. Лэйна и Р. Камерона приведены результаты изучения политических элит позднего СССР и после 1991 г. Они отвергают представление, которое приравнивает политическую элиту к номенклатуре. Они считают, что номенклатура, как категория, не имеет никакого отношения к переходу от коммунизма к капитализму в противоположность другим исследователям, которые признают её важность в формировании посткоммунистических элит. Вместо неё они рассматривают поднимающийся «приобретательский класс», как решающий элемент в циркуляции элит при Ельцине (32).

Обратим внимание на некоторые дискуссии, которые идут на страницах «Europe-Asia Studies». Обсуждение масштабов репрессий и вопрос об установлении окончательной цифры репрессированных начался не в 90-е гг., а гораздо раньше. Доступность архивных материалов, казалось бы, давала возможность окончательно разобраться в этом сложном вопросе, но это оказалось не так просто.

В 1999 г. появилась статья С. Уиткрофта «Жертвы сталинизма и советской тайной полиции: сравнимость и достоверность архивных данных — не последнее слово» (33). В ответ последовали комментарии Дж. Кипа и Р. Конквеста (34). В 2000 г. С. Уиткрофт отвечает Кипу и Конквесту в статье «Масштабы и природа сталинистских репрессий и их демографическое значение: о комментариях Кипа и Конквеста» (35). Возражения Кипа и Конквеста носят различный характер. Кипу, возможно, отвечать по существу, что Уиткрофт и делает. Замечания Конквеста, по сути дела, те же, с которыми он выступал в своей статье 1997 г. Уиткрофт согласен с Конквестом, что «масштаб насилия имел демографическое значение», но оценки Конквеста, касающиеся размера лагерей и смертности в лагерях, по его мнению, завышены. «Для экономических и демографических историков, пытающихся осмыслить как сталинистское общество работало, просто невозможно инкорпорировать в модели советского общества и экономики цифру 8 миллионов в лагерях в 1938 г., которую предлагает Конквест» (36), — пишет С. Уиткрофт. При этом речь не идёт об отрицании «массовых захоронений» в Советском Союзе.

Вторая проблема — природа нацизма и сталинизма. Поводом для статьи Д. У. Бенна «Нацизм и сталинизм» послужила книга, вышедшая в 1997 г. под редакцией Иена Кершоу и Моше Левина «Сталинизм и нацизм. Диктатуры в сравнении». Книге предшествовала конференция в Филадельфии в сентябре 1991 г., на которой были представлены историки нацизма и сталинизма. Подобные конференции бывали и раньше (например, в Далласе в 1977 г.), но

конференция в Филадельфии проходила в изменившихся условиях. По главному вопросу — «были или не были два режима более похожи, чем отличны» — книга отражает несогласие, существующее среди участников (37). По Бенну, понятие «утопизм» не удовлетворительно в объяснении гитлеризма и сталинизма, хотя его часто применяют, чтобы объяснить коренные причины тоталитаризма. Ссылка на «идею войны» не решает автоматически вопрос, «были ли два режима существенным образом похожи», а также не решает вопрос об их «моральной равнозначности» (38). Бенн пишет, что нацистская доктрина состояла не из одного расизма, что она была бы «радикально злом, даже если бы Холокост никогда не случился». Притча о «Скотном дворе» Оруэлла, полагает он, неприменима к нацизму. «В этом суть контраста с большевизмом», — отмечает он (39). «Разве реально не имело никакого значения, Гитлер или Сталин выиграл бы войну?», — спрашивает Бенн. Хотя говорят, что нет разницы выбирать между двумя диктаторами, в июне 1941 г. общественное мнение не проявило колебаний. Согласно опросу Гэллапа 24 июня 1941 г. 72% американцев поддержали Россию и только 4% Германию (40). В заключение он напоминает, что феномены нацизма и сталинизма представляют не чисто исторический интерес (41).

«The Russian Review» как отражение основных тенденций американского россиеведения

Журнал «The Russian Review» — один из старейших американских журналов, посвящённых России (42). В 2001 г. он отметил своё 60-летие. В своём обращении редактор Е. Левина (Eve Levin) охарактеризовала основные этапы развития журнала. «Хотя холодная война определённо формировала русские исследования как академическую дисциплину, но её воздействие на *The Russian Review* было приглушённым, — заметила она. — Однако со временем позиции журнала менялись. На волне “красной паники” в 1954 г. позиция журнала была изменена и определялась так: “Цель *The Russian Review* заключается в том, чтобы интерпретировать реальные цели и стремления русского народа как отличные от советского коммунизма и оппозиционные ему, и двигать вперёд общее знание русской культуры”» (43).

На историческом для СССР рубеже 1980–1990-х гг., с 48 тома, редактором журнала стал Аллан Уайлдмэн. Именно при его редакторстве журнал был очевидцем «великих изменений как по форме, так и по содержанию». Уайлдмэн до своей смерти в 1996 г. принял новые концептуальные структуры постмодернизма и критической теории и поощрял работы (contributions), построенные на их основе, настаивая в то же время, чтобы их иногда скрытые подходы были доступны широкому читателю (44).

В январском (2001 г.) номере журнала были помещены воспоминания главных редакторов Д. фон Мореншилдта, Дэниэла Филда и статья А. Уайлд-

мэна «Будущее русской истории» — отрывок из его лекции перед аспирантами университета штата Огайо 14 мая 1993 г. Лекция несёт на себе отпечаток этого необыкновенного времени. Американская историография была менее потрясена всем произошедшим, чем русская, считал Уайлдмэн, но также находится «на перекрёстке» (45). «От нашей собственной культуры мы унаследовали холодную войну, фобию антикоммунизма эры Маккарти, радикализм 1960-х, антиядерный пацифизм и, наконец, Горбиманию» (46). Ситуация настолько переменялась, что Уайлдмэн сказал: «Сегодня, подобно нашим русским коллегам, мы оставлены без компаса» (47).

Уайлдмэн говорил о большом количестве тем по внутренней истории России, которые ранее оставались не востребуемыми, так как не входили в структуру преобладающей историографии, а также об открывающихся больших возможностях для исследователей. Советский период русской истории — «это та область (исторических исследований — *И. О.*), которая страдала больше всего от недостаточного развития, обязанного принуждениям Советской догмы и догмы холодной войны, и от недостатка доступа к достоверным опубликованным и неопубликованным источникам» (48). Заканчивается статья словами: «Я оптимист в отношении будущего России и русской истории» (49).

Е. Левина стала редактором журнала с ноября 1996 г. В январском номере 1998 г. помещено сообщение от редактора (подписанное Е. L. — Eve Levin), в котором говорится, что после смерти Алана Уайлдмэна попечители журнала Р. Фишер, Н. Рязановский, Т. Эммонс, Э. Кинан, Д. Филд встретились, чтобы обсудить вопрос о будущем журнала. В соответствии с волей А. Уайлдмэна попечители приняли решение, обеспечивающее преемственность в принципах руководства журналом. Последний по-прежнему базируется в университете штата Огайо, а Ив Левин, которая была помощником А. Уайлдмэна в течение восьми лет, унаследовала пост редактора. В сообщении также выражалась уверенность в том, что журнал будет «удивлять неожиданностью и новизной» своего содержания (50).

В октябрьском номере за 1998 г. была помещена статья от редактора за подписью D. L. H. (очевидно, это соредактор — Дэвид Л. Хофман), имеющая определяющее значение для направления журнала, под названием «Советская история в сравнительной перспективе». Автор отмечает, что историю современной России писали раньше как «историю, отличную от истории Запада». Гуманитарные науки периода «холодной войны», «несмотря на значительное различие и полемику, имели тенденцию выдвигать на первый план различия между либеральной демократией и советским социализмом, либо проводили параллели с фашизмом или фокусировали внимание на отличительных чертах советского опыта». Хофман предлагает подойти к истории Советской России по-новому: «С концом холодной войны, — пишет он, — вероятно, настало время поместить советскую историю в сравнительную структуру, которая исследует как сходство, так и различия между советским и западным опытом. Некоторые черты советского социализма имеют параллели с развитием

в Западной Европе в конце XIX — начале XX в., включая распространение бюрократии и государственного контроля, создание государства благосостояния, попытки рационализировать социальные и экономические процессы и подъём массовой политики. Конечно, важные различия оставались. Парламентарная демократия и промышленный капитализм — центральные элементы современности в Западной Европе — были не дозволены при советской идеологической системе воинствующего антикапитализма. Но многие измерения западной жизни и мысли Просвещения были частью трансформации, которую испытала и современная Россия. Убеждение в прогрессе, вера в разум, благоговение перед наукой и пренебрежение к религии и традиции — всё это характеризовало советскую систему». При этом Д. Хофман отмечает, что попытки «рационализировать экономическое производство, разбить население на категории и переустроить общество, базируясь на научном или экспертном знании», были присущи в большой степени и императорской России, и Советскому Союзу.

Среди основных проявлений современности (modernity) Д. Хофман выделяет прежде всего сциентизм, т. е. попытку организовать все политические, социальные и экономические отношения в соответствии с научно установленными нормами, хотя признаёт, что существовали «авторитарные проявления сциентизма». Точно так же признаком «современности», по мнению Хофмана, является и «подъём массовой политики». Начало этого процесса он относит ко времени Французской революции, когда постепенно распространилась идея народного суверенитета и «вовлечение масс в политику и борьбу стало существенным». Всё население привлекали для того, чтобы «легитимизировать правительственную политику или военные кампании», хотя, как позднее показали нацистские митинги или советские демонстрации, участие масс в политических акциях и кампаниях ещё не означало, что это обязательно была «демократическая форма политики».

Особенно следует выделить заключительные слова Д. Хофмана: «Сравнительный подход должен много дать исследователям советской истории. Сравнение развития в Советском Союзе с тенденциями в других странах освещает как особые, так и более универсальные аспекты советской системы. Более того, сравнительное изучение поднимает для исследования новые вопросы и обостряет исторический анализ. Наше обсуждение здесь наводит на мысль, что многие черты советского социализма *были частью более общих европейских тенденций* (выделено мною. — *И. О.*) к рационализации, государственному вмешательству и массовой мобилизации. Сравнительная история, конечно, не должна быть ограничена Европой. В идеале советская история должна быть помещена в международный контекст через сравнение с историческим развитием во всём мире в двадцатом веке. Мы поощряем такие усилия и приветствуем представление в “The Russian Review” материалов, в которых применяется сравнительный подход» (51).

В январском номере 1999 г. выступила Ив Левин. Её статья «от редактора» называется «Религиозное возрождение: История религии в эпоху после

холодной войны». Автор отмечает ренессанс религиозной истории в России в последнее десятилетие (1989–1999 гг.), имея в виду не только оживление народного (public) Православия, но и восстановление религии как темы научных исследований, поскольку в предшествующий период только отважные люди брались за исследование религиозной культуры дореволюционной России или положения религиозных институтов и верующих в Советском Союзе. Ив Левин охарактеризовала помещённые в январском номере «The Russian Review» материалы по этим проблемам (статьи В. Кивельсона и В. Шевцовой) и отметила «необходимость дальнейшего исследования других аспектов религиозной истории России». Со стороны редакции журнала обещана полная поддержка этой тематики (52).

На новом этапе сразу же привлекли внимание развёрнутые рецензии (в январском номере 1998 г.) «Простой народ в революции» П. Кинеза и «Ленин Ричарда Пайпса» А. Рабиновича. Кинез пишет о книге Орландо Файджеса «Народная трагедия: история русской революции», вышедшей в Нью-Йорке в 1996 г. Это солидный труд (свыше 900 стр.), автор которого не пытался оригинальничать или найти простое решение сложных проблем, получает высокую оценку рецензента. В изложении Кинеза картина, созданная Файджесом, выглядит так: «Предреволюционная Россия была отсталой страной с несчастным крестьянством, находившимся на грани голодания, тонким налётом европейской цивилизации и, по-видимому, незаполнимой брешью между привилегированными и непривилегированными слоями. Царский режим, который нарисован здесь в самых тёмных тонах, сопротивлялся политическим изменениям и поэтому не заслуживал выживания. Файджес не согласен с теми консервативными наблюдателями, которые видят в Столыпине возможного спасителя России. Фактически реформы Столыпина не смогли бы трансформировать социальную и экономическую систему страны, и поэтому неправильно доказывать, что если бы не вмешалась мировая война, Россия следовала бы по западному пути развития».

По Файджесу, Временное правительство было сброшено из-за его неспособности справиться с тремя большими дилеммами 1917 г.: войной, земельной реформой, национальным вопросом. Он не признаёт большевистскую революцию неизбежной и не хочет быть детерминистом, но его освещение событий наводит на мысль об их предопределённости. Кинез пишет: «...Как в греческой трагедии, актёры играли свои роли так, как они должны были играть, и так, как будто они не могли действовать иначе. Файджес не является поклонником старого режима, он не собирается осуждать революционный народ за его насилие, но он не симпатизирует большевикам. Хотя Файджес, без сомнения, сопротивлялся бы детерминистскому ярлыку и ясно доказывает, что события могли бы обернуться по-другому, у читателя остаётся впечатление, что актёры, их убеждения, их поведение были предопределены. На основе представленной здесь истории трудно видеть альтернативы».

Кинез обращает внимание на то, что неслучайно труд Файджеса называется «Трагедия народа». Люди являются героями этой книги, но не как у кон-

сервативных историков, которые считают их игрушками в руках большевиков, и не как у исследователей левого толка, которые прославляют простой народ, а как «деятели, которые ответственны за свою собственную судьбу» (53).

А. Рабинович оценивает вышедшую под редакцией Р. Пайпса в 1996 г. книгу «Неизвестный Ленин», в которой представлены и прокомментированы 122 новых ленинских документа. Рабинович отмечает, что фигура Ленина, которая появляется в результате у Пайпса, — это не неизвестный, а скорее очень хорошо знакомый Западу Ленин, ибо «подготовку и публикацию “Неизвестного Ленина” можно рассматривать как продолжение давнишней кампании с целью демонизировать Ленина». Рабинович подвергает критике комментарии Пайпса к документам, показывая, что в ряде случаев их содержание, взятое в конкретно-историческом контексте, не позволяет делать те выводы, к которым приходит Пайпс. Отметим и следующее замечание рецензента: «В тех случаях, когда значение документа двойственное... Пайпс неизменно предлагает негативную (в отношении Ленина. — *И. О.*) интерпретацию». Рабинович считает, что для воссоздания образа Ленина необходимо привлечь неопубликованные документы не только из бывшего ЦПА (ныне РГАСПИ), но из других архивов. Создание достоверных и сбалансированных исследований жизни и мысли Ленина он связывает с основательным обследованием архивов, а также с приходом нового поколения учёных «внутри и вне России», которые осознают сложность российской и европейской истории в начале XX столетия и будут подготовлены для выполнения этой задачи (54).

Л. Сигельбаум остановился на IV томе книги Р. У. Дэвиса «Индустриализация Советской России», вышедшем в 1996 г. и носящем название «Кризисы и прогресс в советской экономике, 1931–1933». Сигельбаум заострил внимание на том, что Дэвис считает неадекватными ни широко распространившийся в последние годы термин «командно-административная система», ни более ранние характеристики СССР как модели тоталитаризма. Но какой бы ярлык ни выбрать, «сталинистская экономическая система в процессе её создания никогда не была подвергнута такому острому анализу», как в книге Дэвиса, имевшего возможность использовать новые архивные источники, которыми не располагали исследователи во времена Э. Х. Карра (55).

Стив Смит, анализируя (в октябрьском номере 1998 г.) книгу Р. Суни «Советский эксперимент: Россия, СССР и государства-наследники» (1998), отмечает, что в ней освещается политическая, экономическая, социальная история народов Советского Союза и проблемы внешней политики от последних десятилетий существования царизма до 1996 г. Он показывает, как государство, предполагавшее, что оно выходит за пределы национальности, «фактически создавало новые нации». Суни может «писать критически о советском эксперименте, нисколько не избавляя нас от его ужасов и всё-таки регистрируя его достижения». На концептуальном уровне, полагает С. Смит, Суни делает это, помещая насилия и репрессии в контекст «напряжённости между утопией и свободой и реальности отсталости и бедности». Суни под-

чёркивает огромные страдания советского народа в годы Великой Отечественной войны (из всех катастроф — «несомненно, самые катастрофические») и его огромную роль в военном поражении нацизма, которая преуменьшается консервативными историками. В заключение Смит пишет, что книгу Суни делает столь впечатляющей «широта человеческой симпатии автора» (56).

Тенденции, характерные для «The Russian Review» в 1998 г. — курс на объективность, поощрение неидеологизированного исследовательского подхода к истории России, были продолжены и в 1999 г. Важным стал обмен мнениями между двумя исследователями культурной революции в СССР — Ш. Фитцпатрик, работы которой считаются типичными для «ревизионистского» направления в американской историографии, и М. Дэвид-Фоксом, опубликовавшим книгу «Революция духа: высшее образование среди большевиков, 1918–1929» в 1997 г. Вначале со статьей «Что такое культурная революция?» выступил в «The Russian Review» М. Дэвид-Фокс, затем появилась статья Ш. Фитцпатрик «Новое обращение к культурной революции» и, наконец, ответ М. Дэвид-Фокса «Ментальность или культурная система».

Последний отметил, что коллапс Советского Союза побудил многих историков пересмотреть коммунистический опыт, но те, кто занимался культурной революцией, продолжают обращаться к этой проблеме. Причём, обычно она рассматривается в хронологических рамках 1928–1931 гг., а за точку отсчёта берётся «Шахтинское дело». М. Дэвид-Фокс подчёркивает, что его статья — нечто большее, чем история идеи, ибо «культурная революция будет рассматриваться как часть интерпретации большевистского культурного проекта», в который он включает такие этапы, как деятельность богдановской группы «Вперёд», «Пролеткульт» и «культурный фронт» 1920-х гг., когда началось широкое движение за культурное просвещение масс (57). При этом Дэвид-Фокс считает, что уже в период Гражданской войны культурная революция была гораздо шире и глубже, чем «Пролеткульт», поскольку впервые в практику работы советского государства был включён «весь репертуар» культурных начинаний (58). Ленин с запозданием пришёл к своему понятию культурной революции, употребил это понятие лишь в 1923 г., хотя ранее не раз высказывался о культурных задачах Октябрьской революции. Отчасти подчёркивание Лениным цивилизаторски-просветительных элементов в деятельности большевиков, пишет М. Дэвид-Фокс, было ответом на «фантазии пролетарской культуры», которую проповедовал Богданов. Затем в середине 1920-х гг. происходила работа над этим понятием большевистской теоретической элиты. Культурная революция не закончилась в 1931–1932 гг., когда центральное партийное руководство взяло курс на стабильность. В самом конце статьи он касается разногласий между «тоталитарной» и «ревизионистской» историографией и пишет: «Тоталитарная школа некогда изображала трансформации советской истории как вытекающие из одностороннего сверху вниз процесса; ревизионистская социальная история, напротив, часто составляла дихотомию из сил, действующих сверху и снизу. Здесь в таком случае есть задача для постсоветской ревизионистской историографии:

открыть улицу с двусторонним движением между коммунистической попыткой переделать других и их продолжающимися поисками трансформировать себя» (59).

В ответной статье Ш. Фитцпатрик останавливается на истории появления в западной историографии термина «советская культурная революция», которое было связано с её работами, прежде всего, с вышедшим под её редакцией и с её вступительной статьей сборником «Культурная революция в России 1928–1931». «Культурная революция, — пишет Фитцпатрик, — была сначала очень дискуссионной книгой, хотя скорее по политическим, чем по интеллектуальным причинам. Существовал большой конфликт между специалистами в области политической истории, которые полагали, что “все в Советском Союзе было инициировано сверху”, и теми социальными историками, которые думали, что “какая-то инициатива могла время от времени приходить также из общества”, т. е. снизу. “Культурная революция” рассматривалась как “ревизионистский” манифест и жестоко атакровалась антиревизионистами. Подвергалась она критике и со стороны некоторых представителей самих “ревизионистов”, таких, как Стивен Коэн».

Возвращаясь к парадигме культурной революции, Ш. Фитцпатрик ставит вопрос, насколько она выдержала испытание после открытия в 1991 г. советских архивов, и утверждает, что «базисных изменений» в картине не произошло: «Некоторые загадки остались загадками, даже когда недостающие части были добавлены». Кроме того, выяснилось гораздо большее участие Сталина в литературно-философских аспектах культурной революции, чем было очевидно ранее (60). Объясняя, почему она в свое время «сузила» тему культурной революции и сосредоточилась на периоде 1928–1931 гг., Ш. Фитцпатрик пишет: «Сталинизм (тоталитаризм) обычно рассматривали как чёрную дыру, нечто дурное, непроницаемое и без внутреннего развития, куда Россия провалилась или в октябре 1917 (традиционный взгляд) или в 1929 (точка зрения ревизиониста Коэна). Таким образом, меня гораздо больше интересовало то, что культурная революция подошла к точке кипения в особое время (то же самое, когда происходили коллективизация, устранение городской частной торговли и первый пятилетний план), чем то, что были случайные явления культурной революции, витающие всюду до и после». При этом Ш. Фитцпатрик настойчиво выступала в американской советологии за то, чтобы «установить дисциплину истории в изучении советского прошлого», прежде всего в использовании фактических данных и первоисточников. Её поэтому менее привлекало использование «неисторических методологий», в частности понятия ментальности. С её точки зрения, дух культурной революции, витающий вокруг без определённого фиксированного местоположения, кажется менее интересным (или менее обещающим как объект анализа), чем дух, который «закрепился где-то и даёт что-то». Поэтому Фитцпатрик считает, что были большие преимущества в отнесении культурной революции к определённому времени, конкретно к рубежу 1920–1930-х гг. Она подчёркивает: «Я думала в 1970-е гг. и ещё продолжаю думать, что происхожде-

ние, природа и внутреннее развитие сталинизма есть один из решающих вопросов в советской истории. Культурная революция была не только важным процессом периода «великого прорыва» наряду с коллективизацией и ускоренной индустриализацией. Выдвинув на первый план особый воинствующий и утопический менталитет, она также дала ключ к динамике других процессов» (61).

Однако методологический выбор не делается на все времена. Так, «преобразование повседневной жизни» стало центральной темой для М. Дэвид-Фокса в его «Большевистском культурном проекте», в то время как оно оставалось на периферии в книге «Культурная революция», пишет Ш. Фитцпатрик. Она отмечает значение новых работ, где исследуются те вопросы, которые ранее оставались на периферии. В 1990-е гг. произошел настоящий взрыв исследований в области истории быта, появившихся в России, США, Великобритании. Среди них и новая работа Ш. Фитцпатрик «Повседневный сталинизм: обычная жизнь в экстраординарное время: Советская Россия в 1930-е» (1999).

Ш. Фитцпатрик подчёркивает, что две большие лакуны остались незаполненными, когда в 1978 г. вышла её книга «Культурная революция», это гонения против религии в 1929–1930 гг. и проблема национальностей. Их изучают исследователи 1990-х гг. (Ю. Слезкин, Т. Мартин). В конце статьи Фитцпатрик пишет, что поняла, как много жизненной силы осталось в парадигме культурной революции, что многомерный подход к культурной революции, который защищается М. Дэвид-Фоксом, может давать хорошие результаты, и что оба подхода не исключают друг друга. «Пусть разнообразие процветает», — завершает свою статью Ш. Фитцпатрик (62). Отвечая ей, М. Дэвид-Фокс отмечает «её открытость новой работе» и то, что воспоминания Ш. Фитцпатрик отражают её причастность к возникновению социальной и культурной истории. Однако сам он полагает, что необходимо движение к более «тотальной» истории, а не искусственное разделение на социальную, культурную и политическую историю.

На наш взгляд, выдвинутое М. Дэвид-Фоксом предложение изучать коммунистическую культурную систему может дать ценные результаты в исследовательской практике, особенно если учесть, что он не сводит эту культурную систему только к её коммунистическим элементам, но видит глубокие корни культурных преобразований советского периода в широком культурническом движении русской интеллигенции ещё дореволюционной поры. Позитивно и признание Дэвид-Фоксом того, что культурная революция включала в себя «воинственность и просвещение, классовую войну и цивилизацию», что в ней были и свой негатив, и свой позитив. Его идея заключается также в том, чтобы показать культурную революцию в связи с коллективизацией и индустриализацией — процессами, которые сильно трансформировали повседневную жизнь советских людей. Тогда возможно будет заново постигнуть «великий рывок», считает он (63).

Обратимся ещё к одной дискуссии, которая состоялась на страницах «The Russian Review» в 1999 г. В январском номере был помещён очерк

Я. Коцониса о книге М. Малиа «Советская трагедия: история социализма в России. 1917–1991 г.», вышедшей в 1994 г. (64). Очерк дан под названием «Идеология Мартина Малиа» (65). Ответ М. Малиа помещён в октябрьском номере и там же новый ответ Я. Коцониса (66). То, что Коцонис пишет свой полемический очерк через пять лет после выхода книги, и журнал помещает его, свидетельствует о том, что западным исследователям истории России есть, что обсудить и о чём поспорить. Речь идёт о важнейших методологических подходах, о том, сдавать или нет под влиянием конъюнктуры завоёванные западным советованием позиции, приверженность исследователей к серьёзному, подлинно научному анализу событий истории России XX в.

В книге Малиа Коцонис выделяет два параллельно идущих повествования — идеологически-полемическое и другое, представляющее интерпретацию исторических событий. Лейтмотив рассуждений Малиа заключается в том, что западные либеральные модели «были эластичными и жизненными, потому что они защищали частную собственность, прибыль и рынок», что равнозначно для него «гражданскому обществу». Что касается России, то Малиа недвусмысленно находит ей место (до 1917 г., по крайней мере) в европейской интеллектуальной истории, а «советский социализм ставит в связь с обычными сомнительными явлениями современной политической философии» Руссо, Гегеля и Маркса, поскольку речь шла о реализации идей равенства и создании общества без частной собственности (Гегель в этом ряду упоминается потому, что поставил «идеалы» прежде «действительности») (67). При этом, Малиа считает, что «всё предприятие... было неправильным с самого начала».

В объяснении Малиа того, почему Россия пошла по социалистическому пути, Коцонис видит ряд неувязок и противоречий. Так, Малиа вслед за социальными историками считает, что в начале XX в. шансы на эволюцию псевдоконституционализма в устойчивый демократический порядок были минимальными, а «гражданское общество» — слабым так что альтернативы самодержавию сводились к либерализму (который представлял лучшие идеи, но мало людей) и «расплывчатому умеренному социалистическому блоку, который представлял больше людей, но никакого ясного направления». На вопрос, чем можно было заменить самодержавие, не будь Великой войны, Малиа отвечает, что, вероятно, это был бы не «социализм». Учитывая напряжённую обстановку в России накануне августа 1914 г., он в число возможных альтернатив включает «российского Франко», который установил бы грубо репрессивный режим, но сохранил бы «гражданское общество» («частную собственность», — ставит в скобках Коцонис). Но Франко был бы уже невозможен после августа 1914 г., считает сам Малиа. Кризис военного времени привёл к банкротству всех политических сил от монархии и либерализма до умеренного социализма. Победу большевиков облегчила, по мнению Малиа, «анархия», установившаяся к октябрю 1917 г., и весь их путь до конца 1980-х гг. «был ограничен и заполнен идеологической структурой, в которой они функционировали и которую нужно назвать “социализмом” в смысле полного некапитализма» (68).

Коцонис упрекает Малиа в том, что он рассматривает советский режим как идеологический, но отказывается обращаться с «частной собственностью, прибылью и рынками как феноменами, которые тоже могут быть поняты идеологически». Либерализм и капитализм Малиа называет «нормальными» и «реальностью», тогда как социализм, по его мнению, — это только «идеология». По Малиа, отмечает Коцонис. «только Советский Союз может быть понят как идеология» хотя в реальной действительности к объяснению каждой системы можно подойти через идеологию. Не согласен Коцонис и с попытками Малиа рассматривать опыт социализма в СССР как отрицание всех других «социализмов», всего, что связано с этой идеей.

Коцонис добавляет свои аргументы и в старый спор о возможности отождествления нацизма и коммунизма. У Малиа нацистская Германия «оказывается добрым родственником советского коммунизма несмотря на то, что наци не устранили частную собственность, рынки и прибыль». И даже если СССР и был продуктом «идеологии», то нацизм — побочный реваншистский продукт нежизнеспособного мира 1918 г. (69). Коцониса не устраивает постановка вопроса, согласно которой одна система является «навязанной» (социализм), а другая — «нормальной». Он пытается докопаться до ответа на вопрос, что же было построено в СССР, каким образом получилось так, что «индоктринированные коммунисты стали либералами», — вопрос, на который у Малиа нет ответа, поскольку он фиксирует внимание на «демократической партократии». В отличие от Малиа, который считает, что «после советского потопа была только пустота», Коцонис находит другое: «Фактически были технократы и менеджеры, мечтавшие о финансовых империях, интеллектуалы, мечтавшие о личностях, и националисты, мечтавшие о нациях-государствах». «Советский социализм производил нечто другое, чем социалистов, — пишет он, — и партия, которая не могла проводить реформы, произвела целое поколение реформаторов, которые теперь составляют бюрократию и правительство Российской Федерации» (70).

По мнению Коцониса, Советский Союз произвёл нечто большее, чем советский социализм, ибо у СССР и Европы в XX в. были и точки соприкосновения, поскольку они пытались — разумеется, по-своему — ответить на одни и те же запросы и вызовы времени. «Государство благосостояния» — это кульминация советского социализма при Хрущёве, но этот же период был и кульминацией «универсального государства» в Европе в целом. Для «государства благосостояния» характерно «размывание границ», когда «отдельные сферы социального, политического, экономического и индивидуального накладывались одна на другую и конвергировали (сближались)». Не случайно именно в 1960-е гг. появилась «социальная история», которая перенесла акценты в интерпретации с государства на общество, поскольку именно «социальное» торжествовало тогда свою победу (71). Говоря о событиях 1917 г. в России, Коцонис тоже ставит в центр внимания проблему участия масс, но там, где Малиа видит только «анархию», социальные историки справедливо видят «массовую политику», которую они вместе с массовыми армиями,

массовыми войнами и массовыми убийствами помещают в паневропейский контекст XX столетия. СССР, в представлении Коцониса, «был частью незавершенного процесса — поиска интеграции и стабильности, который простирается за пределы 1991 г.». У Малиа есть термин «короткий двадцатый век», который начинается в 1914–1917 и кончается в 1989–1991 гг. Коцонис полагает, что он «слишком короткий и слишком советский», и выступает за другие хронологические границы (72).

В октябрьском номере «The Russian Review» 1999 г. Малиа согласился с тем, что западный мир частной собственности, прибыли и рынка тоже имеет идеологию и эта идеология — либерализм. Но эта идеология не создала частную собственность, прибыль и рынок, которые складывались в течение веков, и в этом смысле являются «нормой». При советском же социализме, развертывает свою мысль Малиа, имел место обратный процесс: «При коммунизме идея “рационального” Плана предшествовала факту, и возникшая в результате система была действительно *создана* идеологией. Более того, эта идеология появилась вначале как *отрицание* (если использовать термин Маркса) существующей рыночной реальности (курсив Малиа. — *И. О.*)» (73). Поэтому он определяет социализм как «некапитализм» и видит в этом отрицании также проявление его эфемерной природы. «Таким образом, к концу нашего века советский коммунизм развалился на куски». В Китае, Вьетнаме, на Кубе началось движение к рынку. Что касается демократических форм социализма, то они имеют результатом «прозаическое государство благосостояния», развивающееся по «хвалёному скандинавскому “среднему пути”».

В отличие от Коцониса, Малиа считает, что «коммунистическая летопись» не может быть вновь «вставлена» в паневропейское развитие, ведущее от Просвещения к современному “государству благосостояния и участия”». По Малиа, «основные советские институты Партия и План обратились в ничто», а «современная политика участия есть продукт ранее оформившегося конституционного либерализма» (74). Таким образом, Малиа совершенно исключает какую-либо связь советского социализма с европейским развитием и отрицает какое-либо положительное воздействие советской истории на мировое развитие в XX в., хотя в социальном плане такое влияние, несомненно, имело место, а происхождение «политики участия» он связывает исключительно с конституционным либерализмом. Малиа полагает, что состоявшийся обмен мнениями — лишь прелюдия к будущему диалогу по основным проблемам советской истории.

В небольшом ответном заключении Я. Коцонис подчёркивает «эвристическую ценность» поставленных вопросов. Он против того, чтобы с порога отсекал дискуссию (например, по вопросу о том, какая система была создана «идеологией»). Коцонис снова подтверждает свою позицию: «...Широкие идеологические цели, такие, как массовое участие и мобилизация, универсальное включение и рациональное человеческое устройство были паневропейскими феноменами, о чём напоминают нам недавняя история Великой войны или возникновение государства благосостояния. Конечно, если оттал-

квиваться от “краха” 1991 г., сталинистская модель модернизации оказывается, самое малое, непривлекательной. Но советское стремление к унитарному, совершенно интегрированному государству делает советский случай историческим случаем современности, и как таковой он может сравниваться с другими случаями» (75).

В январском номере 1999 г. П. Холквист проанализировал книгу «Сталинизм и нацизм: диктатуры в сравнении», вышедшую в 1997 г. под редакцией Я. Кершоу и М. Левина. Она представляет собой материалы конференции, прошедшей в 1991 г. в Пенсильванском университете. Сравнение двух режимов ограничено хронологическими рамками 1929–1953 гг. Рецензент анализирует статьи отдельных авторов, а также введение и заключение редакторов. Он выделяет два основных тезиса Кершоу и Левина: во-первых, они доказывают, что оба режима характеризует уклонение от траектории современного, рационального управления (исходя из определения современного управления по М. Веберу), хотя этот тезис оспаривается авторами некоторых статей сборника; во-вторых, «в противоположность нацизму, — утверждают они, — сталинизм по крайней мере использовал свои варварские средства для рациональных и понятных целей и мог трансформировать себя, удаляясь после 1953 г. от диктаторской, вождистской системы» (76).

На страницах журнала были помещены оклики на книги авторов, уже давно известных в советоведении и обратившихся в 1990-е гг. к анализу перемен, произошедших в СССР и России. Марк Бейсингер проанализировал книгу Дж. Ф. Хофа «Демократизация и революция в СССР, 1985–1991» (Вашингтон, 1997). Он отмечает, что в интерпретации автора коллапс советского государства коренится «в неправильной экономической политике и вялости Горбачёва в обращении со своими оппонентами». Реальными реформаторами России были, по Хофу, не Горбачёв и его последователи, дилетанты, которые предпочли путь «шоковой терапии» и разрушили Советский Союз. «Реальными реформаторами» были те, кого Горбачёв рисовал как консерваторов, — технократы и менеджеры, стремившиеся направить Россию на путь постепенного движения к рынку по китайской модели. По Хофу, западные творцы политики должны были посоветовать Горбачеву более медленные шаги в области демократии, а в отношении экономических реформ — следовать китайскому примеру. Для Хофа конец советского строя — это скорее «трагедия и бедствие», утраченная возможность для Советского Союза следовать по пути эволюционного реформирования и перестройки по китайскому образцу. Рецензент приводит следующие слова Хофа: «Михаил Горбачёв не управлял неконтролируемым тигром. Китай представляет убедительное доказательство, что коммунистические системы могут быть реформированы эволюционным методом» (77).

Излагая взгляды Хофа, рецензент далеко не во всём с ним соглашается, считая, что и у читателей может порой подняться кровяное давление от его оценок. Со своей стороны могу сказать, помня работы Хофа прежних лет, что его суждения всегда являются результатом серьёзной исследовательской

работы и прекрасного знания объекта своего исследования. Что касается опыта КНР, то в нём отразилась китайская специфика, а также то, что китайские руководители, стремясь к тому, чтобы тигр не стал неуправляемым, учитывали опыт Советского Союза в перестроечные годы.

В апрельском номере 1999 г. Дж. Хэррис рассмотрел одну из последних книг Роберта Дэниэлса «Трансформация России: моментальные снимки рушащейся системы» (1998), состоящую из очерков о политических и экономических изменениях в СССР с конца 1960-х г. до его распада в 1991 г. и в Российской Федерации с 1991 до 1995 г. Оценки режима Ельцина в очерках Дэниэлса, отмечает Хэррис, резко отличаются от оптимистических взглядов многих современных западных наблюдателей: «Он рисует попытки режима Ельцина впрыгнуть в нерегулируемый капитализм как самую последнюю из серии злополучных русских попыток принять западные утопии. Его очерки резко критичны в отношении тех западных официальных лиц и специалистов, которые рассматривают развитие капитализма в России как неизбежный и “естественный” процесс и которые благоприятно воспринимают рост президентского авторитаризма и расстройство экономики. Но его критика режима иногда кажется односторонней», — пишет рецензент и ссылается на оценку Дэниэлсом конфликта между президентом и парламентом, закончившегося событиями 1993 г. (78).

Высокую оценку на страницах журнала получила книга Мэри Мэколи «Российская политика неопределённости» (Кэмбридж, 1997), охватывающая период 1991–1994 гг., когда внезапно перестала существовать однопартийная система, а закрытое общество стало открытым. Именно внезапность изменения правил игры привела действующих лиц в состояние неопределённости. Рецензент Дж. Истер отмечает пронизательность автора, показывающего «пути, которыми силы преемственности и изменения повлияли на пост-коммунистические гибридные институциональные формы» (79).

Мы, конечно, не можем остановиться на всех материалах, помещённых в журнале, отразить всё их разнообразие, одних рецензий помещается в год около 150, в том числе одна треть по историческим наукам, как отмечает И. Левин. Остановимся на некоторых дискуссиях и тематических подборках в журнале.

В апреле 2001 г. Д.Л. Хофман (соредактор, вместе с И. Левин курировавший исторический отдел) пишет вводное слово «От редактора» и к публикуемой в номере подборке статей по национальному вопросу. Он отмечает, что после нескольких лет «относительного пренебрежения» тема национальностей и политики в отношении национальностей в Советском Союзе «появилась как возможно самая волнующая и продуктивная область исторического исследования». Разрыв Советского Союза по национальным линиям заставил историков осознать «важность национальной идентичности и политики которая помогла создать и оформить её». «Действительно, великая ирония Советской истории заключается в факте, что советские лидеры обеспечили самое националистическое сознание, которое они стремились включить

к более широкую рубрику социализма. Историческое исследование национальностей поэтому имеет решающую задачу объяснить происхождение националистического сепаратизма в советском контексте» (80).

Он отмечает пионерное значение публикуемых трёх статей и важные новые идеи о политике национальностей в Средней Азии и по вопросу советского колониализма вообще. Это статьи Паулы А. Михаелс («Медицинская пропаганда и культурная революция в советском Казахстане, 1928–1941»), Дугласа Нортон («Языки лояльности: Гендер, политика и партийное наблюдение в Узбекистане, 1927–1941»), Франсис Хирш («К империи наций: создание границы и оформление советских национальных идентичностей»). С комментарием к статьям выступил Юрий Слезкин.

На наш взгляд, интересен подход Ф. Хирш. Тезис о советском колониализме является для неё исходным, однако она привносит в его трактовку новые моменты. По словам Хофмана, «она доказывает, что советские лидеры использовали колонизацию, чтобы модернизировать и интегрировать нерусские регионы», что «советское имперское правление отличалось комбинацией колониализма и эволюционизма, которая обеспечивала национальное сознание даже тогда, когда расширяла советский административный контроль» (81). Он отмечает значение этой новаторской работы для «понимания советской системы в целом». Ф. Хирш завершает статью выводами, относящимися к событиям 90-х гг.: «Всесоюзная структура Советского Союза развалилась (т. е. Коммунистическая партия, командная экономика), оставив после себя национальности и национальные территории. В этом контексте именно язык национальности легко стал языком деколонизации. Действительно, решение советского режима использовать национальность как основную рубрику государственной организации имело важные последствия для пост-советской эры. После 1991 титульные национальности аргументировали, что им даны “национальные права” и начали расходиться из всесоюзного целого. Титульные национальности не вышли, однако, из составляющих государств (from component nations). Глядя на Среднюю Азию, мы можем видеть степень, в которой эра Советского правления оставила свою отметку на групповой идентичности: Таджикистан, Узбекистан и другие национальные республики — не Туркестан Бухара и Хива — стали основанием для постсоветских государств-наследников» (82).

В январском номере 2002 г. журнал поместил подборку статей «Историография советского периода в постсоветской перспективе», в которую вошли статьи: Нормана М. Неймарка «Изучение холодной войны и новые материалы о Сталине»; Дональда Дж. Рейли «Делать советскую историю: Влияние архивной революции»; Виолы Линн «Холодная война в Американской Советской историографии и конец Советского Союза»; Стивена Коткина «Государство — это мы? Мемуары, архивы и кремленологии».

Всю эту группу статей объединяет попытка оценить значение и характер тех изменений, которые были внесены в исследовательскую практику «открытием» советских архивов в 1991–1992 гг. Норман М. Неймарк (83) отмечает,

что исследованиям «холодной войны» много внимания уделялось на Западе. Существует уже 10 лет Международный проект по истории «холодной войны», вышедший из Вильсоновского центра. В дополнение к журналу «The Cold War International History Bulletin» основаны два новых журнала на английском языке «The Journal of Cold War Studies» и «Cold War History», тема «холодной войны» нашла отражение в журнале «Дипломатическая история» (Diplomatic History).

Расширенный доступ в русские архивы привёл к увеличению публикации документов советского периода. Серия «Annals of Communism», издаваемая Йельским университетом, включает двенадцать томов документов из российских архивов по советскому периоду, многие из которых относятся к «холодной войне». В архиве Гуверовского института в Стэнфордe образовалось большое хранилище документов по «холодной войне», микрофильмированных из архивов России. Другие учреждения также внесли свой вклад в собрание документов (84). Неймарк отмечает огромную работу, проделанную американскими исследователями холодной войны, неутраченные споры и дискуссии (прежде всего между «традиционалистами» и «ревизионистами»). Особенно выделяет в качестве вехи работу Мелвина Леффлера о происхождении «холодной войны» — «Превосходство Силы», которая была опубликована в 1992 г. Затем «после первых набегов» в русские архивы и последовавших публикаций вышла книга Джона Гэддиса «Мы теперь знаем» (1997), которая, по словам Неймарка, представляет лучшее «посттрадиционалистское» исследование, в котором делается попытка включить новые материалы из архивов России и Восточной Европы в более широкую историографию холодной войны» (85).

Он пишет, что молодое поколение историков «холодной войны» обучается использовать всё многообразие архивных источников из разных стран (86). Самого Н. Неймарка интересует, прежде всего, роль Сталина в истории «холодной войны» и что дают для раскрытия этой темы новые архивные материалы. Он надеется на появление новых документов и на перспективы в связи с этим в раскрытии роли Сталина. «Однако не нужно удивляться, если прогресс будет медленным и “открытый” мало. Самое важное, никто не должен ожидать, что только что открытые архивы перевернут давно идущие дебаты по историографии “холодной войны”» (87).

Дональд Дж. Рейли останавливается на огромных изменениях в изучении России, которые внесла перестройка, на важных организационных инициативах, которые были предприняты в американской русистике в связи с необходимостью публикации огромного количества документов из открывшихся российских архивов (речь идёт об объединении усилий «Американской Ассоциации для развития славянских исследований» и «Американской исторической Ассоциации», а также о серии «Анналы Коммунизма» Йельского университета) (88). Он не согласен с Р. Пайпсом, который, редактируя том «Неизвестный Ленин», утверждает, что было бы наивно ожидать, что архивы «изменяют сколько-нибудь фундаментальным образом наше восприятие лич-

ности Ленина или его политики» «Другими словами, — пишет Рейли, — Ленин не был так неизвестен, в конце концов, по крайней мере, Пайпсу» (89).

Д. Рейли утверждает, что ознакомление с архивными документами (по архивам Саратовской области) заставило его изменить прежние взгляды: «Я хочу подчеркнуть, что архивные данные заставили меня пересмотреть отношение Гражданской войны к последующему ходу советской истории». Прежде он «соглашался со взглядом, согласно которому сталинизм означал отход от ленинизма, и становление советской системы, начавшись в 1920-е, испытало менее авторитарные альтернативы тому пути, который русская история, в конечном счёте, приняла с введением Иосифом Сталиным грандиозной гонки в конце 1920-х. Я больше не так уверен в этом» (90).

Рейли подчёркивает важность открытия доступа не только в центральные, но и местные архивы, т. к. исследования, которые будут результатом доступа в провинциальные архивохранилища «помогают обратиться к самой большой лакуне в исследовании советского эксперимента», ибо изучение местной истории находится в самой начальной стадии. Это последнее было件язано в значительной степени «закрытой природе советского общества», которая «делала глубинку (heartland) невидимой», а также тому, что «длительное влияние тоталитарной модели преувеличивало значение Москвы и способность контролировать» (91). Отмечается возросшее внимание историков к этой проблеме, что проявилось в ряде конференций как в России, так и за рубежом и в соответствующих публикациях в конце 90-х. Сам Рейли является редактором материалов одной из таких конференций (92). Однако он вынужден отметить снижение интереса к изучению России, вызванное изменением внутреннего и внешнего положения страны: «...“популярные” взгляды на сегодняшнюю Россию как [страну] экономической катастрофы и менее критически важного игрока на мировой сцене привели к маргинализации исследований России как раз тогда, когда беспрецедентные возможности выполнять новые исследования появились» (93).

Д. Рейли набрасывает как бы целую исследовательскую программу, которая может быть выполнена в связи с появившимися возможностями работы в архивах России как для тех, кто давно занимался российской историей, так и для молодых исследователей. Имеет место сдвиг интересов от революционного периода к прежде запретным «тёмным сталинским годам». Далее, «беспрецедентный доступ к архивам и личным коллекциям» делает возможной переоценку позднего императорского и революционного периодов. Поскольку большинство исследований были выполнены до открытия архивов, то в повестку дня встаёт необходимость переоценки сделанного в свете архивных документов (по истории Временного правительства, большевиков и других политических партий), оценки опыта средних слоёв России в период испытаний, изучения российского крестьянства, «местных исследований, которые будут содействовать появлению понимания региональных различий в России». Рейли перечисляет множество тем по послереволюционному и послевоенному периодам, которые требуют изучения, при этом он не уменьшает важности новых работ по историческому синтезу (94).

Он выступает за помещение истории российского и советского развития «в более широкую паневропейскую и даже глобальную структуру», за междисциплинарные исследования, за проекты сотрудничества, которые вовлекли бы не только российских коллег, но и историков Европы и Азии также (95). Открывшиеся возможности и новые вызовы последнего десятилетия, по Рейли, дают начало «новым путям концептуализации советского опыта, которая помещает его в евразийский и даже глобальный контекст» (96).

В статье Виолы Линн на тему о «холодной войне» в американской историографии советской истории и конце Советского Союза минувшие дискуссии между «ревизионистами» и «традиционалистами» отражены очень остро и полемично. «Бинарное мышление “холодной войны”, — пишет она, — очень упрощало изучение советской истории для американской аудитории. Были враги (они) и были друзья (мы, или некоторые из нас во всяком случае). Были те, кто говорит правду (американские историки) и были лжецы (советские фальсификаторы). Факторы анализа и/или причинности могли включать детерминизм и неизбежность (Ленин вёл к Сталину, Октябрь к 1937); принятие желаемого за действительное и альтернативные сценарии реальности...» (97). Однако даже в разгар «холодной войны» были исключения и к 1970-м возникает среди этого историографического «Отец знает лучше» — «эпизод», который был назван «ревизионизмом». Л. Виола перечисляет имена американских и других исследователей, которые были «пионерами новых подходов в историческом мышлении о революции, гражданской войне и годах нэпа» (98). Это — Леопольд Хеймсон, Барбара Клеменц, Стивен Козн, Беатрис Фарнсворт, Роберт Джонсон, Диана Коекер, Александр Рабинович, Уильям Розенберг, Роберт Суни, Роберт Такер и покойный Алан Уайлдмен. Шейлу Фитцпатрик и Моше Левина она также включает в эту группу (хотя их подход несколько отличался), а также ряд других историков, работы которых по предреволюционному периоду содействовали изучению революции (99). Она называет историографические работы 80–90-х гг., в которых освещается история «ревизионистского» направления (100).

«Официальная история не потерпела противоречия или вызова», — пишет Линн Виола и перечисляет тезисы отстаиваемые официальной историографией: «Русская революция была ошибкой или преступлением; коммунизм был абсолютным злом или aberrацией; 30-е гг. надо было понимать либо как панегирик культуре личности Сталина (так как конечно советское общество не существовало), либо как неизбежный результат марксизма». «И хотя ревизионистское мышление 1970-х было в известной степени принято 80-ми, поколению американских учёных, которые решили протолкнуть ревизионизм в 1930-е годы (с изучением социальной базы сталинизма, конфликтов между центром и периферией и административной слабости сталинистской администрации), была отведена роль внутреннего врага, искусственно сгруппированного в школу “молодых ревизионистов”» (101).

Она отмечает, что в рамках полемического дискурса их отбрасывали на обочину (*marginalized*), часто упрекая в недостатке профессионализма и недостатке

вежливости. Их работы «неправильно цитировали, неправильно представляли», «просто фальсифицировали как сталинистскую апологию» (102). Положение изменилось, когда произошли перемены в СССР, закончившиеся его распадом в 1991 г. «Сомнение и запутанность затянули тучами официальную историю» (103). Уникально для советской истории, но она превратилась в «историю». Линн Виола описывает этот знаменательный перелом в работе историков, обилие новых видов документов, к которым они получили доступ; новые области и темы, которые стали изучаться историками: гендерный анализ, изучение национальностей, сопротивления, общественное здоровье и др. Она отмечает как имеющие пионерное значение работы Юрия Слэзкина, Стивена Коткина, Дэвида Хофмана, Питера Холквиста, Эмира Уэйнера, которые стремятся «понять советское историческое развитие в контексте того, что Коткин называет ... “progressive modernity”, находя в Советском государстве отдельные (shared) элементы паневропейского “социального государства” эпохи пост-Просвещения» (104).

На наш взгляд, очень важно в связи с этим следующее суждение Виолы Линн: «В этом свете Советский Союз и действительно даже сталинский Советский Союз не является больше *sui generis* (своего рода — *И. О.*) созданием “холодной войны”, разделяя вместо этого главные черты современного государства, адаптируя и трансформируя их иногда весьма специфическими и часто трагическими путями» (105). В сноске 15, относящейся к этому отрывку, автор пишет, что М. Малиа в одной рецензии (в «Los Angeles Times» Book Review, 28 May, 2000) назвал «неудачу признать советскую *уникальность* как “постоянный грех” господствующей литературы». В ответ она замечает: «“Постоянный грех” всё же не такой постоянный как Малиа избражает. Большинство историков Советской России фактически, скрыто или определённо, рассматривали Советскую Россию как разновидность конструкции особого рода (*sui generis*), тем самым прощая себя заранее» (106).

На наш взгляд, не случайно это расхождение между представительницей «ревизионистской» группы и представителем «тоталитарной» школы М. Малиа по вопросу, признавать ли Советскую Россию конструкцией особого рода. Нам кажется, что будущее за подходом представителей «ревизионистской» школы (ныне — пост-ревизионизм), которые защищают необходимость рассмотрения истории России в европейском контексте. В этой связи хотелось бы обратить внимание на одну из важнейших статей последних лет П. Холквиста (107).

Много добрых слов ею сказано в адрес советских историков архивистов, которые в начале 90-х были для неё и для её коллег менторами и учителями. Что касается продолжения «архивной революции», то «главное препятствие касается самих архивов, или более точно, политических ветров в России» (108). Виола Линн считает, что хотя Советский Союз закончил своё существование в 1991 г. «“Холодная война” в американской историографии Советского Союза не кончилась». Она пишет, что в некотором роде имел место «второй приход» «холодной войны» в 90-е годы. «В воинственном

реваншизме, некоторые ветераны “холодной войны”, претендовали на победу, как будто кто-то реально может выиграть или какой-то род исследования мог бы извлечь выгоду из десятилетий полемики, мелочной уродливой агрессии и беспримесной ненависти холодной войны», — пишет она (109). Выход во Франции «Чёрной книги коммунизма» и перевод её на английский язык, выпущенный издательством Гарвардского Университета с предисловием Малиа, она рассматривает как остаточные проявления холодной войны (110).

Виола Линн встаёт на защиту своих коллег Б. Мура, А. Тейера, Дж. А. Гетти, которых Мартин Малиа в своей статье в «Los Angeles Times» назвал «апологетами сталинизма» (111).

Последняя статья «Государство — это мы?» написана Стивеном Коткиным, автором книги о рабочих Магнитогорска в 30-е гг., а также книги «Предотвращённый Армагедон: советский коллапс, 1970–2000» (2001 г.) (112). Обращаясь к спорам об «архивной революции» и к своему опыту работы в архивах (он начинал ещё до «перестройки»), Коткин пишет, что у него усилилось убеждение, «что новые источниковые материалы могут помочь разрешить вопросы фактического спора и разнообразить журналы новыми темами, но они не могут быть причиной новой концептуализации» (113). В другом месте он пишет: «Действительно, то, что мы называем “делание политики”, очень трудно реконструировать из секретных архивов, потому что документы в партийных и государственных архивах — это не просто факты (records); они являются артефактами планируемых, исполняемых или пресекаемых интриг, выражений бюрократических интересов, конечно, но также орудием атаки (липачество, туфта) во имя партийной правды и интернациональной революционной “борьбы”» (114). Не в меньшей степени и мемуары, по Коткину, не просто источник. «Они — *действие*» (115). Скептицизм С. Коткина можно понять, однако, на наш взгляд, нет необходимости заранее предрекать, что никаких теоретических прорывов при использовании новых массивов данных не будет.

Статья Линн Виолы в январском номере не прошла незамеченной. Мартин Малиа — её главный оппонент — в июле пишет письмо редактору, в котором отвечает на все выпады против себя. Известно, что с «ревизионистами» у него давние счёты. В 1992 г. в «Отечественной истории» появилась его статья «В поисках истинного Октября», в которой он отметил значение книги Р. Пайпса «Русская революция» (речь идёт о нью-йоркском издании 1990 г.) в воскрешении тоталитарной модели и торжествовал победу над «ревизионистами». После «эпохальной победы антикоммунистических сил» в июне 1991 г. и провала августовского путча стало ясно, пишет он, что по большим вопросам «о закономерности Октября и связи между Лениным и Сталиным — прав Пайпс, а не ревизионисты». Но потрясла последующая фраза Пайпса: «И мы могли бы, кроме того, ожидать, что его книга положит начало расследованию, почему в западной науке столь долго отдавалось предпочтение малосущественным вопросам». Малиа полагал, что давний спор продлится ещё какое-то время, но недолго (116).

Но, как можно видеть, старый спор всё ещё тлеет. В статье Виолы Линн об «архивной революции» он увидел «фактически повторение “ревизионистской” инвективы до — 1991 г. против “бинарного мышления холодной войны”» (117). Откликается он и на её обвинения в связи с «Чёрной книгой коммунизма». Но главное, он считает искажённым то описание американских советских исследований как идущих от «тёмного века» «холодной войны» через эпизод ревизионистского света 1970-е — начале 1980-х к «реваншу холодной войны» в 1990-е. «Ревизионисты были не менее политичны, чем “бойцы холодной войны”, которых они критикуют», — пишет он. Он солидаризируется с Коткиным, который считает, что «хорошая история *должна* быть политической». «“Позитивизм” ревизионизма не выпрыгнул непредумышленным из архивов», — считает Малиа. Концепция ревизионизма сформировалась в 1970-е — начале 1980-х. «Эта схема пришла, скорее, из надежд на реформируемость советской системы, действительно ожидаемый “социализм с человеческим лицом”» (118), — пишет он. В вопросе о роли источников, их влиянии на концепцию истории Малиа солидаризируется с основными положениями статьи С. Коткина. В ответ на слова, что «ветераны холодной войны» претендуют на победу, он утверждает, что всё решено уже, что «история фактически решила этот спор — и по существу против ревизионизма» (119).

Журнал поместил и краткий ответ Линн Виолы. Она достойно ответила, что «очень воодушевлена работой новой когорты в области современной русской истории и ободрена тем, что они продвигают исследования за пределы холодной войны». О Малиа же пишет, что он «всё ещё борется с войнами прошлого» (120).

В завершение раздела о «The Russian Review» остановимся на некоторых материалах того же 2002 г., которые говорят об осложнившейся ситуации в редакции журнала. Так, в январском номере, в котором помещена рассмотренная выше дискуссия, имеется материал «От редактора» под названием «Защитить редакторскую независимость», в котором Ив Левин отстаивает право редакторской автономии. Она приводит примеры из дореволюционной и советской истории, когда на «редакторские решения сильно влияла скрытая угроза правительственного вмешательства». «Редакторы на Западе тоже не были защищены от внешнего вмешательства. Конституционные гарантии свободы печати предотвратили большинство случаев открытого принуждения, редакторы гораздо более ранимы от косвенного давления. Мы в специализации по России испытывали написанные императивы в разгар “холодной войны”, когда издания, такие как “The Russian Review” должны были объявлять себя “оппозиционными советскому коммунизму”, чтобы отвести подозрения» (121).

Ив Левин отмечает, какие способы могут быть использованы для давления на редакторов академических изданий. Для редакторов гуманитарных и социальных наук это может быть давление университетской администрации. «Я лично была подвержена такому обращению в течение всего прошлого

года (2001 — *И. О.*). Скорее чем уступить, я и члены правления “The Russian Review” готовы перенести журнал куда-либо в другое место» (122).

Ко времени появления этого заявления редакторский совет уже стал терять своих членов: так в августе 2001 г. отказался от должности со-редактора Дэвид Хорфман (123). В апреле 2002 г. сообщил об своём выходе из редакции Томас Ремингтон (из университета Эмори). В своём прощальном слове к читателям он говорит, что журнал в хороших руках и он желает ему успеха (124). Не зная точно всех причин, вызвавших перемены в работе журнала, автор настоящей статьи желает также успехов редакторскому совету журнала.

Споры вокруг «Провала крестового похода»

Для характеристики последних тенденций в американском россиеведении очень показательна публикация книги Стивена Коэна «Провал Крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России», которая вышла в США в 2000 г., и сразу же в России — в 2001 г. Из беспрецедентного количества рецензий на неё — более 40 в западной и 15 в российской периодике, — меня будут интересовать в основном те, которые были опубликованы в академических изданиях.

В книге известного американского профессора много горькой правды, идущей из глубины души этого благородного, равнодушного человека, что и определило её «неоднозначное» восприятие, если использовать прижившееся в современной лексике слово. В отличие от своей чисто исторической, исследовательской книги о Н. И. Бухарине, вышедшей в США в марте 1973 г., т. е. тридцать лет назад, и в СССР в марте 1988 г., т. е. пятнадцать лет назад, и занявшей своё место в истории нашей «перестройки», «Провал крестового похода» — работа полемическая и, как понимает сам Ст. Коэн, публицистику можно считать «первым, черновым наброском истории» (125). Всю вторую часть книги, за исключением последнего очерка, составили публикации Ст. Коэна в американской печати (интервью, статьи), в основном в «The Nation», последнего десятилетия. Причём, следом за каждой статьёй следует *post-scriptum* — оценка фактов через несколько лет, выявление того, что подтвердилось, что нет, как развивались события.

Книга ограничена хронологически: в ней рассматривается и критикуется политика США в отношении России, но она обрывается перед началом президентства Дж. Буша-младшего, а ведь события 11 сентября 2001 г. изменили вектор американско-российских отношений. Президент Путин предложил сотрудничество в борьбе с терроризмом, которое так важно для США. К тому же, кажется, наметились позитивные подвижки в экономическом развитии России. Казалось бы, пессимистический сценарий для России не оправдался. Можно только радоваться, если эта тенденция возобладает окончательно. Однако это не значит, что можно забыть трагедию посткоммунистической

России, которую обрисовал Коэн, и роль в ней ельцинского руководства и политической, научной, журналистской элиты США.

Что общего между этой книгой Коэна и его классическим трудом «Бухарин»? На наш взгляд, это понимание истории как открытого процесса, не заданного заранее, в котором есть лучшие и худшие варианты развития, что особенно важно для оценки событий, совершающихся на глазах современников, которые ещё могут повлиять на их ход. Между тем, в рецензии В. В. Согрина чувствуется тенденция раз и навсегда дать оценку недавно совершившимся событиям (в период ельцинского правления) Он даже считает оценки Коэна «односторонними и далёкими от объективности», а в трансформации России не видит трагедии (126). «Историческая альтернатива рубежа 1980–1990-х была проста: или сохранение СССР на основе увековечения тоталитарно-коммунистического режима, или распад СССР в качестве неизбежной платы за восприятие политической демократии, — считает Согрин. — У сторонников политической демократии, по моему заключению, не остаётся иного выбора, кроме как примириться с распадом советской империи» (127).

Коэн исходит из тезиса, который разделял ряд историков-«ревизионистов», о реформируемости советской системы, и полагает, что в правление Горбачёва, «несмотря на отдельные политические провалы, советская система показала себя замечательно реформируемой — гораздо более реформируемой, чем могли предложить западные эксперты» (128).

Если в период «холодной войны» роль ортодоксии в американском советоведении играла «тоталитарная модель», познавательная значимость которой, начиная с 70-х гг., подвергалась весьма ощутимой критике со стороны молодого поколения западных исследователей, то с крушением Советского Союза, по мнению Коэна, не замедлила возникнуть «новая ортодоксия» — «транзитология» или «наука о переходе», о переходном периоде «от коммунизма к капиталистическому свободному рынку и демократии». В адрес «транзитологии» Коэном выпущено немало острых стрел. «Транзитологи», считает Коэн, «проглядели» Россию. Ратуя за «Россию, которая нам нужна», т. е. перестроенную по американскому образцу, оправдывая все действия российского правительства в течение 90-х гг., нацеленные на сокрушение («до основания») коммунизма, они потеряли из виду Россию (129). Потенциальных жертв реформы они идентифицировали «по признаку поколения»: «транзитологи по сути подписали приговор всем гражданам России среднего и старшего возраста». Коэн рассматривает это как «моральное падение учёных, которых захватила полностью “идея крестового похода”» (130).

Результатом «перехода» была трагедия российского населения, беспрецедентное падение производства и падение уровня жизни, демографическая катастрофа. Коэн пишет, что «экономический и социальный распад нации был настолько глубок, что привёл к беспрецедентному явлению демодернизации страны в XX веке» (131). После обзора девяти лет «шоковой политики и экономики» Коэн пишет, «что подобные меры, осуществляя их советское правительство, встретили бы непременно осуждение со стороны американских

политиков, журналистов и учёных». Но в этих событиях он видит определённую внутреннюю логику, «в соответствии с которой на долю каждого последующего события оставалось всё меньше альтернатив». И чем дальше, тем больше Россия отказывалась от своей 70-летней советской истории, «и те её элементы — институциональные, экономические, человеческие, — которые могли быть использованы как строительный материал для новой России, оказались, в конце концов, разрушенными» (132). Эта история «бессмысленного и бесполезного посткоммунистического разрушения всячески приветствовались американскими учёными и журналистами», отмечает он, приводя несколько высказываний американских «транзитологов» (среди них Пайпс и Малиа) о необходимости «разрушения структур» (133).

Отметим, что при переходе от одной общественной системы к другой всегда есть элементы преемственности с той системой, которую новая заменяет. Эта преемственность идёт прежде всего по линии производительных сил. Но именно в сфере производительных сил в период «перехода» были наибольшие разрушения, которые лишали жизненных сил новообразующуюся систему.

Самой знаменитой их статей Коэна 90-х гг. была его статья в «The Nation» 30 декабря 1996 г. (к 5-летию кончины СССР), после которой последовала бурная реакция американского общества, обилие писем и статей. Коэн отмечал, что несмотря на наличие тысяч специалистов по России в США, «лишь единицы из них пытаются говорить всю правду о постсоветской России». «Столкнувшись с фактом, что результаты российского “перехода” всё более расходятся с их ожиданиями, американцы предпочли клеймить “наследие коммунизма”, а не собственные рецепты...», — пишет он (134).

Коэн отмечает, что советы «шоковых терапевтов», разъезжавших по России, отличались незнанием и непониманием её истории, нежеланием видеть альтернативные способы её реформирования, среди которых, например, «так называемый “третий путь”, отличный и от ортодоксального советского коммунизма и от догм американского крестового похода». В противовес желанию «американских крестоносцев» видеть российскую экономику полностью приватизированной он указывает на альтернативу «смешанного уклада экономики», который имеет корни в российской традиции, которая как раз не учитывалась. «В россиеведческие исследования должна вернуться Россия», — считает он (135).

В книге Коэна много интересных мыслей и наблюдений. Например, характеристика отношений между США и Россией в конце XX столетия — как «холодного мира». Но он не считает распространение антиамериканских настроений в посткоммунистической России наследием «холодной войны», а связывает их с реакцией на политику США в отношении России в 90-е гг.: «Старт был дан вмешательством Вашингтона в процесс выработки Кремлём экономических решений и проведения “шоковой терапии”, которая принесла столь жестокие страдания» (136).

«Провал крестового похода» — это книга не только о России, но и о собственной стране автора. Он осуждает правительство США (на этот период

пришлось 8 лет президентства Клинтона) за то, что стремясь «переделать посткоммунистическую Россию по американскому образу и подобию», администрация давала далёкие от понимания реальности советы (особенно в области экономической политики), «вторгаясь всё глубже и глубже во внутривнутриполитические дела России» Хотя главная ответственность лежит на кремлёвской администрации, как отмечает Коэн, ему «неприятно и даже стыдно.., что так много американцев — чиновников, журналистов, учёных — в течение почти 10 лет называли “реформой” процесс разграбления, обнищания, демодернизации и дестабилизации России» (137).

Коэн имеет смелость идти против течения, против преобладающего мнения большинства. Н. Дедков в своей рецензии отмечает, что Коэн не мог «смотреть на наши беды безучастно». «Он сказал вслух то, что должно было быть сказано... Стивен Коэн спас честь Америки, но кто спасёт нашу?» (138).

Монография С. Коэна серьёзно рассмотрена В. Маловым в «Полисе». Он отмечает важность анализа «и положительного, и отрицательного опыта участия США в модернизации и реформировании России» для будущего всего мира. Хотя ключи к решению большинства проблем России лежат в ней самой, «в эпоху глобализации любые проблемы становятся международными». «Пафос книги профессора Коэна, — отмечает Малов, — сводится к вопросу, как способствовать подлинной, а не мнимой модернизации России» (139).

Интересно ставится вопрос о проблемах демократии, её формах в современном мире в статье И.К. Пантина. С расширением ареала демократии, с включением в это движение сотен миллионов людей «бытие которых связано со всеми известными *историческими укладами* и общественными *формами*, феномен демократии становится ещё более разнообразным и многовариантным» (140). Это суждение И.К. Пантина, на наш взгляд, близко мыслям Ст. Коэна о важности учёта конкретного исторического опыта при реформировании каждой страны, что им было показано на примере России.

Остановимся на показательных рецензиях в американской научной периодике. Р.Л. Гартхоф из Брукингского института, остановившись на содержании книги Коэна и её резко критическом настрое, тем не менее, заключает: «Обвинительный акт, вынесенный Коэном американской политике в отношении России в 1990-е — и американским академическим и другим экспертам по России — заслуживает вдумчивого отношения. Это — важный вклад (contribution), но он не даёт полную картину» (141)

Рецензент из университета Майами Карен Дэвиша выдвинула много критических замечаний в адрес Коэна. На вопрос, кто виноват в неудачах России, у Коэна есть ответ — «это США». В книге обвиняется «западная интеллектуальная и политическая элита», отмечает она. Люди, определяющие политику на Западе обвиняются «за недостаток предвидения», но более серьёзно — «за соучастие и даже частный сговор с олигархами», что она считает необоснованным и развёртывает свою контраргументацию. В отношении событий 1991 г. К. Дэвиша считает, что «Коэн совершенно прав в своей оценке, что Запад не понял надлежащим образом глубину политической интриги, которая

сопровождала одновременное спасение и предательство Ельциным Горбачёва». Она не согласна с Коэном, что в отношении России был бы эффективен план Маршалла, ибо этот план имел совсем другой характер. Дэвиша говорит, что о «собственной виновности России» Коэн говорит лишь походя, что Россия у него «вечная жертва и объект» (142).

Таким образом, в США в оценках книги преобладает критический акцент, что, в общем-то, неудивительно. Однако в них нет того сопереживания российской трагедии, которая есть у Коэна.

В американской и английской историографии истории России последнее десятилетие XX в. было отмечено серьёзными переменами. Имеющиеся традиции изучения России, достигнутый высокий профессиональный уровень исследований были дополнены возможностью широкого использования материалов архивов (уже не только дореволюционного, но и советского периода), а также сотрудничества с российскими исследователями. Подход к изучению истории России стал более академическим. Но, конечно, дают себя знать старые разломы между историками времён «холодной войны». Историческая действительность сложна, противоречива и по-разному воспринимается исследователями.

Определилась тенденция изучать в большей взаимосвязи периоды до 1917 и после 1917. Идёт освоение новой проблематики — периода 40–60-х гг. По-прежнему, в центре внимания возникновение сталинизма, природа и механизм функционирования этого режима. События конца 80-х — 90-х поставили в порядок дня изучение причин крушения коммунизма и распада СССР, а также особенностей последующего периода на примере Восточной Европы и государств — наследников СССР.

По определению М. Дэвида-Фокса, в изучении России на период, наступивший с конца 80-х — начала 90-х гг. приходится историографический взлёт «внуков». Стартовым он называет поколение «отцов» (конец 40-х — середина 60-х), затем с конца 60-х до конца 80-х — поколение «детей». Именно на этот период приходится расцвет «социальной истории» (испытавшей влияние французской школы «Анналов») и школы «ревизионизма». Социальные историки в изучении истории поднимались «снизу вверх», от социальных процессов, от изучения общественных сил (143). «Одна из главных целей “внуков”, — пишет М. Дэвид-Фокс, — преодолеть изоляционистский подход к изучению и написанию русской истории (как особенной, “национальной” истории); “внуки” всё больше осознают важность сравнительной истории, интеграции научных достижений в сфере изучения русской истории и истории других стран и стремятся рассматривать русскую историю в европейском и других более широких контекстах» (144).

Для поколения 90-х характерно влияние «постмодерна», на смену социальной истории приходит «новая культурная история». История «повседнев-

ности», «микроистория» становятся обычными исследовательскими практиками.

Подобренные М. Дэвид-Фоксом статьи для двух томов «Американской русистики» превосходно показывают характер поисков идущих в американской русистике дореволюционного и советского периодов. Например, в статьях Т. Баррета и А. Дж. Рибера (145) на основе применения к истории России теории «фронтира» (приграничья), созданной в США, делается попытка преодолеть стереотип рассмотрения истории русской экспансии на Северном Кавказе (Баррет) и внешней политики России в течение нескольких веков (Рибер) как истории завоеваний. А. Дж. Рибер выявляет «устойчивые факторы» внешней политики и опровергает сложившиеся мифы. Все статьи, включённые в «Американскую русистику советского» периода (Холквиста, Кларк, Фитцпатрик, Джоравски, Ст. Коткина и др.) характеризуют новые поиски и подходы.

В плане обоснования сравнительно-исторического подхода и необходимости включения изучения истории России в общеевропейский контекст выделяется статья П. Холквиста (первоначально опубликованная в 1997 г. в «*Journal of Modern History*»). Он исследовал практику наблюдения за настроениями населения в большевистской России на основе изучения материалов архивов и огромного количества опубликованных источников и литературы. Но сравнительное изучение практики различных государств показало, что практика контроля за настроениями населения уже в годы Первой мировой войны имела место не только в России, но и в других странах. А ведь «учёные считают надзор классическим проявлением тоталитаризма и свидетельством уникальности большевистской России», пишет Холквист (146). Надзор за населением, отмечает он, «ни в коей мере не был географически ограничен Россией или СССР, как не был хронологически ограничен первой мировой войной», «революция 1917 года часто заслоняет те перемены, которые произошли в ходе войны» (147).

«Особенности советского режима объясняются не “идеологией” в общем смысле этого слова и не его особой тоталитарной сущностью», полагает Холквист, а «взаимодействием, конкретной идеологии и опыта практической реализации специфически “современного” понимания политики..., при котором население рассматривается и как средство, и как цель некоего эмансипационного проекта». «Ключ к решению проблемы Советской России он считает необходимым искать в контексте явления, определяемого словом современность». По Холквисту, такая позиция «позволяет переместить центр тяжести научной дискуссии с категоричных оценок тоталитарных режимов на изучение того, как именно те или иные государства практиковали (или не практиковали) тоталитарные по своей сути мероприятия» (148). Холквист и некоторые другие современные исследователи пришли к очень важным выводам. Речь не идёт об отказе от порицания репрессивных практик нацизма и сталинизма, а о том, что исследовательская практика историков показывает пределы применения концепции тоталитаризма в познании истории сложного, трагического XX в., составной частью которой была история России.

90-е гг. были важной вехой в изучении истории России. В нашем очерке не все имена и книги были названы, но надеемся, может быть, удалось показать смену поколений, преемственность и противоречия в познавательном процессе, новые подходы в изучении истории России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например, материалы конференций и коллоквиумов: Россия в XX веке: Историки мира спорят. — М., 1994; Россия в XX веке: Судьбы исторической науки /Под ред. А.Н. Сахарова. — М., 1996; Реформы или революция? Россия 1861–1917. Материалы Международного коллоквиума историков. — СПб, 1991; Россия и первая мировая война (материалы Международного научного коллоквиума). — СПб., 1999.
2. Россия XIX–XX вв. Взгляд зарубежных историков. — М., 1996.
3. Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. — М., 1999. С.50.
4. *Cohen. St. F. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History Since 1917.* — N.-Y., 1985.
5. *Païnc. P. Собственность и свобода.* Пер. с англ. — М., 2000.
6. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2-х т. Т.1. От вооружённого восстания в Петрограде до второй сверхдержавы мира /Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. — М., 1997. С.7–29, 120–173; Т.2. Апогей и крах сталинизма /Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. — М., 1997. С.440–444, 575–594.
7. *Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917.* Пер. с англ. — М., 1997.
8. *Соломон П.Г. Проблема развития правового строя в постсоветской России.* — М., 1997; *Его же. Советская юстиция при Сталине.* Пер. с англ. Л. Масленков. — М., 1998.
9. *Taker P. Сталин: Путь к Власти. 1879–1929.* Пер. с англ. — М., 1927; *Его же. Сталин у власти. 1928–1941.* Пер. с англ. — М., 1997.
10. *Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция.* — М., 1998.
11. *Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. → 1917–1922 гг.* Пер. с англ. — М., 1997.
12. *Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885–1886 гг.).* Т.1–II. — СПб., 1999.
13. *Грэхэм Л. Призрак казненного инженера: технология и падение Советского Союза.* Пер. с англ. — СПб., 2000; *Лейн Р. Ленин. Жизнь и смерть.* Пер. с англ. — М., 2001.
14. *Viola L. The Cold War in American Historiography and the End of the Soviet Union //The Russian Review, 2002. January. P.32.*
15. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология /Сост. М. Дэвид-Фокс. — Самара, 2000; Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология. /Сост. М. Дэвид-Фокс. — Самара, 2001.
16. E. H. Carr: A Critical Appraisal. Ed. By Michael Cox. Foreword by John Carr. — Palgrave Publishers Ltd. 2000.
17. *Haslam J. The Vices of Integrity: E. H. Carr, 1892–1982.* — N.-Y., 1999.
18. *Davies R. W. E. H. Carr //The Russian Review. 2000. July. P.442–443.*
19. *Ibid. P.442*
20. *Ibid. P.443*
21. *Ibid. P.444*
22. *Ibid.*
23. *Ibid.*
24. Цит. по: *Ibid.*
25. E. H. Carr: A Critical Appraisal. P.121.
26. *Davies R. W. The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929–1930.* — L., 1980 (Vol.1); *Idem. The Soviet Collective Farm. 1929–1930.* — L., 1980 (Vol.2); *Idem. The Soviet Economy in Turmoil, 1929–30.* — L., 1989 (Vol.3); *Idem. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933.* — L., 1994. (Vol.4); *Davies P. W., Wheatcroft S. G. The years of Hunger, 1931–1933.* — L., 1994 (Vol.5).
27. Россия XIX–XX вв.: взгляд зарубежных историков. С.212.
28. *From Tsarism to the New Economic Policy: Continuity and Change in the Economy of the USSR /Ed. R. W. Davies.* — L., 1990.
29. *Davies R. W. Soviet History in the Yeltsin Era.* — L., 1997.

30. *Getrell P.* Government, Industry and Rearmament in Russia, 1900–1914. The Last Argument of Tsarism. — Cambridge UP, 1994. P.328.
31. *White St.L.* Political Culture and Soviet Politics. — Macmillan, 1979; *Idem.* Britain and the Bolshevik Revolution. — Macmillan, 1980; *Idem.* The Origin of Détente. — Cambridge, 1985; *Idem.* After Gorbachev. (Revised 4th. ed. — Cambridge, 1994); *Idem.* Russia's New Politics: The Management of a Post revolutionary society. — Cambridge, 2000; *Mawdsley E., White St.L.* The Soviet Elite from Lenin to Gorbachev: The CPSU Central Committee and its Members. 1917–1991. — Oxford, 2000; *White St.L.* Communism and its Collapse. — Routledge, 2001.
32. *Lane D., Cameron R.* The Transition from Communism to Capitalism: Ruling Elites from Gorbachev to Yeltsin. — N.-Y., 1999; *The Russian Review.* Vol.59. № 4. 2000. October. P.662–663.
33. *Europe–Asia Studies.* Vol.51. №2, 1999. P.315–345.
34. *Europe–Asia Studies.* Vol.51. № 6, 1999. №8, 1999.
35. *Ibid.* Vol.52 № 6. 2000. P.1143–1159.
36. *Ibid.* P.1146.
37. *Benn D. W.* Natsism and Stalinism: Problems of Comparison — A Review Article // *Europe–Asia Studies.* Vol.51 №1. 1999. P.152.
38. *Ibid.* P.153, 155.
39. *Ibid.* P.155.
40. *Ibid.* P.156.
41. *Ibid.* P.157.
42. Он был основан в ноябре 1941 г., в настоящее время — ежеквартальник, выходящий под покровительством университета штата Огайо. Об истории журнала рассказано в статье в журнале «Отечественная история», написанной главным редактором Е. Левиной при участии Д. Хоффмана, К. Шульца и А. Ретиша (ОИ. 1998. № 3). Основателем издания был Дмитрий фон Мореншильдт, эмигрант из России, но титульным редактором до 1947 г. был Уильям Хенри Чемберлин — автор лучшей работы по русской революции, вышедшей в 1935 г.; короткое время титульным редактором был М. Карпович, а с 1949 до 1973 г. Мореншильдт стал и титульным и главным редактором. В 1974 г. редактором стал Теренс Эммонс из Стэнфордского университета, а в 1983 — Дэниел Филд из Сиракузского университета.
43. *The Russian Review.* 2001. January. P.1–2.
44. *Ibid.*
45. *Wildman A.* The Future of Russian History // *The Russian Review.* 2001. January. P.10.
46. *Ibid.* P.11.
47. *Ibid.* P.12.
48. *Ibid.*
49. *Ibid.*
50. *The Russian Review.* An American Quarterly Devoted to Russia Past and Present. Vol.57. № 1. 1998. P.VI.
51. From the Editor. Soviet History in Comparative Perspective // *The Russian Review.* Vol.57. № 4. 1998.
- P.VII. Структура номеров «The Russian Review», как правило, выглядит следующим образом. Вначале идёт блок крупных статей (в одном номере преобладают исторические, в другом — литературоведческие материалы), которые иногда объединяются общим названием, например, «Женщины, брак и социальное сознание в императорской и советской России» (1999, июльский номер). Иногда взгляды исследователей бывают представлены в виде дискуссии. В начале номера обычно даётся информация об авторах с указанием их наиболее крупных работ. Очень интересен раздел рецензий, как правило, включающий 1–2 очерка («Review Essays») и большое количество отзывов меньшего размера — по одной, редко — полторы-две журнальных страницы. Их тематика соответствует профилю журнала: литература и искусство, история, социальные науки, современная Россия и др. Среди рассматриваемых преобладают работы на английском языке, но рецензируется и довольно много книг российских авторов, вышедших либо в России, либо за рубежом, что достаточно хорошо характеризует современный уровень и характер сотрудничества между историками России и западных стран. Завершает же каждый номер перечень новых книг, полученных редакцией. В последующих номерах можно найти рецензии на некоторые из них. Таким образом, можно говорить о достаточно высокой оперативности «The Russian Review» и информативной ценности помещаемых в нём материалов.
52. From the Editor. Religious Revival: The History of Religion in the Post-Cold War Era // *The Russian Review.* Vol.58. № 1. 1999. P.VII–VIII.
53. *Kenez P.* The Common Folk in the Revolution // *The Russian Review.* Vol.57. № 1. 1998. P.107, 108.
54. *Rabinowitch A.* Richard Pipes's Lenin // *The Russian Review.* Vol.57. № 1. 1998. P.110–113.
55. *The Russian Review.* Vol.57. № 1. 1998. P.146–147.
56. *The Russian Review.* Vol.57. № 4. 1998. P.652, 653.
57. *David-Fox M.* What is Cultural Revolution? // *The Russian Review.* Vol.58. № 2. P.182, 187–191.

58. Ibid. P.189.
59. Ibid. P.201.
60. *Fitzpatrick Sh.* Cultural Revolution Revisited //The Russian Review. Vol.58. № 2. 1999. P.203–204.
61. Ibid. P.205.
62. Ibid. P.209.
63. *David-Fox M.* Mentalite or Cultural System: A Reply to Sheila Fitzpatrick //The Russian Review. Vol.58. № 2. 1999. P.211.
64. *Malia M.* The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. — N.-Y., 1994.
65. *Kotsonis Y.* The Ideology of Martin Malia //The Russian Review. Vol.58. № 1. 1999. P.124–130.
66. *Malia M.* A reply to Yanni Kotsonis //The Russian Review. Vol.58. № 4. 1999. P.676–677; Yanni Kotsonis Responds //Ibid. P.677–678.
67. *Kotsonis Y.* The Ideology of Martin Malia. P.124–125.
68. Ibid. P.125–126.
69. Ibid. P.126–127.
70. Ibid. P.128.
71. Ibid. P.129.
72. Ibid. P.130.
73. *Malia M.* A Reply to Yanni Kotsonis. P.676.
74. Ibid. P.677.
75. Yanni Kotsonis Responds. P.678.
76. The Russian Review. Vol.58. № 1. 1999. P.335.
77. Ibid. P.167–168.
78. The Russian Review. Vol.58. № 2. 1999. P.343.
79. Ibid. P.348–349.
80. From the Editor. Soviet Empire: Colonial Practices and Socialist Ideology //The Russian Review. Vol.59. № 2. 2000. P.VI.
81. Ibid. P. VII–VIII.
82. *Hirsch F.* Forward an Empire of Nations: Border-Making and Formation of Soviet National Identities //The Russian Review //Vol.59. № 2. 2000. P.226.
83. Н. Неймарк является автором книги по истории советской оккупационной зоны в Германии: *Naimark M. Norman.* The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. — Cambridge, MA., 1995.
84. *Naimark M. Norman.* Cold War Studies and New Archival Materials on Stalin //The Russian Review. Vol.61. № 1., 2002. P.1.
85. Ibid. P.2.
86. Ibid. P.3.
87. Ibid. P.15.
88. *Raleigh D.J.* Doing Soviet History: The Impact of the Archival Revolution //The Russian Review. Vol.61. № 1. 2002. P.17.
89. Ibid. P.18.
90. Ibid. P.20.
91. Ibid. P.21.
92. *Provincial Landscapes: Local Dimensions of Soviet Power, 1917–1953.* Ed. By Raleigh D.J. — Pittsburgh, 2001.
93. *Raleigh D.J.* Doing Soviet History. P.22.
94. Ibid. P.23.
95. Ibid. P.22–23.
96. Ibid. P.24.
97. *Viola L.* The Cold War in American Soviet Historiography and the End of the Soviet Union //The Russian Review. Vol.61. № 2. January 2002. P.25.
98. Ibid.
99. Ibid. P.25–26.
100. Среди них: «Critical Companion to the Russian Revolution, 1914–1921». Ed. By Acton E., Chernyaev V.Iu., Rosenberg W.G. — Bloomington, 1997.
101. Ibid. P.26.
102. Ibid.
103. Ibid.
104. Ibid. P.28–29.
105. Ibid. P.29.
106. Ibid. P.29.

107. Статья П. Холквиста «“Осведомление — это альфа и омега нашей работы”: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст» была напечатана в сентябре 1997 г. в «Journal of Modern History», а в русском переводе — в антологии «Американская русистика» (— Самара, 2001. С.45–93).
108. The Russian Review. V.61. № 1. January 2002. P.32–33.
109. Ibid. P.33.
110. Ibid.
111. Ibid. P.34.
112. *Kotkin St. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley University of California Press, 1995. Некоторые разделы этой работы опубликованы в «Американской Русистике» (— Самара, 2001. С.250–328); *Kotkin St. Armageddon Averted: The Soviet Collapse. 1970–2001*. — Oxford, 2001.
113. The Russian Review. Vol.61. № 2, January 2002. P.38.
114. Ibid. P.47.
115. Ibid. P.49.
116. Отечественная история. 1992. № 4. С.185.
117. *Malia M. To the Editor //The Russian Review*. V.61. № 3. 2002. P.477.
118. Ibid.
119. Ibid. P.478.
120. Ibid.
121. *E. L. (Eve Levin) From the Editor, Defending Editorial Independence //The Russian Review*. Vol.61. № 1. January 2002. P.VII.
122. Ibid. P.VII–VIII.
123. Ibid. P.VIII.
124. The Russian Review. Vol.61. № 2. April 2002. P.VII.
125. *Козн Ст. Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России*. Пер. с англ. И. Давидян. — М.: АИРО—XX, 2001. С.202.
126. *Согрин В. В. Стивен Козн и перипетии посткоммунистической России //Общественные науки и современность*. 2002. № 4. С.95, 99.
127. Там же. С.98.
128. *Козн Ст. Провал крестового похода... С.39*.
129. Там же. С.37, 38.
130. Там же. С.41.
131. Там же. С.56.
132. Там же. С.52.
133. Там же. С.52–53, 274 (сн.70)
134. Там же. С.157, 158.
135. Там же. С.63–64.
136. Там же. С.205.
137. Там же. С.10–11.
138. *Дедков Н. Беспокойный американец //Свободная мысль — XXI*. 2001. № 4. С.51.
139. *Малов В. Российские реформы и США: кто виноват и что делать? //Полис*. 2002, № 3. С.177.
140. *Пантин И. К. Демократический проект в современном мире //Полис*. 2002, № 1. С.181.
141. *Slavic Review*. 2002. Vol.61. № 3. P.641.
142. The Russian Review. 2002. April. P.335–336.
143. *Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американской историографии царской России //Американская русистика... императорский период*. С.7–14.
144. Там же. С.16.
145. *Барретт Т. М. Линии неопределённости: северокавказский «фронтир» России //Американская русистика... Императорский период*. С.163–194; *Рибер А. Дж. Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интеграции //Американская русистика... Советский период*. С.94–145.
146. *Холквист П. «Осведомление — это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст //Американская русистика... Советский период*. С.53.
147. Там же. С.68, 69.
148. Там же. С.74.

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ «ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ», ИЛИ ГЕРМАНСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (1)

Ольга НИКОНОВА

Немного институциональной истории

Согласно принятому в исторической науке Германии делению история России относится к научной области *Osteuropaforschung* (*Исследования Восточной Европы*). Идейное и институциональное становление этого направления можно отнести к рубежу XIX–XX вв. Именно в это время, когда в Европе началось бурное формирование национальных идеологий, вскоре разрушивших две старейшие империи Старого Света, в университетах Вены, Берлина, Бонна, Кенигсберга, Праги появилась плеяда ученых-гуманитариев восточноевропейского происхождения (2). Они впервые стали рассматривать восточноевропейские народы как самостоятельные субъекты истории. В 1902 и 1907 гг. новое идейное течение в исторической науке закрепило институционально — появились старейшие на сегодняшний день семинары по восточноевропейской истории в университетах Берлина и Вены. К началу Первой мировой войны исследователи истории Восточной Европы обзавелись собственным научным журналом «*Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte*» («Журнал по восточноевропейской истории»), а приверженцы российской истории в 1913 г. — своим исследовательским обществом «*Deutsche Gesellschaft zum Studium Russlands*» («Немецкое общество изучения России»). Великая война, крушение империй и социальные революции в Европе, как любые масштабные потрясения, на какое-то время затормозили развитие дисциплины. В то же время появление новых государств, в том числе и загадочной, но чуждой по духу Советской России, возбуждало интерес. Известное послевоенное сближение бывших противников — Германии и России — проявилось и в гуманитарной сфере: в 1928 г. в Берлине прошла совместная конференция немецких и советских историков. Намечившаяся тенденция погибла в зародыше в начале 1930-х гг. с приходом к власти национал-социалистов. Период Третьего Рейха ознаменовался практической ликвидацией научного изучения истории Восточной Европы как таковой и появлением двух политически ангажированных направлений — истории СССР и истории немцев в Восточ-

ной Европе, которые должны были обслуживать интересы нацистской Германии на Востоке. Возрождение дисциплины *Osteuropaforschung* фактически началось лишь в 1950-е гг.

Именно два последовавшие за Второй мировой войной десятилетия оцениваются немецкими историками как эпоха расцвета *Исследований Восточной Европы*. Инициатива федерального и земельных правительств, намеревавшихся организовать в университетах Германии фундаментальное изучение народов Восточной Европы, была вызвана к жизни «холодной войной» и естественным желанием «знать врага в лицо». Политическое решение неожиданно возымело побочный эффект. «Вопреки ожиданиям бюрократии, новые руководители кафедр и молодые сотрудники научно-исследовательских институтов не стали поддерживать исследовательскую традицию, концентрировавшуюся на изучении истории немцев на востоке, а скорее наоборот, постоянно старались, исходя из научных претензий своего предмета, рассматривать историю народов Восточной Европы как самостоятельную ценность...» (3). На 1950–1960-е гг. приходится быстрый институциональный рост направления *Исследования Восточной Европы*, обусловленный, несомненно, высоким общественным интересом и правительственным финансированием. В это время были созданы 17 кафедр и профессур в университетах Западной Германии (4) и целый ряд научно-исследовательских междисциплинарных институтов (5). В их числе — кафедры истории Восточной Европы в университетах Берлина, Марбурга, Тюбингена, Геттингена, Бонна, Эрланген-Нюрнберга и др., до сегодняшнего дня остающиеся важнейшими центрами развития дисциплины. В 1949 г. историков, занимающихся Восточной Европой, объединило обновленное «*Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde*» («Немецкое общество по изучению Восточной Европы»), издающее журнал «*Osteuropa*» (Восточная Европа).

По другую сторону «стены» история Восточной Европы также пережила период институционального становления, но на свой лад. До образования ГДР непосредственное участие в развитии дисциплины принимало политическое руководство советской военной администрации, которое влияло на все институциональные нововведения и подбор кадров. После 1949 г. процессы, происходившие в интересующей нас научной области, развивались под непосредственным контролем СЕПГ. В число ведущих научных учреждений, занимавшихся историей стран Восточной Европы, вошли университет им. Гумбольдта в Берлине и Институт истории Восточногерманской Академии наук, в составе которого была образована рабочая группа «История славянских народов» (1956 г.). В составе других восточногерманских университетов (в Грайфсвальде, Халле, Йене, Лейпциге и Росток) были созданы специальные институты, кафедры или отделения для изучения истории народов Восточной Европы. Часть университетов (в частности, университеты Восточного Берлина, Халле и Лейпцига) опирались при этом на довоенную традицию, существовавшую когда-то в их стенах. Другие же представляли собой подлинную *tabula rasa* в области *Osteuropaforschung* и начинали с нуля.

В ходе реформы высшей школы в начале 1950-х гг. произошла институциональная унификация: в большинстве восточногерманских университетов появились институты истории народов СССР, в ограниченном объеме продолжившие изучение проблем восточноевропейской и русской/советской истории. В 1960-е гг., после очередной реорганизации высшей школы, большинство вышеупомянутых институтов было ликвидировано. История Восточной Европы была понижена рангом — до отделений истории Восточной Европы в рамках исторических семинаров и научно-исследовательских групп в составе университетов (6). Достаточно скромно представленная институционально, ограниченная в плане научных контактов и тесно связанная с политикой, история Восточной Европы в ГДР с трудом могла конкурировать с одноимённой дисциплиной в Западной Германии. Экспертиза (Evaluation) восточногерманских университетов, последовавшая за объединением Германии, принесла с собой основательные структурные потрясения и кадровые перестановки (7). Многие университеты бывшей ГДР оказались в плачевном состоянии и как обучающие учреждения, и как исследовательские центры. Большинство из них, однако, сохранило историю Восточной Европы в учебном плане. Что же касается научной ипостаси восточноевропейской истории, она стала определяться, главным образом, западногерманскими историками, заменившими уволенных или ушедших на пенсию историков ГДР (8).

На сегодняшний день история Восточной Европы в том или ином виде представлена в большинстве университетов Германии. Её место в учебном плане и научное значение зависит чаще всего от финансирования (осуществляется федеральным или земельным правительствами) и профессиональных качеств профессора, возглавляющего институт, кафедру или отделение. Новые политические условия («бархатные» революции в Европе и распад СССР) и изменение исторической конъюнктуры (в первую очередь, «вызов» со стороны новых исторических направлений, таких как *linguistic turn* и культурная история) привели к расширению объекта исследования *Osteuropaforschung*. Всё большее количество университетов обращаются к истории стран Восточной Европы, ранее находившейся на втором плане по отношению к истории России и Советского Союза. И всё же из-за того, что процесс этаблирования того или иного научного направления требует, как правило, достаточно длительного времени, российская история продолжает и сегодня оставаться наиболее широко представленной областью знания. К числу наиболее важных учебных и научных центров, занимающихся проблемами российской истории сегодня, можно отнести, пожалуй, университеты Берлина (особенно университет им. Гумбольдта), Билефельда, Бонна, Бохума, Бремена, Гёттингена, Кёльна, Марбурга, Тюбингена и Эрланген-Нюрнберга. Каждый из университетов имеет собственную научную специализацию, связанную с темами, над которыми работают ведущие научные силы. В институте восточноевропейской истории и страноведения университета Тюбингена (директор Дитрих Байрау), например, среди актуальных научных проблем значатся история права, интеллектуальных профессий в России и СССР, изу-

чение истории национальных отношений в Советском Союзе, культурная история России в XVIII–XX вв., история техники и индустриализации в СССР и др (9). Отделение восточноевропейской истории исторического семинара университета Кёльна вплоть до 1981 г. (выхода на пенсию его руководителя Гюнтера Штёкля) особое внимание уделяло России петровской эпохи, а затем, под руководством Андреаса Каппелера (до 1997 г.) — истории национальных отношений и национальностей в царской России и СССР (10). Культурная история Восточной Европы и Советского Союза в 1930–1940-е гг. и история аграрных отношений в советской России и СССР — тематические приоритеты Карла Шлёгеля и Штефана Мерля, возглавляющих направления по восточноевропейской истории в университетах Виадрина (Франкфурт-на-Одере) и Билефельда. Каждый институт, кафедра или профессура по истории Восточной Европы, таким образом, помимо общих тем, имеет собственную «изюминку». Кроме университетских структур, история России и СССР представлена в целом ряде внеуниверситетских учреждений. К ним относятся, прежде всего, «Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V.» (Немецкое общество по изучению Восточной Европы), институт русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана в Бохуме (директор Карл Аймермахер), Центр исследований Восточной Европы при университете Бремена (руководитель Вольфганг Айхведе), Центральный институт изучения Центральной и Восточной Европы при Католическом университете Айхштетта-Ингольштадта (директор Николаус Лобковиц), Научный центр «Восток–Запад» в Касселе (руководитель Габриэла Горцка) и «свежеиспеченная» (основана в 2001 г.) «Исследовательская сеть по Восточной и Южной Европе» в Мюнхене. Большинство из вышеназванных институтов занимаются преимущественно проблемами современности — политическим, социокультурным и социально-экономическим развитием «постсоциалистических» стран, в том числе, и стран СНГ. Исключение составляют, пожалуй, лишь институт Лотмана и ZIMOS (Центральный институт изучения Центральной и Восточной Европы при Католическом университете Айхштетта-Ингольштадта), в которых представлена также новейшая история России. Специализацией института им. Ю.М. Лотмана (что отражено и в его названии) является русская и советская культура. В рамках этой обширной темы особое внимание уделяется проблемам культурных трансформаций — изменению культурных норм и ценностей, общественных структур, формированию идентичностей, восприятию «своего» и «чужого» (11). Историки ZIMOSa, возглавляемые Леонидом Люксом (заместитель директора института), концентрируются на изучении новейшей истории России, и в частности сталинизма. Среди актуальных исторических проектов института сегодня значатся темы «Поздний сталинизм и еврейский вопрос (1945–1953)» и «Культ Сталина» (12).

Дискуссия о судьбе *Osteuropaforschung*

К числу общих тенденций, характеризовавших развитие *Исследований Восточной Европы* на протяжении целого столетия, можно отнести традиционное доминирование русской/советской истории в исследованиях по истории Восточной Европы и чрезвычайную чувствительность дисциплины к волнам политической конъюнктуры. Эти тенденции, а также целый ряд других «болезней» научного направления оказались в центре внимания западногерманских историков на рубеже 1980–1990-х гг. Именно в это время политические потрясения в Восточной Европе и СССР спровоцировали серьезный кризис *Исследований Восточной Европы*. Направление *Osteuropaforschung* в Германии фактически оказалось перед экзистенциальным выбором: «Быть или не быть?». Чтобы обсудить причины плачевного состояния «больного» решено было организовать открытое обсуждение наболевших проблем на страницах исторической периодики (13). С инициативой выступил журнал «*Osteuropa*», на страницах которого и разыгрались подлинные «сражения» между историками. В центре внимания оказалось несколько «горячих» тем: об «особых» взаимоотношениях *Исследований Восточной Европы* и политики, о причинах низкого инновативного потенциала *Osteuropaforschung* в области теории, об отставании от американских «*Soviet Studies*», о профессиональных качествах историков Восточной Европы и путях профессионального роста и некоторые другие. В итоге дискуссия вышла за рамки собственно восточноевропейской истории, затронув проблемы исторической науки и исторического образования в Германии вообще. Немецкие ученые лишней раз продемонстрировали, что «ареал» кризисной зоны значительно шире — всё гуманитарное знание в целом, а *Исследования Восточной Европы* — лишь самый тяжёлый «больной» среди «недомогающих» гуманитарных дисциплин.

Для историков Восточной Европы ключевым оказался вопрос о возможности дальнейшего самостоятельного институционального существования их направления. С провокационным тезисом о необходимости ликвидировать особый статус *Osteuropaforschung* выступил историк Тюбингенского университета Йорг Баберовски (14). Повышенный политический интерес к изучению стран Восточной Европы и СССР, особенно в эпоху «холодной войны» — истинная подоплека обособленности *Osteuropaforschung* среди других исторических направлений — сыграл с дисциплиной, на его взгляд, плохую шутку. Помещённые в тепличные условия существования, специалисты по истории Восточной Европы и России / Советского Союза потеряли стимул к методологическим инновациям и творческому поиску. В качестве варианта преодоления создавшейся самоизоляции, Й. Баберовски и предложил своеобразную «шоковую терапию»: ликвидировать «восточноевропейские» подразделения в немецких университетах и интегрировать историков Восточной Европы и россиеведов в кафедры, разделенные по историческим эпохам или методам.

Реорганизация *Osteuropaforschung* могла и должна была бы, на его взгляд, послужить прецедентом для реформы исторического преподавания в школе и изменения системы квалификационных испытаний внутри исторического цеха (отмены докторской диссертации, в частности) (15). Рецепты Й. Баберовского оказались слишком радикальными для большинства историков-«восточноевропейцев». Аргументация его оппонентов позволяет увидеть оттенки самых различных эмоций — от негодования и боязни потерять «насиженные» места до серьёзного беспокойства за судьбу когорты существующих и будущих специалистов, которые, если не будет проведена реформа исторического образования, очень скоро окажутся невостребованными (16).

Время, прошедшее с тех пор как отзвучали последние реплики дискуссии, показало, что на уровне «большой политики» не нашлось сторонников крайних мер: дисциплина *Osteuropaforschung* фактически сохранила свой прежний институциональный статус. Сокращение рабочих мест, которое произошло в рамках направления, коснулось не только *Исследований Восточной Европы*, но и гуманитарных дисциплин в немецких университетах в целом. Ход событий подтвердил диагноз, поставленный метким заголовком профессора Д. Байрау в той же дискуссии: «приговоренные к смерти живут долго» (17).

Прекрасным «лекарством» для «больного» оказались оживлённые научные контакты с российскими исследователями. Последнее десятилетие XX в. стало важной вехой в истории интенсивного развития и укрепления международного сотрудничества. На перекрёстке взаимных интересов и усилий возникли прочные партнерские отношения между целым рядом университетов России и Германии: педагогическим университетом Хабаровска и университетом Аугсбурга, педагогическим университетом Ярославля и университетом Билефельда, Волгоградским государственным университетом и университетом города Кёльна. Особенно «плодовитым» на международные контакты оказался Рурский университет в Бохуме, который сотрудничает с РГГУ (Москва) и университетами Кемерово и Харькова (18). Для развития германского россиеведения очень важным оказалось «открытие» провинции, произошедшее благодаря относительной децентрализации российской исторической науки в последние годы. Немецкие исследователи получили доступ к региональным архивным собраниям. Локальные студии, особенно популярные среди молодого поколения немецких историков (которые, как правило, хорошо говорят по-русски и имеют опыт жизни в России), существенно расширяют представления западных ученых об исторических реалиях, позволяют увидеть историческую специфику периферии (19). Количество таких исследований увеличивается с каждым годом.

Челябинские историки, организовавшие в 2000–2001 гг. российско-германские конференции «Человек и война: Война как явление культуры» и «Человек в доиндустриальных и индустриальных обществах» (аспирантская), были приятно удивлены как «географией» (от Украины до Дальнего Востока), так и фундированностью представленных немецкими историками докладов. Молодые исследователи из Германии продемонстрировали, что они отлично

знакомы с региональными архивами России, стран СНГ и балтийских государств (20).

К главным направлениям сотрудничества ученых двух стран относятся совместные исследовательские и издательские проекты, международные конференции и образовательные программы для докторантов и постдокторантов из России, осуществляемые, главным образом, за счет средств различных грантовых организаций Германии. При участии российских историков в 1990-е гг. были реализованы такие большие международные исследовательские проекты как «Образованные слои в условиях тоталитарных обществ. Сравнение национал-социалистической Германии и России в эпоху Сталина» (руководитель проекта Д. Байрау, финансовая поддержка фонда Фольксваген) (21), «Культура сталинизма», «Война на уничтожение на Востоке. Преступления вермахта в Советском Союзе» (организатор — Г. Горцка и Научный Центр Восток–Запад, Кассель) (22), «Молодёжь и насилие в Советском Союзе 1917–1941» (руководитель Шт. Плаггенборг, финансовая поддержка фонда Фольксваген) (23) и некоторые другие. Среди избранных издательских программ можно назвать публикацию документальных материалов по истории советской оккупационной зоны в Германии, предпринятое Берндом Бонвечем (Рурский университет), Геннадием Бордюговым (АИРО-XX, Москва) и Норманом Неймарком (Стэнфордский университет, Калифорния) (24), а также интересный проект, осуществлённый М. Хайнеманном. В 1992 г. он собрал на международную конференцию в Берлине советских функционеров СВАГ, определявших в своё время образовательную и научную политику в оккупационной зоне. Материалы, собранные в процессе интервьюирования участников и очевидцев событий, были положены немецким исследователем в основу монографии, увидевшей свет в 2000 г. (25). По-настоящему масштабным можно назвать задуманное и осуществляемое К. Аймермахером издание десятитомного документального собрания по истории русской и советской культуры (26). Благодаря финансовой поддержке грантодателей выходит, как правило, монографическая и учебная литература по истории России/СССР.

Несомненно, что самой оживлённой областью международного сотрудничества являются конференции, семинары и другие научные форумы. Чаще всего немецкие и российские историки встречаются на конференциях, посвящённых русско-немецким взаимоотношениям и истории немцев в России и СССР. Самыми престижными до сегодняшнего дня, пожалуй, остаются мероприятия Вуппертальского проекта Льва Копелева (27). Новый этап проекта стартовал в 1997 г., объединив 160 учёных из обеих стран. Вторым «домом» копелевского детища стал институт им. Ю.М. Лотмана в Бохуме (28). В нашем отечестве ставшие уже традиционными «Копелевские чтения» проходят в Липецком государственном педагогическом университете благодаря усилиям, прежде всего, профессора А.И. Борозняка. История российских немцев нашла своих ревностных исследователей в университетах Гёттингена, Саратова, Новосибирска, Санкт-Петербурга, представители исторической мысли которых регулярно встречаются на научных форумах в различных городах

Германии и России (29). Российско-немецкая кооперация, бесспорно, является обоюдовыгодным предприятием. Отечественные исследователи, долгое время бродившие в методологической «пустыне», пользуются возможностью погрузиться в новейшие теоретические разработки западных историков. А оторванные когда-то от документальных источников немецкие учёные навёрстывают упущенное в российских архивах.

От истории социальной к истории культурной

Меняя внутригерманский угол зрения на систему координат отечественного исследователя, можно сказать, что для последнего в дискуссии наиболее интересны анализ и прогнозы состояния германского россиеведения. Большинство немецких специалистов по истории России согласны с тем, что распад СССР оказался событием, заставившим переоценить все накопленное ранее знание. Подобно тому как перспективы изучения царской империи определялись под влиянием представлений о её гибели в «пламени» революции, так и события 1991 г. изменили историографический контекст советского периода (30). Надежды, связанные с открытием архивов и появлением огромного пласта ранее недоступных исторических документов, не оправдали себя. Архивные «открытия» сами по себе, как оказалось, — все тот же «сырой материал», эпистемологическая сила которого проявляется лишь в соединении с интерпретирующей этот материал концепцией. «Лишь умственная работа, позволяющая “встроить” написанное в исторический контекст, даёт ответ на вопрос что было», — напомнил известный исследователь русской и советской истории Дитрих Гайер в своём выступлении перед членами Гейдельбергской Академии наук в октябре 1995 г. (31). Не слишком результативной оказалась и попытка использовать в качестве объяснительной схемы «старую добрую» теорию модернизации (32). Импульс исходил, главным образом, от политологов и социологов, пытавшихся интерпретировать происходившие в странах Восточной Европы и бывшего СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг. процессы с помощью инварианта концепции модернизации — «трансформационной теории». Трудная адаптация (а иногда и отторжение) вестернизированных образцов рыночной экономики и гражданского общества на восточноевропейской и постсоветской почве, упорное сопротивление «структур большой длительности» — социокультурных стереотипов и ментальных установок — заставили усомниться в эффективности модернизационных подходов. Постепенно менялся и познавательный «инструментарий» историка, всё более отодвигая на второй план всеобъемлющие концепции и схемы социальных наук, типологизировавшие и упрощавшие научные представления о сложных общественных явлениях. Культурноисторические подходы, быстро эмансипировавшиеся от своих прародителей — антропологии и этнологии — завоевывали популярность как новый эпистемологический метод в исторической науке (33).

Как же выглядит сегодня россиеведение в Германии с точки зрения его теоретического и методологического арсенала? Беглый взгляд на современные тенденции позволяет заключить, что оно достаточно эклектично в методологическом плане. Под «обаянием» культурной истории, во власти которой с конца 1970-х гг. находится американское историописание, пребывает, главным образом, поколение молодых германских россиеведов. Анализ публикаций по направлению *Osteuropaforschung* (34) в исторической периодике Германии, проведённый К. Гествой, показал, что среди них доминируют работы по истории отношений (35), социальной и политической истории (26%, 24% и 24% соответственно). На долю же культурной истории приходится лишь 3% публикаций (36). Выводы, сделанные немецким историком на основе анализа научных статей — оперативного способа презентации научных идей, концепций и эмпирического материала — подтверждаются и при анализе более долговременных исследовательских проектов. Изучение проблематики кандидатских и докторских диссертаций по российской истории показало, что в 1996, 1997 и 2000 гг. политическая история и история отношений продолжали оставаться наиболее популярными историческими направлениями. Как изменялось соотношение между этими и некоторыми другими направлениями на протяжении трех лет наглядно демонстрируют следующие диаграммы (37). Вместе с тем диаграммы позволяют увидеть и наметившуюся тенденцию на увеличение доли исследований по культурной истории, количество работ по которой выросло с 1996 по 2000 г. больше чем в два раза. Политическая история и история отношений, напротив, постепенно теряют своих приверженцев, хотя и не столь стремительно, как растет армия сторонников культурно-исторических подходов.

Необходимо оговориться также, что отмеченная динамика характеризует процессы, происходящие, главным образом, среди молодого поколения историков Восточной Европы и России, так как большую часть базы данных составляют кандидатские диссертации. Германских россиеведов, таким образом, в методологическом отношении нельзя причислить к авангарду исторической братии. Этот факт лишний раз наглядно демонстрирует силу традиции: соотношение культурной и «других» историй становится более понятным, если вспомнить, какое мощное развитие получила в Германии социальная история, с 1970-х гг. доминировавшая в исторических исследованиях (38).

Проверенные концепции прошлых лет пока не торопятся сдавать позиции в германском россиеведении. Особенно сложно происходит «расставание» с теорией модернизации, в контексте которой, казалось бы, так гармонично поддавалась интерпретации история поздней Российской империи и советской России / СССР. Попытки отыскать признаки западноевропейского «современного общества» в российской/ советской истории в германской исторической науке не прекращаются. «Ахиллесовой пятой» теории модернизации, что давно признано многими немецкими историками-«восточноевропейцами», но с трудом укладывается в голове специалистов по Германии и другим западным странам, является её «европоцентризм». Крушение «со-

ветской империи» и наглядная демонстрация культурного плюрализма на протяжении 1990-х гг. заставляют историков, по мнению Й. Баберовского, заново переосмыслить понятие «модерна» («современности»). «Современность определяется опытом индивидуума и его специфическим воспоминанием о прошлом, — замечает он. — То, что не укладывается в рамки этого опыта, не может служить масштабом прогресса. Перенос разработанной на европейском примере модели на территории бывшего Советского Союза нередко завершался простым признанием отсталости России и Советского Союза по сравнению с Европой. Таким образом историки расширяли свои представления о предполагаемых недостатках страны, но ничего не узнавали о её достоинствах. То, что историки считали отсталым, часто проявляло себя в рамках повседневного опыта как современное, так как соответствовало возможностям исторического контекста» (39). Характеризуя познавательные горизонты, открываемые культурно-историческими теориями, немецкий историк подчёркивает далее: «Современная культурная и повседневная история возвратила индивидуума в историю и освободила его из “прокрустова ложа” социально-исторической объективности. Люди — создания своей среды, но они сами организуют мир, в котором они живут. Обычно они объективируют и подчиняются лишь тем смысловым связям, которые позволяют им интегрироваться в повседневность» (40).

Большие надежды в современном германском россиеведении связываются с появлением «нового» поколения историков, для которых национальные границы и национальные особенности историописания больше не имеют большого значения. Речь идёт о таком любопытном явлении, как историки немецкого происхождения, чья социализация и профессиональная карьера тесно связаны с Англией и Америкой (и которые, как правило, уже пишут на английском языке) (41). Последнее явление ещё не стало повсеместным, но тем не менее символизирует возможную в будущем «смену вех» в «персональной» истории германских россиеведов. Уже сегодня историк России (или Восточной Европы), как правило, не связан с ней происхождением, а через несколько десятков лет, возможно, он станет космополитом, который хорошо говорит на языке изучаемой страны (что редкость для старшего поколения), учился или стажировался в одном из восточноевропейских или русских университетов и успешно взбирается по карьерной лестнице в Америке.

Концепции прошлых лет перед «судом» немецких историков

Самой популярной темой истории России XX века (42) остаётся по-прежнему сталинизм в различных его ипостасях. Если вновь обратиться к базе данных по диссертациям, можно увидеть, что в 1996–1997 гг. примерно половина всех работ была посвящена периоду 1917–1953 гг., а в 2000 г. — около 42%.

Столь долго сохраняющийся интерес к данной проблеме, по словам профессора Д. Байрау, можно объяснить, вероятно, появлением массы источников, ранее недоступных западным (а зачастую и отечественным) исследователям. Другим аргументом немецкого исследователя является принадлежность сталинизма к определяющему, масштабному по своим последствиям опыту XX в. — опыту тоталитарного режима (43). Именно в данном проблемном «поле» больше всего ощущается влияние культурной истории, так как большинство германских русистов надеются с её помощью сделать то, что не удалось «тоталитарной теории» и социальной истории — связать «маленького человека», исторического актера, и систему.

Во второй половине 1990-х гг. ряд немецких исследователей (Йорг Бабе-ровски, Мартин Хильдермайер, Штефан Плаггенборг), занимающихся ранним советским периодом, попытались подвести некоторые итоги концептуального осмысления сталинизма в западной историографии за прошедшие десятилетия и обозначить новые направления и исследовательские подходы (44). Эти историографические опусы интересны во многих отношениях. Главное, конечно, — обзор идей и концепций, позволяющий понять развитие исторических представлений о сталинизме на фоне изменяющихся методологии и исследовательского инструментария западной исторической науки. Одновременно, эти «тексты» — прекрасные образцы немецкой историографической традиции, как правило, скрупулезно изучающей достижения предшественников и основанной на серьезной теоретической рефлексии. Кроме того, в них часто можно найти и любопытный «скрытый» материал, читающийся «между строк» и рассказывающий, например, о научных взаимоотношениях внутри «когорты» коллег из разных стран, изучающих один и тот же исторический феномен.

Нельзя не обратить внимание на общее место всех историографических размышлений — характеристику понятия «сталинизм». Немецкие историки подчеркнули тот факт, что «сталинизм» — не дефиниция, возникшая «внутри» исторической эпохи, а историографическая конструкция, усвоенная большинством западных историков, хотя, как метко подметил Шт. Плаггенборг (Марбург), «нет более непонятого “-изма” как этот» (45). Историческая интерпретация сталинизма коррелировалась под влиянием инновативных импульсов примерно каждые 15–20 лет. В первое послевоенное десятилетие сложилась *теория тоталитаризма*, выросшая из попыток проанализировать феномен национал-социализма и трансформировавшаяся в теоретическую концепцию, объяснявшую принципы существования современных диктатур, главным образом, тоталитарных режимов Гитлера и Сталина (46). Атака на *теорию тоталитаризма* последовала в 1970-е гг. из «лагеря» приверженцев социальной истории (критики тоталитарной теории вошли в историографию как «ревизионисты»), справедливо указавших на слабые места «тоталитаристов»: недооценку специфики национал-социалистического и сталинистского режимов, непонимание различий между «ленинизмом» и «сталинизмом», преувеличение всесильности и «тотальности» партийно-государственного

аппарата и пассивности общества (47). Одним из главных достижений «ревизионистов» было утверждение идеи о том, что сталинизм был невозможен без поддержки его «снизу», со стороны социальных слоев и групп, заинтересованных в «системе». Общество, таким образом, перестало играть роль пассивного «объекта» тоталитарного господства, а выступило в качестве «создателя» сталинской диктатуры.

Вторая половина 1980-х и начало 1990-х гг. принесли с собой, по выражению М. Хильдермайера (Гёттинген), «ревизию ревизионистов» сторонниками культурно-исторических подходов (в первую очередь повседневной истории и исторической антропологии), усомнившихся в объяснительной силе анализа больших социальных структур и процессов и обратившихся к изучению пронизанных символами и смыслами индивидуальных жизненных миров-«микрокосмов», исследованию менталитета, проблеме идентификации и идентичности исторических субъектов (48). Культурно-исторический «поворот» в изучении сталинизма вызвал целую гамму эмоций, оценок и надежд у немецких исследователей. Хильдермайер и Плаггенборг склонны видеть в нём отчасти ренессанс тоталитарной теории, в первую очередь в том, что касается возрождения интереса к роли идеологии, насилия, форм и способов господства, характерных для сталинского периода. Причём, Хильдермайеру кажется весьма многообещающей когда-то выдвинутая сторонниками cultural approach (см. прим. 47) идея о роли традиции в формировании сталинских способов организации власти, связывающей Россию дореволюционную и Советский Союз довоенного периода. Структурные признаки и насильственный политический режим сталинизма были замешаны, по мысли Хильдермайера, из представлений большевиков о целях и способах их реализации, а также традиции и «сопротивления» подвергнутого революционной «перековке» общества. «Возможно, здесь мы найдем ключ к объяснению многих, как прежде бросающихся в глаза общих черт, прежде всего касающихся функции идеологии, а также способа и средств организации власти, когда-то сформулированных в духе тоталитарной теории и недавно открытых вновь из другой перспективы. Если на первый план выдвигаются опыт и ментальная “фильтрация” действительности, это не изменяет соотношения вещей, а одновременно расширяет его за счёт упущенного в последние десятилетия измерения» (49). Шт. Плаггенборг связывает с культурной историей надежды на появление теории, способной объяснить сущность сталинизма. Единственной теорией, пытавшейся это сделать, кстати, Плаггенборг считает концепцию «тоталитаризма». Успехи социальной истории в деле концептуального осмысления сталинской эпохи оцениваются им с изрядной долей скепсиса: «Всё, чего удалось достичь социальной истории в “теории”, — то, что она весьма убедительно сочла неадекватной категорию класса и пытается заменить её понятием идентичности. Это, в целом и общем, несколько бедно для теоретической абстракции, а причина скорее всего в том, что социальные историки — как ни парадоксально это звучит — оказались теоретически “слепыми” и в конечном итоге просто “делали” социальную историю» (50).

Культурно-исторически ориентированные историки, наоборот, приветствуются немецким исследователем за то, что, несмотря на молодость своего направления, они открыто демонстрируют свой методологический инструментарий. Говоря о специфике культурно-исторического анализа, Плаггенборг использует термин «субъективного подхода» в историографии сталинизма, понимая под этим двойную «конструктивную» работу: собственно исторического субъекта, конструирующего действительность и придающего ей смысл в соответствии с современным ему общественным контекстом (что особенно интенсивно происходило в сталинский период!), и историка, который эту конструкцию «раскрывает» и интерпретирует, также не будучи свободным от контекста эпохи, в которой он живёт (51). Что же касается целостной концепции, «объясняющей» сталинизм и встраивающей его в структуры большой длительности — в историю досталинскую и послесталинскую — то её появления, видимо, нужно ожидать в будущем. Речь идёт, в первую очередь, о написании истории сталинизма как *социальной практики* (52). Пока же немецким исследователем был поставлен лишь целый ряд вопросов, ответ на которые должен приблизить учёных к желанному пониманию изучаемого феномена.

Плаггенборг явно ждёт творческого импульса от немецких исследователей, считая американскую советологию парализованной долгими спорами между «тоталитаристами» и «ревизионистами», а социальную историю по-американски — концептуально бесплодной. Захватившая многих историков идея о «сталинизме как цивилизации», родившаяся на свет вместе с книгой американского исследователя Ст. Коткина (53), имеет, на его взгляд, слишком много «слабых» мест (54). Достаточно парадоксальным, после оптимистических высказываний по поводу культурной истории, выглядит вывод автора, назвавшего на настоящий момент единственной «завершённой с эвристической точки зрения концепцией» идею о *сталинизме как о революции сверху* Р. Такера (55).

В отличие от своего критично настроенного коллеги Баберовски уверен, что важнейшие инновации в изучении сталинизма исходили и продолжают исходить не от немецкого россиеведения, а от американской историографии (56), которая (как это неоднократно высказывалось историком в ходе дискуссии о судьбе *Osteuropaforschung*) намного более креативна нежели немецкая (57). Самого немецкого исследователя, тем не менее, можно уверенно отнести к немногочисленной когорте наиболее творческих специалистов по сталинизму, в том числе и в теоретическом плане. Подводя историографический «баланс» в изучении сталинского периода, Баберовски, на основе исследований 1980-х — начала 1990-х гг., выстроил интерпретационную модель сталинского режима, указав слабые и сильные места этой модели и предложив собственные концептуальные решения той или иной проблемы. Отмечая тот факт, что последнее слово в обсуждении сущностного содержания сталинизма ещё не сказано, немецкий исследователь решается на собственный вариант дефиниции данного исторического феномена: «Сталинизм...

это форма персонифицированного, террористического господства с претензией на тотальность, которое возникло в условиях социально-экономической трансформации, этнокультурных конфликтов, институциональной неразвитости и общественной мобилизации» (58). Интересен и способ решения проблемы предпосылок сталинизма и возможности альтернативных вариантов развития советского общества в конце 1920-х гг., предложенный автором. В современной немецкой (и западной вообще) историографии доминирует убежденность в отсутствии альтернатив сталинизму. Этой же позиции придерживается и Баберовски. Сомнительным, на его взгляд, является лишь тезис о сознательном выборе пути большевистским руководством. В условиях господства идеологии, проповедовавшей классовую непримиримость, институционального вакуума, противоречий и несогласованности локальных интересов и интенций центрального правительства, дезориентированности и зачастую беспомощности партийного руководства перед лицом целого комплекса кризисных явлений и конфликтов, власть все чаще спонтанно прибегала к насильственным методам решения проблем. «Постоянные, часто лишь импровизированные коррективы неэффективной административной и экономической политики при помощи чрезвычайных методов вмешательства привели в конечном итоге к возрастающей радикализации внутренней политики» (59).

В поисках собственной парадигмы: сталинизм в контексте культурной истории

На большом пути от социальной к культурной истории каждый немецкий исследователь пытается отыскать собственную концептуальную «тропу». Анализируя какой-либо аспект изучаемой эпохи, они пытаются через него найти «ключ» к пониманию сталинизма вообще. Так Баберовски анализирует сталинизм через призму империального феномена (60), Плаггенборг «пишет» сталинизм как историю насилия, ставшего основным поведенческим кодом советских людей в период с 1928 по 1953 гг. (61); Б. Эннкер концентрируется на харизматической фигуре Сталина, в которой слились воедино «народ и вождь» и чей культ стал господствующим политическим стереотипом эпохи (62).

Связующим звеном многих концепций стала проблема насилия в сталинскую эпоху. Немецкая историография переживает своеобразный ренессанс идеи о террористическом характере сталинского режима, высказанной когда-то основоположниками теории «тоталитаризма». Немалую роль в этом сыграли новейшие публикации в России архивных документов, представляющие масштабы и методы террора в новом свете. Некоторые немецкие исследователи приняли непосредственное участие в обсуждении количественных, демографических и организационных аспектов массовых репрессий в СССР (63). Изучению проблемы «сталинизм и насилие» в Германии способствует и

определённая политическая конъюнктура: рост опасности терроризма, массовые примеры насилия в разрешении политических и национальных конфликтов в современном мире определённо привлекают внимание различных грантовых организаций к подобным темам (64).

В вопросе о терроре между немецкоязычной и англоамериканской историографиями пролегает очевидный водораздел. Для целого ряда представителей последней характерно некоторое затушевывание роли и значения насилия при сталинизме, так что, по выражению Плаггенборга, «насильственная смерть в эпоху сталинизма занимает значительно меньше места... нежели вывоз мусора в городе» (65). Значение насилия в истории сталинизма, между тем, трудно переоценить. Оно принадлежит, по мнению немецкого исследователя, к важнейшему опыту индивидуума сталинской эпохи, является частью опыта жизни в условиях диктатуры. Этот опыт, считает Плаггенборг, более аутентичен нежели экономические показатели или дискуссии членов Политбюро. В понятии насилия исследователь видит тот универсальный аспект сталинизма, который может связать в целостную картину политически и социальноориентированные подходы и историю ментальностей. Насилие совершенно справедливо отнесено немецким ученым к более широкой категории, чем террор, источник которого необходимо искать в *целенаправленной* государственной политике. Насилие же является инструментом террора и определяется историческим и культурным контекстом (66). Интересно, что Плаггенборг видит характерную черту сталинизма именно в применении *физического* насилия: «Кажется, что насилие, направленное против человеческого тела являет собой характеристику сталинизма: расстрелы, принудительные работы во всех вариациях и депортации со всеми телесно воспринимаемыми последствиями — всё это формы физического насилия» (67). Основополагающие размышления немецкого историка строятся вокруг взаимосвязанных друг с другом в контексте сталинизма пар: насилие и право, насилие и дисциплина, насилие и власть, насилие и идеология. Насилие в период сталинизма является неотъемлемой частью правовой системы СССР — существует «на законных основаниях», служит инструментом дисциплинирования общества ради формирования «нового человека», гармонично вписывающегося в новые производственные отношения. Насилие деформирует власть, поглощая её и проявляясь во всех её манифестациях. И, наконец, насилие состоит в диалектической связи с идеологией. С одной стороны, оно присутствует в марксизме сталинской интерпретации в виде воинствующей риторики, а с другой — в качестве императивно выраженного «руководства к действию» по отношению ко всем препятствиям (в том числе и человеческим), которые стоят на пути к «запланированному» будущему. Идеология же со своей стороны выполняет функцию «оправдания» любого революционно обоснованного насильственного акта. Четыре рассмотренные Плаггенборгом пары результировали в пяти достаточно категоричных формулах, которые трактуют сталинизм как разрешающий и форсирующий насилие код человеческой деятельности (1); как режим, избравший насилие в качестве политической практики, обеспечи-

вающей выживание революционного государства (2); как насильственный путь модернизации (3); как инвариант современного общества, стержнем которого является насилие (4); как культуру, в которой насилие является доминантной, универсальной характеристикой (5) (68).

Интерпретация сталинизма «от Плаггенборга», несомненно, чревата интересными эвристическими находками. Очевидно, что важен сам факт превращения насилия в объект изучения. Достаточно плодотворной кажется также идея трактовки насилия как исторически обусловленного опыта и попытка «описать» сталинский режим при помощи этой парадигмы. Вместе с тем концепция «сталинизма как истории насилия» оставляет много открытых вопросов, на которые автор ответа не дает: о причинах и истоках насилия; о многообразии форм насилия, сведенных автором к насилию физическому; о соотношении насилия и других, «гуманных» поведенческих кодов, определявших «мирные», повседневные аспекты истории сталинизма — образование, брак, семейную жизнь, детство — и не только с точки зрения «выживания». Последний вопрос, пожалуй, был и остается самым главным для понимания той эпохи. И среди немецких исследователей есть те, кто пытается решить эти сложные исторические «задачи» (69).

Одним из серьёзных дефицитов немецкой историографии сталинизма является концентрация на истории европейской и «русскоговорящей» части СССР, что существенно ограничивает представления ученых об исторических реалиях периода. Историографическая ситуация начала меняться с момента выхода в свет в 1992 г. монографии Андреаса Каппелера «Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall» (70). С этого момента в истории царской империи и СССР появились украинцы и литовцы, армяне и грузины, казахи и туркмены. Написанное в жанре политической истории, исследование Каппелера концентрировалось, главным образом, на политике государственной власти в национальном вопросе и истории национальных движений. Со временем достигнутый уровень знаний стал восприниматься как недостаточный. Поворот к культурной истории потребовал от историков взглянуть на события в нерусских регионах Советского Союза с более «близкого расстояния» или даже «изнутри», понять, как под влиянием национальной политики государства в них изменялись повседневная жизнь, традиции, складывались новые культурные стереотипы, формировались способы сопротивления и приспособления к власти. В немецкой историографии к ярким представителям данной исследовательской парадигмы можно смело отнести Баберовского. Адекватная национальная история возможна, на взгляд исследователя, если признать, что СССР являлся империей (71). Интерпретационная модель Баберовского строится вокруг нескольких ключевых понятий (проблем): *центр и периферия, отсталость и современность, культурный империализм и цивилизирующая миссия*. Центральное место в ней получил и феномен сталинского террора. Внимание исследователя сконцентрировано, главным образом, на исламских регионах СССР, и в частности на Азербайджане. В концептуальном плане противостояние центра и периферии Баберовски

понимает значительно шире — как противостояние различных культур: культуры европейской, современной, к представителям которой себя причисляла большевистская элита, и культуры «отсталой», носителями которой оказывались не только нерусские народы, но и русское крестьянство. Категории «современности» и «отсталости» предстают в концепции Баберовского как относительные. То, что в контексте одной культуры воспринималось как «современное», в контексте других культур отвергалось как «чужое», не вписывавшееся в рамки существовавших культурных стереотипов, религиозных представлений и этических норм, поведенческих кодов и способов приспособления / сопротивления окружающей действительности. Отчуждение двух миров — большевистского центра и периферии — становилось, таким образом, взаимным и многократно усиливалось модернизаторскими устремлениями большевиков. «Чужое, носителями которого были “народы Востока”, большевики воспринимали как угрозу и препятствие на пути к новым берегам. Оно оставалось непонятным, так как различия в способах человеческого понимания, вариативность возможностей придания смысла жизни отвергались а priori. В соответствии с этим для большевиков не существовало других исторически сложившихся способов приспособления к внешнему миру кроме тех, которые “одобренны к использованию” властью... В этом смысле большевики были последователями культурной установки царской бюрократии, выдававшей за современное и цивилизованное то, что они считали христианским и европейским» (72). Приведённая выше цитата включает в себе один из ключевых моментов концепции Баберовского — идею преемственности в культурной политике власти, связывающую царскую империю и большевистский Советский Союз. Этот феномен немецкий исследователь назвал *советским культурным империализмом* (73). Различия же между двумя историческими эпохами и политическими режимами лежат, на взгляд автора, в плоскости методов осуществления своих целей. Столкнувшись с сопротивлением периферии, большевики пошли по пути радикализации политики, апогеем которой стал террор 1930-х гг. Многонациональный состав СССР, имперская политика большевиков и террористический характер сталинского режима, следовательно, оказываются логически связанными в концепции Баберовского: «Если только сталинизм понимается как террористический ответ на сопротивление традиционных форм жизни, взгляд на периферию становится обязательным условием. Преодоление сопротивления периферии легитимировало большевистский культ насилия и расчищало дорогу в пронизанную террором повседневность» (74). Наступление на традиции в нерусских регионах вылилось в латинизацию письменности мусульманских народов, принуждение кочевых народов к оседлому образу жизни, попытки эмансипации «восточных» женщин. Весьма любопытное место в интерпретационной картине занимает и идеология. Она выступает в качестве своеобразного контекста, в котором традиционные социальные роли и культурные стереотипы приобретают новый смысл, политика и позиция власти рационализируются в понятных большевикам категориях. «Манихейская картина мира стоящих

у власти априорно предполагала наличие классовых противоречий, которых в действительности на советском Востоке не существовало. Поэтому на территориях, не имевших как такового пролетариата, мусульманские женщины оказались единственным объектом эмансипации. Они были суррогатом пролетариата» (75).

Местное население на территориях Закавказья и Средней Азии отвечало на экспансию центра традиционными формами сопротивления — организацией вооруженных «банд», громивших колхозы и убивавших большевистских «выдвиженцев», самоубийствами и убийствами снявших чадру женщин, бегством в сопредельные регионы и страны, и... сохранением традиционных структур и отношений (кланов, родовых объединений, традиционного права). Исламский мир продолжал оставаться «закрытым» для модернизаторской политики большевистского правительства. «Режим терпел поражение в своих усилиях разрушить традиционный мир, — резюмирует Баберовский, — так как мерил чужое масштабами западного современного общества. Поэтому он оставался непонятым» (76). Парадигма немецкого исследователя позволяет по-новому взглянуть на многие, казалось бы неплохо исследованные в политической истории проблемы: динамику национальной политики большевиков, гибель национальной элиты в годы террора, причины долгого сопротивления в одних национальных регионах и быстрой «сдачи позиций» в других.

Одной из важнейших проблем историографии сталинизма, как в России, так и на Западе, остается интерпретация роли самого И. В. Сталина. Несмотря на возросшую популярность этой темы, появление ранее неизвестных и недоступных документальных материалов, повлекших за собой публикацию в 1990-е гг. целой серии исследований западных историков, фигура Сталина до сих пор остается «загадочной». Немецкая историография в разработке «персональной» темы Сталина значительно отстает от англоамериканской. Тем не менее и в Германии за последние годы были опубликованы работы, представляющие интерес и как «историографические факты», и как любопытные концептуальные решения. Среди них можно найти и классическую событийную историю «жизни и деятельности», тщательно выписанную в рамках биографического подхода в монографии Ханса-Дитриха Лёве (77), и добротное социальноисторическое исследование культа Сталина Райнхарда Лёманна (78), интерпретирующее этот феномен как «продукт» социальной основы тоталитарного режима.

Вписать фигуру Сталина в контекст культурной истории попытался Б. Эннкер, на исследованиях которого я позволю себе немного задержаться. Фигура советского харизматического лидера находится в центре внимания Эннкера уже довольно давно — его первые работы по этой проблеме были посвящены культу Ленина. За ними последовал ряд статей, свидетельствующих о распространении интереса историка на период сталинизма (79). Исследования культа обоих «вождей» связаны между собой концептуально. Уже в первой своей работе Эннкер попытался опровергнуть некоторые устоявшиеся историографические положения, не отвечающие, на его взгляд, историческим

реалиям времени. Речь идёт, в частности, о причинах и предпосылках возникновения культа. Значительное место в интерпретационных моделях предшественников Эннкера находили тезисы о религиозной подоплеке культа, роли общественного мнения (миф о тысячах писем провинциальных рабочих), преемственности с церемониальной культурой и ритуалами царской империи. В работах Эннкера мы найдем скорее «секуляризованную» парадигму, ключевым понятием которой является *политическая культура*. Парарелигиозные формы культа, по мнению историка, служили вполне прагматичным политическим целям большевиков и отвечали той авторитарной модели политической культуры, которая распространялась и на саму партию. Ближайшие соратники Ленина сознательно формировали новую мифологическую традицию, в которой Ленин фигурировал как *инкарнация* всего рабочего класса. Эта концептуальная линия продолжает развиваться и в новом диссертационном проекте, посвященном периоду сталинизма. Всё тот же основополагающий вопрос о диалектике взаимоотношений власти и общества немецкий исследователь рассматривает через призму культа Сталина. Потребность в легитимации своей власти — так считает историк — не оставляла большевиков на протяжении всего предвоенного периода. Голод, коллективизация, чистки и террор каждый раз усиливали конфликтогенность общества и дестабилизировали власть. Культ Сталина в интерпретации Эннкера не является статичным, напротив, это подвижный феномен, обладающий внутренней и внешней динамикой. И если последняя была непосредственно связана с текущими политическими событиями, то внутренняя в значительной степени определялась ближайшим окружением Сталина, той элитарной политической группой, которая и формировала политическую, идеологическую и культурную атрибутику культа. Развитие культа определялось «ментальной конституцией и господствовавшим среди партийного руководства дискурсом» (80). Здесь немецкий исследователь явно расходится с традицией англоязычной историографии, «укореняющей» культ в исторической традиции или связывающей его с менталитетом социальных групп, поддерживавших режим (81). Тезис об антиномичности советской и дореволюционной традиции Эннкер пытается обосновать с помощью сформулированного Ю. Кокой (на примере ГДР) понятия общества, «пронизанного насквозь властными отношениями» («durchherrschte Gesellschaft»), в котором (в отличие от буржуазного) не социальный базис определяет политические процессы, а наоборот (82). Культ Ленина, по мнению историка, был своеобразной «подготовительной школой сталинского культа личности», в ходе которой были выработаны господствовавшие культурные образцы — «вождь и его ученики», «вождь и партия», «вождь и народ». Само понятие «вождь», который в качестве инкарнации масс «творит историю», превратилось в константу большевистской культуры с времен культа Ленина. Автор внимательно прослеживает формирование культовых ритуалов на партийных форумах, визуальные и текстовые способы презентации культа в средствах массовой информации, отражение культа в языковой практике. Интересным подтверждением более ранних наблюде-

ний за Сталином как политиком, стремившимся в наиболее тяжелых ситуациях избежать ответственности, является анализ номинативной конъюнктуры культа, её сдержанности или эмоциональной теплоты, которые, как видится автору, зависели от политической ситуации в стране. Экстраполируя свои размышления на проблему «власть — массы», Эннкер констатирует: отказ от диктатуры авангардистского типа, произошедший в 1930-е гг., привёл к тому, что культ Сталина стал всё больше приобретать характер абсолютной ценности, жизненного ориентира для «всех». «При этом культовые эмблемы, которыми окружалась личность Сталина, соревновались в том.., чтобы представить процесс воплощения в вожде “любви народа” и его самого — в качестве инкарнации величия масс» (83). Благодаря слиянию «вождя и масс» из легитимационной модели власти в период сталинизма элиминировались любые посредники между народом и Сталиным.

Важнейшими методологическим инструментарием при изучении сталинизма в Германии на сегодняшний день остаются социальноисторические методы. Благодаря этому историографическому направлению германское россиеведение играет не последнюю роль в разработке проблем отдельных социальных слоев, групп и категорий населения сталинской эпохи. Социальная история сегодня представлена целой когортой интересных и серьезных исследователей, таких как Дитрих Байрау, Штефан Мерль, Роберт Майер, Дитмар Нойтатц и другие. Многие из них уже покинули освоенное социально-историческое «поле», все больше принося в свои исследования инструментарий и концепции культурной истории. Спектр социальных групп, попавших в поле зрения германских россиеведов, достаточно широк.

Говоря об изучении сталинизма, необходимо, вероятно, в первую очередь упомянуть историю так называемых «поддерживающих слоев» населения («Trägerschichten»). К числу важнейших работ по данной проблеме относится исследование Р. Майера, посвященное стахановскому движению, и монография Шт. Мерля о выдвиженцах в колхозной деревне, исследование Х.-Х. Шрёдера о советской бюрократии (84). От классической социальной истории эти исследования отличает стремление показать не только экономические, социальные и политические предпосылки формирования «стахановцев» или колхозных «выдвиженцев», их общественный статус и карьерные траектории, но и особенности ментальной организации «опоры» сталинского режима и повседневных рамок их существования. В исследовании Майера была концептуально намечена идея включения стахановского движения в масштабный процесс сталинского мифотворчества. Миф о стахановцах исследователь сравнивает с популярным на западе мифом от «посудомойщика до миллионера», который был весьма действенным политическим инструментом вне зависимости от того, имел ли он реальную подоплеку или нет. «Типичное для сталинского фикционализма насильственно прививаемое слепое почитание в условиях отсутствия любой возможности критики создавало особую атмосферу, в которой вопрос истинности становился неважным. Ритуализация социальной деятельности выступала при этом как замена мобилизации

и скрывала потерю конкретной утопии, как и внутреннюю дистанцию или индифферентность участников» (85). Другой социальный полюс сталинского общества — интеллигенция — нашла своего историка в лице Байрау (86). И если выше речь шла о лояльных к сталинизму слоях населения, то Байрау посвятил ряд своих исследований группе «сопротивляющихся» и диссидентов. Буржуазная интеллигенция и способы её привлечения и отторжения властью, формы и методы интеллектуального сопротивления режиму, ментальное противостояние и конформизм в их символическом выражении оказались в эпицентре внимания исследователя (87). Говоря о нарастающем интересе к культурной истории, нельзя не упомянуть пока немногочисленные исследования по гендерной проблематике, принадлежащие перу Р. Майера, С. Шаттенберг, Р. Сарторти и др (88).. На полях можно было бы заметить, что, если говорить о гендерных исследованиях в более широких рамках — немецкоязычной историографии в целом нашли свое «пристанище» в большей степени на шведарской «земле». В одном из крупнейших университетов этой страны — Базельском — организован проект «Инициатива гендерных исследований по истории Восточной Европы» (проф. Хейко Хауманн) (89).

Перспективным, хотя и слабо разработанным исследовательским «полем» (несмотря на существование тоталитарной теории) считаются компаративные исследования, посвященные национал-социализму и сталинизму. Немецкая историография последних лет свидетельствует, во всяком случае, об оживлении интереса к данной проблеме. В 1996 г. по инициативе общественной организации «Palais Jalta», созданной с целью налаживания культурных контактов между странами Западной и Восточной Европы, был издан сборник статей, посвященный террористическим диктатурам XX в., собравший известных немецких россиеведов (90). Один из участников сборника — профессор Байрау — предположил, что трудности сравнительной исторической проблематики, касающиеся не только феноменов тоталитарных диктатур XX в., связаны с достаточно узкой специализацией современного историка, с тем, что каждый исторический объект оказывается «встроен» в свою собственную, специфическую систему вопросов, методов и исследовательских интересов (91). Тем не менее, многообещающие результаты компаративных исследований, позволяющие достичь желанной для любого историка цели — найти «общее», закономерное, и оттенить особое, конкретно-историческое, — заставляют исследователей браться за эту трудную работу. Решившийся на это рискованное предприятие (рискованное в первую очередь из-за «болезненности» тем, связанных с историей обеих диктатур), Д. Байрау выступил с целым рядом концептуальных сравнительно-обобщающих моментов. В плоскости сравнения оказались истоки, социальная основа и идеологическая «подоплека» тоталитарных режимов Гитлера и Сталина, способы социальной мобилизации, использованные обеими диктатурами, некоторые существенные характеристики диктатур — насилие, стигматизация и уничтожение целых групп общества по социальному (сталинизм) или расовому (национал-социализм) признаку, экономический неомеркантилизм. При всём

сходстве внешних структурных признаков тоталитарных режимов XX в. (вождизм, однопартийная система, контроль над информацией и др.), выделенных ещё основоположниками «одноименной» теории, специфика компонентов, породивших весьма похожих политических «монстров», поразительна. Если национал-социалистический режим был детищем «консервативной» революции средних классов, ущемлённых в былом национальном величии и увидевших в новой политической власти способ преодоления кризиса и «усовершенствования» своего буржуазного будущего, то сталинизм вышел из народной антибуржуазной революции, полностью отрицавшей «старый мир». С одной стороны (в Германии), замечает Байрау, мы имеем в основе социальный консенсус, а с другой стороны (в Советской России) — социальный раскол общества. Последний тезис автора так и хочется полемически заострить, противопоставив его идеям некоторых отечественных исследователей, пытавшихся в 1990-х гг. увидеть в большевистском режиме и новую «соборность» и некую социальную стабилизацию после революционных бурь (92). Вслед за другими немецкими исследователями Байрау возводит идеологические конструкции, легитимировавшие существование обеих диктатур, в ранг политических религий. Понятие «политическая религия», впервые появившееся применительно к национал-социализму (93), позволяет «вписать» такие явления как парарелигиозные ритуалы, сакрализованный культ вождя, эсхатологические элементы идеологий в рамки современных секуляризованных обществ. Одна из центральных проблем при исследовании тоталитарных режимов Гитлера и Сталина — проблема насилия и террора — оказывается у Байрау в трёх сравнительных измерениях: направленность насильственных действий власти, её квантитативное выражение и вопрос об интенциях власти при осуществлении террора. Репрессивная политика затрагивала не только политических противников власти, но и целые группы общества, дефинированные по расовому (евреи, цыгане или славяне) или социальному признаку (бывшие, кулаки, буржуазные специалисты-вредители). «Отнесение к категории врагов не имело под собой реальной подоплеки, то есть не учитывало мировоззрения или поведения — речь шла о идеологической конструкции, о фиктивном враге, который, однако, подвергался совершенно реальным репрессиям...», — отмечает автор. — Фиктивный враг, его символическая или реальная “ликвидация” или “уничтожение” стали центральными признаками обеих систем» (94). Весьма любопытными, наверное, покажутся и следующие размышления немецкого историка: считая, что количество жертв сталинизма превышает печальную «статистику» национал-социалистического режима, он обращает внимание на то, что в намерения большевиков не входило непосредственное «уничтожение» многих «врагов народа», их смерть была скорее «сопутствующим явлением неэффективного управления, нежели результатом целенаправленной “расстрельной” политики» (95). Результатом осуществления расовой или социальной дискриминации на государственном уровне стала, по мнению Байрау, своеобразная архаизация современных политических режимов: в Германии сложился своего рода апартеид, а в СССР сформировался

вариант сословного общества. Самым спорным моментом в сравнительном экскурсе автора остается тезис о неомеркантилизме тоталитарных диктатур. Вряд ли экономическая теория, интегрированная идеологиями национал-социализма и сталинизма, сводится только к последнему. Говоря о раннем советском периоде, нельзя не упомянуть и о кейнсианстве, фордизме и богдановской интерпретации «военного коммунизма» (96). Впрочем, и сам автор признаёт, что присутствие меркантилистских элементов в обоих режимах, рассмотренное изолированно от других факторов, не объясняет сущности исследуемых феноменов. Дальнейшие сравнительные исследования двух тоталитарных диктатур XX в., вероятно, позволят лучше понять сущность каждого режима в отдельности. Сравнительный аспект будет представлен и в сборнике «Русские и немцы в XX веке», выход которого планируется в 2003 г.

Можно предположить, что история сталинизма ещё несколько лет будет сохранять лидирующие позиции в германской историографии. Творческие планы ведущих немецких исследователей по данной проблеме, обещающие в скором времени появление целой серии «крупных» научных опусов — монографий, обзорных историй и справочных изданий по сталинизму, — сигнализируют, с другой стороны, о скором подведении историографического баланса в исследовании данной проблемы, за которым неизбежно следует смена приоритетов. Последние тенденции в изучении феномена сталинизма в Германии позволяют предположить, что это будет история эпохи, вписанная в социокультурный контекст, история, в которую «вернулись» насилие и террор, история с «имперским привкусом».

В рамках одной статьи довольно трудно подробно остановиться на всех концепциях, направлениях и областях проявления исследовательского интереса, даже если ограничиться таким глобальным историческим феноменом как сталинизм. Поэтому в завершающей части моей статьи хотелось бы пунктирно наметить наиболее популярные темы и проблемы, некоторые из которых уже сегодня можно отнести к настоящим историографическим направлениям, а другие обещают стать таковыми через несколько лет.

Традиционно притягательной для германских русистов остается тема русско-немецких взаимоотношений, а также история немцев в России и СССР (97). В свое время такая грань этой большой темы как «представления» русских и немцев друг о друге нашла свое институциональное воплощение в «Вуппертальском проекте» Льва Копелева (98), а сегодня различные её аспекты входят в число исследовательских приоритетов отделений истории Восточной Европы во многих университетах Германии (99). Среди когорты исследователей, занимающихся историей «взаимоотношений» нельзя пройти мимо такого своеобразного ученого, стоящего несколько в стороне от «настоящей» исторической братии, как Карл Шлёгел (Университет Виадрин).

Историк культуры, К. Шлэгель в 1980–90-е гг. разразился целым «фейерверком» весьма оригинальных опусов, инновативных и в плане методологическом, и в том, что касается самого жанра произведений (100). Статьи Шлэгеля по истории сталинизма демонстрируют явную приверженность цивилизационному подходу к данному феномену (в рамках возглавляемой им кафедры истории Восточной Европы проблема «коммунизм как цивилизация» даже названа в числе исследовательских приоритетов). Кроме того, немецкий исследователь предпринял попытку заново прочесть «мёртвые», как он их сам назвал, марксистские тексты (101). В истории же «взаимоотношений» ученый выступил в двух ипостасях: как издатель сборников по истории русской эмиграции в Германии и как автор довольно необычной книги о Берлине как «пространстве» политических, культурных, духовных контактов немцев и русских в межвоенный период (102). В методологическом отношении Шлэгель — проводник новаторских на сегодняшний день приемов урбанистики, исторической топографии и концепции «mental maps».

Результатом переплетения многолетнего интереса и культурологического импульса можно назвать и исследовательскую проблему «история русской и советской культуры», достаточно ёмко представленную в германском россиеведении. В этом исследовательском «поле» тесно переплелись интересы историков, филологов-славистов, культурологов. Различные аспекты культурной политики государства, элитарной и народной культуры, культурных трансформаций, формирования культурных стереотипов и традиций анализируются в монографиях и статьях Карла Аймермахера (Бохум), Габриэлы Горцка (Кассель), Ханса Гюнтера (Билефельд), Штефана Плаггенборга (Марбург) (103). Нельзя не упомянуть работы по советской культуре Гюнтера. По образованию и профессии он славист. Особая сфера интересов Гюнтера — литература советского периода, и, в частности — 1930-х гг. Сегодня уже невозможно представить себе историю сталинизма без советской мифологии с её «сотворением мира», «героями» и «врагами-злыми силами», образами Сталина-«отца» и Родины-«матери». Исследованию архетипических структур советской культуры и её семантической системы, образно-символьных миров, пронизывающих «высокую» советскую литературу и массовые представления и посвятил себя Гюнтер (104). В 2000 г. сотрудничество немецкого слависта с целым рядом известных зарубежных и российских исследователей культурно-исторических проблем привело к рождению объёмистого сборника статей на русском языке «Социалистический канон» (105).

По-прежнему устойчивым остается интерес германских россиеведов к истории русской революции. В 1990-е гг. появилось немало новых книг и переработанных более ранних изданий, посвящённых данной проблеме. Здесь можно найти и классическое социально-историческое исследование Бернда Бонвеча (Рурский университет, Бохум), и спокойную, «нарративную» монографию Хельмута Альтрихтера (Ерланген-Нюрнберг), в названии и архитектонике которой нашли отражения события «конца» красной империи, и локальную культурно-исторически ориентированную штудию Д. Байрау

о Петрограде в 1917 г. (106). Предварительные итоги культурно-исторических исследований по истории русской революции подвел в своём диссертационной работе М. Штадельман (Эрланген-Нюрнберг) (107).

Доброй традицией германского россиеведения, которой отдают дань большинство немецких исследователей, достигших определённого статуса и известности, можно считать публикацию больших и малых «обзорных» историй России/СССР. За последние годы в числе авторов таких масштабных историографических артефактов оказались Альтрихтер, Люкс, Нольте, Плаггенборг, Хёш, Хильдермаейр (108). Причём, Плаггенборг стал редактором справочника (Handbuch) по истории России — работы весьма популярного, но трудоемкого жанра, которая обычно пользуется большим спросом среди историков-специалистов. Последнее издание подобного рода увидело свет в начале 1980-х гг. (109).

К наиболее бросающимся в глаза дефицитам немецкой историографии XX в. относится, пожалуй, история военного противостояния Германии и СССР в годы Второй мировой войны. Пока эта страница советско-германской истории привлекает гораздо меньше внимания немецких ученых нежели довоенная история Советской России (110). Практически неисследованным «полем» остаётся и послевоенная история СССР, представленная, главным образом, в рамках уже упомянутых выше «панорамных» монографий немецких историков. И здесь германские россиеведы пока отстают от своих американских коллег по цеху, которые уже оставили позади проблемы раннего советского периода и историю сталинизма, чтобы вплотную заняться хрущёвским десятилетием и феноменом брежневского «застоя».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Автор благодарит за помощь в подготовке данной статьи коллег из университетов Тюбингена и Берлина Д. Байрау, Й. Баберовского, Я. Плампера, К. Геству.

2. Подробнее об истории развития дисциплины Osteuropaforschung см.: *Oberländer E.* (Hrsg.). *Geschichte Osteuropas: Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (1945–1990). — Stuttgart, 1992.

3. *Oberländer E.* Das Studium der Geschichte Osteuropas seit 1945 // *Oberländer E.* (Hrsg.). *Geschichte Osteuropas...* S.33.

4. Если говорить о немецкоязычном пространстве вообще, то необходимо также упомянуть первую кафедру по истории Восточной Европы, созданную в Швейцарии (университет г. Цюрих), и появление (в дополнение к кафедре истории Восточной Европы в Венском университете) отделения истории Юго-Восточной Европы в Граце (Австрия).

5. *Ibid.* S.35.

6. Подробнее о развитии Osteuropaforschung в ГДР см.: *Fischer A.* *Forschung und Lehre zur Geschichte Osteuropas in der sowjetischen Besatzungszone bzw. der Deutschen demokratischen Republik (1945–1990)* // *Oberländer E.* (Hrsg.). *Geschichte Osteuropas...* S.304–341.

7. Подробнее о процессах, происходивших в исторической науке Германии после объединения страны см.: *Никонова О. Ю.* Историческая наука в Германии и России в 90-е гг.: проблемы, перспективы, тенденции развития // Германия и Россия: События, образы, люди. Вып.3. Мат. междунар. науч. конф. — Воронеж, 2000. С.159–165.

8. Отчасти сохранить старые кадры удалось университету им. Гумбольдта в Берлине. С 1992 г. профессором по восточноевропейской истории стала д.и.н. Людмила Томас, ранее работавшая в Академии

наук Восточного Берлина. Университеты же Лейпцига, Йены, Халле-Виттемберга пополнились молодыми представителями исторической науки из Западной Германии. Университет Росток после объединения окончательно потерял специализацию по «Истории Восточной Европы».

9. См.: <http://www.uni-tuebingen.de/uni/goi/kurzbe.htm>.

10. См.: <http://www.uni-koeln.de/phil-fak/soeg/gesch.htm>.

11. См.: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/lirsk/forsch3b.htm>; Более подробно о подвижнической деятельности проф. К. Аймермахера в России см.: Synopsis operandi профессора Аймермахера. — М.: АИРО-XX, 2002.

12. См.: <http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/body.htm>.

13. Берлинский историк Йорг Баберовски дал этому факту весьма любопытную оценку. Он убеждён, что именно горячая полемика, развернувшаяся вокруг судьбы «Osteuropaforschung», убедила «собратьев» по историческому цеху в том, что дисциплина ещё жива и обладает потенциалом для дальнейшего развития. Интервью с Й. Баберовским от 19.09.02., Тюбинген.

14. В настоящее время Й. Баберовски возглавляет кафедру истории Восточной Европы университета им. Гумбольдта в Берлине.

15. См.: *Baberowski J.* Das Ende der Osteuropäischen Geschichte. Bemerkungen zur Lage einer geschichtswissenschaftlichen Disziplin //Creuzberger St. (Hrsg.). Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine Diskussion. Köln, 2000. S.27–42.

16. См. *Creuzberger St.* (Hrsg.). Wohin steuert die Osteuropaforschung?

17. См.: *Beyrau D.* Totgesagte leben länger. Die Osteuropa-Disziplinen im Dschungel der Wissenschaften //Creuzberger St. (Hrsg.). Wohin steuert die Osteuropaforschung? S.43–51.

18. Информация о международных научных контактах, совместных проектах и конференциях ни в коем случае не является полной.

19. В качестве избранного примера подобного локального исследования работу молодого исследователя Мальте Рольфа о советских праздниках в Воронеже, к тому же опубликованную на русском языке. См.: *Рольф М.* Советский массовый праздник в Воронеже и Центрально-Черноземной области России, 1927–1932. — Воронеж, 2000.

20. См. доклады немецких исследователей, опубликованные в: Человек и война: Война как явление культуры. Сб. статей. Под ред. И.В. Нарского и О.Ю. Никоновой. — М.: АИРО-XX, 2001; Вестник Челябинского университета. Серия История. 2002. № 1. С.82–130.

21. Проект завершился публикацией серии работ по истории интеллигенции в тоталитарных обществах. См., например: *Beyrau D.* Bildungsschichten unter totalitären Bedingungen. Überlegungen zu einem Vergleich zwischen NS-Deutschland und Rußland unter Stalin //Archiv für Sozialgeschichte. 1994. № 34. S.35–54; Ders. (Hrsg.). Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler. — Göttingen 2000.

22. Проекты нашли свое воплощение в международных конференциях и публикациях. Конференция по истории культуры сталинизма прошла в Варшаве в октябре 1993 г. Позднее в Касселе была организована выставка «Искусство сталинского времени» и сопутствующий ей семинар. По завершении проекта был издан сборник научных трудов. См.: *Gorzka G.* (Hrsg.). Kultur im Stalinismus. Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 50er Jahre. — Bremen, 1994. Проект «Vernichtungskrieg im Ost. Die Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion — aus der Sicht russischer Historiker» (1994–1998) завершился одноименной международной конференцией и изданием сборника: *Gorzka G., Stang K.* (Hrsg.). Vernichtungskrieg im Osten — Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion — aus Sicht russischer Historiker. Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. — Kassel, 1999.

23. В рамках проекта была проведена международная конференция «Youth in Soviet Russia 1917–1941» и издан сборник *Kuhr-Korolev C., Plaggenborg St., Wellmann M.* (Hrsg.). Sowjetjugend 1917–1941. Generation zwischen Revolution und Resignation. — Essen, 2001.

24. Публикация является переводом русского издания «СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945–1949. Сб. документов. — М., 1994». Перевод осуществлён Б. Бонвечем при финансовой поддержке фонда Фридриха Эберта и Института социальной истории (Брауншвейг/Бонн). См.: *Bonwetsch B., Bordjugov G., Naimark M.N.* (Hrsg.). Sowjetische Politik in der SBZ 1945–1949. Dokumente zur Tätigkeit der Propagandaverwaltung (Informationsverwaltung) der SMAD unter Sergej Tjul'panov. — Bonn, 1997.

25. *Heinemann M.* Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Deutschland 1945–1949. Die Sowjetische Besatzungszone. — Berlin, 2000.

26. Подробнее об этом и других проектах института им. Лотмана см.: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/lirsk/forsch1.htm>.

27. Более подробно о Вуппертальском проекте см.: Лев Копелев и его «Вуппертальский проект». Под ред. Я.С. Драбкина. — М., 2002.

28. См.: Родина. 2002. № 10: Россия и Германия. XX век. (Кураторы номера К. Аймермахер и Г. Бордюгов, вед. редактор — Т. Филиппова).

29. Результатом гёттингенских конференций, проведенных в 1990-е гг. стал целый ряд публикаций по истории российских немцев и проблеме «немецкого вопроса» в Российской империи. См., например: *Meissner B., Neubauer H., Eisfeld A.* (Hrsg.). *Die Russlandsdeutschen. Gestern und heute.* — Köln, 1992; *Die deutschlandfrage von Jalta und Potsdam bis zur staatlichen Teilung Deutschlands 1949.* — Berlin, 1993; *Meissner B., Eisfeld A.* (Hrsg.). *Der Beitrag der Deutschbalten und der städtischen Russlanddeutschen zur Entwicklung des Russischen Reiches von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg.* — Köln, 1999 и др.

30. *Baberowski J.* *Das Ende der Osteuropäischen Geschichte...* S.34.

31. *Geyer D.* *Osteuropäische Geschichte und das Ende der kommunistischen Zeit.* Vorgetragen am 28. Oktober 1995. — Heidelberg, 1996. S.18–19.

32. Интересно, что отечественные историки в поисках «злого гения» советской истории обратились к идеям «школы тоталитаристов», персонализирующей исторические события и процессы в значительно большей степени, нежели «ревизионисты».

33. *Geyer D.* *Osteuropäische Geschichte und das Ende der kommunistischen Zeit.* S.20–21.

34. При анализе этих данных автор утла, что российская/советская история по-прежнему преобладает среди исследований по истории Восточной Европы. В связи с этим представляется возможным экстраполировать данные К. Гествы на изучение истории России/СССР.

35. *Beziehungsgeschichte*, что дословно можно перевести на русский язык как «история отношений», обнимает достаточно широкий спектр тем, как-то: международные отношения и внешняя политика, история трансфера, взаимоотношения стран и народов в различных отраслях экономики, культуры, науки, взаимные представления народов друг о друге и др.

36. *Gestwa K.* *Pladoyer für selbstkritischen Denksport und eine koordinierte «Publikationsoffensive».* Mehr Osteuropäische Geschichte in die allgemeinen deutschen historischen Zeitschriften // *Creuzberger St.* (Hrsg.). *Wohin steuert die Osteuropaforschung?* S.80–91.

37. Подчт произведен автором на основании материалов, опубликованных Институтом Восточной Европы в Мюнхене. В диаграммах отражены диссертации по российской истории XIX и XX вв., так как именно этим периодам посвящена «львиная доля» всех исследований (85.6% в 1996 г., 85.7% в 1997 г. и 78.2% в 2000 г.). Благодаря значительному «перевесу» исследовательского интереса в сторону XIX и XX вв., данные подсчетов можно считать показательными. См.: In Vorbereitung befindliche Universitätschriften aus der Geschichte Osteuropas und Sudosteuropas. Verzeichnis 1996 (35. Ausgabe). — München, 1997. № 22; In Vorbereitung befindliche Universitätschriften aus der Geschichte Osteuropas und Sudosteuropas. Verzeichnis 1997 (36. Ausgabe). — München, 1998. № 29; http://www.lrz-muenchen.de/~oeihist/hochschulschriften_haupt.html.

38. Достаточно будет упомянуть таких «столпов» социальной истории в Германии как Ханс-Ульрих Велер и Юрген Кока.

39. *Baberowski J.* *Das Ende der Osteuropäischen Geschichte...* S.35.

40. *Ibid.* S.35–36.

41. Интервью с тюбингенским историком «нового» поколения Яном Плампером от 03.09.02., Тюбинген. Я. Плампер назвал целый ряд имен таких историков-«космополитов», среди которых Ян Хубертус, опубликовавший монографию по истории патриотической культуры в России в годы Первой мировой войны (*Hubertus F. J.* *Patriotic Culture in Russia during World War I.* — Itaca and London, 1995), Йохен Хелльбек, опубликовавший переведенный им на немецкий язык дневник Степана Подлубного (*Hellbeck J.* *Tagebuch aus Moskau: 1931–1939.* — München, 1996) и др.

42. В рамках данного экскурса нам придется ограничиться историографией отдельно взятого феномена истории России XX в. — феномена сталинизма, что обусловлено обширностью историографического материала.

43. Интервью с Д. Байрау от 03.09.02., Тюбинген.

44. *Baberowski J.* *Wandel und Terror. Die Sowjetunion unter Stalin, 1928–1953.* Ein Literaturbericht // *Jahrbucher für Geschichte Osteuropas.* 1995. № 43. S.97–129; *Hildermeier M.* *Interpretationen des Stalinismus* // *Historische Zeitschrift.* 1997. Band 264. S.655–674; Ders. (Hrsg.). *Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung.* — München, 1998; *Plaggenborg St.* (Hrsg.). *Stalinismus: Neue Forschungen und Konzepte.* — Berlin, 1998.

45. *Plaggenborg St.* *Herangehenweisen an den Stalinismus in der westlichen Forschung* /Ders. (Hrsg.). *Stalinismus: Neue Forschungen und Konzepte.* S.13.

46. Рождением теории тоталитаризма политическая и историческая науки обязаны прежде всего немецким политологам и социологам Ханне Арендт, Карлу Фридриху, Францу Нойманну и американскому политологу Збигневу Бжезинскому. См.: *Seidel B., Jenkner S.* (Hrsg.). *Wege der Totalitarismusforschung.* — Darmstadt, 1974. Шт. Плаггенборг в отличие от М. Хильдермайера «историзацию» сталинизма начинает не с 1950-х гг., а с конца 1970-х, считая, что «тоталитаристы» «сталинизм как таковой не «исследовали»,

а (несколько упрощая) анализировали в целях подтверждения теории». См.: *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.14.

47. Й. Баберовски в своём историографическом обзоре более детально останавливается на постепенной «ревизии» тоталитарной теории, упоминая в качестве ее критиков неомарксистов и сторонников теории «модернизации» 1960-х гг., а также представителей «cultural approach» 1970-х гг. (в первую очередь Р. Пайпса), выступивших с идеей о преемственности между «сталинизмом» и традиционной практикой политического господства периода царской империи. См.: *Baberowski J.* Wandel und Terror. S.101. Обычно, однако, представители этого направления причисляются к «тоталитаристам».

48. См.: *Hildermeier M.* Interpretationen des Stalinismus. S.673–674.

49. *Ibid.* S.672–673.

50. *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.26.

51. *Ibid.* S.28. Здесь автор, вероятно, имеет ввиду идею социального конструирования действительности, впервые теоретически обоснованную в ставшей классической работе социологов П. Бергера и Т. Лукманна, изданной в 1966 г. Немецкое издание см.: *Berger P.L., Luckmann Th.* Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. — Frankfurt a. M., 1994.

52. *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.30.

53. См.: *Kotkin St.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. — Berkley, 1995.

54. См.: *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.28–29; *Ders.* Neue Literatur zur Geschichte des Stalinismus // *Archiv für Sozialgeschichte*. 1997. № 37. S.444–459.

55. *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.32.

56. *Baberowski J.* Wandel und Terror... S.102.

57. Впрочем у не столь «проамерикански» настроенного Шт. Плаггенборга можно найти косвенные указания на другую причину «повышенной» творческой активности англоязычных коллег: изучение сталинизма в англоамериканской историографии складывалось под сильным влиянием эмигрантов из Советского Союза. См.: *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.16–17.

58. *Baberowski J.* Wandel und Terror... S.129.

59. *Ibid.* S.107. См. также: Н.-Н. Schroder. Industrialisierung und Parteiburokratie in der Sowjetunion. Ein sozialgeschichtlicher Versuch über die Anfangsphase des Stalinismus (1928–1934). — Berlin, 1988; *Bonwetsch B.* Der Stalinismus in der Sowjetunion der dreißiger Jahre. Zur Deformation einer Gesellschaft // *Jahrbuch für historische Kommunismusforschung*. 1993. № 1. S.11–36. Интересно, что отечественные исследователи периода перестройки чаще всего персонифицировали причины причины формирования сталинизма. В 1990-х гг. проблема альтернатив сталинизму вылилась в дискуссию о НЭП и возможных инвариантах социально-экономического развития СССР на рубеже 1920-х — 1930-х гг., в которой всё больше доминировали «модернизационные» модели интерпретации, объяснявшие возникновение сталинизма необходимостью и неизбежностью проведения индустриализации.

60. *Baberowski J.* Stalinismus an der Peripherie. Das Beispiel Azerbajdžan // *Hildermeier M.* (Hrsg.). Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung. S.307–335; *Ders.* Stalinismus als imperiales Phänomen: die islamischen Regionen der Sowjetunion, 1920–1941 // *Plaggenborg St.* (Hrsg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. S.113–150; *Ders.* Auf der Suche nach Eindeutigkeit: Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und in der Sowjetunion // *Jahrbuch für Geschichte Osteuropas*. 1999. № 47. S.482–503; *Ders.* Auf der Suche nach Eindeutigkeit. Zivilisatorische Misison, Nationalismus und die Ursprünge des Stalinismus in Azerbajdžan 1828–1941. Habilitationsschrift Universität Tübingen 2000; *Ders.* Kolonialismus und Kolonialkultur: Rußland und die Sowjetunion // *Kopke W., Schmelz B.* (Hg.). Das gemeinsame Haus Europa. Handbuch zur Europäischen Kulturgeschichte. München, 1999. S.197–210; *Ders.* «Entweder für den Sozialismus oder nach Archangel'sk!». Stalinismus als Feldzug gegen das Fremde // *Osteuropa*. 2000. № 6(50). S.617–637.

61. *Plaggenborg St.* Weltkrieg, Bürgerkrieg, Klassenkrieg // *Historische Anthropologie*. 1995. № 3. S.493–505; *Ders.* Gewalt und Militanz in Sowjetrußland 1917–1930 // *Jahrbuch für Geschichte Osteuropas*. 1996. № 44. S.409–430; *Ders.* Stalinismus als Gewaltgeschichte // *Plaggenborg St.* (Hg.). Stalinismus: Neue Forschungen und Konzepte. S.71–112; *Ders.* Gewalt im Stalinismus. Skizzen zu einer Tatergeschichte // *Hildermeier M.* (Hrsg.). Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. S.193–208; *Kuhr-Korolev C., Plaggenborg St., Wellmann M.* (Hrsg.). Sowjetjugend 1917–1941: Generation zwischen Revolution und Resignation. — Essen, 2001.

62. *Ennker B.* Politische Herrschaft und Stalinkult: «Fuhrer und Volk» im Stalinismus. Eine Interpretation // *Plaggenborg St.* (Hrsg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. S.151–182.

63. *Merl St.* Das System der Zwangsarbeit und die Opferzahl im Stalinismus // *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht*. 1996. № 46. S.277–305; *Stettner R.* «Archipel GULAG»: Stalins Zwangslager — Terrorinstrument und Wirtschaftsgigant: Entstehung, Organisation und Funktion des sowjetischen Lagersystems 1928–1956. — Paderborn, 1996.

64. Проблема «сталинизм и насилие», например, нашла финансовую поддержку фонда «Фольксваген», обеспечившего материально реализацию совместного проекта университетов Марбурга (Германия) и Базеля (Швейцария) «Молодежь и насилие в Советской России 1917–1932 гг.». В рамках проекта в мае

1999 г. была организована международная конференция «Youth in Soviet Russia 1917–1941», результатом которой стал сборник «Sowjetjugend 1917–1941: Generation zwischen Revolution und Resignation».

65. Такую характеристику Плаггенборг адресовал, в частности, цивилизационной концепции Ст. Коткина (См.: *Plaggenborg St.* Herangehenweisen an den Stalinismus... S.30). См. также анализ книги Р. Терстона в: *Plaggenborg St.* Neue Literatur zur Geschichte des Stalinismus //Archiv für Sozialgeschichte. 1997. № 37. S.444–459.

66. *Plaggenborg St.* Stalinismus als Gewaltgeschichte... S.75.

67. Ibid.

68. Ibid. S.108–112.

69. Это пытаются сделать, например, Байрау в своей ещё не опубликованной статье «Der imperialistische Krieg als Bewährungsprobe. Bolschevistische Lernprozesse aus einem falschen Krieg».

70. *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall. — München, 1992.

71. *Baberowski J.* Wandel und Terror... S.102.

72. *Baberowski J.* Stalinismus als imperiales Phänomen... S.120–121.

73. Ibid.

74. Ibid. S.150.

75. Ibid. S.129.

76. *Baberowski J.* Wandel und Terror... S.105.

77. *Lowe H.-D.* Stalin: der entfesselte Revolutionär. — Göttingen–Zürich, 2002.

78. *Lohmann R.* Der Stalin-Mythos. Studien zur Sozialgeschichte des Personenkultes in der Sowjetunion (1929–1935). — Münster, 1990.

79. *Ennker B.* Ende des Mythos? Lenin in der Kontroverse //Geyer D. (Hrsg.). Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. — Göttingen, 1991. S.54–74; *Он же.* Начало становления культа Ленина //Отечественная история. 1992. № 5. С.191–205; *Он же.* Советский культ вождей: между мифом, харизмой, общественным мнением — «Вождь и народ». Понятие и следствия одного образца политической культуры в условиях диктатуры //Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. 1994. № 5. С.13–24; *Ders.* Führer-Diktatur — Sozialdynamik und Ideologie: Stalinistische Herrschaft in vergleichender Perspektive //Vetter M. (Hrsg.). Terroristische Diktaturen im 20. Jahrhundert. Strukturelemente der nationalsozialistischen und der stalinistischen Herrschaft. — Wiesbaden, 1996. S.85–117; *Ders.* Leninkult und vythisches denken in der sowjetischen Öffentlichkeit. 1924 //Jahrbucher für Geschichte Osteuropas. 1996. № 44. S.431–455; *Ders.* Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion. Köln–Wien, 1997; *Ders.* Politische Herrschaft und Stalin-kult: «Führer und Volk» in Stalinismus. Eine interpretation //Plaggenborg St. (Hrsg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. S.151–182.

80. *Ennker B.* Politische Herrschaft und Stalinkult... S.157.

81. См. для сравнения: *Tucker R. C.* Stalin in Power. The Revolution from above, 1928–1941. — N.-Y.–L., 1992; *Волгогонов Д. А.* Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. В 4-х тт. — М., 1989; *Medvedev R.* Das Urteil der Geschichte. Stalin und der Stalinismus. 3 Bände. — Berlin, 1992.

82. *Ennker B.* Politische Herrschaft und Stalinkult... S.156.

83. Ibid. S.181.

84. *Maier R.* Die Stachanov-Bewegung 1935–1938. Der Stachanovismus als tragendes und verschärfendes Element der Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft. — Stuttgart, 1990; *Merl St.* Sozialer Aufstieg im sowjetischen Kolchossystem der 30er Jahre? Über das Schicksal der bauerlichen Parteimitglieder, Dorfsowjetvorsitzenden, Posteninhaber in Kolchosen, Mechanisatoren und Stachanowleute. — Berlin, 1990; *Ders.* Bauern unter Stalin. Die Formierung des sowjetischen Kolchossystems, 1930–1941. — Berlin, 1990; *Schroder H.-H.* Industrialisierung und Parteibürokratie in der Sowjetunion. Ein sozialgeschichtlicher Versuch über die Anfangsphase des Stalinismus (1928–1934). — Berlin, 1988. В рамках локального исследования истории строительства московского метрополитена тема рабочих, в том числе в контексте повседневной истории, нашла отражение в монографии Д. Нойтатца. См.: *Neutatz D.* Die Moskauer Metro: von den ersten Planen bis zur Großbaustelle des Stalinismus (1897–1935). Köln–Weimar–Wien, 2001; *Ders.* Zwischen Enthusiasmus und politischer Kontrolle. Die Arbeiter und das Regime am Beispiel von Metrostroj //Plaggenborg St. (Hrsg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. S.185–208.

85. *Maier R.* Die Stachanov-Bewegung 1935–1938... S.194.

86. *Beyrau D.* Intelligencija, Volk und Macht. Zu einer Debatte um die politische Kultur in der Sowjetunion //Municke-Gyungyusi K., Rytlewski (Hrsg.). Lebensstile und Kulturmuster in sozialistischen Gesellschaften. — Köln, 1990. S.191–214; *Ders.* Die russische Intelligenz in der sowjetischen Gesellschaft //Geyer D. (Hrsg.). Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. S.188–209; *Ders.* Intelligenz und Dissens. Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 bis 1985. — Göttingen, 1993; *Он же.* Интеллигенция и власть. Советский опыт //Отечественная история. № 2. 1994. С.122–137; *Ders.* Der organisierte Autor: Institutionen, Kontrolle, Fürsorge //Gorzka G. (Hrsg.). Kultur im Stalinismus. — Bremen, 1994; *Ders.* Geiseln und Gefangene eines visionären Projekts: Die russischen Bildungsschichten im Sowjetstaat//Hildermeier M. (Hrsg.). Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. — München, 1998. S.55–77.

87. Частично аспекты истории интеллигенции, в частности представителей науки, рассматриваются также в работах Кристофа Мика и Сюзанны Шаттенберг. См.: *Mick Ch.* Wissenschaft und Wissenschaftler im Stalinismus // *Plaggenborg St.* (Hrsg.). *Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte.* S.321–361; *Schattenberg S.* *Stalins Ingenieure. Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930er Jahren.* — München, 2002; *Она же.* Техника — политична. О новой, советской культуре инженера в 30-е годы // *Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы.* Под ред. Т. Вихавайнена. — СПб., 2000. С.193–217; *Ders.* «Uniformierte Schädlinge». Die alten technischen Spezialisten und die Kulturrevolution in der Sowjetunion (1928–31) // *Traverse. Zeitschrift für Geschichte. Revue d'histoire.* 2001. № 2. S.85–95.

88. *Schattenberg S.* Frauen bauen den Sozialismus. Ingenieurinnen in der Sowjetunion der dreißiger Jahre // *Zeitschrift für Kultur- und Geisteswissenschaften.* 1995/96. № 10. S.25–37; *Maier R.* Die Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung unseres Landes. Stalins Besinnung auf das weibliche Geschlecht // *Plaggenborg St.* (Hrsg.). *Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte.* S.243–265; *Sartori R.* «Weben ist das Glück fürs ganze Land». Zur Inszenierung eines Frauenideals // *Plaggenborg St.* (Hrsg.). *Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte.* S.267–291.

89. <http://www.hist.net/projekte/big-o/index.html>.

90. *Vetter M.* (Hrsg.). *Terroristische Diktaturen im 20. Jahrhundert. Strukturelemente der nationalsozialistischen und der stalinistischen Herrschaft.* — Wiesbaden, 1996. S.85–117. В число авторов статей, составивших сборник, вошли Д. Байрау, Х. Гюнтер, Р. Майер, Б. Эннкер, Шт. Мерль и др. В 2003 г. обещает появиться еще одно издание, в котором также будут присутствовать сравнительные аспекты двух тоталитарных режимов — *Eimermacher K., Herrmann D.* (Hrsg.). «Russen und Deutsche im 20. Jahrhundert».

91. *Beyrau D.* Nationalsozialistisches Regime und Stalin-System. Ein riskanter Vergleich // *Osteuropa.* 2000. № 6 (50). S.709–720, см. также русский вариант: *Байрау Д.* Национал-социалистический режим и сталинская система: рискованное сравнение // *Эхо веков (Казань).* 2000. № 1–2. С.135–146.

92. См., например: *Aхуезер А. С.* Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). — Новосибирск, 1997.

93. См.: *Maier H.* «Totalitarismus» und «politische Religionen» // *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte.* 1995. № 3. S.387–405.

94. *Beyrau D.* Nationalsozialistisches Regime und Stalin-System... S.716.

95. *Ibid.* S.717.

96. См.: *May B.* Реформы и догмы: 1914–1922. — М., 1993.

97. В числе новейших исследований и публикаций по этой теме см.: *Mick Ch.* *Forschen für Stalin. Deutsche Fachleute in der sowjetischen Rüstungsindustrie 1945–1958.* München–Wien, 2000; *Stark M.* «Ich muß sagen, wie es war». Deutsche Frauen des GULag. — Berlin, 1999.

98. Речь идёт об издательской серии «Deutsch-russische Spiegelungen an der Jahrtausendwende».

99. История русско-немецких взаимоотношений принадлежит, например, к приоритетным исследовательским направлениям в Университете Виадрина (Франкфурт-на-Одере), диссертации по этой проблеме пишутся в университетах Ганновера и Гамбурга.

100. *Schlügel K.* Berlin Ostbahnhof Europas — Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. — Berlin, 1998; *Ders.* (Hrsg.). *Der Große Exodus. Die russische Emigration und Ihre Zentren 1917–1941.* — München, 1994; *Ders.* (Hrsg.). *russische Emigration in Deutschland 1918–1941.* — Berlin, 1995; *Ders.* *Moskau lesen. Die Stadt als Buch.* — Berlin, 2000 (впервые книга была издана в 1984 и 1992 гг.); *Ders.* *Promenade in Jalta und andere Stadtebilder.* — München–Wien, 2001; *Ders.* *Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909–1921.* — München–Wien, 2002 (первое издание книги — в 1998 г.); *Ders.* *Kommunalka — oder Kommunismus als Lebensform. Zu einer historischen Topographie der Sowjetunion // Historische Anthropologie.* 1998. № 6. S.329–346; *Ders.* *Der «Zentrale Gor'kij-Kultur- und Erholungspark (CPKiO)» in Moskau. Zur Frage der öffentlichen Raums im Stalinismus // Hildermeier M.* (Hrsg.). *Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg.* S.255–274.

101. *Schlügel K.* «Sowjetmarxismus»: Einen «toten» Text neu lesen // *Fleischer H.* (Hrsg.). *Der Marxismus in seinem Zeitalter.* — Leipzig, 1994. S.57–76.

102. *Schlügel K.* Berlin Ostbahnhof Europas...

103. *Gorzka G.* (Hrsg.) *Kultur im Stalinismus.* — Bremen, 1994; *Plaggenborg St.* *Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrußland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus.* Köln., 1996; *Aimermacher K.* *Die sowjetische Literaturpolitik 1917–1932. Von der Vielfalt zur Bolschewisierung der Literatur. Analyse und Dokumentation.* — Bochum, 1994; *Аймермахер К.* Цензура и власть в системе советской цензуры // *Горяева Т. М.* *Исключить всякие упоминания... Очерки истории советской цензуры.* — Минск–Москва, 1995. С.3–5; *Аймермахер К.* *Политика и культура при Ленине и Сталине: 1917–1932 гг.* — М., 1998.

104. *Gunther H.* *Der sozialistische Übermensch. M. Gorkij und der sowjetische Heldenmythos.* Stuttgart–Weimar, 1993; *Ders.* *Der Feind in der totalitären Kultur // Gorzka G.* (Hrsg.) *Kultur im Stalinismus.* S.89–100; *Ders.* *Das Massenlied als Ausdruck des Mutterarchetypus in der sowjetischen Kultur // «Mein Russland». Literarische Konzeptualisierungen und kulturelle Projektionen. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 44.* —

München, 1997. S.337–355; *Гюнтер Х.* «Сталинские соколы». Анализ мифа 30-х годов // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С.122–141.

105. Соцреалистический канон /Под ред. Х. Гюнтера. — СПб., 2000.

106. *Bonwetsch B.* Die Russische Revolution 1917: Eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung bis zur Oktoberumsturz. — Darmstadt, 1991; *Hildermeier M.* Die Russische Revolution 1905–1920. 4. Aufl. — Frankfurt, 1995; *Altrichter H.* Rußland 1917: ein Land auf der Suche nach sich selbst. Paderborn, — München–Wien–Zürich, 1997; *Beyrau D.* Petrograd Oktober 1917. Die russische Revolution und der Aufstieg des Kommunismus. München, 2001.

107. *Stadelmann M.* Das revolutionäre Rußland in der Neuen Kulturgeschichte. — Erlangen–Jena, 1997.

108. *Husch E.* Geschichte Rußlands. Vom Kiever Reich bis zum Zerfall des Sowjetimperiums. — Stuttgart, 1996; *Hildermeier M.* Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. — München, 1998; *Altrichter H.* Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. — München, 2001; *Nolte H.-H.* Kleine Geschichte Rußlands. — Stuttgart, 1998; *Luks L.* Geschichte Rußlands und der Sowjetunion. Von Lenin bis Elzin. — Regensburg, 2000; *Plaggenborg St.* (Hg.). Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd.1–5. — Stuttgart, 2000–2001.

109. См.: *Schramm G.* (Hrsg.). Handbuch der Geschichte Rußlands. — Stuttgart, 1981.

110. В числе немногих работ, вышедших в последние годы, можно упомянуть: *Wegner B.* (Hrsg.). Zwei Wege nach Moskau. Vom Hitler-Stalin-pakt zum Unternehmen Barbarossa. — München, 1991; *Ueberschar G.R., Bezymenski L.A.* (Hrsg.). Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. — Darmstadt, 1998; *Pietrow-Ennker B.* (Hrsg.). Präventivkrieg? Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion. — Frankfurt a. M., 2000.

НА ЗАКАТЕ ТЕОРИЙ ТОТАЛИТАРИЗМА: ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОССИИ

Наталья ТРУБНИКОВА

В эпоху предчувствия глобальных потрясений и неизмеримых социальных бездн, в которые упадет Россия в XX в., «русская идея» пророчествовала о великом «уроке», которой страна должна преподать миру. Её мессианские обертоны были созвучны сознанию самых разных общественных групп — немногочисленных либералов, грезивших Европой; радикалов, норовивших опрокинуть лицемерный и чуждый Отечеству буржуазный мир, не говоря уже о сторонниках сохранения патриархальных устоев Московского царства. Так или иначе, для русских было характерно, если не всегда, то уже довольно давно, выстраивать свою самооценку в зависимости от способности России «влиять» на внешний мир, косвенным свидетельством чего является одна странная закономерность: начинать новые витки реформ только на фоне крупных внешнеполитических провалов...

Что изменилось в этом отношении по итогам истекшего века? Обещанный философами русский «урок» состоялся, коль скоро множество интеллектуалов в мире продолжает искать объяснение тем процессам, что произошли в орбите российского (советского) пространств и концентрическими кругами разошлись по многим континентам. Очевидно и то, что российское общественное сознание не стало более независимым: кажется, что только в нашей стране средствами массовой информации цитируются с таким вниманием и частотой мнения иностранных изданий или аналитиков, формирующих образы России.

Образы России. Много ли в них САМОЙ России? Как возникают и меняются её имиджевые черты? Существуют ли национальные традиции изображения России её соседями, партнерами и противниками? Какие интеллектуальные конфигурации, политические конъюнктуры, векторы глобального развития создавали и создают восприятие нашей страны другими? И возможно, самая больная и глубоко эмоциональная, зато уж чисто «русская» озабоченность: насколько справедливо к нам относятся и «нравимся ли мы» окружающему миру? Вариантом ответа на эти вопросы может стать данная статья, цель которой — проследить путь, пройденный французским россиеведением за последние десятилетия, центрируя исследование на второй половине 1990-х гг.

Обозначая траектории развития современной французской русистики, я не претендую на всеохватность. В то же время, выборку статей и монографий, иллюстрирующих общие тенденции, нельзя назвать случайной, в первую очередь, благодаря контактам с самими французскими историками (1).

Россия глазами французских историков: общие тенденции

Французская историческая наука, без сомнения, сформировала одну из самых уважаемых национальных традиций историописания. Вступив на путь профессионализации своего знания на рубеже XIX–XX вв. (2), историки Франции предопределили ряд специфических черт, которые ярко проявят себя в методологически и сюжетно насыщенной рефлексии прошлого века. Неизменным тематическим предпочтением французов останется история Франции, вдохновившая появление множества шедевров, которые продолжают изучаться как «классические» образцы профессиональной работы историка. На этом блестящем фоне Россия вызывала небольшой, но стабильный интерес, не отразивший того динамизма приливов и отливов внимания, что характеризовали в XX в. русистическое англоамериканское мировоззрение. В этом проявилась ещё одна особенность — относительно малая политическая ангажированность деятельности историка во Франции. Так, анализируя процессы, происходящие в СССР, французские историки не адаптировали для себя самоназвание советологов (3), реже становились под знамена «холодной войны», не отождествляли себя с представителями «тоталитарной» или «ревизионистской» школ в той степени, в какой это было характерно для США. Однако, при всей толерантности и гибкости традиции, анализ хронологии смен различных систем интерпретаций позволяет всё же поместить французскую русистику в общее для Запада русло.

В центре фокуса как англоамериканского, так и французского исследований, затмевая все прочие длительности истории России, прочно утвердился советский режим. Размышления историков о нём начинаются во Франции послевоенного времени с работ, которые развивают «тоталитарную» парадигму, сформулированную Ханной Арентс (4). Раймон Арон анализировал базовые принципы тоталитарной системы: монополию единственной партии на власть и идеологию, силовое принуждение, проникновение государства во все сферы общества до полного поглощения последнего, идеологизацию всех направлений деятельности человека и государства (5). Этот стиль анализа возобновил Ален Безансон, нашедший ключ к пониманию системы в идеологии, которая формирует ту «логократию», иными словами, ту утопию, сопровождаемую определённым дискурсом, что оказалась в состоянии преобразовывать прошлое и создавать новую советскую действительность (6).

Параллельно, не побеждая доминирующей тенденции, анализ Клода Лефора подпитывался критическим, по отношению к опыту большевизма, марксиз-

мом и подталкивал скорее к «феноменологическому» наблюдению за практиками социально-политической жизни. Автор изучает механизмы функционирования партии и партийной бюрократии, и в логике данного исследования именно всевластие чиновников задает разнообразные способы организации общества (7).

Марк Ферро отмечает в парадигме тоталитаризма гипертрофию политического, поскольку в ней не рассматривается момент социального укоренения и последующей поддержки режима широкими слоями населения, которые и образуют основу нового государственного аппарата (8).

Таким образом, критика тоталитарных теорий изначально была направлена против засилья в историческом исследовании политологических ракурсов и концептов, а также против пренебрежения факторами социальной, экономической и культурной истории. По мере превращения научной «тоталитарной» парадигмы в идеологию «холодной войны» (нельзя также забывать о значительном влиянии Коммунистической партии Франции на социальную атмосферу своей страны), оппозиция ряда историков подготавливала восприятие научным сообществом так называемого «ревизионистского поворота». Новый методологический импульс, возникший по ту сторону Атлантики, способствовал на рубеже 1970–1980-х гг. утверждению во французской русистике понятий и подходов социальной истории. Однако, опять-таки, необходима оговорка: «пересмотр» идеи тоталитаризма, как и ранее сам тоталитаризм, не стали здесь новым «крестовым походом» во имя истины. «...во Франции, если и можно говорить о “ревизии”, она стала делом эмоциональным, индивидуальным, иногда экстериоризированным» (9).

Ревизия тоталитарной конфигурации производилась по нескольким направлениям (10).

Во-первых, ревизионистам представлялась неявной линия преемственности рубежа 1920–1930-х гг. Эволюция эпохи Ленина к сталинскому режиму не была неизбежной и необходимой, поскольку новый стиль экономического планирования, «второе» поколение большевиков, образовавшее элиту и государственный аппарат 1930-х, изменившийся внутренний «порядок», достигаемый посредством террора, безусловно, имели свои исторические предпосылки, но не соответствовали неумолимой логике тоталитарного алгоритма.

Во-вторых, «социальные» историки стали «с фактами в руках» доказывать разрыв теории тоталитаризма с практиками советской действительности. Так, эмпирические исследования коллективизации сельского хозяйства в СССР привели ряд авторов к глубоко «анти тоталитарному» убеждению в том, что руководство Коммунистической партии в 1930-х гг. было обречено на принятие данного экономического и политического решения. Перед лицом численно подавляющей крестьянской массы власть, опирающаяся на рабочий класс, была вынуждена отстаивать в подобной форме интересы последнего. Безусловно, данный вывод звучит очень категорично, но, с другой стороны, не является большей редукцией к схеме, чем сама теория тоталитаризма.

В-третьих, сомнению подвергся тип функционирования государственного аппарата и партии в СССР, характер которого демонизировался в тотали-

тарной парадигме, как если не совершенное, то эффективное орудие государственной твердыни зла. В реальном исполнении систему пронизывали внутренние противоречия и консенсусы, импровизации, конкурентные интересы и расходящиеся концепции настоящего и будущего. Одним из первых эту норму советской действительности начал анализировать Габор Риттерспорн, убеждавший, что традиционный образ сталинского времени основан на идеологических и политических суждениях, часто эмоциональных и предвзятых, которые не могут производить иного исторического анализа, кроме поверхностного и схематичного. Свою задачу в исследовании сталинского режима он усматривал в том, чтобы изучать «в конкретном контексте исторического периода повседневное функционирование советского режима и его средств контроля над обществом» (11).

В-четвёртых, ревизионисты предложили новые интерпретации сценариев и механизмов террора. В теории тоталитаризма насилие рассматривается как неотъемлемое от режима средство подавления внутренних конфликтов, подчиняющееся самой жесткой централизации и подлежащее контролю со стороны центра в каждой фазе и детали. «Социальные» историки стремились доказать, что пространство террора давало возможности для самореализации отдельным «маленьким» людям, находившим в нем средство избавления от соперников в социальном восхождении или просто вызывавших недовольство соседей, чем-то мешавших в повседневности потенциальным кляузникам.

Обнажив, не без пользы, слабые места «тоталитарной» парадигмы, «ревизионисты» позволили критикам выявить их собственные «фигуры умолчания» (12). Можно ли инициировать новые способы изучения политических реальностей, попросту оставляя их за кадром исследования? Стоит ли объяснять усиление классовых антагонизмов в 1917 г., исследуя только рабочие движения заводов и улиц — пример конкретного выражения так называемой истории «снизу», — и игнорируя организующую роль революционной интеллигенции? Список вопросов, не принятых во внимание ревизионистами, можно продолжить.

Для «социальных» историков характерно также отсутствие внимания к культуре и дискурсу участников (актеров) истории, некогда метко охарактеризованное Мишелем Фуко как «бедная идея реального». Типичной формулой объяснения многообразного комплекса человеческих и социальных действий является, например, фраза: «национализм в Российской империи был формой, которая стала выражением нерешенных экономических и социальных проблем». В данном русле исследований существует определённое затруднение и с выявлением причинно-следственных зависимостей. Так, рассуждая о периоде Гражданской войны, ревизионисты склонны рассматривать политику «военного коммунизма» как простую результирующую «социальных обстоятельств», упуская из виду, что трудные «обстоятельства» этой эпохи, в которых оказалось советское руководство, сами по себе были в большинстве случаев результатом, часто неожиданным, тех решений, что были приняты революционной властью.

Новым решающим этапом, который можно определить, для французской, и для западной русистики в целом, как момент «ревизии ревизионизма», оказался рубеж 1980–1990-х гг. Его символическим обозначением стал стремительный, почти мистический для западного общественного сознания, распад Советского Союза, который не был предсказан историками, и не помещался в обозначенные ими социальные параметры. В этих условиях русистика 1990-х оживляет политическую историю, тоталитарные концептуализации возвращаются, изданием нескольких ярких монографий, обретая «второе дыхание».

Однако эволюция норм французского исследования России оказалась двойной, и даже разнонаправленной. К середине 1990-х гг. крах глобальных объясняющих моделей, нормальным следствием которого стало бесконечное дробление методов и подходов, совпал по времени с открытием целого ряда российских архивов, усилив тенденцию «возвращения к источнику», и без того прочно утвердившуюся во французской исторической науке на излёте XX в. Возрождение почти позитивистской веры в самоценность документа, отсутствие у социальных историков выраженных средств концептуализации, сопровождалось в науках о человеке усилением вкуса к сфере культурного. Для исследователей 1990-х гг. теоретической основой изысканий по истории СССР часто служат произведения корифеев эпистемологической рефлексии последних десятилетий — П. Бурдьё, Ж. Дерриды, М. Фуко и ряда других.

Так, возвращая проблематику власти, «новые» социальные историки исследуют практики распределения благ в «экономике бедных», проясняя взаимосвязь «патрон-клиент» и образование каналов «блага», свидетельствующих о решающей роли персональных связей в сталинской культуре.

Делается акцент на изучении парадоксального, для интернационалистской фразеологии большевизма, этнического обособления советских людей усилиями самого государства-партии, приписавшего каждому гражданину определённую национальность. Тем самым власть культивировала национальные идентичности и закладывала основу для политики «позитивной дискриминации» в СССР.

Особым направлением являются исследования компромиссов, которые всегда пронизывают политическую организацию общества, между интересами отдельных малых групп (личностей) и учреждений, представляющих коллективные формы социума и государства. Концептуализации Фуко позволяют анализировать механизмы создания персональных идентичностей, внутреннего усвоения людьми тех импульсов, которые приходят из социальной среды. Тем самым, в фокус исторического анализа попадает «живой» сталинизм. Перспектива социальной истории фиксирует прежде всего очевидные меркантильные интересы — ценности карьеры, материальной выгоды, чтобы объяснить процессы «включения» личности в общественную систему. Указанный подход, заостряя проблему индивидуального сознания, задается, скорее, связями между социально-экономической структурой и личным действием. Последнее, как известно, не может объясняться исключительно рациональными и поддающимися типологиям массового общества критериями.

В целом, сохраняя отличительные черты общей для исторической науки парадигматической неопределённости, французская русистика тяготеет к двум методологическим полюсам: теории тоталитаризма и обновленной социальной истории, стремящейся к более тонкому и разностороннему пониманию исторических реальностей СССР.

Книжное производство современной Франции, в той своей части, что посвящено истории России, подтверждает тенденцию явного тематического преобладания советской истории в исследованиях. Мне посчастливилось обнаружить лишь две книги, опубликованные позднее 1995 г. и не связанные с советским периодом (13). Первая из них — книга Франсин-Доминик Лейштена «Россия входит в Европу. Елизавета I и австрийское наследство. 1740–1750». Монография анализирует ситуацию дипломатической борьбы европейских дворов XVIII в. и процесс интеграции России в международную политику. Вторая книга — «Иерархия равных. Русская старорежимная знать XVI–XVII веков» Андре Береловича, создана в лучших традициях жанра исторической антропологии и реконструирует облик дворянского сословия России в указанный период. В основном же палитра методологических и тематических исканий французского россиеведения представлена рядом монографий по истории XX в., некоторые из которых необходимо рассматривать как полемическую связку «вызовов» и «ответов» в рамках продолжающейся дискуссии о природе коммунизма и тоталитаризма.

«Прошлое одной иллюзии» против усложнённого «Возвращения к коммунизму»

В 1995 г. была издана книга известного историка Франсуа Фюре «Прошлое одной иллюзии. Эссе об идее коммунизма в XX веке» (14), написанная в развитие уже состоявшихся тоталитарных концепций. Автор монографии считает исходным пунктом своего исследования крах Советского Союза, и пытается осмыслить завершившийся исторический цикл, с ним связанный. Как приверженец концептуальной истории, Фюре склонен объяснять советский период средствами единственной категории: он рассматривает коммунистическую идею как опасную иллюзию, овладевшую умами народных масс, которая дала жизнь столь же сомнительному режиму, и существовала так долго, как ей позволял упомянутый режим. Доказательством иллюзорной эфемерности последнего является та стремительность, с которой распалась империя коммунизма.

«Народы, которые выходят из коммунизма, кажутся одержимыми отрицанием режима, в котором они жили, даже если они наследуют от него привычки и нравы. Борьба классов, диктатура пролетариата, марксизм-ленинизм исчезли, уступив место тому, что они, как считалось, должны были заместить: буржуазной собственности, демократическому либеральному государ-

ству, правам человека, свободе предпринимательства» (15). Сравнивая Наполеона и Ленина, утверждавших каждый на базе своей страны новый тип империи, Фюре отдает безусловное предпочтение первому: в наследие покорившейся, а затем отвергнувшей завоевателя Европе он оставил, цитирую, «широкий след воспоминаний, идей и учреждений, которыми вдохновлялись даже его враги, чтобы его победить». Ленин же, в отличие от французского вершителя судеб, «наследия не оставил», даже в виде призрачного шлейфа воспоминаний. «...Быстрое разрушение советской империи ничего не оставило после себя: ни кодов, ни учреждений, ни даже истории. Как немцы до них, русские — второй великий европейский народ, неспособный объяснить свой XX век, и отсюда — неопределённость относительно всего их прошлого». Неудивительно, что не только цель, но и резюме своей книги автор декларирует уже во введении: не состоявшись в качестве социального эксперимента во имя будущего, «советский опыт образует одну из великих антилиберальных и антидемократических реакций европейской истории XX века, другой опыт — это, конечно, фашизм, в различных своих формах». Чтение основного текста книги мало что добавит к пониманию самой истории Советского Союза — её изложение весьма схематично, факты, взятые в качестве примера, хрестоматийны для тоталитарной риторики.

По поводу вышеизложенного позволю себе только одну, правда, эмоциональную, реплику: видимо, нужно быть русским, а ещё лучше, молодым русским, живущим в России, чтобы, принадлежа к своему либеральному поколению, ощущать всей полнотой сознания горечь своих национальных трагедий и одновременно чётко отдавать себе отчёт в том, что наследие коммунизма весомо и незабываемо. Большевики ликвидировали безграмотность, уравнили в правах мужчин и женщин, совершили прорыв в космос, и руководили, хотя и ценой многих жертв, борьбой советского народа против фашизма, чреватого, уже вне любого из идеологических контекстов, физическим истреблением нации...

Но что Франсуа Фюре за дело до тонкостей и противоречий русской драмы? У него свои счёты с коммунизмом: в юности он, как многие левые французские интеллектуалы, пережил увлечение, а затем разочарование в данной идеологии. Последнее и послужило мотивацией для создания «Прошлого одной иллюзии».

«Ответом» на монографию Франсуа Фюре стала книга Клода Лефора «Усложнение. Возвращение к коммунизму» (16). Автор усматривает в предложенной оппонентом интерпретации новую тенденцию осмысления истории СССР, отмечая, что единомышленником Фюре является также Мартин Малия, который в своём произведении «Советская трагедия» изображает государство большевиков всецело управляемым утопией социализма (17). Советский режим Малия именуется «партистократией», что практически аналогично «идеократии», а изучение социальных связей и экономики ничего не разъясняют, с его точки зрения, о природе режима. Функционирование партии в таком видении советского строя проявилось как чисто инструментальное.

Она обеспечивала эффективное средство умножения агентов доктрины и поддержку их тонуса в строгой дисциплине действия. Совпадение анализов двух выдающихся историков заставляют Клода Лефора думать о новой схеме интерпретации тоталитаризма (18).

Коммунизм в ракурсе Фюре и Малия, отмечает автор, выглядит как продукт духовного бреда: коммунистическая идея не имела исторических предпосылок и никогда не была укоренена в реальности. Лефор определяет мотив собственного эссе в том, чтобы, не ограничиваясь «точечной» критикой «Прошлого одной иллюзии», воспроизвести в обзоре собственный многолетний анализ, посвященный проблемам тоталитаризма и современной демократии, их прояснить и их «усложнить».

Вновь обращаясь к проблеме преувеличенного заострения проблемы идеологий в тоталитарных концепциях, автор рассуждает о допустимости разделения фактического материала на «политическое» и «неполитическое». Сведение многообразия истории к первому отчасти оправданно, поскольку в действительности нет индивидуальной или коллективной деятельности, нет отношений между личностями и группами, которые были бы независимы от политики в плоскости экономической, социальной или культурной. Однако с той же легкостью можно утверждать обратное: сферы «чистой политики» не существует, поскольку любые политические решения и действия исходят всегда из социально обусловленных очагов власти, какой бы не была широта их компетенции и полномочий.

Коммунистическая партия также являлась выражением определённой социальной власти, и ей приходилось внедряться в советское общество и рационально его организовывать. Следовательно, невозможно свести данный новый тип режима к схеме деспотизма, тирании или диктатуры: необходимо признать историческую инновацию и задаться выяснением её истоков (19). Сам феномен коммунистической власти с неизбежностью несет на себе печать прошлого, из которого он появился, следы разнородных практик и верований.

Для обозначения своей теоретической основы Лефор заимствует из социальной антропологии Марселя Мосса понятие «целостного социального факта», утверждая, что надо рассматривать социальные феномены в их исторической конкретике, схватывая посредством анализа больше, чем идеи или общие правила — людей, общественные группы и способы их поведения. Отсюда и совершенно иная дефиниция тоталитаризма: это режим, в котором фокус власти является принципиально нелокализуемым. Тоталитарное общество определяется здесь прежде всего как общество, в котором стерты признаки разделения между доминирующими и подавленными, признаки разделения между властью, законом и знанием. Продолжая полемику с Фюре и Малия, автор противопоставляет коммунизм и демократию как две альтернативы современности, не имеющие общей идейной платформы, традиционно находимой в прогрессистских устремлениях философии Просвещения. Он заключает, что именно отсутствие закона характеризует режим, установившийся в 1917 г.

Дискуссию о применимости в истории схем и аналогий тоталитарных теорий дополняет собой сборник статей «Нацизм и коммунизм. Два режима в столетии», вышедший под редакцией Марка Ферро и собравший различных по своим идейным и методологическим принципам авторов, включая упомянутых выше Ф. Фюре и К. Лефора (20). Объединение под одной обложкой различных текстов, исходящих из взаимодополняющих, а иногда взаимоисключающих подходов, позволяет обозреть проблему тоталитаризма и тоталитарных режимов с учетом многих нюансов. Во вводной статье «Нацизм и коммунизм: лимиты сравнения» Марк Ферро стремится занять «равновесную» в рамках обозначившейся полемики позицию и обозначить критерии исторически корректного сопоставления фашизма и сталинизма в исследованиях.

Автор отмечает, что само понятие тоталитаризма является скорее описательным, чем объясняющим, порождая у исследователя склонность рассматривать идеи и теории независимо от того, какое конкретное политическое воплощение они получают или как они проявляются в социальной жизни. От этого анализ обществ, опираясь лишь на историю идей, получается поверхностным. Следовательно, используя политические документы и программы, необходимо брать в рассмотрение всю совокупность отношений, существующих внутри общества, наследуемых от предков и дающих обществу формы самовыражения. Свой принцип Марк Ферро применяет, анализируя конфигурации диктатуры и насилия в России 1917 г. и их эволюцию в советской истории в сравнении с тоталитарным прошлым Германии (21).

Композиция сборника образуется тремя независимыми блоками: первый раздел воссоздаёт социополитическую реальность и структуры власти в СССР и гитлеровской Германии, второй — формирует образы сталинского и фашистского режимов сквозь призму понятия тоталитаризма и его историографических эволюций. Последний раздел ставит вопрос о природе и функционировании нацистского и советского режимов, чья историческая реальность была соткана из внутренних противоречий в той же степени, что и развитие историографических практик, посвящённых данным сюжетам.

Теории коммунизма в единственном и множественном числах

Но всё же самым символичным и одновременно фундаментальным противостоянием французских историков по вопросам истории коммунизма стало издание двух следующих книг, каждая из которых была представлена коллективом многих и уважаемых авторов.

Тон будущего дебата задала «Чёрная книга коммунизма», опубликованная в 1998 г. Исследовательское кредо её авторов выразил Стефан Куртуа в вводной статье под названием «Преступления коммунизма». Позволю себе

злоупотребить обстоятельностью её пересказа — слишком много поводов для недоумения она оставляет. Речь, что любопытно, будет идти в основном не об истории советского режима, но об императивах профессионального призвания историка в связи с историей советского режима.

Как следует из названия, цель проекта — заклеить позором криминальную составляющую коммунизма, с тем, чтобы предотвратить распространение коммунистической идейной эпидемии в будущем и способствовать прекращению ныне действующих коммунистических режимов.

Единственная черта коммунизма, которую авторы соглашаются принимать в расчёт — его преступность, которая, покинув стадию индивидуальных убийств и узконаправленного террора, стала в самых разных странах настоящей системой правления. Конечно, со временем режим почти повсюду терял свою первоначальную жестокость, но всё равно стабилизировался в тотальном повседневном угнетении, через цензуру средств коммуникации, пограничный контроль, преследования диссидентов, а сама «память о терроре» продолжала внушать угрозу репрессий, калеча сознание. Преступления коммунизма не подлежат оправданию с точки зрения исторической или моральной, они определяются как таковые не декоративной юридической системой самих режимов, но «неписаным кодом естественных прав человечества» (22).

Авторы «Чёрной книги коммунизма» преследуют цель пройти, шаг за шагом, по следам коммунистического террора во всех формах и в течение всей длительности его существования. С. Куртуа называет неисчислимые преступления системы: против «человеческого духа», против культуры вообще и национальных культур, в частности, против отдельных личностей и в самых различных формах — от голода и депортации до многочисленных способов казни. Но что есть преступление? Автор называет «объективные» и «юридические» составляющие преступления, которое может совершаться Государством, черпая опыт из материалов Нюрнбергского процесса: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. Далее он доказывает, дотошным перечислением случаев массовых расстрелов, голода, ссылок и разрушений, совершенных при коммунизме, полноправность применения критериев суда над фашистами по отношению к советским режимам.

Но может ли историк употреблять понятия «преступления против человечности» или «геноцида», характерные для юридического лексикона? — спрашивает себя С. Куртуа. Не слишком ли они зависимы от конъюнктурных императивов, чтобы использоваться в исторической рефлексии? И сам же себе отвечает: «может» и «не слишком». Интересна аргументация: речь идёт не о том, чтобы вернуться к историческим концепциям XIX в., когда историк стремился больше «судить», чем «понимать». И всё же, «перед лицом необозримых трагедий, провоцируемых определёнными идеологическими и политическими концепциями, может ли историк оставить всякий принцип референции к гуманистической концепции, связанной с нашей иудео-христианской цивилизацией и нашей демократической культурой, — например, уважение

к человеческой личности?». Этими понятиями уже пользовались историки, анализирующие феномен нацизма. Помножив один вопрос на другой, автор делает вывод: «Нам кажется, что не будет незаконным использовать эти понятия для характеристики некоторых преступлений, совершенных коммунистическими режимами» (23). Я бы подытожила такое объяснение мотиваций своего исследования следующим образом: «Историк, конечно, должен “понимать”, а не “судить”, но если очень хочется “судить”, болея за судьбы мира, тем более, если это суждение соответствует общепризнанной морали, и другие так до него раньше делали, то, конечно, можно и даже необходимо». Несколько странный вывод для человека, всерьёз считающего себя ученым.

Далее С. Куртуа пытается определить «удельный вес» жертв коммунизма и фашизма, насчитывая 100 миллионов человек против 25 соответственно. Основу цифры уничтоженных нацизмом составляют 15 миллионов «гражданских лиц, убитых в оккупированных странах», куда, видимо, попадают и представители советских народов, принявших на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Непонятно только, как автору удалось в данном случае поделить советское население на «гражданское» и «военное»? Может быть, он ничего не знает о специфике Отечественных войн в России? Пусть для него многие миллионы погибших на фронте оборонительной войны советских солдат почему-то не считаются жертвами фашизма — что тоже очень странно для человека столь чувствительного к вопросам совести, но как обстоит дело с массой «гражданских» советских партизан? К какой группе населения они относятся?

Ниже, убедив читателя в численном перевесе жертв коммунизма, автор сравнивает нацистские и коммунистические механизмы сегрегации и исключения: поскольку они всегда направлены против целых групп, изображаемых в качестве врагов, они равно отмечены логикой геноцида, и образуют закономерности одного вида. Поэтому нет разницы — быть уничтоженным в газовой камере за наследственный дальтонизм или экзему, или получить десять лет без права переписки вследствие доноса соседа, а расовая теория и диктатура пролетариата равно неприятны. Может, я тоже страдаю какой-то формой морального дальтонизма, но почему-то напротив, совершенно убеждена: теории расового и национального исключения гораздо омерзительнее, чем любые теории социального превосходства. Видимо, потому, что цвет кожи или принадлежность к определённой нации поменять или оправдать значительно более трудно и унижительно, чем социальный статус.

Ещё ниже по тексту, облегчая нам задачу понимания, Куртуа спрашивает: почему именно сейчас необходимо придать преступлениям коммунизма статус научного предмета? И отвечает: исключительное внимание к данной теме вполне оправданно, совпадая с желанием выживших свидетельствовать, исследователей — понимать, моральные и политические власти — подтвердить демократические ценности. Но «эхо» всех этих интенций в общественном эфире проявляется слабо: «не идёт ли речь скорее о решительном отказе знать, о боязни понимать?» (24). Автор сетует на «неправильное» восприятие

Западом советской действительности, на длительный период «ослепления» общества, наивного в восприятии коммунистических идей и испуганного советской мощью, на цинизм политиков и дельцов, наконец. Теперь наступил период «открывать глаза» народам Северной Атлантики на криминальную сущность коммунизма. Автор сетует на «чёрствость» своего общества: к незнанию — вольному или невольному — криминального измерения коммунизма, добавляется, как обычно, «безразличие наших современников к их человеческим братьям» (25).

Суммирую: потребность в переосмыслении феномена существует, но она характерна для небольшого круга лиц и тонет в общем равнодушии. Но почему тогда именно тема коммунизма вызывает столько страсти и пафоса у авторов книги? Почему бы им не избаловать другие многочисленные несправедливости человеческой истории? Массированное и целенаправленное уничтожение в США коренного населения континента, — чем не тема? И потомки остались, и восприятие проблемы у многих «неправильное». Или преступления христианской церкви в исторический период, — все пострадавшие давным-давно погибли или умерли, но прививать чувствительность к бедам другого на данном примере можно. Или всё-таки нельзя, если авторы заявили о своей приверженности христианским ценностям? Итак, напрашивается ответ: преступления коммунизма должны стать предметом научного анализа, потому что господину Куртуа — христианину и либералу — так хочется. Рассуждать о том, о чём хочется, со своих гражданских, религиозных и моральных позиций, — это нормально и действительно демократично. Только непонятно, причём здесь научный анализ, или, другими словами, чем данный научный анализ будет отличаться от политической декларации. Может быть, только экскурсами в историю и в статистику — но нет, политики, пытаясь манипулировать общественным сознанием, зачастую именно так и поступают.

Под занавес своих рассуждений об аберрациях восприятия коммунистической «империи Зла» на Западе, автор, видимо, решив, что первый заход был неубедительным, вновь возвращается к объяснению мотиваций: почему о коммунизме нужно писать именно сейчас и таким образом. Оказывается, огромную роль для него играют «внутренние архивы репрессивной системы бывшего Советского Союза, бывших народных демократий, Камбоджи», которые «высвечивают ужасающую реальность: массовый и систематический характер террора», приводивший во множестве случаев к преступлениям против человечности. Настал момент изучить научным способом, то есть, поясняет Куртуа, способом, «документированным неоспоримыми фактами и освобожденным от политико-идеологических ставок, которые над ним довлеют», чтобы задаться вопросом: какое место занимает преступление в коммунистической системе?» (26)

Яркий случай «*deja vue*»: кажется, на первых страницах статьи нам пафосно объяснили, что преступления — системообразующее звено коммунизма. И как, опять-таки, естественное для ученого намерение анализировать

«объективно», ложится на категорично заявленную приверженность библейским и либеральным ценностям? Или только данная аксиология, если таковая существует, ведь подлинный либерализм свободен от религиозной заданности, приближает историка к объективности, а приверженцам моральных ценностей, скажем, буддизма, атеистам или вообще монархистам, даже и пытаться не стоит?

Обозначив перспективу усиленного изучения архивов, автор говорит о «долге истории». И снова: «...никакая тема не является табу для историка и ставки и давления любого порядка — политические, идеологические и личные — не должны мешать ему идти дорогой знания, обнаружению и интерпретации фактов, особенно когда те долго и умышленно были спрятаны в тайне архивов и сознаний». Не должны, конечно, но в конкретном случае сильно мешают, обнаруживая неспособность к элементарной саморефлексии.

Вторым побудительным импульсом сборника Куртуа называется «долг памяти» — моральное обязательство прославлять память мертвых, особенно если они — невинные и безымянные жертвы Молоха абсолютной власти. Забегая вперёд, скажу, что практически в любом разделе представленной монографии невинные жертвы режимов так и останутся анонимными, фигурировать в ней будут только имена inferнальных коммунистов, а подавленные ими народы будут выглядеть бессловесной безликой массой, лишённой собственного разума и воли. Своеобразный способ возвращать честь и память погибшим...

И, наконец, долг перед историей и памятью предполагает весомое моральное значение. Ведь авторов могут спросить: «А кто вас уполномочил говорить о Добре и Зле?». Здесь историк С. Куртуа, в качестве последнего убийственного для оппонентов довода, почему-то ссылается на энциклики папы римского Пия XI, посвящённые в 1937 г. фашизму и коммунизму.

В них утверждалось, что Бог дал человеку ряд прерогатив, включая право на жизнь, на необходимые средства к существованию, на следование пути, обозначенному Богом, право на объединение, на собственность, право пользоваться этой собственностью. Ниже, уже из другого энциклика, приводится цитата, дающая представление об антихристианском облике коммунизма, разрушающем священный институт частной собственности.

По замыслу автора, данные купюры текста должны свидетельствовать о роли церкви как морального цензора, и, в качестве фона, позволить поразмыслить: каким должен быть дискурс историка перед лицом «героического» рассказа приверженцев коммунизма или патетического рассказа его жертв? И снова рефрен: историк должен быть голосом тех, кто не в состоянии сам рассказать правду о своей жизни, должен устанавливать факты и элементы правды, образующие знание, должен быть алертным, избегая наивных суждений в отношении сложных и противоречивых проблем. Но «...это историческое знание не может абстрагироваться от суждения, которое отвечает несквозным фундаментальным ценностям: уважению прав представительской демократии, и, особенно, уважению человеческой жизни и достоинства...

Именно во имя демократических ценностей, а не национал-фашистских идей необходимо анализировать и осуждать преступления коммунизма» (27). Как и Франсуа Фюре, его единомышленник Стефан Куртуа с сожалением поминает прежнее увлечение авторов «Чёрной книги коммунизма» пресловутой преступной идеологией.

Учитывая, что идея представительской демократии и «естественных прав» человека насчитывает не многим более двухсот лет, господин Куртуа мог бы превратить всю мировую историю в непрерывную летопись попраiania прав личности и частной собственности, но, слава Создателю, не захотел и полем его проповедей нравственности оказался только коммунизм.

Таким образом, замысел книги, направленный на безоговорочную дискредитацию коммунизма, вполне достигается в ходе его реализации — характеристики советского террора и картина его размаха устрашают, книга иллюстрирована душераздирающими фотографиями, сопоставимыми по силе воздействия с материалами упомянутого Нюрнбергского процесса. Однако её концепцию смело можно охарактеризовать как антиисторическую, сводящую на «нет» все достижения, прежде всего, французской социальной истории, которая стремилась на протяжении всего XX в. удерживать автономную по отношению к политическим конъюнктурам западного общества позицию.

Основной содержательный блок «Чёрной книги коммунизма» включает, помимо введения о преступлениях коммунизма, следующие темы: «Государство против своего народа: насилие, репрессии, террор в Советском Союзе», «Мировая революция, гражданская война и террор», «Другая Европа — жертва коммунизма», «Коммунизм Азии: между “перевоспитанием” и резней: Китай, Вьетнам, Лаос и Камбоджа», «Северная Корея», «Третий мир» — в последней речь идёт о коммунизме Латинской Америки, Африки и Афганистана. К чести авторов надо упомянуть о том, что никто из них не придерживается, в конкретно-исторических обращениях, эмоциональной, если не сказать, истерической риторики Стефана Куртуа. Но обозначенная последним закономерность не меняется: даже с учетом национальных форматов советских режимов, авторы неуклонно следуют логике тоталитарной парадигмы, с очень незначительной опорой на социальные условия стран, в которых формируются и существуют «преступные» режимы, и полностью игнорируя личные траектории судьбы «жертв», от имени которых они выступают.

Заключение «Почему?», написанное также Стефаном Куртуа, поражает уже не утомительными морализациями, но жёсткой редукцией исторического материала. Как явствует из заголовка, автор размышляет о причинах распространения и институализации коммунизма и его движений. Эпицентр зла, он, естественно, находит в России, утверждая, что террористическая составляющая будущих стратегий власти у коммунистов приходит не столько из концепций Маркса, сколько из особенностей её исторического опыта и национального характера. Ибо доминирующей чертой сознания русских испокон веков была БРУТАЛЬНОСТЬ. Иван «Ужасный» — Грозный в русской транскрипции — тринадцати лет от роду затравил собаками отрока боярина Шуй-

ского, потому развязал опричнину и убил сына, Пётр Первый будет не лучше, крестьяне утопят в крови «разинщины» и «пугачёвщины» десятки тысяч своих господ, а террорист Нечаев (для непосвящённых дается пояснение — прообраз «беса» у Достоевского) покажет большевикам эффективный стиль революционной работы. Потом о жестокости окружающего мира будет сокрушаться мягкосердечный Максим Горький... (28). В этом месте, если чуть более дорожить мнением Стефана Куртуа, стоит обидеться и обвинить его в русофобии. Разве в средневековой истории Франции мало жутких и кровавых сюжетов? И как это — одна сплошная brutality в русском характере? А где же русская покорность, долготерпение, способность к самопожертвованию, поиски Бога, великодушие и щедрость? Неужели Достоевский ничего не писал об этом?

«Мировая война и русская традиционная жестокость позволяют, конечно, лучше понять тот контекст, в котором большевики приходят к власти; и всё же они не объясняют крайне грубый путь, к которому они сразу выскочили и который особенно контрастирует с революцией, начатой в феврале 1917 года, имеющей с самого начала характер мирный и демократический». Человек, который установил эту жестокость и обеспечил партии захват власти — это Ленин. Видимо, с позиции автора, ни правительство Николая II, ни русские демократы-конституционалисты, ответственности за случившееся в России 1917 года не несут.

Интересно отметить, что «Чёрную книгу коммунизма» уже дважды издали в России, хотя и не вполне ясно, кто является её читателем. Очевидно одно: если советская история вызывает у вас гамму противоречивых и болезненных чувств, или если вы желаете почерпнуть из опыта французских историков новые её «научные» интерпретации, данное чтение ничего полезного, как мне кажется, в восприятие проблемы не привнесёт.

Отрадно осознавать, что самой исчерпывающей критикой «Чёрной книги коммунизма» оказалась реакция французских историков. Сборник «Век коммунизмов» представил статьи не менее именитого коллектива авторов, принявших, широким тематическим фронтом, «контрнаступление» социально ориентированной истории (29). Импонирует сдержанная и рассудительная тональность данного проекта. При том, что оппоненты, против которых направлено острие критики, легко угадываются, в текстах отсутствуют прямые пикировки и восклицания, провоцирующие эмоциональные реакции.

Во введении Бруно Гроппо и Бернар Пюдаль призывают отказаться от изучения коммунистического опыта России и Китая, как оплотов коммунизма, от европоцентризма и с максимальной серьёзностью отнестись к проблеме модернизации этих обществ. В отсутствие собственной демократической традиции их исторической спецификой стал аграрный тип экономики и общества, затрудняющий процессы индустриализации и подчинённый необходимости решать крестьянский вопрос. Это историческое постоянство должно способствовать не рассуждениям об архаичном типе власти, тяготеющей к деспотизму, но постановке комплекса вопросов о специфике рабочего

класса, его политической индифферентности, его отношений с воинствующими коммунистическими элитами, ставить вопрос о взаимосвязях народных масс с «их» представителями.

В действительной истории коммунизма, утверждают авторы, все — во множественном числе. Необходимо учитывать, что, как условия возникновения, так и условия существования были различными для каждой коммунистической партии, определяя особую их роль в национальных политических системах, профсоюзах, муниципальных учреждениях, ассоциациях, массовых движениях. Формирование и пополнение коммунистических партий также демонстрирует отсутствие необходимого тоталитаризму единообразия. Вступление в коммунистическую партию могло иметь разную мотивацию, от сознательного противостояния социальному порядку до простого приспособления к социальным правилам игры — случай, частый в коммунистических странах, где только партия обеспечивала доступ к многочисленным профессиональным позициям, и в частности, в ряды «номенклатуры». Важен и момент вовлечения различных социальных групп в ряды партии, их типология, мотивы и полученные выгоды. Интеллектуалы, активисты «народного» происхождения и другие входили в партию с разными традициями борьбы и в разные периоды. Целесообразно выделять в партийном опыте оппозиционные течения троцкистов и прочих, кто был вынужден покинуть партию или исключались из неё.

Марксизм также тяготеет к формам множественного числа и представлен в истории XX в. различными и противоречивыми измерениями.

В идее коммунизма в единственном числе сам коммунизм выглядит как некий московский Ватикан, образующий сорт универсальной церкви. Однако историческая действительность являлась куда менее связной: балансируя «...между “тоталитарным” проектом и реальностью, нельзя недооценивать недостатки функционирования, подводные камни, конфликты власти, культурные и социальные трансформации и потерю веры, которые всегда характеризовали коммунистические партии и общества» (30).

Рассуждая о методологических константах тоталитарной парадигмы, авторы заключают, что сравнительный анализ нацизма и сталинизма совершенно оправдан, но ограничиться этим сопоставлением, не включая в анализ демократию, её собственные принуждения и опасности, значит обеднять фигуру компаративизма.

Авторы отмечают жесткий идеологический контекст изучения советской истории. «Те, кто изучали коммунизм, часто поддерживали со своим объектом изучения эмоциональные отношения, одни, — ища способы оправдать коммунизм, другие — найти причину, чтобы бороться» (31) с ним. Общее понятие коммунизма можно расчленить одновременно на коммунизм как политическое движение, государственную систему, идеологию, социальную и культурную реальность и пространство религии, то есть в историческом анализе он неизбежно предстает как сложный объект, имеющий множество ипостасей.

Злоупотреблению политической историей сторонниками тоталитарных концепций есть свое практическое объяснение: раньше не было доступа к архивам. Это обстоятельство обязывало исследователей опираться главным образом на опубликованные документы и свидетельства, разрабатывать гипотезы и интерпретации на довольно зыбких теоретических основаниях. С эпохой «открытых архивов» фактологическая база исследования по истории коммунизма пополнилась, но авторы предостерегают коллег против чрезмерного энтузиазма: «документы архивов не говорят сами, только в зависимости от вопросов, поставленных историками» (32).

Никогда не существовало историографии коммунизма действительно нейтральной, как не существовала подобной историографии нацизма или фашизма. И теперь она остается замкнутой в противостоянии либеральной концепции тоталитаризма и социальной истории. Никакой новой попытки генерализации не появилось, но ориентиром обновления истории коммунизма мог бы стать синтез политической и социальной истории, социологии и антропологии, а также сравнительные исследования, проводимые по типу или с учетом тех методологических авансов, что были сделаны в сфере изучения нацизма.

Первая часть книги «Интерпретации коммунизмов» начинается главами Брижит Стюдер и Сабин Дюлен, в которых делается краткий историографический обзор проблемы соотношения тоталитаризма и сталинизма, а также стилей анализа советской системы, сложившихся во французском историческом исследовании.

Любое написание истории основывается, в первую очередь, на анализе национального пространства со своими традициями и взаимосвязями, отмечает Б. Стюдер. Но важна и хронологическая эволюция подходов и схем интерпретаций. Долгое время историю коммунизма характеризовал транснационализм методов и парадигм. Историческое производство было замкнуто между полюсами коммунистическо-ортодоксальной мысли и академического анализа, всегда критичного по отношению к коммунистической идеологии. Меж двух крайностей располагались работы различных левых оппозиций. И всё же с историографической позиции все три подхода мало различались, делая акцент на политическом в его традиционной дефиниции. Отслеживая отмеченный выше алгоритм изменений: тоталитаризм — ревизионизм — постревизионизм, обе исследовательницы отмечают, что СССР никогда не интересовал историков сам по себе, но только как «модель» или «контрмодель» в сравнении с капиталистической системой, в той степени, в какой его история «может что-то нам сказать о будущем французского общества, демократии, мира и коммунизма» (33).

В настоящий момент доминирующей тенденцией становится стремление к более «тонкому» пониманию СССР, которое достигается пересмотром нескольких стереотипов исследования. Это и слишком «макроэкономически» абстрактный характер анализа, приводивший к переоценке экономической мощи СССР, и невнимание к функционированию советского бюрократического

аппарата. Особый интерес, с точки зрения Дюлен, представляют парадоксы конструирования современного государства в России, двойственная природа советского федерализма — наследника русоцентристской империи и создателя национальных идентичностей, и взаимосвязь отношений власти с русским национальным сознанием. В центр исторической рефлексии возвращается дихотомия «разрыв-преемственность», позволяющая легко прочитывать аналогии с французским Старым Порядком и революцией.

Николя Верт популяризовал во Франции идею двойного происхождения советского государства, наследующего опыт бывшей империи и производящего собственные социальные эксперименты. Анализ Клаудио Серджио Ингерфлома и Тамары Кондратьевой также отслеживает моменты постоянства власти, которая, несмотря на все свои модернистские устремления и новые идеологии, несет в себе прежние традиционные представления. В них власть мыслится не как среда, управляемая законом, но как «вотчинный» комплекс, в котором социальный статус человека определяется фактом и формой физического доступа к патрону-кормильцу, подателю всех жизненных благ. «Кормленческая» функция власти, которая проявляет себя в формировании сети специального обеспечения и иерархизации чиновников по уровню льгот, угадывается и в распределении кремлевских продуктовых пайков, мало отличаясь от обыкновений жизни московского царского двора. Ален Блюм в своих исследованиях показал, как демографические практики могли иметь свою собственную протяженность и динамику, независимую от сферы политических действий (34).

Таким образом, советская история интегрируется ныне в большую длительность истории российской, а подавляющее большинство её исследовательниц стремятся дистанцироваться от идеологии и приблизиться к историческим практикам.

Во второй части книги «Великие стадии истории коммунизмов» устанавливается связь между историческим опытом первой мировой войны и эволюцией социалистического движения. В разделе «От России к СССР» рассматриваются в ракурсах социальной истории сюжеты, посвященные проблемам специфики коммунизма в России, жестокости, террора, партии, демографических практик, русского крестьянства, взаимодействий рабочих с коммунистической властью, советских женщин.

Клод Пенетье и Бернар Пюдаль анализируют деятельности КПСС и «коммунистический» тип личности. Выявляя предпосылки и условия образования партийных организаций в России, сформировавших собственную специфическую среду, авторы отмечают, что русская политическая сфера всегда оставалась пространством игры под присмотром. Она осуществляла свою деятельность в контролируемом и подцензурном обществе, от чего формируется, и особенно в нелиберальном крыле, специфический тип партийных отношений и дисциплины. Так, получив опыт конспиративной и агитационной работы, арестов и ссылок, революционной борьбы и гражданской войны, партия большевиков выработала особый комплекс внутренних пра-

вил. Её повседневные практики позволяют сделать вывод о том, что «...установив радикальный разрыв между прошлым и будущим активиста, обозначенный ритуалами инкорпорации, контролируя все аспекты жизни своих членов, установив систему привилегий, пропорциональную степени посвященности, возводя признание и донос в норму», партия стремилась полностью подчинить себе индивида и переделать его личность в соответствии со своим идеалом.

Глава «Коммунизм и жестокость», написанная Мишелем Дрейфусом и Роландом Лью, доказывает, что авторитарное государство и диктатура — достояние не только «реального социализма», но гораздо более фундаментальная характеристика целого ряда обществ XX в., в котором жестокость становится поистине всепроникающей. Жестокость масс началась задолго до 1917 г., до утверждения «реального социализма», и продолжилась после его провала. Да и сейчас, как показывает настоящее, жестокость по-прежнему составляет часть человеческой среды. Отсюда двойная проблема: роль жестокости в столетии, и специфические формы жестокости, связанные с «реальным коммунизмом». Естественно, что эта тема напрямую увязана с дебатом о тоталитаризме.

Изначально посвятив свой анализ нацизму, начиная с «холодной войны», теоретики тоталитаризма мало-помалу сконцентрировались на «коммунистических» режимах, оставляя побежденный фашизм и становясь идеологической армией этой холодной войны. Ужасная жестокость, которую «реальный коммунизм» обнаружил множество раз в своей истории, не может всё-таки отождествляться с расовым истреблением, который практиковался фашизмом. Однако можно задуматься о влиянии русского социального универсума времен Первой мировой войны, который был пропитан деспотизмом, архаизмом и религиозностью, неизбежно наложившими свой отпечаток на формирование большевистской партии. Гражданская война вызывает новый виток милитаризации партии большевиков: она видит себя в осажденной крепости, которую нужно отстоять любой ценой, не слишком останавливаясь на гуманитарных рассуждениях, заявленных ранее принципах и народных чаяниях. То, что русская революция осталась изолированной на интернациональной сцене после 1919–1920 гг., не превратившись в «перманентную», тяжело довлекло над ней. Однако именно Первая мировая война остается рубежным этапом российской истории: «историография слишком часто связывает 1905 год с 1917, забывая наследие войны» (36).

В советском варианте намерение партии-государства, и, прежде всего, Сталина, противостоять широкому крестьянскому большинству, развязывает процесс беспорядочной индустриализации, мало спланированной и плохо управляемой, а следом за ней принудительную коллективизацию крестьянства. Аграрное население оценивается новой властью как архаичный и темный мир, подлежащий принудительному интегрированию в «прогрессивное» развитие. В совокупности данный комплекс мер вызывает беспрецедентный по масштабам социально-экономический кризис. Перед лицом мнимых и реаль-

ных социальных беспорядков, которые были укоренены и расширены самим режимом, ответом власти было новое усиление жестокости. Режим пытался рационализировать иррациональный беспорядок, за который сам был ответственным, иницируя розыск и подавление «внутреннего врага».

Но страны «реального социализма» подчиняются, на взгляд авторов, более широкой авторитарной тенденции. Как же понять эту устойчивость авторитаризма, включая все его формы? Авторы статьи усматривают причину, может быть, впервые говоря в унисон с коллегами, создавшими «Чёрную книгу коммунизма», в слабости демократических традиций, которые позволяют создавать диктаторские режимы.

Таким образом, коммунистические режимы соответствуют одной общей тенденции века: диктатуре над народом, и её внедрение под предлогом того, что народ не готов управлять собой сам (37).

«Обновленная» социальная история: новые поля исследований

В установленный «Веком коммунизмов» методологический кадр обновленной социальной истории помещаются и следующие издания. Монография Алессандро Станзиани «Экономика в революции» (38) рассматривает судьбу экономических теорий и практик в России, выделяя в эпоху «крестьян, экономистов и функционеров» — 1870–1930-е гг. — три этапа. Первый из них занимает 1870–1914 гг., когда в Россию активно проникают экономические теории и на благоприятном фоне «великих реформ» складывается поколение русской экономической технократии. Второй этап — эпоха войны и революции — 1914–1922 гг. — отмечен рождением «экономики войны» и упадком экономической технократии. И, наконец, в 1920-е гг. русские экономисты, пережив недолгий период сотрудничества с государством, в итоге сойдут со сцены советской истории. Прослеживая радикальные трансформации экономического знания за указанный период, автор стремится устанавливать связи между экономическим и статистическим анализом, с одной стороны, и историческими административными практиками сначала царизма, затем большевизма, с другой. Специалисты экономического профиля здесь выступают в качестве центральных актеров: с течением лет понимание задачи научного прогресса у них постепенно меняется, от антиэтикатической направленности к защите интересов государства.

Станзиани подвергает сомнению ряд вопросов и устойчивых формулировок традиционной историографии — революция 1905 г., революция 1917 г., «военный коммунизм», «НЭП», «сталинизм», помещая их в более сложный контекст эволюции социальных групп и их экономической активности.

Иллюстрирует отмеченную историографическую тенденцию и книга «Русские “снизу”. Исследование посткоммунистической России», написанное

Алексисом Береловичем и Мишелем Вьевьоркой (39). Она интересна, в первую очередь, как одна из немногих, посвященных России 1990-х. К тому же работа подкупает стремлением, что следует уже из названия, передать современное состояние России через социологические ракурсы, исследующие «изнутри» опыт представителей различных социальных групп и общественных движений, на материале российских регионов.

Книга «Власть и общество в Советском Союзе», опубликованная под редакцией Жана-Поля Депрето (40), характеризуя историографическую ситуацию последних лет, стремится преодолеть оппозицию тоталитарной и ревизионистской школ, сочетая видение проблем «сверху» и «снизу» и ратует за историю советского опыта неразрывно социальную и политическую. Изучение диктатуры предполагает здесь двойное действие: анализировать социальные основания политических процессов и прояснять социальные последствия решений, принятых властями.

Переходя от теоретических деклараций к уровню исторической конкретики, статья Мартин Меспале исследует профессиональную среду советских статистиков в 1920-х гг. «как место напряжений и противоречий, конфликтов и переговоров». Тому же автору принадлежит книга «Статистика и революция в России. Невозможный компромисс (1880–1930)» (41), где с позиций деятельности социальных актеров исследуется механизм становления и эволюции статистической службы в России и СССР.

Социальным последствиям действий официальных властей посвящены работы Натали Муан: она проясняет парадоксальные последствия утраты гражданских прав отдельными социальными группами в 1930-х. Эти меры были вызваны волей партии сражаться с «классовыми врагами» и управлялись местными властями, но фактически привели к дискриминации бедных, единственная вина которых заключалась в том, что они не принадлежат к индустриальному пролетариату.

Петер Холкист, в статье «Общество против государства, общество, управляющее государством, культурное общество и государственная власть в России, 1914–1921», возвращается к заявленному «Веком коммунизмов» намерению искать истоки советской истории в Первой мировой войне. Выбранный автором ракурс исследования представляется интересным, поскольку высвечивает, на мой взгляд, один критический рубеж «обновленной» социальной истории.

Какую роль сыграло общество в образовании советского государства? — спрашивает автор. Привычно задаются этим вопросом, чтобы выяснить, кто были социальные актеры, поддержавшие большевистское государство. Но можно изменить его постановку. Как существовавшие ранее в русской культуре представления об «обществе» и «государстве» повлияли на те формы, которые советская система приняла впоследствии? Автор характеризует своё исследование, как отвечающее критериям социокультурной истории.

Мировая война и революция должны рассматриваться как точки континуума, в котором военные годы были особенно решающими для России,

основательно трансформируя политическую организацию империи. На закате Российской Империи, само понятие «общества» имело особый смысл. Оно обозначало не просто воображаемую общность, автономную по отношению к государству, но отчетливо противопоставлялось как государству, так и «народу». Авторитарная русская система препятствовала появлению действительно гражданской общественной сферы

Интеллигенты России часто сочетали желание изменить существующую ситуацию и одновременно избежать недостатков современного капиталистического индустриального уклада. Они формировали проект замещения существующего порядка не современным обществом в том виде, в каком они существуют у «лидеров» прогрессивного развития, но его идеализированной проекцией.

Природа отношения между обществом и государством претерпела решающие изменения в годы, непосредственно предшествовавшие революции, в годы Первой мировой войны.

В этот период все общества состояния войны получили «параэтактический комплекс», плотную сеть гражданских и профессиональных организаций, глубоко привязанных к государству. Мобилизации военного времени в России позволяют обозреть этапы создания многочисленных общественных организаций. Но в России параэтактический комплекс развивается под эгидой государства, без предварительного развития автономной общественной сферы — отсюда чрезмерная милитаризация и новая волна огосударствления всей общественной жизни.

Очень часто представляют Временное Правительство как пассивно уступившее власть поднявшимся Советам. На деле жесткие, часто насильственные меры, принятые правительством для урегулирования летних кризисов 1917 г., образуют институциональные основы, которые унаследуют большевики. Нельзя проводить четкую демаркацию между правительствами и политиками Февраля и Октября. Так, Советы не были первыми, кто помышлял о применении силы, а советский режим, осуждая индивидуальное действие, в военизированном порядке ориентировал свои репрессивные меры скорее против личности, чем против её собственности.

В целом, в статье делается акцент на периоде 1905–1921 гг., создавшем специфическую конъюнктуру, континуум интенсивного, но исторически обусловленного изменения. После революции 1905 г. многие представители образованных групп общества начинают оценивать государство как средство для обуздания «стихийности» народных масс и её трансформации в стремление к прогрессу и просвещению. Однако царизм не разрешил, в контексте войны, необходимые для реализации этих целей общественные структуры. Вместо независимой по отношению к государству гражданской сферы, в России утверждается специфический параэтактический комплекс военного времени, который, посредством своих структур и техник мобилизации обеспечивает общее наследие всем политическим движениям после 1917 г.

Таким образом, этатизм большевиков, акцент, сделанный ими на государстве как на основном инструменте, чтобы выполнить миссию просвеще-

ния невежественных масс в России, вписывается в большую длительность политической русской культуры.

Но где же просматривается методологический «зазор», оставленный французской социальной историей конца 1990-х гг.? В период работы над статьёй, чтения и анализа текстов, меня не оставляло ощущение, что вписать советский период в длительность российской и мировой истории окажется куда труднее, чем декларировать подобное намерение.

Изначально история СССР, взаимными усилиями коммунистических идеологов и западных либералов, была представлена как поле невиданного социального эксперимента, противопоставившего себя истории человечества в целом. Аксиологические полюса данной репрезентации коммунизма как долгожданного общества социальной справедливости или ужасного морака преступной идеи со своими социальными эффектами в данном случае уже не важны. Замкнутый в себе хронологический «советский» кадр стал базовым не только для парадигмы тоталитаризма, но и сформировал специфику всех без исключения историков советского режима — советских и не советских — как действительно «узких» специалистов, которые изучают феномен, не имеющий никаких исторических аналогов. Этот автоматический, почти не рефлексивный историографией момент, остается, как мне кажется, весьма навязчивым и труднопреодолимым. У российских историков — в силу болезненной травмы национального сознания, перенесенной в XX в. У французских историков — по своим причинам, на которых, следуя заявленной в заглавии теме, стоит остановиться подробнее.

Мартин Меспуле и Алессандро Станзиани в указанных выше работах ретроспективно «расширяя» формат своего исследования советских статистиков и экономистов соответственно до эпохи «великих реформ», вполне справляются со своей задачей. Но речь здесь идёт о специфических сюжетах с ясно просматривающейся функциональной задачей: «рождение» профессионального универсума, перипетии его становления и взаимодействия с социальной средой, «итог», полученный при советской власти. Куда сложнее обстоит дело с сюжетами и проблемами комплексного характера, т. е. там, где неприменимы «одномерные» объяснения. Зачастую возникает ощущение, что, пытаясь углубить свое исследование привлечением исторического контекста, русисты либо не чувствуют, либо недооценивают архетипов русского национального сознания и культуры.

Хуже всего, видимо, обстоит дело с восприятием национального этатизма или, в русской фразеологии, «державности», тесно увязанных в сознании с проблемой «войны». В ряде случаев очевидные, как представляется, свидетельства стойкости национальных стереотипов, подменяются рассуждениями с позиций теории модернизации. Так, Николая Верт однозначно объясняет массовое дезертирство русских крестьян с фронтов Первой мировой войны и «отсутствие у них патриотизма» недостатком политической европейской культуры (42). А стоит ли? Не следует ли здесь скорее сослаться на специфику русского патриотизма? В народном сознании всегда было очень сильным

понимание «праведной» войны — за родную землю — и «неправедной» — любой другой. В умах крестьян война на европейских фронтах за европейские же интересы со всей очевидностью была «неправедной». Отмеченная выше, безусловно, интересная и новаторская статья Холкиста, стремясь проследить истоки октября 1917 г. в опыте Первой мировой войны, всё также наглядно иллюстрирует недостаточность герменевтических усилий автора. Можно ли, по аналогии с ситуацией западных участников Первой мировой войны, рассуждать о формировании «параэтнических комплексов» в России, как об аномалии, прервавшей образование гражданского общества? Уместно ли вообще говорить о «параэтнических комплексах» в государстве, которое изначально, с московского периода, «порядок» в котором мыслился в категориях успешных и неуспешных войн? В логике традиционной российской государственности скорее появление гражданской сферы будет выглядеть аномалией.

Можно предположить, что пониманию устойчивых конфигураций нашей национальной идентичности парадоксальным образом мешает сложившаяся в либеральной идеологии Запада формула «имперского сознания» русских. Геополитически она легко объяснима, — территориально небольшая Европа не может не подозревать необъятную Россию в намерении непрерывно расширяться за счёт своих соседей. Но эта дефиниция имеет свой конечный интеллектуальный ресурс. Наслаиваясь на устоявшуюся основу европоцентристских теорий модернизации, в историческом анализе политические клише нередко заставляют исследователей объяснять свой предмет категориями привычных суждений. Тем больше оптимизма вызывает стремление целой плеяды французских русистов сформировать тонкое, чувствительное к конкретно-историческим противоречиям и национальной традиции восприятие истории России и опыты его воплощения.

В России 1990-х гг. французское руссиеведение было представлено переводами нескольких монографий: «Демократия и тоталитаризм» (1993 г.) Раймона Арона, «Несостоявшийся гражданин: Русские корни ленинизма» (1993 г.) Клаудио Сержио Ингерфлома, «Большевики-якобинцы и признак термидора» (1993 г.) Тамары Кондратьевой, «Прошлое одной иллюзии» (1998 г.) Франсуа Фюре, «Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность катастрофы» (2000 г.) Алена Безансона, «Политические очерки (XIX–XX века)» (2000 г.) Клода Лефора, «Чёрная книга коммунизма» (1999, 2001). Особого внимания заслуживает издание, подготовленное Институтом российской истории РАН и Домом наук о человеке, Франция, «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД: 1918–1939: Документы и материалы. В 4 томах», публикуемое с 1998 года. Самым популярным французским историком-руссиеведом, безусловно, остается Никола Верт, чья «История советского государства» завоевала статус одного из лучших вузовских учебников и неоднократно переиздавалась в России (1992, 1994, 1998, 2000).

Cahiers du Monde Russe — ведущее периодическое издание французской русистики

Полагаю необходимым представить краткий обзор за 1996–2001 гг. «*Cahiers du Monde Russe*» (Тетрадей русского мира) — периодического ежеквартального издания Высшей школы социальных исследований, которое является ведущим в данной области французского знания и отражает базовые историографические тенденции. Более того, благодаря усилиям коллектива редакции, и в первую очередь, Владимира Береловича, журнал является важным средоточием научных поисков европейской русистики, формируя интересные тематические конференции и «круглые столы», и, до некоторой степени, задавая тон будущим исследованиям.

История России до периода «великих реформ» представлена в журнале немногими, в общей пропорции, девятнадцатью статьями, в основном микроисторического характера. Большая часть из них посвящена анализу писем иностранцев из России или о России, а также их проектов преобразований или воспоминаний (43). Отдельный номер посвящён теме «Французы и немцы в России 18–19 веков» (44). Другие сюжеты охватывают фальсификации дворянских генеалогий в XVII в., рождение русской картографии, институт генерал-губернаторства и понятие «новгородской земли» в средневековом Новгороде.

Россия «пореформенная» представлена 13 статьями, здесь, кроме темы номера «Взгляд на еврейский мир» (45), фигурируют статьи о брошенных детях в российской судебной системе, земствах и статистических бюро, деятельности французских путешественников и археологов в Туркестане, инженерных ассоциациях и немногие другие.

Советской России посвящено пять тематических номеров и около 70 статей в совокупности. Номер «Война, гражданские войны и национальные конфликты в Российской империи и Советском Союзе, 1914–1922» (46) соответствует отмеченной выше тенденции помещать начало советской истории в контекст Первой мировой войны. Другие темы: «1930-е годы: новые направления исследований», «Демографическая и социальная статистика (Россия, СССР). Политика, управленцы и общество», «Архивы и новые источники советской истории: переоценка», «Политическая полиция в Советском Союзе» также отражают доминирующую направленность современной французской русистики изучать историю России сквозь призму «новой» социальной истории. Можно выделить здесь, в порядке уменьшения количества статей, им посвященных, следующие сюжетные линии: проблемы политического надзора и полиции в СССР (18), новые возможности открытых советских архивов (11), войны и революции (10), репрессии 1930-х (7), статистика в СССР и статистический анализ (5), восстания и беспорядки в СССР (2), и, наконец, по одной статье: письма Сталина начала 1930-х гг., национальности в системе

управления, 1926–1979; паспортизация в СССР, губернские статистические бюро, индустриализация и её источники, система власти и взаимодействие между регионами и центром, безработица и занятость в СССР, специалисты-аграрии, проблема русификации в СССР, общество «воров в законе», подростковая преступность, присвоение имен в СССР, миграции населения, репатриация советских граждан из Франции, евреи, проблема советского влияния в мире.

Условно выделив тему «Постсоветское пространство», удалось обнаружить 11 статей, включая темы социальных трансформаций и проблемы занятости в современной России, православия и его фракций, круглого стола по методологическим дебатам об истории России, англо-американской и польской историографий России, политики национальной безопасности в России и «евразийских» устремлений Казахстана, идентичностей нерусских народов России.

В отдельный раздел стоит выделить культуру, искусство и идеологии России, которую формируют 23 статьи, в том числе, филологического характера. Среди них — исследования французских подтекстов и архитектурных метафор у Мандельштама, литературных и культурных аллюзий В. Набокова, нравоучительная подоплека в творчестве Н. Лескова, произведения А. Погорельского как образец салонной русской литературы, библейские образы у русских поэтов, двойственные идентичности российских писателей-евреев, Б. Арватов как теоретик пролетарского искусства, жанр эпистографии в России, проблема культового сериала в советском и постсоветском контекстах, письма Б. Пильняка об Азии, идейная эволюция В. Соловьева, русский анархизм и национализм, протоколы сионских мудрецов, творчество драматурга Л. Петрушевской, деятельность троцкиста Н. Смирнова, А. Пресняков и петербургская школа марксизма, новое русское евразийство.

Неожиданно влиятельной темой *Cahiers du monde russe* стали мусульманство и мусульмане в России, которым посвящены два номера: «Исламский реформизм в России» (47) и «В сибирском исламе» (48). Интерес историков вызывают проблема передачи и трансформации ислама у волжских татар, «народный» ислам, философия ислама и проблема реформизма, иммиграция крымских татар в Турцию, распространение мусульманства и механизмы его усвоения в Сибири, религиозные практики сибирских народов.

В проектах и конференциях «*Cahiers du Monde Russe*» принимают активное участие коллеги из России. Участие в тематическом номере «Война, гражданские войны и национальные конфликты в Российской Империи и Советской России, 1914–1922 годы». (49) российских историков было представлено статьей Геннадия Бордюгова «Чрезвычайные меры и “чрезвычайщина” в Советской республике и других государственных образованиях на территории России в 1918–1920 гг.», Ирины Давидян «Военная цензура в России в годы гражданской войны, 1918–1920 гг.» и Александра Квашонкина «Советизация Закавказья в переписки ведущих большевиков, 1920–1922 гг.».

Тема номера 1998 г. «Тридцатые годы. Новые направления исследований» (50) состоялась при участии Геннадия Бордюгова с исследованием «Политика и идеология чрезвычайных мер между сталинской “революцией сверху” и Большим террором, 1930–1936 годы», Олега Хлевнюка — «Механизмы большого террора 1937–1938 годов в Туркестане» и Елены Осокиной — «Иерархия бедности». В последней из указанных работ речь шла об экономических и социальных последствиях форсированной индустриализации, создавших новую социальную стратификацию, где даже правящий класс едва ли мог сравниться по показателям материального комфорта с уровнем потребления верхних слоев среднего класса капиталистических обществ.

В теме: «Немцы и французы в России, 18–19 века» (51) Дмитрий Ростиславцев и Светлана Турилова. представляют исследование «Французы в России в 1793 году», а Пётр Заборов в статье «“Я не забываю ни России, ни русских”. 25 писем барона де Дама семье Лениных» анализирует корреспонденцию французского аристократа, вернувшегося на родину после революции 1789 г. Работа «Франкоговорящие путешественники в Центральной Азии, 1860–1932 гг.» Светланы Горшениной реконструирует, сквозь призму французских интересов в регионе, исторический контекст и политическую ситуацию в Центральной Азии. Статья того же автора «Первые шаги русских и французских археологов в русском Туркестане, 1870–1890 гг.» (52) представляет пионеров археологического исследования Туркестана и рассказывает о создании первых систематических коллекций.

«Революция и социальная справедливость: ожидания и реальность (“Письма во власть”, 1917–1927 годов)» Александра Лившина и Игоря Орлова (53) рассматривают данные источники как важные документы для исследований социальной истории и истории ментальностей, отражающие изменения в сознании масс постреволюционного периода

Актуальнейший для современного россиеведения сюжет «Архивы и новые источники советской истории, переоценка» (54) был отмечен в «*Cahiers du Monde Russe*» участием Лидии Кошелевой и Ларисы Роговой, со статьёй «Личные архивы советских руководителей: история их образования и настоящее», а также Олега Хлевнюка — «Историк и документ». Речь идёт о проблеме открытия архивов, фальсификации документов и деформации их содержания, ставится вопрос о степени сохранности архивов, их потенциальных возможностях и новых перспективах.

Анна Жуковская в статье «Рождение нормативной эпистолографии в России. История первых русских учебников эпистолярного искусства» (55) рассказывает о заимствовании и адаптации данного жанра в России XVII в.

Исследование Александра Чудинова «Жильбер Ромме о русской армии XVIII века» анализирует воспоминания французского шпиона, служившего гувернантом у Строгановых в эпоху Екатерины II (56).

Статья «Миграции населения в СССР, 1926–1939 годы» (57) С. Максудова исследует свой предмет на основе статистических данных.

В «нетематическом» номере «Cahiers du Monde Russe» за первый квартал 2000 г. можно отметить статьи Елены Осокиной «Золото для индустриализации. Продажа произведений искусства СССР в период пятилетних планов Сталина», Марины Толмачевой «Первые русские исследования китайской границы и первые карты региона», а также Веры Мильчиной «Россия в 1839 г. маркиза де Кюстина и современные ей источники». В последней автор доказывает, что основным источником информации для именитого историка были материалы парижских газет и рассказы барона Баранта.

Номер «В сибирском исламе» (58) включает в себя статьи Николая Томилова «Этнические процессы тюркского населения западносибирской равнины (XVI–XX вв.)», Светланы Корусенко «Этнический состав и внутриобщинные отношения татар Среднего Иртыша (конец XVIII — конец XX вв.): исследование некоторых демографических и генеалогических данных», Александра Селезнева «Мусульмано-языческий синкретизм у тюркских народов Западной Сибири», а также Шульпан Ахметовой «Ислам в культуре казахов Западной Сибири».

В теме «Политическая полиция в Советском Союзе, 1918–1953 годы» (59) статья Юрия Шаповала «Механизмы информационной деятельности ГПУ–НКВД. Дело по надзору за Михайлой Грушевским» проясняются механизмы надзора, сбора и анализа информации, отношения «органов внутренних дел» и партии. Исследование Валерия Васильева «Информационная система ГПУ: Как Л. Каганович был информирован об украинской политической ситуации 1920-х» анализируется роль видного партийного деятеля в реализации советской политической программы на Украине и способы получения им информации из ГПУ. Владимир Хаустов в статье «Развитие советских органов госбезопасности, 1917–1953» исследует отдельные аспекты деятельности органов безопасности в советском государстве, целью которых была реализация директив партии. Фактически данная служба превратилась в тайную полицию, производящую слежку за неблагонадежными. Статья Никиты Петрова «Изменения в персонале советских органов безопасности, 1922–1953 годы» даёт детальное описание данной социальной группы, основанное на социальных, этнических и политических истоках с учетом динамик эпохи.

Подводя итог этой статьи, необходимо вернуться к её «точке отсчёта», которой послужило то обстоятельство, что для русских — крайне важно видеть себя «чужими глазами». Представленная здесь, хотелось бы верить, с достаточным отражением уровня внутренней сложности историографическая позиция позволяет сделать вывод, что французское россиеведение переживает динамичный, наполненный дискуссиями и поиском новых методологических перспектив, этап. Оно оставляет и несколько впечатлений самого общего характера: по видимости, большинство французских историков склонны считать Россию, при всех изломах её национальной судьбы, страной европей-

ской, которая, скорее всего, вернется в общее русло развития. Отсюда постоянный поиск аналогий в рамках общего «позитивного» европейского контекста, но и, возможно, недопонимание её исторических постоянств.

Предугадывая эволюцию французской русистики в дальнейшем, можно предположить дальнейшее размывание хронологической рамки советской истории, её распад на вполне независимые проблемные ракурсы, занимающие периоды большей длительности. Впрочем, наверное, в этом прогнозе есть момент подмены действительного желаемым — для создания целостного образа истории России нужно объединять усилия историков «досоветской» и «советской» эпохи, — но численный перевес и, стало быть, доминанта исследовательского интереса, явно на стороне последних.

Характерной чертой французской историографии второй половины XX в. были и остаются способность и воля к созданию монументальных коллективных исследований, большей частью, по истории Франции. Если движущей силой подобных проектов является не только патриотизм, хотелось бы увидеть в перспективе такой труд, выполненный французским коллективом авторов по истории России.

Но все мы только в начале этого пути.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выражаю сердечную благодарность коллегам за поддержку: Морису Эмару и администрации Дома наук о человеке, а также Жаку Ревелю — президенту Высшей школы исследований в социальных науках — за предоставленную мне возможность работать во Франции, специалистам по истории России Марку Ферро, Алексису и Владимиру Береловичам, Марии Феретти, и особенно Тамаре Кондратьевой за весь опыт общения, позволивший, хотелось бы надеяться, сориентироваться в теме.

2. *Les courants historiques en France. 19e-20-e siècles.* — Paris: Armand Colin. P.67.

3. *Dulin Sabine.* Les interprétations françaises du système soviétique, dans *Le siècle des communismes.* — Paris: Les Éditions de l'Atelier, 2000. P.47.

4. Можно даже расширить это суждение, сказав, что Ханна Арендт положила основу многим дискуссиям о специфике XX столетия. Так, носитель скорее антитоталитарных настроений во французской русистике, Клод Лефор, называет её очень близким для себя автором, которая, цитирую, «вдохновляет меня задаваться вопросом, с точки зрения совершенно отличной, о том, что становится законом “в конкретике” тоталитарного универсума». *Lefort Claude.* «La complication. Retour sur le communisme. — Paris: Fayard, 1999. P.17.

5. *Aron Raymond.* Démocratie et totalitarisme. — Paris: Gallimard, 1965.

6. *Besançon Alain.* Le malheur du siècle. Sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah. — Paris: Fayard, 1998.

7. *Lefort Claude.* La complication. Retour sur le communisme. — Paris: Fayard, 1999.

8. *Ferro Marc.* La révolution de 1917. — Paris: Albin Michel, 2 vol., 1997.

9. *Dulin Sabine.* Les interprétations françaises du système soviétique... P.49

10. *Studer Brigitte.* Totalitarisme et stalinisme, dans *Le siècle des communismes.* — Paris: Les Éditions de l'Atelier, 2000. P.33–34.

11. *Rittersporn Gabor Tamas.* Simplifications stalinienne et complications soviétiques (Tensions sociales et conflits politiques en U.R. S. S. (1933–1953). — Paris: Éditions des archives contemporaines, 1988.

12. *Pouvoirs et société en Union soviétique.* — Paris: Les Éditions de l'Atelier, 2002.

13. *Liechtenhan Francine-Dominique.* La Russie entre en Europe. Elisabeth Ire et la Succession d'Autriche (1740–1750). — Paris: CNRS Éditions, 1997; *Berelowitch Andre.* La hiérarchie des égaux. La noblesse russe d'Ancien Régime XVI–XVII siècles. — Paris: Seuil, 2001.

14. *Furet Francois.* Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle. — Paris: Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995.

15. Там же. С.11–12
16. *Lefort Claude*. La complication. Retour sur le communisme...
17. *Malia Martin*. La tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie. 1917–1991. — Paris: Éditions du Seuil, 1995.
18. *Lefort Claude*. La complication... P.9.
19. Там же. С.11–12
20. Nazisme et communisme. Deux régimes dans le siècle. Présenté par Marc Ferro. — Paris, 1999.
21. Там же. С.11–37
22. Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression. — Paris: Robert Laffont, 1998. P.7
23. Там же. С.15
24. Там же. С.23
25. Там же. С.27
26. Там же. С.34
27. Там же. С.36–37
28. Там же. С.856–859
29. Le siècle des communismes. Sous la direction de Michel Dreyfus, Bruno Groppo, Claudio Sergio Ingerfom, Roland Lew, Claude Penner, Bernard Pudal, Serge Wolikow. — Paris: Les Éditions de l'Atelier, 2000.
30. Там же. С.13
31. Там же. С.19
32. Там же. С.21
33. Там же. С.48
34. *Nicolas Werth*. Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoires comparées, sous la dir. De Henry Rousso. — Bruxelles: Editions Complexe-INTP-CNRS, 1999; *Claudio Sergio Ingerfom*. Le citoyen impossible. Les racines russes du léninisme. — Paris: Payot, 1988; *Kondratieva T.* «De la fonction nourricière du pouvoir auto-cratique au XVIIe siècle», De Russie et d'ailleurs, Mélanges Marc Ferro, Institut d'études slaves, 1995. P.255–269; *Kondratieva T.* Le souverain-nourricier, un aspect caché du pouvoir en Russie //Politica hermetica, № 14–2000. P.113–124; *Blum Alain*. Naitre, vivre et mourir en URSS. — Paris: Plon, 1995.
36. Там же. С.492
37. Там же С.497
38. *Stanziani Alessandro*. L'économie en révolution. Le cas russe, 1870–1930. — Paris: Albin Michel, 1998.
39. *Bereulovich Alexis*. Wiewiorka Michel, Les russes d'en bas. Enquete sur la Russie post-communiste. — Paris: Éditions du Seuil.
40. Pouvoirs et société en Union soviétique». — Paris: Les Éditions de l'Atelier, 2002.
41. Statistique et révolution en Russie. Un compromis impossible (1880–1930). — Rennes: Presse Universitaire de Rennes, 2001.
42. *Werth Nicolas*. Paradoxes et malentendus d'octobre, Le livre noir du communisme... С.47.
43. См., например, *Liechtenhan F.-D.* La cour d'Elisabeth vue par des diplomats prussiens (1). — Cahiers du Monde Russe, 1998, juillet-septembre. P.253–282.
44. Cahiers du Monde Russe, 1998, juillet-septembre.
45. Cahiers du Monde Russe, 2000, octobre-decembre.
46. Cahiers du Monde Russe, 1997, janvier-juin.
47. Cahiers du Monde Russe, 1996, janvier-juin.
48. Cahiers du Monde Russe, 2000, avril-juin.
49. Cahiers du Monde Russe, 1997, janvier-juin.
50. Cahiers du Monde Russe, 1998, janvier-juin.
51. Cahiers du Monde Russe, 1998, juillet-septembre.
52. Cahiers du Monde Russe, 1999, juillet-septembre.
53. Cahiers du Monde Russe, 1998, octobre-decembre.
54. Cahiers du Monde Russe, 1999, janvier-juin.
55. Cahiers du Monde Russe, 1999, octobre-decembre.
56. Там же. С.723–750.
57. Там же. С.763–796.
58. Cahiers du Monde Russe, 2000, avril — septembre.
59. Cahiers du Monde Russe, 2001, avril — décembre.

ГОРЯЧИЙ ПЕПЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. ЯПОНСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Василий МОЛОДЯКОВ

Японское россиеведение (*Росиа кэнкю*) всё ещё до обидного мало известно в России. Главная причина этого, конечно же, языковой барьер. Если практически каждый отечественный специалист по истории России в той или иной степени владеет английским языком, многие — французским и/или немецким, т. е. языками входящими в обязательный образовательный минимум российского гуманитария, то число подобных специалистов, знающих японский язык, близко к нулевой отметке. Таким образом, очень мало кто может знакомиться с трудами японских коллег в оригинале, а число их переводов на английский и тем более на русский язык невелико и для полноценного знакомства явно недостаточно.

Скажем откровенно: большой трагедии в этом нет. Приходится признать, что японское россиеведение по ряду причин как в количественном, так и в качественном отношении пока ещё уступает европейскому и американскому, не говоря уже о собственно российском. Однако это вовсе не значит, что его достижения можно игнорировать, а его эволюция не представляет интереса для тех, кто изучает историю и культуру России в нашей стране или за её пределами. Ниже мы постараемся показать и доказать это.

Существуют целые книги, посвящённые истории восприятия и изучения России в Японии — только опять же не на русском языке (1). Поэтому наша работа призвана хотя бы отчасти восполнить существующую лакуну. Написание подробной истории японского россиеведения во всех его направлениях и аспектах — по принципу «кто что изучает и о чём пишет» — необходимо. Здесь же мы хотим показать основные факторы и тенденции его развития в период с 1991/92 гг., т. е. со времени конца «холодной войны», краха коммунистической системы и распада СССР, до наших дней — одновременно в статике как итог его эволюции, и в динамике, поскольку оно непрерывно развивается. При этом мы помещаем россиеведение (сузив это понятие до академического исследования истории, литературы и культуры России и оставляя в стороне так называемую «кремленологию» — прикладное изучение российской политики, экономики и права, а также лингвистику) в общий контекст гуманитарных наук, поскольку для самих японских учёных

изучение России не отличается принципиально от изучения, допустим, Франции, Германии или Италии.

Да и само восприятие России в Японии меняется именно в эту сторону: с окончанием «холодной войны» и вызванного ей жесткого противостояния двух систем Россию постепенно перестают воспринимать как «монстра» (впрочем, это процесс длительный и пока далекий от завершения), но в силу этого же уменьшается и интерес к ней. «Японцы начинают воспринимать Россию как нормальную страну», — афористически сформулировал суть происходящего историк русской литературы Кэнносукэ Накамура в беседе с нами осенью 1999 г.

«Архивный бум» и его последствия

За последние десять лет японское россиеведение претерпело заметные изменения, не имеющие, однако, принципиального характера: его основные особенности и тенденции развития остаются неизменными.

Изучение истории и культуры России в Японии — как, впрочем, и весь комплекс гуманитарных наук в целом — было традиционно ориентировано, в первую очередь, на введение в научный оборот новых источников, на перевод и публикацию документов и их «первичную» обработку, а не на создание концепций. «Там же новые материалы!», — с восхищением говорят японские ученые порой даже об очень слабых, дилетантских работах как по российской, так и по собственно японской истории. Глубина фактической проработки многих историографических проблем в японском россиеведении сочетается с его определённой теоретической несамостоятельностью, с ориентированностью на советские/российские или европейско-американские каноны и концепции — в зависимости от эпохи, интеллектуальной моды и личных пристрастий ученых.

Поэтому открытие прежде недоступных иностранным исследователям российских архивов в начале 1990-х гг., прежде всего архивов КПСС, Коминтерна и частично органов НКВД–КГБ, стало неоценимым подарком для японских россиеведов. Наряду с представителями академической науки в архивы буквально ринулись журналисты и даже политики, использовавшие полученные материалы не только в научных, но и в политических целях. Наиболее ярким примером стало так называемое «дело Носака»: в 1992 г. популярный ежемесячный журнал для интеллектуалов «Бунгэй сьундзю» опубликовал письмо видного деятеля японского коммунистического движения Сандзо Носака (в момент публикации столетний Носака находился в добром здравии и занимал пост почётного председателя Коммунистической партии Японии) председателю Исполкома Коминтерна Г. М. Димитрову от 22 февраля 1939 г. (оригинал находится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ)) по поводу судьбы японского

коммуниста, представителя КПЯ в Профинтерне, а затем и в Коминтерне, Кэндзо Ямамото, арестованного органами НКВД по стандартному обвинению в шпионаже в пользу японской разведки и позднее казненного. Вырванное из исторического контекста, письмо было использовано для кампании против Носака и КПЯ в целом в средствах массовой информации. После публикации новых документов аналогичного содержания, также поданных как сенсация, Носака был сначала снят с поста почётного председателя КПЯ, а затем с позором исключен из партии (2).

Однако у этой скандальной и малоприятной истории была и своя положительная сторона. «Дело Носака» вызвало массовый интерес японцев к «тайнам советских архивов». Поскольку там работали не только записные любители сенсаций, но и серьёзные ученые, то результаты их работы не заставили себя долго ждать. Один из признанных лидеров японского руссиеведения Харуки Вада в 1996 г. выпустил на японском языке книгу «Носака Сандзо. История», основные моменты которой изложены в его статье на русском языке «Судьба коммуниста: Носака Сандзо» (3). Опираясь на весь корпус документов, он убедительно показал, что пресловутое письмо Носака не может считаться доносом: обращая внимание на мелкие «прегрешения» Ямамото, автор фактически отводил от него главные обвинения. Кроме того, история Ямамото и Носака является только одним, пусть значимым, но частным эпизодом многолетних драматических отношений ВКП(б), Коминтерна и КПЯ, которые необходимо было показать со всей возможной полнотой — в том числе и для того, чтобы исключить политические спекуляции вокруг отдельных документов. Результатом коллективной работы российских и японских архивистов и историков стала публикация капитального собрания документов «ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941» (ответственные редакторы Г. М. Адибеков и Харуки Вада), к которому мы ещё вернёмся (4).

Однако японских исследователей и их читателей интересовали прежде всего те материалы, которые были непосредственно связаны с Японией и японцами: японские коммунисты в Коминтерне и Профинтерне, японцы — жертвы политических репрессий в СССР, «оккупация» Курил, судьба военнопленных и т. д. (5). Следует особо отметить официальную публикацию японских коммунистов под редакцией председателя ЦК КПЯ Тэцудзо Фува «Хроника вмешательства и измены в КПЯ: по документам архивов КПСС», вышедшую в Японии на японском, английском и русском языках. Она была призвана раскрыть «подлинную историю» «диктата Москвы» и показать, как КПСС с 1962 г., создав с помощью советского посольства в Токио группу «предателей» внутри КПЯ (главным предателем *post factum* был объявлен исключённый из партии и уже скончавшийся к тому времени Носака) с целью развалить японскую компартию изнутри (6). Подобных публикаций — в том числе с использованием материалов из советских архивов и воспоминаний участников событий с советской стороны — появилось много, однако они, как правило, не имеют научного характера и, представляя определённый интерес в контексте российско-японских отношений и формирования «образа России» в Японии, непосредственного отношения к нашей теме не имеют.

Впрочем, даже открытие архивов не стало принципиальной новостью для японских специалистов по истории России. Японских россиеведов традиционно интересовали темы, не содержавшие никаких особых «секретов», по крайней мере, в 1960–1970-е гг.: аграрная история России и СССР, революционное движение (в первую очередь, народничество), история русской литературы, по большей части сводимая к традиционному для Японии набору классиков Достоевский–Толстой–Чехов. Они благополучно работали в архивах и в советское время. Препятствий им не чинили, в том числе и потому, что большая часть этих ученых занимала если не просоветские и прокоммунистические, то достаточно «левые» и, как правило, не антисоветские позиции. Тот же Харуки Вада, позиционирующий себя в качестве «шестидесятника», не раз выступал в защиту своих коллег-диссидентов, например, М. Я. Гефтера и Э. Н. Бурджалова, протестуя против ущемлений свободы слова и академической деятельности как несовместимых с подлинной демократией и подлинным социализмом. Однако доступа к советским архивам — разумеется, в рамках существовавших тогда правил — его не лишили.

Москва как «метрополия» японского россиеведения

Здесь мы переходим к важнейшей особенности японского россиеведения — его ориентации на зарубежные каноны, что связано и со степенью его политизированности. Без этого понять его эволюцию после «холодной войны» просто невозможно.

В довоенной Японии человек, занимающийся или просто интересующийся Россией, автоматически оказывался под подозрением властей как потенциальный «красный», даже если это был офицер штаба Квантунской армии, по долгу службы собиравший информацию об Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА), или эстет, переведивший Тургенева, — вдруг подпадёт под влияние крамолы. Изучение России воспринималось в обществе как синоним причастности к коммунистическому движению или коммунистической пропаганде, т. е. к чему-то запретному или опасному. Коммунистическая партия Японии была фактически разгромлена уже в конце 1920-х гг., но переводы Маркса и Ленина, равно как и марксистская литература (за исключением откровенно агитационной) продолжали издаваться в Японии вплоть до конца 1930-х гг., хотя периодически запрещались цензурой. Что касается популярного ежемесячного журнала «Россия гэкканси», на страницах которого «крипто-марксисты» соседствовали с националистами, то он продолжал выходить и во время войны на Тихом океане.

Как это ни покажется странным, похожая ситуация сохранялась в японском россиеведении и после войны, только с противоположным знаком: Советская Россия и марксизм были в моде. Более того, первые полтора десятилетия после 1945 г. в японской историографии вообще прошли под знаком

однозначного доминирования марксистов и «левых» (7). Именно в таком интеллектуальном климате заинтересовались Россией, её языком, историей и культурой представители того поколения японских россиеведов, которым сейчас за шестьдесят, поколения уважаемых лидеров, до сих пор активно работающих в науке (Харуки Вада, Есикадзу Накамура, Рехэй Ясуи, Кэнносукэ Накамура и др.).

Среди видных японских россиеведов коммунистов, членов КПЯ, немного. Большинство ученых сторонилось жёсткой линии партии, выражавшейся в крайней политической и идеологической нетерпимости: например, в результате ожесточенной внутривластной борьбы из КПЯ были исключены ветеран подпольной борьбы и многолетний член ЦК Сатоми Хакамада (дядя россиеведа Сигэки Хакамада и российского политика Ирины Хакамада) в 1977 г. и видный философ-марксист Ёсисигэ Кодзай в 1984 г., не говоря уже о самом Носака. Кроме того, отношения КПЯ и КПСС, всегда бывшие, мягко говоря, непростыми, в первой половине 1960-х гг. пришли практически к полному разрыву. Но многие ученые-россиеведы искренне симпатизировали идеям марксизма, социализма и коммунизма (не обязательно в советском варианте!), симпатизировали Советскому Союзу, в котором видели преемника России, как в советской культуре — преемницу русской культуры. Интенсивный культурный обмен в 1960–1980-е гг. укреплял в сознании японцев положительный образ СССР как великой культурной державы. Это отчасти компенсировало откровенно негативное воздействие таких событий как советские военные интервенции в Венгрии, Чехословакии и Афганистане, которые были крайне отрицательно встречены даже «левой» японской интеллигенцией. Она отказывалась верить в «контрреволюционный» характер политики И. Нады или А. Дубчека и признавать правомочность «исправления» неортодоксальных форм социализма с помощью танков.

На протяжении многих десятилетий советская историография истории России и русской культуры оказывала определяющее воздействие на содержание и методологию изучения России в Японии. Это вовсе не значит, что японское россиеведение состояло из одних только правоверных марксистов-ленинцев, рабски копировавших схемы и догмы «Краткого курса» или «Истории КПСС» и иже с ними. Конечно, в Японии хватало своих марксистов-догматиков, но их влияние постепенно сошло на нет в 1960-е гг. Некоторые заняли более гибкую позицию и отошли от крайностей первых послевоенных лет, интегрировавшись в академический истеблишмент, но оставаясь на «левых» позициях. В качестве типичного примера можно привести Бокуро Эгуги, автора стандартных для своего времени трудов по истории Октябрьской революции (8). Другие, оставаясь верны догмам, постепенно оказались на периферии научной жизни и маргинализировались. Повторим, аналогичные процессы происходили тогда во всей японской историографии).

Однако в выборе тем и направлений исследований большинство японских россиеведов ориентировалось на советскую историографию, даже при всей возможной разнице подходов и выводов. Этим объясняется обилие ра-

бот японских авторов о революционном движении (преимущественно, о народничестве) или «великих реформах» 1860-х гг., об аграрной истории как дореволюционной, так и послереволюционной России (исключая, до недавнего времени, крайности коллективизации), о марксистской философии разных направлений. В исследованиях по истории русской литературы доминировали такие темы, как классический роман XIX в. и ранняя советская литература; изучение русской поэзии если не ограничивалось Пушкиным, то сосредотачивалось преимущественно на нем (9). Отсюда же происходит слабая изученность таких важных, глобальных тем, как русский консерватизм, деятельность правых партий, православие (за значимым исключением православия в Японии!), «белое дело» и послереволюционная эмиграция, литература «Серебряного века» или «русского зарубежья». Коротко можно сказать, что у японских россиеведов Лорис-Меликов популярнее Победоносцева, а Лавров и Герцен — во сто крат популярнее их обоих. Андрею Белому или Набокову никогда не сравниться в этом смысле с Достоевским и Толстым, хотя поле для исследований там, что называется, непаханное. Впрочем, японские русисты начали осваивать его очень активно: сошлемся хотя бы на работы молодого филолога Нобуаки Какинума, часто публикующегося в России (10). В Японии изданы многотомные собрания сочинения Вл. Соловьёва и Н. А. Бердяева, но вряд ли можно представить себе появление здесь большого количества книг, скажем, И. А. Ильина или И. Л. Солоневича. Хотя кто знает — может, их непрерывно растущая популярность в сегодняшней России пробудит интерес к ним у завтрашнего поколения японских историков.

Иными словами, темы, табуированные в официальной советской историографии, в основном оставались таковыми и для японского россиеведения. И без того нечастое обращение к ним молодых исследователей не поощрялось старшим поколением, представители которого придерживались более ортодоксальных, просоветских взглядов, — а разница поколений и доминирование старших до сих пор остаются характерными особенностями японской академической среды. За последние десять лет положение в выборе тем исследований начало меняться, но скорее в сторону расширения, нежели качественного изменения диапазона. Традиционные темы остаются все такими же популярными, в том числе и среди молодых ученых, о чем наглядно свидетельствует вышедший в 2001 г. сборник статей «Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей», о котором ещё пойдет речь (11). Из 19 японских участников форума 4 посвятили работы проблемам аграрной истории (Хириси Есида, Кимитака Мацудзато, Нориаки Мацуи, Киехиро Мацудо), ещё 8 писали на такие традиционные для японского россиеведения темы, как народничество (Тэрухиро Сасаки о П. Л. Лаврове) и марксизм (Масанори Сато об А. А. Богданове), профсоюзы (Есифуру Цутия), экономика и народное хозяйство (Есикадзу Судзуки, Такэси Накасима), истории права и внутренней политики (Кадзухико Такахаси о судебной реформе 1864 г., Тадаси Кано об Основном государственном законе 1906 г., Цуеси Хасэгава о милицейских формированиях Временного правительства).

Их российские коллеги обошли почти все эти проблемы стороной, что свидетельствует о несомненных различиях в исследовательских интересах и приоритетах. Упомяну также недавно вышедший капитальный труд Тэрухиро Сасаки о философии Лаврова, найти издателя на который в сегодняшней России, наверное, было бы непросто (12).

Кое в чем японские исследователи, несомненно, обогнали своих российских коллег: из работ прошлых лет, ещё советской эпохи, достаточно упомянуть новаторскую книгу Харуки Вада «Мир крестьянской революции. Есенин и Махно», аналитическую биографию Р. В. Иванова-Разумника, написанную Хироси Мацубара, или «Словарь героев Достоевского» Кэнносукэ Накамура (13). Своевременно переведенные на русский язык, эти книги не только вызвали бы интерес у отечественных специалистов, но, как знать, могли бы в чем-то повлиять на них. За последние годы историки в России несомненно преуспели в изучении всех этих тем, но хронологический приоритет японских россиеведов должен быть признан.

Народники и «рисовая цивилизация» — национальный вектор японских исследований

Рискнем высказать предположение ещё об одной причине специфической популярности в японском россиеведении таких тем, как аграрная история и народничество, — на сей раз не связанное с влиянием советской историографии. Традиционное японское общество было прежде всего аграрным, и в его социальной четырёхсословной иерархии *си-но-ко-се* крестьяне занимали второе место после самураев — господствующего военного сословия, сопоставимого с европейским и российским дворянством. В Японии до сих пор популярны теории так называемой «рисовой цивилизации», сторонники которых выводят основные черты японского национального характера и качественные характеристики японского общества как коллективистского — заметим, не только традиционного, но и современного — именно из преобладания крестьянского труда, связанного с рисосянием. Не отсюда ли давний и глубокий интерес японских россиеведов и просто интеллектуалов к русской крестьянской общине — излюбленному предмету исследования аграрных историков (14)

Целый ряд популярных «крестьянских» философских и социально-политических доктрин XVIII–XX вв. даже объединяется труднопереводимым общим термином *нохонсюги*, который по-русски можно передать разве что как «крестьянизм». В отличие от крестьянства в старой, особенно дореформенной, России японское крестьянство отличалось высоким уровнем грамотности, образованности и наличием интеллектуальных интересов: не случайно из его среды выходили не только стихийные бунтари, но и самобытные философы вроде Ниномия Сонтаку, почитаемого в Японии примерно как Ломоносов

в России. Интерес японского «образованного сословия», в котором удельный выходцев из деревни был весьма велик, не только к практическим проблемам сельского хозяйства, но к аграрной истории и, можно сказать, аграрной философии своей страны — а затем и других стран — был вполне закономерен. Поэтому и Льва Толстого в Японии почитали не только как великого мастера психологического романа и христианского моралиста, но как выразителя традиционной крестьянской философии, крестьянского мировидения и миропонимания. Иными словами, типичному интеллигентному японцу, читающему Толстого, утопия Левина будет ближе и интереснее, чем любовная интрига Анны и Вронского или картины светской жизни, воспринимаемые как экзотика давнопрошедших лет.

Здесь мы можем видеть и сходство, и различие между японской и советской историографией. Изучение «эксплуататорских классов» было не в почете ни там, ни там, поэтому в японском россиеведении до сих пор мало работ об аристократии, чиновничестве, армии или духовенстве, а «помещики и капиталисты» исследуются главным образом в рамках экономической, а не социальной истории. С другой стороны, фабрично-заводской пролетариат также не пользовался особым вниманием японских историков, за исключением правоверных марксистов, некритически ориентировавшихся на советские образцы; его история также рассматривалась преимущественно в рамках «истории фабрик и заводов», т. е. индустриализации и модернизации России и правительственной политики в этой области (15).

Аналогичное положение сложилось и в японской историографии российского революционного движения. Эпоха наибольшего влияния народничества в России совпала с эпохой Мэйдзи (1868–1912 гг.) в японской истории — эпохой радикальных экономических, политических и социальных преобразований, эпохой интенсивной индустриализации и модернизации по западному образцу (вестернизации). К концу этой эпохи в Японии зародилось и начало развиваться оппозиционное правительству социал-демократическое движение, но ещё раньше, в 1870-е гг., появилось так называемое «движение за свободу и народные права» (*дзю минкэн ундо*), во многом выражавшее настроения той части самурайства и крестьянства, интересы которой оказались затронуты происходившими в стране преобразованиями. В Японии это движение одно время сравнивали с русским народничеством, изучение которого таким образом связывалось с осмыслением собственной национальной истории. То же можно сказать и об изучении русского пореформенного либерализма, хотя до популярности народничества ему далеко. С другой стороны, русский консерватизм, как мы уже отмечали, в Японии известен мало и популярностью среди россиеведов до сих пор не пользуется, а изучением марксизма занимались преимущественно коммунисты или сочувствующие им авторы. Тема оставалась слишком идеологизированной чтобы подходить к ней «без гнева и пристрастия».

Конечно, с изменением приоритетов российской историографии во второй половине 1980-х и начале 1990-х гг. японские историки стали активнее

писать о «командно-административной системе» и «большом терроре», об «истории инакомыслия в России» и особенно о русской эмиграции; литературоведы начали активнее переводить и изучать О. Мандельштама, В. Набокова (создано даже Японское Набоковское общество), С. Довлатова, В. Пелевина и В. Сорокина. Однако, когда в 1982 г. университет Васэда — усилиями специалиста по эмигрантской и диссидентской литературе Тору Кавасаки — приобрёл у американского антиквара Э. Штейна большое собрание поэзии русского зарубежья, включающее архивные материалы, это выглядело скорее исключением из правил.

На наш взгляд, происходящее можно истолковать как следование за коллегами в России, «догоняние» перестроечной историографии. В какой-то степени японское россиеведение является «зеркалом» собственно российской историографии отечественной истории, и хотя бы уже по этой причине представляет интерес в свете изучения последних тенденций в нашей науке.

Усиленно работая в архивах и интенсивно общаясь в новых условиях с российскими коллегами (об этом мы поговорим особо), осмысляя новые знания и теории, внимательно прислушиваясь к жарким дискуссиям в России, японские историки за последнее десятилетие выпустили ряд крупных трудов, которые, несомненно, относятся к числу наивысших достижений японского россиеведения. Не владея полным объёмом информации, рискнём выделить только те работы, которые показались нам наиболее значительными и по своему «знаковым». Это монографии Харуки Вада о войне в Корее в контексте советской политики, Такэси Томита о системе власти в эпоху Сталина, Нобуо Симотомаи (пользующегося большей известностью в качестве политолога, нежели академического ученого) об управлении Москвой в тот же период, Норизэ Исии о «Советском Союзе как цивилизации», Такэси Накаси́ма об инженерно-технической интеллигенции СССР в первое послереволюционное десятилетие, Кэйдзи Касама о роли масонов в русской литературе XIX в. (16). Все книги, особенно первые две, отличает внушительная архивно-документальная база, включающая прежде всего материалы РГАСПИ. Особенно высокой оценки заслуживают полное комментированное издание русского текста дневников основателя Японской православной церкви Святителя Николая Японского (И. Д. Касаткина), осуществляемое под руководством известных русистов Есикадзу Накамура, Кэнносукэ Накамура, Мицуо Наганава и Рехэй Ясуи (в России этот ценнейший исторический памятник пока издан только во фрагментах), а также многочисленные публикации всех четырех редакторов книги, в том числе биографические очерки о св. Николае и фрагментарный перевод его дневников на японский язык (17).

Разумеется, мы просто не имеем возможности упомянуть здесь всех авторов и все отдельно изданные книги, рассчитывая написать о них особо. Отдельного рассмотрения заслуживают и материалы периодических академических изданий, из которых следует отметить журналы «Acta Slavica Iaponica» (издатель: Центр славяноведения (*Сурабу кэнкюкай*) Университета Хоккайдо) и «Japanese Slavic and East European Studies» (издатель: Японское

общество по изучению славянства и Восточной Европы (*Сурабу тое кэнкю-кай*), больше известное под латинской аббревиатурой JSSEES). Они публикуют статьи разнообразной россиеведческой тематики на русском и английском языках и активно читаются учеными за пределами Японии.

Лучшие из этих работ могли бы сделать честь любому иностранному и даже отечественному историку. Они показывают, что ведущие представители современного японского россиеведения вышли на мировой уровень, хотя знакомство с их трудами едва ли перевернет представления российских историков о затронутых в них проблемах. Во всяком случае, отраднo, что фрагменты или изложения этих работ в виде отдельных статей всё чаще появляются на русском языке — в Японии равно как и в России.

Россия «из вторых рук»: европейско-американский фактор

Вместе с тем, японское россиеведение не освободилось и от традиционно присущего ему европейско-американского влияния, направленного на развенчание коммунистической идеологии и советской системы, — даже теперь, когда эта тематика очевидно потеряла свою актуальность

На протяжении десятилетий японские дипломаты, занятые на советском направлении, и многие учёные-русисты стажировались не только в СССР, где волей-неволей находились «под колпаком», но и в американских университетах. В Москве они изучали русский язык и литературу, в меру возможности — жизнь советского общества, в Гарварде или Стэнфорде — советологию, т. е. фактически науку о вероятном противнике. В беседе с журналистом Александром Кулановым, много пишущим о Японии, признанный знаток России дипломат Акио Кавато (в настоящее время Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане) рассказывал: «Особенность моего обучения в Гарварде состояла в том, что я досконально занимался советологией и очень много читал литературы по этому предмету — по 200 страниц английского текста в день. Я заметил, что главные факты о Советском Союзе излагались там довольно объективно, но вот вывод часто был очень тенденциозным. Здесь надо было иметь в виду особый образ мышления американцев — они всегда отталкиваются от вывода, то есть от своего мнения. Сначала вывод, потом аргументы. От этого они копают и копают, собирают множество фактов, данных, но часто впустую — вывод был задан с самого начала. Это тупик. У меня же не было никогда антисоветизма в убеждениях, и я сразу обнаружил эту странную закономерность американского мышления, поэтому выводы я просто игнорировал, и старался руководствоваться фактами» (18). Признание для японского дипломата, тем более высокопоставленного, прямо скажем неожиданное, поэтому мы и привели эту пространную цитату.

Таким образом, формирование «образа России» даже у определённой части специалистов шло под влиянием третьей стороны, причём настроенной, мягко говоря, недружественно в силу логики политического противостояния «холодной войны». Впрочем, «холодная война» тут не при чем. Когда ещё сто тридцать лет назад, в 1873 г., «миссия Ивакура» — группа высокопоставленных японских сановников и экспертов посетила Россию, то составленный ей официальный отчет о поездке во многом основывался на англоязычных (преимущественно английских) источниках. В России делегация провела 16 дней (для сравнения: в США и Европе почти по 7 месяцев!) и удостоилась приема на самом высоком уровне, включая аудиенцию у Александра II, однако выводы её были неутешительны и откровенно предвзятые (19). О подобном отрицательном влиянии Англии — в то время главного геополитического противника России — и отчасти Франции на формирование представлений о России в Японии еще в XIX в. писали многие путешественники, например, И. А. Гончаров и М. И. Венюков.

Рецидивом попыток создания идеологически ангажированного негативного образа СССР–России можно считать недавний выход японского перевода «Чёрной книги и коммунизма» под редакцией С. Куртуа и кампания некоторых средств массовой информации вокруг неё. Однако это была «буря в стакане воды» — публикация не оказала значимого влияния ни на академическое сообщество россиеведов (где откровенных русофобов можно пересчитать по пальцам), ни на интеллектуальную элиту (от этого коммунисты не перестали быть коммунистами, а антикоммунисты — антикоммунистами), ни тем более на массовое сознание, для носителей которого эти проблемы неактуальны — их куда больше заботят кризисные явления в собственной экономике, — а потому малоинтересны. Вполне возможно, что вся эта шумиха (кстати, довольно быстро закончившаяся) — проявление политической и идеологической борьбы внутри самой Японии, не связанное напрямую с образом России и динамикой её восприятия.

Разумеется, мы далеки от того, чтобы перечеркивать значение трудов американских или европейских специалистов по истории России, да и речь у нас идёт не о предельно политизированной прикладной советологии или кремленологии, а об академическом изучении истории России. Харуки Вада, посвятивший много лет изучению народничества, называет своим первым учителем итальянского историка Франко Вентури — автора классических работ по этой проблематике (20). Заметным событием в японском россиеведении последних лет стал перевод — скажем откровенно, запоздалый — таких работ, как «Икона и топор» Джеймса Биллингтона или «Понять дореволюционную Россию» Марка Раева. Переводчик последней книги Норизэ Исии в послесловии посетовал на малую известность книг того же Раева в Японии даже среди специалистов, меланхолично добавив, что здесь до сих пор нет полных переводов классических трудов В. О. Ключевского и П. Н. Милюкова, оказавших заметное влияние на европейскую и американскую историографию (21). Конечно, специалисты читали их на европейских языках или в ори-

гинале, но в интеллектуальный багаж сколько-нибудь широкого круга они не вошли и не войдут, пока не будут переведены. Зато недавно закончен коллективный перевод на японский язык известного труда Макса Вебера о русской революции — и с этим приобретением японских историков, да и просто читателей, можно только поздравить (22).

Следует сказать ещё об одном важном обстоятельстве. В Японии академическое россиеведение, будь оно идеологически ангажированным или нет, практически не оказывает или оказывает очень малое воздействие на массовые представления о России. До сих пор многие рядовые японцы воспринимают её в рамках стереотипа «кушанки, медведи и “северные территории”», как иронически выразился переводчик современной японской прозы Дмитрий Коваленин. За пределами «цеха» образованное сословие знает только тех немногих россиеведов, которые регулярно выступают по телевидению, например Харуки Вада, Хироси Кимура или Сигэки Хакамада. Их выступления обычно имеют политизированный характер, потому что ведущие и зрители ждут от этих знатоков России комментариев по поводу текущих событий или авторитетных прогнозов, а не рассуждений на отвлеченные темы и тем более научных докладов. Что до простого японца, то он скорее всего просто не будет смотреть подобные передачи, а если посмотрит, то вряд ли что-то запомнит или примет близко к сердцу. Но это уже совсем отдельный сюжет.

Научная среда

Теперь необходимо проследить, какие изменения произошли за последние годы в организационной деятельности японских россиеведов, поскольку наука — это не только книги и статьи, но симпозиумы, лекции, научные обмены и командировки. Это — люди, отношения живых людей, которые делают эту науку. Роль больших и малых научных обществ, регулярно собирающихся семинаров, открытых и закрытых симпозиумов и публичных лекций в японских гуманитарных науках чрезвычайно велика, несомненно, больше, чем в России. В Японии наука развивается в непрерывном личном общении и обмене мнениями, который, впрочем, редко переходит в открытую полемику. Таковы законы социальных отношений (не только в академической среде), фактически не допускающие критику старших со стороны младших («нарушение субординации») и не приветствующие резкую критику младших со стороны старших (нормы сообщества предписывают, чтобы она была мягкой, «отеческой»). Серьёзно критиковать друг друга, открыто и сколько-нибудь резко полемизировать между собой могут только «равные» — представители одного поколения — что, конечно, является тормозящим фактором в развитии науки. В прошлом острота дискуссий часто определялась принципиальными идеологическими различиями, нахождением «по разные стороны баррикад», но сейчас этот фактор можно считать утратившим свое значение.

Ещё одной характерной чертой деятельности японских научных обществ является их открытость для неспециалистов, для широкой публики, которая выступает не только как зритель/слушатель, внимающий профессионалам и в лучшем случае задающий вопросы, но как активный участник диалога. Конечно, для японцев (опять-таки не только для академической среды) характерно изначально почтительное отношение к университетским преподавателям и обладателям ученых степеней, а также просто к старшим по возрасту, но путь в научные общества не закрыт и тем, у кого регалий и титулов нет, но есть знания или просто жизненный опыт. Конечно, человек, много лет проработавший в России в качестве, допустим, представителя торговой кампании, по выходе на пенсию может рассчитывать на место преподавателя только в заштатном университете (если не обладает «именем» или необходимыми связями), но в профильном научном обществе — а заниматься он может не только экономикой, но чем угодно — ему всегда охотно предоставят слово и выслушают с должным почтением к возрасту и социальному положению.

Японская академическая среда очень консервативна в социальном плане, хотя в россиеведении это заметно едва ли не в наименьшей степени. Большинство научных обществ, связанных с Россией, представляет собой объединения единомышленников, а кроме того, опыт жизни в России или общения с русскими заметно раскрепощает японцев. Как раз за последние десять лет в работе таких обществ начали принимать активное участие российские учёные — не знаменитости, время от времени приглашаемые на короткий срок в качестве почётных гостей, но историки, живущие и работающие в Японии. Большинство из них свободно владеет японским языком и, собственно говоря, принадлежит уже не к российской, а к японской академической среде, внося в неё новые элементы, — как в научном, так и в социально-психологическом плане. Затем, как для российской, так и для японской академической среды поистине огромное значение имеет неформальное общение: практически любая научная конференция или очередное заседание общества заканчивается коллективным походом в ресторан или хотя бы фуршетом, когда у участников есть время свободно и «без протокола» поговорить друг с другом. Именно здесь высказываются наиболее интересные и смелые суждения, здесь идёт «обкатка» новых идей и откровенный обмен мнениями, полемика ученых, не связанных, точнее, гораздо менее связанных рамками светских условностей публичного выступления и академического «политеса».

Можно сказать, что за последние десять лет принципиальных изменений «количественных показателей» в деятельности многочисленных японских россиеведческих обществ и организаций не произошло. Время сгладило имевшиеся между ними противоречия идейно-политического характера, появилась тенденция к объединению или хотя бы координации действий, например, при проведении симпозиумов или конференций (23). Важно другое — принципиально изменился характер диалога, научного сотрудничества с российскими коллегами, и этот аспект необходимо рассмотреть особо.

Во-первых, больше японских ученых стало ездить в Россию и получило больше возможностей для работы там (например, в архивах, о чем уже говорилось выше). Японские ученые читают курсы лекций в ведущих университетах России, не связанные никакой цензурой: например, в сентябре 2002 г. лекции студентам-японистам Института стран Азии и Африки при МГУ читал Харуки Вада, а в октябре его сменил Мицусеи Нумано. Надо сказать, что эти ученые, пользующиеся в Японии большим авторитетом, особенно активны в организации японско-российского научного и культурного сотрудничества. Часто выступают перед русской аудиторией и в российских СМИ политологи Сигэки Хакамада и Хироси Кимура, чьи острые высказывания, например по проблеме «северных территорий», нравятся далеко не всем, но вызывают неизменный интерес своей глубиной и проработанностью. Давние и тесные связи с российской творческой интеллигенцией у Рехэй Ясуи, который гордится дружбой с Вадимом Кожиновым и Василием Беловым, Сергеем Бочаровым и Игорем Шафаревичем. Наконец, патриарх японского россиеведения, ученый-энциклопедист Есикадзу Накамура был в 1999 г. удостоен Большой золотой медали РАН им. М. В. Ломоносова. Это ли не признание!

Само собой разумеется и то, что, в отличие от советского времени, работы японских авторов в российских изданиях печатаются без какой-либо цензуры. Только один показательный пример. На VI советско-японском симпозиуме историков (ноябрь 1983 г.) Харуки Вада прочитал доклад «Представления о России в Японии: учитель, враг, собрат по страданиям». В предисловии к отдельному советскому изданию материалов симпозиума, куда был включён и текст доклада, уклончиво говорилось: «Учитывая, что публикация предназначена не только для специалистов-японоведов, редакция сочла возможным несколько сократить некоторые из докладов за счёт отдельных фактов, не имеющих прямого отношения к теме сборника» (24). Каковы были эти «некоторые сокращения» и чем они мотивировались, нетрудно понять, сравнив тексты этой работы в указанном сборнике и в издании избранных работ Х. Вада на русском языке: купюрам подверглась критика Сталина и вступления СССР в войну с Японией в 1945 г. (25). Так что всё предельно просто! Разумеется, россиеведы, писавшие на далекие от политики темы, реже сталкивались с такими проблемами — например, Есикадзу Накамура, чьи статьи публиковались в СССР начиная с 1962 г. (26). Надеемся, что избранные работы этого выдающегося ученого будут изданы в России отдельной книгой.

Во-вторых, больше русских специалистов по истории России стало ездить в Японию. При том, в противоположность практике советского периода, японская сторона (в данном случае, университеты и научные общества, а не государственные структуры, что важно) сама выбирает, кого приглашать, и приглашает тех, кто ей действительно интересен, а не «назначен» соответствующими органами. В беседах с нами Харуки Вада не раз вспоминал, как в советское время он и его коллеги не могли добиться приглашения в Японию на ежегодную конференцию Ассоциации историков России (*Росиаси кэнкюкай*) А. Я. Гуревича, не говоря уже об опальном М. Я. Гефтере. В девяностые

годы Японию посетили для исследовательской работы, чтения лекций или выступлений на конференциях такие видные российские специалисты по отечественной истории, как Г. М. Адиебеков, Е. В. Анисимов, Н. Н. Болховитинов, Г. А. Бордюгов, Е. Ю. Зубкова, А. П. Корелин, М. И. Мельтюхов, В. И. Старцев, О. В. Хлевнюк и многие другие (приносим извинения тем, кого не назвал — в том числе, по недостатку информации). Помимо Ассоциации историков России российских ученых, активно приглашают Ассоциация исследователей русской литературы (*Rosia bungeaku kankyukai*), Центр славяноведения Университета Хоккайдо, Токийский университет, Университет Васэда и некоторые другие. В ряде случаев пребывание гостей финансируется Министерством образования и науки (Момбукагакусе) или Японским фондом (Кокусай корю кикин; Japan Foundation), но последний чаще выделяет средства на приглашение из-за рубежа, в том числе из России, ученых-японистов или деятелей культуры. Разумеется, их пребывание в Японии, выступления перед японской аудиторией о России, а затем перед российской аудиторией о Японии тоже играют большую роль в развитии научных и культурных связей, а в конечном счёте — в деле улучшения отношений между нашими странами.

В-третьих, как мы уже отмечали, именно в последние годы в среду японских руссиеведов все более активно вливаются русские ученые, живущие и работающие в Японии. Специалистов по истории России и русской культуры среди них, как правило, нет — в основном это специалисты по японской истории или культуре. Однако знание японского языка и «правил игры» местной академической среды позволяет им говорить со своими коллегами «на их языке» не только в лингвистическом смысле. Многие из них обладают широкой и разносторонней эрудицией, а потому могут на равных со своими японскими коллегами участвовать в изучении России. Приходится признать, что для японских руссиеведов, как правило, характерно преобладание узкой специализации в ущерб широте кругозора и знанию контекста, которыми как раз обладают ученые из России. Если раньше на русских гуманитариев в Японии смотрели прежде всего как на «носителей языка» (в лучшем случае — как на исследователей проблем двусторонних отношений), то теперь их начинают воспринимать как полноправных коллег — хотя ещё не везде и не в такой мере, в какой хотелось бы. В этой связи следует особо отметить деятельность профессора Токийского университета иностранных языков А. А. Долина, совмещающего преподавание русского языка и литературы с участием в исследовательских проектах японских руссиеведов. Известный исследователь и переводчик японской поэзии, он в последние годы активно выступает с работами о русской литературе (преимущественно поэзии) XX в., которые публикуются как в Японии, так и в России (27).

Русские учёные в японском россиеведении

От такого содружества, несомненно, выигрывают обе стороны. Заслуживает внимания — и даже подражания — пример Ассоциации по изучению восточной ветви русского зарубежья, объединяющей ведущих японских россиеведов, потомков русских эмигрантов и российских ученых, работающих в Японии. Она была создана в 1978 г. как исследовательская группа «Россия и Япония» усилиями Есикадзу Накамура и Ясуи Рехэй, а с декабря 1995 г. существует под нынешним названием как научное общество, работа которого поддерживается Министерством образования и науки Японии. Изменение в статусе наглядно отражает перемены в положении вещей как в академической среде, так и в отношении к этим процессам государственных органов. Заседания Ассоциации проходят раз в два месяца, последние годы — в одном из престижных столичных университетов Васэда. Возглавляет её в настоящее время Есикадзу Накамура. Ассоциация регулярно выпускает информационный бюллетень «Вторая родина» на японском языке (оглавление и отдельные публикации — на русском языке), который распространяется среди её членов.

Деятельность Ассоциации — удачный пример соединения усилий профессиональных россиеведов (историки, культурологи, филологи, архивисты, библиотечные работники), «любителей России», среди которых немало первокурсных знатоков предмета, потомков эмигрантов (включая «старейшин» русской колонии в Токио Е. Н. Аксенова и Л. С. Швеца), российских ученых, работающих в Японии (Л. М. Ермакова, Ю. Д. Михайлова, В. Э. Молодяков, П. Э. Подалко, Э. Б. Саблина), а также — периодически — гостей из России (учёные, журналисты, «русские харбинцы» и т. д.). Ассоциация налаживает сотрудничество с другими россиеведческими научными обществами, а также с архивами и библиотеками Японии, изучая хранящиеся в них «эмигрантские» фонды и материалы. Некоторые её члены публикуют свои работы по данной тематике и в России (28).

В 1987, 1990 и 1992 гг., используя гранты Министерства образования, Ассоциация выпустила три сборника статей «Россия и Япония», содержательных и разнообразных по тематике, но в основном посвящённых дореволюционному периоду или касавшихся политически нейтральных тем (29). Четвёртый том трудов Ассоциации, вышедший в 2001 г., в отличие от предыдущих, был посвящён прежде всего послереволюционной эмиграции, хотя никакой политической ангажированности в этом сугубо академическом издании, разумеется, нет (30). Сборник, в котором из российских исследователей участвовали П. Э. Подалко (часто выступающий в японских академических изданиях со статьями по истории русской эмиграции в Японии (31)) и Э. Б. Саблина, получил отклик в японской прессе, а наличие содержания и резюме на русском и/или английском языках делают его содержание доступным и для исследователей, не владеющих японским языком. Можно также упомянуть

регулярные выступления российских историков на страницах журнала «Маддо» («Окно»), который выпускает токийская издательская и книготорговая фирма «Наука», специализирующаяся на русских книгах и книгах о России, и рецензии В. Э. Молодякова на книжные новинки японского россиеведения в нью-йоркском «Новом журнале».

Японские россиеведы и российские читатели

Новые возможности сотрудничества японских и российских специалистов по истории России реализовались и в недавних издательских проектах, осуществленных в России. Первым очевидным успехом в этом направлении стал выпуск издательством АИРО-XX сборника избранных работ Харуки Вада «Россия как проблема всемирной истории» (1999 г.), который представил русскому читателю одного из наиболее оригинальных, творчески мыслящих и продуктивных японских россиеведов. Отбор статей для сборника, осуществлённый самим автором в содружестве с редактором книги Г. А. Бордюговым, показывает широту и разнообразие его научных интересов: аргументированная критика романа В. Пикуля «У последней черты» («Нечистая сила») соседствует здесь с размышлениями о судьбах российской и советской исторической науки и воспоминаниями об учителях и друзьях, работы о русской революции — с представлением неизвестных страниц сталинской внешней политики.

За ним последовал «Новый мир истории России. Форум российских и японских исследователей» (2001 г.) — выпущенный тем же издательством внушительный *Festschrift* к 60-летию Харуки Вада, который был составлен из работ его коллег, друзей и учеников. Едва ли не впервые такой юбилейный сборник выходит не на родине ученого, а в стране, изучению которой он посвятил свою жизнь. Публикация на русском языке обстоятельных статей 19 японских и 13 российских историков, представляющих различные поколения, научные направления и школы (фамилии многих участников уже фигурировали на этих страницах), стала хорошим смотрам современного россиеведения обеих стран. Статьи наглядно показывают, что никакой пропасти между учёными двух стран нет, что диалог не просто возможен, а давно и успешно идёт (об этом свидетельствует обилие ссылок авторов друг на друга), что работы японских и российских историков удачно дополняют друг друга как по тематике исследований, так и по избранным методам и подходам. В отличие от материалов разного рода симпозиумов и конференций, сборник содержит не тезисы или краткие изложения докладов, но полноценные статьи и даже фрагменты монографий. Неудивительно, что он был высоко оценён не только в академических кругах (32). У культурологов и филологов такой совместной работы пока, к сожалению, нет, но надеемся, что будет, потому что пространство для сотрудничества — огромное.

Не меньшее впечатление производит и вышедший в издательстве РОССПЭН 800-страничный сборник документов из российских архивов «ВКП(б), Коминтерн и Япония, 1917–1941» (2001 г.) — первый российско-японский исследовательский проект такого типа и масштаба. В работе над ним с японской стороны принимали участие Харуки Вада, Синдзи Екотэ, Нориэ Исии и Такэси Томита, с российской стороны — Г.М. Адибеков, Ж.Г. Адибекова, Ю.В. Георгиев и К.К. Шириня. Знатоки российских архивов и специалисты по истории Коминтерна, досконально знающие кухню «мастерской мировой революции», не просто опубликовали некий комплекс документов, пусть даже исключительно важных, но, благодаря участию в работе специалистов по истории Японии того же периода, смогли дать многомерную картину событий, в том числе с использованием материалов и публикаций, недоступных исследователям в России. Публикация наглядно показала практическую пользу сотрудничества японских россиеведов и российских японоведов, у которого, мы уверены, большое будущее.

Из работ японских литературоведов-русистов, с которым в последние годы смог познакомиться российский читатель, надо отметить «изборник» Кэнносукэ Накамура «Чувство жизни и смерти у Достоевского», выпущенный петербургским издательством «Дмитрий Буланин» (1998 г.) и вызвавший много откликов в российской прессе (33). Данный автором блестящий психологический портрет Аполлинарии Суловой, «роковой женщины» великого писателя, ничуть не уступает лучшим страницам В.В. Розанова, одно время женатого на ней, или Л.П. Гроссмана, посвятившего изучению Достоевского более полувека. Видно, что Накамура не просто прилежно «изучал» Достоевского, но, пользуясь образным выражением поэта Давида Самойлова, «протащил» его «сквозь душу и шкуру». Не лишним будет добавить, что именно Кэнносукэ Накамура перевёл на японский язык и издал в Японии классические работы о Достоевском замечательного литературоведа 1920–1930-х гг. В.Л. Комаровича — задолго до того, как о нём вспомнили на родине (34).

Справедливости ради, отметим один общий недостаток, присущий большинству этих изданий, — несоблюдение принятой в России так называемой «поливановской» транскрипции японских слов (по имени выдающегося лингвиста Е.Д. Поливанова), которая известна любому отечественному японисту, но которую почему-то упорно игнорируют редакторы, ориентирующиеся на англоязычную транскрипцию, неадекватную японской фонетике. Иными словами, «суши» вместо правильного «суси» ещё терпимо в ресторанном меню, но не в серьёзном академическом издании.

Значение всех этих книг, тем более увидевших свет в лучших научных издательствах России, трудно переоценить. Их читают, о них спорят — значит, диалог идёт. Однако будем надеяться, что это только начало нового этапа сотрудничества российских и японских ученых в деле изучения истории России и российско-японских отношений.



Наш очерк озаглавлен «Горячий пепел холодной войны» отнюдь не для красного словца и не из любви к парадоксам. «Холодная война» в академическом японском россиеведении закончилась, а если и громыхают где-то её последние зарницы, то лишь на периферии, на границе с политически ангажированной «кремленологией», спрос на которую, видимо, будет всегда. Часть японских авторов продолжает писать о России и российско-японских отношениях в духе «холодной войны», и книги такого рода издаются даже в России, однако, повторяем, представителей академической науки среди них практически нет. Но пепел «холодной войны» не остыл не только по этой причине. История японского россиеведения девяностых годов и даже первых лет нового тысячелетия — это история отказа от логики противостояния, от менталитета «холодной войны», ухода от неё, преодоления её влияния. Японская наука о России постепенно освобождается от идеологических шор и предрассудков самого разного толка, хотя, конечно, полного освобождения от них ждать не приходится, да это едва ли и возможно — в любой стране и в любой гуманитарной дисциплине, так или иначе связанной с политикой. Оглядываясь более чем столетнюю историю японского россиеведения через призму последних десяти, столь бурных и динамичных лет, мы видим, что оно непрерывно развивается, оставаясь при этом самим собой, со своими достоинствами и недостатками. Но путей и возможностей развития впереди много, может быть, больше, чем когда-либо. В том числе через количественное и качественное расширение диалога с коллегами в России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Недавний пример: Нихондзин то Росиаго. Росиаго кёйку-но рэкиси. (Японцы и русский язык. История преподавания русского языка). Составлено Японской ассоциацией по изучению русской литературы. — Токио, 2000. Содержание книги изложено в рецензии В.Э. Молодякова: Новый журнал (Нью-Йорк). Кн.224. (Сентябрь 2001). К сожалению, в этом информативном издании нет резюме или хотя бы оглавления ни на русском, ни на английском языках.
2. В расширенном и дополненном виде эти публикации собраны: Кобаяси Сюнъити, Като Акира. Ями-но отоко: Носака Сандзо-но хякунэн. (Человек тьмы: сто лет Носака Сандзо). — Токио, 1993. Документы из советских архивов по «делу Танака» (под этим псевдонимом Ямамото работал в Коминтерне) с подробным комментарием см.: ВКП(б), Коминтерн и Япония, 1917–1941. Отв. ред. Г.М. Адиебеков, Х. Вада. — М., 2001. С.667–680.
3. *Вада Харуки*. 1) Рэкиси то ситэ-но Носака Сандзо. (Носака Сандзо. История). — Токио, 1996;
- 2) Судьба коммуниста: Носака Сандзо //Япония XX века: проблемы и судьбы. — М., 2003 (в печати).
4. ВКП(б), Коминтерн и Япония, 1917–1941. Отв. ред. Г.М. Адиебеков, Х. Вада. — М., 2001.
5. Характерный пример: Като Тэцудзиро. Мосукува дэ тайхо-сарэта нихондзин. (Японцы, арестованные в Москве). — Токио, 1994.
6. *Тэцудзо Фува*. Нихон кесанто-ни тайсуру кансе то найцу-но кироку: Сорэн кесанто бунсе кара. (Хроника вмешательства и измены в КПЯ: по документам архивов КПСС). — Токио, 1993 (впервые в центральном органе партии: «Акахата», 1993, 10.01–16.06).
7. См. подробнее: *Молодяков В.Э.* Между гордостью и стыдом (восприятие национальной истории в послевоенной Японии) //Япония: собрание очерков «вслед за кистью» (дзуйхицу). — М., 2000.

8. Россия как мэй-но кэнкю. (Исследования российской революции). Под ред. Бокуро Эгути. — Токио, 1968 и др.
9. Подробная история японской пушкинистики: *Мамонов А.И.* Пушкин в Японии. — М., 1986; разумеется, по материалам последних 15 лет эту книгу можно существенно дополнить.
10. *Какинума Нобуаки*: 1) В. Набоков и русский символизм //XX Век. Проза. Поэзия. Критика. — М., 1996; 2) Тяготение В. Набокова к «потусторонности» //«Российский литературоведческий журнал», № 11 (1997); 3) «Петербург» А. Белого: трагедия Диониса и идея «перевоплощения» //Голоса молодых учёных. Вып.3. — М., 1998; 4) Философско-эстетические позиции Андрея Белого и его художественная практика. Автореф. ... канд. фил. наук. — М., 1998.
11. Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей. Ред. Г. Бордогов, Н. Исии, Т. Томита. — М., 2001.
12. *Сасаки Тэрухиро*. Рабурофу-но народоникисюги рэкиси тэцугаку. (Народническая философия истории Лаврова). — Токио, 2001 (резюме на русском языке).
13. *Вада Харуки*. Номин какумэй-но сэкай. Эсэнни то Мафуно. (Мир крестьянской революции. Есенин и Махно). — Токио, 1978; Мацубара Хироси. Россия интэригэция си. (История русской интеллигенции). — Киото, 1989; Накамура Кэнносукэ. Досутозэфукуки дзимбуцу дзитэн. (Словарь героев Достоевского). — Токио, 1990. Разумеется, число таких примеров можно умножить.
14. Укажем только обобщающую работу: *Такэо Судзуки*. Тэйсэй Росиано кедотай то ноумин. (Община и крестьянство в императорской России). — Токио, 1990.
15. См. содержательный историографический очерк (с приложением библиографии): *Хинада Сидзю*. Нихон-ни окэру Россия кэйдайси кэнкю-но аюми кара. (Эволюция изучения экономической истории России в Японии) //«Сякай бунка ронсю» (Университет Хиросима, «Труды по проблемам общества и культуры»), № 6 (1999).
16. *Вада Харуки*. Тэсэн сэно. (Корейская война). — Токио, 1995; *Такэси Томита*. Сутаринидзуму-но тоти кодзо: 1930 нэндай Сорэн-но сэйсаку кэтэй то кокумин того. (Структура сталинской власти: выработка советской политики в 1930-е годы и народное единство). — Токио, 1996; *Симотомаи Нобуо*. Сутарин то тоси Мосукува, 1931–1934. (Сталин и город Москва). — Токио, 1994 (английский перевод: *Nobuo Shimotomai*. Moscow Under Stalinist Rule. — London, 1996); *Исии Нориз*. Буммэй то ситэ Сорэн. (Советский Союз как цивилизация). — Токио, 1995; *Накасима Такэси*. Тэунокурато то какумэй кэнреку: Собизэто гидзюцу сэйсакуси, 1917–1929. (Технократы и революционная власть: история советской научно-технической политики, 1917–1929). — Токио, 1999; *Касама Кэйдзи*. Дзюкюсэйки Россия бунгаку то фуримэсон. (Русская литература XIX века и масоны). — Токио, 1997.
17. Дневники Святого Николая Японского. Т.1. — Саппоро 1994 (т.2 готовится к изданию); частичный перевод на японский язык: *Николай*. Никорай-но мита бакумацу Нихон. (Япония периода «бакумацу» <1853–1867 гг.> глазами Николая). Пер. Кэнносукэ Накамура. — Токио, 1979; *Николай*. Мэйдзи-но Нихон Харисутосу сэйкекай. (Японская православная церковь в эпоху Мэйдзи). Пер. Кэнносукэ Накамура. — Токио, 1996. Исследования: Кэнносукэ Накамура. Дэнкеси Никорай то Мэйдзи Нихон. (Проповедник Николай и мэйдзийская Япония). — Токио, 1996; *Мицую Наганова*. Никорай-до-но хитобито. (Люди Николай-до). — Токио, 1989 (Николай-до, «храм Николая» — обиходное японское название токийского собора Воскресения Христова, кафедрального собора Японской автономной православной церкви) и мн. др.
18. *Кавато Акио*. Надо создавать условия для честной работы...» (Беседовал Александр Куланов) //Япония. Ежегодник. 2002–2003. — М., 2003 (в печати).
19. *Ковальчук М.К.* Миссия Ивакура в Санкт-Петербурге. Анализ впечатлений японских посланников о России сто тридцать лет спустя //Япония. Ежегодник. 2002–2003. — М., 2003 (в печати).
20. Путь историка // *Вада Харуки*. Россия как проблема всемирной истории. — М., 1999. С.9.
21. *Раев Марк*. Роснаси-о ему. (Читая историю России). Пер. Нориз Исии. — Нагоя, 2001. С.232.
22. *Вебер Макс*. Россия как мэй-но рон. (Русская революция). Т.1–2. — Нагоя, 1997–1998.
23. Характерный пример — открытые симпозиумы «Япония и Россия: история, сотрудничество, существование» (Токийский университет иностранных языков, 23–24 июня 2001 г.) и «Новый взгляд на Россию и Восточную Европу в XXI веке» (Университет Хосэй, 1 декабря 2001 г.), организованные при участии нескольких научных обществ и университетов.
24. *Латышев И. А.* От редакции //Россия и Япония в исследованиях советских и японских учёных. С.3.
25. Россия и Япония в исследованиях советских и японских ученых. С.50–61; *Вада Х.* Россия как проблема всемирной истории. С.299–313; оригинальный текст: Россия то Нихон. (Россия и Япония). Под ред. Акира Фудзивара. — Токио, 1985. С.22–30.
26. Список основных трудов Есикадзу Накамура //Труды Отдела древнерусской литературы. Т.XLIX. — СПб., 1996.
27. *Долин Александр*: 1) Пророк в своём отечестве. (Профетические и мессинские мотивы в русской поэзии и живописи Серебряного века) //Ретайсэн канки Россия-но сэйдзи то бунка-но рэкиситэки косацу. (Исторические исследования политики и культуры России межвоенного периода). — Токио, 2001; 2) Russian Poets Facing Apocalypse (October Revolution as Reflected in the Poetic Vision of the Classics)

//«Токио гайкокуго дайгаку ронсю» («Труды Токийского университета иностранных языков»), № 62 (2001); 3) Пророчества истинные и ложные. (Об истоках пророчества в поэзии и общественной мысли на рубеже 19–20 веков) //Там же. № 63 (2002); 4) Пророк в своём отечестве. (Мессианские мотивы в русской поэзии и общественной мысли). — М., 2002.

28. Например: Кокуруцу Хакодатэ тосекан седзо Росиаго сире мокуроку = Лист документов на русском языке, сохраняемых в городской библиотеке Хакодатэ. — Хакодатэ, 1998 (титул на двух языках); Юка Курата. Архивные фонды Японии: к изучению проблемы русской эмиграции в Японии //Зарубежная Россия. 1917–1939 гг. Сборник статей. — СПб., 2000; серия статей П.Э. Подалко о русской эмиграции в Японии в московских журналах «Япония сегодня» и «Знакомьтесь: Япония» за 2000–2002 гг. и мн. др.

29. Кедо кэнкю. Росиа то Нихон. (Россия и Япония. Сборник статей). Вып.1. Под ред. Рехэй Ясуи. — Токио, 1987, 1990; Вып.2. Под ред. Есикадзу Накамура. — Токио, 1990; Вып.3. Под ред. Есикадзу Накамура. — Токио, 1992 (титул на двух языках).

30. Икё-ни икиру. Райнити Росиадзин-но сокусэки. (Жизнь на второй родине. Исторические следы русских в Японии). Под ред. Мицуо Наганава и Кадзухико Савада. — Токио, 2001. Содержание сборника изложено в рецензии В.Э. Молодякова: Новый журнал (Нью-Йорк). Кн.225 (Декабрь 2001). См. также новейшее издание Ассоциации: Нитиро корю ронсю. (Сборник статей о японско-российских связях) = Альманах Япония-Россия. — Токио, 2002 (титул на двух языках).

31. Подалко Пётр: 1) «Хаккэй росиадзин» то Нихон. («Белые русские» и Япония) //«Цуруга ронсю» («Труды университета Цуруга»), № 14 (1999); 2) Нихон дзайсю Росиа гайкокан ни цуйтэ. (О российских дипломатах в Японии) //Там же. № 15 (2000); 3) Синнитиха то боканся: бомэй росиадзин-но мэ-дэ мита Нихон-но хикари то кагэ. (Японофилы и наблюдатели: свет и тени Японии глазами русских эмигрантов) //«Росиа кэнкю» («Исследования России»). № 70 (2002); 4) Павел Васкевич — учёный, дипломат, путешественник: к 125-летию со дня рождения //«Acta Slavica Iaponica». Т. XIX (2002) и др.; №№ 1 и 2 в соавторстве с М. Гавриловой.

32. Например: Шукуров Р. Россия в «магнитном поле» Японии //«Ex libris НГ». 2001, 07.06.

33. Накамура Кэнноскэ. Чувство жизни и смерти у Достоевского. — СПб., 1998; книгу рецензировали «Книжное обозрение», «Ex libris НГ», «Русская литература» и др.

34. Комарович. Достоевфусуки-но сэйсюн. (Молодость Достоевского). Пер. и ред. К. Накамура. — Токио, 1972.

Вместо заключения ИСТОРИЯ, ИСТОРИК И ИСТОЧНИК В КОНФЛИКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Константин ЕРУСАЛИМСКИЙ

К 1996 г., когда выходили первые «Исторические исследования в России», в обновлённой отечественной историографии было ещё слишком мало опытов написания систематических трудов по исторической теории, историческому методу, историческому сознанию или мировоззрению. Неслучайно историки, тревожась за старую или предвосхищая новую исследовательскую практику, определяли свое отношение к альтернативным историческому материализму «абсолютным моделям» (Л. Н. Гумилёв, А. С. Ахиезер) (1). Очень скоро универсальные концепции заняли свои места в интеллектуальном пространстве где-то рядом с «осевым временем», «закатом Европы», «уходом и возвратом» и «новым средневековьем». Историки, которых эти категории не устраивали, снова обратились к чтению мировой историографии и обзорной работе, испытывая недостаток даже в элементарных пересказах западных исследований, в том числе опубликованных впервые десятки лет назад (2). И всё же обозреватель чужих подходов уже в момент чтения создает свои интерпретации, и сообщество, уделяя внимание конфликтующим подходам, занято при этом собственными теоретическими разработками. Почему же представители профессионального исторического сообщества до последнего времени признавали за собой лишь роль наблюдателей, а методологические дискуссии не превращались в попытки теоретической генерализации? Некоторые особенности «подпольного философствования» выясняются, если обратиться к тем построениям, которые для удобства обозначены здесь как «источниковедческий проект». Условность этого обозначения очевидна: речь идёт о ряде постоянно развивающихся и нередко конфликтующих между собой концепций. Все они одинаково отличаются тем, что тесно связывают воедино триаду исторического познания: историка, источник и историю.

Самым трепетным вопросом современного российского источниковедения является его бурная изменчивость. Особенно заметна буря в «подвальных» пластах методологических текстов — в их риторике, формулировках, полемических выпадах. Верхние этажи здания рефлексии как будто не перенесли существенных обновлений. Работа с источниками продолжает счи-

таться, во-первых, гарантией творческой свободы от наносной идеологии и поверхностности построений; во-вторых, индикатором профессионализма; в-третьих, одной из основ научной квалификации. Во многом по этим причинам, несмотря на частные концептуальные расхождения, историками-профессионалами поддерживается устойчивый статус источниковедения как системы знания. В качестве первостепенной для гуманитария университетской дисциплины оно закреплено в учебных пособиях и программах профильных и специальных курсов. Выбранный для данного очерка методологический ракурс рассмотрения источниковедческого проекта позволяет сразу же оговориться и отказаться отождествлять практическую оправданность учебных построений источниковедения — удобность в целях преподавания — с легитимностью его предпосылок и импликаций. Эти учебные тексты, при всем их тяготении к отвлеченному «нулевому» письму, педагогическому схематизму и часто постулируемому безличному долженствованию, насыщены властной игрой лингвистических форм, которые под видом подведения итогов из других текстов, простой очевидности или целесообразности конструируют знание и его последовательности. Какими бы справедливыми ни были доводы в пользу университетского дискурса как особого языка, нет никаких теоретических оснований считать, что учебная практика только упрощает, а не конструирует, методологию источниковедения (3).

Замутнённое отражение

Исходный постулат источниковедения гласит, что источник объективен, эмпирически достижим и хранит неисчерпаемую информацию о действительности. Дважды источник подвержен воздействию субъекта (сначала автора, потом — исследователя) (4). Для сторонников ленинской гносеологии постулат о трансляции мира в источнике достаточен для того, чтобы на всем протяжении источниковедческой критики разоблачать этих двух субъектов как прикрытие мира. При этом сама субъективная реальность настолько сомнительна, что ей отказано в автономии, так как она — «дериват объективной реальности, её идеальное отображение в сознании субъекта» (5). Сознание признается лишь функцией действительности. Результат поисков историка в таком случае — обретение истины о мире путем устранения из него точек зрения создателей источника и исследователя источника. Полученное отображение почти ничем не замутнено, если не считать, что образ мира, сколько не устраним из него субъекта, все равно очерчивается в субъектном производстве-претворении, а резкость этого образа устанавливается в исследовательском объективе (6).

Источниковедческой вариацией теории отражения является представление о двух функциях источника (7). Первичное свое предназначение он выполняет при его создании в ходе целенаправленной деятельности человека.

Вторичное — когда становится объектом внимания исследователей. При этом, согласно данной теории, вторичная функция в первичной не задана, то есть цели создателя и исследователя не совпадают (тем более в тех случаях, когда создатель стремится к такому совпадению). Удобство данной модели и ей подобных не устраняет вопросов в её применении. С одной стороны, замысел и произведение редко идентичны друг другу, в процессе творчества замысел может меняться и уточняться. С другой стороны, прочтения источника как действующего памятника культуры предполагают как вычитывание замыслов и смыслов, так и опознание иных прочтений («бытование источника») и их соотнесение со своим. То есть ни один из компонентов в диаде не представляет собой статичную данность. К тому же формальное разграничение функций по стадиям условно и только прикрывает сложный вопрос о взаимозависимости образов чтения, предполагаемых порогов ожидания читателей, репрезентации источника и стратегий его исследования.

В. П. Козлов, придерживаясь теории двух функций документа, предложил отождествить «фазу покоя», то есть его архивного бытования, с «фазой существования документа в качестве исторического источника» — на основании того, что документ в состоянии покоя перестает быть «регулятором действительности» и превращается в «свидетельство о действительности» (8). Допустим, что архивы предназначены только для тех документов, которые регулировали действительность в смысле, близком к юридическому. Значит ли это, что до своего попадания в архив они не могут существовать в качестве исторического источника? И зачем государство их сохраняет, если они окончательно переходят «на покой»? И неужели документы уже в качестве источников не «регулируют действительность» посредством трудов историков, даже если эта «действительность» — жизнь одного единственного человека?

Принцип «признания чужой одушевленности», разработанный А. С. Лаппо-Данилевским, выгодно отличается от теории отражения помещением психического мира и выражающей его деятельности создателя источника в центр источниковедческого исследования (9). Данная теория не устраняет проблематики отражения, поскольку признает существование за источниками «целостной действительности», «среды», «объективной реальности», неясным образом сопредельной психике, и не раскрывает, как происходит обнаружение этой реальности в источнике и как историк преодолевает индивидуальную психику, восстанавливая из обломков «единую совокупность» (10). Контексты, согласно построению А. С. Лаппо-Данилевского, превращаются в некие познавательные предпосылки, наделенные неизменным или, по меньшей мере, стабильным с точки зрения источниковедческих приемов статусом: «Исследователь, — читаем в одной из интерпретаций этой теории, — находясь в иной точке эволюционного пространства, имеет возможность воспринимать исторический источник в контексте всей породившей его культуры и, следовательно, понять его глубже, чем понимал автор» (11). Это выход из противоречий, заложенных в «Методологии истории», но выход, как пред-

ставляется, чрезмерно упрощающий концепцию: получается, что (сконструированный при участии исследователя) источник позволяет вычитать из него общекультурные значения, а (также сконструированный образ) автор «понимает» свое произведение менее глубоко; неясным остается, как восстанавливается «контекст *всей* культуры» и как можно соизмерять представителей разных культур по глубине прочтения одного источника, если не допуская существование единственно правильного его понимания.

Чему не подвержено современное источниковедение

Стройность проекта исчезает при смещении внимания к определению источника в общеметодологическом поле. Источник непрозрачен, он выбивается из строгих классификаций, его онтологический статус проблематичен. Его принадлежность (какой-либо) исторической реальности стирается из-за удлинения путей референции. В этой связи в источниковедческой рефлексии появляется образ постмодернистского знания, обычно в «третьем лице». Источниковедческие тексты интересны с точки зрения их дискурсивных коллизий. Потеря методологической устойчивости провоцирует в ряде недавних работ возникновение эффектов сомнения. Общим явлением, определяющим отличие современной источниковедческой «поэтики» от споров начала 1990-х, мне представляется отступление «кризисной» и «взрывной» риторики и приход схемы (вполне в духе А. Тойнби) *вызов/ответ*.

Этот едва заметный сдвиг может быть объяснён по-разному.

Во-первых, исследователи начала 1990-х воспринимали научную смуту, кризис, смену парадигм как прорыв, «выход из кризиса» (12), как временное явление, на смену которому явится некая новая стабильность. Равновесие казалось тем более близким («настало время»), что открытые архивы и свобода мысли позволяли благодаря «новому прочтению» решить старые проблемы принципиально по-новому: «Настало время изучать Ленина не выборочно, а фронтально» (13). Предметы остались те же, необходимо было лишь оградить их от профанации, дилетантизма, «инфляции исторического» (14). В методологии особая миссия возлагалась на сочетание эвристики, текстологии и герменевтики (15). Рост интереса к новым языкам, и особенно к антропологии, лингвистике, интеллектуальной истории, определился в источниковедении несколько позже, во второй половине 1990-х. Источники перестали работать на историка как обычный инструмент и, если пользоваться образным языком А. Я. Гуревича, обратились к историку с призывом: «Спроси меня о другом!». В недавних аналитических работах констатации о «культурном переходе» носят уже совсем отвлеченный характер и не подразумевают, по крайней мере, в контекстах самих работ, какого-либо направленного движения (16). И это порождает растерянность или, скорее, спорадическое реагирование — по мере возникновения новой методологической тревоги.

Во-вторых, источниковедение, будучи открытым для экспериментирования и творческой свободы, предлагает теоретический диалог *на равных* с универсальными концепциями: «Источниковедческая парадигма дает поэтому свой ответ на вопрос об историческом синтезе: вполне возможно по фрагментам изучать глобальную историю, существуют и общезначимые, научные методы её исследования» (17). Источник при таком понимании не предмет информационного потребления, а результат целенаправленной человеческой деятельности; и не пассивное свидетельство, а часть исторической жизни, воплощение чужой одушевленности (18). О. М. Медушевская отстаивает концепцию фундаментального обучения источниковедению. Оно представляет собой новое пространство взаимодействия истории и антропологии, а также общую основу «для всех гуманитарных наук» (19). Его развитие происходит в ходе ответов на вызовы компаративистики, «лингвистического поворота» и т. д. (20). Выход «из познавательного пространства средневековых рукописных текстов на просторы междисциплинарности» связывается с развитием информационного общества и появлением феномена Письма в работах Р. Барга, П. Рикёра, М. Фуко, но не прослеживается в отечественной науке (21). Таким образом, привитие постмодернизма источниковедению признается, но именно как влияние извне относительно профессионального сообщества. Самоутвердившись в качестве новой научной парадигмы, источниковедение взирает на методологические приступы глазами доктора, как если бы кризисы были временными напастями, полезными, впрочем, для укрепления иммунитета (22).

В-третьих, риторика «выдает» подозрительность исследователей при обращении к теме постмодернизма. О. М. Медушевская разрабатывает методологию истории как особую единую парадигму, которая уже у А. С. Лаппо-Данилевского была представлена «как целостное, взаимосвязанное, логически обоснованное учение о методах, обеспечивающих строгую научность исторического знания» (23). Следует ссылка на оба выпуска «Методологии истории» А. С. Лаппо-Данилевского и на его согласие с Э. Гуссерлем («Философия как строгая наука»), что «только по достижении подобной концептуальной ясности можно науку преподавать» (24). Все же можно полагать, что научной «строгости», ни по А. С. Лаппо-Данилевскому, ни по Э. Гуссерлю, историки достичь не в состоянии в связи со спецификой их доступа к объектам познания (25). Ж. Ревель возводит идею научной истории к теоретическим традициям 1890-х гг. и указывает в качестве первого подобного исследования книгу П. Лакомба «Об истории, рассматриваемой как наука» (1894 г.) (26). Сто лет спустя контекст сциентистской концепции уже заметно иной, и припоминание иных традиций только подчеркивает стремление к обретению союзников в противостоянии постмодернистским интерпретациям (27). М. Ф. Румянцева считает, что *можно* рассматривать постмодернизм «как ситуацию цивилизационного перехода или как очередной “вывих” рубежа веков» (склоняясь к первому определению) (28). Историк, по её мнению, в праве оставаться в рамках «строгой исторической науки» (29). Большие надежды

открываются в перспективе прояснить критерии этой декларируемой «строгой научности исторической теории» (30). Но всякий раз маркер «строгость» появляется в книге М.Ф. Румянцевой где-то на горизонте дискурса, чтобы засвидетельствовать своё задулисное присутствие и тут же исчезнуть.

Продолжая размышлять над перспективами объективной истории, О.М. Медушевская пишет, со ссылкой на первые фразы «От произведения к тексту» Р. Барта, что фундаментальный вопрос в современных гуманитарных методологиях — «каков же реальный объект гуманитаристики, если она формируется как наука о человеке?» (31). Отсылка к эссе Р. Барта 1971 г. знаменательна: под «новым объектом», возникшим в результате раскола научно-дисциплинарного единства, французский писатель недвусмысленно понимает *Текст* (32), а О.М. Медушевская — объективное *произведение*, результат деятельности личности или группы людей (33). При всей близости проблематик текста и произведения-источника, забвение о «Тексте» подразумевает отказ отечественного исследователя от воспроизводимой концепции. Данный вывод тем более уместен, если учитывать постулируемый в современном источниковедении принцип суверенного от историка статуса источника, трудно согласующийся с идеей постструктурализма о чтении-письме, о тексте, не только воссоздающем, но и переписывающем произведение. Сходным образом цитируемое из М. Фуко «впечатление расплывчатости» гуманитарных наук немедленно и без всякой связи с ходом мысли французского историка обращается на пользу идее возвращения истории «в ранг строгих наук» благодаря структуралистским подходам (34). В учебнике РГГУ современный историк-профессионал представлен скорее как возможная жертва постмодернизма: «Он может, двигаясь в русле приоритетов массового сознания, лишь фиксировать противоречивость интерпретаций и их ускользающий смысл, находя в этом завораживающую самодостаточность. Однако гораздо важнее активно способствовать формированию методологии научной определённости, создавая воспроизводимые результаты исследования качественно новой реальности» (35). Достижение методологической «определённости» связывается с преодолением постмодернистского влияния, но преодоление преподносится таким образом, что предполагает частичное или косвенное освоение (36). «Релятивистский флёр» (выражение Н.Е. Копосова (37)) создаёт, на первый взгляд, благоприятный для теории источниковедения эффект суверенного освоения чужой территории. Идеи коллег по профессии высказываются и обсуждаются до тех пор, пока они «работают» на концепцию. В известном смысле, подозрительность к «вывиху» обращается на пользу объекту построений — источнику. Его реальный статус («искомая объективность» (38)) обретает неожиданных союзников, которым до поры до времени разрешается плодотворно участвовать в методологическом диалоге.

В-четвёртых, до источниковедения докатилась волна защитных построений, направленных на подрыв релятивизма. Сторонники точности гуманитарных наук, социальные историки, отдельные исследователи склонные к неопозитивизму поддержали эти выступления. Сыграло свою роль и «не-

совпадение» предметных областей источниковедения (в большей мере критика форм и внешнего содержания источников) с областью интересов интеллектуальной истории (изучение текстов, дискурсивных стратегий, идеологических языков). А также отсутствие специальных работ в смежных областях и скорая «усталость» от повторения общих мест (39). Соотношение постмодернизма и науки воспринимается как требующая компромисса «борьба между сциентической и культурологической ориентациями» (40). Противостояние давно приводит к взаимным уступкам, и уже достаточно примеров того, как представители обеих «ориентаций» в ходе дискуссий вносят уточнения в системы своих построений (41). Чего же именно требует борьба? Как и с чем должен быть достигнут компромисс? Эти вопросы воспринимаются в источниковедении болезненно: задать их, значит, по крайней мере, гипотетически, двигаться в сторону постмодернистских спекуляций, а тем паче — поступаться принципами. Не задавать их, наверное, уже не позволяет научная этика или историографическая мода. Начатый разговор постоянно откладывается, создавая не столько интерпретации, сколько «шумы». Назойливость постмодернистской тематики в теоретических источниковедческих построениях — особенно интересный современный феномен, косвенно свидетельствующий об отстраненных симпатиях историков к запретному «вызову научной истории».

Рыцарственные защитники профессионализма слышат размышления о наступлении осени в научной истории как вызов или угрозу. Вместе с тем, отстаивая «общее дело», историки не стараются артикулировать свои образы научности и не вдаются в подробное рассмотрение тех интеллектуальных стратегий, которые, как предполагается, разлагают научную картину мира. Тем интереснее эксперименты в поиске соответствий между источниковедением и постмодернизмом. А. В. Фененко обращается к постмодернистским концепциям с целью определить их воздействие на методологию источниковедения. Исходный «революционный» вопрос-постулат формулируется на полях книги М. Фуко «Слова и вещи»: «Если и автор, и читатель источника — дети своего времени, то не является ли трактовка историком источника созданием качественно иного произведения?» (42). Принципиальным для постмодернистского «источниковедения» А. В. Фененко признаёт подмену реальности текстом, образующим сочетание, по меньшей мере, четырёх различных фактов: реальных событий, версии автора текста, восприятия этой версии современниками и её осмысления историками (43). Здесь, по моему мнению, воронежский исследователь точно отмечает смещение постмодернистских прочтений в сторону текста, но несколько неосторожно раскрывает «факты» (44). Тексты не содержат референции к «реальным событиям», они адресуют к самим себе, или к другим текстам, или к таким референтам, на которые нельзя указать пальцем, как на лошадь или дерево (45). Также нельзя указать на прошлое, как на слова «лошадь» или «дерево», поскольку любой исторический рассказ подлежит кодированию и репрезентации, а значение единственно доступным историку источникам (остаткам и образам прошлого) придаётся в ходе интерпретации (46). Р. Ф. Беркхофер пишет по этому

поводу: «Теоретики текстуальности отказываются принимать письменный, устный или любой другой коммуникативный артефакт за конкретный феноменологический объект с фиксированным значением. Скорее они рассматривают такие артефакты как места пересекающихся систем значений, обретающие различные прочтения и многообразные интерпретации. Тексты “прочитываются” как системы или структуры значения, проистекающего из семиотических, социальных и культурных процессов, посредством которых они сконструированы или текстуализированы» (47). Поскольку текстуальные стратегии обнаруживаются в любом коммуникативном артефакте, то и чтение распространяется на любой предмет культуры, рассматриваемый как пульсирующее пространство постоянно возобновляющихся интерпретаций (48).

Ещё большую проблему представляет «версия автора», поскольку автор — это игра означающих, движение дискурса, пересечение языков и других текстов (49). Говорить о восприятии *этой* версии и *её* осмыслении не приходится. А. В. Фененко настаивает, что постмодернистские методы «позволяют по-новому понять текст и приблизить его содержание к исторической реальности», и далее, со ссылкой на идею П. Бурдьё о конструировании и выражении реальности в словах, пишет: «Таким образом, субъективные причины искажения исторической реальности оказываются фактически непознаваемыми. Именно эта проблема и составляет суть “постмодернистского вызова” в источниковедении, адекватного ответа на который не найдено до настоящего времени» (50). Вряд ли можно согласиться с тем, что «историческая реальность» много выигрывает от приближения к ней содержания текста, а постмодернистские методы что-то меняют в её понимании. «Чахлая идея реальности», даже в прочтении, предложенном П. Бурдьё, только иногда представляет проблему для их сторонников, но совсем не является основным предметом их забот (51). Поэтому и её «искажение» — сомнительное достояние модернистского источниковедения, совершенно неприложимое к теориям чтения-письма (52).

Язык источниковедения, таким образом, развивается особняком от языков других методологий гуманитарного знания. Это создаёт угрозу непереваемости. Как всякая теория, претендующая на универсальность и «системообразующее значение», российское источниковедение старательно избегает этой проблемы. Характерный пример. А. А. Сальникова приводит мнение Ч. Руда о смысле понятия «источниковедения» в его рецензии 1989 г. на книгу О. П. Федоровой «Журнальная публицистика 20-х гг. как источник по истории советской интеллигенции». Рецензент прибегает к сложнейшей описательной конструкции, сравнивая источниковедение с библиографией и архивным делом, но не отождествляя с ними (53). Отечественная исследовательница, приведя этот пример непонимания, обнаруживает выход, сближая источниковедение с «sources study», и тут же делает замечание, что в зарубежной историографии недостаточно теоретических исследований об «источнике как таковом» (54). Комментарий Ч. Руда, тем не менее, свидетельствует как раз о том, что это задача российской науки объяснить мировому научному сообществу

ществу легитимность вопроса об «источнике как таковом», показать возможные соотношения источниковедческой понятийной системы с близкими ей методологическими языками. Преимущества суверенного источниковедения, подменяющего или поглощающего смежные научные области, как пишет А.К. Соколов, в том, что так «легче решать многие вопросы исторической эпистемологии, в том числе касающиеся новых подходов к социальной истории, в которых проблемы работы с источниками (текстами) выходят на передний план» (55). Чем же лучше ситуация, когда «работа с источниками» находится на «переднем плане»? Нет ли ловушек в этой легкости решения вопросов эпистемологии? Каковы импликации теории источниковедения, сконцентрированной на источниках-текстах?

Диалог с надстройкой посредством базиса

В связи с интеграцией истории и антропологии в историческое источниковедение хлынули методологические проблемы интерпретации «полевых дневников» (56). Поскольку и историки не ограничиваются предметами прошлого, а изучая источники, постоянно занимаются археологией в настоящем (57), необходимо обращение к вопросу о том, как исследователи-профессионалы участвуют в создании источников (кроме собственно источников историографических) (58). Память участника событий, служившая главным «источником» в исторических сочинениях Средних веков, вновь вырастает как исследовательская проблема. Статус *личного восприятия* подорван критикой концептов «человек» и «автор» в постструктурализме, а на другом фланге социальной историей с её тяготением к безмолвствующему большинству, массам и их разновидностям. Но вопросник современного историка настолько усложнен, его интересы настолько неординарны с точки зрения обыденных социальных стратегий, что усредненные показатели любой степени дробности уже не в состоянии заменить живого голоса — пусть и исчезающего подобно лицу, начертанному на прибрежном песке, — в том числе «ничем не выдающегося», вырастающего из социологического респондента. И в связи с этим перед современным источниковедением возникает вопрос, на первый взгляд, пугающий своей принципиальной неразрешимостью: как «разговорить» (59) такой тонкий и почти нематериальный «источник» (60), как персональная память? Источник, попавший в кавычки, тянет за собой и опыты своего осмысления. Для охранителей строгой самодостаточности исторического источниковедения в предуказанных границах этого хватит, чтобы отправить подобные опыты за горизонты своих обязанностей. Тех же, кто стремится откликнуться на призывы источниковедения пользоваться его стратегиями, отречение не может устроить: исследование уже невообразимо в виде первоначального сбора материалов, якобы подготовительных с точки зрения будущей подлинной историографии (61). Элементы источниковедения

неизбежны при любом обращении к чужому сознанию, и историк не может не нести ответственность, если его вопросы не были заданы тогда, когда ему самому было уместно их задать. Идеал дистанции между историком и предметом его исследования не страдает от их соучастия в создании истории. Диалог между ними в «реальном времени» — единственное и достаточное доказательство того, как историк в своей исследовательской практике придерживается принципов полифонии, компаративистики, критической иронии, герменевтики, плотного описания.

Современная социология предоставляет почти неограниченные возможности для создания микроисторий. Этим мог бы заниматься каждый. Но не каждый имеет профессиональный опыт и время для его обретения. Стереотипы, некоторые из которых изготовлены или поддерживаются профессионалами, ограждают массовое сознание от идеи написания своих историй. Во-первых, доказывается, что писать историю недавнего прошлого невозможно. Человек, пишущий свою историю, в классическом источниковедении обречен попасть в «убогий род литературы» (раздел мемуаристов или автобиографов) и пройти все круги проверки на «субъективность». Истории, как правило, ютятся в классификациях среди повествовательных источников, а начинающему исследователю, если он не историограф, рекомендуется обходить их стороной, чтобы не заразиться предвзятым мнением. Как же случилось, что понятие «история», разработанное в античности применительно к описаниям актуальных событий, было дискредитировано в этом своём качестве (62)? Во-вторых, стереотип непритязательных скромников (паче гордости), гласящий, уже вне всякой связи с поэтическим контекстом, что «не надо заводить архива, над рукописями трястись». Человек, которому внушили, что объяснение и изменение мира — это две разных операции и все силы необходимо бросить на осуществление второй, пишет историю поступками. Что он при этом теряет? Он не выделяется из обобщения, его голос неслышен, а повествовательную историю пишут другие, решая за него, к какому сообществу он относился, как должен был мыслить, чувствовать и чем должен был мотивировать свои поступки. В-третьих, стереотип Петра Ивановича Бобчинского. Маленький человек, готовый за дрожками городничего «петушком побежать», лишь бы посмотреть в дверную щелочку на чиновника, мечтал стать всего лишь по имени известным «вельможам разным» и государю. Проскользнуть в историю если не подвигом, то знакомством с «важной персоной» — выбор элитарно-иерархического подхода, в рамках которого факты делятся на социально-значимые и неисторические (63).

Стремление без соизволения Персоны попасть в историю при таком подходе означает: попасть туда вопреки Ей и услышать за спиной Её «тяжелозвонкое скаканье». Безумие, рождающееся от мысли иметь свою историю и быть непринципиальным Персоне, вполне наглядное подтверждение того, что Её усилия оправдались. Государственные архивы — тому свидетельство (64). Историк — их раб, поскольку вынужден изучать то, что документировано. Практикующий историк должен в них оправдывать свой профессионализм

(«Добро, строитель чудотворный!»). Источники надолго в источниковедении отождествились с понятием «документ», перегруженным политикой (65). Преодолевая стереотипы, мы рискуем оказаться в безвоздушном пространстве: в отечественной истории (включая XIX и XX вв.) часто не известно почти ничего даже о государственных служащих, не говоря уже о людях без звания, не совершивших ничего «этакого». Домашние архивы этих «призраков» — слишком неавторитетное поле профессиональной деятельности. Поэтому призывать историков ради подозрительных чердаков и антресолей повременить с государственными архивами было бы настоящим преступлением перед профессией. Тем более вероятность пройти «по живому следу» П. И. Бобчинского, роясь в беспорядочных бумагах, вещах и воспоминаниях, ничтожно мала, а историку, бесплодно интересующемуся судьбой Петра Ивановича, чем-то же надо заниматься. В архивах лежит не история, а то что в них положили люди, уверенные, что они — главный предмет истории, и люди, уверенные, что сохраняют для историков самое важное и интересное. Так невольно историк превращается в заложника архивистов — хранителей памяти и представителей власти (66).

Вопрос о власти, главный вопрос всего самого дорогого отечественной историографии, своеобразно сказался на теории источниковедения (67). Источник попал в арсенал политиков как изысканное орудие борьбы. Достаточно вспомнить дискуссии вокруг секретного протокола к пакту Молотов–Риббентроп и многочисленные случаи использования в информационных войнах чёрных чемоданчиков с компрометирующими документами. До недавнего времени историки, испытывающие восторг перед скандальной эвристикой или промышляющие отысканием «жареных» источников, всё же не решались превращать свой интерес в основу профессии или подводить под него методологию. Ныне эта задача успешно выполнена монографически (68). Логика в построении В. Ф. Коломийцева разворачивается следующим образом. Познание прошлого достигло наивысшего пика в марксизме, которого в частности придерживаются даже его оппоненты (69). Желая или не желая быть марксистом, историк все равно не в силах отказаться от роли судьи и не может абстрагироваться от идеологических разногласий и партийности (70). В любом случае он выражает чьи-то интересы и подходит к фактам с этих позиций, так как жизнеспособны «не всякие конкретные факты прошлого», а лишь «социально-значимые» (71). Данная схема, упокоенная за калейдоскопическим перечислением концепций исторического метода, внушает уверенность, что идеалистическое видение истории автором полностью «изжито» (72). Интерес представляет для меня вторая часть книги, озаглавленная «Элементы критики источников». Подбор видов источников в книге случаен и никак не прокомментирован. Это объяснимо. Во-первых, каждый вид служит автору трамплином для ведения настоящей идеологической войны против западных информационных агентств, статистики, общественного сознания, партий и их лидеров, империализма, конфедеративных блоков,

стран — и особенно США (73). Во-вторых, автор исходит из представления о всеобщей ангажированности источников. Вторая часть начинается разделом о прессе. В.Ф. Коломийцев присваивает ей привилегированное место среди других источников: «Журналистский факт — первая ступенька продвижения к историческому знанию (“историческому факту”» (74). Иными словами, исторический пирог можно испечь уже в том случае, если в кухне у историка есть только пресса — достаточно её хорошенько обработать по методологии профессора В.Ф. Коломийцева. Симпатии к прессе в книге очевидны: автор постоянно в своих критических выпадах в адрес западных стран ссылается на газету «Правда» за 1980–1990-е гг. Политика, впрочем, проявляется в прессе не всегда полно. Но историк может не беспокоиться. Он всегда занимается политикой, как и все те, кем он интересуется, как и все создатели «всех видов источников» (75). Землей обетованной для сторонников публицистической истории после этого становится признание партийности в формировании научного знания: «Формирование историографических концепций нередко обусловлено уже сложившимися в политической публицистике оценками и точками зрения» (76). Когда В.Ф. Коломийцев в разделе, посвящённом документам партий и общественных организаций, дискутирует принцип партийности, он хвалит этот принцип за его соответствие национальным и государственным интересам страны, но критикует вызванное им ограничение научной беспристрастности и смелости поиска (77). Надо полагать, книга профессора В.Ф. Коломийцева позволяет очистить идеал от случайных недостатков и совместить истинную ленинскую партийность с истинной ленинской научностью (78).

Дисциплины «микроистория», «своя история» и «эгоистория» пока заметно не отразились на общем состоянии отечественной историографии и совершенно не отразились на теоретическом источниковедении. Оживленные и невероятно интересные дискуссии в последние годы на тему микроанализа в истории дают пищу и для источниковедческих размышлений. Интерес к уникальному подразумевает и смещение внимания к необычным источникам, и особые техники работы с источниками традиционными. История в малом реконструируется часто обходными путями, по намекам и обрывочным данным. К. Гинзбург и К. Пони предложили в связи с этим формулировку, согласно которой серийные и массовые источники менее пригодны для такой работы, так как отражают интересы прежде всего господствующего класса, а статистически редкий документ может быть гораздо более содержательным (79). Классовый подход к чтению источников вряд ли что-то проясняет в способах их отбора для микроисследования, поскольку лазейки к уникальному и нестандартному поведению могут находиться как раз в залежах массивных и стандартизированных источников. Важны скрытые исследовательские ходы, выработка особого понятийного языка. «Восстановление всяческого» недостижимо без пересмотра ключевых понятий неизменно ангажированной историографии. П.Ю. Уваров воскресил для современных исследователей одну из самых привлекательных гуманитарных идей, высказанную Н.Ф. Фе-

доровым: «Все живущие должны быть историками, а все умершие — предметом истории, неотделимой от естествознания и естествоуправления» (80). Отдельные источниковедческие приемы понятны и неспециалисту, но заставлять людей проходить дополнительную подготовку, чтобы в совершенстве овладеть ремеслом историка, конечно, нельзя. Поэтому современный историк должен уметь не только изучать источники, но и помогать людям создавать их (81). В том числе и самый сложный вид источника, узурпированный профессионалами во имя Персоны, — историю своей жизни, своей семьи, своих друзей, своего дела.

Наука в данном случае, не выходя из борьбы за добросовестность, вступает на грань с биохимией и психологией (последняя уже совсем не та, какой её видел в ходе «реализации продукта» А.С. Лаппо-Данилевский). Втиснуть явление памяти в источниковедческую классификацию по способу фиксации преднамеренной информации, например, в качестве «нейрохимического источника», проблематично, поскольку источниковедение, в настоящем виде, бессильно в обращении к внешней критике «носителя информации». Ю.Н. Мельников предложил типологию источников «по способу отражения исторической действительности» на вещественные (фиксируются изготовлением вещи и отражают деятельность), письменные (фиксируются написанием текста, предназначены для воздействия на других людей и отражают деятельность и общественные связи), технические (источники кодируются с помощью специальных технических средств, отражают общественные процессы) и современные (им свойственна универсальность информации). К современным источникам, отмечает Ю.Н. Мельников, «относятся сами люди как носители информации. Она фиксируется путем запоминания» (82). Теория базиса и надстройки проясняет смысл выделения четвертой группы: «Современные по содержанию универсальны, но к первым трем типам они относятся как традиция к остаткам» (83), причём остатки автор определяет как базис, а традицию как надстройку (84). Если следовать данной логике, то пришлось бы утверждать, что в базисе осуществляется нечто отличное от «самих людей», а «путь запоминания» не приводит к особому базису иначе как в форме вещи, письма или кода. Но может ли источниковедение оставить без комментария область психики, из которой берется память, воплощаемая в источнике, или рассматривать внутри марксистской дихотомии только как надстройку то, без чего никакое проявление базиса невообразимо?

А был ли историк?

Исследователь, обращаясь к любому проявлению памяти, не может игнорировать собеседника как Другого, не может не вступить с ним в диалог, оказываясь, уже в силу этого, неотъемлемой частью своего «источника» (85). Исследование в таком случае предполагает продолжение, развитие диалога,

втягивание в него новых участников. В учебнике РГГУ ставится особый акцент на рассмотрении взаимодействия познающего субъекта и источника. В самом декларируемом различении взглядов автора источника, историографии и точки зрения исследователя не заметно ничего нового (тем более без явной полемики), чтобы говорить об «отличительной черте источниковедческой парадигмы, восходящей к наследию Лаппо-Данилевского» (86). Тем более, не успев отметить роль исследователя, авторы обращаются к назиданию: «Более того, резко возрастает опасность неосознанного привнесения сложившихся в историографии точек зрения и оценок в иную эпоху, в контекст другого эволюционного целого» (87). Это повествовательное настоящее время глагола не относится ни какому определённом времени и ни к какому определённому историческому сообществу. Подразумеваемым действующим лицом выбран «начинающий исследователь», который «постоянно ориентирован на анализ содержания собственного сознания, выявление происхождения и структуры тех исторических представлений, которые складывались у него при изучении историографии и в процессе собственной исследовательской работы» (88). Методологический постулат, думаю, в данном случае неудачно прикрыт дидактической сентенцией. Почему «привнесение точек зрения» представляет собой только опасность? И почему, при каких условиях она «резко возрастает»? Как же иначе исследователь, и не только «начинающий», может изучать источники, если не из своего времени и не подходя к ним со своими вопросами, почерпнутыми из историографии и собственных ментальных категорий? Объективистская, по выражению П. Новика, «благородная мечта» неизбежно должна отменить техники воображения и приравнять метод обратного чтения (от эпистемологии к источнику) к предписанию реалистической нормы (89). Иначе что это за «контекст другого эволюционного целого», или «общий исторический контекст»? И какими способами он устанавливается или опровергается, если не историками, реифицирующими его «содержанием собственного сознания» в процессе работы с источниками? И в этом смысле не доказаны особые опасности «прошлого» по сравнению с «настоящим» и любыми его проявлениями: другие эпохи ничем не сложнее наших, если всякий раз историки изучают, по словам Л. П. Карсавина, «неповторимо ценный момент развития» (90).

Представление о суверенности источника от познающего субъекта постулируется в учебнике РГГУ на уровне метафизической онтологии с применением беспредпосылочных суждений. Сиротливый историк какое-то время, согласно данной картине, пребывает без источника, а вещь-в-себе обеспечивает свою познавательную неисчерпаемость тем, что сохраняет независимость от своих препараторов. Мне представляется, что строгая наука в таком варианте — следствие подмены понятий. Объекты, независимые от ощущений, не могут быть предметом исследования и остаются в области интересов метафизики. Источником вещь становится в соприкосновении с другим сознанием. По этой причине источниковедение, стремясь к онтологической строгости, репрессирует обе стороны диалога. Верификация применительно

к предмету самому по себе имеет некоторый смысл, если подразумевается естественнонаучная методика, направленная на раскрытие свойств и качеств явления, какие-то аспекты которого выбраны в качестве исторического источника. Если же речь идёт об источниковедческой верификации, то в ней участвуют познающий субъект, сложное символическое означающее «источник», выделенное субъектом из предметного мира (91), и игра референции, в ходе которой источник раскрывает коды, голоса Других и ментальные или бессознательные категории.

Об этом, реконструируя развитие теоретических основания «школы Анналов», много пишет А. Я. Гуревич: «Исторические источники *sensu stricto* не существуют независимо от историков. Ибо остаток прошлого сам по себе невнятен и молчалив, он начинает говорить только когда историк вступает в диалог с ним» (92). В данном суждении онтологическая апория не снята, а перевернута и приписана методу исторической антропологии. Источника нет, а как только он появляется, его следует «декодировать», получив таким образом доступ к истинным категориям некоего *единого* Другого в виде понятийной и категориальной «сетки координат» (93). Она — особая реальность, не отменяющая реальности мира, которую она преломляет или искажает (94). Кроме того, А. Я. Гуревич настаивает на вполне суверенном существовании у источников своей «сложной структуры», которую историк преодолевает как помеху в единоборстве за истину, как «сопротивление материала» (95). Наиболее ценными исследователь считает ненамеренные, произвольные высказывания источников, их «иррациональный остаток», который переступает через порог ожидания историка и «и представляет собой наиболее рациональное содержание исторического источника» (96). В этой формулировке чувствуется все же определённое предписание, противоречащее принципу диалога историка с источником, поскольку, если допустить, что историк в силах «победить в борьбе», его «победа» должна заключаться в получении латентной информации. Но что вообще такое «явная информация», которую якобы историк преодолевает? Не значит ли доступность и прозрачность текста, что просто не происходит его чтения или оно веет «по водной глади», не затрагивая кодов, то есть не приводя к диалогу с Другими?

Собственное сознание, как и презентизм, не мешает историку, а составляет обязательное условие диалога с прошлым (97). И вопрос, не стал ли диалог с «истинным» мышлением прошлого (*Begriffssystem*) предсказуемым соответствием заданию историка, возникшему до или в ходе декодирования, одинаково распространяется на любые конструкции этой истины. А. Я. Гуревич видит опасность лишь в увлечении типическими явлениями в долгих периодах, особенно в статистической обработке источников (98). Но не оказывается ли категориальная «система восприятия» Другого в реконструкции историка тем самым среднестатистическим показателем, обобщенным идеальным типом мировоззрения? Поскольку типическое и усредненное может рассматриваться как возможный способ раскрытия индивидуального, построение моделей и формализация данных источника не противоречат под-

ходу А. Я. Гуревича. С точки зрения намеченной археологии не менее существенным представляется ещё один вопрос. Если источники наводят исследователей на постановку проблемы, то не значит ли это, что «сложная структура» непреодолима, и все, на что может претендовать ученый, это создание системы допущений, позволяющей различить коды, за ними голоса Других и только за ними ментальные категории? В таком случае пути к мышлению людей прошлого не заказаны, но они — такое же следствие источниковедческих операций, как коды и голоса.

Письмо на песке

Очерченная стратегия диалога вряд ли возможна при том прагматичном понимании источника, которое распространено в источниковедческой педагогике. Информационные функции источника заслоняют тему его неисчерпаемости и открытости (99). Современное тематическое источниковедение, процветающее в высших учебных заведениях, строится на разграничении между видами по функциональному принципу: «Вид источника выражает его целевые функции и тем самым позволяет ясно представить изучаемую социокультурную общность в её реально существующих системных связях» (100). Именно видовыми особенностями групп источников обусловлены исследовательские приемы (101). Постулируя «неисчерпаемость», видовое источниковедение все равно должно методологически обосновать, как после «исчерпания» функциональной информации, свойственной каждому изучаемому виду, возможен выход за пределы функций и обнаружение тех кодов, которые неявны при заданных операциях чтения. Речь, разумеется, идёт не об оправдании педагогической практики, а о верификации самого классификационного принципа, позволяющего *отграничить*, например, литературные источники от публицистических, а актовые от законодательных.

Однако диалогический подход, направленный на создание новых источников, предполагает отказ от функционализма. Время обобщающих поэтик и риторик невозвратно прошло. Если и правда, что операции, используемые историком при изучении источника, сводимы к незначительному числу моделей, их классификация ничего не даст для создания источников-историй, кроме возможности их преодолеть. Перспектива комплексного письма-деятельности только на первый взгляд кажется достижением современности. Источниковедение, заявляющее о своём стремлении заниматься только письменными источниками, не объясняет главного: даже если выделять графику, письмо, письменность как особый способ фиксации информации (102), нужно все же совершить насилие или упростить вопрос до уровня евклидовой геометрии, чтобы оставить за скобками производство источника. Оказывается в таком случае, что в момент письма писатель как бы освобождается от других способов фиксации. Но ведь это не какое-нибудь «упрощение в целях

наглядности». Графика возникает на материальных предметах (источниках-артефактах) в процессе диктанта (устного источника) и движения минимум руки (источник-пантомима) как следствие кодирования информации (здесь прообраз автоматических источников, память и целиком психика) и в виде символического изображения (изобразительного источника) (103). Так к какому типу относится рукописная книга? Если ко всем, то неужели видовая классификация «письменных источников» никак не претерпевает от того обстоятельства, что собственно источник совсем не только «письменный»? Если же источниковедение занимается только этой его стороной как особым качеством, то не окажутся ли его выводы действенными только в тех аспектах, которые не взаимодействуют с иными качествами? Здесь ничего не объясняет нацеленность подобного исследования на содержательную критику, поскольку «содержание» присуще не форме письменного произведения, а, по меньшей мере, если уж настаивать на автономии источника от исследователя, форме всего источника в целом.

Все чаще, и тем отчаянней, звучат предложения заняться «вещевой» составляющей источника, в то время как шлейфы интерпретаций вытягивают и устраняют из него именно это «вещевое» единство. Источник как вещь открыт как целостность, но молчалив до тех пор, пока не обнаружит в ходе интерпретации хотя бы один свой замысел. То есть, и это возможное препятствие для осуществления симметрии *источник/вещь*, источником вещь оказывается как раз в тот момент, когда обнаруживается лазейка от вещи к производству, производству и производителю — человеческой психике и человеческой деятельности. В этой связи особенно ценны рассуждения С.М. Каштанова об «информативной функции» источника, которая объединяет его онтологический и эпистемологический статус (104). Физическое присутствие источника только благодаря передаваемому им сообщению подключается к источниковедческому исследованию (105). «Вещественные» или «материальные» источники по тем же причинам не могут составлять особую группу в классификациях: все предметы исторических исследований представляют собой артефакты, обладающие вещественностью (106). Признание единства источника как артефакта требует отказаться, по меньшей мере, от таких освоенных системных характеристик, как «письменные» и «вещественные» источники.

Остановлюсь на узком, но многоговорящем примере, знакомом мне по исследовательскому опыту. Источниковедение, ориентируясь на письменные источники, откликается на призыв позитивизма заниматься только «текстами» (подразумевалось: «документами»). В исследовательской практике, и с учётом немецкой археографии XIX в., это означало создание реконструкций. Тексты, очищенные от своих носителей и ошибочных чтений, ложились на стол к ученым, которые могли заниматься уже только «внутренней критикой». Господство политической истории определяло предпочтения при определении объективных данных. Поиск объективности при этом представлял собой вторую стадию очищения — отделение субъективной шелухи. Обе стадии зеркально повторяли одна другую. Первая представляла собой осво-

бождение подлинного источника от акцидентных списков, вторая — освобождение подлинной истории государства от акцидентных мнений, тенденций, интересов. Но в кодикологии, науке о рукописной книге, эта схема сыграла скорее роль препятствия. Цель кодикологического анализа заключается в том, чтобы за текстом увидеть движение руки писца, диктант, расположение подготовительных материалов, изобразительные формы в размещении текстов, в глоссах и рисунках, распределение работы между писцами и обстоятельства возникновения книги. А за её бытованием — увидеть способы чтения и чтения-письма (копирования), «удовольствие от текста», рецензирование, аналитическое осмысление списков, историографию (107).

Помещать письмо как фиксацию, а не как след в центр гуманитарного знания, как мне представляется, чревато расколом знания, возникновением в нём очередного или всё того же доминирования и ещё одной иерархии. История-рассказ отчасти навязала это господство письма в переживании прошлого. Воссоздающийся текст отодвинул от историка невербальное в источнике и создал иллюзию своего тождества с прошлым. Иллюзия поддерживается множеством техник вербализации, модифицирующих «опыт прошлого» в письмо (108). Теория источника, готовая ради собственного удобства пожертвовать диалектическими проблемами преобразования источника в текст, превращает эту исходную жертву в средство своего существования. О человеке сознательно действующем полнее скажет наука, которую можно было бы вслед за В.Л. Яниным называть *комплексным* источниковедением, если бы ещё какое-то имело смысл. Обилие профессиональных источниковедческих проектов, направленных на создание новых групп источников (устная история и эго-документы (109), антропологический фотоархив (110), Интернет (111) и т. д.), позволяет представить современное источниковедение видоизменяющейся научной областью в рамках методологий истории. Проект внешне уникален как раз потому, что конструирует и преобразует эти рамки. Источниковедение претендует на положение ведущей дисциплины в гуманитарном знании (112). Но это вызывает серьезные возражения как попытка узурпации чужой теоретической области (113).

Таким образом, в теории источниковедения усиливается поисковое направление. Культурологические познавательные стратегии вызывают резонанс у его теоретиков. Простые решения, свойственные теории отражения, потеряли научную монополию. «Источник» попал в конфликт интерпретаций, в диалог стратегий прочтения. Источниковедение претендует на создание универсального гуманитарного проекта, парадигмы, особого языка и тем обрекает себя на «блестящую и необходимую односторонность» (114). Самоопределение источниковедения невозможно, между тем, вне постоянного взаимного перевода его операционной системы и методологий истории, вырабатывающих свои источниковедческие языки, но не нуждающихся в центрировании на них как на особых проектах. Пока же господствующим остается признать ответное реагирование, предполагающее не диалог-перевод, а скорее защитные выступления в ответ на теоретические вызовы со стороны

родственных гуманитарных концепций. Приведённые выше наблюдения за дискурсивными особенностями современных источниковедческих текстов позволяют предполагать, что наибольшее неудобство для источниковедов представляют постмодернистские построения. Постмодернизм, даже отвергаемый сознательно, на руку источниковедению именно потому, что предполагает прочтение «реальности» в качестве непрекращающегося движения референции. Но постмодернизм же создает перспективу исчезновения источниковедческих методологий, их растворения в теориях и стратегиях чтения и письма.

Некоторые из историков-профессионалов с этим уже смирились. Возможно, меняется отношение и к смерти самой истории. Эта смерть, в любом случае невыносимая и непостижимая для разума трагедия, перестала восприниматься как следствие нарушения правил, системного сбоя и ухода от науки. В нынешнем научном гуманитарном знании, которое иногда пугает «вызовами», но уже не удивляет их обилием, смерть истории приходит из самой науки и прикрывается вовсе не «новой хронологией», не «дилетантизмом» и не «политической демагогией». И даже, как представляется, не «музейным» и «потребительским» глянцем. Это все упаковки, которые легко снять. Труднее бороться с устройством гуманитарной научности, а ведь его-то, дабы очистить от свершившихся перемен, источниковедение предлагает реорганизовать по удобному для своей системы различий алгоритму. Взамен за это видоизменение обещано точное и верифицируемое знание. Но может, это не идеал, а лишь одна из возможных точностей и лишь одна из систем верификации? И можно ли свести построение гуманитарной дисциплины, претендующей на положение фундамента в парадигме и центра в системе гуманитарного знания, к формулированию условий точного метода? Нет никакого эликсира «строгости», который оберег бы историю от подступа к своим пределам («Смерть придет, у неё будут твои глаза»). Вопрос, таким образом, не в том, умерла и умрёт ли история в диахронии, а в том, где внутри науки история неизбежно встречается со своей смертью и как её принимает.

Действительно, не пытаются ли преодолеть эту опасность авторы источниковедческих теорий? Проект жестко центрирован и только разрастается от соприкосновения с построениями, требующими новых оговорок. Его ядром остаются принципы, вполне освоенные ещё в позитивистской философии истории: объективность и неисчерпаемость источника, его суверенность от историка, верифицирующая и фальсифицирующая критика и извлечение информации. Но, как я пытался показать в этом очерке, чем больше «за» стягивается для развития изначальной схемы, тем более отчетливо проступает фигура умолчания относительно неудобных «вызовов», требующих уже не скорых подновляющих «ответов», а систематического пересмотра всего проекта. Только после этого будет ясно, оправданы ли его претензии на создание научной нормы. Считать источниковедение новой или просто особой парадигмой, значило бы признать его свободу от той системы знания, которой оно сформировано: «Ученость, занятая изготовлением новой исторической

парадигмы, должна прибегнуть к поэтическому воображению и техникам мифа — ибо этот проект требует создания новых категорий мысли и рефлексии в большей мере, чем механического наложения исследовательских техник и аналитических методов, придуманных для более ранних культурных целей» (115).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Бордюгов Г. А.* Каждое поколение пишет свою историю. Вместо заключения //Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. — М., 1996. С.429–430, 434.
2. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. — М., 1996; Культура и общество в Средние века — раннее Новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований. Сборник аналитических и реферативных обзоров. — М., 1998; Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5–6 октября 1998 г. — М., 1999; Философско-методологические основы гуманитарного знания: Сборник аспирантских работ /Под ред. А. Л. Зорина, С. Ю. Неклюдова. — М., 2001 и др.
3. В учебнике РГГУ, например, читаем: «Целью учебного пособия является обоснование основных позиций современного источниковедения, прежде всего его особого метода» (Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие /И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. — М., 1998. С.12).
4. Парадоксальным совпадением с представлением о чтении как интерпретации второго уровня выглядит известное замечание, что историческое знание «является дважды субъективизированным отражением». Этим, впрочем, сходства между адаптированной ленинской теорией отражения и герменевтикой Поля Рикёра заканчиваются (*Фарсобин В. В.* Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии. — М., 1983. С.57, 62; *Ковальченко И. Д.* Методы исторического исследования. — М., 1987. С.105; *Голиков А. Г.* Учебный курс «Источниковедение» в свете учения об информации //Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова 30 ноября — 1 декабря 1998 г. — М., 2000. С.252; *Голиков А. Г., Круглова Т. А.* Источниковедение отечественной истории. — М., 2000. С.6; *Воронкова С. В., Круглова Т. А.* Источниковедение отечественной истории. Программа курса. — М., 1999. С.5).
5. *Иванов Г. М., Кориунов А. М., Петров Ю. В.* Методологические проблемы исторического познания. — М., 1981. С.84, см. также С.147, 155, 180 и др.
6. *Тартаковский А. Г.* Социальные функции источников как методологическая проблема источниковедения //История СССР. 1983. № 3. С.123. Прим. 47. С.124.
7. См., например: *Сальникова А. А.* Современное зарубежное источниковедение: теория и метод: Учебное пособие. — Казань, 1999. С.29; *Корников А. А.* Теоретическое введение в источниковедение. Учебное пособие. — Иваново, 2000. С.4.
8. *Козлов В. П.* Документ в состоянии покоя: архивный, источниковедческий, археографический аспект //Вестник архивиста. 2002. № 4–5 (70–71). С.15–16.
9. *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып.2: Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1910/11 году. — СПб., 1913. С.301–318, 373–375; *Румянцева М. Ф.* Теория истории. Учебное пособие. — М., 2002. С.203–217.
10. *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып.2. С.296, 324–335, 357, 366.
11. *Румянцева М. Ф.* Теория истории. С.209.
12. *Соколов А. К.* Источниковедение XX века. Modus operandi //Источниковедение XX столетия. Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 28–30 января 1993 г. — М., 1993. С.15; *Данилов В. П.* Современная российская историография: в чем выход из кризиса? //Новая и новейшая история. 1993. № 6; *Ковальченко И. Д.* Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах //Новая и новейшая история. 1995. № 1. С.3–33; *Бордюгов Г. А.* Указ. соч. С.427–436.
13. *Кабанов В. В., Муравьев В. А.* К построению курса источниковедения истории Советского общества //Источниковедение XX столетия. С.22. См. также: *Мамонов В. Ф.* Кризис и историческая наука. — Челябинск, 1997. С.12–13; *Афиани В. Ю.* Секретная история советской науки: Проблемы ее изучения и документы бывшего архива ЦК КПСС 1950–1980-х гг //Источниковедение и краеведение в культуре России. Сб. к 50-летию служения Сигурда Отговича Шмидта Историко-архивному институту. — М., 2000. С.217.

14. Неслучайно историческая публицистика попала в эпицентр дискуссий вокруг первого сборника «Исторические исследования в России». См. особенно выступления В.В. Журавлева, А.П. Логунова, Н.В. Елисеевой: Новое поколение российских историков в поисках своего лица //ОИ. 1997. № 4. С.105 и сл., 109, 113.

15. *Георгиева Н.Г.* Некоторые теоретические проблемы источниковедения //Источниковедение XX столетия. С.27–28; *Румянцева М.Ф.* Философское понимание индивидуальности как предпосылка становления антропологически ориентированной истории //Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщений науч. конф. Москва, 4–6 февр. 1997 г. — М., 1998. С.27–28; *Данилевский И.Н.* На пути к антропологической истории России //Там же. С.45–48.

16. *Румянцева М.Ф.* Историческое сознание и историческая наука в ситуации постмодерна //Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: Докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18–19 апр. 2002 г. — М., 2002. С.41; *Медушевская О.М.* Архивное право и новая образовательная модель гуманитарного знания //Вестник архивиста. 2002. № 3 (69). С.81.

17. *Медушевская О.М.* Источниковедческое научно-педагогическое направление: гуманитарное знание как строго научное //Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института: Сб. — М., 2001. С.16.

18. *Муравьев В.А.* Историческая география: выбор пути //Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института. С.70; *Муравьев В.А., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф., Казаков Р.Б.* Эпистемология гуманитарного знания и профессионализм историка. Идеи и перспективы (из доклада Совету Российского государственного гуманитарного университета 22.11.1998 г.) //Там же. С.129–130.

19. *Медушевская О.М.* Историческая антропология как феномен гуманитарного знания: перспективы развития //Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. С.25–26; *Муравьев В.А.* Левиафан и Иона в России: предрасположена ли российская историографическая традиция к антропологически ориентированной истории //Там же. С.41.

20. *Медушевская О.М.* Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного знания: индикатор системных изменений //Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. С.24–25, 29–30, 32–33, 34.

21. Там же. С.34.

22. О непреодолимости кризиса при диалогическом подходе к гуманитарным «парадигмам» см.: *Evans R. J.* In Defence of History. — London, 1997. P.5; *Гуревич А.Я.* Двойная ответственность историка //Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19–21 мая 1996 г. /Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. — М., 1999. С.18; *Бессмертный Ю.Л.* Выступление в дискуссии по поводу статьи М.А. Бойцова «Вперёд, к Геродоту!» //Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. — М., 1999. С.68; *Степанов Б.Е.* «Всех поимённо назвать...» (Слово в дискуссии) //Казус-2000. С.98; *Литвак Б.Г.* Парадоксы российской историографии на переломе эпох. — СПб., 2002. С.12.

23. *Медушевская О.М.* Источниковедение и сравнительный метод в гуманитарном знании: проблемы методологии //Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва, 29–31 января 1996 г. — М., 1996. С.9, см. также С.22–26.

24. Там же. С.9–10.

25. Источниковедение, претендующее на статус строгой науки, следуя логике Э. Гуссерля, подменило бы собой философию, но и в таком случае оно натолкнулось бы в своей интенции на невозможность «выработаться в действительную науку», поскольку ему приходится разрабатывать понятийную систему не только для опытных и созерцательных феноменальных связей, но и для исследования феноменов, доступ к которым многократно опосредован, — в их числе движение исследовательских техник и референции. Присоединяя же к «чистой феноменологии как науке» в том виде, как она разработана в упомянутом трактате Э. Гуссерля, пришлось бы пожертвовать индивидуальным и объективным существованием ради исследования сущности и вообще вывести свой метод в ранг универсальной метафизики (ср.: *Гуссерль Э.* Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейской науки и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. — Минск–М., 2000. С.669, 696–697, 702–703, 706–707, 710–711, 721–723 и др.).

26. *Revel J.* Histoire et sciences sociales: une confrontation instable //Passés recomposés. Champs et chantiers de l'Histoire /Dir. par J. Boutier, D. Julia. — Paris, 1995. P.69. Призыв к научной истории прозвучал ещё раньше (Фюстель де Куланж, 1862) и ознаменовал рождение позитивизма в историографии (*Evans R. J.* Op. cit. P.20).

27. *Appleby J., Hunt L., Jacob M.* Telling the Truth about History. — N.-Y.–L., 1994; *Бордюгов Г.А.* Указ. соч. С.431–432; *Милов Л.В.* Творческий путь академика И.Д. Ковальченко //Исторические записки. — М., 1999. Т.2 (120). С.52, 57.

28. *Румянцева М.Ф.* Историческое сознание и историческая наука в ситуации постмодерна. С.46.

29. Румянцева М. Ф. Теория истории. Учебное пособие. С.25.
30. Там же. С.38, 168–170, 203, 208.
31. Медушевская О. М. Источниковедение и сравнительный метод. С.12–13.
32. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. /Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Кошикова. — М., 1994. С.413–423.
33. Медушевская О. М. Источниковедение и сравнительный метод. С.18–20.
34. Там же. С.20.
35. Источниковедение: Теория. История. Метод. С.118–119.
36. Муравьев В. А., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф., Казаков Р. Б. Эпистемология гуманитарного знания и профессионализм историка. С.133.
37. Копосов Н. Е. Как думают историки. — М., 2001. С.9. Прим. 5.
38. Источниковедение: Теория. История. Метод. С.11–12.
39. Бельский И. Л. К анализу современного источниковедческого сознания //Мир источниковедения: Сборник в честь Сигурда Оттовича Шмидта. — М.—Пенза, 1994. С.15; Фененко А. В. «Постмодернистский вызов» и проблемы современного источниковедения //Новик. Сборник научных работ аспирантов и студентов исторического факультета Воронежского государственного университета. Вып. 5. Специальный. Материалы круглого стола молодых ученых «Источниковедение сегодня: проблемы и перспективы развития». 15 декабря 2000 г. — Воронеж, 2001. С.17–18.
40. Селунская Н. Б. К проблеме объяснения в истории //Проблемы источниковедения и историографии. С.53.
41. Прайс Р. Историография, нарратив и XIX век //Социальная история. Ежегодник, 1998/99. — М., 1999. С.131–138; Вжозек В. Интерпретация человеческих действий. Между модернизмом и постмодернизмом //Проблемы исторического познания. С.152–161, особенно с. 157, 160; Zybortowicz A. The Thinker in a Labyrinth: Franklin Ankersmit's Idea of Historical Experience //Там же. С.201–209; Парамонова М. Ю. «Несостоявшаяся история»: Аргумент в споре об исторической объективности? Заметки о книге А. Деманда и не только о ней //Одиссей-1997. С.344, 347–348; Иггерс Г. Г. История между наукой и литературой: размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта //Одиссей-2001. С.140–154; Уайт Х. Ответ Иггерсу //Там же. С.155–161.
42. Фененко А. В. «Постмодернистский вызов» и проблемы современного источниковедения //Новик. С.10.
43. Там же. С.11.
44. О литературной организации фактов и их подмене текстами см.: *La Capra D. History and Criticism*. — Ithaca—L., 1985; Парамонова М. Ю. «Несостоявшаяся история» //Одиссей-1997. С.340–343. Текст не следует понимать в тождестве с произведением, как происходит в источниковедении. Ф. Анкерсмит пользуется чужим маркером (*текст как произведение или документ*), когда заявляет: «У нас более нет никаких текстов, никакого прошлого, только их интерпретации» (*Ankersmit F. R. Historiography and Postmodernism //History and Theory. 1989. Vol.28. № 2. P.139; Idem. Reply to Professor Zagorin //Ibid. 1990. № 3. P.281; ср.: Гуревич А. Я. Апории современной исторической науки — мнимые и подлинные //Одиссей-1997. С.248–249*).
45. Lorenz C. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism' //History and Theory. 1994. Vol.33. № 3. P.302, 310; *Idem. Konstruktion der Vergangenheit: Eine Einführung in die Geschichtstheorie*. — Cologne—Weimar—Vienna, 1997. S.84; Zagorin P. History, the Referent, and Narrative: Reflections on Postmodern Now //History and Theory. 1999. Vol.38. № 1. P.7–8, 16–21.
46. Berkhofer R. F. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. — Cambridge, London, 1995. P.62; Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории //Одиссей-1996. С.18–19.
47. Berkhofer R. F. Beyond the Great Story. P.21.
48. Ankersmit F. R. The Reality Effect in the Writing of History. — Amsterdam, 1988. P.6–7 ff.
49. Барт Р. Указ. соч. С.384–391.
50. Фененко А. В. «Постмодернистский вызов» и проблемы современного источниковедения //Новик. С.17.
51. Подведение историко-гносеологической проблематики под теории чтения-письма — во многом плод усилий умеренных критиков постмодернизма, таких, как М. де Серто и Р. Шартье (*Chartier R. Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et iniquityde*. — Paris, 1998. P.129, cf.: P.16). Как правило, гносеологическая критика постмодернизма строится на заботе об онтологии, расширяясь за счет этических и эмоциональных высказываний, апеллирующих к опыту (в его различных интерпретациях), как например: «Можно ли утверждать, что Холокоста не было!». Если даже устранить провоцирующее звучание постмодернистских теорий, сторонникам *реальности Холокоста* придётся обратиться к его дискурсивному раскрытию, наполнению смыслами с применением источников и представить его в границах повествовательного прочтения как систему означающих. Этическое давление в спорах вокруг дискурсивной логики

не выдерживает противодействия: что меняется в теории, если вместо Холокоста говорить о фашистских репрессиях в целом или о смерти одного Ивана Ильича?

52. *Topolski J.* Historical Sources and the Access of the Historian to the Historical Reality // Проблемы исторического познания. Р.25–26; *Бородкин Л. И.* Постнеклассическая рациональность и историческая синергетика (к дискуссии о применении теории хаоса в исторических исследованиях) // Исторические записки. — М., 2001. Т.4 (122). С.408.

53. *Сальникова А. А.* Современное зарубежное источниковедение: теория и метод: Учебное пособие. С.10–11.

54. Там же. С.11, 17; см. также: *Она же.* Исторический источник в американской советологии. — Казань, 1997. С.29–30.

55. *Соколов А. К.* Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. — М., 1999. С.73, см. также С.63–64.

56. *Медушевская О. М.* Историческая антропология как феномен гуманитарного знания: перспективы развития. С.20–21; см. также: Источниковедение: Теория. История. Метод. С.25, 33. Субъективность антропологических записей и провоцирующее действие вопросника, предъявляемого исследователем представителям других культур, родственна не только запискам иностранцев, но и научному историческому исследованию. Поэтому приводимое О. М. Медушевской замечание А. Гримшоу и К. Харта о неустрашимом из профессиональной практики антрополога этосе любительства в равной мере распространяется и на историческое источниковедение. Кроме того, поступок для антрополога (в концепции К. Гирца) — текст, интерпретация которого сопоставима с применением источниковедческих стратегий историками. То есть уже в момент дневниковой записи антрополог — не обычный наблюдатель, а исследователь.

57. Прежде чем источник попадает в поле зрения исследователя, неизбежно его, по крайней мере временно, извлечение как завершеного единства из множества сфер его бытования. В этом смысле источниковедческая онтология неправомерно рассматривать источник как объект исследования, поскольку он выделяется как *предмет на стадии выбора*, изучается как доступное исследовательским приемам и словесному описанию предметное целое и вписывается в контекст («живое целое», «коэксистенциальное целое», «эволюционное целое»). Это неизбежное следствие референции заложено уже в языке: «Я в состоянии идентифицировать предмет только внутри структуры различий» (*Вайнштейн О. Б.* Интервью с Жаком Деррида // *Arbor Mundi*. 1992. № 1. С.75).

58. Здесь мы намеренно обходим возможный недостаток в формулировке вопроса. Конечно, любое произведение, созданное при содействии историка-профессионала в этом его качестве, может рассматриваться как историографический источник (*Шмидт С. О.* Архивный документ как историографический источник // Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института. С.97). Но есть и другой аспект проблемы: новые вопросы и концепции историков создают круг чтения, в котором не исключено стабильное внимание к определённым сюжетам, и, как следствие, устойчивое их воспроизведение и побуждение к новым видам творчества. Как одно из следствий — новые комплексы источников.

59. *Бессмертный Ю. Л.* Частная жизнь: стереотипное и индивидуальное. В поисках новых решений // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. — М., 1996. С.16.

60. Приведу только один пример, когда автор-историк, работающий над краеведческой эгоисторией, осознанно пользуется здесь кавычками с ироничным подтекстом: «Действительно, я себя не причисляю и к источникам, если речь идёт о Москве, поскольку источником для меня служат всего лишь несколько прочитанных об этом городе книг и моя память. Она как “источник” пока ещё меня устраивает» (*Петровский А. В.* Квазикраеведческие заметки старого москвича // Источниковедение и краеведение в культуре России. С.345).

61. Ср.: *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып.1: Теория исторического знания. Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1909/10 учебном году. — СПб., 1910. С.16–17; *Он же.* Методология истории. Вып.2. С.340–341, 353 сл.

62. Решающее слово в этом вопросе принадлежит Г.-Ф.-В. Гегелю, который в «Философии истории» поставил философский крест над первоначальной историей, отделив её от рефлексивной и философской как в принципе лишённую рефлексии и социально изолированную.

63. М. Ф. Румянцев, разрабатывая критерии сравнительного исторического исследования, видит одну из помех для обобщений в индивидуализирующей «истории в мелкий горошек». Напрашиваются два сомнения относительно того, чему автор противопоставляет образ микроистории. Во-первых, каким бы целым ни было «целое», оно обречено, согласно теореме К. Гёделя, пожертвовать либо своей полнотой (целостностью), либо своей внутренней непротиворечивостью. Забота М. Ф. Румянцевой о преодолении дезинтеграции исторической памяти социума заставляет задуматься, о каком из микрообъектов «социум», рассматриваемом как метанарратив, идёт речь. Во-вторых, ничто не мешает применять компаративные стратегии М. Ф. Румянцевой на осколочных, микроскопических предметах, если, впрочем, отказаться от тезиса, что «адекватное понимание феномена» «возможно лишь одно» (*Румянцева М. Ф.* Теория истории. С.56, см. также С.23–28, 50, 52, 55, 148, 150, 176–177, 190 и сл.).

64. Чубарьян А. О., Лебедева Н. С. Архивы и архивисты в глазах общества и государства //Вестник архивиста. 1999. № 2–3 (50–51). С.30–32; Козлов В. П. Итоги работы архивов России в 2000 г. как показатель политических, социально-экономических и общественных перемен на рубеже тысячелетий //Вестник архивиста. 2001. № 2 (62). С.97–98, 102, 108.

65. Ларин М. В. Некоторые проблемы эволюции управленческого документа //Вестник архивиста. 1999. № 6 (54). С.37–41. Отрицание «документа» в ницшеанской историографии (призыв Д. Мило прекратить их производство и использование в исследованиях в связи с «пресыщенностью историей») — показательное следствие смыслового шлейфа этого понятия (Alter histoire. Essais d'histoire expérimentale /Réunis par D.S. Milo, A. Boureau. — Paris, 1991; Boutry Ph. Assurances et errances de la raison historienne //Passés recomposés. P.56–60). Близкие проблемы, независимо от полемики вокруг ницшеанского тезиса, возникли в обсуждении концепции «феноменологии документа» В. А. Савина. Характерно, что участники обсуждения по-разному понимают возникновение ценности документа, но не подвергают сомнению документо-ведческий подход и напрямую связывают философскую апорию оперативной и перспективной ценности с принципами архивного комплектования (Савин В. А. Феноменология документа: постановка проблемы //Вестник архивиста. 2001. № 1 (61). С.168–175; Козлов В. П. Документ в состоянии покоя. С.8, 11 и сл.).

66. См. также: Farge A. Le Goût de l'archive. — Paris, 1989. P.12–14; Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. С.79–85, 313–393; Розенберг У. Историки, архивисты и проблема социальной памяти на рубеже нового столетия //Исторические записки. — М., 2000. Т.3 (121). С.164–168, 173–175.

67. Кром М. М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России //Исторические записки. — М., 2001. Т. 4 (122). С.381–384, 391–392.

68. Коломийцев В. Ф. Методология истории: (От источника к исследованию). — М., 2001. Обратим внимание на гигантский тираж (2000 экз.), выводящий книгу на уровень учебного пособия.

69. Там же. С.17–21.

70. Там же. С.30, 45, 140–145.

71. Там же. С.41.

72. Там же. С.21.

73. См. также: Коломийцев В. Ф. Законы истории или социологические закономерности? //ОИ. 1997. № 6. 94–95.

74. Коломийцев В. Ф. Методология истории. С.49.

75. Там же. С.66.

76. Там же. С.67, 113–114.

77. Там же. С.77–78.

78. Коломийцев В. Ф. Законы истории... С.93–94.

79. Ким С. Г. Современная немецкая историография о возможностях микро- и макроанализа //Историк в поиске. С.72.

80. Уваров П. Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка //Казус-2000. С.26 и сл.

81. Ruesen J. Historical Consciousness as a Matter of Research on History Textbooks //Фанфалунь: Лиши иши юй лиши цзяоцзюшэ ды фэнси бяньсе гоцзи сюэшу яньтаохуй луньвэнь цзи /Гл. ред. Чжан Юань, Чжоу Лянкай [Proceedings of the International Conference on Methodologies: Historical Consciousness and History-Textbook Research]. — Б. м., 1998. P.12.

82. Мельников Ю. Н. Типы, классы и рода в системе исторических источников //Источниковедение и компаративный метод. С.49–50.

83. Там же. 50.

84. Там же. С.51.

85. О. М. Медушевская указывает на препятствие гносеологического порядка: в ситуациях непосредственного наблюдения, общения, диалога «мы видим только то, что происходит *здесь и сейчас*», а чтобы узнать о произошедшем «давно» или «в другом месте», следует обратиться к источникам (Источниковедение: Теория. История. Метод. С.19, 22, 24, 31–32). Это только отчасти справедливо, даже если исследователя рассматривать как молчаливого созерцателя. В общении и диалоге история открывается по меньшей мере в языке. Но и взгляд различает окружающий мир посредством перцепции, которая уже в момент распознавания предметов помещает их в определённые когнитивные кластеры. Распознавание осуществляется при содействии исторической памяти, а внешность, мимика людей и формы предметов используются *здесь и сейчас* для источниковедческого исследования. Утверждение, что настоящее «нельзя изучать научными методами», поскольку оно «продолжается», весьма ответственно. Чем же занимаются социология, лингвистика, антропология, демография, экономика, психология? Или у этих наук свои особые источниковедческие основания? И куда деться исследователю с его постоянным становлением личности, что не отвечает принципу строгой научности? И если источник с течением времени и в процессе бытования претерпевает изменения, то ведь и многократное обращение к нему невозможно, так как всякий раз это будет уже не он. Упор на верификации привёл бы к выводу о том, что источником может считаться только тот предмет,

который не меняется с течением времени, и поскольку это невозможно, на мой взгляд, необходимы дополнительные оговорки в представлении о применимости строго научных методов в источниковедении или в объективистском определении науки.

86. Источниковедение: Теория. История. Метод. С.10–11.

87. Там же. С.11, см. также С.56–59; *Медушевская О. М.* Феноменология культуры: концепция А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени //Исторические записки. Т.2 (120). С.108–118.

88. Источниковедение: Теория. История. Метод. С.11.

89. *Novick P.* That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. — Cambridge, 1988.

90. *Карсавин Л. П.* Введение в историю (теория истории). — Пг., 1920. С.33–34; *Уваров П. Ю.* Апокатастасис, или Основной инстинкт историка. С.18.

91. Источники, хранящиеся в архивах, часто в процессе подготовки к сохранению претерпевают изменения, внешне облегчающие доступ к ним или работу с ними, но на деле скрывающие множество вопросов их бытования под видом реставрации. В таких случаях историками тратятся особые усилия на реконструкцию производства-письма из-под консервирующих или реставрационных работ. Архив не только культивирует и наделяет ценностью документы и фонды, изъятые из пользования и обособленные от чтения. Архив формирует их в ходе источниковедческой экспертизы, создавая или утверждая иллюзию их целостности и идентичности. Источник представляет собой только часть различных предметных областей, которые сами требуют восстановления как особые «архивы», а значит, статус источника как обособленного предмета практически всегда — следствие выбора людей. См. особенно о понятии «потенциальный исторический источник (предысточник)»: *Автократов В. Н.* Указ. соч. С.66–68, 71, 82–83, 88, 95, 134, 141, 148 и др.; *Козлов В. П.* Документ в состоянии покоя. С.13–14.

92. *Gurevich A.* Problems of Synthesis in the «Annales» School //Социальная история: Проблема синтеза. — М., 1994. P.88; *Он же.* «Территория историка» //Одиссей-1996. С.81–85, 88–89, 94; *Он же.* Двойкая ответственность историка //Проблемы исторического познания. С.16–17, 20–21.

93. *Gurevich A.* Problems of Synthesis in the «Annales» School. P.90–91; *Он же.* Двойкая ответственность историка. С.22–23.

94. *Он же.* Апории современной исторической науки — мнимые и подлинные //Одиссей-1997. С.234–235.

95. *Gurevich A.* Problems of Synthesis in the «Annales» School. P.89; *Гуревич А. Я.* «Территория историка». С.91–92, 97–99.

96. *Гуревич А. Я.* «Территория историка». С.98, 103–106.

97. *Гуревич А. Я.* Апории... С.236–237.

98. *Гуревич А. Я.* Исторический синтез и Школа «Анналов». — М., 1993. С.138–139, 143, 226–228; *Он же.* Апории... С.238. В полемике с Г. С. Кнабе о метафорическом описании эпохи посредством биографии А. Я. Гуревич настаивает, что выдающийся человек не лучший предмет для историков: личность обладает «неповторимой индивидуальностью», а «его деяния все же характеризуют его как нечто специфическое и неповторимое» (Там же. С.239 и далее). Значит ли это утверждение, что остальные личности совершают в основном рядовые и повторяемые поступки? Значит ли это, что в статистических рядах, массовой деятельности и повторениях историк не ищет специфическое, неповторимое и индивидуальное?

99. *Голиков А. Г.* Идеи академика И. Д. Ковальченко о развитии источниковедения //Исторические записки. Т.2 (120). С.210–221.

100. *Медушевская О. М.* Источниковедческое научно-педагогическое направление: гуманитарное знание как строго научное. С.17.

101. Там же. С.18.

102. О. М. Медушевская отмечает, что «объектом источниковедения служит фиксированная речь — время, связанное с пространством. Это условие необходимо и достаточно для исследования (а не только восприятия)» (Источниковедение: Теория. История. Метод. С.22). Но, во-первых, какая историческая дисциплина должна заниматься таким источником, как устная речь? Во-вторых, Р. О. Якобсон, различая языки устный и письменный, говорил о психологии восприятия и не подвергал сомнению возможность их исследования — на каком основании одному предмету лингвистики в источниковедении отдается предпочтение перед другим, заслуживало бы специальной оговорки.

103. М. Ф. Румянцева, доказывая вслед за Г.-В.-Ф. Гегелем и Ю. М. Лотманом, что традиционная бесписьменная культура не имеет истории, превращает письменность в условие представлений об истории (*Румянцева М. Ф.* Теория истории. С.100–110, 181–182). Этот, в общем европоцентристский, интеллектуальный ход служит одним из возможных оправданий источниковедческого проекта и основан на ряде сомнительных постулатов и допущений. Во-первых, постулат, что представителю письменной культуры известны единственно возможные очертания «исторических представлений», но обнаружив которых, она (он) смело скажет об отсутствии истории у традиционного человека. Во-вторых, допущение, что коллек-

тивная память представителя бесписьменной культуры выполняет исключительно космическую функцию и не может рассматриваться в качестве проявления исторических представлений. В-третьих, допущение, что традиционный человек рассказывает представителю письменной культуры о себе и своих соплеменниках правду и, главное, выражает при этом все свое мировоззрение.

104. *Каушанов С. М.* С. О. Шмидт и проблема определения исторического источника //Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. С.36–40.

105. См. также: *Каушанов С. М.* Актовая археография. — М., 1998. С.8–9.

106. *Kowalski K. M.* Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej. Wyd. 2, rozszerzone. — Gdańsk, 1996. S.6.

107. *Каушанов С. М., Столярова Л. В.* О предмете и задачах кодикологии и ее месте среди других специальных исторических дисциплин //Средневековая Русь. 2000. Вып.3. С.222–231.

108. *Гавришина О. В.* «Опыт прошлого»: Понятие «уникальное» в современной теории истории //Казус-2002. С.333–335.

109. *Schulze W.* Ego-Dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte //Von Aufbruch und Utopie. Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Für und mit Ferdinand Seibt aus Anlass seines 65. Geburtstags /Hrsg. von B. Lundt, H. Reimöller. — Köln–Weimar–Wien, 1992. S.417–450; *Ким С. Г.* Современная немецкая историография о возможностях микро- и макроанализа //Историк в поиске. С.67.

110. *Магидов В. М.* Визуальная антропология и задачи кино-, фото-, фонодокументального источниковедения //Проблемы источниковедения и историографии. С.336–349; *Он же.* Кинофотофонодокументы: основные направления источниковедческой работы //Источниковедение и краеведение в культуре России. С.31–35.

111. *Ларин М. В.* Некоторые проблемы эволюции управленческого документа. С.41–48; *Киселев И. Н.* Электронные документы: Основные направления исследований //Вестник архивиста. 2000. № 3–4 (57–58). С.162–166; *Боброва Е. В.* Интернет-документ как объект активного хранения //Вестник архивиста. 2000. № 5–6 (59–60). С.80–85; *Лохина Т. В.* Обзор и перспективы развития источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в отечественных Интернет-проектах //Вспомогательные исторические дисциплины: Специальные функции и гуманитарные перспективы: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва, 1–2 февраля 2001 г. — М., 2001. С.29–32.

112. Источниковедение: Теория. История. Метод. С.7, 20; *Литвак Б. Г.* Указ. соч. С.59–60; *Коломийцев В. Ф.* Методология истории. С.33.

113. *Пивовар Е. И.* Теоретические проблемы исторических исследований в новейших вузовских учебниках //Проблемы источниковедения и историографии. С.362–363.

114. *Баткин Л. М.* Полемические заметки //Одиссей-1995. С.209.

115. *White H.* Commentary //History of the Human Sciences. 1996. № 9. P.134.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНДРЕЕВ Дмитрий Александрович (1969)

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX вв. Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, автор исследований по политической истории России XX в. В настоящее время работает над проблемами истории самодержавия на рубеже XIX–XX вв., а также функционирования власти в современной России.

e-mail: daa@rol.ru

АНТОНЕНКО Сергей Георгиевич (1974)

кандидат исторических наук, редактор отдела истории Российского исторического журнала «Родина», ст. преподаватель Международного университета (в Москве), автор книги «Русь арийская (непривычная правда)» (1994), публикаций в журналах «Москва», «Наука и религия», «Наш современник», «Новый мир», «Россия: третье тысячелетие» и др., в сборниках «Исламская революция в Иране: взгляд из России» (М., 1996) и «Мифы и мифология в современной России» (М.: АИРО-XX, 2000). Работает над проблемами трансляции традиционного сакрального знания в современном мире, культурной семантики политических мифов эпохи постмодерна, маргинализации и радикализации религиозного сознания, диалога культур в поликонфессиональном обществе.

e-mail: vap-rtt@mail.ru

Бахтурина Александра Юрьевна (1966)

кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии «Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы первой мировой войны (1914–1917 гг.)» (М.: АИРО-XX, 2000), статей: Государственное управление окраинами Российской империи в годы первой мировой войны //Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. — М., 1997; Воззвание к полякам 1 августа 1914 г. и его авторы //Вопросы истории. 1998. № 8; Формирование новой концепции управления окраинами Российской империи в годы первой мировой войны //Опыт европейского федерализма. — М., 2002. В настоящее время работает над изучением истории национальной политики Российской империи начала XX в.

e-mail: a-yu-b@yandex.ru

Гордеева Ирина Александровна (1975)

кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии «Забытые люди» истории: Российское коммунитарное движение» (М.: АИРО-XX, 2003); статей: Изучение социальной истории России второй половины XIX — начала XX в.: «микроисторический» подход (Образы историографии. — М., 2000); «Багищевское дело»: Социальный эксперимент А. Н. Энгельгардта и его место в истории общественного движения последней четверти XIX в. В настоящее время продолжает исследование истории российского коммунитарного движения начала XX в. и работает над биографией Н. Н. Неплюева.

e-mail: nepl@rsuh.ru

Дашкова Татьяна Юрьевна (1971)

кандидат филологических наук, преподаватель Института европейских культур РГГУ, автор статей: Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х годов //Логос. 1999. № 11/12 (21); «Работницу» — в массы»: Политика социального моделирования в советских женских журналах 1930-х годов //Новое литературное обозрение. 2001. № 50; Татьяна Дашкова. Сюрпризы репрезентации, или Хвост виляет собакой. (опыт анализа неудачного фильма 1935 года) //Неприкосновенный запас. 2002. №2 (22); Идеология в лицах. Формирование визуального канона в советских женских журналах 1920-х — 30-х годов //Культура и власть в условиях коммуникативной революции XX века (М.: АИРО-XX, 2002). В настоящее время работает над проектом, связанным с проблематикой визуальной идеологии 30–50-х годов.

e-mail: dashkovat@mail.ru

Дедков Никита Игоревич (1968)

кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Свободная мысль—XXI», автор статей: «Как я документально установил» или «Смею утверждать». О книге Д. А. Волкогонова «Ленин» //Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. (М.: АИРО-XX, 1996); Государство, общество, личность: взгляд В. А. Маклакова //Политические партии России. Страницы истории. (М., 2000); Проблемы мировоззренческого диалога: В. А. Маклаков и Л.Н. Толстой //История мысли. Историография. (М., 2002) и др.

e-mail: nd36@orc.ru

Ерусалимский Константин Юрьевич (1976)

кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ, автор статей: Идеальный совет в «Истории о Великом князе Московском» //Текст в гуманитарном знании (М., 1997); Понятие «история» в русском историописании XVI века //Россия. XXI. 2002. № 6); «Ужасный перелом служебному пути»: В. Ф. Тимковский и движение декабристов //Археографический ежегодник, 2002 г. В настоящее время работает над проектами «Русские иммигранты и пленные в Речи Посполитой в годы Ливонской войны», «Сборники Курбского в России», а также над изданием «Истории» А. М. Курбского.

e-mail: kerusalimski@mail.ru

Каспэ Ирина Михайловна (1973)

аспирантка Института высших гуманитарных исследований (РГГУ), автор статей: Ориентация на пересечённой местности: Странная проза Бориса Поплавского //Новое литературное обозрение (№ 47 (1/2001)); Бегство от власти. Литературный журнал в эмиграции и в интернете //Культура и власть в условиях коммуникативной революции XX века: Форум немецких и российских культурологов (М.: АИРО-XX, 2002); Livejournal.com, русская версия (в соавторстве с Варварой Смуровой) //Неприкосновенный запас (№ 24 (4/2002)) и др. В настоящее время работает над рукописью, посвященной «младшему поколению» русской литературной эмиграции первой волны.

e-mail: ikaspe@yandex.ru

Короленков Антон Викторович (1971)

кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор публикаций в «Вестнике древней истории» и «Отечественной истории».

e-mail: novistor@mail.ru

Кром Михаил Маркович (1966)

кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор монографии «Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.» (М., 1995), учебного пособия «Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу» (СПб., 2000), составитель сборника документов «Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI века» (М.–Варшава, 2002). В настоящее время работает над монографией «Боярское правление: политический кризис 30–40-х гг. XVI в.».

e-mail: krom@eu.spb.ru

Люкшин Дмитрий Иванович (1967)

кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории Исторического факультета Казанского государственного университета. Автор публикаций: Общинная революция и психосоциальные реакции представителей различных этнических групп поволжского крестьянства //Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений (М., 1999); Behind the Facade of the Revolution: The Psychology and Psychopathology of Peasant Unrest in Early Twentieth-Century Russia. A Case Study of the Kazanskaia Guberniia //The Soviet and Post-Soviet review. 2000. Vol.27, No.2–3; Общинная революция 1917 года: логико-семантические проблемы социальной изоморфности //АСТЮ NOVA 2000 (М., 2000); Крестьяне и сельская администрация: изменение представлений о начальстве //Studia slavica Finlandensia. T.XVII. (Хельсинки, 2000). Участник проектов «Этнические конфликты в Российской империи и СССР» и «Историческая антропология провинциального общинного крестьянства».

Макушин Александр Васильевич (1972)

кандидат исторических наук, преподаватель Воронежского государственного университета, автор монографии «П. Н. Миллюков: труды и дни (1859–1904)» (Рязань, 2001, в соавт. с П. А. Трибунским), публикации: Дневниковые записи М. С. Корелина р П. Н. Миллюкове //Commentarii de Historia. №2, декабрь 2000 (в соавт. с П. А. Трибунским). В настоящее время работает над темой «Политическая деятельность П. Н. Миллюкова в 1905–1917 гг.», участник проекта «История Западных окраин Российской империи».

e-mail: chich2000@yandex.ru

Мокшин Геннадий Николаевич (1965)

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета, автор книги «С. Н. Кривенко. Очерк жизни и деятельности (1847–1906)» (Воронеж, 1998); статей: Н. А. Бердяев о народолюбии и народопоклонстве русской интеллигенции //Страницы истории и историографии отечества: Сб. науч. тр. — Воронеж, 2001. Вып.2; Интеллигенция и народ в идеологии русского легального народничества (Общая постановка проблемы) //Страницы истории и историографии отечества: Сб. науч. тр. — Воронеж, 2001. Вып.3; В. П. Воронцов в общественном движении 1870-х гг. //Общественная жизнь Центрального Черноземья в XVII — начале XX века: Сб. науч. тр. — Воронеж, 2002. Работает над исследованием идеологии легального народничества 70–90-х гг. XIX в. и история русской общественно-политической мысли второй половины XIX — начала XX в.

e-mail: rus@hist.vsu.ru

Молодяков Василий Элинархович (1968)

кандидат исторических наук (1996), доктор философии (2002), член Международного Совета АИРО-XX, автор книг: Валерий Брюсов. Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза (1994), Образ Японии в Европе и России второй половины XIX — начала XX вв. (1996), Мой сон, и новый и всегдашний... Эзотерические искания Валерия Брюсова (1996), Правосудие победителей (Заметки и размышления историка о Токийском процессе) (1996), Валерий Брюсов. Незданное и несобранное (1998), Консервативная революция в Японии: идеология и политика (1999), Берлин–Москва–Токио: к истории несостоявшейся «оси», 1939–1941 (М.: АИРО-XX, 2000) и др. Завершает работу над рукописями монографии «Эпоха борьбы. Тосио Сиратори (1887–1949) — дипломат, политик, мыслитель», сборников текстов «Валерий Брюсов. Мировое состязание. Политические комментарии, 1902–1924» (для АИРО-XX) и «Дмитрий Шестаков. Незданные стихотворения» (для Амстердам, «Russian Literature»).

e-mail: airo@online.ru

Никонова Ольга Юрьевна (1969)

кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории Челябинского государственного университета, автор статей: Историческая наука в Германии и России в 90-е гг.: проблемы, перспективы, тенденции развития //Германия и Россия: События, образы, люди. Вып.3. (Воронеж, 2000); Инструментализация военного опыта в СССР в межвоенный период //Человек и война: Война как явление культуры. Сб. статей/ Под ред. И. В. Нарского и О. Ю. Никоновой (М.: АИРО-XX, 2001). В настоящее время работает над проектом «Ожидание войны и советский патриотизм. На примере Уральского региона накануне Второй мировой войны».

e-mail: helga@csu.ru

Олегина Ирина Николаевна

кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книг «Критика концепций современной американской и английской историографии по проблемам индустриализации СССР» (Л., 1989) и др.; соавтор книги «Индустриализация: Исторический опыт и современность» (СПб., 1998).

e-mail: irina@LS1970.spb.edu

Потапова Наталья Дмитриевна (1973)

кандидат исторических наук, доцент факультета истории Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Научные интересы: лингвистические методы в историческом исследовании, история знания, социальная история, русская история эпохи перехода (XVIII — первая треть XIX в.) в сравнительной перспективе. Один из авторов проекта «Следственные материалы политических процессов России: типология фальсификации и фабрикации».

Прозоров Вадим Борисович (1968)

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, автор публикаций: Собор 530 г. в Салоне и проблема достоверности документов, включённых в «Большую Салонскую историю» // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 3. 2000; Григорий I Великий // Антология мировой правовой мысли. Т.2: Европа в V–XVII вв. (М., 1999) и др. В настоящее время работает над проблемами патристики, римского права и его модификации в средние века, эсхатологии, позднеантичной и средневековой истории Балкан.

e-mail: migdonia@mtu-net.ru

Сулимов Константин Андреевич (1973)

кафедра политических наук историко-политологического факультета Пермского государственного университета, автор статей: «Третий путь» Александра Дугина // Исследования по консерватизму. (Пермь, 1998. Вып.3); Мифология «консервативной революции» // Исторические чтения. (Пермь, 1999); Понятие «регионального режима» в политическом дискурсе / Политический альманах Прикамья. (Пермь, 2002. Вып.2). В настоящее время занимается радикальными политическими теориями и политико-философскими построениями, находящими свое выражение в правом и левом политическом экстремизме, в частности — «консервативная революция» в Германии, теоретические концепты Карла Шмитта как одного из самых радикальных политических мыслителей XX в.

Трубникова Наталья Валерьевна (1973)

кандидат исторических наук, ст. преподаватель Томского политехнического университета, автор статьи Регионы Азии и метод Фернана Броделя // Ученые записки ТПУ (Томск, 2003). Работает над проектом «Современная французская историография».

e-mail: troub@mail.ru

Чечель Ирина Дмитриевна (1975)

кандидат исторических наук, ст. преподаватель кафедры отечественной истории новейшего времени ИАИ РГГУ, автор статей: Историографическая ситуация 1985–1991 гг.: проблема самоидентификации профессионального сообщества // Россия в XX веке: Проблемы изучения и преподавания» (М., 1999); Исторические представления советского общества эпохи перестройки // Образы историографии (М., 2000); К вопросу об историографической культуре отечественных профессиональных историков // Выбор метода (М., 2001) и др. В настоящее время завершает работу над рукописью монографии «За рубиконом — историография. Историческое знание в условиях перестройки» (для АИРО-XX).

e-mail: chechelid@mail.ru; varsk825@mtu-net.ru

Бордюгов Геннадий Аркадьевич (1954)

кандидат исторических наук, руководитель научных проектов и издательских программ АИРО-XX.

e-mail: airo@online.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание книги

Исторические исследования в России—I.

Тенденции последних лет

(М.: АИРО-XX, 1996. — 464 с.)

От редактора

I. УСЛОВИЯ

Минюк А.И.

Современная архивная политика: ожидания и запреты

Невежин В.А., Пруцкова О.А.

Издание исторической литературы: кризис или стабилизация?

Шевырев А.П.

История в школе: образ Отечества в новых учебниках

Голубев А.В.

Новейшая история России в учебниках 1995 года

Тяжельникова В.С.

В поисках технологии исторического знания

II. КОНЪЮНКТУРА

Полунов А.Ю.

Романовы: между историей и идеологией

Панцов А.В., Чечевишников А.Л.

Исследователь и источник. О книге Д.А. Волкогонова «Троцкий»

Дедков Н.И.

«Как я документально установил» или «Смею утверждать». О книге Д.А. Волкогонова «Ленин»

Хлевнюк О.В.

Л.П. Берия: пределы исторической «реабилитации»

Зубкова Е.Ю.

О «детской» литературе и других проблемах нашей исторической памяти

III. ТЕМЫ И ПОДХОДЫ

Булдаков В.П.

Историографические метаморфозы «красного Октября»

Ушаков А.И., Федюк В.П.

Гражданская война. Новое прочтение старых проблем

Павлюченков С.А.

Военный коммунизм — в плену большевистской доктрины

Горинов М.М.

Советская история 1920–30-х годов: от мифов к реальности

Мельтюхов М.И.

Предыстория Великой Отечественной войны в современных дискуссиях

Аманжолова Д.А.

Историография изучения национальной политики

Гатагова Л.С.

Империя: идентификация проблемы

Ватлин А.Ю.

Мировая революция и современное коминтерноведение

Куприянов А.И.

Историческая антропология. Проблема становления

Кознова И.Е.

Социальная память русского крестьянства в XX веке

Ульянова Г.Н.

Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного призрения в России

Бордюгов Г.А.

Каждое поколение пишет свою историю

Вместо заключения